

ОСМАН ОДЕ

СОЧИНЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

III

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Ашгабат – 2008

ББК 84 Тур7
О 31

Одеев Осман Ходжагельдиевич.

Сочинение произведений. 3 том. */Ровести и рассказы/*.
Перевод с туркменского языка А. Говберга. – А.: – 520 стр.

В книгу вошли лучшие произведения известного туркменского прозаика Османа Оде — одного из наиболее ярких представителей новой туркменской прозы. Для его творчества характерен глубокий интерес к народной жизни, о которой он рассказывает с любовью, а временами, с доброй улыбкой. Знакомство с героями его повестей и рассказов позволит читателю лучше узнать особенности туркменского национального характера.

© Одеев О.Х., 2008 г.

ПОВЕСТИ

СКАЧКИ

Часть первая

ВЕСНА

С полуночи и до того предрассветного часа, когда засияет утренняя звезда, в пору, пока люди спят самым сладким, самым глубоким сном, горит на небе Окузче¹. Коварна эта звезда. Она восходит над горизонтом почти там же, где и Зухра², и светит очень похоже — только опытный глаз может различить их. Сколько путников бесследно стинуло в пучине Черных Песков, сколько караванов сбилась с дороги, доверившись манящему блеску Окузче! За это и зовут ее теперь не прежним славным именем, а Кервенгыран — Истребительница Караванов. Древнее название позабылось, почти исчезло из народной речи. А если прилепится к кому прозвище «кервенгыран» — значит ненадежный, скользкий человек, нет ему веры...

В ту весеннюю ночь небольшое селение Ханар мирно спало, когда в урочный час взошла Кервенгыран. Ее мерцающий свет манил на северо-восток, туда, где рыжей львиной шкурой раскинулись пески Каракумов. А к югу от селения были хребты Копетдага. Облака ползли через перевалы, вершины, как всегда в эту пору года, укрыла плотная пелена тумана, и потому горы казались невысокими. Появление Кервенгыран встревожило только петухов. Они встрепенулись на насестах и прокричали второй раз за ночь: предупредили хозяев, что приближается рассвет.

¹ Планета Юпитер, от туркм. «окуз» – бык, телец. (Здесь и далее – примечания переводчика).

² Планета Венера.

Ночь была светлой, лунной. По безлюдному селу караульщиком лениво прогуливался шаловливый ветерок. Ему здесь было просторно, кибитки стояли далеко одна от другой. Казалось, они хотят разбежаться, и разбежались бы, когда б не соединяло их множество тропок: одни – те, что пошире, – держали крепко, словно пути из сыромятной кожи, другие – чуть угадывались в молодой густой траве. Кое-где, нарушая однообразие, чернели, растопырив голые ветви, тутовники. Всякое другое дерево почитали ханарцы бесполезным. Зато вокруг села были густые заросли, настоящий лес, чьи ревнивые объятия защищали Ханар от наступления песков и от ветров с гор.

Самый могучий тутовник рос рядом с третьей со стороны песков кибиткой. Вековое дерево как бы благословляло ее своими сильными ветвями. Но покоя в этой кибитке не было. Всесильный сон, что с вечера убаюкал всех ханарцев, всех от мала до велика, обошел ее стороной. Хотя ночь пошла уже на исход, ее обитатели не спали. Пожилые супруги, что жили здесь, лежали без сна, ворочались с боку на бок, каждый на своей половине кибитки.

Огонь в очаге почти прогорел. Остатки тепла уносились к разверстому куполу кибитки. Сары-ага – седобородый, с бритой головой, повязанной линиялым ситцевым платком, лежал на голой кошме в одном исподнем, скрючившись, как ребенок, чтоб согреться. За спиной слышалось негромкое размеренное дыхание жены. Самому ему редко удавалось быстро заснуть в ночь перед скачками. Он мысленно сравнивал с Шункаром других лошадей, заявленных к заездам. В резвости своего жеребца Сары-ага не сомневался. Но порою им беспричинно овладевал страх поражения, и тогда он вставал, шел к коню, чтобы еще раз убедиться – Шункар готов к предстоящей борьбе.

Сегодня старого сейиса мучала иная тревога. Зачем только старая сказала, что Мульки нет дома – как ушел с вечера, так до сих пор не вернулся? Такого с сыном прежде не бывало. Обычно уже за день до скачек он не покидал Шункара, ходил по двору, как жених, радостно и в то же время загадочно улыбался, предвкушая победу. Где его только носит, негодника? Знает же, время беспокойное...

В песках протяжно завывли шакалы. Их рыдающий плач был так безнадежен!.. Умолкли они, у ховуза, что рядом с кибиткой Сейита Кары, проснулись лягушки. У одной из них голос был особенно звонок; упиваясь его звуком, она самозабвенно, без умолку верещала, дразня подружек.

От бессоницы старик чувствовал себя совсем разбитым; в ушах стоял протяжный звон, в голове роились несвязные, путанные мысли. Неясно приходила одна, не успев завладеть сознанием, отступала, теснимая новой, столь же неопределенной. На миг сейису пригрезился тот самый жеребенок, что часто возникал перед его внутренним взором в минуты душевного смятения. Дрожащее, беззащитное существо пыталось подняться на ноги, но они, слабые, тоненькие, как тростинки, вдруг подламывались – жеребенок падал. Старик тогда страдал, точно боль ушиба пронзала его сердце. Сейчас и эта картина не смогла надолго завладеть его воображением. Жеребенок исчез, растворился в голубоватом сиянии, сплутнутый какой-то случайной мыслью.

Сары-ага облегченно вздохнул: сегодня ему достаточно собственных болей и тревог. Сумятица мыслей, их неопределенность угнетали душу, от этого казалось, еще злей стала ломота в суставах, что мучала с прошлой пятницы. Да, с годами хвори приходят незванно, а изгнать их все тяжелей. Ноги, что так легко носили его по земле, теперь временами словно чужие. Когда ловкие руки жены разминают ноющую спину, растирают холодные онемевшие ступни, он испытывает порой удовлетворение столь сильное и глубокое, какое прежде не давала и страсть.

Иногда внуки, шая, топчут ему спину. Это совсем не то... Что они могут?.. Былиночки! Но все же это лучше, чем лежать, как сейчас, ожидая, как резкая, сводящая с ума боль пронзит беззащитную плоть.

О, дети!.. Никогда не поймешь, что у них в мыслях. Сынишка Мульки – четырехлетний Еламан – пугается, когда двоюродные братья, радуясь забаве, мнут деду спину. «Не бейте дедушку!» – кричит он сквозь слезы, кидаясь на детей Нарлы с кулачками. Как ему объяснить, что те не хотят дедушке зла? Посадишь его на колени, приласкаешь, он, поддавшись уговорам, успокоится, простит братьев, а на следующий день все повторяется.

Вспомнив внуков, Сары-ага молитвенно провел ладонями по лицу, призывая к ним благодать Всевышнего. Потом со стоном перевернулся на спину и стал смотреть на звезду, что висела прямо над кибиткой. Казалось, стоит ей ненароком сорваться и, провалившись сквозь туйнук, она упадет на угли очага. Через некоторое время звезда исчезла из виду...

Ему почудились шаги. Сары-ага приподнялся на локте, насторожился. Нет, кроме противного кваканья — ни звука. Разве можно так долго засиживаться в гостях? Болтает, забыв обо всем на свете, а хозяева поддакивают, в душе проклиная настырного гостя.

Он нашарил чокаи, надел их на босу ногу, вышел из кибитки. Прохладный, ласковый, как ладони невесты, весенний ветерок коснулся старческой щеки. Сердце Сары-ага сразу смягчилось: «Эх, весна, душу за тебя не пожалею!..»

Он огляделся: все вокруг было знакомо до мелочей. Слева темнела кибитка старшего сына. Оттуда слышался негромкий храп Нарлы. «Может, разбудить его? Сказать, что Мулькаман до сих пор не вернулся», — подумал старик, но тотчас отказался от этого намерения. Зачем еще кого-то тревожить! А в кибитке Мульки тихо. Может этот негодник давно уже потихоньку вернулся? Нет, Шункар подал бы голос, приветствуя своего наездника. А невестка — надо же! — спит себе, ей все равно — дома муж, нет его. Есть же такие жены!

Его Гюльрух, слава Аллаху, не такая! Как-то в молодости, вскоре после рождения Нарлы, он задержался на свадьбе, слушал бахши. Пришел домой на рассвете. Жена ждала его, сидя на земле у входа в кибитку. Услышав его шаги, тотчас вскочила на ноги. «Вернулись?» — чуть слышно прошептала она и разрыдалась, спрятав лицо в ладони. И теперь она такая же беспокойная! И с Нязик повезло... Чуть Нарлы припозднится, она уже места себе не находит. Жаль только, зло на детях срывает, бьет их по пустякам. Но лучше уж быть такой, чем бессердечной, как младшая невестка. Впрочем, мудрено ли стать безразличной, если Мульки чуть ли не через день приходит домой заполночь? Как ни тяжела ноша, все равно к ней в конце концов привыкаешь.

Шункар догадался, что хозяин поблизости, негромко фыркнул. Для капризного, как у ребенка, старческого сердца это было лучшим лекарством. Сары-ага благодарил Аллаха, что тот дал ему коня, способного сопереживать болям человеческой души. Всю жизнь он выхаживал коней Дурды-бая, выводил их на скачки и, конечно, радовался, когда зрители, славя победителя, кричали: «Это конь сейиса Сары!», но мечтал он с молодости о собственном скакуне. Лишь к семидесяти годам посмел он, не побоявшись расходов, осуществить свое желание. О, это совсем не просто! Разве мало несчастных, что боятся приблизиться к цели, предпочитают пустые мечты радости обладания?

Аллах наградил его за решимость. Слабый, беспомощный жеребенок за три года превратился в могучего, быстрого, как ветер, коня, которому сейчас нет равных в округе.

Хотя это не принято, Сары-ага накрыл затишь хворостяной крышей, чтоб никто не сглазил Шункара, купил у чабанов волкодава — могучего, злого пса, с сильными лапами и лобастой, как у теленка, головой. Тот мог часами лежать недвижимо, греясь на солнышке, но стоило показаться на дороге чужому — раздражался яростным лаем, пугая детей.

Гюльрух-эдже сразу невзлюбила Алабая, все норовила прогнать его подальше от кибитки. «Чего ты от него хочешь? На то и собака, чтоб лаять, охранять дом», — сердился Сары-ага. «Вот и пусть лает, когда воры придут, — ворчала Гюльрух-эдже. — Покоя от него нет: как колотушкой по голове.» Но без Алабая никак нельзя. Недавно старуха все-таки заставила внуков прогнать собаку в заросли, и в первую же ночь кто-то, прознав об этом, попытался похитить Шункара. То был не чужой человек, иначе бы Шункар не подпустил его к себе. Конь тревожно заржал, и Сары-ага мгновенно проснулся. «Мульки!» — крикнул он, выбегая из кибитки. Черная тень выскользнула из затиши и тотчас растворилась в ночи. Через мгновение Сары-ага услышал, как трещат ветки кустарников, кто-то не разбирая дороги уходил зарослями. Пришлось вернуть в дом Алабая. Теперь старуха терпела его, изредка сама кормила собаку. «Наказывали бы конокрадов, как в былые времена, никто бы не позарился на чужую лошадь. Это ведь все равно, что крылья оборвать птице!» — с досадой думал Сары-ага, возвращаясь в кибитку.

Осторожно, чтоб не зашуметь ненароком, он пробрался к своей постели.

– Что, отец, этот беспутный еще не вернулся? – послышался громкий шепот жены, лежавшей по другую сторону от очага.

Сары-ага не ответил.

– Разбаловали его. «Младшенький, младшенький...» – вот и дождались. Верно говорят: держи камыш крепко, иначе руки порежешь. Для себя живет... – распаляла сама себя Гюльрух-эдже.

– Тише ты!.. Не глухой. Внуков сейчас разбудишь, – прикрикнул Сары-ага. – Поспи немного, уже Кервенгыран взошла.

– Уснешь тут!.. Вы бы с ним, отец, поговорили. Не ребенок уже, у самого трое. Нечего по ночам шлаться!

– Убивать надо мужчин, что женам потекают. Слово скажешь по-доброму, так сразу начнет поучать. Спи!

Гюльрух-эдже некоторое время молчала, ждала, пока муж остынет, потом виновато произнесла:

– Все сердце материнское... Да вы и сами уснуть не можете. Матери ему не жалко, хоть бы вас пощадил.

Сары-ага вздохнул.

«Где ж он пропадает, бездельник? Не доведут эти прогулки до добра. Уж не спутался ли с какой?.. Упаси его, Аллах, от бездны распутства! Эх, молодость!.. Жар в крови пьянит похуже вина».

Ему самому однажды лишь чудом удалось уйти от соблазна. Генджали-ага – его отец – тоже был сейисом у бая. На одном из его коней Сары-ага – тогда еще молодой, но уже прославленный наездник – участвовал в скачках. Он возвращался с ристалища, когда ему повстречалась младшая жена хозяина. Сары остановил коня, поздоровался.

– Хороший конь! – поглаживая гриву, сказала молодая женщина, глядя прямо в глаза Сары.

– Да я и сам не плох, – вырвалось у него невольно, чары красоты лишили его разума.

– Посмотрим, – улыбаясь одними губами, сказала женщина. – Приходи в полночь к нашей бахче, – добавила она и, закрыв лицо платком, торопливо пошла прочь.

Он, ошарашенный, долго смотрел ей вслед.

«Кто бы мог подумать!.. Любимая жена бая, красавица, которую воспевают бахши! Вот, что значит, люди нутром разнятся! В селе глаз на мужчину не поднимет, а тут... Сама, как говорится, балаки к щиколоткам спустила...»

Нет, так говорит его старость. Тогда он был в самом расцвете, слова красоты взволновали его. Весь день Сары мучали сомнения. То он пытался оправдать женщину, что терпит бессильную любовь старика, то проклинал ее, боялся, что она посмеялась над ним. Сто раз давал он в мыслях зарок не идти на свидание, но у Искусителя сто одна уловка! Когда приблизился час встречи, он решил все-таки пойти на бахчу, посмотреть придет ли туда женщина.

Она ждала. Увидев ее, Сары вмиг забыл о всех своих клятвах. Но Аллах не дал свершиться греху. Ночной ветерок переменял направление; почуяв своего наездника, звонко, призывно заржал жеребец на байской конюшне. Женщина испуганно вскрикнула, путаясь в длинном подоле платья, неловко побежала к дому.

«Будет ли Всевышний так же милостив к сыновьям?.. Дети редко оправдывают надежды. Ждешь от них многого, а они ничего не сделают без подсказки. Если и сделают что, так по-своему.»

Нет, Нарлы не такой, всегда старается угодить. Весь день в трудах, на нем и дом держится. Люди – то ли в похвалу, то ли посмеиваясь – говорят, что он двойник собственного отца: и ходит так же степенно, и говорит с расстановкой. Но откуда же тогда ожесточенность, которая порой так пугает Сары-ага? Разве он был таким? Да, бывал строг, за шалости сыновьям спуску не давал – таков долг отца! Однажды, неожиданно вернувшись домой, он увидел, как Нарлы «учит» братьев. С тех пор Сары-ага перестал сам наказывать младших. У Нарлы это получалось ничуть не хуже, чем у него самого. После его тяжелых, как камни, кулаков, братья шелковыми становились. Меж собой прозвали его – Нарлы-дяли, сумасшедший Нарлы. «Им добра желаешь, а они обзываются», – пожаловался он как-то отцу.

Лишь рядом с младшими был он смел и решителен, скор на расправу. В остальном — безропотно подчинялся отцу. Это было Сары-сейису по душе. А если Нарлы решался сделать что-то по-своему, сейис всегда находил повод придраться: «Пока я жив, делай, что отец говорит!» Восемь лет назад Нарлы послали на первый съезд союза «Кошчи».¹ Он купил в Ташкенте кожаную тужурку и картуз с лаковым козырьком. Щеголять в обновках ему довелось только один день. Вечером, увидев сына в новом наряде, — так одевались только уполномоченные, что изредка приезжали в Ханар из города, — Сары-

ага сказал: «Сними-ка это, сынок. Нет ничего лучше привычной одежды». Нарлы не посмел послушаться отца, отдал фуражку сыновьям. Соег и Аннам теперь носили ее по очереди. А из тужурки Нязик скроила что-то детям. Когда через несколько месяцев решили, что Нарлы не справился с обязанностями, его так и подмывало напомнить сыну о ташкентских обновках, но сейис пожалел беднягу.

Прежде у Сары-ага было четверо сыновей. Было... Еламана, беспечного весельчака, люди принесли из песков завернутым в тряпье. Иламан пропал без вести. Шесть лет назад ушли они из дому, обещали скоро вернуться...

Когда у Мульки родился сын, Бахар сказала свекрови: «Позвольте назвать вашего внука именем деверя». Сары-ага помнит, как обрадовалась жена. Так в дом вернулся Еламан. Позже Нарлы захотел назвать сына Иламаном. «Не надо», — запретила Гюльрух-эдже и разрыдалась.

Нелегко растить детей, и еще труднее тому, кто беден. Верно говорят, что дети — сладостная мука! Пока он так и не дождался сладости, а вот горечи пришлось испытать вдоволь. Сил не жалел, чтобы вывести сыновей в люди, чтобы их жизнь была светлей, чем у него. Многого ли он достиг? Если исполнятся желания всех, кто мечтает о богатстве, в мире останутся одни бедняки. Революция... Говорили, что Аллах прислал архангела Михаила навести порядок. Разве ангел способен смягчить сердца богатых?.. Они озлобились, стали хуже диких зверей. Сколько крови уже пролилось в этой смуте, сколько ее еще прольется! Может, и впрямь Исафил возвестит скоро конец света. Повсюду только и говорят об этом. Поначалу это страшило, теперь люди притерпелись, привыкли. Сказочный дэв пугает только детей! Надежда никогда не покидает человека!..

У Сары-ага было полганапа земли и четверть су воды, кроме того Дурды-бай платил ему за выездку своих коней. Этим он и кормил свою семью. Еще он выращивал арбузы на богаре, но большая часть урожая доставалась шакалам.

По краям его участка росли фруктовые деревья, все остальное занимал виноградник. Он выращивал гелинбармак и монты. К земле его, как других, не тянуло. Он привык жить, доверяясь чувству, для земледельца оно плохой советчик. Спрашивается, когда обрезать виноград: весной или осенью? Если сделать это весной — лоза истекает соком почти неделю, осенью слезы кончаются быстро... Он обрезал осенью... Всегда срезал молодые побеги, только в прошлом году спилил почти под корень старые, молодые лишь укоротил — урожай получился на славу. Просто!.. А чтобы понять это, пришлось прожить жизнь...

Пора проездить Шункара, а этого негодника все нет, — раздраженно подумал Сары-ага. — Не мог же он забыть, что сегодня скачки. Ведь он готовился, с утра вымыл Шункара песком. Нет, если случилась беда, конь бы почувствовал. Раз Шункар спокоен, значит все в порядке.

Старик вспомнил, что Мульки собирался идти на холмы, слушать девичьи ляле. Он хотел запретить, но передумал: песни девушек очищают душу, перед скачками это не повредит наезднику! Он и сам не прочь насладиться звонкими девичьими голосами, но куда ему теперь, старику! Когда молод, тебе открыты все двери, но, чем дольше живешь, тем меньше их становится, пока не останется одна-единственная, что ведет на тот свет. Когда-то, слушая, как поют девушки, он впервые увидел Гюльрух. Она знала всего два куплета, и всегда торопилась спеть первой. Настоячиво, порой грубо отстаивала это право у подружек. Спойет, а после молчит, разве что припев подтянет. Сары-ага на всю жизнь запомнил ту незамысловатую ляле. Иногда, если было настроение, учил запавшим в память словам внучек:

*Над моим цветочком алым
Тень горы нависла...
Той, кого полюбит старый, —
Жизнь ненавистна.*

Голос у Гюльрух был низкий, с хрипотцой.

*Убегает речка прочь —
Грусть моя не тонет.
Не браните, мама, дочь —
Она гостя в доме.*

Всякий раз, когда теперь случалось услышать девушек, Сары-ага с волнением ждал, что прозвучат и эти ляле. Напрасно, нынче их, кроме него, никто не помнит. Разве что Гюльрух.

Сары-ага повернул голову, посмотрел туда, откуда слышалось ровное дыхание жены. Он помнил ее озорной, бойкой девушкой, кокетливой молодницей, стыдливо прикрывавшей лицо платком, — знала, что это будит в нем желание. Теперь бывшая красота утонула в морщинах. «Уснула», — подумал Сары-ага.

Но Гюльрух-эдже не спала. Сын все еще не вернулся, ее тревога с каждой минутой нарастала. На миг она задремала, но ей тут же приснился всадник с окровавленным лицом. Он звал на помощь. «Мама-а!» — узнала она голос Мульки. Теперь она боялась уснуть, чтобы страшное видение не пригрезилось вновь.

Соседский Абды вот так же ушел вечером, и напрасно родные прождали его всю ночь. Через три дня в песках нашли его обезображенный труп. Откуда у него враги? Тихий, трудолюбивый человек, которому и дела не было до этой распри между бедными и богатыми. Что говорить о чужих! Кому помешал ее Еламан? Где Иламан, какие черные силы носят его по миру, мешая вернуться к родному очагу? Нет, надо верить, что он жив. Если что-то случится с Мульки, его отец не переживет этого. Это у женщин сердце крепче камня — мужчины слабы духом. О, Аллах, за что ты испытываешь нас? Ты ведь знаешь, в этом доме нет несправедного богатства!

Время тянулось невыносимо медленно. Чуть слышный шорох казался Гюльрух-эдже шагами Мулькамана, гулкие удары собственного сердца — топотом копыт... «Вдруг это басмачи?.. Они уже однажды нападали. Тогда, слава Аллаху, обошлось без жертв. Теперь не помилуют. Разве им ведома жалость?.. И скот угонят! — Ей казалось, что топот приближается, стал отчетливей и чаще. — О, Аллах, неужели Мухаммеду-серке не суждено справить той в честь внука? Бедняга в долги залез, чтобы угостить соседей... Господи, не преврати день радости в час скорби!..» Она понимала: все страхи из-за того, что Мульки нет дома. Спал бы сын в своей кибитке, она бы, пожалуй, и не вспомнила о Мухаммеде-серке. Невестка тоже хороша! Настоящая жена умеет привязать мужа к дому: такими путями оплетет — следом ходить будет! «Ох, уж эта женская покорность! Но не ей же учить невесток строптивости? Мужчины слишком о себе воображают!.. — Гюльрух-эдже опасливо покосилась на мужа. — Человек сам кличет свою смерть. Ходил сегодня, улыбался весь день. Чуяла, не к добру! А после полудня все левый глаз дергался. — Испугавшись своих мыслей, Гюльрух-эдже посмотрела на очаг, где догорая, багрово перемигивались огоньки. — Языку своему он не хозяин! Небось, сказал кому-нибудь правду, а этого не любят. О, Аллах, будь прокляты мои мысли!..»

Она попыталась думать о хорошем, чтобы не накликать беды, но, видно, слишком сильно было ее беспокойство: припомнился день, когда люди принесли бездыханного Еламана.

— Ты что, плачешь?

— Нет, нет, — торопливо ответила Гюльрух-эдже, сдерживая рыдания. — Не обращайтесь на меня внимание.

— Хватит. Долго я ждал, пока он ума наберется. Все развлекается. Слово скажешь — дуется, прячется от меня. Придется иначе учить его!

— Мало ли что случилось!.. Так-то он всегда дома, с детьми. Какое-нибудь дело задержало...

– Хорошими делами по ночам не занимаются. Знает же, что скачки сегодня. Пора проездить Шункара. После рассвета пользы не будет!

«Только о лошадях и думает!.. Жив ли сын? Вот о чем думать надо». – Произнести это вслух Гюльрух-эдже не решилась. Зря вечером пожаловалась мужу на Мулькамана. «Отрезать мой болтливый язык!» – подумала она.

Она свято верила: жена – опора для мужчины. Ее долг – помогать ему и повиноваться. Так жила сама, так учила жить невесток. Своей судьбой была довольна, просила у Аллаха такой же для дочерей. Она не должна была допустить этого. О, если б ей было с кем поделиться! Невестка молчит. Даже не сказала, что мужа нет дома...

Бахар привыкла к отлучкам мужа, спала без тревоги. За полночь, в самую сладкую пору, ее разбудил Еламан, тронул за руку:

- Хочу...
- Ступай, милый, сходи сам.
- Там джины, я боюсь.
- Глупенький!

Они вышли из кибитки. Оправившись Еламан высоко закинул голову, громко зевнул. С запада, наползая на луну, неслись длинные черные тучи. Еламан испугался, прижался к матери.

- Видишь! А ты говорила, что джинов нет.
- Это облака.

– Днем – туча, а ночью – джин! Бабушка говорила: «Кто не спит, тех джины заберут.» А наш отец смелый, он джинов не боится.

Бахар потянула сына за руку.

- Все! Спать.

– Мне приснилось, – говорил Еламан, забираясь под одеяло, – будто я на Шункаре катался. Только ты не рассказывай! Скажет, если катался – больше в седло не посажу. А я ведь спал... Отец меня покатает?

Постель мужа была холодной, как лед. «Свекр один-единственный раз не ночевал дома», – с обидой подумала Бахар.

– Конечно покатает, – успокоила она сына; поправила одеяло, под которым рядом с ней спали дочери. Со двора послышалось тихое рычание Алабая, Бахар торопливо нырнула в постель, укрылась с головой.

Алабай, потревоженный шагами, увидев Мульки, опустил лобастую голову на лапы. Хозяйский сын, воровато озираясь, осторожно пробрался в затишье. Сонный конь испуганно шарахнулся в сторону. Мульки обнял его шею, прижался щекой к шелковистой гриве.

– Это я, Шункар, – шепнул он. – Не признал? Заснул, не дождался... А я не хочу спать. Совсем не хочу! – Он потрепал Шункару челку. Конь недовольно раздул ноздри, дико покосил глазом. – Думал, что не придет? Пришла, шесть косичек заплела. Ох, эти косички! Они как черные ручейки!.. Ты уж мне поверь: вся девичья красота в них. Куда она только исчезает, когда косы заброшены за спину? Курбангуль, она, как пери. Умереть готов ради ее объятий! Сегодня все от тебя, Шункар, зависит. Ты уж не подведи, конь!

Шункар обиженно фыркнул.

– Эх, и влетит мне от отца, если узнает, что не дал тебе спать. Но не спи, прошу. Кроме тебя, не с кем мне поделиться.

Со двора послышалось негромкое покашливание отца. Он словно не решался подойти поближе.

- Это ты, Мульки?
- Да, отец. Я давно уже здесь.
- Выйди! Пусть Шункар отдохнет до прогулки.

Мулькаман медлил. Лгать стыдно, так его учили с детства. Но это Шункару можно открыть правду, а отцу придется солгать. Он еще по дороге домой придумал, что скажет. Ничего не поделаешь, бывает,

извилистая тропинка короче прямой дороги. Так же и ложь: когда знаешь, что тебя не поймут, легче солгать, чем объяснить, как все на самом деле. Кто умеет лгать, тому легче жить.

Сары-ага стоял у колодца.

— Ты где это бродишь? — сказал он свистящим шепотом, когда сын вышел из затиши. — Мать всю ночь не спит.

— У Атаджана был, — так же шепотом ответил Мульки. — Сейиту-аге что-то нездоровится. «Посидите со мной, — говорит. — Спойте, все мне легче будет!» Потом стал старое вспоминать. Уйдешь — обидится. Я и так уж переживал: сегодня ведь скачки.

Сары-ага молчал. По лицу нельзя было понять: поверил он или нет.

— Из кибитки-то хоть выходит? — сказал он наконец.

— Уже лучше. Шутил с нами: «Унаш, — говорит, — любую хворь прогонит. Жаль, много хворей накопилось, где столько лапши взять!»

— Если на скачки не придет, надо его завтра проведать. Ступай, выезди Шункара. Не долго только, как солнце взойдет — возвращайтесь!

Поправляя платок, из кибитки вышла Гюльрух-эдже.

— Ты где же это был? Знаешь ведь, что отцу нездоровится. Перепугал нас до смерти.

— Чего бояться! Я ведь не маленький, слава Богу, уже за тридцать. Вы все тревожитесь, словно я ребенок. — Солгать второй раз кряду Мулькаман не решился.

— Время опасное, сынок, сам знаешь. Ты бы хоть предупреждал, когда уходишь, — попросила Гюльрух-эдже.

— Я говорил жене.

— Невестка ничего нам не сказала.

— Она лишнего слова не скажет. Перед смертью и то, наверное, не помолится.

Издали донесся распевный голос Сейита Кары. Мечети в Ханаре теперь не было, и вот уже несколько лет Сейит вместо муллы каждое утро читал утреннюю молитву — саят-субхи — на крыше своего дома. Его красивый голос будил односельчан, прогонял сон безотказней подзатыльника.

Село просыпалось.

Нязик развела рядом с тамдыром небольшой костер, чтобы вскипятить воду для чая и, как всегда по утрам, стала подметать двор. Она искренне верила, что ночами вокруг кибиток бродят злые духи, если не замести их следы — может случиться беда. Гюльрух-эдже присела у костра, принялась подкладывать хворост.

— Отдохнули бы, зачем вам беспокоиться, — шепнула ей на ухо Нязик.

— Это мне не в тягость, невестка, — улыбнулась Гюльрух-эдже. — Зябну что-то в последнее время, даже приятно посидеть у огня.

Бахар шла доить корову, поклонилась, приветствуя свекровь. Попенять ей собиралась Гюльрух-эдже за то, что с вечера не сказала, куда пошел Мульки, но передумала: по утрам Создатель благословляет мир, благословляет каждый порог, люди должны быть приветливыми друг к другу. С улыбкой спросила, как спали дети.

Сары-ага молился. В такие минуты, он знал, надо отречься от всего постороннего, суетного, но сегодня это ему не удавалось. «Это что же, Мульки только пришел?» — услышал он злой голос Нарлы. Сары-ага внутренне напрягся, прислушался, но, что ответила Гюльрух-эдже, не разобрал.

А Нарлы разбушевался:

— Где он пропадал? Небось и не предупредил никого? Этому ослу хлеб в глотку не полезет, если не заставит близких страдать. Эй, Мульки!.. Иди-ка сюда, поговорить надо.

Сары-ага снова зашептал слова молитвы.

— Сынок, не трогай его! — крикнула Гюльрух-эдже. — Стойте! — Братья шли гуськом по тропке, что тянулась вдоль огорода, они даже не оглянулись. — Отцу скажу, слышишь!

— Сейчас, мама, сейчас, — огрызнулся Нарлы — только бы отвязаться. — Мы быстро.

Они и в самом деле пробыли на огороде недолго. Первым вернулся раскрасневшийся Мулькаман, не глядя на домашних, прошел к Шункару, под уздцы вывел его со двора.

Дети, хоть их никто не будил, тоже вставали чуть свет, вместе со взрослыми. По утрам Создатель раздает людям их доли. Так говорили родители, так говорил дедушка. Они боялись проспять лишний час, чтобы не лишиться чего-то важного, чего — этого они толком не знали. Протирая заспанные глаза, следом за Нарлы направились к главному очагу, где их поджидал Сары-ага.

Остановившись в нескольких шагах от отца, Нарлы одернул рубаху, пригладил бороду, строго посмотрел на ребятишек, мол, будьте серьезными. Потом подошел к отцу, попросил благословения. Старик пожелал всем счастливого дня, спросил, как спали.

Вот он — старший сын, надежда, опора. Зрелый мужчина, в бороде уже седина показалась. На вид Нарлы даже больше дают, чем на самом деле. Сейчас год лошади, значит, три полных двенадцатилетия и еще шесть лет прожил уже сын. «Была ли у меня в его годы седина?» — попытался вспомнить Сары-ага, но не смог. С любовью смотрел он на Нарлы. Тот, сильный, плечистый, намеренно степенный, сидел, скрестив ноги, преданно глядя на отца. Рядом с ним сидели дети и тоже старались выглядеть степенно, как взрослые.

Невестки принесли еду, чай, стали расстилать сачак. Сары-ага недовольно поморщился: «Куда спешить, еще не вся семья в сборе!».

— Чего-нибудь хочешь, отец? — встревожилась Гюльрух-эдже.

— Нет, ничего не надо. Мульки где-то задерживается.

Бахар что-то шепнула на ухо свекрови.

— Мулькаман-джан уже подъехал, отец, — повторила Гюльрух-эдже сказанное невесткой.

Когда Мулькаман занял свое место, Сары-ага благословил пищу.

— Слава Аллаху, бисмилла... Берите! — Он взял лепешку из джугары, отломил себе кусок, остальное передал Нарлы. Хлеб пошел по кругу, из рук в руки.

После чая Сары-ага отправился седлать Шункара. Он снял наброшенную на коня попону, аккуратно скатал ее, отложил в сторону. Лизнул вспотевшую спину, удовлетворенно покачал головой: в поте не было привкуса соли — Шункар готов к скачкам. Припав ухом к горячему лошадиному брюху, прислушался.

— Хорош, красавец, хорош! — Сары-ага потрепал коню холку. — Проголодался немного — это не вредно. Вернешься со скачек — сполна корма получишь, а пока съешь вот это... — Сейис заставил Шункара проглотить кусок курдючного сала, и принялся чистить коня скребницей. Мульки был рядом, но только наблюдал за отцом, тот никому не доверяет готовить Шункара к скачкам. Еще раз пощупав бабки, Сары-ага наконец надел седло, подтянул подпругу и вывел коня во двор. Полюбовавшись, поправил повязку с талисманом и только после этого протянул недоуздок Мульки.

— Покрутись пока где-нибудь, а я к холмам позже подъеду, перед самыми скачками. И не вздумай, как в прошлый раз...

— Хорошо, отец.

— Шункар лучше тебя знает, что делать. Дай ему волю! И силы береги. Начнешь посыл раньше срока — проиграешь. Вьжидай!

— Хорошо, отец! — Мульки легко вскочил в седло, сунул плетъ за кушак, похлопал коня по шее. — С Богом, мой Шункар!

Долго смотрел вслед удаляющемуся всаднику Сары-ага, и невесть почему взгрустнулось. Ночные страхи остались позади, утро было светлое, радостное, грядущий день сулил победу, а на сердце камень лежал...

— Отец, можно мне пойти на скачки? — Нарлы смотрел на него с надеждой, как ребенок.

— Конечно, сынок. Разве можно мужчине не пойти на скачки?

Никто не помнил, когда посадили туговник, что рос возле кибитки. Дед Сары-ага говорил, что дерево дарило тень людям, когда он сам был мальчишкой.

Когда Создатель сотворил землю, людей, животных и растения, Он залюбовался делом своих рук. Но вдруг увидел среди выжженной солнцем пустыни одинокую кибитку,

а у ее порога в окружении сопливых ребятишек мужчину и женщину. Печаль была на лице мужчины. Расстроился Создатель. В одно мгновение перенесся в пустыню, принял облик странника, подошел к одинокой кибитке и стал расспрашивать хозяина о житье-бытье. «Все у нас есть: мы сыты, здоровы... Другое меня печалит – нет красоты в этом мире, – посетовал дехканин. – Эх, были бы у меня крылья, чтоб весь мир увидеть». И тогда дал ему Создатель коня и саженец тутового дерева, а сам исчез.

«Конь и Дерево – они человеку вместо крыльев, – говорил дед. – Нет человеку друга верней, чем хороший скакун. Сердце его отзывчиво на людскую боль. От опасности тебя унесет, поймет твою тоску, когда окажешься вдали от дома. Землю поможет вспахать, знак подаст, если будет приближаться опасность! А Дерево?.. Оно ли не с тобой всю жизнь? Когда ты молод, любая ветка его для тебя, что верный скакун: скажешь «но!» – и скачи, куда душа пожелает. Вырастишь, смастеришь из тутовника дутар, тронешь его шелковые струны и вместе со звуками музыки перенесется твое сердце в край мечты. А когда истечет отпущенный тебе срок, в последний путь унесут тебя на тутовом табыте, так-то... Шестьдесят сортов тутовника есть на земле и все они дети того саженца, который подарил людям Создатель».

О, Тутовник! Корни твои ушли глубоко в землю, ветви твои тянутся к солнцу – мир земной и мир небесный собою ты соединил. Тень твоя благословляет три кибитки. Расти вечно, Дерево!

Шах-тут, что рос во дворе у Сары-ага, был красив, но ягод давал немного. Несколько лет назад, чтоб порадовать внуков, старый сеис привил к его ветвям несколько побегов от дерева, что славилось щедрым урожаем. Теперь летом на тех ветвях вдоволь крупных, сладких ягод. И детям хватает полакомиться, и на зиму сушит ягоды Гюльрух-эдже. Вместе с зерном перемалывает она сушеные ягоды, и нет лепешек вкуснее, чем испеченные из этой муки. Внуки любят их, как самое лакомое кушанье...

А вот побеги, что пошли от корней, никак силы не наберут. По весне растут споро – листьями шумят, но каждый год какая-нибудь беда: то ветер их ломает, то корова обгрызет. В позапрошлом году Сары-ага отсадил два росточка, на огороде они принялись, а вот в тени старого тутовника их братья никак расти не хотят. Никак Сары-ага не возьмет в толк, отчего так получается. Может, есть какой секрет? Или это просто ему не везет? Ведь у многих односельчан и в тени старых деревьев растут молодые тутовники...

О, Дерево, жизнь всего дома крутится вокруг тебя, Ты всему свидетель! Каждое лето на одной из твоих ветвей качается колыбель, и она, слава Аллаху, никогда не бывает пустой. Шепчут о чем-то листья, убаюкивая младенцев. Под эту колыбельную засыпали в тени Дерева все дети Сары-ага, а теперь спят внуки. И сам он качался в колыбели, слушая эту песню, вечную, как сам мир...

Малыш качается в легкой зыбке, дети постарше играют в песке, который каждую весну привозит Сары-ага. На суку висит мешок с простоквашей – это Гюльрух-эдже готовит сузьму. Сыворотка стекает в деревянную миску: кап... кап... кап... С каждой каплей все короче жизнь. На одну каплю, но короче. А сывороткой женщины моют волосы, чтобы до старости оставались густыми.

Осенью, когда приходит срок подрезать ветви, Сары-ага все делает сам, никому не доверяет, хотя работа нелегкая. Несколько лет назад Нарлы вздумал помочь отцу, сам залез на тутовник. Но Сары-ага не похвалил его, обиделся: «Умру, тогда и будешь хозяйничать!». Даже дети, как ни велик соблазн вскарабкаться на дерево, когда дед дома, и помышлять о таком не смеют!..

Между ночью и днем есть недолгий пограничный час, когда кобылицы рожают самых длинноногих жеребят. Солнце еще не поднялось над горизонтом, его косые лучи хотя уже прогнали тьму, но пока еще не в силах победить ночной прохлады. Опытный наездник знает, что только в эту пору набирают кони резвости, впитывают ее в себя со свежим воздухом.

Несется конь наперегонки с ветром, и нет нужды его горячить. Все свои силы готов отдать скакун, увлеченный азартом погони. Широкая грудь рвет уплотнившийся воздух, а тот дразнит «догони!.. догони!.. догони!..».

Наездник, он хорош тем, что не мешает насладиться солнцем, свежим воздухом, скоростью.

Прекрасны эти мгновения!

Жаль только — коротки...

Приходит срок возвращаться.

Нежаркое утреннее солнце ласково греет спину, круп. Но наездник заводит в затишье, а там всегда полумрак. Шункару хочется побыть во дворе, он капризничает. Но в конце концов приходится подчиниться.

Человек хитер. У него сто уловок, чтобы обмануть коня, подчинить его своей воле.

Человек любит Шункара.

Старик бросает под ноги коню охапку душистого, нежного, как бархат, клевера, ставит миску с ячменем. Когда старик рядом, Шункару хорошо.

Но старик уходит.

Стоит ему закрыть за собой дверь, как в затишье сквозь щели заходят прожорливые воробы. Их щебетание раздражает. Налетают на ячмень, точно он для них приготовлен.

Шункар не любит их.

Он подходит на шаг к миске, мотает головой.

Воробы не боятся лошади. Чтоб прогнать их, приходится опрокинуть миску. Но птицы не улетают, продолжают клевать зерно. Насытившись, вконец обнаглев, садятся ему на спину, начинают чиститься.

Шункар зол.

Он брыкается.

Но воробы настырны... Приходится звать хозяина.

Шункар коротко ржет, кося глазом.

Открывается дверь.

Застигнутые врасплох птицы, трепеща крыльями, продираются сквозь щели в хворостяной крыше.

Но и когда воробы улетают, Шункар неспокоен: норовит выйти из затишья.

Привязь коротка, сдерживает.

Он опрокидывает ведро с водой. Скалится, чтоб напугать старика: сейчас укушу.

— Не надо, Шункар. Не надо, не сердись! — Голос сейчас звучит ласково.

Старик не боится коня, он любит его.

В том, кто любит, нет страха.

Шункар не хочет оставаться в одиночестве.

Пусть старик будет рядом.

Пока Шункар неспокоен, старик не уйдет. Голос старика обладает какой-то неведомой силой. Он обволакивает, успокаивает.

Старик уходит.

Тишина.

Шункар стоит, прислушиваясь к ней.

Даже самый слабый звук сейчас для него развлечение.

Проходят мимо затишья дети.

Это свои, конь знает их походку. Они привыкли, не обращают на него внимания.

Конь любит, когда приходят чужие, соседские ребята.

Для них Шункар — тайна, чудо.

На старую серую кобылу, что стоит в соседнем деннике, они и не смотрят.
 Сквозь щели в изгороди разглядывают Шункара.
 Глаза их горят от восторга.
 Конь знает: они мечтают хоть разок сесть в седло, промчаться верхом, чтобы все село завидовало.
 Нет, не завидовало — гордилось!
 Мечты детей возвышенной, чем у взрослых!
 Как звонки их возбужденные голоса, как приятны похвалы!..
 «На два корпуса опередил он всех!»
 «На три!..»
 «Нет лучше коня!»
 «Во всей округе!..»
 «Во всем Ахале!..»
 «В целом мире!..»
 «Самый лучший!..»
 «Самый-самый!..»
 Шункар не понимает слов, но знает, что его хвалят, что им восхищаются.
 Неразумные дети...
 Но ведь и взрослые тоже говорят о нем так же восторженно!
 Они правы: он самый-самый...
 Не надо показывать, что приятно.
 У коня должна быть гордость.
 Не надо, чтоб хвалили в глаза.
 Шункар негромко фыркает; ленивый, вечно сонный Алабай понимает его, раздражается громким бухающим лаем.
 Детишки убегают, шлепая босыми ногами по пыли..
 Тишина.
 В затиши всегда полумрак.
 Дурманящий запах трав.
 Он напоминает о пастбище... Но там много солнца, а здесь — серо, точно утро никак не наступит.
 На пастбище все в диковину, а здесь — знакомо. Все на своих местах: у двери — метелка, на столбе — сбруя, над дверью — щепка священного дерева и кабаньих клык.
 Они хранят от сглаза.
 За перегородкой, в соседнем деннике шумно, с посвистом дышит серая кобыла.
 Шуришит сено, это кто-то достает из ямы зерно.
 Для кого?..
 Для серой кобылы?..
 Сейчас приносит корм.
 На серую никто внимания не обращает.
 Лет десять назад было не так. Как хвалили люди ее резвость, ее несравненную статью! За одно лето она выиграла Дурды-баю пять скачек! Но слава лошади не дольше шумного летнего дождя: глазом не успеешь моргнуть, как он кончился. На скачках в Даиуги Серая, избалованная легкими победами, сразу взяла резво и надорвалась. Другие скакуны обошли ее, когда до колодца, где сидели, поджидая конца скачки, зрители, оставалось саженой пятьдесят. Обозленная, она собрала остаток сил, пошла широким махом, не замечая, что удила впились в мясо, что наездник сдерживает ее. Промелькнули мимо другие кони, впереди был лишь буланый. Она почти сравнялась с ним. Какой-то миг под крики толпы они шли ноздря к ноздре. Но буланый рванулся, а ей еще на один, последний рывок не хватило сил — она задохнулась пылью из-под копыт буланого.
 Сары-ага боялся, что Серая умрет, что сердце ее хоть и не разорвалось от бешеной скачки, но поражения, позора не перенесет. Лошадь не умерла; ее отпоили лечебным курдючным жиром, кое-как

вылечили. Но о скачках и думать было нечего! Дурды-бай подарил калеку своему сейису: бедняку все пригодится! Что ж, тяжелый груз везти Серая не могла, но если не подгонять, не торопить — арбу тащила.

Последние две весны Сары-ага пас Серую и Шункара в предгорьях, к юго-востоку от Ханара. Места там были на редкость красивые, и травостой прекрасный. Поначалу Шункар не хотел пастись рядом со старой кобылой, все норовил отойти подальше, быть в одиночестве.

Старая лошадь шла следом.

Шункар нападал на нее, вставал на дыбы, грозно ржал, однажды укусил до крови...

Чего только ни делал Сары-ага, чтоб образумить Шункара! «Разве мало здесь простора для двоих? — шептал он, глядя на коня. — Не будь высокомерным, Шункар, ведь вы одной крови!»

Уговоры не помогали. Наконец сейису все это надоело, и он отвел Серую пастись выше по склону.

Каково же было его удивление, когда через несколько дней он увидел, что Шункар пасется рядом со старой лошадей. Они брели рядом по лугу. Когда Серая останавливалась, останавливался и Шункар, терпеливо ждал, пока кобыла, положив голову ему на шею, грелась на солнце, отдыхала.

«Ты только посмотри, что творится! — рассказывал потом Сары-ага сыну. — Чего не смог сделать человек — сделало время. Беда, что человек всегда торопится!..»

Присматривать за Серой Сары-ага доверил женищинам. Они должны были кормить и поить ее. Но разве им ведомо, как надлежит ухаживать за лошадей: кормят корову — и кобыле дадут охапку сена, поят верблюдицу — заодно и Серой воды плеснут. «Что ж вы делаете! — накинулся он однажды на Бахар, когда та положила в кормушку рубленой соломы. — У лошади желудок нежнее, чем у ребенка!»

Несколько дней после этого он сам ухаживал за старой лошадей: почистил ее скребницей, положил новую подстилку, накормил клевером и зерном.

Гюльрух-эдже проклинала Дурды-бая:

«Избавился от клячи, свои заботы на нас переложил. Нашел дурня!..»

«Совести у тебя нет, женищина! — ворчал Сары-ага. — Пока она призы выигрывала, ты нахвалиться ею не могла, а теперь пучка солодки жалеешь. О своем завтрашнем дне подумай!».

Потом сейис надолго забыл о Серой. Все его мысли были заняты Шункаром, ему одному принадлежала вся его любовь. Теперь если он и заходил изредка к ней в денник, то лишь за тем, чтобы похвалить молодого жеребца. Он знал, что Шункара ждет великая слава!

Кому кроме старой лошади мог он сказать о своих мечтах? Люди только посмеются, чтоб не выказать зависти... Сыновья?... Нарлы далек от всего этого, а Мульткамман слишком честолюбив... Сары-ага любил сидеть в деннике у Серой, думая обо всем этом.

«Что ты этой клячей любишься? — спросила как-то Гюльрух-эдже. — Выгони ее в степь, и дело с концом!»

От обиды старый сейис не нашел что сказать, но так посмотрел на жену, что та поспешила уйти из кибитки.

«Кони сводят мужчин с ума!.. Не дай бог, если и внуки увлекутся ими, — пожаловалась Гюльрух-эдже старшей невестке. — Хорошо хоть Нарлы заботится о доме!»

Шункар и Серая были одной крови. В обоих текла кровь знаменитого жеребца. Он приходился Шункару прадедом по материнской линии, а от матерей кони наследуют свои лучшие качества. Его отцом был тот самый буланый, что обошел некогда Серую на скачках в Даизуи. Он и сейчас жив. А мать Шункара умерла от сапа.

Когда Шункар родился, Сары-ага было достаточно одного взгляда, чтобы предугадать его славное будущее. Но он не выказал своих чувств и долго еще придирчиво приглядывался к жеребенку. Выпуклый лоб был верным признаком покладистости и в то же время смелости; широкая грудь и равное количество ребер говорили о том, что скакун вырастет выносливым. И ноги у жеребенка были длинные. Но больше всего радовало сейиса, что этот конь — его собственный. Откровенно говоря, за свою долгую жизнь он видел жеребят и получше, но те были чужие. А этот — его, и Сары-ага не уставал искать все новые и новые достоинства.

Матери Шункара это не нравилось, она ревновала.

Детство Шункара прошло на пастбище. Но беззаботная, счастливая жизнь продолжалась недолго. Однажды сейис отбил его от матери, привел в село. Там, во дворе, уже была вырыта глубокая землянка, куда и поместили Шункара. Сверху яму прикрывал хворост. Чтобы увидеть синеву неба, жеребенку надо было часами стоять, задрав морду. От этого — сейис знал — крепче становилась шея. И корм Шункару насыпали в ямку, углубленную примерно на пядь, дотягиваться до зерна приходилось с усилием, зато теперь все знатоки соглашались, что ни у одного коня в округе нет такой стройной длинной шеи, как у Шункара.

Жеребенок мечтал освободиться из темницы, звал на помощь мать, мечтал, что она уведет его прочь, на луг, где много солнца и высокая трава. Кобыла, она была рядом, во дворе, всякий раз откликалась на его зов. Но Шункар не видел ее, звал снова и снова, полагая, что мать не может найти его в темноте. И это была еще одна уловка человека, который кормил его: пусть легкие коня станут просторными, а дыхание — легким. Хозяин (человек, что приносил ему корм, был хозяином) приручал Шункара, чистил, говорил ласковые слова. Но конь тогда не любил его и побаивался.

Иногда к яме, где содержали жеребенка, приходила женищина и ругала хозяина:

— Дома джугары не осталось, а ты кормишь его ячменем. Все забыл из-за этого жеребенка. Дай тебе волю, так нас продашь, лишь бы его холить. Тоже мне — бай-ага... Разве мало тебе чужих лошадей? Дети не видели от тебя столько ласки! На них ты только кричать умеешь, все добрые слова — только для лошади!

Шункар, конечно, не понимал, что она говорит, но по тому, как мрачнело лицо хозяина, догадывался: женищина недовольна тем, что жеребенка лишили света. Правда, иногда, когда хозяина не было поблизости, она забирала у Шункара клевер и относила его корове.

Кто приносит корм — тот хозяин. Значит, эта старая женищина — хозяйка коровы.

Сорок дней продолжалось его заточение в темнице. Потом хозяин вернул Шункару солнечный свет, но придумал новую пытку — уздечку надел на него. Это было неслыханное оскорбление. Шункар рвал недоуздок, делал «свечку», грыз удила, пытаясь освободиться. Напрасно. Зубы Шункара были крепки как сталь, но удила, оказалось, еще крепче. Пришлось смириться с уздечкой, с привкусом железа во рту. Хуже было другое: свободный от рождения он потерял свободу. Теперь, куда вел его хозяин, туда и шел Шункар. По тоненькому кожаному ремешку воля хозяина неведомым образом передавалась ему, заставляя подчиниться, и никогда не было наоборот. Шункар страдал от этого.

Впрочем, вскоре ему открылись и достоинства этой несвободы. Хозяин умел предугадывать его желания. Бывало сейис вел его в затишье, Шункар, как мог, сопротивлялся, упрямился, но, увидев миску, полную отборного зерна, понимал, что голоден. В такие минуты конь чувствовал себя виноватым. Хозяин лучше разбирался в его чувствах, чем он сам. Вот ведь как! Он сопротивлялся воле хозяина, хотел освободиться, распаяя себя, вспоминал все обиды, причиненные ему человеком, а на самом деле просто хотел есть, но не сознавал этого.

Хозяин догадлив!

Вот так же, он привел Шункара однажды на пастбище, о котором конь так часто мечтал, которое грезилось ему ночами. Сейчас хозяин вернет ему свободу! Вместо этого старик накрыл его спину попоной, а поверх ее положил тяжелое седло. И снова Шункар сначала бунтовал, но после постепенно привык к грузу. За все в жизни, видно, приходится платить. А здесь так много света, такая высокая, сочная трава, такой простор вокруг!.. Вместе с хозяином за Шункаром ухаживал смазливый, вечно улыбающийся парень по кличке Мульки. Так звал его хозяин. И Мульки, хоть на нем и не было узды, подчинялся его воле беспрекословно, даже не пытаясь сопротивляться.

Незавидная у него доля!

Хотя Мульки человек, а не конь, Шункар ему сочувствовал.

Это приносило удовлетворение: всегда приятно сознавать, что кому-то еще хуже, чем тебе самому. Это примиряло Шункара и с уздечкой, и с седлом.

Однажды Мульки (конечно же по воле хозяина!) — осмелился на неслыханное — вскочил в седло. Шункар чуть не обезумел. Он грозно ржал, брыкался, вставал на дыбы. Но Мульки сидел в седле как

влитый. Удила рвали пасть. В какой-то миг Мульки чуть-чуть ослабил повод, видно, силы его были уже на исходе, и тогда Шункар помчался во весь опор на северо-восток, подальше от этих проклятых мест, где ему пришлось испытать столько позора, столько унижений. Знакомые места остались позади, он ждал, что наездник вот-вот упадет, задохнувшись наотмашь бьющим в лицо ветром.

О, как прекрасно было скакать, вновь почувствовав себя свободным! Как замечательно знать, что ты силен, что для тебя нет в этом мире преград, что, если захочешь, можешь унести на край света! Наслаждаясь этой безудержной скачкой, — нет! — полетом, он совсем забыл, что в седле сидит человек. Может, из-за этого и ошибся в своих силах, не смог доскакать до края света, устал, пошел рысью, подчинился воле наездника. Конечно, Мульки — не хозяин, только — сын хозяина, но за то, что он подарил счастливые мгновения свободного бега, Шункар простил его. Если твоя судьба — неволя, разве можно обижаться на человека, который хоть ненадолго дает тебе почувствовать себя вольным, независимым! За это все можно простить!

Прежде Шункар думал, что в жизни нет ничего лучше, чем скакать по цветущей степи, лететь куда глаза глядят. Но оказалось — есть еще скачки! Только в соперничестве, когда рядом с тобой несутся другие кони, сильные, полные решимости победить, оказывается, по-настоящему узнаешь, на что ты способен. Когда приходишь первым, хозяин и Мульки радуются словно дети.

Это рождает в твоём сердце гордость: ты лучше других, ты лучше всех!

Когда первым прийти не удастся — так случается изредка — сердце кровоточит от обиды. В такие минуты он ненавидит победителя больше, чем людей, хотя и понимает его — всякому хочется быть первым.

Вот солового, который и сам не победил, и Шункару помешал вырваться вперед, он понять не может.

Солового он никогда не простит!

Чтобы простить, надо понять.

Коню невдомек, что помешал ему не соловый, а его наездник.

Откуда ему знать об этом!..

Но даже такие, как соловый, не заставят его разлюбить скачки.

Он рожден для борьбы, для побед.

Жаль, что скачки бывают не часто.

Людей не понять.

Скачки доставляют им радость, так почему же они не устраивают их каждый день?

Разве не все в их воле?

Неужели хозяин тоже несвободен, тоже подчиняется кому-то, как подчиняются ему и Мульки, и Шункар, и хозяйка коровы?

Зачем он неделями держит Шункара в затиши, где нет ни простора, ни солнечного света?

Всегда полумрак...

Тишина...

В прежние годы все мысли Сары-ага были заняты только лошадьми, теперь он все чаще думает о дереве. Он немного завидует тутовнику. Тот осенью умирает, но весной оживает вновь: лопаются почки, молодая зелень покрывает вчера еще голые ветви. Потом наступает лето. Листва становится густой, дарит прохладную тень. Затем холодные осенние ветра принесут дереву старость, листья порыжеют, вихрь оборвет их с родных веток, унесет в неведомую даль. Голые ветви будут стучать ночами под порывами ветра.

Потом опять наступит весна — начнется новая жизнь.

«Разве не бессмертен шах-тут! Каждый год он новый, но само дерево — вечно. Почему людям не дарована такая же доля?»

Все чаще и чаще думал об этом старый сейис, но поделиться своими мыслями с кем-нибудь не решался. Поймут ли его? А, может, посмеются, скажут, что выжил из ума?..

И чем больше размышлял он о бессмертии, тем сильнее замыкался в себе. А дерево – могучий шах-тут – ворчливо шумело листвой, словно догадывалось о мыслях Сары-ага. О его тайных мыслях...

* * *

Черкез-волопас проводит ночи на деревянном топчане, сооруженном им как раз посередине между его мазанкой и хлевом. Просыпается он чуть свет и первым делом тянется за табакеркой-наскяды. Отсыпав из тыковки под язык щепоть темно-зеленого жгучего наса, он еще некоторое время лежит, наблюдая как алый солнечный диск неторопливо вырастает из-за дальнего бархана, как светлеет и становится прозрачным, постепенно набирая голубизны, небосвод, как нежные краски зори оживляют угрюмый пейзаж пустыни. В этот ранний час тяжелые складки песка, барханы, плавные линии их склонов рождают грешные мысли о теплом, уютном, манящем теле женщины. Те два дальних бархана, точно тяжелые, полные молока груди... Длинный пологий склон приковывает к себе взгляд, и он медленно скользит к вершине – сердце обволакивает приятная истома, совсем как в молодые годы, когда был рядом с женой, и, лаская, жадная жаркая ладонь ползла по шелковистой прохладной коже бедра... Лучше не думать об этом!.. «Пустыня, Великая Мать, могучая женщина с широкими бедрами, раскинувшаяся во сне бесстыдно, безмятежно на песчаном ложе, все мы, все люди, что ни есть на земле, твои дети, неразумные, непокорные... Откуда же вражда между нами, детьми одного лона? Разве не весь мир дала нам щедрая мать: живите в довольстве, радуйтесь! Но люди алчны, нетерпеливы, завистливы. Всякому хочется иметь больше, чем он имеет. Каждый недоволен своей долей, норовит урвать кусок пожирнее, один хочет владеть всем! Взять хотя бы Ханар... Богом забытый уголок земли, но разве Великая Мать обделила ханарцев? Земли вдоволь, в шумливой Гямисув вода прозрачна как глаз журавля, по берегам речки что только ни растет – и орехи, и инжир, и фисташки. Осенью ветки гнутся от тяжести плодов! Почему же нет лада, согласия меж людьми? Или от того, что люди не в силах противиться своему року, а он, словно озорной мальчишка, делает, что хочет с ними. Кто доверил прашу этому озорнику? Человек для него, что камень, зашвырнет его куда подальше, а после еще посмеивается...»

Черкеза-волопаса эти мысли не огорчают, напротив... Глупцы барахтаются, выбиваются из сил, сопротивляясь течению, а он давно уже перестал грести, бросил весла, доверил свой углый челн воле потока. Размышляя о проделках «озорника», он забывает и хвори свои, и суетные тревоги, и угрозы сыновей Дурды-бая, что обещали спалить хлев. В этот утренний час он снова чувствует себя полным сил, как в молодости. Поднимается легко и первым делом отправляется в хлев поприветствовать скотину.

Пять волов и две коровы лениво жуют жвачку. Черкез-волопас подкладывает в кормушки по охалке сена и говорит, говорит, говорит. Скотина давно уже привыкла к его болтовне, не обращает на старика внимания. У коров взгляд доверчивый и кроткий, им и дела нет до забот Черкеза-волопаса. Да и какие у него заботы? Его-то и волопасом прозвали по недоразумению. Он не пасет скотину. Коровы днем пощипывают травку на пустоши за кибиткой, а волов с самого утра и на целый день забирают в поле. Дело Черкеза-волопаса – сторожить хлев ночами, и он выполняет эту работу ревностно. Послышится шорох в курятнике, Черкез-ага уже на ногах, криками «ату!.. ату!» разбудит собаку и та залается лаем, не понимая, чего хочет от нее старик. Если налетят сыновья Дурды-бая и их люди – собака их не испугает, да и старенький кремневый мултык не спасет. Но на душе все же спокойней, когда под рукой у тебя ружье. Однажды, когда Черкезу-волопасу почудилось, что кто-то подбирается к хлеву, он выстрелил в воздух. Все село сбежалось. Мужчины с топорами, с палками... Эта скотина – главное богатство союза «Кошчи». Сторожить ее доверяют не всякому, только человеку надежному. А Черкез-ага как раз такой. В прежние годы односельчане называли его Черкез-грамотей. Теперь мало кто помнит старое прозвище. Но чего только ни позабыли люди за последние десять лет!..

Черкез-ага не боится басмачей. Чего их бояться – лишь бы не застали врасплох, как его предшественника. Тогда худо. Но его они врасплох не застанут!.. Долгими ночами он думает о людях,

которых называют теперь этим бранным словом. Ведь они тоже его односельчане, некоторые родственниками ему приходится. Бывало из одной миски ели, смеялись... Босоногими мальчишками они почтительно приветствовали Черкеза-агу, когда встречались с ним на пыльной сельской улице. Теперь стали врагами, встреча с ними ничего хорошего не сулит.

Все началось с того, что Дурды-бая лишили права распоряжаться водой, отобрали в пользу бедняков часть надела. Человеку, привыкшему повелевать, быть первым, трудно с таким смириться. Продал он иранским купцам своих коней, ковры, и как-то ночью, взяв с собой только младшую жену, погрузив на верблюдов свои сокровища, откочевал из села. Но до Ирана не суждено ему было добраться. За перевалом кто-то напал на маленький караван. Дурды-бая и его жену убили, верблюдов с добром увели. Кто это сделал так и осталось неизвестным. Всякие слухи ходили. Сыновья Дурды-бая говорили, что сделали это члены союза «Кошчи»: кто раз позарился на чужое добро, тот и перед убийством не остановится. Вряд ли они сами в это верили, хотя «Кошчи» и в самом деле был главной причиной перемены их судьбы. Одно время поползли по окрестным селам слухи, что это злодеяние — дело рук Сары-сейиса. Дескать, не смирился с тем, что Дурды-бай продал коней иранцам, вот и отомстил. Бая убил, верблюдов продал, золото спрятал в тайном месте. Только глупец мог выдумать такое. Да, Сары-сейис любил выращенных им коней до самозабвения, но чтоб душу человеческую из-за них загубить... Сыновья Дурды-бая это тоже понимают.

Мстят они союзу «Кошчи». Собрали своих дружков: кого припугнули, кому посулили богатство — и начали настоящую войну против односельчан. Гордые, никак не могут смириться с тем, что все теперь равны. Бай должен делать, что хочет. Все должны ему повиноваться. Такой порядок был веками. Теперь он нарушился. Вот с чем не могут смириться сыновья Дурды-бая: жгут, грабят, убивают людей. Что толку? Хоть они и баи, а в селе жить не могут, прячутся в песках, точно дикие звери. Надо принимать свою судьбу такой, какая она есть, спорить с роком бессмысленно. Вот чего не понимают сыновья Дурды-бая. Когда Черкез-волопас размышляет об этом, он испытывает внутреннее удовлетворение.

Ведь он и сам знал другую жизнь. Был единственным сыном зажиточного человека. Если ты единственный любимый сын, если родился в богатом доме — все тебя уважают. В прежние времена Черкез-волопас (правда, тогда все называли его Черкез-грамотей за то, что любил поговорить о вещах возвышенных, профилософствовать) принимал это, как должное. Казалось ему, что богатство тут ни причем, что люди уважают его за силу, за ум. Он не раз отстаивал честь села на состязаниях борцов, и хотя завоевать главный приз ему ни разу не удалось, в глазах всех ханарцев был он настоящим пальваном. К тому же был почтителен со старшими и богатством своим не кичился.

Когда отец женил его, все односельчане искренне радовались, что в жены ему досталась самая красивая девушка села, из почтенного рода. Жили они с ней душа в душу. Сыновья (а их было у них трое) уже помогали по хозяйству, когда выпал Черкезу жребий отправиться на тыловые работы в Россию.

С тех пор и переменилась его судьба. Когда он вернулся, жены уже не было в живых. Но сыновья, слава Богу, жили безбедно и дружно. Старшие уже женились, односельчане позаботились о них. Иламана он женил сам. В долги залез, но свадьбу устроил щедрую, как положено. Ровесники хотели и его судьбу устроить — после войны и в Ханаре, и в соседних селах было немало вдов. Да что там вдов!.. Здоровьем его родители не обидели, был он из хорошего рода. Но он отказался наотрез: поздно начинать жизнь сызнова.

Вскоре после свадьбы младшего сына Черкез-ага собрал свой нехитрый скарб и перебрался сюда, в маленькую мазанку рядом с хлевом. Сыновья его отговаривали: двух прежних сторожей — молодых парней — убили басмачи, зачем ему, старику уже, рисковать собой ради чужой скотины. «Разве она чужая? — сказал тогда Черкез-ага. — Разве односельчане мало хорошего сделали для нас всех. Теперь мой черед отслужить миру. А к смерти я привык, одиннадцать лет спал в окопах с ней в обнимку.»

Он не хотел жить в чужом доме.

С тех пор, как он ходит за общественным скотом, Черкез-волопас привык к одиночеству. Дни похожи один на другой. На рассвете он размышляет о превратностях судьбы, потом кормит и поит скотину, когда волов заберут, выгоняет коров пастись, а сам садится пить чай. Пьет неторопливо, с чувством. Но сегодня — день особый. Сегодня — скачки; ради них можно и от чая отказаться!

— Неторопливая утка первой взлетает, — говорит он корове. — Да, пер-вой...

Корова косит на него взглядом. Большой ее глаз смотрит тупо. Она печально вздыхает, словно сочувствует старику.

Еще вчера Черкез-ага попросил Ильмурада, чтоб пришел подменить его на время скачек. Но и так кто-нибудь бы пришел. Сыновья знают, что скачки для него теперь единственное развлечение. Лишь ради них соглашается Черкез-волопас покинуть свой пост, чтобы недолго побыть среди людей, поговорить с ровесниками, узнать новости. С юности увлекающийся, азартный, он и в старости остался таким. Скачки помогают на время забыть обо всем на свете, быть беспечным и счастливым, как в былые годы. Может это и плохо, что он сторонится людей, но мало кто из односельчан понимает его теперь. Первое время после возвращения в Ханар он надоел всем рассказами о годах своих странствий, о боях, в которых довелось ему участвовать, о далекой реке Дон. Сперва его слушали внимательно, после, когда все его истории село выучило наизусть, стали за глаза посмеиваться. «Знаем, знаем, — перебивал его, усмехаясь, кто-нибудь из стариков, когда Черкез-волопас собирался в очередной раз поведать о своих подвигах, — нам Деник-хан уже по ночам снится.» Никак не могли понять ханарцы, почему их земляк, который отправился на войну, чтобы помогать белому царю, стал воевать с его генералом Деникиным. Теперь только среди мальчишек находил Черкез-волопас благодарных слушателей. Они готовы были внимать ему с утра до вечера, а потом, разделившись на «красных» и «белых», носились с криками по селу, устраивали засады, словно саблями, рубились ивовыми прутьями.

Сыновья навещали Черкеза-волопаса от случая к случаю, чаще к нему приходили внуки. Им он был всегда рад. Мучаясь днями от безделья, мастерил игрушки, делал тростниковые дудочки. Когда бы ни пришли внуки, у деда всегда был готов для них подарок.

Черкез-ага еще размышлял: стоит ли сегодня затевать чаепитие, как пришел Ильмурад. До скачек было еще далеко, но он сразу заторопился.

— Только не спи. Спящий — наполовину мертвый. Если что, стреляй! — говорил он, пока Ильмурад заваривал чай.

— Чего спешите, отец? Успеете на скачки. Посидите со мной, попейте чайку, — попросил Ильмурад. Молодым в тягость одиночество.

— Нет, нет, сынок... — отказался Черкез-ага. — Медлительная утка первой взлетает, — повторил он свою любимую присказку, решительно переворачивая вверх дном свою пиалу.

Если скачки устраивали в соседних селах, Черкез-волопас, отправляясь туда, запрягал свою лошадь в старую скрипучую арбу. На этой же арбе под ворохом сена хранилось и все его нехитрое имущество: несколько пиалушек, помятый чайник, древнее ружье, которое выдал ему союз «Кошчи», когда Черкез-ага вызвался сторожить хлев. Сегодня он решил отправиться на скачки пешком. Хорошо неспеша пройтись по селу, вспомнить детство. Каждый поворот тропинки, всякое дерево оживляют воспоминания. Как славно ему было бегать здесь когда-то мальчишкой! И как мало переменилось село, а ведь прошла почти целая человеческая жизнь. Кое-кого из ровесников уже нет на свете. Как знать, может, и он идет по этой дороге в последний раз: кто ведает, когда придет за душой человека грозный ангел смерти с обнаженной саблей в руке! Слава Аллаху, что пока достает сил самому добраться до скачек.

Дождь, что пролился вечером, прибил пыль на дороге. Под лучами утреннего солнца образовалась тоненькая корочка, которая трескалась под ногами, как первый осенний лед. Как ни осторожно ступал Черкез-волопас, ему казалось, что чокаи стучат громко и гулко, и этот звук слышит все село. То-то посмеются, что он чуть свет пошел на скачки! Но Ханар в этот час точно обезлюдел. Возле кибиток он замечал только женщин и детей. Может, все мужчины уже на скачках? Черкез-ага прибавил шаг. Шел, шумно дыша полной грудью. В воздухе был разлит горьковатый аромат цветущей верблюжьей колючки, росшей по обочинам дороги. «Славные сегодня будут скачки!» — подумал он.

Возле старой крепости, осевшие стены которой были изрезаны глубокими трещинами, совсем как старческие щеки — морщинами (кто разрушил крепость: враги, или это время и дожди сделали свое дело, неутомимо трудясь из года в год — никто из ханарцев не ведал), дорога раздваивалась. Черкез-ага свернул на дорогу рода мятеков, что вела к предгорьям.

В селе обитало два рода: мятеки и дузчи. Дорога, что пересекала село из конца в конец, была границей между ними. Люди жили мирно, по-соседски. И только на скачках каждый род молил Аллаха, чтобы победа досталась их коню. Поговаривали, что и мертвые в могилах на время скачек теряют покой, а проигрыш рода заставляет их страдать и стыдиться. Что ж тогда говорить о живых? Черкез-ага был из рода мятеков, и сегодня он не тревожился, верил, что Шункар не подведет, принесет славу и своему сейису и всему роду. Вот только бы самому не оплошать, как в прошлый раз. Тогда Черкез-волопас, не в силах сдержать восторга, когда конь Сары-сейиса на полкорпуса обошел вороного жеребца из дальнего села, высоко подбросил свою шапку, а поймать ее, увлеченный скачками, позабыл. Когда заезд наконец закончился, он с удивлением обнаружил, что на голове нет тельпека. «Шапки моей не видели?» — спрашивал он соседей, но те только удивленно пожимали плечами. Лишь после того, как все разошлись, Черкез-волопас нашел свой тельпек. Он лежал в пыли, затоптанный сотнями ног.

Была еще одна причина, что заставила его отправиться пешком. На скачках будут самые красивые кони со всей округи. Каждый из них достоин восхищения. Да и те лошади, что не будут участвовать в заездах, тоже прекрасны. И вот заявится он на своей кляче. То-то люди посмеются. Черкез-ага давно уже научился смирять свою гордость, но зачем давать людям лишний повод позубоскалить?

Его нагнали два парня, вежливо поздоровались и остановились, не решаясь обогнать старика. Черкез-волопас сошел на обочину.

— Да вознаградит вас Аллах за вашу почтительность! — ответил он на их приветствие и, шурясь, взгляделся в лица джигитов, пытаясь узнать, чьи они дети. — Ступайте, не задерживайтесь! Если будете за мной плестись, на праздник опоздаете. Эх, медлительная утка...

Парни его не дослушали.

Скачки проходили в небольшой долине. С одной стороны ее были горы, с другой тянулась гряда невысоких холмов. Это место выбрали недавно. Прежде состязания проходили неподалеку от нынешнего жилища Черкеза-волопаса. Там была пустошь, ровная, как ладонь. Но два года назад ее распахали, чтобы сеять пшеницу. Аксакалы выбрали новое место, и оно пришлось всем по душе. Раньше кони ни на миг не исчезали из виду, а теперь вскоре после старта скрывались за холмами и появлялись лишь на обратном пути, когда заезд уже подходил к концу. И неведение, подстегивая воображение, придавало скачкам особую прелесть.

Черкеза-волопаса встретили и провели на почетное место, приготовленное для старейшин. Там, на возвышении, были расстелены кошмы. Народу собралось еще немного. Несколько стариков в молчании пили чай. Черкез-ага поздоровался с ними и присел чуть поодаль.

— Как здоровье, Черкезмухаммед? — окликнул его Сейит Кары. С важным видом он сидел выше всех, устроился там нарочно, чтобы его тщедушная фигурка выглядела солиднее.

Черкез-ага сдержанно кивнул в ответ. Слова Сейита Кары показались ему оскорбительными. Он еле сдержался, чтобы не ответить колкостью. Надо же, жулик, сморчок, чьи воровские повадки навлекли на Ханар столько позора, теперь пытается корчить из себя достойного человека, чуть ли не муллу!.. Всю жизнь прожил прихлебателем у Дурды-бая, вместе с ним и в Иран ушел. Вернулся оттуда без руки — культи до локтя. Всякие байки рассказывает, мол, потерял руку, когда на караван напали неизвестные всадники. Как же!.. Людей не обманешь, всем известно, за что в Иране руку рубят. Когда Сейит Кары, оправдываясь, начинает рассказывать, как первым бросился защищать Дурды-бая, как отсекали ему руку саблей, и он, не в силах стерпеть боль, упал из седла, что и спасло его от смерти, люди только улыбаются. Но община все прощает. Черкез-ага никак не может взять в толк, почему односельчане позволяют Сейиту Кары себя морочить. Вчерашний вор — теперь воображает себя святошей, учит, как подобает жить праведным мусульманам, и люди его слушают. Иные теперь за честь считают видеть Сейита Кары своим гостем. Черкеза-волопаса всякая встреча с этим мошенником выводит из себя. Так и подмывает вцепиться в его реденькую бороденку! «Надо же!.. Мальчишкой он мечтал, чтобы поговорить со мной, пройти по улице рядом, а теперь цедит слова сквозь зубы, первым спрашивает о здоровье, точно бай. Сказать бы ему!..» Но Черкез-ага не дает разыграться своему гневу: былой славой хвалится лишь бессильный..

Подошел Сары-сейис. Глядя, как его приветствуют, Черкез-волопас на мгновение почувствовал зависть. Оскорбление, нанесенное высокомерным Сейитом Кары, разбудило в душе низменные чувства. Вспомнил, как встретили его самого сегодня: кто улыбнулся, кто досадливо поморщился. Лица людей – словно зеркало. Глядя в него, сразу узнаешь, кто ты есть. Каждый держится с тобой согласно твоему достоинству. Если один, чтоб не обидеть, постарается скрыть свои истинные чувства, то остальные и не подумают это сделать. Но когда Сары-сейис присел рядом, поздоровался, обычное благодушие вернулось к Черкезу-волопасу.

Больше всего ему хотелось бы походить на Мухаммеда-серке, устроителя нынешнего праздника. Вот человек вполне довольный своей судьбой! Иные над ним посмеиваются, считают простаком, но многие – и Черкез-ага среди них – радуются за него чистосердечно. Не деньги, не сила, а почет, уважение земляков больше всего заботит людей, каждый хочет получить долю побольше. В этой дележке Черкезу-волопасу достается малюсенький кусочек, и это его порой огорчает. А вот Мухаммеду-серке все равно. Живет, как сердце велит.

Разве плоха его жизнь? Нет, не плоха, да только не всякому удастся жить так, на других не оглядываясь. Услышал Мухаммед-серке, что в дальнем селе будут скачки, и отправился туда. Молотить зерно вместо него пришлось Черкезу-волопасу и еще двум членам «Кошчи». Другого, окажись он на месте Мухаммеда-серке, проклинали бы последними словами, а тут только посмеивались: что делать, если он такой человек! А когда Мухаммед вернулся и стал рассказывать о скачках, все радовались вместе с ним, словно сами на празднике побывали.

Но не так-то он прост, как иные думают. Не хуже других знает, что не всякому слову стоит верить, что люди преуспели в искусстве находить слабинку в душе другого. Кто ни придет просить помощи к Мухаммеду-серке, начинает расхваливать его коней и только после этого заговорит о своей нужде. А потом еще над ним же посмеиваются, мол, Мухаммед-серке за доброе слово о своих клячах готов душу отдать. Он и в самом деле человек на редкость добрый. Однажды для соседа корову свою зарезал. Просто так, от души. Знает Мухаммед-серке и о том, как страдают, идя к нему с просьбой, те, что не умеют говорить красивых слов. Одного льстеца, когда тот стал сравнивать коня Мухаммеда-серке с конем пророка, отколотил и выгнал из дому. А после, посмеиваясь, объяснил, что сделал так, чтобы уравнять тех, кто честен, кто, идя к нему с просьбой, переживает, что не умеет льстить, с теми, кто хвалит его ради собственной корысти. И верно, с тех пор в его кибитку льстецы идут с опаской!

– Не рано ли ты, Грамотей, третьей ногой запасся! – заговорил Сары-сейис, разглядывая посох Черкеза-волопаса. – Уж не хочешь ли ты быстрее нас, своих ровесников, на тот свет прийти?

– Это я защищаться... – смутился Черкез-ага.

– От кого это? – удивился Сары-сейис.

– От собак...

– Если так – ладно. Я решил, что ты от старости этой палкой отбиться хочешь!

– Чего мне ее бояться! Поди и ей стыдно к бедняку с просьбой приходить. Все меня позабыли. Даже Исафили. По всему селу дань свою собирает, а моя кибитка рядом с кладбищем, только он ее сторонится.

– На бедность свою не очень-то надейся! – Сары-ага помолчал. – Он никого не милует. Другое дело, скажи, что ты днем и ночью без сна, вот и не выберет время к тебе подобраться. Тельпек привязал сегодня? – спросил он с улыбкой.

Черкез-волопас смущенно покачал головой.

– Не дай бог снова так осрамиться!.. Обо всем на свете забыл, когда увидел твоего Шункара. Этот конь – как песня...

Сары-ага мог целый день слушать, как хвалят его коня. Но чтоб не уподобиться Мухаммеду-серке, виду не подал, произнес насмешливо:

– Ты так кричал, Грамотей, – я думал, мертвые из могил встанут. Чуть не оглохли все.

– И сегодня Шункар выиграет главный приз! – воскликнул кто-то, желая обратить на себя внимание Сары-сейиса. Но тот даже головы не повернул.

– А разве буланый Мухаммеда-серке плох?

– Сегодня большие скачки, – сказал Черкез-волопас, желая отвлечь внимание Сары-сейиса от разгоравшегося спора. Никакого понятия у людей нет! Черкез-волопас испытывал неловкость от того, что в присутствии хозяина Шункара начали хвалить других скакунов.

– Да, коней много. Половина в скачках не участвовала, – согласился Сары-ага. И добавил: – Ничего, наш Шункар среди них не затеряется.

Наездники вывели к зрителям коней, заявленных в первый заезд. Шункар в нем не участвовал. Для начала должны были состязаться на короткой дистанции. Главные призы будут разыгрывать позже.

– Этого крапчатого я прежде не видел. Хороший конь! Посмотри, какой рослый. Ноги какие, грудь!.. Быть мне жертвой его стати! – Черкез-волопас с первого взгляда влюбился в крапчатого.

– Да, ухожен хорошо, – сдержанно заметил Сары-ага, но его слова тотчас подхватили, и вскоре мнение сейиса стало известно всем, кто пришел на скачки.

Большинство сейисов было рядом с наездниками. В лохматых белых тельпеках и красных халатах из домотканной «гырмызы» они давали последние наставления, точно прежде для этого у них времени не хватило. Другие – их было меньше – сидели среди зрителей. Лица у них были точно каменные – всякий боялся выдать свои чувства. И если зрители оценивали сейчас лошадей – сейисы присматривались друг к другу. То один, то другой искоса поглядывал на Сары-ага.

Тот сидел, прикрыв веки, казалось, что он слушает прекрасную мелодию, отдавшись ей целиком, растворившись в ней, и страсти, что кипели вокруг, его не задевают. «Слава богу, что глазами нельзя метать стрелы! – подумал Черкез-волопас, заметив, как зло, завистливо посмотрел на Сары-сейиса проклятый Сейит Кары. – Где твоё смирение, мулла? Небось, смерти ближнему сейчас желаешь. А ведь это только скачки. Не приведи Аллах, столкнуться с тобой, Сейит-мулла, когда спор зайдет не о ковре, а о жизни!..»

Вернулись три всадника, которых посылали проверить маршрут. Распорядитель выслушал их и направился к старейшинам, чтобы получить у них разрешение начать состязания. Аксакалы согласно кивнули. Распорядитель, поблагодарив их поклоном, сбежал с пригорка и зычно крикнул:

– Выводите коней!

К старту вывели семь двухлеток. Среди них выделялась гнедая с огненным отливом. Она грызла удила, рвалась в сторону. Наездник стегнул ее плетью. Этого Сары-ага стерпеть не смог.

– Что же ты делаешь, несчастный! – крикнул он. – Кобыла видит, что соперники у нее сильные, вот и злится. А ты ее плетью...

Вокруг одобрительно зашумели. Тут на круг вышел хозяин гнедой – сухопарый высокий мужчина средних лет с надменным лицом, и стал вслед за Сары-сейисом ругать наездника.

– Вот-вот, вали свою вину на другого! – заорал Черкез-волопас. – Ты ни в чем не виноват?.. Сядь на место, не на тебя пришли смотреть. Не задерживай скачки!.. Перед тем, как на люди выйти, подумай, есть у тебя что им своего сказать!

Длинный торопливо скрылся в толпе, а сидевшие вокруг с интересом и с опаской посмотрели на Черкеза-волопаса.

Во втором заезде был и крапчатый, что приглянулся Черкезу-волопасу. Сейчас он всем сердцем желал ему победы. А вот наездник, наездник ему не понравился: маленький, вертлявый, в большой белой папахе, скрывавшей пол-лица, так, что между тельпеком и алой шелковой сорочкой виднелась только узенькая полоска щеголеватых усиков. «Разве этот конь такого наездника достоин?» – с раздражением подумал Черкез-ага. Вдобавок, когда распорядитель махнул платком, давая знак начать заезд, вертлявый замешкался, ушел со старта последним. «Что ж ты делаешь!» – в сердцах воскликнул Черкез-волопас и до боли в пальцах сжал кулаки.

От сердца чуть отлегло, когда крапчатый догнал основную группу и приблизился к всадникам, что вели заезд.

– Ну!.. Ну!.. – шептал Черкез-ага, нетерпеливо ерзая на своем месте. Ему так хотелось, чтобы крапчатый сумел вырваться вперед еще до того, как кони скроются за холмом.

– Давай, Берды! Покажи им! – кричали одни, переживая за наездника, что был сейчас впереди.

— Амангельды!.. Амангельды!.. — неистовствовали другие, и вместе с ними был Черкез-ага. На Амангельды он был, откровенно говоря, зол, но жизнь бы свою сейчас отдал, чтобы крапчатый вышел вперед. Наездник сдерживал коня.

— Ты что скакуну воли не дашь! — вопил Черкез-ага, позабыв обо всем на свете. — Овец сюда пришел пасти, что ли?..

Он так переживал, что если бы страсть старика сейчас передалась крапчатому, тот бы взлетел, как волшебный конь пророка. Увы... Кони должны были вот-вот скрыться из виду, а крапчатый по-прежнему отставал.

С вершины холма ристалище напоминало громадный дугар. Круг, откуда стартовали лошади, вокруг которого сидели зрители, постепенно вытягиваясь и сужаясь превращался в длинный узкий гриф и вдалеке, там, куда были сейчас устремлены все взгляды, скользили по нему, точно пальцы музыканта, кони: то вырывались вперед, то отставали, но все вместе они стремились куда-то, как прекрасная мелодия. И эта мелодия завороживала сейчас людские сердца, заставив позабыть заботы и печали, которыми наполнены будни.

На время кони исчезли с глаз, но вскоре, обогнув лысый холм, появились снова и теперь крапчатый шел голова к голове с серым жеребцом, что вел заезд с самого начала.

— Эх! — только и смог выдохнуть Черкез-волопас, увидя это.

— Не пропускай, Берды! Берды-ы!..

— Поддай, Амангельды, братишка милый, поддай! Красавец ты мой, не опозорь! Ненаглядный ты мой!..

Чем ближе к концу была скачка, тем сильнее разгорались страсти. Теперь, казалось, что соревнуются уже не скакуны, а сами зрители.

— Давай! — громче всех кричал Черкез-волопас. — Не отстань! Все богатства тебе отдам, кибитку свою подарю...

От возбуждения он, как мальчишка, размахивал руками, брызгал слюной во все стороны, подпрыгивая, точно сам сидел в седле, продвинулся далеко вперед от своего места. В какой-то миг серый чуть было не обошел крапчатого, и тогда Черкез-волопас простонал, словно сердце его разрывалось от боли: — Не пропусти, что скажешь отдам, кибитку... кибитку отдам...

Победил крапчатый; он в самое последнее мгновение вырвался вперед и опередил серого жеребца на полтора корпуса: все-таки заставил его глотнуть пыли из-под своих копыт!

Счастью Черкеза-волопаса не было предела.

— А, Сары, что я говорил!.. Ты сейис, тебе о конях все известно, да только и я кое-что понимаю. Разве я не говорил тебе... — И только тут Черкез-волопас обнаружил, что Сары-сейиса нет рядом. Он удивленно оглянулся: Сары-ага и еще несколько стариков сидели в трех шагах сзади. Место рядом с сейисом пустовало. «Надо же!» — огорчился Черкез-волопас и от досады прикусил губу. Блаженное состояние, в котором он пребывал после победы крапчатого, вмиг улетучилось. Теперь надо было что-нибудь придумать. «Может, сказать, что отсюда видно получше?» — подумал он. — «Нет, уж лучше вообще промолчать», — решил Черкез-ага. Его одноклассники что-то оживленно обсуждали, и он счел, что лучше всего воспользоваться этим моментом. Но, когда он занял свое место рядом с Сары-сейисом, все, как по команде, смолкло. «Может, они надо мной потешались?» Молчание затянулось, Черкез-волопас понял, что ему надлежит продолжить разговор.

— Похоже и следующий заезд интересным будет, — произнес он, глядя на дальний холм, потом, чтоб проверить впечатление, посмотрел на Сары. Тот наблюдал, как наездник крапчатого получает подарок.

— Воистину он заслужил этого барана! — приободрившись, воскликнул Черкез-волопас.

Сары-ага посмотрел на него с улыбкой.

— Половина этого барана твоя, Грамотей! Без твоей помощи крапчатый вполне мог отстать.

Черкез-волопас не успел обидеться: распорядитель подал знак готовиться к очередному заезду. Стартовать должны были восемь лошадей, шесть из которых были из соседнего села. Среди них лучшим был светло-серый, чуть ли не белый жеребец — наездник с трудом удерживал его, ожидая начала скачки. Но

когда дали знак, ему помешал вороной, на миг заступил дорогу, и этого оказалось достаточно, чтобы остальные скакуны ушли вперед. Зрители возмущенно закричали.

– Перестань, Атаджан! – крикнул наезднику вороного распорядитель скачек.

Несмотря на это происшествие, серый жеребец, лучший в заезде, показал себя достойно. И все же победить ему не удалось – он пришел третьим. Первым достиг финиша буланый Мухаммеда-серке, золотом горевший в лучах полуденного солнца.

Вот тут-то Мухаммед-серке показал себя. Выбежал на середину круга, оглянулся на зрителей, потом схватил отрез шелковой ткани, назначенной в награду победителю заезда, и приподнес его наезднику, что скакал на сером жеребце. Тот отказывался. Мухаммед-серке уговаривал его и в конце концов уломал. Но этого ему показалось мало, он снял свой халат и протянул его смущенному парню. Наездник насилу отбил. Зрители повеселели, все восхищались поступком Мухаммеда-серке. Ханарцы были на верху блаженства!

И, наконец, настал черед главного заезда, в котором участвовал и Шункар. Лучшие кони округи должны были оспорить приз, назначенный хозяином праздника – Мухаммедом-серке. Текинский ковер, расстеленный на видном месте, на склоне холма, пламенел среди молодой травы. Каждого наездника зрители приветствовали восторженными криками. Те выезжали один за другим, не сразу, чтобы всякий мог вполне насладиться любовью своих почитателей. Когда появился Мулькаман на Шункаре, Черкез-волопас только языком зацокал от блаженства, словно все слова позабыл, глядя на своего любимца.

– Мульки славный наездник, под стать Шункару, – обратился он к Сары-сейису, который неотрывно следил за тем, как наездники готовятся к скачке. – Понимает коня.

– Не все понимает. Молод пока, – не повернув головы, ответил Сары-ага.

– Так ведь человек за тем и живет, чтоб ума-разума набираться!..

Ответа не последовало.

И в этот, главный заезд Мухаммед-серке заявил своего коня, хотя на победу, конечно, не надеялся. Глядя, как его проводят по кругу, Черкез-волопас, который помнил Мухаммеда сопливым мальчишкой, снова порадовался за своего земляка. Хоть он и молод, а жизнь понимает и умеет ей насладиться. Трех скакунов держал Мухаммед в своей конюшне и всем доказывал, что одного коня человеку мало. «А ведь и в самом деле так! Слишком сильна привязанность человека к лошади, чтобы он мог быть по-настоящему счастливым, отдав свое сердце одной, пусть и самой прекрасной. Мало ли что может случиться: вырастишь ты коня, свяжешь с ним свои надежды, а попадетсЯ какой-нибудь Атаджан – и все пойдет прахом. Может, жизнь приносит нам так много страданий потому, что она у нас одна-единственная? Живешь, ждешь хорошего дня, а он все не наступает. Знать бы, что будет другая жизнь: так и с этой можно было бы примириться, все тяготы стерпеть. Зато уж после пожить на славу!» – Черкез-ага вздохнул. Верно люди говорят, что ленивый богат мечтами!

Между тем уже начался заезд. Дистанция была длинной, всадникам предстояло преодолеть расстояние до села и обратно, потому начали не резво. Зрители, зная, что настоящая борьба развернется позже, почти не следили за ходом скачки. Никто из наездников не хотел вырываться вперед, лошади шли кучно, подняв облако густой пыли. Прошло немного времени и стало казаться, что столб пыли движется к селу сам собой. Когда он скрылся за холмом, споры, что шли с тех самых пор, как Мухаммед-серке объявил, что устраивает той в честь рождения внука, разгорелись с новой силой. Казалось, что среди зрителей нет двоих, которые бы желали победы одной лошади. Послушать – так всякий прав! Как не поверить, если человек готов биться об заклад, ставит своего единственного барана, другой – новую, ненадеванную шубу. Вот уже ударили по рукам! Как ни дорог ковер, что выставил в награду Мухаммед-серке, он в три, в четыре раза дешевле сделанных ставок. Если бы Аллах захотел угодить каждому, кто молил Его сейчас о поддержке, все кони пришли бы одновременно, голова к голове, ноздря к ноздре. Но так не бывает – лишь одному уготована победа.

Черкез-волопас ничуть не сомневался, что победителем будет Шункар. Так думали все, кто разбирался в скакунах. У жеребца Сары-сейиса были наилучшие шансы. У этого коня сейчас пора расцвета. Но в таком заезде всякое может произойти. От коня, конечно, зависит многое, но, увы, не все. В седлах сидят люди, а

они с недавних пор привносят в соперничество слишком много своей низменной страсти. От такого человека, как Однорукий, всего ждать можно! Черкез-волопас едва сдерживался, так и подмывало крикнуть: «Что вы, глупцы, понимаете!...» тем, кто расхваливал жеребца Сейита Кары, сулил ему победу над Шункаром.

Среди всеобщего возбуждения лишь Сары-сейис был невозмутимо спокоен. Со стороны могло показаться, что ему и дела нет до того, чья лошадь придет первой. Он и в самом деле почти не испытывал волнения. Когда лошади ждали начала скачки, ему хватило одного взгляда, чтобы в последний раз удостовериться — Шункару сегодня нет равных. Лишь две лошади могли бороться с ним по-настоящему: серый, очень похожий на Шункара конь из Дашгуи и жеребец Сейита Кары. Бороться они могли, победить — нет. У серого были короткие ноги, к тому же сейис перепоил коня перед скачкой. Когда наступит решительный момент, пот будет заливать уставшей лошади глаза, мешая бороться в полную силу. А у Сейита Кары хороший жеребец. Имея такого, можно без хвастовства говорить, что ты умеешь готовить коней к скачкам, и надеяться на победу. Но сегодня этой надежде не суждено сбыться. Опытный глаз Сары-сейиса сразу заметил небольшую опухоль на крупе коня. Надо было пару дней назад освежевать барана и приложить жаркую, окровавленную шкуру к крупу, чтобы опухоль сошла... Сары-ага опасливо оглянулся — не догадался ли кто о его тайных мыслях. Лишь Создатель знает, кто окажется победителем. И самый резвый конь, бывает, приходит последним. Все связано в этом мире. Великие цари гибли из-за случайности, что ж говорить о коне — на ровном месте споткнуться может.

И в этот самый миг из-за холма появился всадник. Как всегда, это произошло так внезапно, что мало кто из зрителей успел уловить мгновение, пока он был один, чтобы понять, кто ведет скачку.

— Шункар!... — разом выдохнула толпа.

Но рядом с Шункаром, голова к голове, шли серый из Дашгуи и жеребец Сейита Кары. Сейчас, на повороте, невозможно было понять, какой всадник ближе к желанной цели. Трое вели скачку с отрывом, остальные, растянувшись, преследовали их. Давно ли каждый из скакунов имел своих страстных поклонников, теперь лишь три из них владели умами людей. Другие оказались вмиг позабыты, словно их и не было вовсе. Люди повскакивали со своих мест, размахивали руками, вопили, будто их крики могли прибавить силы лошадям и смелости наездникам.

— Атаджан, гони, гони! — кричал Сейит Кары, размахивая над головой пустым рукавом.

— Мульки-джан, постарайся... Быстрее, мой Шункар, быстрее!.. Прибавь, дорогой, жизни за тебя не пожалео!... — шептал Черкез-волопас, сквозь стиснутые зубы. Он напрягся, низко пригнулся, точно сам сидел в седле.

Первую половину дистанции Мульки не давал Шункару воли, чтоб тот не вырвался вперед, не задал скачке слишком высокой резвости. Лишь у села, возле старого чинара, где в толпе девушек и подростков должна быть и Курбангуль, он послал Шункара вперед и тот, легко обойдя других лошадей, первым пришел к повороту. Силы коня были почти не растрчены, и он мог бы с отрывом вести скачку до конца, но Мулькаман не сразу разглядел Курбангуль. Он оглянулся, ища ее взглядом в толпе, заметив, помахал рукой. Шункар, который привык, что во время скачки он и наездник составляют одно целое, растерялся, не понимая, чего хочет Мульки. Этого секундного замешательства оказалось достаточно, чтобы серый и жеребец Сейита Кара сократили разрыв. Но Шункар не дал себя обойти. Постепенно его беспокойство прошло: он шел легко, к нему вернулась уверенность, сознание собственной силы. Когда он, не сбавляя скорости, обогнул холм и увидел впереди пеструю толпу, желание победить, прийти первым стало непреодолимым. «Шункар!... Шункар!...» — кричала толпа на сотни голосов и эти звуки ласкали его слух. Конь знал, что все эти люди желают ему победы, и он не мог обмануть их. «Чув!.. Чув!...» — крикнул Мульки, встав в стременах, торопя Шункара. Но нужды в этом не было. Шункар летел как сокол, не видя, но угадывая, что соперники постепенно отстают, не в силах выдержать его резвости.

Шункар пришел первым, опередив жеребца Сейита Кары на полкорпуса. Радости Черкеза-волопаса не было предела. Он со всей силы хлопнул Сары-ага по плечу, от чего тот невольно поморщился.

— Да озарит свет твои очи, сейис, твой конь пришел первым, поздравляю!

Черкез-волопас чувствовал себя уставшим. Он слишком близко к сердцу принимал скачки, слишком переживал за ход борьбы, чтобы относиться к состязаниям, как к развлечению. Теперь, когда все победители были известны, он позволил себе расслабиться, и испытывал настоящее удовлетворение, как человек, выполнивший тяжелую и трудную работу. Он заметил покрасневшего от досады Сейита Кары, и мир показался ему еще прекрасней. Все-таки есть еще на земле справедливость. На миг встретившись с Сейитом Кары взглядом, он усмехнулся с вызовом, дерзко, словно это ему самому удалось сейчас посрамить выскочку.

Нет, не кони сейчас соперничали, люди... Теперь только на скачках, пожалуй, достойный человек может утвердить себя, показать на что он способен. Здесь воздается по справедливости: кто вложил в своего коня больше любви, тот получит сторицей. И дело совсем не в призах и подарках. Разве Сейит Кары беден, разве не может он купить такой ковер? Конечно, может. И десять таких ковров может купить. Но разве они принесут ему радость! Не ковер ему нужен, а уважение людей. Чтобы гордились им, одноруким муллою, как сейчас Сары-сейисом и его сыном.

Мульки, откинувшись в седле, держа перед собой на вытянутых руках скатанный ковер, медленно ехал по кругу. Он широко улыбался, точно хотел одарить этой улыбкой всех, кто собрался здесь, чтобы каждому передалась частичка его радости. «Мульки!.. Шункар!..» — кричали люди. Совсем так же кричали они совсем недавно, когда кони приближались к финишу, но тогда лица людей были искажены нетерпением, глаза горели от азарта, словно умопомрачение сошло на зрителей. Теперь же лица были просветленными, радостно сверкали глаза — в них не осталось прежнего безумного огня.

Захваченный этим общим восторгом, переполненный им, Черкез-волопас повернулся к соседу, но вместо радости увидел в глазах Сары-сейиса безразличие и усталость. На миг он оторопел, а потом закричал, что было духу: «Сары-сейис!.. Сары-сейис!..» И, усилив многократно его голос, эхом откликнулась толпа: «Сары-сейис!.. Сары-сейис!..»

«Совсем черствым стало мое сердце, если мог я позабыть в такой миг о друге, — думал Черкез-волопас, глядя, как Сары-сейис, поднявшись, прижав ладонь к груди, кланяется людям. — Люди видят только внешнее, не утруждают себя, чтобы добраться до подлинной сути, до самой глубины. Велика ли заслуга этого мальчишки в том, что Шункар выиграл заезд? Люди слепы. Они славят наездника, а того, кто вырастил замечательного коня, подготовил его к победе, позабыли, не замечают в своем ослеплении. Как же не страдать сейису от такой неблагодарности? Да еще как отец он переживает. Мудрено ли? Мало ли наездников погубило зазнайство? Сидишь в седле, смотришь на народ свысока, голова кружится от похвал, от восторгов, токи всеобщей любви хмелят, словно весенний ветерок, — обо всем на свете позабудешь, гарцуя на отцовской славе!»

Объявили последний заезд. Молодые кони, впервые выставленные на скачки, сразу взяли резво, пошли плотной группой, но люди следили за ними без интереса. Главный приз уже разыгран. А этим, молодым, как ни резвы, еще долго скакать до своего главного приза, до своей славы...

О, шах-тут, великое дерево! Твой ствол подпирает небо, крона твоя шумит меж облаков — нет тебе равных в Ханаре. Ты — падишах среди деревьев! Странники, идущие издалека, по тебе узнают маленькое село на границе песков... О, шах-тут, великое дерево!..

* * *

Маленький Еламан больше других ждал завершения скачек. Как только взрослые ушли, он умылся, тщательно, как взрослый, — и руки помыл, и лицо, и шею — а потом побежал к матери, чтоб передела в чистое. Бахар дала ему свежевystиранную рубашонку, новые штанишки. Облачившись по-праздничному, Еламан сел на бревно, что валялось рядом с колодцем, и стал ждать отца. На улице играли его ровесники: смеясь, передразниваясь, обсыпали друг друга пылью. Как весело им было! Еламан посматривал на них с завистью. Славно было бы побежать к друзьям, но за игрой не заметишь, как испачкаешься, а к Шункару в

грязных одеждах подходить нельзя — конь обидится. И дедушка, и отец, когда идут к Шункару, всегда приводят в порядок одежду.

Ничего, вот возвратится отец, тогда все будут завидовать ему, Еламану. Всякий мечтает прокатиться верхом на Шункаре, да не каждому такая честь! Отец посадит его в седло! Он обещал! Вот бы проехать через все село, съездить к бабушке и дедушке... Нет, они живут далеко. Отец никогда к ним не ездит. Еламан бывает у них лишь изредка, когда мама навещает своих родителей. Только с ней он бывает у бабушки и дедушки. А бабушка Гюльрух не любит, когда он говорит ей о Шункаре. «Дался тебе этот конь!.. Еще зашибет копытом... Лучше сливок попей!» — вот как она сказала, вместо того, чтобы обрадоваться.

Она не любит Шункара.

Время тянулось независимо медленно, и, может, впервые в жизни Еламан почувствовал, как тяжело бывает ждать. Несколько раз он забегал в кибитку, спрашивал, когда обещал возвратиться отец, и Бахар всякий раз успокаивала сына: «Вернется, обязательно вернется. Жди...» Но ждать становилось все труднее.

Его терпение было уже на исходе, когда Еламан услышал крики мальчишек: «Шункар! Шункар!». Он стремглав кинулся навстречу отцу.

— А ну, прочь с дороги! — грозно крикнул Мульки, останавливая Шункара.

— Отец, ты же обещал!.. — прошептал Еламан, с трудом сдерживая слезы.

Отец ничего не ответил. Даже не глянул в его сторону.

По дороге домой Мульки в мыслях ясно вообразил, как подъедет к матери и, не замечая завистливых взглядов соседей, отдаст ей ковер. Все шло, как он представлял себе, если бы не Еламан. Из-за мальчишки встреча с родными произойдет не так торжественно, как ему хотелось. Но сегодня Мульки был слишком счастлив, чтобы сердиться на сына.

Он остановил Шункара рядом с Гюльрух-эдже. С необычайно важным видом, наклонившись в седле, протянул ей ковер.

— Я выиграл главный приз, матушка! — добавил он громко, соскакивая на землю.

— Радость ты наша!.. Ты — свет наших глаз, опора нашего дома! Пусть моя жизнь будет за тебя жертвой! Войди в кибитку, позволь напоить тебя чаем, ненаглядный!.. — И тише, чтобы слышал только Мулькаман, сказала: — Я пирог тебе испекла, ты ведь любишь.

— Надо прогулять Шункара.

— Скоро дождь пойдет, душно. Смотри, сынок, как низко ласточки летают.

— Ничего, мама, не страшно...

Гюльрух-эдже, зная, что уговаривать напрасно, пошла к кибитке. Лишь когда бабушка скрылась за пологом, Еламан осмелился напомнить отцу, что тот обещал покатасть его на Шункаре. Мульки глянул на сына, увидел его полные слез глаза и усмехнулся:

— Ты кого больше любишь, сынок, — меня или маму?

Еламан — мысли его были сейчас заняты совсем другим: возьмет его отец в седло или нет — растерялся, не понимая, чего от него хотят.

— Ну, так кого же? — нетерпеливо спросил отец.

Губы у Еламана задрожали, он приготовился заплакать.

— Не плачь, джигит! Ты ведь меня любишь, верно? — подсказал отец, подмигнув, — А маму не любишь. Да?..

Еламан кивнул.

— Беги, скажи маме. Потом поедem кататься.

Еламан кинулся к кибитке. Но у порога остановился.

— А что принести, папа?

— Ничего не приноси! — рассмеялся Мулькаман. — Скажи и убегай!

Еламан, до которого только теперь дошел смысл отцовского поручения, стоял в нерешительности.

— Ну, чего ждешь? — спросил Мульки, садясь в седло.

— Мама ругать будет.

— Не бойся, брат! Пока я жив, тебе бояться нечего. А ну, бегом, а то сейчас без тебя уеду.

Желание сесть в седло было так велико, что Еламан забыл обо всем на свете. Еще раз посмотрел на отца и, увидев, что тот тронул поводья, вбежал в кибитку.

– Зачем ты сына такому учишь! – услышал Мульки за спиной голос матери. – Хочешь поругать жену, сам ей все скажи. Плохо так.

Мулькаман, откинувшись в седле, рассмеялся. Пустил Шункара шагом, схватил за руку выбежавшего из кибитки Еламана, поднял его в седло.

– Держи поводья, братишка! Но-о!..

Еламан мечтал проехать по селу, но отец, когда выехали со двора, направил Шункара в сторону зарослей. По дороге они проскакали рысью, но, когда свернули на тропу, уводившую в лес, Шункар пошел шагом. Конь ступал осторожно, точно боялся помять нежную молодую траву. Кустарники и деревья, что росли по обе стороны от тропы, еще несколько дней назад стояли голыми, а теперь покрылись зеленью, пахучей, липкой на ощупь. Молодая листва пока была еще не густой, солнечные лучи легко пробивались сквозь нее. Земля была усеяна солнечными пятнами, словно кто-то щедрой рукой разбросал золотые монеты.

Окружавшие село заросли ханарцы называли своим благословением. Еще бы, ведь те защищали их надежней крепостных стен. Валы барханов давно бы захлестнули Ханар, если бы не эта живая преграда. Всякое дерево, росшее здесь, в прежние годы было бережно хранимо людьми. Дрова на зиму заготавливали в горах, либо привозили из песков тяжелые стволы саксаула, что горели в очаге жарко, как уголь. Ни у кого и мысли не появлялось рубить тут. С недавних пор все изменилось.

Сыновья Дурды-бая и их дружки тоже знали с детства здесь каждую тропочку – заросли стали их убежищем. Идти в лес в одиночку стало опасно: могли напасть, ограбить, даже убить, но, слава Аллаху, пока такого не было. Заросли, которые всегда были для Ханара защитой, теперь стали его проклятием. Они, казалось, отрезали село от всего мира. Уже никто не решался выехать вечером из дому, отправиться к родственникам или друзьям в соседнее селение, чтобы узнать последние новости, поговорить о своих делах. Иной раз, когда тьма укрывала землю, казалось, что ханарцы остались одни на всем свете. На смельчака, который первым стал заготавливать дрова в зарослях, ханарцы обрушились с упреками. Но теперь все чаще слышался из лесу стук топора. Кое-где заросли заметно поредели, и ханарцы радовались этому: чем скорей удастся лишить басмачей убежища, тем раньше кончится изнурительная осада, которая приносит селу немалые убытки.

– Отец, когда я вырасту, я стану таким, как ты!

Мульки ответил не сразу.

– Эх, брат! Незачем тебе на меня походить. – Еламан удивленно посмотрел на отца. – Да, братишка, нелегко жить, когда тебя никто не понимает. Даже не хочет понять, что у тебя на сердце...

– Все равно буду такой, как ты! Дедушка мне даст Шункара!

Они выехали на полянку, в центре которой чернел след костра. Мульки остановил Шункара, соскочил на землю, снял с седла Еламана.

– Давай здесь остановимся!.. Пока ты вырастешь, уже ни дедушки, ни Шункара не будет.

– Почему?

Мулькаман посмотрел на сына, пожал плечами.

– Если хочешь иметь своего коня, сейчас дедушку попроси, не жди. Наш дедушка, пока его не попросишь, сам ни о чем не догадается. Вот так, брат! Жизнь он прожил, а жить по-настоящему не научился: деньги нужны человеку, чтобы их тратить. Запомни, братишка: если хочешь, чтоб тебя любили, надо сорить деньгами, не жалеть их – когда умрешь, никто тебе за них спасибо не скажет.

– Я не хочу, чтоб дедушка умирал.

Сердце Мулькамана сжалось от испуга.

– Кто ж этого желает!.. – Он разнуздал Шункара, пустил его пастись. – Ступай, братишка, побегай. Глянь-ка, сколько цветов. – Он указал в сторону одиноко росшей фисташки. – А я полежу, отдохну.

Еламан убежал. Мульки лег на спину, подложил руки под голову. Небо было нежно-голубым, прозрачным, невесомым. В вышине, клубясь, рождались облака. Их очертания поминутно менялись.

Парило. Лес, обычно наполненный щебетанием птиц, был сейчас утрумо тих, и эта непривычная тишина удручала.

Мулькаман прикрыл глаза, легким усилием вызвал образ Курбангуль, и девушка тотчас явилась на его зов, предстала пред его внутренним взором. Лицо ее было спокойным и насмешливым. Невысокая, хрупкая, большие черные глаза заглядывают в самую душу. Припухлые губы чуть приоткрыты, на щеках по обе стороны рта глубокие ямочки. Это они свели Мулькамана с ума. Казалось, вот-вот она рассмеется, кинется убежать, завлекая.

Видение было таким ясным, близким, что подумалось: стоит протянуть руки и девушка окажется в его объятиях. Миг — и он почувствует щекой жаркое ее дыхание, нежную податливость тела под руками. Однако он не настолько еще утратил контроль над собой, чтобы поддаваться этому искушению. Понимал, стоит шевельнуться, стоит лишь чуть-чуть передовериться, как чарующая картина исчезнет, а руки его ухватят пустоту. Идя напролом, действуя руками, с девушками вообще ничего не добьешься, что в мечтах, что наяву. Мулькаман давно понял эту нехитрую истину. Вот против красивых слов ни одна не устоит! Девушки доверчивей, чем дети. Скажешь, что любишь, что жить без нее не можешь — и достаточно. И чем грубее лезть, тем глубже проникает она в девичье сердце. Дурнушка ли, красавица — все равно. Говорят, что некрасивые девушки — умны. Глупости все это: у них не больше ума, чем у красивых, они только недоверчивей, осторожней. «Может, эта недоверчивость и есть признак ума?..» — скользнула ленивая мысль. Нет, это, конечно, не так. Нарлы — простаки, ума у него не больше, чем у коровы, но лезть его не заморочит. Однажды Мулькаман попробовал подольститься к брату и что же — получил по уху, да так, что в глазах потемнело! Нет, верно все-таки говорят, что «девушек обманывают уши, а мужчин — глаза». Складно сказано!.. Странная вещь, последнее время всякая мудрость, а отец, поучая, так и сыпал присказками, раздражала Мулькамана. Конечно, девушки доверчивы, но обманывает их — нет, не обманывает, притягивает! — другое: всякой хочется войти в семью побогаче, познатнее. Неужели и Курбангуль такая?.. Неужели и у нее корысть на уме?.. Вряд ли, она совсем другая. Разве мало парней-неженатых, из почтенных семей — кружит вокруг нее?словно ночные мотыльки вокруг лампы!.. Но она предпочла им его, Мулькамана! Уважение, которым пользуется в селе отец, Шункар — лучший конь округи, они — ни при чем. Разве мало у него собственных достоинств, способных увлечь девушку!?

Несколько недель назад, совершая круг почета, Мульки, возбужденный победой, восторгом людей, встал в седле во весь рост, приветствуя зрителей. С чего ему такое пришло в голову, он теперь и сам объяснить не может. После скачек за это здорово досталось от отца. Но может, зов судьбы его позвал?.. Спустя пару дней, когда он с друзьями пришел на холмы, где девушки пели ляле, к нему, словно случайно, приблизилась Курбангуль, не смея поднять глаз, сказала прерывистым шепотом:

— Ты не боялся?.. А вдруг бы Шункар тебя сбросил?..

— Меня?.. — Мульки хлебом не корми, дай только повод похвастаться. Он сразу нашел нужные слова:

— Неужели ты боялась за меня, красавица? Что там — стоять в седле! Все, что мог совершить Героглы¹, а он, сама знаешь, был великий наездник, двадцатью четырьмя приемами джигитовки владел — могу ради тебя сделать и я. Хочешь, будешь моей Агаюнус²? — Кровь прилила к щекам девушки, она еще ниже опустила голову. Мульки, окрыленный вниманием

красивой девушки, мог бы говорить до звезд, но тут словно кто-то толкнул его под руку: «Сейчас она уйдет!». И в самом деле: лишь успел он назначить Курбангуль свидание, как кто-то из подружек окликнул девушку. Она убежала и за весь вечер даже ни разу не посмотрела в его сторону, хотя Мульки все время следил за ней.

— Отец, поехали домой, дождь начался.

Голос сына вернул Мульки к реальности. Он нехотя разлепил веки — в самом деле дождь! Размечтался так, что и не заметил. Он провел ладонью по лицу, стирая дождевые капли. Расставаться с мыслями о Курбангуль не хотелось. Он вспомнил, как во время вчерашней встречи девушка попросила его обрить усы: «От них у меня дрожь по всему телу». Мульки усмехнулся: «Глупая! Сама не знаешь, отчего эта дрожь — быть мне жертвой!».

Он медленно, нехотя сел — глаза оказались вровень с глазенками сына. Еламан смотрел пристально, не мигая. Вот так порою смотрит отец, и от такого взгляда Мулькаману всегда становится не по себе. На миг он почувствовал к сыну неприязнь.

— Холодно. Поехали...

— Не ной!.. От такого дождя растут. — Мулькаман свистом подозвал Шункара. Рукавом халата вытер мокрое седло, посадил сына. — Сейчас поедem!.. — Он сел в седло, двумя руками поправил тельпек. — Пошел, Шункар!..

Еламан, греясь, доверчиво прижался к отцу. От тепла маленького беззащитного тельца сердце таяло. Но мыслями Мульки был по-прежнему рядом с Курбангуль: вот бы проехать с ней по селу, сидя вот так, в одном седле! Агаюнус... Та была мудрой, о Курбангуль такого не скажешь. Но кому нужна женская мудрость?

Красота — вот достоинство женщины! Только неуверенные в себе женятся на некрасивых. Много ли радости, если жена с утра до ночи станет пилить, учить уму-разуму?.. Пусть будет трижды глупая, но красавица, чтоб, как взглянешь на нее, холодок подбирался к сердцу от страха ее потерять. Пусть будет кокетливой, даже непокорной, — зато какими сладкими покажутся потом ее ласки!..

Мульки хотелось сейчас с кем-нибудь поспорить, но кроме маленького Еламана никого рядом не было. Разве он поймет? Нет, никто не в силах понять его, Мулькамана. Ни один человек на свете. Он одинок. Совсем-совсем один...

Мульки посмотрел на сына, но без любви, как на чужого. «А ведь этот мальчик мое подобие, мое продолжение и оправдание, — подумал он. — Все пройдет, исчезнет, не станет меня самого, лишь Еламан останется единственным напоминанием обо мне. И за это я должен его любить?.. Ради него должен жертвовать своим счастьем?.. Глупо...»

— Ты чей сын?

Мальчик удивленно посмотрел на него, потом что-то вспомнил, улыбнулся:

— Твой.

— Сказал маме, что ее не любишь?

Мальчик молчал.

— Сказал?..

— Да. — Губы ребенка чуть шевельнулись.

— Молодец!.. А что она?

— Мама?

— Мама, мама!.. Она плакала?

Еламан кивнул.

— Если хочешь еще на Шункаре покататься, когда приедем домой, скажешь маме, что она глупая, что она из дому убежала. Понял? Скажешь: «Уходи из нашего дома!». — В глазах ребенка появился испуг. На миг Мулькаману стало его жалко, но он не сумел себя перебороть. — Скажешь: «Тебя здесь никто не любит!»

Мальчик отвернулся, чтобы отец не увидел его слезы.

Деревья стали реже. Впереди виднелось село. Дождь усилился. Если бы не дождь, можно было бы не возвращаться домой, пока не стемнеет. Там ты точно стреноженный. Только и слышишь: «Младший!.. Младший!..» Его-то какая вина в этом! Почему отец не хочет отделить их с Нарлы? Зачем все время показывает свою власть? Нарлы терпит. А может только вид показывает? Надеется, что отец все оставит ему, любящему, покорному сыну? Дурак. Любит отец как раз его, Мулькамана. Может, поэтому и не выделяет Нарлы? Перед смертью шепнет тайком, где зарыто золото, и все — остальное мое дело. Пройдет немного времени — можно будет с Нарлы не делиться.

Золото... Есть ли оно в самом деле? Отец о Дурды-бае не любит вспоминать. Молчит, не говорит ни хорошего, ни плохого. Но мало ли... В селе никто не верит, что он мог его ограбить. И дети Дурды-бая тоже

не верят — иначе бы нам не поздоровилось. Но если ничего нет, если все их богатство — это конь, Шункар, так отчего отец так беспечен, отчего держит себя с первыми людьми на равных, покровительствует бедным, словно владеет сокровищами Каруна! ?.. За кем тянется, кого хочет обмануть?..

В святой день, по пятницам, в доме Сары-сейиса всегда готовили мясное. Плохо ли, хорошо ли шли дела — варили шурпу, так было заведено. По представлениям ханарцев, кто соблюдал такой порядок, почитался зажиточным. Увы, не все могли так раскошиться, хотя всякий старался, выбивался из сил, чтоб быть не хуже соседей. И нынче с утра Гюльрух-эдже отдала Бахар загодя припасенный кусок мяса, чтобы та сварила обед. Сначала, правда, отделила небольшой кусок на пироги для Мулькамана, своего любимца. Сделала это, таясь от невесток. Достала из-под одеял завернутый в полотняную тряпицу бараний окорок, отрезала ломоть не больше ладони, а остаток положила на место и только после этого позвала Бахар.

После полудня сыновья Нарлы из дома не отлучались. Присмирившие слонялись по двору, норовя попасть тетке на глаза, и о чем бы Бахар их ни попросила — помогали охотно, не прекословя. Они и хвороста принесли, и огонь в очаге разводили. Да и потом все крутились рядом. К тому времени, как в пыль упали первые капли дождя, шурпа была готова...

— Вернулись, ненаглядные мои! А я заждалась... Дождь такой! Как бы не простудились, думаю. — Гюльрух-эдже, что стояла на пороге

кибитки, вышла навстречу сыну. Подхватила из его рук маленького Еламана. — Беги домой греться! Дрожишь весь!.. А ты, Мульки, зайди ко мне, посиди у очага, пока все не собрались... — добавила она, когда малыш, шлепая босыми ногами по лужам, убежал.

— А где отец?

— Отец твой Сейита Кары пошел навестить. Ждал тебя, перед самым дождем ушел.

— Ждал? — Мулькаман удивленно посмотрел на мать.

— Сам знаешь, пока Шункара нет дома, покоя не знает. Все тревожился: покормить коня хотел, боялся, как бы ты его не простудил...

— Надоело мне это!

— Не говори так, дорогой! Отец ваш сил не жалел, трудился день и ночь, чтобы вы горя не знали. Вывел вас в люди, женил...

— Ничего мне не надо!

— Не сердчай, душа моя!.. Пойди, съешь гутап. Не хочу, чтоб дети видели...

Мулькаман ничего не ответил, повел Шункара в затишь. Там он вытер его насухо, накрыл попоной. Побаловал Шункара горстью ячменя. Идти в дом не хотелось. Он подмел денник. Не зная, чем еще занять себя, сел на охапку сена, прислонясь к мокрой камышовой стене загона, долго, ни о чем не думая, смотрел на Шункара.

Потом, когда замерз, пошел домой. Войдя в кибитку, мельком глянул на Бахар. Она вместе с детьми сидела у очага. Было заметно, что она плакала, — веки покраснели от слез. Мульки скинул мокрый халат. Ни слова не говоря, не глядя на мужа, Бахар подняла его, повесила на рогатину сушиться. Так и сидели, молча глядя на огонь, пока не пришло время идти в отцову кибитку.

Уходя, Сары-ага разрешил не дожидаться его. Теперь всякий сел на свое место и, когда в кибитку вбежал, спасаясь от ливня, Нарлы, Гюльрух-эдже сняла крышку с казана, стала разливать шурпу. Первой наполнила деревянную миску Сары-ага, налила немного, на доньшко, и отставила ее в сторону. В следующую зачерпнула погуще.

— Соег, свет мой, пойдти, угости тетушку Мамагуль! Да осторожно иди, чтоб не расплескать. — Старший сын Нарлы нехотя встал из-за дастархана, подошел к бабушке. — Вах, хорошо бы позвать ее, да промокнет под дождем...

В это время из-за двери послышалось негромкое покашливание:

— Аю, матушка Гюльрух!..

– Заходи, заходи, соседка! – обрадовалась Гюльрух-эдже.

И Соег тоже обрадовался – не придется идти под дождь.

Мамагуль было чуть больше сорока, но выглядела она старухой: сутулилась, стыдась своего высокого роста, волосы седые.

– У неба донце совсем прохудилось, – сказала она, протягивая Гюльрух-эдже миску с пловом, которую принесла, прикрыв от дождя полою ветхого засаленного халата. – Отведайте нашего плова! Мяса совсем немного было, думала-думала, что приготовить, и решила, как в прошлую пятницу, плов сварить. Вы уж не обессудьте... Побегу...

– Во двор не выйти! Проходи, садись поближе к огню.

– Спасибо, матушка Гюльрух! Дети дома одни. Чуть задержусь – прибегут звать. Ни за что не хотят одни в кибитке сидеть. Я уж говорю сыновьям: что делать станете, когда женю?..

Мамагуль ушла; но только приготовился Нарлы благословить пищу, как на руках у Нязик заплакал ребенок. Нарлы засопел, свирепо посмотрел на жену.

– Дай внука, невестка, – забеспокоилась Гюльрух-эдже. – Ужинайте спокойно. А я попозже поем – не умру с голоду.

Она взяла ребенка, отсела в сторону, стала укачивать малыша, чтоб не кричал.

Когда миски опустели и сотворили благодарственную молитву, Нязик принесла глиняный кувшин с чалом, разлила всем. Простокваша была кислой, но Мулькаман выпил ее не поморщившись. О завтрашнем дне надо смолоду думать! Верблюжье молоко дает мужчинам силу, помогает сохранить огонь в крови до старости, до самых последних дней. Ради этого и кислый чал выпьешь!

Вернулся Сары-ага.

Когда отец вошел в кибитку, Мулькаман покраснел, точно ему в чал горсть жгучего перца бросили, низко склонил голову. Если ложь его раскрылась, что бы отец ни говорил, надо молчать, не прекословить! Отец отходчив. Простит, не в первый раз... Но Сары-ага даже не посмотрел на сына.

– Еле дождался, пока дождь кончится. Видно, у Мухаммед-серке Аллаха добрым словом помянул, а то бы потчевать ему гостей до самой ночи.

– Поторопись ты! – прикрикнула Гюльрух-эдже на Бахар. Ей показалось, что невестка не слишком проворно расстилает корпече. – Проходите к огню, отец. Обмотки мне дайте, посушу. Небось насквозь промокли? А чарыки не снимайте – сыро. Здоров ли Сейит Кары?

– Здоров, – буркнул Сары-ага и только теперь посмотрел на сидевшего рядом с ним сына. – Ты что сегодня творил на скачках? Сколько раз тебе говорил: когда сидишь в седле, о суетном не думай. Почему дал догнать себя? Знаешь же, что Шункар этого не любит!

Мулькаман только ниже опустил голову.

– А зачем ячменя коню давал? – не унимался Сары-ага. – После скачки надо было накормить его хлебом и топленным маслом.

– Ты мне раньше этого не говорил. Как же я стану сейисом...

– Станешь, когда решу, что пришло время.

– Тебя дома не было, я подумал, что конь голоден.

– Молод еще думать! – разозлился Сары-ага. – Пока я за тебя думаю. Это надо ж – ячменем кормить! Как такое только в голову могло прийти! Если хочешь стать сейисом, присматривайся, делай, что велят...

Мулькаман понял, что буря миновала.

– Хорошо, отец.

Все облегченно вздохнули. Вновь под свод кибитки вернулась благодать праздничного вечера, когда людей согревает не столько огонь очага, сколько взаимная любовь и расположенность.

Но тут в тишине раздался звонкий голос Еламана:

– Дедушка, ты не умирай, пока я не вырасту!

Бахар торопливо прижала к себе сына.

Сары-ага поманил Еламана, посадил малыша рядом с собой.

– Непросто твоё желание выполнить, – произнес он наконец. – Постараюсь, раз ты просишь. Умирать-то и самому не хочется.

– Сначала коня мне купи. – Еламан осмелел. – Такого, как Шункар.

– Заткнись! – крикнул на сына Мулькаман.

– Не брани его – он ведь ребенок. – Сары-ага улыбнулся внуку, погладил его по щеке. – Придет время – будет у тебя конь. А просить ничего не надо, жди, когда дадут...

– А папа сказал: если тебя не попросить, ты скорей умрешь, чем сам догадаешься...

– Твой отец пошутил. Ты его, верно, не понял, – тихо, чуть слышно произнес Сары-ага.

– Нет, не пошутил!

Эти слова точно повисли в воздухе. Никто не смел нарушить установившейся тишины, все сидели понуриив головы, испытывая не смущение – стыд. Тяжелый взгляд Нарлы, его крепко сжатые кулаки не сулили Мулькаману ничего хорошего. Не будь рядом отца, брат бы сразу на него набросился. Гюльрух-эдже, всхлипывая, принялась убирать посуду, собирать разбросанные по скатерти ложки. Первой, нарушив обычай, из-за дастархана поднялась Бахар, схватила сына за руку и выбежала с ним из кибитки.

На дворе снова шумел дождь.

Дождь и ураганный ветер обрушились на дерево. Шах-тут, как мог, противостоял их силе. Это было нелегко. С треском обломилась ветвь с начавшими распускаться почками. Еще денек – из них бы выпростались клейкие листочки.

Вода низвергалась с неба шумящим потоком. Ветви дерева принимали на себя первый удар, но защитить поросль не могли. По могучему стволу, по морщинам коры вода ручьями бежала вниз, к комлю, а оттуда пенистыми потоками растекалась вдоль корней. Лунки вокруг молодых деревьев вмиг наполнились ледяной влагой; вода без усилия углубила их, оголив самые корни саженцев. И новый порыв ветра легко повалил их.

А дождь все не переставал, лил, лил, как во время потопа.

Часть вторая

ЛЕТО

Вот уже неделю Сары-сейис болел. Прежде случалось то кости ломит, то скрутит в пояснице, но раньше никогда ему не было так худо, как сейчас. Казалось, кто-то горсть раскаленных углей сыпанул ему в грудь; когда их жар разгорался, Сары-ага корчился от нестерпимой боли, скрежетал редкими зубами, пополам стигало его, но и когда боль слабела, он все равно ощущал внутри неприятное жжение, словно один маленький уголек прикипел к сердцу и все не гаснет. Стоило повернуться неловко, сделать резкое движение рукой, как безжалостная боль вновь растекалась по телу. Он как мог, скрывал свои страдания от близких. Не хотел, чтобы вместе с ним мучались жена, дети. На время трапезы Гюльрух-эдже обкладывала

его подушками, он полусидел, полулежал, облокотясь на них, чтобы внуки не догадались о его немощи. Давалось это с трудом: лоб и тело покрывала испарина, вялым медленным движением руки он стирал липкий пот, но после этого минуту еще не мог отдышаться.

Сегодня, когда пили утренний чай, он заметил, что сыновья чем-то обеспокоены. Посторонний человек не увидел бы в их поведении ничего необычного, но Сары-ага сразу встревожило преувеличенное, показное оживление: братья, которые — он знал об этом — не слишком-то ладили меж собой и, бывало, за день лишь парой слов перекинутся, болтали о разной чепухе, пытаясь развлечь его. Но мысли их были далеко. «Что-то стряслось, и они не хотят мне об этом говорить, чтобы не расстроить. Неужели я так плох?...» — обиженно и с тревогой думал Сары-ага, видя, что дети боятся встретиться с ним взглядом. Эта мысль заставила его на миг забыть о боли в сердце. Сары-ага негромко кашлянул, запустил пальцы в бороду. Гульрух-эдже сразу догадалась, что он хочет что-то сказать, собирается с мыслями. Она торопливо завернула хлеб в скатерть, отложила сверток в сторону. Села, положив руки на колени, всем своим видом показывая, что готова выполнить любое желание Сары-сейиса.

— Что-то здесь жарко, — наконец произнес он негромко, стараясь, чтоб дрогнувший голос случайно не выдал его слабости. — Постелили бы во дворе...

— Нязик приготовила вам место, отец, — ответила Гульрух-эдже, вставая.

Нарлы выплеснул под сундук только что налитый чай.

— Ступайте в нашу кибитку! — приказал он детям.

Когда двор опустел, Нарлы и Мулькаман бережно взяли отца под руки, вывели его из кибитки, придерживая, как маленького, довели до растеленной под шах-тутом кошмы. Только когда отец устроился, как ему было удобно, детям разрешили выйти.

— Сядь, Нарлы! — приказал Сары-ага. — Сын мой, ты хочешь что-то сказать? — произнес он торжественно. — Говори, мой слух обращен к тебе. Не надо ничего от меня скрывать. Ты не умеешь притворяться.

Нарлы опустил на край кошмы у его ног.

— Пора поливать пшеницу, отец.

— Да, пожалуй, пора, — согласился Сары-ага. Прежде он никогда, никому не доверял поливать поле. Мысль, что теперь эту работу будут делать без него, вконец расстроила Сары-сейиса. Он даже не попытался скрыть своего огорчения. — Полей сам, сынок. Сначала пусти воду на тот участок, где повыше. Пока не польешь, ни на что не отвлекайся. Воды в этом году много, чуть зазеваешься весь наш достаток смоет...

На кошму прямо перед ним с глухим стуком упала зеленая ягода тутовника. Сары-ага положил ее в рот, пожевал. Ягода была недозрелой, кислой. Он поморщился, с трудом подавил позыв тошноты, но выплюнуть зеленую не решился, испытывая неловкость перед сыновьями.

— Ступайте! — сказал он, опускаясь на подушки. Мульки сразу направился к затиши, к Шункару. Нарлы еще немного помедлил, не решаясь сразу оставить отца одного.

В болезни Сары-сейиса больше всего огорчало то, что он как-то сразу оказался не у дел. Вот что его угнетало. Чуть отпускала боль, он пытался встать на ноги, но всякий раз его попытка заканчивалась неудачей. Раньше он любил свое тело. Оно было сильным, послушным его воле. И чаще всего он просто не замечал его. Теперь немощная плоть стала его обузой, сил с трудом доставало, чтобы нести ношу, которая день ото дня делалась все тяжелее. Но ум его был ясен. «Когда-нибудь этот груз попросту раздавит меня, — думал он. — Вонмет в землю.» Он как мог сопротивлялся собственной беспомощности, требовал, чтобы сыновья подробно рассказывали о том, что происходит в селе. Но слушать было утомительно, внимание рассеивалось, всякий раз приходилось делать усилие, чтобы понять смысл слов. Он быстро уставал.

Наконец он решил учить Мулькамана своему ремеслу. Прежде, пока не подступила болезнь, он не видел в этом нужды. Теперь он подолгу говорил о повадках коней. Но и тут замечал, что делится своими знаниями неохотно, словно боясь, что окажется ненужным, когда Мульки узнает все его тайны. Учил он по-своему. Когда приходило время кормить Шункара, он указывал, что нужно дать коню. Мульки шел в затишь, и насыпал в деревянную плошку ячмень, возвращался. «Прибавь еще горсть», — говорил Сары-сейис. Иногда он просил подвести Шункара к его ложу. Придирчиво осматривал жеребца. «Хорошо, если

наездник любит своего коня. А вот баловать сахаром не следует. Конь и без сахара понимает, кто его любит», — ворчливо замечал он и делал знак увести жеребца в затишье.

И сегодня Сары-сейис приказал показать ему Шункара. С земли конь казался необычайно высоким, пришлось закинуть голову, чтобы заглянуть Шункару в печальные темно-коричневые глаза. Под лоснящейся, отливавшей сталью шкурой, играли сильные мышцы. Старик хотел приласкать лошадь, протянул руку, но она бессильно задрожала. Шункар испуганно фыркнул, отпрянул в сторону. Это расстроило Сары-сейиса чуть ли не до слез.

— Не хочешь меня узнавать? — обиженно прошептал он. — Прогуляй его! — сказал он Мулькаману. Было неловко, что при сыне выказал свое огорчение.

Мульки вывел коня со двора... Сары-сейис смотрел им вслед, точно прощался навсегда. Тоска сжала его сердце. Точно такую же тоску он испытывал всякий раз, когда к Дурды-баю приезжали покупатели. Иной раз то были иранские купцы, иногда англичане или русские. К этим людям Сары-сейис не имел обиды. У них было золото и уже одно то, что они тратили его на коней, заслуживало уважения. И в лошадях они знали толк — выбирали всегда самых лучших, хотя Дурды-бай и пытался хитрить. Сары-сейис умом понимал, что у этих людей его скакунам будет не хуже, чем у Дурды-бая, может, и лучше. Но и зная это, не мог примириться. Ему казалось, что у него отнимают часть жизни. Всякий раз ему хотелось пасть хозяину в ноги, просить Дурды-бая, чтобы тот отказался от своего намерения. Но он ни разу не позволил себе такого; кони были его, но в то же время не его, они принадлежали Дурды-баю и тот имел право распоряжаться ими, как захочет. Лишь однажды, когда хозяин решил разом продать всех своих коней, Сары-сейис попытался отговорить хозяина.

Дурды-бай не стал его слушать, велел идти прочь. Он тоже любил коней, ему тоже было жаль с ними расставаться. Но еще больше он любил себя, свою жизнь. Кони были лишь частью его жизни, и он пожертвовал ею, чтобы спасти остальное. Ему не оставалось выбора. Бай утешал себя тем, что кони, если он их сейчас не продаст, раньше или позже достанутся людям, для которых что конь, что овца, что корова — все едино. Они живут заботами одного дня. Когда-нибудь, чтобы не кормить лошадей зазря, они запрягут скакунов и, чего доброго, станут на них пахать. Лучше уж поубивать коней своими руками, чем допустить, чтобы они уподобились волам. Сейис не способен это понять. Для него кони — все. А разбираться в людях все-таки посложней, чем в лошадях.

Когда иранцы сбили табун и погнали его к горам, Сары-сейис долго шел следом. Лишь глубокой ночью он вернулся домой и несколько дней не выходил из своей кибитки, сказавшись больным. Но он не был тогда болен, просто на душе стало пусто.

Теперь он чувствовал себя таким же опустошенным. Он ясно сознавал, что будущее не сулит ему ничего хорошего, и все чаще обращался мыслями к прошлому. Силы оставили его, нет у него и настоящего сильных желаний. Он сравнивал себя с сосудом, наполненным воспоминаниями, одними воспоминаниями. Пока не поздно, он старался выудить с глубины, с самого дна, те из них, что еще способны доставить ему радость.

Как ни странно, большее удовлетворение он испытывал, вспоминая события, которые прежде казались ему вполне заурядными. К нему возвращалось давно забытое детство. Может, только тогда он и был по-настоящему счастлив?

Он учился грамоте у муллы вместе со всеми своими ровесниками. В тени тутовника, что рос во дворе мечети, они учили азбуку, позже эбджет и эпдик¹. Вечерами он пересказывал услышанное отцу. Чтoб порадовать его, какую бы работу ни начинал, громко, нараспев произносил: «Алхамду лиллохи-оламин!»... Поможет ли аллах достойно завершить начатое дело?... И неужели тот мальчик — это он сам? Как трудно в это поверить. Мулла учил, что время способно изменить лишь внешний облик, а суть остается неизменной. Так ли это? Мечеть стоит до сих пор и с виду она ничуть не изменилась, но теперь в ней склад союза «Кошчи». Вместо книг и свитков — мешки с зерном, бороны, плуги. Когда Беркели распорядился снести в мечеть совместное имущество, многие ханарцы возмутились. Самые решительные сбили со склада замок, выставили на улицу мешки с зерном, привели муллу, который упирался, говорил, что святыня осквернена. И что же? Теперь в бывшей мечети — амбар.

Беркели с детства был его закадычным другом. Хотя они были одногодки, Сары-ага всегда почитал Беркели за старшего. Сильный, рослый Беркели, на каждом плече которого могло поместиться по мешку с зерном, в новые времена стал командиром отряда краснопалочников. В последний раз они виделись несколько лет назад, незадолго до гибели Беркели, как раз тогда, когда затеялось дело с мечетью. Беркели приходил к нему, чтобы объяснить, почему он принял такое необычное решение. Со всеми ханарцами вел он тогда, видя их недовольство, примирительные беседы. Беркели не сразу заговорил о деле, которое привело его в кибитку друга. Сначала долго пили чай, говорили о скакунах.

— В давние времена, — рассказывал Беркели, — пророк Сулейман побывал в Хиве. Возле Хазариса, что на берегу Амударьи, он увидел табун прекрасных коней и был поражен их статью. Во что бы то ни стало он захотел иметь хоть одного такого жеребца в своей конюшне. Воины Сулеймана долго преследовали табун, устраивали засады, но безуспешно. Тогда Сулейман пришел к старейшинам Хазариса. Пообещал, что город получит привилегии, если его жители помогут

завладеть чудесными скакунами. «Есть в нашем городе два хитроумных брата, — ответили аксакалы, — им под силу исполнить твое желание, но они, услышав о твоём приближении, ушли в горы...»

Долго думал мудрый Сулейман, как ему заманить в город братьев, и наконец придумал. Его приближенные объявили, что их повелитель внезапно заболел и умер. Поверить в это было не трудно: снедаемый желанием завладеть прекрасными скакунами, пророк почернел лицом, исхудал. Когда весть о его смерти достигла скрывавшихся в горах братьев, они покинули свое убежище и вернулись в Хазарис. Тут их и схватили. Сулейман объявил, что простит их вину, если они поймают лошадей.

Братья не стали устраивать погони. Захватив с собой тысячу кувшинов с вином, они отправились к хаузу, к которому приходили на водопой кони. Они вычерпали из него воду и наполнили вином. Три дня кони терпели, но на четвертый, измученные жаждой, перебороли брезгливость и испили вина. Опьяневших их без труда изловили и привели к Сулейману. Властитель, пораженный их красотой, не заметил даже, что подошло время намаза. Раздасадованный тем, что пропустил час молитвы, он приказал убить коней. Его воины немедленно выполнили приказание. Лишь жеребец и кобыла остались живы из всего табуна, те, которых взяли себе братья. От них и пошли ахалтекинцы!

Вороной жеребец Беркели, спору нет, был потомком тех чудесных коней. Сильный, статный, необычайно умный он был бесконечно предан своему хозяину, не раз спасал его от погони, выносил с поля боя. Но Беркели убили не в бою — в собственном доме, по-предательски, ночью. Не мудрено, что конь допустил убийцу. Ведь и сам Беркели ошибся в том человеке: принял предателя в отряд краснопалочников, сделал своим помощником... Когда люди хоронили Беркели, вороной вместе со всеми отправился на кладбище и не ушел оттуда, до сих пор бродит рядом с могилой хозяина. Счастлив тот, кому аллах дал такого коня!

Был ли счастлив Беркели? Он всегда хотел помочь людям, облегчить их жизнь. Однажды уговорил ханарцев прорыть два новых арыка вдобавок к тем двум, что издавна орошали поля водою Гямисув. Сколько сил положили на это люди! Беркели работал наравне со всеми, даже больше других. Какой праздник он устроил, когда работы были закончены! И что же... Вода по тем арыкам не течет, от них теперь одна помеха. Хотел, чтобы люди помнили о нем... Они его поминают, да только недобрым словом, когда приходится обходить заболоченные места!

Но разве Беркели виноват? Изменилась сама жизнь. Прежде люди дорожили тем, что имеют, боялись перемен, изо всех сил старались сохранить извечный порядок. Теперь точно какое наваждение на них нашло — хотят все сделать по-своему. Это — как болезнь, и она поразила Беркели одним из первых. Но разве его одного? Взяли и срубили дулистый тутовник, что рос возле крепости. Слаще его ягод не было в Ханаре! Срубили, чтобы кого-нибудь не ужалила змея, что жила в дупле. Но ведь дупло было всегда и змея жила в нем испокон веку, еще когда они с Беркели были мальчишками. И никого не жалила. Но нет, срубили, посадили молодые деревца. А те не принялись. На следующий год посадили вновь, и опять деревца погибли.

Сары-ага вспомнил, как в прошлом году соседи, поставив новую кибитку, старую сломали и подожгли. Пламя вмиг охватило камыш, сухое дерево — огонь поднимался до самого неба. А люди стояли рядом,

переговаривались, шутили. И он был вместе со всеми, смотрел на громадный костер. Лишь когда в реве пламени послышался ему протяжный жалобный крик, похожий на стон смертельно раненого зайца, он ушел, не было сил смотреть больше.

Почему он сейчас вспоминает обо всем этом? Ему бы думать о себе, о своей душе, о чем-нибудь приятном. Зачем он стал думать о Беркели, о старой мечети? Беркели тогда сказал, что просто не видит другого выхода, ведь где-то же надо хранить общее имущество, не у себя же во дворе он его сложит. Тогда Сары-сейис согласился с ним, как соглашался с тем, что говорил Беркели всегда. «Зачем?! Зачем ему привиделся Беркели?»

Страшная догадка поразила Сары-ага: может Беркели зовет его к себе. Ему стало страшно. Вновь жаркий огонь опалил грудь, сердце. Смерть... Вот она как приходит! Пот струился по лицу. Превозмогая боль, Сары-ага открыл веки, чтобы в последний раз взглянуть на тутовник, но увидел только сотни маленьких солнц, мерцавших во мраке. Ужас охватил его.

– Нет, Беркели, нет! – попытался крикнуть он, но получился лишь слабый стон.

– Что с вами, отец? Сон нехороший? – Над ним склонилась Гюльрух-эдже, рядом с ней стояла Нязик с чайником в руке. – Невестка чай вам принесла.

– Не хочу я чая, Гюльрух. – Он перевернулся на спину, подождал, чтоб биение сердца утихло. – Дай мне руку, – попросил он жену, когда Нязик отошла. – Могут люди прийти. Нехорошо, что я здесь лежу...

В кибитке было жарко. Когда Мульки вошел туда, лицо ему опалило огнем, точно он склонился над тамдыром.

– Мама, зачем вы топите? Чай можно и во дворе подогреть.

– Это не для чая, сынок... – сказала Гюльрух-эдже. – Очаг должен гореть всегда. Если над кибиткой не будет виться дымок, как же путнику догадаться, что его здесь ждут.

Сквозь решетку терима Сары-сейис наблюдал за играющими во дворе детьми. Ребячьи забавы были для него словно лекарство. У детей все так же, как у старших, только честно, бесхитростно. Они еще не научились скрывать свои чувства: когда смешно – смеются, когда больно – плачут. А уж причина для этого у них всегда найдется.

Упал, разревелся, недавно научившийся ходить Имам – младший сын Нарлы. Соег подхватил братишку, стал его успокаивать, пока мать не услышала плач.

– Не плачь, Имам-джан, а то плешивым будешь. Смотри, уже не больно, – Соег подул на сбитую коленку, но Имам не перестал плакать. – Замолчи, слышишь! – прикрикнул Соег. – Дедушка болеет, а ты ревешь.

Он поставил малыша на ноги, взяв за руку, потащил к дому. Вскоре они скрылись из виду. Сары-ага почувствовал, что по щеке у него катится слеза. Сколько раз падал всего неделю назад, когда учился ходить, Имам и ни разу не заплакал (по крайней мере Сары-ага такого не помнил). Свалится, посидит на земле немного и снова встает, как ни в чем не бывало. Благодаря такой настойчивости он и научился ходить. А вот теперь, падая, плачет. Разве не так же больно ушибался он прежде?

Сары-ага вспомнил о Мулькамане. Перевернулся на другой бок, приподнялся на локте. Мулькаман стоял у двери, переминаясь с ноги на ногу.

– Подойди. Есть новости? – спросил Сары-ага.

– Это мужской разговор.

Сары-ага посмотрел на жену. Гюльрух-эдже взяла мешочек с солью, миску и вышла из кибитки. Вроде по своим делам. Когда Сары-сейис остался наедине с сыном, ему показалось, что кибитка стала теснее, ниже, словно сжалась, зная о чем будет предстоящий разговор.

На ветки тутовника словно ожерелья нанизали. Год выдался на редкость урожайным. Вызрев, набрав сладости, ягоды сами падали вниз, к ногам. Но детям желанными казались другие, те, что были на ветвях. Только самые маленькие собирали ягоды с земли. Старшие были уверены, что оставшиеся на ветвях и слаще и крупнее.

Хотя на самом деле было все наоборот. Они сбивали урожай с веток длинным шестом, кидали камни, а те ягоды, что были на земле безжалостно топтали.

Первые три-четыре дня Гульрух-эдже собирала опавшие ягоды, сушила их на зиму. Дважды она даже испекла хлеб, добавив в тесто истолченных высушенных ягод, чтоб побаловать внуков. Но сейчас, летом, лепешки с тутовником не казались детям желанным лакомством, как зимой. Они уже объелись тутошками, смотреть на них не хотели.

Нязик приходилось то и дело подметать двор. Сначала она давала эти ягоды скотине, потом стала просто высыпать в канаву возле забора. Однажды это увидел Нарлы, расшумелся:

– Разве можно добро высыпать?! Дайте корове или высушите. Будет зимой приправа. Что легко достается – не ценится!

– Будет тебе! – вступилась за невестку Гульрух-эдже. – Сколько можно сушить, уже складывать некуда. Говорила отцу: «Хватит одной плодоносной ветви!», так нет – «Пусть внуки полакомятся!» Подметешь, не успеешь оглянуться – словно и не подметала. Жалко невестку. Спилит бы ты пару ветвей, что ли...

Из кибитки послышалось покашливание Сары-ага.

Разговор тотчас прекратился.

* * *

Маленький Еламан чувствовал себя обманутым. Он понимал, что в его жизни что-то переменялось, но почему – этого никак не мог взять в толк. Сразу так много необычных событий произошло, что он никак не мог соединить их воедино, чтобы понять главную причину случившихся перемен. Началось с шутки. Нет, началось с того, что ему снова захотелось покататься на Шункаре. Он вспомнил об этом, когда пили чай, вспомнил и условие, поставленное отцом. Тогда он сказал так, как учил отец. Тот рассмеялся, а мама заплакала. Тогда Еламан снова сказал, чтобы мама уходила домой, хотя не понимал куда ей идти, если они и так дома. Мама разозлилась, больно ударила его по губам. Плача, он бросился к отцу. Тот оттолкнул его. Еламан заплакал еще горше от того, что папа его предал. Но отец, видно, вспомнил о своем обещании и побил маму, велел ей уходить к отцу. Мама забрала его, Еламана, и сестричек, и они пошли к бабушке, через все село, ночью. Дедушка, когда они пришли, не обрадовался как бывало обычно. «Ложитесь спать!» – приказал он и вышел из кибитки. «Не плачь! – говорила бабушка, убаюкивая маленькую Абадан. – Узнают злые духи о нашем горе – не дадут спать ночью!»

Духов не удалось обмануть. Еламан долго лежал без сна. Ему ни разу прежде не приходилось ночевать у бабушки, все здесь было не так, как дома. Только на рассвете ему удалось заснуть. Но вскоре пришел дедушка и велел маме будить детей.

– Сейчас пойдем, – сказал он.

Когда мама подошла к нему, Еламан притворился спящим, а, может, он и в самом деле спал и слышал этот разговор сквозь сон.

– Свекор болеет, не надо его огорчать, – сказала мама.

Дедушка что-то проворчал и ушел.

Почему взрослые так долго обижаются? Мама ударила его больно, но он ее уже простил. Простил почти сразу, еще когда шли к бабушке. А отец, и дедушка, и дедушка Сары – они почему-то не хотят простить маму.

Еламан пытался ее защитить. Когда дедушка чинил сбрую, он подошел к нему и сказал, что мама совсем не злая и ударила его не очень больно, тетушка Нязик бьет Соега чуть ли не каждый день и то ничего...

– Ступай, не твоего ума дело, – ответил дедушка.

Теперь каждое утро Еламан долго смотрел на дорогу, ждал бабушку Гюльрух. Он слышал, как она говорила маме, провожая их к дедушке: «Не перечь сейчас этому сумасшедшему. Пройдет пару дней, я сама приду за вами!»

Но прошло уже три дня, а бабушка все не приходила. Когда она придет за ними, он не простит ее сразу. «Я не буду светом твоих очей!» – вот как он скажет ей. Еламан сидел в пыли, смотрел на дорогу и чуть не плакал. С трудом удерживал слезы, чтобы мальчишки не стали смеяться. На этих мальчишек он тоже был в обиде. Они ни разу не позвали его играть с собой. Сами веселились, а его словно не замечали. Он был для них чужой, и они были для него чужими. Однажды ему захотелось рассказать им, как он ездил верхом на Шункаре. Он подошел поближе, но в последний миг передумал, испугался, что ему не поверят.

С каждым днем маленького Еламана все глубже засасывала трясина обид, все больше становилось людей, которым он должен отомстить за унижение. Мама, когда он сказал ей, что соскучился, что хочет домой, ответила, что теперь их дом здесь.

– Почему? – удивился он.

– Так хочет твой отец.

Еламан отошел, надув губы. Бахар чувствовала, что Еламан ей не поверил. Но как ему объяснить, что случилось? С девочками проще... Как будто она не понимает, что Еламану здесь не по душе, что он тоскует.

– Подойди! – позвала она сына.

Еламан не сдвинулся с места. Смотрел на нее исподлобья, зло, как волчонок. Так порою смотрел на нее Мулькаман. Обида, ненависть к мужу, которую она все эти дни таила в себе, неожиданно вырвалась, захлестнула ее рассудок. В этот миг лишь одно знала она: Еламан – его сын! Сын человека, что оскорбил ее, растоптал душу. Она не понимала, что делает – подскочила к сыну, вцепившись ему в плечи, стала трясти:

– Чтoб ты провалился!... Наш дом здесь, здесь! Сколько можно тебе говорить! Разве я виновата, что за нами никто не приходит...

Вспышка ярости прошла. Обессиленная она опустилась на песок, зарыдала, прижалась к груди сына. «Тук... тук... тук...» – глухо стучало его сердечко, билось часто, трепыхалось, как птичка, пойманная в силки. Ей хотелось, чтобы Еламан сейчас зарыдал вместе с ней, но он стоял как неживой. Бахар ужаснулась. С мольбой, как побитая собака, она подняла глаза на сына. Глаза Еламана были сухи. Но что-то все-таки шевельнулось в нем, он осторожно, кончиками пальцев, почти неосознано прикоснулся к ее мокрой от слез щеке. Тут же отдернул руку и, не сказав ни слова, даже ни разу не обернувшись, ушел со двора.

Он отправился к бархану, туда, где играли мальчишки. Сел у подножья в надежде, что его все-таки заметят и позовут. Если так случится, он простит их! Он расскажет им о Шункаре. Странно, но к Шункару у Еламана обиды не было, хотя все случилось из-за него... Вот бы сесть на него сейчас, ускакать далеко-далеко к горам!

– Шункар! Шункар!... Смотрите! – раздался чей-то восторженный крик. Мальчишки, обсыпая друг друга песком, карабкались вверх по склону. Еламан бросился вслед за ними. Но когда он добрался до гребня, Шункар почти скрылся из виду – только облачко пыли двигалось по дальней дороге.

Забыв обо всем на свете, он скатился вниз по крутому склону, побежал домой.

– Мама, я Шункара видел! – кричал он, спеша поделиться с кем-нибудь своей радостью.

Бахар, погруженная в свои мысли, не сразу поняла, что случилось. Она на миг оторвала взгляд от шитья – Еламан был уже за воротами.

Он бежал не разбирая дороги, словно какая-то сила толкала его в спину. Остановился, когда село осталось позади. Дорога была пустынна. Он присел на обочине, чтоб перевести дыхание. Первый глоток опалил горло, легкие. Вдалеке слышался перестук копыт. Сначала он хотел побежать навстречу, но тут же одумался. Таясь, сам не зная от кого, спрятался в поросли росшего у дороги тутовника. Пока он устроился в своем укрытии, стук копыт прекратился. Стало обидно до слез: неужели отец поехал другой дорогой, свернул куда-нибудь. Может, он сделал это нарочно, чтобы Еламан не увидел Шункара? Терпение его было уже на исходе, когда из-за поворота появился Шункар. Конь шел медленным шагом, четко впечатывая копыта в дорожную пыль; всадник дремал в седле, подставив лицо лучам заходящего солнца. Напротив тутовника Шункар замедлил шаг, почуяв мальчика, подал голос. Мульки очнулся, посмотрел по сторонам,

тронул жеребца стремями. Отец проехал совсем рядом. Еламану казалось, что он слышит его дыхание. Ему хотелось окликнуть отца, выбежать к нему, но какая-то сила его сковала. Ноги затекли, стали, как чужие, язык не слушался. Единственное, что ему оставалось: смотреть вслед всаднику сквозь узкий просвет в листве. Шункар уже скрылся из виду, когда оцепенение прошло. Еламан рванулся, хотел закричать, но чья-то рука плотно зажала рот. Еламан чуть не умер от испуга. Оглянувшись. Прижавшись лицом к стволу тутовника, рядом с ним стояла мама.

– Мама!?! – испуганно выдохнул Еламан.

– Ты что здесь делаешь? – Голос мамы звучал не строго.

– Я?... Ничего не делаю... Просто... – Он хотел найти себе оправдание, но, как назло, ничего не мог придумать. Страх мешал ему. Зачем он сразу не побежал сюда? Тогда бы мама его не выследила.

– Что, просто?

– Просто... – Еламан всхлипнул и вдруг разрыдался. – Я Шункара хотел увидеть. Только Шункара. Отец все равно спал. Прости меня, мамочка! Я никогда туда не пойду. Побей меня, побей – я никому не скажу! Мне не будет больно!

– Ну что ты, милый! – Бахар прижала к себе сына. Сколько она плакала в эти дни! Казалось, уже выплакала все. Но только теперь слезы принесли ей облегчение. – Не бойся, душа моя, я никому не дам тебя в обиду. Разве здесь тебе плохо?... И днем, и ночью буду работать, чтобы ты ни в чем не знал отказа. Радость моя!...

Она не хотела, чтобы Еламан видел, как она рыдает. Все эти дни, плача, она пыталась пробудить в сердце сына жалость. Вернуть его себе. Она понимала, что мучит сына, но ничего не могла с собой поделать. Еламан был ниточкой, связывавшей ее с тем домом. Всякий раз, глядя на него, она, сама того не желая, мысленно переносилась на другой конец села, в дом Сары-сейиса. Мало хорошего она там видела; свекровь слишком любила младшего сына, ревновала Мулькамана и всякий раз давала почувствовать это ей, своей невестке, младшей невестке. Когда Гюльрух-эдже сказала, что придет за ними через несколько дней, Бахар, хоть и хотела поверить, не поверила. И все-таки ждала свекровь; сидя в кибитке, прислушивалась, кто идет по дороге... По утрам стала, как Нязик, подметать двор, веря, что это принесет ей счастье... Она не могла понять почему, но чужой дом был желанней, чем тот, в котором она родилась и выросла! Теперь она об этом не думала.

Кибитка Нарлы стояла в стороне от шах-тута. Только вечерами, перед заходом солнца, на нее ложилась легкая узорчатая тень. Два года назад Сары-ага перестал подрезать ветви с восточной стороны. Они вытянулись, и старик радовался, видя, что тень стала гуще. Но весной буря сломала эти ветки...

* * *

Верно люди говорят: не обгоняй идущего с ношей... Мульки и в голову не пришло, что это может быть Нарлы. Он договорился встретиться с Атаджаном, спешил к дому Сейита Кары, когда догнал медленно идущего в сторону села человека с громадной охапкой травы за спиной. Вообще-то человека и видно не было, казалось, стог сам собой ползет по дороге. Поравнявшись, Мульки пробормотал слова приветствия и, не дожидаясь ответа, прибавил шаг.

– Эй, куда ты так торопишься? – услышал он за спиной голос брата. – Смотри, ногу подвернешь!

Он остановился, подождал, пока Нарлы приблизится:

– Помочь, брат?

Нарлы ничего не ответил; присел, опустил свою ношу на землю, скинул с плеч веревку. Отдышавшись он достал из-под кушака платок, медленно, тщательно стер им пот с лица. Он давно искал случая поговорить с Мулькаманом. Здесь место было подходящее: поблизости ни души и со стороны их никто не увидит – вдоль дороги густые заросли гребенщика.

— Совести у тебя нет, — произнес он наконец. — Я-то думал, что она спит, все ждал, когда проснется, да, видно, зря надеялся. Мертвого не разбудишь! — Ему хотелось, чтобы Мулькаман стал оправдываться, просил прощения, но тот не отвечал, смотрел себе под ноги, носком сапога рыл песок. — Я с утра до вечера в заботах, пот проливаю, а ты, как кобель в пору случки!... Мчишься — никого видеть не хочешь. Мог бы и сам травы принести. Или боишься, что у отца от радости сердце разорвется? Только и умеешь — сладко спать, красиво одеваться да отрывивать со вкусом! — Нарлы чувствовал, что его красноречие сейчас иссякнет. «Хоть бы огрызнулся» — подумал он с надеждой. Мулькаман молчал. Нарлы вскочил на ноги, посмотрел брату в лицо — взгляд Мульки был равнодушный, сонный.

— Ты меня не слушаешь?! — Нарлы затрясся от гнева. Ему показалось, что алые, красиво очерченные губы Мульки дрогнули в усмешке. Ударил наотмашь и, когда Мулькаман вскинул на него испуганный взгляд, снова. — Понял, о чем я говорю?

— Понял, понял, — ответил Мулькаман, трогая разбитую губу.

Нарлы двумя руками с силой толкнул его в грудь. Не ожидавший того Мулькаман сел в пыль.

— С ума сошел, что ли? Я же сказал, что понял.

— Встань! — заревел Нарлы.

— Бить не будешь?

— Убью, если не будешь слушаться!

— О чем ты говоришь, брат? Когда это я тебя не слушался? Что не прикажешь — сразу делаю. Кто перечит старшему брату, тот не человек! — Мулькаман поднялся с земли и на всякий случай отступил на шаг.

Говорил Мульки почтительно, не придерешься, но Нарлы догадывался, что он просто издевается над ним. Зачем он приплел про старшего брата? И взгляд нехороший, оценивающий, хитрый, с детства у него такой! Да, он старший брат. Велика честь! Ему бы хоть годик пожить так, как Мулькаман. Чем он хуже? Старший брат!.. С детства несет он эту ношу. Сначала был старшим братом Еламана, потом Иламана, теперь этого... Удивительно, как это люди помнят его имя. Ведь только и слышно было: «Ты — старший брат! Ты — старший брат!». Что он делал не так? Помогал во всем, защищал. Отец никаких забот не ведал. Разве он когда-нибудь жаловался ему на младших братьев? Те набедокурят, а колотили его, Нарлы. Те от работы отлынивали — он сам все делал. Отец ни разу его не похвалил, зато если что не так, то сразу: «Где ты был? Ты же старший брат...» Старший брат!.. За что, за что ему такое наказание?

Нарлы нередко думал об этом. В детстве, бывало, плакал от обиды, спрячется где-нибудь, поплачет, жалея себя, — легче становится. Теперь не поплачешь! Правда, иногда — ему даже страшно становилось от этой мысли — он чувствовал, что ненавидит братьев. Нет, не ненавидит, тут что-то другое, особое, что он не может назвать словом. Когда наказывал младших, — за дело, всегда — за дело! — забывал себя, бил без сострадания, точно они враги. Это, пожалуй, единственный его грех. Считалось, что учит уму-разуму, а в самом деле — мстил им, невиновным, за то, что обделен любовью, уважением.

Единственное, чего хотелось, чего по-настоящему желал, — стать человеком уважаемым, чтобы люди по справедливости оценили его достоинства. Разве он не почтителен со старшими, разве не трудолюбив? Разве не смел? Разве когда-нибудь подвел людей? Никто не может его в этом упрекнуть. Так что же еще им надо? Мало ли он сделал для села? Другого за малую толику сделанного им, Нарлы, хвалили бы, как героя, а над ним — он знал об этом — посмеиваются. В открытую, конечно, никто над ним смеяться не посмеет, знают, что не поздоровится, но за глаза...

Нарлы совсем забыл про Мулькамана.

— Мне можно идти? — вкрадчиво спросил тот, полагая, что гнев старшего брата остыл.

— Куда? — удивился Нарлы.

— Обещал после работы помочь Атаджану. Он ждет.

— После работы?... Врешь и не краснеешь. Домой пойдешь! И траву потащишь! Понял?

— Понял.

Нарлы помолчал, подумал, потом спросил тихо:

— А за что тебя ударил понял?

– За то, что ленюсь...

– Нет, ничего ты не понял! За то, что врешь на каждом шагу. На работу не ходил!... Сказал, что отцу хуже, и дома не был. Не стыдно?...

– Ладно, все понял. – Мулькаман ухватился за веревку, попытался приподнять траву. Это ему не удалось.

– погоди. – Нарлы положил руку ему на плечо. – Хочу поговорить с тобой.

Неприятнь, какую он испытывал к Мульки во время разговора, неожиданно прошла. Он ощутил в себе доброе, нежное, заботливое чувство к брату, почти позабытое. Так он любил Мульки, быть может, когда тот был младенцем, гудекал в колыбели. Нарлы показалось, что сейчас он сумеет найти нужные слова.

– Мы ведь уже не дети, – сказал он. – Слава Богу, и тебе за тридцать. Мне страшно, брат. Отцу недолго... – Он не смог договорить, слезы душили его. – Ты думаешь об этом? Говорят, дом держится на человеке. На отце он держится, на отце.

– Я знаю. – По лицу Мульки не догадаться, что он думает.

– А если знаешь – так что тебя... – Нарлы готов был снова взорваться, но сумел смирить себя. – Прошу тебя, не огорчай отца. Ничего мне больше от тебя не надо. Ведь сколько он из-за нас выстрадал! – Опять он сказал не так, как хотелось! – Мы живем не хуже других. Ты знаешь, чего это отцу стоило?.. – Впервые в глазах Мулькамана появился интерес, и из-за этого Нарлы сбился. – Еламан и Иламан рано покинули нас. Нам надо держаться друг за друга. Кроме тебя у меня никого нет.

– Хорошо, брат.

Как-то не так сказал это Мулькаман, и кровь снова ударила Нарлы в голову.

– «Хорошо, хорошо...», – передразнил он брата. – А сам что творишь? Нашел время прогонять жену – отец при смерти! Разве человек так сделает? Осел! Ты его убиваешь. Если что случится, я тебя своими руками придушу. Запомни! – Нарлы стер тыльной стороной ладони пот со лба. – Чем тебе жена не угодила? Ну, скажи, скажи!

Мульки усмехнулся.

– Эх, братишка, зря вообразил, что ты умней всех. Разве я не вижу, что ты думаешь. Смеешься надо мной! Видно, я и в самом деле глуп, если решил с тобой по-человечески говорить... А ну, бери траву! Нечего на меня глаза пялить!

Мульки присел, ухватился покрепче за веревку, с трудом выпрямился.

– Идти, что ли?

– Шагай, шагай!

Мульки сделал шаг, другой, чуть не упал... Он и представить не мог, что Нарлы такой сильный. Шел, как ни в чем не бывало. Если бы они не встретились, так, наверно, до дому и отдохнуть бы не присел.

Нарлы словно прочитал его мысли:

– Что ты остановился? Это не на Шункаре кататься.

Мульки с трудом сделал еще шаг.

– Ладно. Давай уж я понесу! Ты еще надорвешься.

Ни разу в жизни не был Мульки так унижен! Он притворился, что не слышит брата. Поднатужился, прошел еще несколько шагов. Но пальцы разжались сами собой...

Нарлы даже обрадовался. Крякнул, взвалил на себя траву, согнулся под ее тяжестью в три погибели и пошел, волоча ноги по пыли. Мулькаман плелся следом. Нет, теперь он никогда не станет обгонять идущего с ношей!

Как пришли домой, Нарлы даже не присел передохнуть. Первым делом покормил скотину. Потом позвал Соега, чтобы тот полил ему. Умывался долго, шумно. Наконец, одев чистую рубаху, пошел к отцовской кибитке. У порога остановился, позвал Мулькамана. Вошли к отцу вдвоем, вместе. Поздоровались со стариками, что пришли проведать Сары-сейиса.

– Отец, может дать Шункару ячменя?

— Нет, нет, — возмутился Сары-ага. — Я уже все, что нужно, приготовил. Как в затишь войдешь, увидишь. И пока Шункар не поест, будь рядом. Смотри, чтоб в миску ничего не попало.

— Хорошо. — Мульки был рад, что может уйти, побыть в одиночестве.

«Плохи, Шункар, мои дела. Что за жизнь пошла? Скоро из меня тряпку сделают, сапоги вытирать будут. Бешеный чуть не убил. Ему только повод дай подражаться. Душу отводит. Думает, я этого не понимаю. Давным-давно понял. На себя злится, а колотит меня, да еще болтает. Бил бы уж молча. Благодетель, уму разуму он меня учит! Шеку подставь, да еще спасибо скажи. К чему, интересно, о том, что не последние мы в селе, вспомнил? Оговорился или знает что-нибудь? Может, они с отцом заодно? Нарочно намекнул, чтоб я своего места не забывал? Нет, на Нарлы не похоже. Для него это слишком хитро. Он бы прямо сказал. И с Курбангуль что-то решать надо. Брат бьет — ладно, стерпеть можно. А эти молокососы!...»

Вспомнив вчерашнее, Мулькаман снова разволновался. Когда возвращался от Курбангуль, подкараулили парни, что жили с ней по соседству. Окружили, кто-то в спину толкнул, да так, что тельпек в пыль упал. «Не ходи к нашей Курбангуль!»

«Как же, ваша!» Сопляки!... Моя она, только моя!»

Шункар с хрустом жевал кукурузные зерна. Миска уже наполовину опустела. Время от времени конь настораживал уши, но почти сразу же успокаивался. Когда Мульки вспомнил о девушке, Шункар приподнял голову, посмотрел на своего наездника так, словно догадался о его мыслях. Взгляд был тяжелый, в самую душу проникал. Мульки невольно поежился. Вот так порой и Курбангуль, стрельнет взглядом, а в нем что-то чужое, недоброе. Мульки поспешил прогнать эту мысль. Девушку понять можно: не сегодня — завтра поползут по селу слухи, а он еще ничего не решил. Скорей бы отец выздоровел! «Ничего, — успокоил себя Мульки, — до осени все уладится. А осенью снова скачки, большие призы — отец поговорчивей станет. Может подарит тебя, когда увидит, как я тебя подготовил. Ах, Шункар, если бы ты знал, что вся моя надежда на тебя!»

Мульки никак не мог понять отца. Когда кто-нибудь приходил к ним, Сары-сейиса всегда охватывало беспокойство. Виду он не показывал, но Мульки знал — его даже забавляло это — отец побаивается, как бы не сглазили Шункара, не навели порчу. Мульки и вообразить не мог, что было бы, если б отец увидел Атаджана в затиши. Но как он мог отказать другу? Атаджан любит коней, любит Шункара. Любовь не может причинить вреда. Ничего хорошего, что Шункар видит людей только на скачках. Слишком пуглив, совсем как девушка. Атаджан руку протянул, чтоб погладить, — задрожал, ощерился. Атаджан обиделся слегка... Ничего, пусть себе обижается. «Конь, что жена...» — Мулькаман усмехнулся, потрепал Шункару холку и торопливо вышел из затиши.

Сумерки пришли в уставшее село. Догорала вечерняя заря. В загустевшем, ставшем осязаемо плотном воздухе плыла издалика, с холмов, печальная девичья песнь. Слов было не разобрать, временами вообще казалось, что мелодия родилась сама собой, и не девушки то поют, а слились замысловато перекличка мальчишек, поскрипывание арбы, негромкие голоса, плач младенцев, тревожное блеянье овцы, но все это не здесь, не в Ханаре, а далеко за чернеющими купами зарослей, а сюда доносится только отголосок, слабое эхо. Высоко в небе тянулся, поднимаясь над кибитками, белесый дым очагов. Казалось: не будь этих подпорок, небесный свод обрушится, раздавит своей тяжестью людские жилища. И было в этот час такое умиротворение, что день с его заботами, нетерпением, желанием чего-то достичь, все переиначить, сделать по-своему — откатился в прошлое, где много-много таких же дней, похожих один на другой, отхлынул, как вода, давая людям недолгую передышку.

Последнюю неделю Мульки вместе с другими односельчанами работал на раскорчевке леса. Ему не хотелось трудиться в поле, рядом с братом, постоянно чувствовать на себе его испытующий взгляд, все время ждать грозного окрика. Ему казалось, что среди чужих будет проще. Но люди, даже самые тихие и смиренные, в деле словно преображались. Что-то страшное, пугающее Мулькамана, появлялось на их лицах. Какой-то необъяснимый азарт, словно золото надеялись они найти. Самые сильные рубили деревья, другие корчевали пни, его, может в насмешку, поставили оттаскивать стволы. Считалось, что эта работа самая легкая. Мулькаман, как иные, спорить не стал. Раз все так решили, значит надо. Голову бы тому отвернуть, кто считает эту работу легкой! Он все на свете проклял. Стоит присесть, сразу начинают тарашиться.

Ничего, конечно, не говорят, но вид у всех такой, словно он обкрадывает кого-то. Пусть смотрят, от их взглядов у него не убудет. Одного он не мог понять, почему каждый норовит выделиться, что-то доказать другим. Ради того, чтоб похвалили, посмотрели с уважением?

Сегодня было особенно тяжело. Исцарапанные руки горели огнем, не прикоснешься. Жара. Хотелось бросить все, уйти куда глаза глядят. Но терпел, работал, обливался потом, наравне со всеми. До обеда только раз позволил себе передохнуть, присесть ненадолго в тени. И то, таясь, чтоб никто не увидел, все время воровато озираясь.

Хорошо, председатель приехал, спросил, как отец.

Мульки неопределенно пожал плечами.

— Всю ночь не спал! — Сказал так, что неясно было, кто не спал, отец или он, Мульки.

— Так дома бы остался!

Мульки ухватился за ветку, сделал вид, что собирается продолжать работу.

— Позавчера тоже не выходил. Что люди скажут?

— Какой из тебя сегодня работник. Ступай, вздремни там. — Ильмурад взглядом указал на старую иву, что росла поодаль. — Этот день я тебе запишу.

«Как могли люди сделать такого простака председателем? Всякому готов поверить, а корчит из себя мудрого. Может потому и выбрали?» — Мульки сам в толк взять не мог, как это у него так ловко получилось. Вроде и не собирался лгать... Да и не солгал! Нужные слова сами собой нашлись!

Он лег в ямке меж корней ивы. Похоже ее кто-то вырыл здесь, не сама собой образовалась. Со стороны тебя совсем не видно, а тебе все как на ладони. Лежишь словно в колыбели. Конечно дома получше. У шах-тута тень густая, плотная, ни просвета. А у ивы листья узкие. И душно тут, ни ветерка. Тот, кто это логово рыл, не лучшее место нашел. Хотя, смотря для чего рыл. А то, может самое подходящее...

Даже в мыслях не хотелось вспоминать сыновей Дурды-бая. Но не иначе это их люди здесь хоронились. Когда на сходе решили раскорчевать заросли, чуть ли не через день пополз по селу слух, что сыновья Дурды-бая недовольны. Кто его принес из лесу — неизвестно. Может и не приносил никто, люди сами со страху выдумали. Трудно ли догадаться, что сыновьям бая эта затея не понравится. Заросли теперь их дом. Кто захочет, чтобы его дом разорили?

На сходе Нарлы тоже выступал, сказал, что новые земли — это новая жизнь. Тем, что из города приезжали, его слова понравились. Как только Нарлы до того додумался? Не иначе, Нязик научила. Новая жизнь... Зачем она такая нужна, если на поте и крови замешана. Сколько дней они уже работают, а на расчищенном месте и кибитки не поставишь. Сколько деревьев пришлось оттащить за эти дни, вспомнить страшно. Хорошо еще, что деревья посуше люди домой забирают, на дрова, — все какое-то облегчение.

На новых землях каждый участок договорились назвать именем того, кто его расчищал. Всем это понравилось. Когда со схода расходились, Мульки видел, что люди, сами того может быть не замечая, шептались, как бы примериваясь: «Земля Ильмурада», «поле Сары»... Он и сам не удержался. «Земля Мульки»! Неплохо звучит. Еще лучше — «Земля наездника Мульки»! А что?...

— Что ж ты делаешь, Мамагуль! Детей своих пожалей, хочешь сиротами их оставить? — донесся крик Ильмурада. — Разве можно женщине такие тяжести таскать!

Мулькаман выглянул из своего укрытия. Соседка была совсем рядом, он увидел даже капельки пота у нее на лбу.

— Эх, Ильмурад! Да ради детей женщина любую тяжесть вынесет! Лишь бы им с протянутой рукой не пришлось ходить. — Ильмурад подошел к ней, ухватился за толстую ветку, и дальше они поволокли дерево вдвоем. — Лишь бы все учли, когда за работу зерно давать будут, — говорила Мамагуль, не глядя на председателя. — Я тебе так скажу: что мужчина, что женщина — разницы нет, только нам Аллах побольше терпения дал.

«Надо же вспомнится такое!» — Мулькаман вышел со двора, постоял немного напротив кибитки Мамагуль. Та возилась возле очага, готовила что-то. Возвращаться домой не хотелось. В кибитке Мамагуль заплакал ребенок. Мульки почувствовал, как защемило у него сердце. Плач был похож на плач Еламана. Может все дети плачут одинаково?

Он торопливо пошел дальше, опасаясь, как бы его не заметили рядом с чужой кибиткой. У развилки постоял немного, решая, куда пойти: к холмам, откуда доносились девичьи голоса, или к Атаджану. Пошел к Атаджану.

Сейит Кары перебирал что-то, сидя под виноградником. «Золото!» — мелькнула в голове мысль. Не видел, но догадался по тому, как торопливо прикрыл Сейит Кары монеты халатом, что лежал рядом, по тому, как с неприязнью посмотрел на него.

— Как здоровье, Сейит-ага? Шел мимо, решил проведать.

— Слава Аллаху. Как отец себя чувствует? — в свою очередь спросил Сейит Кары, подходя к Мулькаману. — Неважно он что-то выглядел в последнее время. Видно, недолго мучиться на этом свете осталось. Что ж, такова наша судьба: смерть — удел каждого. Если потребуется моя помощь...

— Хорошо, Сейит-ага, — не дал ему договорить Мулькаман, неприятен был этот разговор.

— Учит ли сейис тебя ремеслу?

Мулькаман замешкался, не зная, что ответить. Не хотелось говорить, что отец почти не делится с ним своими секретами. Казалось, мулла нарочно спросил об этом, чтоб задеть побольней.

— Учит.

Сейит Кары усмехнулся:

— Так ли? Не учит ведь?

— А где Атаджан, Сейит-ага?

Мулла точно не слышал его вопроса:

— Эх, Сары. Видно, решил жить дольше Аллах!.. А я учу Атаджана. Увидишь, через год он станет лучшим сейисом в округе. Вот только скачки теперь редко, да и призы не то, что прежде... Скоро держать коня станет обузой. Понимающих людей не стало.

— Атаджан дома?

— Атаджан?.. Дома, дома... Коня кормит. Красавец! Осенью он обойдет вашего Шункара, могу биться об заклад.

— Ладно, пойду пожалуй. Дай вам Бог здоровья.

— Эй, куда же ты? — крикнул Сейит Кары вдогонку. — Посиди, попей чайку с нами! Атаджан сейчас освободится!

Мулькаман даже не оглянулся. Что за человек мулла? Глаза источают мед, а уста, словно леток улья. Каждое слово жалит, как пчела! Хорошо, что Атаджана не было рядом. Мулькаман готов был сквозь землю провалиться от позора. Сколько раз он зарекался не ходить в дом Сейит Кары. После разговора с муллой на душе мутно. Вот Атаджан не такой. С ним легко, он умеет так поговорить, что все печали свои забываешь. Когда он рядом, не замечаешь как время летит. Всегда весел, беззаботен, совсем как сын Дурды-бая.

Год назад Мулькаман случайно встретился с ним, когда ходил в заросли собирать хворост. Они знали друг друга с детства, вместе играли, вместе помогали отцу чистить коней. Разговорились, и Мульки забыл, зачем пошел в лес. Два дня они провели вместе. Среди сверстников было хорошо: ни в чем не было отказа, делай, что хочешь. Вольница пришлась ему по нраву. Он хотел остаться, да узнал, что расхворалась мать, и вернулся в село. Как отец его избил тогда!

Еламан и Иламан — две птицы счастья — покинули этот мир до срока, унесли с собой часть жизни. А теперь еще Мулькаман! Вечером, когда стемнело, Сары-ага вывел сына за село и поучил, чтоб неповадно было впредь бегать из дома. Бил, пока не заболели кулаки, пока Мульки не свалился в пыль. Потом принес стонущего, окровавленного сына на себе домой, отдал перепуганной невестке. С тех пор, правда, больше пальцем не тронул.

Несколько дней избитый Мулькаман не вставал, не выходил днем из кибитки. Лежал с закрытыми глазами, мечтал об отмщении. Поклялся, что как только станет лучше, уйдет к сыновьям Дурды-бая, вместе с ними нападет на село, сожжет дом. Нарлы пустит в пески, привязав к хвосту лошади! И отца тоже ... Но шли дни, ссадины затягивались, синяки сходили, и ярость его постепенно проходила. Стало стыдно, что думать о таком посмел. Однажды, когда отец зашел в кибитку, чуть было не повинился. Вовремя успел

прикусить язык! «Гнев рождает глупые мысли, но и те, что приходят с раскаянием, не лучше! — подумалось после. — Верно, и блудливая жена всегда думает, что гуляет в последний раз ...»

Стало совсем темно. За дувалами неистово, до хрипа, лаяли, надрывались псы. В этот час они всегда были смелы и злобны. Всякого готовы принять за вора. Хозяева еще не легли спать и это придавало им смелости. Ханарцы к их лаю привыкли, спокойно занимались своими делами, не обращая внимания на собак. Двери всех кибиток были распахнуты, ковровые пологи подняты — во время вечерней молитвы Аллах раздает людям достаток! Но доброе неотделимо от злого; чтоб не налетели комары, в очаге дымился кизяк.

Когда Мульки вернулся домой, гости все еще сидели у отца. Из кибитки слышался их неторопливый, степенный разговор.

Саженцы, поваленные бурей, все выжили. За лето вытянулись, и листьев у них куда больше, чем у прошлогодних. Листья широкие, темно-зеленые. Каждое утро Сары-ага поливает деревца арычной водой. Для деревьев она полезней, чем вода из колодца. Старик не нарадуется, что молодые тутовники принялись. «Главное — добрый уход! сказал он как-то Нарлы. — Только с годами начинаешь это понимать...»

* * *

Вокруг чернота. Нет, не чернота. Это крона шах-тута над ним. Но зелень еле угадывается, сразу не поймешь. Хорошо лежать в плотной тени, неторопливо, маленькими глоточками попивая терпкий, чуть остывший чай. Но что за крики это?... И люди? Почему они дерутся? Трое на одного!... О, Аллах! Да они же убьют его. Парень уже весь в крови, лицо, как кусок мяса. И вся рубашка кровью залита. Рубашка с расшитым воротом, совсем как у Беркели. Так ведь это Беркели!

«Люди, Что вы делаете?»

Те, что бьют, его не слышат. Он и сам не узнает свой голос. Какой-то хрип, а сил, чтобы встать, чтобы помочь Беркели нет. Ноги не слушаются, их словно связали.

«Сары!»

Нет, Беркели его все-таки услышал!

«Беркели!.. Беги сюда, в моем доме тебя никто не тронет. Беркели!...»

Ах, испугались!.. Господи, зачем у бородастого нож? Короткий, прямой, широкое лезвие так и сверкает на солнце. Это же человек, а не баран! Зачем на меня смотришь! Не смотри! Ты не можешь смотреть, ведь у тебя нет глаз. И не зови моего сына!

«Нарлы, что он у тебя просит? Не давай ему точило! Они хотят убить Беркели. Защити его, я тебе приказываю!»

Нарлы сидит прислонившись к кибитке. Вязнет веревку, даже головы не поднял.

«Что ж ты сидишь, выродок? Я приказал тебе, я, твой отец!»

«Не кричите! Только и знаете приказывать. То поруби дрова, то накорми скотину... Вы ведь сами велели вить веревку!»

«Нарлы, сынок, как ты со мной говоришь? Там ведь Беркели убивают, помоги ему...»

«Это не наше дело, отец. То не Беркели, он уже давно на том свете.»

«Это — Беркели! Что, я не знаю своего друга?!»

«Да хоть бы и Беркели! Кто меня послушает? Если они решили его прирезать, так мои слова их не остановят. Не мешайте мне, отец!»

«Да как ты можешь спокойно сидеть, когда убивают человека. Ты же сильный, сильнее всех в селе! Разве я не учил тебя помогать людям, защищать слабых? Встань немедленно!...»

«А разве вы не учили меня не лезть в чужую драку? Их трое, вы что не видите, отец? Кто станет кормить моих сирот?»

«О, Нарлы, ты ранишь мое сердце! Ты не сын мне больше! У тебя теперь нет отца, запомни! О, Аллах! Почему Ты забрал лучших? Мульки!..»

«Да, отец.»

«Ты здесь? Я не видел, что ты стоишь рядом. Ты — моя опора! Спаси Беркели!»

«Уже поздно, отец. Видите, они выпирают кровь с ножа.»

И в самом деле! О, Беркели, Беркели!..

«Задержи убийц. Не дай им уйти от возмездия. Они убили моего лучшего друга, они убили Беркели!»

«То не Беркели вовсе. Чужой человек. Из соседнего села. Вы его не знаете даже. Может, он вор, насильник. Они все чужие!»

«Что с вами сегодня? Я не спрашиваю, кто тот человек. Я говорю, пойдите и задержите убийц!»

«Вам нельзя волноваться, отец. Когда вы гневаетесь, у вас болит сердце. У вас большое старое сердце, оно не выдержит, если убьют еще одного вашего сына. У вас не останется сыновей. Вы не забыли, что прокляли Нарлы?»

«Пусть убьют, пусть...»

«Не плачьте, отец. Мне больно видеть ваши слезы. Позвольте, я вытру их. Ведь я — ваша опора!»

«Ты — мой позор! Не подходи ко мне! Я отдам Шункара тому, кто задержит убийц. Видите, они уходят?»

«Позвольте, я вылижу ваши слезы.»

«Соег, прогони этого шелудивого пса! Что он тычется мне в руку? Брось в него камень!»

«Это не собака, это — дядя Мульки. Это — ваш сын, дедушка!»

«Все равно брось в него камень!»

«А вы дадите мне десять таньга?...»

«Десять таньга?!»

«Ладно, давайте восемь! А если бы дали десять, я бы позвал людей.»

«Вот тебе таньга!.. Вот тебе таньга!..» — Он бросил во внука свои чарыки. Те летели медленно, кувыркаясь, а потом превратились в птичек и сели на ладошку к Соегу. И монетками стали.

«Но здесь всего два таньга, дедушка!»

«Так позови людей! Ты же сам говорил, что за два таньга позовешь.»

«Я уже позвал их. Вы что, ослепли?»

На улице, рядом с убитым Беркели и в самом деле толпились люди. Кто-то молился, кто-то обливал убитого водой. У всех были озабоченные строгие лица.

«Вы схватили убийц?»

«Мы не убийцы! О каких убийцах ты говоришь, старик? Мы шли по своим делам, остановились попить воды, а вы кричите: «Убийцы!» Жалко воды, так и скажите.»

«Пейте, пейте! Я вас не обвиняю. Его убили другие.»

«Кого?»

«Да вон же! Беркели!»

«Тут никого нет!»

Беркели и в самом деле исчез, только на земле была лужа крови. Какой-то парень зачерпнул ее и стал жадно пить.

«Мне все это снится, Гюльрух? Снится?»

Парень, что пил кровь, подошел к нему, протянул две золотые монеты.

«Вот вам деньги, отец. Вы меня не видели, а я вас. Мне некогда, а две монеты это хорошая цена.»

Парень исчез, словно испарился. Только там, где он за миг до этого стоял, осталось ослепительное свечение. Глазам было больно. «Никуда он не ушел, просто спрятался. Хочет узнать возьму ли я его подлые деньги!»

Он без жалости выбросил монеты, но вместо того, чтобы упасть на землю, они стали порхать, как мотыльки. А Гюльрух словно девочка гонялась за ними, пытаясь поймать. И все остальные бегали вместе с нею: и Нарлы, и Мулькаман, и Соег.

«Совсем с ума сошел, — кричала старуха. — В доме мяса не осталось, муки на один раз, а он деньгами швыряется!»

«Будь проклята ты со своим мясом!»

«Что с тобой, сейис!» — Он узнал голос Черкеза -волопаса. — Кричишь, на другом конце села слышно.»

«Грамотей, хорошо, что ты пришел! Убили Беркели!»

Грамотей кинул свою сучковатую палку, разом сбил обоих мотыльков. Подошел к убитому, приподнял его голову. «Люди!» — крикнул он громко, как кричал, бывало, на скачках. И со всех сторон на его крик стали сбегаться ханарцы. И не только они. Прибежали убийцы, бородатый держал перед собой на ладонях окровавленный нож. Появился парень, тот, что давал деньги. И те, что пили воду у колодца, тоже были здесь, о чем-то расспрашивали Нарлы, сочувственно кивали головами. Подъехал, сидя на Шункаре, Мулькаман. Стоял рядом с отцом Соег, прижимая к груди чарыки. Успокаивали плачущую Гюльрух невестки. Черкез опустился на колени рядом с убитым, стал молиться. Но слова молитвы были какие-то странные, он просто что-то считал...

Сары-ага выругался и проснулся.

Заглянула в кибитку испуганная Гюльрух-эдже.

— Что с вами, отец?

— Плохой сон я видел, — признался он. — Будто убивали Беркели.

— Пусть Пророк истолкует его по-своему!

Рубаха была насквозь мокрой от пота, слегка кружилась голова. Но, как ни странно, после мучительного сна, приснившегося на рассвете, Сары-сейис чувствовал себя не хуже, а даже лучше, чем в другие дни. «Надо бы навестить Грамотея! Явился мне, как пророк Хыдыр¹, в трудную минуту подоспел на помощь», — подумал он, выходя из кибитки. Сегодня ему не понадобилась даже помощь сыновей. Опираясь на палку, он дошел до затиши, зашел к Шункару. Давно он не навещал коня! Сары-ага взял с полгорстки ячменя, поднес на ладони Шункару. Конь доверчиво ткнулся губами в его руку. И в

этот миг сейис увидел, что в щели между двумя неплотно пригнанными жердями посверкивает чей-то глаз. Кто-то заглядывал в затишье с улицы. Это был не чужой человек, иначе бы Шункар беспокоился. Сары-сейис хотел кликнуть Мульки, но передумал. Бесшумно вышел из затиши, стараясь не шаркать чарыками, прошел к воротам, выглянул наружу.

— Еламан, сынок мой!..

От неожиданности ребенок вздрогнул, но в следующий миг, раскинув руки, бросился к деду.

— Дедушка!

Старик едва устоял на ногах, когда Еламан с разбегу повис на нем, обхватил ручонками, жарко зашептал, прижавшись щекой к холодной руке деда:

— Дедушка, милый, почему ты не приходил? Я так ждал, так ждал! Мама сказала, ты придешь... И бабушка обещала!

— Внучек, ласковый мой...

— Я так хотел тебя увидеть. И бабушку, и Шункара...

Подбежала Гюльрух-эдже.

— Будь благословен язык, сказавший «хотел увидеть»! Милый мой Еламан, радость моя, свет моих очей, смутленький ты мой! — причитала она, обливаясь слезами. — Повелитель ты мой!

— Ты меня обманула! Ты меня не любишь!..

— Не говори так, душа моя, не терзай мое сердце! — просила Гюльрух-эдже, прижимая к себе горячее тельце внука.

И тут Еламан увидел отца. Мулька вышел из кибитки и остановился, замер, вцепился руками в кушак, не мигая смотрел, как отец и мать суетятся вокруг его сына. Еламан вырвался из бабкиных объятий, кинулся

ему навстречу, но вдруг замедлил бег, остановился в пяти-шести шагах от отца, точно наткнулся на невидимую стену.

– Здравствуйте, отец, – произнес он дрогнувшим голосом.

– Зачем пришел? Будь с матерью. Иди!

Гюльрух-эдже подхватила внука на руки, прижала к груди.

– Вы только послушайте, отец, как ваш внук здороваться научился. Словно взрослый! – Она повернулась к Сары-сейису, встала так, чтобы мальчик не видел Мульки.

– Не пойду, не пойду!.. – Еламан бился, стараясь высвободиться, плакал, дрыгал ногами, кричал. – Не пойду!.. Дедушка-а!..

– Не плачь, душа моя... Пойдем, попьешь молочка.

– Не хочу!..

– Пойдем, пойдем, – говорила Гюльрух-эдже, укачивая Еламана, как младенца.

Всякий раз, когда она кипятила молоко, Еламан помогал ей поддерживать пламя в очаге, приносил веточки, сам подкладывал их в огонь. За это ему позволялось полакомиться пеночками, приставшими к стенкам казана. Не было для него лакомства вкусней. Он очищал казан так тщательно, что его можно было не мыть. Снаружи казан был черным от сажи. Гюльрух-эдже всякий раз предупреждала внука: не испачкайся, будь осторожен. Но куда там! Разве можно слизать пенки и не замараться сажей! Теперь казан дожидался Еламана в сторонке, сначала Гюльрух-эдже заставила внука выпить горячего молока, в которое она крошила лепешку из джугары. Маленький Еламан уже успокоился, пил не торопясь, шумно причмокивая. Сары-ага и Гюльрух-эдже любовались внуком. Несколько дней разлуки обострили их чувства, простое, самое обычное поведение внука теперь представлялось им особенным, заставляло сердца замирать от восторга.

Сары-ага вспомнил, что среди тех, кто приснился ему ночью, не было маленького Еламана. Сон показался ему теперь добрым предзнаменованием. «Дети – молоко, а внуки – сливки», – думал он, глядя, как мальчиш, невидя ничего вокруг себя, собирает пальчиком пригоревшие к казану пенки. – Жаль, что и это начинаешь понимать слишком поздно! Сколько счастливых мгновений упустил за свою жизнь, сам себя обокрал».

Считалось, что мужчине надлежит быть сдержанным в чувствах, не выказывать своей любви к жене, к детям, даже лишние разговоры с ними вести не следовало. Так он и жил, и не сказать, что это давалось ему с трудом. Когда он затемно возвращался домой, на разговоры уже сил не было. Рука едва ложку поднимала, казалось, не на конюшне провел день, а дрова рубил. Единственное, о чем думал, как бы скорей склонить голову на подушку. И когда союз «Кошчи» выделил землю, легче не стало. Только и радости, что работаешь не на Дурды-бая, на себя. С утра до вечера в поле, даже обедать не приходил. Еду приносил Мулькаман. Ни жары, ни усталости не замечал он. Только вечером, когда шел домой, понимал, что не зайти сейчас солнце, упал бы без сил и, кто знает, сумел бы подняться или нет. А утром, чуть свет, – снова в поле. Только когда постарел и уже не мог трудиться, как прежде, нашлось время присмотреться к сыновьям. Всю жизнь прожил ради них, гордился своими детьми. А они, оказывается, совсем не такие, как он думал. Сары-ага не знал, кого в этом винить: себя или сыновей. Ему представлялось неслыханной несправедливостью, что дети, его дети, ничем не лучше всех остальных ханарцев. Нет, не оправдали они его надежд. Пустые колосья... Живут, ни о чем высоком не помышляя, и сердца их черствы. Они не могут даже оценить по-настоящему, что это ради них он всю жизнь не досыпал, не доедал, не заметил, как пролетели лучшие годы. Слава Богу, хоть почтительны, покорны. Только разве в этом дело? Не слова благодарности ему нужны, а понимание, сочувствие. Неужели думают, что он не мог жить интереснее, себе в радость? Что тащил свою ношу, как слепая лошадь повозку, не зная куда, зачем?...

Порою он винил себя: сам не постарался, чтобы сыновья смогли понимать такое. Много ли он с ними говорил? Раз-другой, и то в спешке, между делами... Что ж теперь пенять на кувшин, если гончар был некудышный! Он решил заняться внуками, чтоб в них воплотились его надежды. Пусть сыновья, когда доживут до старости, глядя на своих детей, вспомнят о нем с благодарностью. Однажды он велел Нарлы и

Мулькаману привести внучат: он научит их молиться. Вечером вокруг него собрались дети: Еламан, Аннам и Соег. Мальчики были серьезны, смотрели на него внимательно, готовые запомнить каждое его слово.

– Будем учить вечернюю молитву – саят аль-ишани, – сказал он.

– Саят аль-ишани, – хором повторили дети. Сары-ага порадовался их памяти: впитывает все, как песок воду! Он приготовился продолжить урок, но вдруг смутился: правильно ли он помнит слова, которым собирался учить внуков?

– На сегодня хватит! – сказал он боясь опозориться. – А теперь отгадайте загадку: «Конь мой, коняга – жеребец в пятнистой попоне, ячмень не ест, где сухо – не скачет».

– Лягушка! – закричали дети наперебой, каждый хотел быть первым.

– Молодцы! Если еще одну отгадаете, будет ваш черед. «Есть у меня конь резвый, мешки-торбы рвущий...»

– Мышь! – ответил Соег и улыбнулся. – Слушайте: «Четыре миски полным-полны, откроешь одну – закрой другую!»

Младшие шумели, гадали, а отгадать не могли, просили, чтобы Соег подсказал. Тот упрямился. Сары-сейис думал о своем: «Нет в этом мире ничего в избытке, Аллах у одних забирает, другим дает. Давно ли моя память была ненасытной, как степной волк, а теперь стала словно пересохший колодец... Дай бог, чтобы мой дар перешел к ним. Пусть будет так!» Он приоткрыл веки, огляделся – детей в кибитке не было. Он и не заметил, что Гюльрух-эдже выпроводила внуков.

«Почему сейчас об этом вспомнилось?» – удивился Сары-ага.

Еламан весь перемазанный сажей, дочичал остатки. Сары-сейис взял палку, которая теперь служила ему посохом, вышел из кибитки. Постоял у порога. Хотелось полюбоваться Шункаром, утром он не успел насмотреться на него вдоволь, но в затиши был Мульки. И потом – зачем Шункару видеть его нездоровым, расслабленным. Слава Аллаху, хоть болезнь отступила, после стольких дней смог наконец встать на ноги!

– Мульки, запряги-ка Серую! Поедем к Черкезу-волопасу.

Сары-ага вышел со двора, пересек пыльную дорогу, поднялся на взгорок. Отсюда были видны поля. Пшеница уже поспевала, колосья стали золотыми. Еще немного – созреет. «Хорошо ли Нарлы полил участок? – думал он, глядя вдаль повлажневшими глазами. – Не забыл ли, что начинать надо с возвышенности?»

Когда он вернулся, повозка уже стояла посреди двора.

– Дедушка, дедушка! – бросился ему навстречу Еламан. – Я тоже с тобой поеду.

– Иди играйся! – прикрикнул на сына Мулькаман.

– Как же не взять с собой маленького, – Сары-ага помог Еламану забраться в арбу. – Нельзя, Мульки, так говорить с ребенком. Душа у него нежная.

– Хорошо, отец, – сказал Мульки, стегнув лошадь вожжами.

Серая поднатужилась, стронула арбу с места. Лениво заскрипели колеса. Сары-ага и Еламан сидели на охапке сена, Мульки шагал рядом с лошады. Настроение у Сары-ага стало хорошее, хотелось поговорить.

– Что-то у Мамагуль никого не видно? – спросил он, когда они проезжали мимо соседского двора.

– Второй день с детьми косит, – нехотя отозвался Мулькаман.

– А как у них с едой?

– Позавчера зерно давали. Я привез Мамагуль ее долю...

– Так всегда делай, сынок, – похвалил Сары-ага. – Надо поддерживать друг друга. Много ли человек может один?

– Хорошо, отец.

Еламан задремал. Сары-ага осторожно вытянул травинку, что щекотала ему щеку. Они проезжали мимо двора Мухаммеда-серке. Он выделялся среди прочих: большая конюшня, просторный загон для овец. Отец Мухаммеда был богатым человеком. Но Мухаммед не смог преумножить наследства. Что имел, и то по ветру пустил. Не повезло ему!

А началось все с того, что Мурад-кривляка однажды перед скачками сказал, что Мухаммеду завтра ни одного приза не выиграть. Как в воду глядел! Мухаммед до полусмерти избил соседа. Тому бы успокоиться, так нет — только встал на ноги, снова стал дразнить:

— Твои клячи даже моего ишака не обгонят! Давай поспорим!

Тут Мухаммед совсем голову потерял. Еле живой Мурад остался. Стали судиться. Мухаммед-серке в тюрьме недолго сидел, месяца два, откупился. Чего это ему стоило, только кази знает — по миру Мухаммеда пустил! Соседа Мухаммед простил, а судью никак простить не может. Всякий раз сегует, мол, из-за недомерка, которому нос зажми — душа вон, нищим стал. Недомерок! Разве в этом дело. Отец Мухаммеда тоже великаном не был, а жил богаче самого бая. Пройдоха был, своего нигде не упустит! Много ли толку, что Мухаммед силен, как бык. Надо уметь жить! А он?.. Справил той и снова залез в долги. Что имел — все людям роздал. Ради внука! Теперь опять пойдет к чужому порогу батрачить. А коней держит... Нет, не Мурад-кривляка, не кази — сам во всем виноват!

Лошадь еле переставляла ноги, то и дело мотала мордой, отгоняя мух. За повозкой даже пыль не поднималась. Возле каждого дерева, что росло у дороги, Серая норовила остановиться, чтобы отдохнуть в тени. Недовольно фыркала, когда Мульки ее подгонял.

Дорога тянулась через все село. Наконец показалась мельница. Она стояла справа от дороги, пылила, стучала весело. Сары-ага благословил ее: «Пусть не знают устали жернова!». Пока они в работе — лишений не будет, стоит им остановиться — начинай счет поминкам! Ветерок доносил памятный с детства запах муки, запах достатка...

Пока добрались до Черкеза-волопаса, солнце все тени съело. В такой час Грамотей обычно дремал под своей арбой, но сейчас его там не было. Он спрятался в куцей тени тутовника, что рос в глубине двора, и чистил курицу — уже наполовину содрал с нее шкуру. Услышав стук колес, обернулся, долго вглядывался, щурясь от света. Когда узнал Сары-сейиса, легко поднялся и, размахивая руками, чуть ли не бегом кинулся навстречу.

— Добро пожаловать! — поклонился он. — Поглядите, кто приехал. Уж не приснилось ли?

— Вовремя, Грамотей, быка свежуешь! — отозвался в ответ Сары-ага. — Не зря значит приехали...

Черкез-волопас махнул рукой, затараторил:

— Держу тут десяток кур для забавы, а петух не мощней меня оказался. Вчера смотрю, — он поднял тушку над головой, — эта проклятая его по двору гоняет. Сбесилась, видно. Вместо того, чтоб кудахтать, как на роду написано, петухом горланить стала. Падишах мой со страху ко мне в каморку забился, понял, что кроме как у меня, искать ему защиты не у кого. Я курицу гоню, а она на меня кидается. Пришлось соседских ребятшек кликнуть! — Руки Черкеза-волопаса были по локоть измазаны кровью, он смеялся, щерясь беззубым ртом.

— Не знать твоей голове других печалей! — пожелал Сары-ага.

— Надо было и петуха под нож, — поддакнул Мульки. — Слава Аллаху, куры и без него нестись будут.

— А это кто такой? — спросил Черкез-ага, подходя к Еламану. — Что за богатырь с дедушкой приехал? Ну-ка, иди ко мне, иди... — Он протянул руку, чтобы погладить мальчика, но Еламан испуганно закричал, отпрянул, прижался к деду. Смущенный Черкез-ага отступил в сторону.

— Чего орешь?! — крикнул Мульки.

Еламан трясся от страха. Старик с окровавленными руками, с черной растрепанной бородой, в рваном халате был похож на ужасного дэва. «Его привезли сюда, чтобы оставить!...» — Еламан с мольбой посмотрел на деда.

— Неловко получилось! — пробормотал Черкез-ага. То, что ребенок его испугался, показалось ему дурной приметой.

— Не сердчай на него, Грамотей! — Сары-ага вытер внуку слезы. — Увидел бы себя — сам бы испугался! А ты, глупый, зачем плачешь? Дедушка хороший! Поздоровайся с ним, Еламан-джан. Слазь-ка с повозки!

— Не пойду!... Не пойду!... — захныкал Еламан.

— Ну, что с тобой делать? — огорчился Сары-ага. Он передвинулся к краю, свесил ноги. Посидел так, потом, опираясь на посох, медленно сполз вниз, на землю. — Езжай с отцом!

Еламан вцепился в рукав его халата.

— И ты езжай, дедушка! С нами езжай!

Мулькаман схватил сына за ухо, оторвал от деда, толкнул в сено:

— Еще пикнешь — убью! — Но тотчас на лице у него снова появилась улыбка. — Когда за вами заехать, отец? — Мулькаман был нарочито вежлив.

— К вечеру, — чуть слышно отозвался Сары-ага.

— Ладно. — Мульки хлестнул вожжами клячу, та нехотя побрела прочь.

Старики долго смотрели вслед удалявшейся арбе. Еламан все плакал. Сары-сейису казалось, что его сердце сейчас разорвется: «Куда зовешь ты меня, мальчик? Рад бы с тобой вернуться, да не в моих это силах. Прошли те времена, когда мог делать то, что хочется. Столько лет себя обуздывал, что теперь и не могу иначе, привык. Дай бог тебе подольше не знать этого!...» Он жалел, что поддался минутной слабости, взял внука с собой. Арба уже скрылась за бугром, а ему все слышался плач внука.

— Стареешь, сейис!

Сары-сейис вытер кулаком слезящийся глаз, горько улыбнулся:

— Нашел чему удивляться!

Черкез пожал плечами:

— Плохо, что болеешь. Я каждый день о тебе спрашивал.

— Лучше б зашел, — сказал Сары-ага, стирая со лба пот.

— Скотину не бросишь. Была бы своя — ладно, так ведь общая... Мало, что этим соплякам в голову взбретет!..

Все село почитало их ровесниками. Сам же Сары-ага хорошо помнил, что он несколькими месяцами старше. И потому, как ведется у мусульман, стал первым расспрашивать о житье-бытье. О скотине спросил, о родственниках, о детях, о внуках. «Слава Аллаху» — всякий раз отвечал Черкез-ага. Потом настала его очередь. И лишь когда с этой церемонией было покончено, спросил:

— Где сядем? Может пойдешь в дом?..

— Здесь постели, рядом с очагом. Помочь тебе? — предложил Сары-ага.

Черкез-ага взял с арбы старую кошму. Они отнесли ее поближе к мазанке. Возле очага в редкой траве были разбросаны деревянные доски, валялись закопченная тунча, серп с расколотой рукоятью. Черкез-ага ногой сгреб этот нехитрый скарб, расстелил кошму.

— Посиди немного, отдышись. Я все сам приготовлю.

— Ты и в самом деле, как молодой. Ничего с тобой годы сделать не могут. — Сары-ага опустился на кошму, отложил в сторону свой посох. Волопас сходил в дом, вынес две замусоленные подушки, бросил их рядом с сейисом.

— Уж не попрощаться ли ты со мной приехал? — спросил он как в шутку.

— Куда спешить, Грамотей! Только дожили до новых времен, покряхтим еще немного. Распробуем новый хлеб, узнаем, чем он слаще прежнего. — Сары-ага достал из-за пазухи сверток, протянул его приятелю.

Черкез-ага развернул тряпицу.

— А это еще зачем? — удивился он. — Что у меня, муки дома не найдется?

— Унаш сварим, — сказал Сары-ага. — Зачем нам с тестом возиться? — И добавил: — Поговорить хочется.

— Сейчас дров принесу. — Черкез-ага побежал в глубь двора, вскоре вернулся, неся охапку хвороста. — Слава Аллаху, теперь хоть с дровами хлопот нет. Как заросли раскорчевывать стали, у всех хворост есть. Мне уже два раза привозили.

— Как ты живешь один?! — удивился Сары-ага.

— А вот так и живу. Скажу тебе, сейис, человек всегда найдет, с кем ему поговорить. Я и с собакой разговариваю, и с коровами, могу с домом поговорить или с деревом. Поначалу думал, что с ума схожу...

Нет, одиночество меня не тяготит. Человек, скажу тебе, с рождения одинок. Друзья, родичи, соседи — это чтоб тоску свою скрыть... А когда трудно, все равно ты один, никто не поможет.

— Обида в тебе говорит.

— Если обижаюсь на что, так только на старость. Против нее молитв нет. Знаешь, один человек мне жаловался, что он с детства за себя постоять не мог. Другие мальчишки сломают себе ветку, скачут, точно конь под ними, а он — нет, чтоб со всеми играть, — плачет. От зависти плачет... — Черкез-ага посмотрел на друга, словно хотел убедиться, что тот его понимает. — Я не завидовал, нет. Только тоже, все готового ждал. Смеялся, глядя, как другие суетятся. Думал, раз меня Аллах здоровьем не обидел, то и остальных не пожалеет. Прежде так и было, а теперь... Таким, как я, падать тяжело...

— Зря ты об этом говоришь, Черкез. Грустно все это. Я к тебе приехал доброе вспомнить.

— А что нам вспоминать? Как ослов воровали?.. Джигитами хотели быть.

— Не скажи... Раньше жизнь веселей была. Не так ли?.. Бывало, весь день в поле, а вечером все равно у Беркели соберемся, песни поем. Неужели все забыл?.. Теперь люди встретятся, так все о делах говорят, а так сидят по своим кибиткам. Какие прежде тои устраивали! По пять-шесть дней пировали. Было где поесть досыта. А какие скачки!... Помнишь, как в Дашгуи ходили? Бай запретил, а мы все равно пошли!

— Эх, сейис, ничего я не забыл! — вздохнул Черкез-ага. — Хочу забыть, да не получается. Только все эти разговоры, как травка, которой ягненка подманивают. Травка близка, идет он, радуется, а мясник уже нож точит.

— Это ты верно говоришь, — согласился Сары-ага. — Травки нам уже не ухватить! — Сары-ага смотрел, как Грамотей разжигает очаг. Хворост был сырым — не пламя, а только густой белый дым лизал днище казана. — Все мечтал, чтоб мои дети каждый день горячее ели. Жизнь прошла, а, как пятница, старуха все жалуется, что мяса нет. И не накопил ничего!.. Сыновьям в глаза смотреть стыдно. Все Шункар сожрал! Думаешь, я этого не понимаю? Без коня не могу, убей меня — не могу. Совестно, да только это сильнее меня! Как Дурды-бай на такое решился?.. Лучших коней, самых красивых скакунов продал перекупщикам!.. Все ему простить готов, только не это. Думаешь иранцы коней тогда купили? Нет, они нашу гордость купили! А каких коней в Дашгуи продали?! Смотрел я и плакал... Скоро хорошего ахалтекинца во сне только и увидишь!

— Да, кони были как сказка: шеи — два аршина! — вздохнул Черкез ага. — Зря ты себя винишь, сейис. Все бай, на них этот грех. Разве у бедняков хорошие кони были?.. Сколько их под Геок-Тепе¹ потеряли? А продали сколько?... Иранцам, англичанам!.. Святого для них нет! Они бы и Бырака² на золото променяли! — Черкез-ага разволновался, глаза его сверкали. — Разве с нашими ахалтекинцами другие кони сравнятся могут?! Всяких я повидал, а лучше их нет: легконогие, тонкоveckие, с журавлиными шеями! Горстью ячменя насыпятся!..

— Кому это ты рассказываешь, Грамотей! Я так думаю, что Бырак тоже из наших был. Всякий падишах мечтал ахалтекинца иметь, пока не завладеет — не мог славой насытиться. Зулькернай³ полмира прошел, чтобы ахалтекинца добыть! Вся наша слава в этих конях была!

Черкез-ага, который дочистил наконец курицу, бросил ее в казан и сел рядом с Сары-сейисом. Он разлил чай, взял свою пиалу в руку и долго смотрел на нее, словно хотел увидеть свой вчерашний день в бледно-зеленом зеркальце чая.

— Знаешь, сейис, — сказал он наконец, — когда я был там, в России, однажды к нам большой начальник приехал. Построили нас. Смотрю, под ним ахалтекинец, красавец-конь! Обрадовался я, словно родного брата встретил. В строю без разговоров стоять положено, а я обо всем забыл. «Это наш конь, туркменский!» — одному говорю, другому, чтоб все знали. Тот увидел, нахмурился, усищи свои подкрутил, подзывает меня к себе. Подбежал: вот я — Черкез Агейли-оглы!.. Конь рядом — на щеке его дыхание чувствую. Он меня тоже за своего признал! Заржал радостно и на дыбы! Главный осадил его, успокоил, потом спрашивает меня: «Туркмен?» — «Туркмен!» — «Ступай в строй!.. Лучше всех ваши кони!» Я чуть не заплакал тогда...

— Откуда у него туркменский конь? — спросил Сары-сейис.

Черкез-ага выплеснул на землю чай, оставил пиалу.

– Я об этом тоже подумал... Только позже. Сначала, как ахалтекинца увидел, обо всем забыл. Вот как обрадовался!.. Твой Шункар – замечательный конь! – добавил он торопливо. – И Мульки... – Черкез-ага не договорил, искоса посмотрел на сейиса. – Он – хороший наездник, когда вижу его, душа радуется, но ... Вот помню, ты... Ты в седле свободно сидел, легко, словно кроме тебя и лошади вокруг никого. А Мульки смущается что ли?.. Все вертится, по сторонам смотрит.

Сары-ага, соглашаясь, покачал головой:

– Молод еще.

– Нет красавицы без изъяна! – поспешил успокоить друга Черкез-ага. – Ты бы учил его, сейис.

– Я же сказал, молод, – твердо повторил Сары-ага. – Сначала надо хорошим наездником стать.

– Брось, брось, сейис... Мульки уже за тридцать. Ты был не старше, когда чужой человек доверил тебе своих коней. А ведь Дурды-бай дорожил ими, как своей жизнью!

Черный кобель, услыша свою кличку, выронил из пасти куриную голову, посмотрел на хозяина и негромко зарычал.

– Видишь, откликается!.. – Черкез-ага оглушительно расхохотался.

Сары-сейис тоже улыбнулся:

– Зря ты так собаку кличешь!.. Сыновьям Дурды-бая такое не понравится.

– Мне уже поздно жить так, чтобы кому-то это нравилось!... А сына учи, пока у него желание не пропало.

Сары-ага нахмурился:

– Учю. Только не знаю, что из этого получится. Боюсь, в нашем роду не будет больше сейисов.

– Мульки – парень неплохой, – сказал Черкез-ага. – Озорват, правда, задирист... – Помолчав, добавил: – Говорят, тех, кто на ишаках ездит, за людей не считает. Может, болтают...

– Не велик грех – озорство, – вступился Сары-ага за сына. – Мы тоже тихонями не были. Образумится с годами. Если не Аллах, так жизнь уму разуму научит. Уж если Сейит муллой слывет!.. Недавно встретил меня, о Пророке рассказывать стал. Скажи кому-нибудь, что вором был, теперь и не поверят!.. Праведник! Кто мог подумать?.. А кто трудился всю жизнь – нищий, хуже всех живет, вот как получается! – Сары-ага наполнил свою пиалу. – Такого богатства, как у Сейита Кары нам не надо. Об одном Аллаха прошу: чтобы уберег сыновей от воровства и предательства. Другие грехи люди простят. – Старик помолчал. – Мне бы еще хоть десять лет пожить! Всю жизнь коням отдал, пора теперь о детях позаботиться...

– А я и не видел, когда дети выросли... – сказал Черкез-ага. – Ничего, не хуже других. Заботятся, заходят о здоровье справиться, что бы ни приготовили – приносят. Как за ребенком, за мной смотрят... Это мне и не нравится! Только и слышишь, как тебя жить учат. К себе зовут, мол, что ты здесь потерял!.. И Ильмурад такой же. Люди его выдвинули, над собой поставили, а он не понимает, что нельзя мне теперь этот загон оставить. Ему же пенять станут, что родством больше общего дела дорожит! Ничего им не докажешь – себя умней всех считают. Я друзей лучших потерял, они себя не жалели, чтобы люди по-новому жили. А я буду выроdkов Дурды-бая бояться?! Как на роду написано, так тому и быть. Пусть они меня боятся. Убьют Черкеза Агейли-оглы – род мой не прекратится. Тринадцать побегов в нем! – Черкез-ага погрозил кому-то кулаком, помолчал, потом прибавил: – Хорошо еще, внуки пока не учат. Вот она старость! Сказано ведь: «Верблюду состарится за верблюжонком плестись будет!» Я, если честно говорить, всю жизнь чужими советами жил. С женой советовался...

Зарычал Дурды-бай. Старики разом оглянулись.

Мальчик лет тринадцати стоял чуть поодаль, прижимая к груди узелок.

– Соседский, – шепнул Черкез-ага приятелю. – Что тебе, сынок?.. Не бойся, пес тебя не тронет.

Мальчик подошел, поздоровался со старшими за руку, протянул свой узелок Черкезу-волопасу.

— Отец угощение вам передал. Тут мясо, хлеб... Велел передать вам, если чего надо — прикажите...

— Как вы узнали, что у меня гость?.. — обрадовался Черкез-ага. — Вот так скажи отцу: «Черкез-волопас желает долгих лет жизни». Да отблагодарит тебя Создатель, сынок!..

Мальчик поклонился, убежал, сверкая пятками.

Черкез-волопас развязал платок. На горячей, только что из тамдыра лепешке лежало несколько кусков вареного мяса.

— Пошли им Аллах благополучия! — Черкез-ага пододвинул к Сары-сейису угощение, сам уселся поудобней. Он приободорился, казалось, помолодел прямо на глазах. — Славные люди, сейис. Недавно захворал — как родные дети за мной ухаживали, ни на шаг не отходили. То еды принесут, то чай заварят, за скотиной присматривали. Знахарку Нартач из Дашгуи привезли... Как вспомню об этом — плакать хочется. Ничего для меня не жалеют. Когда такие соседи, как жизни не радоваться! Угощайся, сейис!

Сары-ага отломил кусочек лепешки:

— Спаси их Аллах! Не дали умереть с голоду. — Он усмехнулся, головой указал на очаг. Огонь в нем давно прогорел. — Видно, не судьба мне твою курицу попробовать.

— Оно и к лучшему!.. Курица такая, что ее девицам есть нельзя, в грех впадут.

— Нам-то чего бояться? — удивился Сары-сейис.

— Не скажи... Давеча вот приснилось, что женюсь. А невеста — девушка красивая, я таких в жизни и не видел. Как пери... И сам я молод, грудь колесом, усы торчат. Все ровесники прислуживают, словно я падишах какой. Так и бегают, так и бегают... Пир богатый, и не кибитка стоит, а дворец. Потом вы на руки меня подняли, к невесте понесли, вот. Стоит значит Черкез Агейли-оглы рядом с красавицей...

— Тыфу!.. — Сары-ага, кряхтя, распрямил ноги, прилег на подушки.

— Эй, дослушай!..

— Нашел чем хвастаться, — покачал головой Сары-сейис. — Постыдился бы седой бороды. В наши годы такой сон видеть и то геройство!.. — Он сцедил в свою пиалушку остатки чая.

— Ладно, ладно, сейис... Кому же мне, как не тебе, об этом рассказывать. Другие-то не поверят!..

— А я сегодня во сне Беркели видел, — сказал Сары-ага. — Вроде опять его убивали... возле нашего колодца... — Он умолк, прикрыл веки, словно надеялся вновь увидеть Беркели. Но вместо этого представился ему длинноногий жеребенок: слабый, дрожащий, нескладный стоял он среди луга, испуганно озираясь по сторонам. И себя увидел Сары-ага. Он хотел помочь жеребенку, но тот испугался, неловко рванулся в сторону и не удержался, упал — ноги его расплзлись в разные стороны. Сары-ага обнял теплую шею, затаил дыхание, чтобы услышать удары крови. Ничего не слышал. Хотел поднять упавшего, но не смог — немыслимо тяжелым был жеребенок. Точно из золота...

— ...его конь ночами здесь бродит, — услышал он голос Черкеза-волопаса. — Подойдет к загону и стоит. Близко не подпускает. Как душа несчастного Беркели, все не успокоится. Поймали бы его, что ли? Такой конь!.. Не могу смотреть как он мучается.

— Не поймаешь! А поймают, так умрет. Пусть уж так живет. — Сары-ага вздохнул. — Выходит, по людям все-таки скучает. Я-то думал, что совсем к селу не подходит. Не знаю, часто я Беркели вспоминать стал, словно виноват перед ним...

— Может бахши позвать?.. — спросил о своем Черкез-волопас. — Говорят, звуки дутара способны излечить лошадь. Неспроста ведь первый дутар сделал сам Баба Гамбар. Он был конюхом у самого пророка Али. Конь пророка забывал про еду, когда Баба Гамбар брал в руки Дутар. Я и то иной раз своей кляче потренькаю, она веселей становится. Знаешь, сейис... — Черкез-волопас не договорил, посмотрел на приятеля так, точно собирался сообщить ему что-то очень важное. — Я ведь нынче свою лошадь в случку поставил. Бог даст — будет жеребенок. Не знаю только, успею ли его выходить...

— Ты бы лучше тунче на огонь поставил, — усмехнулся Сары-ага. — От жажды у тебя умрешь!

— Сейчас, сейчас... — засуетился Черкез-волопас. Он подошел к очагу, опустил на колени, стал шарить в траве. — Больше всего люблю жеребенка в первые дни, когда тот ходить учится. Смотришь и думаешь, ах, какой красивый конь вырастет!..

– Ты что там ползаешь, Грамотей? Огонь нечем разжечь?

– Кресало есть, только памяти не осталось! – виновато улыбнулся Черкез-ага. – Где-то здесь положил, сейчас найду... О!... Мульки-джан... – вдруг воскликнул он, все так же стоя на коленях. – Что так рано приехал? Мы даже унаш чаем запить не успели, – сказал он, с хитрецей глянув на Сары-сейиса. – Садись, садись с нами, сынок!.. Пусть хоть из пушек стреляют, мы сейчас чайку попьем!

– Ладно, Грамотей! Пора ехать, – Сары-ага протянул руку сыну, чтоб тот помог ему подняться.

Он отправился к Черкезу-волопасу, чтобы вспомнить молодые годы, чтобы вновь, хоть не надолго, ощутить себя беззаботным, как в детстве. Сейчас он был доволен. Негромко стучали колеса, шуршало душистое сено, высокое голубое небо плыло над ним. Сары-сейис приподнялся на локте, посмотреть далеко ли отъехали. Мельница уже осталась позади. С востока надвигалась черная туча, низко, над самым горизонтом ползла в сторону села. Сначала он удивился, но потом догадался, что это не туча, а дым тянется оттуда, где раскорчевывают заросли. Он вспомнил, что утром хотел взглянуть на свое поле. «Земля Сары-сейиса» – произнес он несколько раз мысленно, наслаждаясь звучанием этих слов. – Четыре танапа – это совсем не мало!» Когда он последний раз был на своем поле, пшеница только начала колоситься. Теперь она должно быть уже совсем хороша!

– Сворачивай, Мульки! – приказал Сары-ага.

– Куда? – не сразу отозвался Мулькаман.

– На поле наше хочу взглянуть. – Сары-ага видел только спину сына, обтянутую малиновой тканью халата. Ни морщинки на ней, ни складочки. Мульки даже не шелохнулся. Но старик почувствовал, ясно представил себе, как недовольно скривились губы сына, как заиграли желваки у него на скулах. Мульки молчал. Сары-сейис знал, что сейчас он торопливо придумывает отговорку, чтоб не обидеть его и в то же время сделать по-своему.

«Так и будет, – с горечью подумал старик. – Не услышать мне сегодня, как шумит под ветром пшеница, не увидеть, как бегут золотые волны по ниве!.. Хоть бы для виду придержал лошадь...»

– Уже поздно, отец. Дорога-то неблизкая, пока доберемся – совсем стемнеет. Мы с Нарлы каждый день там бываем, – добавил Мульки, – все что надо делаем. Сам Ильмурад сказал, что хорошая пшеница уродилась. – Мульки обернулся, на лице у него была вежливая улыбка. – «Сразу видна рука Сары-сейиса!» – вот как сказал. Завтра утречком вас отвезу. Втроем и поедем: вы, Нарлы и я с вами. А сейчас поздно. Лошадь устала, и Шункара кормить пора. Да и вы, наверно, устали, отец?

– Хорошо, – коротко сказал Сары-ага и прилег на сено. «Болтлив, точно сводня!» – подумал он с неприязнью. Такое же чувство неприязни к сыновьям было у него сегодня ночью, во сне. «Сон – в руку... сон – в руку...» – поскрипывали колеса. До самого дома Сары-ага не проронил ни слова.

Добрались уже в сумерках. Пока Мульки распрягал клячу, Сары-ага зашел в затишь, постоял рядом с Шункаром. Он чувствовал, что конь обрадовался ему, что присутствие хозяина его взволновало. Но Шункар держался с достоинством, и его спокойствие постепенно передалось Сары-сейису, пригасило обиду, что бушевала в душе у старика.

– Не пойду, не пойду никуда! – слышался из кибитки плач Еламана. Дедушка сказал «оставайся!»... Сказал, что я его сынок...

– Кто там? – спросил Сары-сейис, когда Мульки принес упряжь.

– Огульбиби пришла.

– Сваха, что ли?..

Мульки кивнул.

– Идемте, отец.

– Ступай! – Сары-ага присел на сложенное у стены сено, обхватил руками голову. В тишину ему хотелось погрузиться сейчас, в тишину... Чтоб ни звука. Или нет, чтоб слышать только дыхание Шункара... Пусть оно убаюкает его!..

– Дедушка!.. Дедушка!.. – звал Еламан.

Старик подумал, что, верно, какая-то таинственная связь существует между ним и этим беспечным до недавних пор ребенком, что-то их влечет друг к другу. Когда Еламан учился говорить, первым его словом было «дедушка». Но если он брал внука на руки, тот путался, начинал громко плакать, совсем как сейчас...

Неужели дети всегда плачут одинаково?

— Мамочка тебя ждет. Сидит и плачет: «Вай-вай, где мой джигит? Ночь на дворе, может, его шакалы загрызли?..» — уговаривала Огульбиби. — Еламан-джан, ты ведь не хочешь, чтобы матушка твоя плакала?.. Пойдем, дорогой, пойдем...

— Свет ты мой ясный!.. — вторила ей Гюльрух-эдже. — Не плачь, душа моя! Завтра снова к нам придешь, поможешь бабушке молоко кипятить.

— Дедушка!.. — звал Еламан.

— Замолчишь ты?.. Чтоб ни звука!.. — Это — Мульки.

— Де-да-а-а!.. — На полуслове зов этот перешел в долгий, полный невыразимой тоски стон, плач, рев, который волнами накатывался на Сары-ага — то нестерпимо громкий, то чуть слышный, как щенячье попискивание.

Сейис присидел в затиши, пока Огульбиби не увела ребенка. Выйти не решался, не мог, чтобы не дразнить внука, чтобы себя пощадить, ведь ему сейчас было во много хуже, чем Еламану. Он боялся, что не сможет ночью заснуть, но, как ни странно, сон пришел к нему почти сразу, стоило только опустить голову на подушку. До утра он ни разу не проснулся, и кошмары его не мучали, как давеча, а пробудился легко, снова полный желания жить, заботиться о всех, что-то делать, распоряжаться... Сразу после утреннего чая он отправился к сватам. Мульки, когда отец уходил, напомнил, что они собирались поехать в поле, посмотреть пшеницу. Он уже приготовил повозку — арба стояла посреди двора. Вид у сына был виноватый, он то и дело заискивающе улыбался, все хотел угодить, загладить вчерашнюю вину. Очень хотелось взглянуть на «землю Сары-сейиса», но старик не поддался искушению. «В другой раз!» — сказал он, сказал так еще и затем, чтобы наказать Мулькамана.

У сватов Сары-ага пробыл недолго. Когда вернулся, было его не узнать, казалось, что он не видит ничего вокруг. Долго стоял у колодца, потом побрел к своей кибитке, но на полпути остановился и опять надолго задумался, пошел к Мульки.

В кибитке сына никого не было. В первый миг Сары-ага испытал неловкость, словно без спросу зашел в чужой дом. И в самом деле чужой. Он был здесь лишь однажды, в тот самый день, когда поставил эту кибитку, вошел, чтобы благословить новый очаг. Нет, и в прошлом году был, когда делали обрезание Еламану... Все были во дворе, а он решил спрятать крайнюю плоть. Сары-ага поднял глаза и сразу нашел место, где к решетке терима сыромятными ремнями была привязана криво уходящая ввысь жердь, одна из тех, на которых держалось небо кибитки. Он выбал это место для тайника, потому что внизу стоял сундук — никто не подойдет случайно, без дела, а днем на сундуке горой сложены одеяла и подушки, за ними тайное место совсем не видать. Этот сундук он как-то купил у хивинцев. Нарядный, расписанный яркими красками, украшенный узором из белой жести... Не сундук — загляденье. Теперь краски потускнели, кое-где облупились, и жесь потемнела, ничего от прежней красоты не осталось. А купец расхваливал, говорил, на века... Глупец, кто верит купцам... И кошма... Столько лет она лежала у него в кибитке, вечерами он любовался замысловатыми узорами. Теперь там, где прежде красовались завитые архары рога, совсем рисунка не видно, протерлась шерсть. Знакомые вещи, а не узнать, словно впервые он их видит.

— Что вы ищете, отец? Скажите, я сама найду... — Сары-ага оглянулся. Гюльрух-эдже стояла рядом, чуть за спиной и смотрела на мужа испытующе и одновременно с мольбой.

Когда муж вернулся, она сразу заподозрила недоброе, когда же он пошел к Мульки — совсем потеряла покой: не спалил бы сгоряча кибитку!

— Что мне здесь искать? Обязательно что-то искать надо? — голос Сары-ага дрожал, как туго натянутая, готовая вот-вот порваться струна. — Следишь?..

— Что вы, отец! Не часто вы сюда заходите, вот и подумала...

— Нечего думать! — закричал Сары-ага. — Когда хочу, тогда и захожу! Мои это кибитки, мои!.. Где хочу, там и буду сидеть, ясно тебе?.. И не следи за мной!.. — Давно Гюльрух-эдже не видела мужа таким.

Лицо его побагровело, на висках вздулись вены. Он замахнулся своим посохом и, казалось, сейчас ударит. — Поди прочь!!!

Гюльрух-эдже торопливо попятилась к двери. Боясь поднять на мужа глаза, выскользнула из кибитки. Сары-ага отшвырнул палку в сторону, вздохнул поглубже, будто собирался нырнуть в воду, и, глядя в землю, вышел за старухой следом, пошел к себе.

Он снял тельпек. Лег на спину. Грудь ходила ходуном, казалось, вот-вот разорвется, а он все никак не мог отдышаться. Широко открывая рот, Сары-ага с шумом заглатывал воздух, но тот лишь сушил нёбо, не принося облегчения. Обильный пот тек по щекам, но не было сил поднять руку, чтобы стереть его. Тысячи иголок впивались в сердце — так песок сечет лицо во время бури! Веки налились свинцом. Круги — красные, кровавые, и светящиеся, словно золотые, — плыли, бешено вращаясь, перед глазами. Голова раскалывалась. Сары-ага зашелся глухим, лающим кашлем. С трудом смог унять его, полегчало... Он повернулся набок, чуть приоткрыл глаза: маленькие огоньки — теперь уж настоящие! — мерцали, копошились, как мураши, среди углей в очаге.

Гюльрух-эдже принесла чай в нарядном, с позолотой, чайнике, который доставали, если к Сары-ага приходили гости. Это был приз, выигранный на скачках. Она опустила чайник на кошму, своими не боящимися горячего, заглубевшими ладонями отерла его крутые бока. Достала из сундука цветастую пиалу, наполнила ее до краев и сразу же перелила чай обратно в чайник. И еще раз сделала так, и еще — три раза, чтобы чай получше заварился. Потом укутала чайник платком, оставила настаиваться. Все это делала она не задумываясь, руки двигались сами собой, мысли были заняты другим.

Как только вошли в кибитку, лицо мужа поразило ее своей неестественной бледностью, а ведь совсем недавно, когда он разгневался, оно было багровым. Исподтишка, стараясь, чтобы Сары-ага этого не заметил, она наблюдала за мужем. Черты его лица заострились, глаза глубоко запали. И эта бледность!.. Казалось, не кровь отхлынула от щек, а сама жизнь начала медленно покидать сейиса. Гюльрух-эдже стало не по себе. «Почему люди вынуждены уходить, когда с трудом достигли желанного, когда только и настало время радоваться достатку, внукам?.. Почему?.. Где же справедливость, Создатель?..» — Концом платка она утерла слезы и сразу засутилась, захлопотала. Расстелила поближе у очага тюфяк, вынула из сундука стиранную рубаху.

— Смените белье, отец. Давайте я вам помогу!

— Чуть не одолела, проклятая!.. — пожаловался Сары-ага. Он перебрался поближе к огню, маленькими глоточками выпил пиалу чая. Боль ушла, но тело было, как ватное, колени дрожали. «Неужели это все?.. — думал он, глядя как хлопочет жена. — А ведь в нашем роду все славились долголетием. По восемьдесят, по девяносто лет жили... Отчего же мне не суждено насладиться жизнью вдоволь?»

Он думал об этом без сожаления, точно речь шла о чужом человеке, надорвавшимся непосильным трудом. «Не так уж коротка была жизнь, если подумать, прожил больше самого пророка!... Вот только не заметил как она пролетела! Но сделал немало: три кибитки у него, своя земля, отдал замуж дочерей, сыновей поставил на ноги,

внуки... Если все соберутся, тени шах-тута не хватит! — подумал он с гордостью. — И свой конь есть у него! Разве не об этом мечтал в молодости, когда был на побегушках у бая? Кто знал тогда о нем? А теперь его имя с почтением произносят, повсюду, где слышали о его Шункаре!..»

Гюльрух-эдже присела у него в ногах, глаза ее были полны печали. Ему захотелось сказать ей что-нибудь нежное, ободряющее, но ничего в голову не приходило. «Видно, не суждено ей услышать от меня ласковое слово!.. Разве не о таких, как она, говорят, что пойдет в рай и корову с собой захватит, да еще домой потом заскочит, посмотрит все ли там ладно! Нет, надо сказать ей что-нибудь доброе!..»

Ему казалось, что жена ждет этого. Но Гюльрух-эдже не нуждалась в ласковых словах, в благодарности. Она была довольна своей судьбой. Муж не бил ее, как другие. А ведь мусульманину предписано раз в неделю наказывать жен. Пусть на том свете не слишком строго судят его за этот грех!.. С ним она никаких забот не знала, все что от нее требовалось, так это выполнять его наказания. О всем, даже о

самой мелочи он думал! Где взять, куда положить, что на обед готовить... А разве у Сары было мало своих забот! Нет, ничего он не забывал, все держал в уме. Поначалу это ее обижало, думалось, муж ей не доверяет. Однажды она осмелилась сказать об этом. «Разве Аллах не разделил дела на мужские и женские?» — спросила его, словно в шутку. Сары сделал вид, что не слышит. Но, видно, к тому времени уже вошло в привычку обо всем советоваться с мужем. Когда на другой день он уходил на конюшню, она сама спросила, что приготовить на вечер. Обо всем, обо всем с ним советовалась. Если в чем перед Сары виновата, так лишь в том, что щадила его, не всегда говорила о сыновьих проделках. Уж слишком он горячился, узнав, что дети озоруют. Нарлы здорово влетало! Не одну палку сломал отец у него на спине!.. А вырос — стал точь-в-точь таким же, чуть что — сразу бить! Отцовская кровь!.. И Еламану от него доставалось, и Иламану... Мульки она защищала, как могла. Младшего она любила больше других. Нет, всех она любила одинаково, просто Мулькаман был ей дороже. Родился слабым, болезненным, сколько ночей она не доспала, пока выходила его. Разве можно об этом забыть? Если это грех, так не сполна ли она его отстрадала: от стыда щеки горели, когда подкладывала Мульки кусок послаще! Сколько надежд связано с детьми, как хотелось, чтобы все их уважали, чтобы стали они хозяевами просторных кибиток, чтобы было у них много скота, большое поле. Каждый день только об этом и молилась. Услышал ли Аллах ее слова?... Суждено ли сбыться ее мечтам!..

— Незачем было ходить к сватам, — сказала Гюльрух-эдже. — Послали бы Нарлы. Что, до вашего сына ни один мусульманин жены не прогонял?.. Не старый еще, если Аллаху угодно, женим на самой лучшей девушке. Пусть это вас не тревожит! Что ни есть — все к лучшему, не велика потеря. Только Еламанчика жаль... — добавила она.

— Замолчи! — попросил Сары-ага. Голос его дрожал. Он с трудом приподнял голову. «Как сказать матери, что сын ее обманул, обманул их обоих? Где найти такие слова! — У Сары-ага даже губы дрожали от обиды: — Надо ли говорить? Ну скажет он, что от этого изменится?.. Подумать только, родной сын обманывает тебя, словно глупого ребенка! И вины за собой не чувствует! Чтоб он хлебом подавился!.. Пусть век живет неженатым! Это ж надо, так опозориться!..»

Ох, как хотелось Гюльрух-эдже узнать, о чем был разговор со сватами! Догадаться, что все обстоит совсем не так, как рассказывал Мульки, совсем не трудно. «Только бы он сейчас не вернулся!.. Отцу совсем худо станет, если разволнуется.» Гюльрух-эдже заплакала от бессилия. Эх, если бы слезами можно было все исправить! Уже давным-давно царил бы на земле порядок!.. Если бы все мольбы достигали цели, ничего бы и делать людям не пришлось!..

Ужинали без Сары-ага, во дворе. Гюльрух-эдже принесла мужу его миску, сидела рядом, пока он не поел. В кибитке было жарко, но даже после унаша сейису не удалось пропотеть. И чай не помог!.. Целый чайник выпил Сары-ага, но облегчения не почувствовал. К ночи ему стало совсем тяжело. Головная боль усилилась. Он, негромко постанывая, метался на постели. Иногда схватывало сердце — все в глазах темнело. Что-то говорила ему жена, Нарлы, он не мог понять, чего от него хотят, слышал только как гулко стучит кровь в висках. Несколько раз он забывался недолгим сном, но и тут не обретал покоя: бредил, ругался... Иногда он садился, испуганно смотрел по сторонам, выпучив глаза так, что, казалось, сейчас они выскочат. Но тут же обессиленный падал на подушки. Только к вечеру следующего дня стало ему полегче. С закрытыми глазами он лежал на спине и вдруг медленно поднял руку, уронил ее себе на лоб. Приоткрыл веки, поднес руку к глазам и улыбнулся. Гюльрух-эдже не сразу поняла, что означает эта улыбка.

— Комар! — чуть слышно шепнул Сары-ага.

И в самом деле было чему обрадоваться: если он способен чувствовать боль, значит жизнь еще теплится в нем. Здоровый человек и то не всегда заметит, что к нему присосался комар. Лишь когда тот напьется крови и улетит, ощутит укус...

Гюльрух-эдже поняла мужа по-своему:

— Прости, отец это я виновата: забыла полог опустить, вот эти кровопийцы и налетели. — Она взяла платок и принялась гнать комаров из кибитки. Куда там!..

Сары-ага следил за ее бесплодными стараниями, а думал о том, сможет ли он почувствовать час, миг, когда настанет срок прочитать предсмертную молитву, не всем его ровесникам это удалось. «Смерть Беркели была, наверно, не трудной, — думал Сары-ага. — Негодяй убил его во сне. Бедняга Беркели

вздохнул на этом свете, а выдохнул уже на том!.. И Анна недолго мучился: всего два дня пролежал в постели. Может, потому и любил поваляться в тени, подремать, что знал, чувствовал: смерть настигнет его во сне. Не дай бог мучиться, как Мурад-кривляка! Столько лет лежал жалкий, беспомощный, всю родню измучил. Вот это — страшней всего. Ведь соображал, видел, что близкие только и ждут, когда он этот мир оставит.»

Прежде мысли о смерти всегда пугали Сары-сейиса. Он понимал, что конец неизбежен, что раньше или позже придется расстаться с этим прекрасным миром, со всем, что дорого, но примириться с этим не мог. Теперь он думал о близкой смерти, как о чем-то обыденном. Никакого страха в душе не было. Одно лишь тревожило: не стать бы обузой для близких, не причинить им слишком много хлопот. «Вот бы умереть, как Тойлы-бахши! Пел песню — и умер...» — Сары-ага невольно усмехнулся: надо же, о чем только человек не мечтает!

В кибитку вошел Нарлы, присел у изголовья.

Сары-ага обрадовался, что можно поговорить наедине, — будет ли еще такая возможность.

— Сынок... — Сары-ага не узнал свой голос. Он стал каким-то глухим, надтреснутым. — Сынок, не вини меня... Всю жизнь только об одном мечтал, чтоб вы ни в чем не нуждались. Что мог — делал, да, видно, не судьба: нищим пришел — нищим уйду. Нечего мне вам оставить. Прости, сынок... Ты постарайся, ты — сильный...

— Не плачьте, отец. Лежите, ни о чем не беспокойтесь. Скоро поправитесь. И о делах не тревожьтесь, все, что надо, я сам сделаю. Лишь бы вы были с нами, мы ни о чем другом не мечтаем... — голос Нарлы задрожал.

— Да услышит твои слова Аллах!.. Сделайте все, как надо: бязь у матери припасена... — Нарлы было страшно, что отец заговорил об этом, но перебить его он не посмел, только послушно кивнул. — Похороните меня рядом с Беркели, там, на горке. Дорога туда близкая, часто мимо проходить будете... вспомните про меня... И я на вас буду смотреть... — Отец умолк. Нарлы не знал, нужно ли ему отвечать и что следует сказать. Но даже если бы и знал, то навряд ли смог бы произнести хоть слово, какое-то оцепенение овладело им. — Что-то детей не видно? — спросил Сары-ага. — Они дома?..

С тех пор, как он слег, детям было настрого наказано в кибитку не заходить. Да они и сами бы туда не вошли. Теперь они не играли. Целыми днями сидели под тутовником, зорко следили за взрослыми. Ни о чем старших не спрашивали, между собой говорили шепотом.

— Они дома, — ответил Нарлы. Отец молчал. Нарлы наклонился к нему, прислушался: Сары-ага спал, дыхание его было легким и ровным.

Он проснулся среди ночи от того, что замерз. Рубаха была мокрой от пота. Свежий ночной ветерок играл занавесью у входа, врывается в кибитку, холодит лицо. Сары-ага чувствовал себя отдохнувшим, здоровым, казалось, вместе с потом хворь покинула его тело. Гюльрух-эдже сидела у очага. Он не мог понять, дремлет она или бодрствует. Но если и заснула, так только что — язычки пламени жадно лизали недавно подброшенный хворост, по стенам, своду кибитки бегали огненные сполохи. Сары-ага смотрел вокруг и не мог насмотреться. Привычные вещи, которые он видел каждый день на протяжении многих лет, открывались ему заново. Кибитка была просторной: большая семья могла собраться здесь вокруг очага. «Как славно было им вместе!» — подумал сейис. Слева от очага сидела Гюльрух, справа, напротив нее, восседал он сам. Между ними — дети. Их дети. Ярко пылал огонь, очаг был жарким сердцем этого дома, согревал всех, кто рядом. «Зачем они ушли?.. Что хотели найти?.. Разве мало им было того тепла, что дарил отцовский очаг, очаг родного дома?.. А теперь их удел: холод и мрак, мрак и холод...» Он вспомнил сыновей, Еламана и Иламана, вспомнил последний вечер, проведенный вместе у этого очага. Пламя озаряло их лица, огнем горели их глаза. Нехороший то был огонь, как отсветы адского пламени, — беспокойство он вселял в души, заставлял забыть о благоразумии. «Пора поставить вам кибитки, стреножить вас», — сказал он в тот вечер. — «Подождите немного, отец, — ответил Иламан. — Мы их скоро сами поставим. Вернемся, будем работать вчетвером. Сыновья трудятся, а вы любуетесь ими, разве плохо?.. Дастархан будет полон хлеба.» — «Кто хочет, чтобы на дастархане был хлеб, сидит дома, а вас только помани!..» — разозлился Нарлы. — Не горячись, сынок, — сказал он тогда. — Не для того дана молодость, чтобы сиднем сидеть...»

Сары-ага нашарил посох. Опираясь на него, осторожно встал. Тело было непривычно тяжелым, а ноги совсем ослабели, он пошатнулся, вскрикнул, боясь, что упадет. Гюльрух-эдже сразу же проснулась, подбежала к нему.

– Куда вы, отец?

Сары-ага оперся о ее плечо, постоял так немного, пока не прошло головокружение, осторожно сделал шаг, потом другой. Вместе они дошли до выхода. Ночь была темной. Сары-ага прислонился к дверному косяку, сделал знак, чтобы жена оставила его. Свежий ночной воздух пьянил, как вино. Глаза постепенно привыкали к мраку. Что-то белело возле колодца, похоже, там стоял человек. «Кто бы это мог быть?» – пронеслось в голове. Сары-ага, все еще придерживаясь рукой за кибитку, сделал осторожный шаг. И у колодца что-то шевельнулось, казалось, человек отступил в тень. Сердце сейиса наполнилось тревогой. «Беркели!.. – Он вспомнил сон, что снился ему наперед. – Беркели!.. Неужто он до сих пор там?»

– Эй!.. – окликнул он, хотел позвать Беркели по имени, но язык не послушался.

– Что вам, отец? – Гюльрух-эдже стояла рядом, видно, и не уходила никуда.

– Кто там? – Сары-ага указал в сторону колодца.

– Ничего там нет!

Сары-ага присмотрелся – и в самом деле ничего!

– Зачем вы встали? Надо полежать немного... – Гюльрух-эдже говорила с ним, как с ребенком.

– К Шункару... – Он медленно двинулся к затиши. Гюльрух-эдже следовала за ним, чуть сзади, готовая в любой миг прийти на помощь. От того, что она была рядом, Сары-ага чувствовал себя уверенней. Даже путь до затиши не показался ему долгим. Когда он вошел к Шункару, Гюльрух-эдже отстала. Сейис не разрешал женщинам заходить к коню.

Шункар сразу узнал хозяина, негромко фыркнул, приветствуя его. Потянулся к нему мордой, принялся. Сары-ага коснулся губами белой звездочки на лбу у коня, прижался щекой к его голове. Постоял так немного, пока конь не высвободился осторожно. «Почуял запах смерти», – без обиды подумал сейис, поправляя попону. Чтобы не тревожить понапрасну Шункара, пошел в денник к Серой. Старая лошадь дремала на подстилке. Увидев Сары-сейиса, попыталась подняться, но неловко – ноги не хотели держать грузное тело.

– Лежи, лежи... – пробормотал Сары-ага. – Мне ли тебя не понять?.. Не обижают ли тебя кормом?.. Прощай!.. – сказал он напоследок.

* * *

Не всем, кто приходил проведать Сары-сейиса, доводилось его увидеть. «Только заснул», – говорила каждому Гюльрух-эдже. Одни, постояв во дворе, шли восвояси, но некоторые все же заходили в кибитку. Долго там не задерживались: постоят немного у входа, скажут: «Пусть хворь отстанет!» и довольные собой уйдут. Нарлы теперь целыми днями был дома, на работу не ходил. Когда сидел рядом с отцом, лицо его принимало благостное выражение, но стоило ему выйти во двор, как сразу преображался. На лбу прорезались глубокие морщины, брови сходились у переносицы. Злился из-за всякого пустяка. Мульки доставалось больше всех. Каждое утро – надо, не надо! – Нарлы посылал его за травой для скотины. «Ничего, не переломится!.. Вместе с потом из парня дурь выходит!» – приговаривал он посмеиваясь. Но и Мульки теперь точно подменили – лишнего слова не скажет. Всех сторонился, ходил по двору тенью, думал о чем-то своем. Гюльрух-эдже запретила ему видеть отца. «Пока не выздоровеет, не тревожь!» – вот как сказала, и Мульки не смел ее послушаться. Но все ждал, что отец сам позовет его. Вечерами не уходил из дома, как обычно. Только сумерки – шел в свою кибитку и, накрывшись с головой одеялом, лежал, притворившись спящим. Часами сидел у порога отцовской кибитки, прислушивался, ловил каждое доносившееся оттуда слово...

Говорили все об одном и том же:

– Сынок, о семье сам побеспокойся. – Речь Сары-сейиса была прерывистой; он задышался – слова вылетали свистящим шепотом.

- Не волнуйтесь! – так же тихо отвечал Нарлы.
- За Шункаром хорошо смотрите... Не опозорьте моего имени...
- Сделаю.
- Не ссорьтесь!.. Пусть дети не знают лишений...
- Не допустим этого, отец!
- Если будете дружно работать – всем хватит. Я верю в тебя, сынок...
- Положитесь на меня!
- Позови сестер... Пусть будут рядом... Теперь уж недолго... И дядю позови...
- Всех позвали, отец. Ваши дочери приехали... И дядя наверно в дороге.
- Правильно сделал, сынок. Правильно сделал... Я надеюсь!..
- Все образуется, отец, вот увидите... Крепитесь...
- Где Мульки?... – спросил однажды отец. – Дома?..
- Дома. Хочет с вами повидаться.
- Позови его, сынок... Позови, нехорошо, что он ждет. Пусть войдет в кибитку...
- Иду, отец.

Во дворе завывли женщины.

- Почему плачут твои сестры, Нарлы? Пусть пока не плачут... Еще рано...

Нарлы вышел из кибитки. Мулькаман встал, ожидая, что Нарлы сейчас позовет его, но тот даже не посмотрел в его сторону.

- Замолчите! – крикнул он женщинам...

Сары-ага все пытался вспомнить, какой нынче день. «Хорошо, если пятница, – думал он. – Джума – день благоприятный, так учил мулла... Душа сразу попадет в рай, не придется держать ответа...»

Уже стемнело...

Коза с белой отметиной словно знала, что сейчас не до нее.

Она выбралась из загона – у тутовника никого... Коза набросилась на молодые деревца; нежные, сочные листья так вкусны» Вот что значит хороший уход!.. Лист за листом срывала она с тоненьких веток, торопливо, с хрустом жевала их, но все не могла насытиться. И тут случилось то, чего она опасалась. Мальчик выбежал из кибитки и закричал так, словно коза не листья, а ухо ему грызла:

- Мама!.. Мама!.. Коза отвязалась!*

Коза встала на задние ноги, оборвала разом три листочка, что росли на самой верхушке, и, не дожидаясь погони, засемила к загону, на ходу дожжевывая свою последнюю добычу.

Самыми сочными, самыми сладкими эти листочки ей показались!..

Часть третья

ОСЕНЬ

Курбангуль не знала радоваться ей или обижаться... Вот уже больше недели ей ничего не позволяли делать по хозяйству. Нязик со всем сама управлялась. Стоило только Курбангуль взяться за что-то, как старшая невестка оказывалась рядом и решительно выхватывала работу.

— Делай, что старшие скажут!.. Нечего здесь хозяйничать!.. Ты не смотри, что я маленькая, мне к работе не привыкать, — говорила она с досадой в голосе, но, смягчившись, добавляла: — У тебя теперь одна забота: родить свекрови здорового внука. Мульки-джан говорит, что он будет носить имя покойного сейиса...

Вот и сегодня утром она не разрешила Курбангуль доить верблюдицу.

— Вскипяти чай!.. — приказала Нязик, бросая у очага охапку хвороста. — Верблюдицу я сама подою.

«Птичка-невеличка», — глядя вслед старшей невестке, с благодарностью подумала Курбангуль. Она присела у очага, забросила за спину концы красивого, с длинной бахромой платка, которым теперь, как положено замужней женщине, покрывала голову, и стала раздувать угли. Когда Мульки с Шункаром вернулись с прогулки, в тунче уже весело булькал кипяток. Она приготовила воды для умывания, вышла навстречу мужу, низко поклонилась проходившему мимо деверю.

Мульки умылся кое-как, по-кошачьи одной рукой смочил щеки, протер глаза и пошел поздороваться с матерью. Он присел рядом с Гюльрух-эдже возле очага, зябко поежился.

— Что-то у вас холодно, мама, — сказал он, наливая чай.

— Уже осень, сынок. Это утренняя прохлада...

— Разве трудно растопить очаг?

— Уже топили.

Мульки усмехнулся:

— Когда был жив отец, в очаге всегда горел огонь.

— С дровами плохо... Это саксаул горит долго, а хворост вспыхнет и нет его. Какое от него тепло...

— Так возьмите саксаул!.. Разве я мало привез? На три года хватит! — В голосе Мульки послышалось раздражение.

— Те дрова, что ты привез, сынок, сырые. От них полная кибитка дыма, — терпеливо объясняла Гюльрух-эдже. — А прошлогодние ты завалил. Если холодно, набрось что-нибудь...

— Словом, отец умер — мир перевернулся! — Мульки хмыкнул, одним глотком допил чай.

Он вышел из кибитки, но вскоре вернулся. Вместе с Нарлы.

— Мама, пропало седло! — крикнул Мульки с порога.

— Присядь, Нарлы! — Гюльрух-эдже подождала, когда сын подойдет к ней. Придвинула к нему накрытый платком чайник. — В нашем доме нет воров, — произнесла она с достоинством. — Седло я спрятала.

— Сегодня скачки... Не со старым же срамитесь.

— У каждого наездника должно быть свое седло. Это седло покойного отца. На Шункаре ездил, а седло не тронь, обзаведись своим. Хочешь — сделай, хочешь — купи... Отцовское — это память.

Мульки сел рядом с братом.

– Что-то я не слышал о таком обычае!

– Такого обычая нет, сынок. Таково мое желание. Разве этого мало? Я тебя предупреждала, трижды говорила, а ты и пальцем не шевельнул...

– Мама, я куплю седло... Но такие покупки не делаются впопыхах. Да и где теперь его взять? Не упрямитесь, мама! Не говорить же каждому, почему вы седло не даете!...

– Зря ты на меня обижаешься.

– Я не обижаюсь, мама. Я исполню ваше желание, но сейчас надо ехать на скачки. Как я покажусь там? Памятью отца заклиная – дайте седло! Или вы хотите, чтобы люди надо мной смеялись?.. Вы этого хотите?.. – Гюльрух-эдже молчала, ворошила палочкой золу в очаге. – Мама, наказать Мухаммеда-серке – это наш долг перед отцом. Я должен сегодня участвовать! Нарлы, скажи ей!.. – Мулькаман с надеждой посмотрел на брата.

Нарлы словно не слышал. Неторопливо допил свой чай, отставил пиалу, перевернув ее доньшком вверх.

– Нельзя уступать победу Мухаммеду-серке, – произнес он, ни к кому не обращаясь, точно говорил сам с собой. Искоса глянул на мать. Гюльрух-эдже сидела, низко опустив голову. – Мама, дайте ему седло... В последний раз, – добавил он, упавшим голосом.

Гюльрух-эдже со вздохом поднялась, подошла к сундуку, двумя руками подняла его тяжелую крышку. Постояла, раздумывая, потом, еще раз громко вздохнув, достала седло, завернутое в белоснежную ткань, принесла его Нарлы, положила перед ним на кошму.

Мульки хотелось схватить седло и убежать к Шункару, но он даже не шевельнулся, смотрел прямо перед собой, точно все это его не касается. Нарлы развернул тряпку, погладил темную с зеркальным блеском кожу. Он медлил, пытаясь вспомнить, что обычно говорил в подобных случаях отец.

– Ни о чем не думай кроме скачек... – произнес он неуверенно и запустил пальцы в бороду, как это делал Сары-ага, откашлялся. – К холмам подъедешь попозже, пока покрутись где-нибудь. И не гони Шункара!.. Делай, что он хочет, силы его береги... В посыл пошлешь... – Нарлы смешался, от напряжения его пот прошиб.

«Тоже мне сейис нашелся, – с обидой подумал Мульки. – Откуда тебе знать, когда посылать Шункара!»

Нарлы утер рукавом пот, шумно, с облегчением вздохнул:

– Возьми седло, брат. – Он посмотрел на мать: вид у Гюльрух-эдже был не обиженный, даже довольный. Теперь она сама радовалась, что все кончилось миром. – Не забывай, надо обзавестись своим седлом, так хочет мама.

– Хорошо, брат, – весело ответил Мульки, выходя из кибитки.

Рядом с Шункаром Мульки сразу забыл о всех неприятностях. Мыслями он был уже на скачках. «Конь хорош!.. – думал он. – Сегодня все убедаться, что Шункару нет равных в округе!»

Курбангуль неслышно вошла в затишье, остановилась у него за спиной. Мульки сделал вид, что не замечает ее.

– Нашлось седло! – радостно воскликнула она. – Жаль сегодня тебя не увижу. Только ты не гони сильно, а то еще упадешь. Все равно лучше Шункара там коня не будет. Когда возвращаться станешь, прищпорь – и все!..

«И эта лезет учить!»

– Ты любишь всегда быть впереди, а кому это нужно? Атаджан, так он держится чуть сзади. Главное – победить, а каким ты шел первым или последним...

– Ступай в дом! Мне не нужны твои советы! – не дал договорить ей Мулькаман.

– Добрый совет никому не помешает! – рассмеялась Курбангуль. – Хорошо бы выиграть тебе три скачки. Тогда бы и свекрови сделал подарок, и Нязик. Она так обо мне заботится...

– Заткнись! – Мулькаман хлестнул Курбангуль уздечкой. – Кто тебе позволил сюда войти!

Курбангуль вскрикнула, неловко попятилась, прижалась к стене, закрыла лицо ладонями. Мульки обезумел от гнева, в глазах у него потемнело.

— Здесь не место женщине!.. Поняла?.. — кричал он, нанося удар за ударом. Он не слышал ни своего голоса, ни плача Курбангуль, ни испуганного хрипа Шункара — только свист, с которым уздечка рассекала воздух.

Нарлы повалил его на сено, заломил руку.

— Ты что делаешь?! Меня бы позвал, если захотелось подраться! — Нарлы вырвал уздечку, отшвырнул в сторону. — Шункара бы постыдился... Забыл, что отец говорил...

— Пусти! — Мульки высвободился. Не глядя на брата, стал отряхивать халат. Перепуганный Шункар забился в дальний угол, рыл землю копытом.

— А ну-ка, пойдём, поговорим! — Нарлы схватил Мулькамана за плечо, да так, что тот поморщился от боли.

Мульки вырвал руку.

— Сейчас мне некогда. — Он подошел к Шункару, стал гладить гриву, пытаясь успокоить коня. — Не бойся, Шункар, не бойся... Ничего не случилось...

— Пойдем, — снова позвал Нарлы, стоя в дверях.

— Прости брат! Я виноват, что начал учить жену здесь. Ты прав, отец был бы недоволен. — Голос Мульки дрожал, казалось, он вот-вот заплачет. — Ради отца прошу, не задерживай меня сейчас. Ты пойдешь на скачки? — спросил он вкрадчивым голосом.

— Не знаю, — буркнул Нарлы и, махнув рукой, вышел из затиши.

Курбангуль лежала ничком на кошке в тени тутовника. Она вся сотрясалась от рыданий, но плача слышно не было. Рядом с ней суежилась Нязик.

— Ох, все наши надежды напрасны!.. — причитала она, сама чуть не плача. — И чего тебе, милая, там понадобилось. Я сколько лет здесь живу, даже одним глазком в затишь не заглянула.

— Ступайте отсюда! — приказал Нарлы детям, что сидели возле колодца, наблюдая за женщинами. Он прошел к отцовской кибитке, сел у порога. Мульки вывел все еще возбужденного Шункара из затиши, постоял посреди двора в надежде, что брат скажет что-нибудь на прощание. Нарлы отвернулся. «Пусть не думает, что я его простил. Ничего, вернется со скачек, я ему покажу!.. распаял он себя. — Не рад будет, что на свет родился.»

Однако не гнев, а вину от собственной беспомощности испытывал сейчас Нарлы. «Не надо было бросаться на Мульки с кулаками, не надо было кричать. Отец бы только посмотрел — и все! При отце такое и случиться не могло. При отце... Без него все разладилось. Это он, Нарлы, виноват. Как отчитаться?.. Все валится, все получается не так. Не всякому под силу быть хозяином священного очага! Поддерживать в нем огонь куда тяжелей, чем подносить дрова! А ведь как он бьется. За четыре месяца, что прошли после смерти отца, минуты лишней не сидел. Сгорбил даже... С утра до ночи, с утра до ночи тянет этот воз, а он все ни с места. Обидно, что и другие это видят. Нязик прежде лишнего слова сказать не смела, а теперь целый день уму-разуму учит, попрекает: и то не так сделал, и это — не можешь о семье позаботиться. Будто у него тысяча рук. И поле на нем и скотина. От Мульки помощи мало, у него только скачки на уме. Еще и год неурожайный выдался! Пшеница не уродилась, а на нее была вся надежда. Почему «земля Сары-сейиса» так скупа к ним?.. Разве они не дети своего отца?.. Соегу надо купить новый халат. Старый — одни прорехи. Вчера принес в поле обед: губы синие, весь дрожит. А ведь еще осень... Зимой из дому выйти не сможет... Где те счастливые времена, о которых говорили Еламан и Иламан? За что они сложили головы? Уж лучше бы сидели дома!.. Отправились за счастьем, словно его в хурджуне принести можно. А теперь он один, совсем один. Все говорят, что трудно только поначалу, что жизнь просто испытывает. Может и так. Когда несешь тяжесть, сначала еле ноги переставляешь, а потом ничего, привыкаешь... Только бы не раздавила эта ноша, до того, как он к ней притерпится...

Всем трудно. Люди раздражены. Вчера вечером, когда собрались у Черкеза-волопаса, это было так заметно. Разожгли большой костер, сели вокруг. Со стороны посмотреть — одна большая семья. Шутят, смеются — позавидуешь. Но в каждом слове — подковырка, все норуют поддеть. Черкез-ага — молодец!..

Что бы ему ни говорили, он только улыбается. Сколько нужно терпения, чтобы не рассердиться. Начнешь защищаться — заклюют. Вон как Сейиту Кары досталось!..

Нарлы сидел в стороне от костра. Когда позвали поближе к огню, отказался. На языке у людей мед, а в сердце — яд. Знает он эти уловки! Сначала усадят на почетное место, а потом начнут языки чесать. Все припомнят: и как председателем «Кошчи» ходил, и что в Ташкент, как большой начальник, ездил, и о том, что отец картуз отнял!.. Его теперь на это не купишь! Сейит Кары пришел важный, а убежал, как побитая собака. А как ловко к нему подъехали! Сначала спросили, как он в хадж ходил. Он и рад похвалиться. Сидит довольный, рассказывает. Тут кто-то и говорит: «Надо же, у Сейита Кары — одна рука, а как ишан и мулла убежали, первым успел за черпак ухватиться!» — «Слава Аллаху, что одна, — смеется другой. — Будь у него обе целы, он бы у нашего Ильмурада печать отобрал!» Все подмечают люди! А драться не полезешь. Люди все миром держатся, свою силу знают. Надо бы туда Мульки затащить, пусть узнает, что о нем говорят.

И все-таки там хорошо, лучше, чем дома. И заботы забываются, и беды. Домой возвращаешься, словно к постели больного. К постели чужого, незнакомого человека. А ведь и в самом деле — чужой... Что он знал о нем прежде? Разве не думал, как другие, что дом их — полная чаша. Каждую пятницу ели мясное, одевались справно. Он и представить себе не мог, что у отца всего два старых халата! В одном ходил по праздникам, в другом — каждый день. И кто бы подумал: знаменитый сейис, близкий человек Дурды-бая! Умел отец себя поставить. И у матери ничего. Выходит, обновы покупали только им: детям, невесткам, внукам?.. Разве отец жаловался, сетовал на бедность? Нет, всегда держал себя с достоинством, как богатый человек. Эх, только портки о твоём поносе знают!.. Все теперь думают, что отец оставил им наследство. Ему еще и в заслугу, что имел деньги, а не кичился. А тут не знаешь, как матери на платье купить... Как все смотрели на него, когда занимал денег на свадьбу?...

Женитьба эта была совсем некстати. Занимали, перезанимали, по уши в долгах теперь, быстрее, чем за пару лет, не выкарабкаться. А ведь говорил, подождите, давайте годовщину отметим... Кто его послушал?.. Нет, давай быстрее! Все навалились: и мать, и Нязик, и старики. С трех сторон!.. Конечно, с таким языком, как у Мульки, кого хочешь уговорить можно. Клялся, что будет работать день и ночь! Зачем я только поддался? Как мальчишка, патоку с медом спутал. Думал, может и в самом деле, женится, остепенится, домоседом станет. Вот чем все кончилось! Проклятый!...

Женили Мульки почти сразу после сороковин. Приятели отца пошли вместе с Нарлы сватать Курбангуль. Они же помогли устроить небольшой той. Позвали соседей, стариков. Нарлы, который привык целыми днями быть в деле, крутиться, все хотел помочь то одному, то другому. И все ему говорили: «Ты, Нарлы, хозяин в доме. Пойди, посиди с гостями!». Это было приятно. Что бы ни начинали делать, приходили спросить у него разрешения, совета. А он смущался. Ведь это было первое большое дело, которое затеял самостоятельно. Нет, не по-хозяйски он себя вел: казалось, что сидит на чужом месте и люди видят это...

«И душу-то излить некому!.. Мульки ни до чего дела нет. Чужой!.. Словно не брат. Где Еламан?.. Где Иламан?.. Как с детства были все заботы на нем, так и остались. Старший брат!.. А Еламан с Иламаном всегда защищали Мульки. Им что?.. Если бы им доставалось, как ему! Легко быть добреньким... Всегда они были заодно. Всегда вместе, а он — один, всегда один!.. Как-то подстерегли его, повалили на землю, смеялись: «Ну что, Нарлы?.. Кто сильнее?» Они смеялись, а он чуть не плакал. От обиды. Почему мир так устроен, что одним — смех, а другим только слезы?..» Он до сих пор не забыл, как они смеялись!

...Один Абды его понимал. Теперь и Абды нет, ушел, бедняга, оставил кучу детишек на руках у Мамагуль, а сам спит спокойно. Кто мог представить, что Мамагуль такая? Байская дочь. В отчем доме никаких забот не знала: наряды — самые лучшие, есть привыкла сладко. Родители так Абды и говорили: в жены надо брать ровню. А разве он сам, Нарлы, не отговаривал друга, не посмеивался над ним? Жили-то они плохо, все ссорились. Два раза Мамагуль с детьми к отцу уходила. Еле уговорили, чтоб вернулась домой. А как умер Абды, ее точно подменили. Невестка, что хворостинку с земли поднять ленилась, на себя все хозяйство взвалила. Когда отметили сорок дней по Абды, пришли к Мамагуль сваты. Хоть и полон дом ребятишек, породниться с баем охотники нашлись. Как бай-ага Мамагуль уговаривал: «Подумай о детях, ведь нищими сироты остались!» А она ни в какую: «Лучше ослепну, а детей чужим хлебом кормить не

стану!» Сватов прогнала, с родителями разругалась, даже в гости к ним ходить перестала. Но теперь, если хотят пожелать кому хорошего, говорят: «Дай тебе Аллах такую невестку, как Мамагуль!».

Откуда у нее столько сил?.. Никогда Мамагуль без дела не сидит. Хорошо, если Абды видит это с того света. Как должно быть душа его радуется!.. А разве Мамагуль сильнее его? Нет, но у нее больше любви! Любая работа для нее не в тягость, за самое тяжелое дело берется с радостью. Только и слышишь: «Лишь бы детям... Лишь бы детям...»

Нарлы встал. Мамагуль, как всегда, трудилась; перепоясавшись платком, мотыжила свой участок. Не разогнется, работает ловко, точно от колыбели с кетменем не расставалась.

Нарлы тоже решил взяться за дело. «Какие тут скачки, если огород перекапывать пора!.. Людям только развлечения подавай. Скачки!.. А жизнь разве не скачки? Много ли радости от того, что чья-то лошадь придет первой?»

Земля была твердой как камень. Всю свою силу, всю обиду, что накопилась в сердце, вкладывал Нарлы в каждый удар. «Скачки! Разве сам он, Нарлы, не лошадь?.. Усталая, надорвавшаяся на работе кляча, что плетется в хвосте, задыхаясь пылью!.. Все забыли про нее, никому нет до нее дела... Но мало ли что бывает, разве не случается так, что последняя лошадь приходит первой? Лишь тот, кто смирился с поражением, никогда не победит!.. Мы еще посмотрим, чья возьмет!.. Разве только по достатку судят о людях?.. Никто не посмеет сказать, что сыновья Сары-сейиса никудышные... Мы еще себя покажем!..»

С каждым ударом кетменя уверенность возвращалась к Нарлы, казалось, душа оживает, возрождается, как сама земля. Не всю ли свою животворную силу отдала она за лето? Зной ее сушил, корни высосали все соки, всю ее кровь. Каменистая корка ее покрыла, глянень — бесплодная, мертвая твердь. Но под коркой — живая плоть. Высвободи ее, и она тебя отблагодарит. Каждое зернышко вернет сторицей, в десять, в двадцать раз умножит!.. Не так ли и душа человека. Зарони в нее ничтожное, невидимое глазом зерно надежды, и оно расцветет прекрасным цветом. «Ничего, все беды минуют — не вечно зима длится! Лишь бы минутная злоба тобой не руководила, лишь бы не поддаться отчаянию! Все пройдет, все будет так, как ты хочешь! Хорошо что он, Нарлы, сдержался, не запретил Мульки идти на скачки. Даже подумать страшно, что сказали бы люди, не увидев Шункара. А Шункар не подведет. Верно отец говорил, что он их крылья, их богатство. Пошли Аллах победу Мулькаману!.. Всяк на своем месте хорош. Мульки — наездник, его место в седле, а на пашне, нужна моя сила!..»

— Отец, отец, к нам дедушка Черкез пришел!... Он лошадь Аннамуну принес!..

Черкез-волопас в окружении ребятишек стоял рядом с колодцем. Аннам уже оседлал своего «скакуна» — вырезанная из дерева лошадиная голова была насажена на палочку, черная овечья шерсть заменяла гриву, а уздечка — кожаная, совсем как настоящая.

— Мир тебе, Нарлы, — обрадовался Черкез-волопас. — Не увидел тебя на скачках — решил навестить. Все с землей возишься... Молодец! А я не могу без скачек. Ильмурад об этом знает. Утром сегодня пришел, говорит: «Сходите, отец, на скачки, отдохните, а загон я покараулю». Дай тебе Бог таких сыновей!.. Ты посмотри на этих сладеньких! Джигиты!.. Все понимают! «Твой конь не настоящий, — говорят, — он сам не скачет!» — Черкез-ага расхохотался. — Им такого коня, как Шункар, подавай! Где его взять, милые? Таких коней больше нет. Такой конь не всякому достается!.. Ты его погоняй, Аннам-джан, погоняй — он еще быстрее Шункара поскачет!.. Хороший денек сегодня!

— Да, солнце светит, а не жарко... Полдня работал, а даже не упарился. Вот только говорят, что зима ранняя будет. Вы проходите в кибитку, Черкез-ага. Чайку попьем... — Нарлы придержал ковровый полог, пропуская старика вперед.

Черкез-волопас, низко согнувшись, вошел в кибитку, сослепу шурясь постоял у порога, пока глаза привыкали к полумраку.

— Со вчерашнего дня хотел вас проведать. К холмам на арбе поехал, пешком туда и обратно уже тяжело. Как ваши дела, Гюльрух? — спросил он устраиваясь у очага.

— Слава Аллаху!.. Теперь мы все со старостью наперегонки бегаем.

— Вам грех сетовать. Сына женили. Еще раз поздравляю. Пусть молодая невестка принесет в этот дом счастье и достаток!

– Да отблагодарит вас Создатель! Пусть будет так, как вы пожелали!..
– Мулькаман мне сегодня понравился. Молодец!.. Шункара хорошо подготовил. Скоро станет сейисом!

Больше Черкез-ага не проронил ни слова. Он неспеша пил чай и разглядывал кибитку, словно был в ней впервые. Каждая вещь напоминала здесь о Сары-сейисе. Все стояло на своих местах, ничто не изменилось. Казалось, хозяин вышел ненадолго, сейчас вернется. Лишь халат, что висел там, где соединялись части терима, напоминал, что теперь сейису уже не страшны ни холод, ни зной, ни снег.

Вновь заварили чай. Черкез-волопас помедлил, потом налил пиалушку. В гостях следует довольствоваться тем, что предложили в первый раз – такому правилу он всегда следовал. Добавка – словно повторная женитьба: радости нет, одно пресыщение. Но сегодня он решил выпить и второй чайник – долю Сары-сейиса. После каждого глотка доставал из-за пазухи длинную, некогда белую тряпку, тщательно вытирал пот с лица. Перед уходом прочитал успокоительную молитву.

Нарлы вышел проводить старика. Черкез-ага уже забрался на арбу, когда на дороге показался Мулькаман. По тому, как он сидит в седле, как держит голову, улыбается – лицо его так и светилось – Нарлы догадался, что удача сопутствовала брату.

Мулькаман легко соскочил на землю, поприветствовал Черкеза-волопаса.

– Видели, Черкез-ага?! Мухаммед-серке чуть не плакал. Значит могу я за конем смотреть!..

– Пламя в очаге не сразу гаснет, угли еще долго тлеют, – вырвалось у Черкеза-волопаса. Он и сам пожалел об этом. – Пусть твой огонь всегда горит, Мульки-джан, – прибавил он, чтоб загладить неловкость.

– Так и будет, Черкез-ага! – беззаботно воскликнул Мульки. – Пусть завистники говорят, что им хочется, а будет так, как я пожелаю!

– Даст Аллах, так и будет! – Черкез-волопас тронул вожжи. – Сары тогда сможет спать спокойно. – Он отъехал немного, оглянувшись, крикнул все еще стоявшему у ворот Нарлы: – Ты, Нарлы, молодец! Поводья держишь неплохо..

Когда повозка Черкеза-волопаса скрылась из виду, братья зашли во двор. Мульки был говорлив, возбужден, похоже, он уже забыл об утренней ссоре.

– Два заезда сегодня выиграл, – хвастался он. – Призы, правда, неважные. Все теперь скупятся. Это самые лучшие. – Он протянул Нарлы цветастый шерстяной платок. – Вот... Ты ведь хотел маме подарок сделать. Своими руками отдай, пусть порадуется. Скоро ведь зима. – Мульки помедлил немного, потом достал из-под халата отрез домотканного шелка. – И это ей отдай. Пусть сошьет новое платье.

Мульки провел Шункара в затишье, а Нарлы остался один среди двора, прижимая к груди платок и шелк. Он едва сдержался, чтоб не бросить их в пыль. Эти тряпки жгли ему руки. Он готов был умереть сейчас, сквозь землю провалиться. Уж лучше бы Мульки его за бороду дернул! «Мальчишка, что он воображает? Тоже мне Карун нашелся!.. «Отдай своими руками», его послушать, так выходит на другое мои руки не годятся!..»

Обо всем на свете позабыл Нарлы. О всех зароках, что давал себе сегодня. Несправедливость, что острее ножа, полоснула по сердцу.

– Покормишь Шункара и ступай копать огород. Помаша немножко кетменем. Пока ты на скачках был, я тут не разогнулся. – Нарлы пошел к кибитке.

– Эй, брат!.. Чего нам надрываться? Надо было попросить у Черкеза-волопаса быков, прошлись бы сохой. – Мульки стоял в дверях затиши. Голос его звучал весело, но он уже не улыбался, усы повисли.

– Нечего меня учить! Как отец делал, так и мы делать будем. Кетменем, кетменем!.. Не переломишься! И учти, сам проверю. – Нарлы пригрозил пальцем. – Я тебя знаю... – Он ухмыльнулся. – С потом дурь выходит!

Когда Нарлы скрылся в кибитке, Мулькаман устало опустился на кошму, что была расстелена под тутовником. Налил в пиалу остывшего чая. «У-у, Нарлы-дяли!.. Пока чаю не выпью, никуда не пойду – пусть все огнем горит. Как хорошо здесь – так бы и сидел до вечера! – Мульки взглянул на солнце – оно уже стало клониться к кибиткам. Еще немного, и настанет время прогуливать Шункара, тогда ему никто и

слова не посмеет сказать. Разве он не приносит в дом своей доли? Много ли наработал Нарлы за эти месяцы? Только кричит, командует, старшинство свое доказывает, а прибытку никакого. Хоть бы доброе слово сказал! Только и слышишь от него: «Работай, работай!..» Что ни принесешь со скачек, все как в прорву. Отец не зря говорил, что Шункар — наше богатство. Все это понимают, кроме Нарлы. Как Мухаммед-серке смотрел сегодня!.. Жаль, что пуля его не достала. До чего же зависть может человека довести — на чужого коня позарился. Совести нет. На скачки пришел звать!.. С чего бы это?.. А он присматривался, принохивался, вор!..»

Позапрошлой ночью его разбудила Курбангуль.

— Послушай!.. Там кто-то ходит...

Сон вмиг как рукой сняло: «Шункар!..» Схватил кремневку и как был в исподнем, выскочил во двор. Дверь в затишь была распахнута настежь! Выбежал со двора. В стороне, возле кибитки Мамагуль, почудилось какое-то движение.

— Стой! — крикнул Мульки.

Шункар узнал его голос. Громко, радостно заржал, встал на дыбы. А человек, что вел его со двора, бросился убежать. Мульки вскинул ружье, не целясь выстрелил. Беглец споткнулся. «Попа!» — обрадовался Мульки. Он побежал к Шункару, первым делом ощупал бабки, потом тщательно, словно при торге, проверил все двенадцать частей его тела — конь был невредим! «Что ж ты, Шункар, не позвал меня на помощь?» — упрекнул коня Мулькаман.

Прибежал заспанный Нарлы.

— Что?.. Кто стрелял?

— Шункара хотели украсть... Я его пристрелил. — Мулькаман выругался.

— О, Аллах! — испуганно воскликнул Нарлы, вырвал у него ружье. — Где он?

Они побежали туда, где должен был лежать убитый.

— Слава Аллаху, промахнулся, — облегченно вздохнул Нарлы, когда они никого не нашли.

— Это Мухаммед-серке был.

— Ты его видел?

— Он так бежит!..

Стали собираться разбуженные выстрелом соседи. «Что?.. Что случилось?..» — спрашивал каждый. И Нарлы снова и снова рассказывал, что хотели украсть Шункара, что Мульки стрелял в вора, но промахнулся.

— Кто ж этот беспутный? — воскликнул кто-то.

— Мухаммед-серке давно на Шункара глаз положил, — сказал Мульки. — Кто бы это ни был, пусть знает, что в другой раз я не промахнусь!

Люди зароптали. Нарлы с укоризной посмотрел на брата:

— Нет, нет... Мульки не видел, кто это был, — поспешил он успокоить соседей.

В каждом селе — большое оно или маленькое — есть предания, которые всякий там знает сызмальства. Они передаются от поколения к поколению, от дедов к внукам, и — кого ни спроси! — всякий назовет человека, который знает эту историю доподлинно. Была такая история и у ханарцев. Говорили, что некогда один человек из рода дузчи отравил коня своего соперника, который принадлежал к роду мятеков. Те, кто был помоложе, уверяли, что это случилось лет двадцать назад, может, чуть пораньше, старики полагали, что было это в пору их детства. Как бы там ни было в самом деле, любому ханарцу известно, что произошло потом. Разгневанные мятеки потребовали у старейшин дузчи, чтобы их род ответил за преступление. Дузчи выдали двух человек: отравителя и того, кто его подучил. Мятеки увели их в пески и там зарезали. На том месте, где их могилы, детям запрещают играть и поныне. Историю эту не любят вспоминать ни мятеки, ни дузчи. Она бы и позабылась давным-давно, если бы не приходилось всякий раз объяснять мальчишкам, почему то место запретное.

«Эх, если б я поймал Мухаммеда-серке!.. Он бы мне ответил. Видно, у дузчи в крови такое. Жаль, что Шункар не сразу подал голос. Что-то случилось с конем. Пока жив был отец, он к себе чужих не подпускал. Как ни ластился к нему Атаджан, как ни подкармливал сладостями — все равно!»

Имелась еще одна причина, которая укрепляла Мульки в его подозрениях. Из чужих никто кроме Мухаммеда-серке не мог знать, что Алабая прогнали со двора. Ведь это случилось как раз тогда, когда тот приходил сказать о предстоящих скачках.

Маленький Аннам играл с Алабаем. В руке у мальчика была лепешка. Он то подносил ее к самой пасти пса, то поднимал высоко над головой. Даже когда Аннам привставал на цыпочки, Алабаю не составило бы труда схватить хлеб. Громадный, что твой теленок, пес не торопился: он повизгивал, как щенок, преданно заглядывал Аннаму в глаза, припав на передние лапы, ползал перед мальчишкой. «Сколько сильных вот так же, забыв о чести, готовы ползать на брюхе в пыли ради куска лепешки!» — думал Мульки, глядя на мальчика и собаку. Он усмехнулся. Но Алабаю наконец надоела эта игра. Аннам и глазом моргнуть не успел, как лепешка оказалась в пасти у пса. Алабай торопливо проглотил кусок хлеба и, вмиг став степенным и важным, лениво побрел на свое привычное место рядом с входом в затишь, лег на солнышке, опустил голову на лапы, всем своим видом показывая, что устал и хочет, чтобы его оставили в покое. Но Аннам не унимался. Он сел на собаку верхом, вцепился в густую рыжую шерсть за ушами. «Но!» — крикнул он и ударил в бока босыми пятками. Алабай не шелохнулся, только угрожающе зарычал. Аннам ударил его побольнее. Пес резко поднялся, сбросил мальчика с себя и громко облаял его.

Перепуганный Аннам заголосил. Прибежала Нязик, подняла сына с земли, прижала к себе, стала его успокаивать. Вышла из кибитки Гюльрух-эдже.

— Соег!.. Соег, где ты?.. Братика чуть собака не сожрала, а ты не смотришь! Чтоб я его здесь больше не видела! Отведи Алабая за холм, привяжи там к дереву. Чтоб он сдох!..

Все это случилось на глазах у Мухаммеда-серке. Все он видел, все он слышал...

— Ты еще прохлаждаешься? — Мульки открыл глаза, перед ним с кетменем в руках стоял Нарлы. — Забыл, что я тебе приказал? Эх, братишка, братишка... — Нарлы покачал головой. Он говорил нарочито вежливо, в голосе его слышалось только сожаление. — Идем!

— Куда?..

— Куда?.. — передразнил Нарлы. — Огород копать!

Сначала Мульки хотел не отставать от брата. Всякий раз, опуская кетмень, Нарлы шумно выдыхал «хэх!», словно это помогало ему, и Мульки, хоть не видел брата, старался приладиться к его ритму. На первых порах это удавалось. Но недолго. Тяжелая работа вскоре стала раздражать. Ладони горели огнем, пот заливал глаза, да еще это постоянное «хэх!.. хэх!.. хэх!..». Нарлы точно издевался над ним. Мульки молил Аллаха, чтобы кто-нибудь пришел в гости, или чтоб солнце побыстрее опустилось за бархан и настал срок вести на прогулку Шункара. Мольбы его были напрасны! Сделав три-четыре удара, он распрямлялся, чтобы передохнуть, стереть пот со лба, и всякий раз поглядывал на солнце, а оно, казалось, вспять поползло. И вдруг Мульки осенило!

— Ступай, Нарлы, отдохни!.. — сказал он брату. — Ты ведь утром работал, теперь мой черед.

Нарлы не отзывался, словно не слышал, только еще чаще стали его «хэх!». Пришлось и Мульки подналечь, хотя руки уже не в силах были держать кетмень.

— Уже совсем немного осталось! — заметил Мульки спустя немного времени, стараясь, чтоб голос его звучал повеселее. — Хорошо бы сегодня закончить!.. Вот только б сил хватило.

— Если устал, отдохни.

— Неплохо бы!.. — Мульки понимал, что второй раз Нарлы отдыхать не предложит, но сразу бросить кетмень не решился, сделал для виду еще два-три удара. — Пошли, Нарлы, чайку попьем!

Нарлы не ответил, да Мулькаман и не просил его отвечать. Закинув кетмень за плечо, он побрел к затиши. Там устало опустился на сено, разулся, вытянул ноги. Сейчас ему казалось, что нет и не может быть счастья больше, чем сидеть вот так: расслабившись, ни о чем не думая.

— Ты что же это делаешь! — услышал он ворчание матери. — Погубить брата хочешь? Откуда у него силы, чтоб наравне с тобой кетменем махать!

— Ничего с ним не случится! — огрызнулся Нарлы. — Вместе с потом из парня дурь выходит...

– Хватит, сколько раз уже это слышали!.. Если самому лень работать, так и скажи. Вон, Мамагуль все хозяйство на себе тащит. Давай мы будем тебе помогать! Три женщины, а ты сиди и командуй. Оставь все, не работай!..

– Мама!..

– Отец всю жизнь бился, так цели и не достиг. Хочешь, чтобы и мать несчастной на тот свет ушла? – Голос Гюльрух-эдже задрожал, она всхлинула. – Невозможно так жить. Сколько я терпеть должна?..

Как Мульки ненавидел сейчас брата!.. Выйти бы, успокоить мать, сказать, что хочет отделиться, взять ее к себе. «Может, Нарлы только и ждет этого?.. Отделиться много ума не надо. Нарлы-то знает, где деньги. Все время рядом с отцом был: и днем, и ночью. А меня позвал, когда отец уже и слово не мог сказать!.. Нарлы знает, конечно знает!..»

После смерти Сары-сейиса Мулькаман несколько раз пытался вывести, что знает о деньгах Гюльрух-эдже. Впрямую спросить не решался, а мать или не понимала, о чем он допытывается, или в самом деле ничего не знала. «А может и нет ничего? – подумал он. – Чтобы устроить той брат занимал у односельчан. Зачем?.. Неужели хитрил?..»

Мульки вывел Шункара из затиши. Стараясь не смотреть ни на мать, ни на брата, не слышать, что они говорят, вышел со двора. Осень. Листья на деревьях уже пожелтели. И на шах-туте, что стоял среди двора, благословляя три кибитки, защищая их от зноя и холода, листьев почти не осталось. Зато на земле, под ногами, точно кошма с золотыми узорами. Мульки не любил осень, тревожно на душе становилось в эту пору года. Вот бы снова весна! Снова звонкие проливные дожди, чтоб залило все кругом, весь мир! Сидеть в кибитке, мечтать, слушать, как стучат капли по войлоку...

Этот год был непохож на все другие. Казалось, что сразу после бурной, пьянящей весны наступила угрюмая, бесконечная осень со скучным солнцем, с холодными, сырыми ночами. А как лето пролетело, он и не заметил. И не мудрено – умер отец.

На прощанье Сары-ага холодной, уже бессильной рукой пожал ему руку. Мульки не хотел ее отпускать. Казалось, пока он держит ее в своей горячей ладони, жизнь не сможет покинуть отца. Но время с неумолимой настойчивостью разъяло это рукопожатие. Глаза старика были широко открыты. Он сильно похудел в свои последние дни, глаза его глубоко запали, взор стал пустым, бессмысленным, не осталось в нем бывшего огня, только полная луна отражалась... Вот и все, что удалось запомнить Мульки. Он не мог поверить, что отец умер. Рядом плакал Нарлы, громко рыдали сестры, мать, а его глаза оставались сухими. Ему казалось, что это и есть мужество.

На похороны пришли люди даже из соседних сел. «Посмотрите, где будет лежать ваш отец. Согласны ли вы?», – сказал кто-то, Мульки не запомнил его лица. Они спустились в открытую могилу, разровняли землю. Когда отца стали спускать, Нарлы не выдержал, запричитал. «Перестань, Нарлы, перестань!.. Не беспокой отца!..» – упрекнули брата. Все было, как во сне. И жизнь в доме после смерти отца стала какой-то сонной. До сих пор все говорят тихо, шепотом, чтобы не потревожить дух покойного. Больше ничего не изменилось. Разве что очаг горит не так ярко, как бывало, да Нарлы ни с кем не советуется. Что взбредет ему в голову, то и делает. Стал еще суровей, еще занудней, чем прежде. По вечерам только и знает поучать детей. Говорит, говорит, пока те не уснут, утомленные его наставленьями.

Когда Мульки вернулся, уже смеркалось. Идти в кибитку не хотелось, там была Курбангуль. Он вышел за ворота. У тутовника, что рос рядом с кибиткой Мамагуль, стоял какой-то мальчик. В сумерках его лица он не разглядел. Детей вокруг не было, играть мальчику было не с кем. Одиноким, забытым всеми... Непонятную жалость почувствовал к нему Мульки. Захотелось подойти, поговорить с ним. Он сделал шаг и замер, пораженный внезапной догадкой.

«Еламан!..»

Мульки остановился в растерянности. А мальчик кинулся прочь, убежал не оборачиваясь, только белая рубашонка на ветру плескалась. Теперь его не догнать.

Почти совсем стемнело, когда из дому вышел Нарлы.

– Покормил Шункара?

Мульки кивнул.

– Идем.

– Куда? – Мульки удивленно посмотрел на брата.

– Придем – увидишь.

Они уже пересекли село, дошли до мельницы, когда Нарлы, что шагал впереди, остановился, и, потупясь, сказал:

– Не будем сторониться людей, брат.

Между загоном и домиком Черкеза-волопаса горел большой костер. Вокруг сидели люди, переговаривались вполголоса. Сегодня никто не шутил, не смеялся.

– Хорошо, что вы подошли, – сказал Ильмурад, отодвигаясь в сторону, чтобы освободить братьям место у огня. – Как ваши дела? Помощь не требуется?

– Помощи не надо, – ответил Нарлы. – Еще дня два-три и закончим. Огород уже почти вскопали.

– Сыновья Сары сами о себе позаботятся, – Черкез-волопас строго посмотрел на Ильмурада. – Речь о том, как помочь Сейиту. Сын его неизвестно когда поправится. А у бедняги одна рука, как пахать будет? Скажи, что делать, Ильмурад.

– Сейиту Кары всегда нужна помощь. Хорошо он устроился!.. – проворчал Мухаммед, что жил возле старой крепости. – И потом, с каких это пор он в союзе «Кошчи»?.. Пусть сначала своего быка сюда приведет, иначе...

– Мухаммед, дорогой, ради Аллаха, не говори так, – с опаской произнес кто-то.

– Мы поможем Сейиту-ага, – встрял в разговор Нарлы. – Нельзя бросать человека в трудную минуту. Мы все люди одного очага, – добавил он так торжественно, что все, кто сидел в этот час у костра, внимательно посмотрели на него.

Когда возвращались домой, настроение у Нарлы было хорошее. Он негромко напевал странную незнакомую мелодию, временами с улыбкой поглядывал на Мульки, который хмурый плелся сзади.

– Если Шункару чего надо, скажи!.. А ячменя мы подкупим, – весело сказал Нарлы и зашагал быстрее.

Ночь была лунная, казалось, все вокруг залито молоком. Дорога, белея, тянулась вдаль. Она вела братьев к дому.

Ветви шах-тута разрослись, совсем закрыли тот сук, на котором подвешивали мешок для сузьмы. «Да придумайте вы наконец что-нибудь», – всякий раз ворчала Гюльрух-эдже. Однажды, это было в начале осени, Мульки срубил на берегу Гямисув молодой тал с развилкой на конце. Несколько дней жердь валялась у колодца, все спотыкались об нее. «Убери ты эту палку с дороги!» – сказала мать. Мульки взял лопату, выбрал в тени тутовника место, начал копать. Земля здесь была податливой, не то, что в огороде. Он углубился немного, и вдруг лопата гулко ударилась о что-то. Во дворе никого не было. Мульки опустился на колени, стал руками разгребать землю. Сердце его бешено колотилось, руки дрожали: «Так вот почему отец не доверял никому окапывать дерево? Сколько раз Нарлы вызывался помочь, но отец запрещал! Как я сразу не догадался?..» Но оказалось, что лопата задела вовсе не кушин с золотом, как надеялся Мульки, а корень дерева. Мулькаман с остервенением перерубил его, стал копать глубже, но через минуту опять наткнулся на корень. Тот выступил из-под земли, красноватый, толстый, такой лопатой не перерубишь! Мульки засыпал яму, принялся рыть новую, чуть в стороне. И здесь углубиться не давали корни дерева. Он отступил подальше от ствола – все то же! Как-то отец рассказывал, что корни тутовников тянутся друг к другу, переплетаются под землей и от этого деревья обретают свою мощь. Неужели и в самом деле так? Только корни, корни под нетолстым слоем земли...

Два заезда подряд утомили Шункара, отняли все силы. Казалось, какая-то жила напряглась внутри, натянулась как струна, дрожала, ныла, не давала расслабиться. Обычно ему хватало небольшой передышки, чтобы снова почувствовать себя сильным, готовым к новой борьбе, стоило лишь немного подремать стоя. Теперь он опустился на подстилку, когда поднимал голову, приоткрывал глаза, все вокруг плыло, кренилось, грозило упасть, а сил, чтобы подняться, спастись от готовых обрушиться стен, не было. Конь незримо заржал, прислушался не идет ли к нему старый сейис, его хозяин.

Тишина.

Вот уже вторые скачки подряд он участвовал в двух заездах. Не усталости он боялся, нет, иное его страшило: исчезало прежнее желание победить, во что бы то ни стало прийти первым. Если и дальше так будет — день скачек перестанет казаться праздником.

Хозяин бы его понял. Но его нет, его куда-то унесли чужие люди.

В тот день, когда это случилось, Шункар с самого утра почувствовал неладное: его впервые привязали. Он рвался, хотел освободиться, призывно ржал, но людям было не до него. Никто не подошел, чтобы успокоить, хотя бы просто поговорить, как это делал сейис.

Наездник, сын хозяина, нетерпелив. Он заботлив, но нет у него той внутренней силы, уверенности, какой обладал отец. Когда старик стоял рядом, конь знал, что ничего плохого с ним не может случиться. Иногда сейис говорил, о чем — конь не знал, не понимал, но голос хозяина был теплый, ласкал слух, как ласкает разгоряченное тело легкий утренний ветерок. Конь догадывался, что старику тоже хорошо, когда они вместе, вдвоем. Даже если старик молчал, Шункар знал, что он думает о нем, о своем коне.

Мульки так не умеет.

Он приходит в затишье уставший, погруженный в свои заботы. Если и говорит, то лишь о себе, о том, что его тревожит, жалуется.

Зачем он так делает? Зачем вместо покоя ранит душу тревогой?

Может это беспокойство — плата за корм и воду, которую приносит Мульки?

Слишком большая цена...

Когда сейиса унесли, все в доме переменилось. Шункара забывали вовремя накормить, несколько дней Мульки не выводил его на прогулку. Когда после перерыва Мульки его снова оседлал и вывел утром со двора, конь поскакал не к пескам, а в ту сторону, куда унесли сейиса. Наездник, который обычно старался подчинить коня своей воле, на этот раз не стал ему препятствовать. Конь был полон нетерпения, ему казалось, что старик вот-вот выйдет ему навстречу. Но сейиса нигде не было. Поиски утомили Шункара. Он послушно повернул, когда Мульки направил его в сторону кладбища. Там Мульки, ведя Шункара в поводу, поднялся на холм. Он остановился там, где пахло недавно вскопанной землей. Опустился на колени.

— Салам алейкум, отец. Это я, твой сын... Мулькаман... Я привел к тебе Шункара. Он тоскует по тебе.

Шункар понял...

Мульки слишком обременен своими заботами, чтобы предугадывать желания Шункара, как это умел делать старый сейис. Иной раз, капризная, конь противился его воле, но всегда оказывалось, что старик прав. Он умел улавливать первым те смутные желания, которые Шункар, бывало, еще сам не осознал.

Мульки так не может!.. Знает об этом. Сердится. Иногда жалуется.

Шункар рад ему помочь, но как, как помочь тому, кто тебя не понимает?

Две ночи Мульки провел рядом с ним в затишьи. Спит, чутко прислушиваясь к каждому шороху, чуть что — сразу хватается за ружье. А вчера он принес большой арбуз. Шункар обрадовался, что наезднику удалось наконец угадать его желание. Мульки бережно положил арбуз на сено, дал коню горсть маши.

— Вот и весь наш урожай, Шункар, — пожаловался он. — Все кабаны попортили. Кабанихи, когда у них плод в чреве, такие привередливые...

Мульки взял серп, вытер сталь полой халата, разрезал арбуз пополам. Попробовал.

— Есть можно. — Поставил половину арбуза перед Шункаром. Мякоть была сладкой, перезревшей.

Они ели арбуз молча. Тишину нарушало только аппетитное хрумканье Шункара. Мульки смотрел на коня с нежностью. В какой-то миг конь испытал прежнее блаженство, как в те времена, когда рядом с ним сидел старик. Ночью Шункар несколько раз просыпался, прислушивался к сонному дыханию наездника. И Мульки тоже пробуждался, почувствовав, что конь не спит.

На исходе ночи в затишь пришла женищина, провела ладонью по щеке наездника.

— Я боюсь одна...

Мульки ушел.

И старой лошади нет. Братья увели ее куда-то. Теперь там, где она стояла, держат козу. Цельными днями она кружит вокруг колышка. То в одну сторону идет, то в другую — все хочет порвать веревку. И время от времени противно мекает. Когда Шункар возвращается с прогулки, он замечает, что коза воровала его траву.

Тишина... Слышатся шаги.

Шункар пробуждается.

Ему снилось, как вместе с Серой они паслись в предгорьях. Это был хороший сон. Казалось, солнышко пригревает спину.

И легкий ветерок...

И тишина...

Скрипнула дверь.

Нарлы. Теперь он приходит каждое утро. Стоит рядом, переминаясь с ноги на ногу.

— В здравии ли ты, Шункар? Все тоскуешь. Знаю, знаю... — Он протягивает на ладони несколько кусочков набата, подносит к самым губам. — Возьми!.. Стесняешься?.. Ничего, привыкнешь. Я твой хозяин. — Он кладет сладость в кормушку, пятясь уходит.

Завтра он придет снова.

«В здравии ли ты, Шункар?»

Тишина...

В полдень к шах-туту прилетели воробьи. Они скакали с ветки на ветку, чирикали, склевывали остатки ягод, уже подвяливших на солнце. Шум, трепет крыльев — настоящий базар. Или веселая свадьба.

Тот, что прилетел последним, сначала сидел в стороне, на самом конце ветки. Присматривался. Головка его так и дергалась из стороны в сторону. Что он высматривал?.. Потом перелетел на ту ветку, где было больше всего птиц. Налетел, клюнул кого-то. Стайка с шумом переметнулась на другую ветку, повыше. Он за ними. И снова драка, снова шум. Вся стая поднялась на крыло, облетев дерево, ушла в сторону кибитки Мамагуль. Только задира остался. Клюнул недоеденную кем-то ягоду, выпятил грудку, звонко чирикнул. Перелетел на соседнюю ветку, долго сидел без движения, видно, затосковал.

Сорвался с ветки, полетел вслед за стаей.

Шах-тут снова остался один.

* * *

Утром к дому подъехали шесть всадников. Одеты они были по-городскому, в тужурки вроде той, что Нарлы купил в Ташкенте. Они спешили, оставили своих коней у коновязи, вошли во двор. Алабай поднял голову, негромко зарычал. Впереди шел полный пожилой туркмен, но лицо его было бледным, точно никогда не видело солнца. Был он без бороды и усов, расшитая сорочка, что виднелась из-под тужурки, стягивала шею.

— Здравствуйте, хозяева, — он протянул руку Нарлы и кивнул стоявшему рядом Мулькаману. — Нам сказали, что у вас зерно на исходе. Вот... Ничего, не дадим прийти хозяйству в упадок. Сейчас караван

подойдет. Там и зерно, и сахар, и халва для ребятишек, женщинам — ткани красивые. Дадим все, что ни пожелаете.

— Услышал Аллах наши молитвы! Погодите, сейчас постелю что-нибудь. Отдохните с дороги. — Мульки улыбнулся.

— Ничего, ничего, парень! Мы не надолго, — он обернулся к своим спутникам, сказал что-то на незнакомом языке.

— С чего это такая щедрость? — спросил Нарлы у безбородого. — Не знают, куда зерно девать?

— Сейчас, сейчас... — заулыбался тот. — Мы не поскупимся.

Двое его товарищей решительно направились к затиши. Нарлы бросил безбородого, забежал вперед, раскинув руки встал перед входом. Мужчины остановились, один из них тронул плечо Нарлы, улыбнулся.

— Туда нельзя! Понимаешь? — Нарлы сбросил чужую руку. — Нельзя!..

Подскочил безбородый:

— Так-то в вашем селе уважают гостей?

— Гостей уважают, когда они сидят у дастархана. А если они хозяйничают... — Нарлы чуть не задохнулся от гнева.

— Не горячись, не горячись, хозяин. Мы тебе зла не желаем. — Безбородый улыбнулся своим приятелям. — Мы торговать пришли. Возьмем коня, дадим хорошую цену.

— Мы не продаем коня.

— Ты цену назови.

— Нет у него цены. Нет! Или хочешь, чтобы я по-другому объяснил?

Безбородый отступил, о чем-то зашептался со своими спутниками. Те кивали ему, время от времени поглядывая на Нарлы.

— Послушай, хозяин, — сказал безбородый. — Мы не хотим тебя обмануть. Много сел уже обошли, покупали коней, ковры и всем давали хорошую цену. Спроси людей, тебе скажут. Хочешь — заплатим деньгами, хочешь — будем меняться. Есть все, что нужно в хозяйстве. Говорят, у вас красивый, резвый конь. Давай поторгуюсь, а там видно будет.

— Может, им ковер подойдет? Тот, что весной выиграла, — шепнул Мульки. — Муки возьмем, сахару. Нарлы задумался.

Безбородый отступил в сторону, терпеливо ждал, глядя то на одного брата, то на другого.

— Ну, не знаю... Иди, скажи матери. Сахар бы не помешал.

— Что, решился? — сказал безбородый, когда Мульки скрылся в кибитке. — Для твоей же пользы. Что ты — бай? Зачем тебе скаковая лошадь? Ну, давай по рукам!..

— Нарлы, Нарлы, остановись! Ради бога, не давай руки!.. — Во двор вбежал запыхавшийся Черкез-волопас, встал между Нарлы и безбородым. — Одумайся, сынок. Шункар — наша радость. Не продавай его. Ты зачем ковер выгащил? — прикрикнул он на Мульки.

— Мы не бесплатно берем, яшули, — с обидой в голосе сказал безбородый. — Хотим помочь беднякам. Какие теперь скачки? Из соседнего села люди коней нам продали. Не верите — идемте, покажу. Там, за селом, и кони, и верблюды. Тридцать верблюдов с коврами, целый караван. Зачем человеку ковер, если дети голодные?..

— Эх, братишка, много ты понимаешь!.. Зачем туркмену жизнь, если лишится коня, ковров и звуков дутара. Наши отцы-деды с нуждой не расставались, а душу свою не продавали. И мы не станем. Никогда!.. Нарлы, пусть брат унесет ковер. Не для чужаков их ткнут наши невестки. Верно, люди?..

Во двор на крики Черкеза-волопаса сошлись соседи. Стояли полукрутом, молча следили за торгом.

— Будь проклята нужда, — пробормотал Нарлы.

— Продашь ковер, разве богаче станешь? А вы ступайте, ступайте отсюда. В других местах свою торговлю ведите! — Черкез-волопас решительно двинулся на безбородого.

— Посла, купца и дервиша от порога не гонят, Черкез Мухаммед, — важно заметил Сейит Кары. — Богоугодное дело они делают: голодному дают хлеб, раздетому — халат. В этом нет греха. Если человек не пользуется вещью, зачем она ему?

Безбородый приободрился:

– Вот, вот!.. Я и сам продал лишнее, а купил нужное...

– Оно и видно, братишка, – усмехнулся Черкез-ага. – Все свое распродал, а теперь ходишь с чужаками от порога к порогу...

– Кого ты слушаешь, Нарлы? Человека, что сторожит чужих быков... – Сейит Кары выступил из толпы, подошел к братьям. – Продай Шункара, Нарлы, вот тебе мой совет! Раздашь долги. Я своего коня, наверно, продам. Если о цене договоримся... – добавил он громче, чтобы слышал безбородый. – Теперь скачек, таких как прежде, не бывает. А призы какие?.. Ими даже корма не окупишь.

– Что ты говоришь, Сейит?! Твой жеребец одной крови с конями Дурды-бая. Разве можно такого продавать?

Сейит Кары криво улыбнулся:

– Разве Дурды-бай не продал своих коней? – Он повернулся к безбородому, прижал культию к груди: – Идемте, уважаемые, идемте к нам. Еще два ковра продам, если сторгуемся... – Пока толмач переводил его слова своим спутникам, Сейит Кары шепнул стоявшему рядом Нарлы: – Не упускай свой час!.. Потом и таких купцов не найдешь...

– Шункара продавать не стану, Сейит-ага.

– Ремесла сейиса вы не знаете – ни ты, ни твой брат. А без хорошего ухода... – Сейит Кары не договорил, заметив, что гости направились к коновязи, поспешил а ними.

– О, Аллах!.. – воскликнул Черкез-ага, опускаясь на колени и глядя на небо. – Ты был к нам благосклонен прежде, а теперь подвергаешь разграблению. Забери мою жизнь, Великий, забери! О, кони!.. Радость глаз моих! Не повезло вам с хозяином, не повезло!.. Где, в каком краю будете ходить под чужим седлом?!

Мульки отдал ковер брату, подбежал к старику, поднял его с земли:

– Мы ведь не продаем Шункара, Черкез-ага!

– Эх, сынок, один ваш Шункар разве сохранит породу. – Глаза Черкеза-волопаса были полны слез. – Пропали наши кони, пропали ахалтекинцы...

Когда Мульки вошел в затишье, Шункар негромко фыркнул. Ясли перед ним были пусты. Мулькаман бросил туда охапку сена, стал седлать коня.

– О, мой Шункар! – шептал он. – Ты для меня – весь мир. Никого кроме тебя у меня нет. – Мульки хотел погладить коню челку, но Шункар чего-то испугался, отпрянул в сторону, захрипел, ощерился, точно собирался укусить. Мульки в страхе отступил. – Испугался? Не сердись! Сейчас погуляем...

Мулькаман вывел коня со двора, постоял немного посреди улицы, потом направил коня к холмам, туда, где устраивали скачки. Шункар узнал дорогу, шел легкой рысью. Сары-ага всегда говорил, что скакун не должен лишний раз бывать на ристалище. Только во время скачек. Иначе может привыкнуть, и знакомые места уже не станут возбуждать в нем азарт. Мулькаман так всегда и делал, но сегодня ему не хотелось видеть людей. Он искал одиночества. Только он и Шункар – и никого больше! Но и этим мечтам не суждено было сбыться.

На пологом склоне холма, там, где обычно сидели самые почетные гости, теперь толпились ребятишки. Они свистели, кричали, хлопали в ладоши, подбадривая наездников. Все взгляды были устремлены туда, где поравнявшись с вешкой, отмечавшей половину короткой дистанции, медленно двигалось густое облако рыжей пыли.

Мульки натянул поводья, остановил Шункара. Конь выпрямил шею, наострил уши, вслушиваясь в ребячью разноголосицу.

Длинное облако пыли уползло за холм. «Пока они доскачут до села, пройдет вечность!..» – усмехнулся Мульки. Он тронул коня стременими:

– Вперед, мой Шункар, вперед!

Конь с места взял резво. Если бы не глухие удары копыт, то казалось бы, что он летит над землей, как птица. Ветер свистел в ушах. Холодный воздух обжигал щеки. Мульки пригнулся к шее Шункара. Он

ничего не видел и не слышал вокруг. Только скачка, только стремительный, неустойчивый полет. Все горести, беды, неудачи, тревоги оставались за спиной, вихрь уносил их прочь, как паутину. Сердце наполнилось торжествующей радостью. «Где, где вы все? Мухаммед-серке, Нарлы, Сейит Кары, где вы?! Вот теперь попробуйте догнать меня!» — кричал он в душе, горяча коня. Мульки вновь почувствовал себя сильным, готовым к борьбе, сейчас не было в мире преграды, которая могла бы остановить его.

Все остальное случилось в мгновение ока.

Сначала он услышал какой-то рев впереди. Он возник неведомо откуда, сменив тишину, в которой был слышен только дробный перестук копыт и гулкие удары сердца. Потом он увидел, как из-за холма навстречу ему несутся, рассыпавшись лавой, мальчишки верхом на ишаках. Бритоголовые азартные наездники колотили своих «скакунов» голыми пятками в бока, заостренными на концах палками безжалостно язвили им холки и кричали, кричали так громко, что не было слышно даже рева ослов. Те, обезумев от боли, неслись галопом. Халаты развевались за спиной у мальчишек точно крылья. «Точно крылья!» — успел подумать Мульки.

Расстояние, отделявшее его от мальчишек, неумолимо сокращалось. Кровь прилила к лицу, казалось, что щеки обдало жарким возбужденным дыханием несущихся навстречу ослов. Мульки попытался остановить Шункара, развернуть его, но конь не подчинился. Осатанев Мульки хлестнул Шункара плеткой. Раз!.. Еще раз!..

Что произошло потом, он не помнил.

Темнота... Бесконечный дребезжащий звон в ушах...

Когда он очнулся, вокруг стояли мальчишки. Те, что были ближе к нему, молчали, задние — переговаривались шепотом. Мульки не чувствовал своего тела. Осторожно пошевелил ногой, рукою, повернул голову. «Кажется, все цело», — подумал он. Боль не чувствовалась. Он сел, поискал взглядом Шункара. Тот мирно пасся неподалеку, на склоне холма, где зеленела пробившаяся осенью травка. Окружавшая Мулькамана толпа стала рассасываться: самые смелые мальчишки побежали к Шункару. Завидев их, конь заржал, предупреждая, чтоб не подходили ближе, поднялся на дыбы. Мальчишки поняли его, остановились.

— Убирайтесь отсюда, убирайтесь! — закричал Мулькаман в ярости. Схватил валявшуюся в пыли плетку, ударил наотмашь, ссек росший у камня чахлый кустик колючки. — Прочь!

Мальчишки со смехом разбежались, стали ловить своих ишаков. Уже через минуту они с громкими криками неслись к селу, и вместе с ними туда летела весть о том, что Шункар сбросил наездника Мульки...

Когда они скрылись вдалеке, Мулькаман встал, отряхнул пыль с халата. Руки были сбиты до крови, нога выше колена горела огнем. Боль, которой он не чувствовал сначала, становилась все злей. Он посмотрел по сторонам. Всего в локте от того места, где он лежал, валялся острый камень. «Слава Аллаху, что все так кончилось», — подумал он с облегчением. — Как однако все одно к одному: уж лучше бы в земле копался. Что за проклятый день!»

Он негромко свистнул, подзывая Шункара. Конь поднял голову, посмотрел на своего наездника, но вместо того, чтобы пойти к нему, поднялся выше по склону.

— Шункар! Куда же ты? Иди ко мне, Шункар!

Конь не сдвинулся с места, даже ушами не повел.

Хромая, постанывая на каждом шагу, Мульки стал медленно взбираться на холм. «Накликала мать беду! Все твердила: погубит тебя этот конь, разобьешься... Еще немного, так бы и случилось. Мало ли наездников погибло», — думал Мулькаман. То, что он уцелел, даже руки-ноги не сломал, отделался ушибами, казалось ему самым настоящим чудом, даже добрым предзнаменованием. Это помогало идти, подбадривало, ведь боль в ноге все усиливалась.

Мулькаман остановился передохнуть. В сумерках, на фоне быстро набиравшего темноту неба, Шункар казался снежно-белым сказочным конем. Мульки снова позвал его, но конь вместо того, чтобы приблизиться, побрел к горам. Мульки чуть не заплакал от бессилия.

— И ты мне теперь враг? — шептал он. — Обиделся? Вот, смотри, смотри!.. — крикнул он внезапно и отбросил далеко от себя плетку. — Видишь?.. Прости меня, Шункар!

Полный горечи и отчаяния крик, прозвучавший в вечерней тишине оскорбительно резко, испугал коня и он стал удаляться тихой рысью. Мульки медленно побрел следом, проклиная свою горячность. Боль постепенно стала стихать, или он просто притерпелся к ней. Шел, подволакивая левую ногу, низко опустив голову, думая о своем.

То внутреннее нетерпение, та жадность к жизни, которая была у него прежде, пока жил отец, куда-то исчезла. На душе только тоска и усталость. Однообразие ежедневной тяжелой работы отупляло, он чувствовал это, ощущал каждой клеточкой своего тела, но бороться, сопротивляться сил не было. Все силы забирал непривычный дехканский труд, немилый, бесконечный. Прежде выручало заступничество матери, но с тех пор, как хозяином в доме стал Нарлы, ей тоже непросто защищать своего любимца, разве что побалует изредка лакомым куском. Нарлы хуже самого Исфафила, грозного божьего посланника, неуловимого посланника смерти. Для того все равны, все одинаковы. Уж лучше смерть, чем знать, что кто-то вымещает на тебе свою боль, свои обиды, хочет, чтобы ты подчинился. Лучше не жить вовсе, разом избавиться от всех бед, от всех дум. Почему люди так дорожат жизнью, если она не приносит им ничего кроме страданий? Даже скачки стали теперь не в радость. Прежде они были праздником, помогали чувствовать себя полным отчаянной смелости, готовности к борьбе. Разве призы его радовали? Самый красивый и дорогой ковер не имел никакой цены, он был лишь даром благодарных зрителей, тех, кому его победа тоже прибавляла уверенности в себе. Теперь скачки превратились в такую же работу, как и всякая другая. И Шункар переменился, озлобился. Дело совсем не в уходе, нет! Отец всегда говорил, что ахалтекинцу довольно жмени ячменя и горсти воды. Недобрым, иным, чем прежде, стал мир, все люди — конь чувствует это, обороняется от зла по-своему.

Мульки остановился, поднял голову. Ему показалось, что впереди, рядом с Шункаром стоит еще одна лошадь, а на ней всадник в белых одеждах. Он сразу и лошадь узнал — то была Серая, которую они с Нарлы выптали в пески — и всадника. «Отец!» — беззвучно воскликнул он. Мульки был готов к этой встрече, ожидал ее. Он верил, что раньше или позже отец придет к нему на помощь. Он призывал отца, когда работал вместе с Нарлы: стоило ему сомкнуть на миг веки, как перед внутренним взором возникал отец. Лица было не видно, только спину, обтянутую посеревшей от пота рубахой, но по тому, как часто вздымался кетмень, и еще по тому, как с силой он падал вниз, глубоко вонзаясь в землю, Мульки сразу догадывался, кто пришел ему на подмогу. Откроешь глаза — видение исчезнет. Теперь не так, теперь у них будет время поговорить.

«Отец!» — снова позвал он, ему даже показалось, что он произнес это вслух, громко. Он остановился, понимая, что бежать вдогонку нельзя, между ним и отцом должно быть приличествующее такой встрече расстояние — отец, если пожелает, сам приблизится к нему. Но вдруг и отец, и Серая, на которой тот сидел, и Шункар, что шел рядом, растворились в темноте, исчезли неожиданно, словно провалились под землю.

Забыв о больной ноге, Мульки побежал. Он звал отца, но только эхо смеялось над ним. Когда он добежал до того места, где недавно видел отца, стало ясно, что не исчез Шункар, не сгинул вместе с видением, а просто скрылся за холмом.

Бежать дальше не было сил. Мульки сел на землю, упал ничком. Жесткая, высушенная солнцем трава колола щеки. Мульки тяжело дышал. Хотелось плакать, реветь громко, как ребенок. Он знал, что слезы принесут облегчение. Плакать навзрыд, как Нарлы в тот день, когда хоронили отца, как сестры. «Взглянуть бы — окон нет, зайти бы — дверей нет» — причитали они. Мульки почудилось, что он слышит их голоса. Прислушался. Нет, то с подвываниями, безутешно рыдали в песках шакалы.

Когда умер отец, он не плакал, ни слезинки не проронил. Не верил, что отца больше нет, не хотел в это верить. Позже, вспоминая отца, думая о прежних беззаботных днях, он временами испытывал такую тоску, что казалось слезы вот-вот брызнут из глаз. Он сдерживался, подавляя подступившую к горлу волну. Он думал, что заплакать будет предательством. Он убеждал себя, что отец жив, что стоит сильно, по-настоящему сильно пожелать и тот придет к нему, вернется, появится, торопливо постукивая посохом. Отец все время оставался с ним, был поблизости. И лишь теперь Мульки с пронзительной ясностью осознал, что отца больше нет. Нет совсем. Сары-сейис — Мульки так и подумал о нем, как о чужом человеке, — Сары-сейис покинул этот мир навсегда, ушел и никогда больше не вернется. Сары-сейис оставил его, Мулькамана,

одного; слабого, беззащитного, один на один со всем миром, полным соблазнов, и коварства. Вот и все его наследство... Только сейчас осознал он, что отец умер.

Козу с белой отметиной привели к тутовнику, где вся земля была покрыта ковром опавших листьев, привязали к молодому деревцу. Было здесь чем полакомиться козе!.. Но когда на шее у тебя веревка, что шаг в сторону не дает ступить, всегда кажется, что травка, до которой не дотянуться, и сочней, и слаще...

Веревка прочна — не порвать, а коза поднатужилась и вырвала с корнем молодое деревце. Волоча его за собой, пошла пастись там, где ей хотелось, подальше от шах-тута...

* * *

Ты была права, мама... — сказал Мульки, не глядя на Гюльрух-эдже. — Отцовское седло совсем старое... Чуть не упал. Хорошо еще сразу почувствовал, что подпруга порвалась. Надо искать новое седло. — Мульки сел напротив матери, положил седло рядом с собой, облокотился на него, как на подушку. Он был огорчен проигрышем, но старался не выдать своей досады.

— Слава богу, что порвалась, — сказала Гюльрух-эдже.

— Это почему же?!

— Известное дело: иначе бы и не вспомнил о моей просьбе.

— А время у меня есть, мама?.. Сама видишь: днем — в «Кошчи», вечером — здесь... С утра до вечера в руках кетмень! Нарлы разве понимает, что такому коню, как Шункар, для ухода человек нужен!

— При желании время бы нашлось!

— А деньги?.. Где взять денег, мама?.. Это седло хоть старое, да Шункар к нему привык. И я тоже... Пока конь к новому седлу привыкнет... — Мульки взял седло в руки. — Смотри, здесь можно починить! Завтра в Дашгуи той со скачками, ты уж постарайся, мама... — Он протянул седло матери. Гюльрух-эдже бережно приняла его, долго разглядывала разошедшийся шов, нежно погладила темную глянцевику кожу.

— Что ты, сынок. Разве моими руками шить кожу?.. Лучше попробуй сам.

— Я не умею! Может Нарлы попросить?

— Спроси...

Нарлы даже не глянул на седло.

— Положи его и ступай работать, — приказал он, нахмурясь, когда Мульки зашел в его кибитку. — Совесть надо иметь. Вчера весь день бездельничал... Ступай к Черкезу-аге, попроси у него вола, и отправляйся к Сейиту Кары. Мы ведь обещали. Дома я и сам поработаю.

— Нарлы, нам бы со своими делами управиться! Никто нас не упрекнет.

Нарлы запустил пальцы в бороду, расчесал ее, как гребенкой:

— Пойми, мы люди, потому что среди людей живем... Земляки делят с нами и горести, и радость. Пока есть силы, надо успеть сделать побольше добра. Отец всегда так говорил. Слушайся меня — ни в чем нуждаться не будем. И обузой никому не станем. Аллах милостив, поможет и нам распрямиться. Надо выручить Сейита-ага. Когда умер отец, он читал молитвы, помог с поминками. Мы в долгу перед ним. Иди, — попросил он. — Седло я посмотрю...

Пришлось подчиниться.

Зато уж как досталось бедному волу! Все зло, что накопилось на сердце, на нем Мульки выместил. Бил так, словно это неторопливый вол виноват в тяготах его жизни, в том, что суров и несправедлив брат, что кроме лишений ничего не сулит будущее. Хворостина сломалась, а волу хоть бы что: шел по полю, медленно переставляя ноги, привыкший к побоям, смилившийся со своей долей.

«А чем люди лучше этого глупого черного вола, — думал Мульки, идя за сохой. — Все вокруг вот также смирились со своей судьбой, ни о чем лучшем не мечтают. Много ли хорошего видел в жизни отец? Убивал себя работой, а говорил, что она приносит ему радость. Как он хотел увидеть напоследок свое поле. Земля сейиса Сары!.. Для него в этих словах был особый смысл: часть своей души отдал он этой земле.

Вернул ее из беспамятства, выкорчевал ивы и талы, что соки земли себе забирали, от камней плоть ее освободил. Все это один, своими руками. Как же было ему потом не любить эту землю. Его землю!..»

В последние дни Мулькаман часто вспоминал отца. Где бы ни был, что бы ни делал, казалось, отец рядом, наблюдает за ним. Стоило только прикрыть глаза, как перед внутренним взором возникал Сары-сейис. Он смотрел пристально и с досадой, иногда покусывал нижнюю губу, словно собирался что-то сказать, но молчал.

В этом молчании угадывался упрек. Также отец посмотрел на него, когда возвращались от Черкезаволопаса. Отец хотел увидеть свое поле, просил завернуть туда, а он, Мульки, не посчитался с его волей. Выдумал что-то, отговорил — торопился на свидание с Курбангуль. А отец промолчал, посчитал недостойным просить во второй раз. Тогда он даже не посмотрел на отца, не оглянулся, боялся увидеть его глаза. И вот теперь тот укоризненный отцовский взгляд настиг его, никуда от него не деться.

Мульки попытался думать о чем-нибудь другом, отвлечься. Это не удалось. Мульки искал слова, чтобы оправдаться, успокоить отца. Одна жизнь дана человеку. Неужели для того, чтобы только страдать, чтобы твой хлеб казался горьким от пота? Если не суждено насладиться радостью, так зачем жить?! Отец теперь знает ответ, но не говорит. Только смотрит с упреком. Это хуже всего. Это невыносимо. Мульки чувствовал себя беспомощным, как путник, оказавшийся в чужом незнакомом краю на развилке дорог. Знал ли отец при жизни такие же сомнения? Наверное, нет. У него был ответ на всякий вопрос. Или «да», или «нет». Он никогда не сомневался. Может, так и надо жить? Может, это и есть ответ? Дал жизнь сыновьям, растил хлеб, обьезжал коней. Пусть то были чужие кони и Дурды-бай продал их, но люди помнят коней Сары-сейиса, до сих пор хвалят их, восхищаются их достоинствами. Те кони только принадлежали Дурды-баю, а для всех были конями Сары-сейиса. Людей не заставишь хвалить недостойное. Пока будут помнить тех коней, не забудут и Сары-сейиса. Вот пример для сыновей. Почему, почему отец не научил его искусству сейиса?! Отец, всегда такой доверчивый, тут заупрямился и — ни в какую! Его так просто было заставить во что угодно поверить, совсем как ребенка. Порою даже странно становилось, что старый человек может быть таким простодушным, точно жизнь его ничему не научила. Когда он прогнал из своей кибитки Бахар, разве отец усомнился в его словах? Нет, поверил, и все люди поверили, все село...

«Жена упрекает меня, — сказал он отцу. — Говорит, я ошиблась, что сбежала с тобой. То одного вспомнит, то другого. Послушать, так все село за ней увивалось. Мне это надоело. Стыдно в постель с ней ложиться после таких слов. Иначе разве бы бродил ночами, как неженатый?..»

И отец поверил. Ничего не сказал, но поверил — это было видно по его лицу. И к сватам он не торопился, чтоб объясниться. «Разве можно ждать благодарности от той, что сбежала из отчего дома, навлекла позор на родителей, — говорила Гюльрух-эдже. — Пусть уходит. Холостым сын не останется. Кто понравится, ту и возьмем!»

Он сам все испортил своим непокорством. Когда отец просил отвезти его в поле, надо было так и сделать. Тогда бы отец не пошел к сватам, не пошел...

Прежде, пока был жив отец, Мулькаман и не подозревал, что человеку так непросто вести свою борозду. Что каждый шаг вперед дается с трудом. Не бык и не соха, а сам человек должен отдать все свои силы, чтобы борозда получилась и глубокой, и ровной. Не будешь усердствовать — ничего не получится. А полю конца-края не видно. Впрочем сейчас он себя не утруждал. Зачем? Чужой бык, чужая соха, чужое поле... Лишь когда увидел приближавшегося Сейита Кары, налег, как следует.

— Да уважит Аллах того, кто уважил меня. Он отблагодарит тебя за эту услугу, сын мой. — Тщедушный Сейит Кары, который на людях всегда старался держаться с достоинством, выглядеть отреченным от мирских забот, как подобает настоящему ишану, сейчас, наедине с Мульки, не скрывал, что он растроган, голос его звучал взволнованно. — Таким и должен быть настоящий друг: заболел Атаджан — ты помоги, тебе будет тяжело — Атаджан поможет. Ты бы зашел, проведаль его.

«Шел бы ты по своим делам!» — в сердцах подумал Мульки, чувствуя, что силы его уже на пределе.

Он остановился, рукавом халата стер пот со лба:

— Я слышал, что Атаджан болеет. Да Нарлы ни на шаг не отпускает, все дела на меня ввалил...

– Болеет, болеет, на смертном одре твой друг, – Сейит Кары часто закивал головой, лицо его сморщилось, словно он собирался заплакать. – Все ему дома не сиделось... Говорил я ему, что добром это не кончится! Наведет Аллах напасть на суетливого...

– А что случилось?

– Ранили его, когда возвращался ночью из Дашгуи.

– Ранили?!

– Да, той самой ночью, когда Мухаммед-серке хотел свести вашего Шункара. Еле до дому дополз, бедняга. – Последнее слово Сейит Кары произнес чуть слышно, торопливо отвел глаза в сторону – увидел, как переменялось лицо у Мулькамана, видно, одна и та же догадка поразила их одновременно.

– Атаджан всегда приносил Шункару сладости...

Сейит Кары сделал вид, что не слышал Мулькамана. Отошел на несколько шагов в сторону, опустился на колени, стал разрывать землю. Не вставая с колен прополз еще два-три шага, опять ковырнул землю:

– Ты что же это делаешь, негодяй? – произнес он прерывистым от волнения голосом, поднимаясь с колен. Прищурившись он пристально смотрел на Мулькамана и вдруг с неожиданной ловкостью метнулся к нему, здоровой рукой вцепился в ворот халата, а култей стал бить по спине, по голове. – Тебе разве щекотать эту землю послали? Отца убил, теперь и меня убить хочешь?

Мульки попытался вырваться, но Сейит Кары держал его крепко. Оставалось только защищаться от его ударов.

– Не надо, Сейит-ага!.. Все сделаю как надо.

– Подонки! – Сейит Кары рванул его на себя, Мульки не удержался на ногах, повалился на спину.

– Все сделаю, Сейит-ага!.. Все сделаю... – молил Мульки, лежа на земле, пытаясь отползти подальше, защититься от побоев.

– Трус!.. Тьфу! – Сейит Кары плюнул, вытер губы о свой обрубок. – Союз «Кошчи» опозорить хочешь, басмач?! Все скажу Ильмураду. Думаешь, мне неизвестно, где ты пропадал... Признавайся, сыновья Дурды-бая тебя соглядатаем к нам подослали?! Вредить «Кошчи»?.. Молчишь!.. Ничего, Ильмурад тебя говорить заставит!

– Не надо, Сейит-ага, не надо... Рабом вашим буду! Сделаю, что ни прикажете. – Мульки поднялся с земли, стоял, боясь глянуть на Сейита Кары, а тот распалялся все больше:

– Верно говорят, что у породистого верблюда не бывает достойного потомства. Уж я позабочусь, чтобы вас выгнали из «Кошчи» – пригрозил он, распрягая вола. – Ступай прочь! Мне не нужна твоя помощь. – Он еще раз плюнул на землю и зашагал прочь, гоня перед собой ленивого, безразличного ко всему вола.

Мульки посмотрел по сторонам; вокруг никого не было, только в зарослях с шумом устраивались на ночлег птицы. Никто не видел его унижения. Но Сейит Кары молчать не станет. «Добился своего – теперь радуется. Как же ему не радоваться: теперь он на коне, а плечи Мульки покроет халат позора. Попробуй только заикнись про Атаджана, сразу со света сживет...»

Мульки посмотрел вслед Сейиту Кары. Тот, временами оглядываясь, торопливо шагал к селу. Расстояние между ними было уже изрядное, не догнать. Надо было раньше!.. Мульки вспомнил, как перепугался мулла, когда он однажды застал его пересчитывающим монеты. «Золото!.. Золото Дурды-бая!.. Конечно, как это прежде в голову не пришло! Ведь он уходил из села вместе с баем. Прихвостнем его был, отец рассказывал. А потом сколько небылиц сочинял? Надо рассказать людям про это золото! Пусть все узнают, что Сейит Кары – вор, убийца...»

В этот миг Мулькаману показалось, что дела его не так уж плохи. Он решительно направился в село, но чем ближе подходил к дому, тем короче становились шаги. «Кто мне поверит? Не пойман – не вор. Попробуй, отыщи это золото! А Сейит Кары все село притащит на свое поле: «Кому вы верите, люди?!...»

Первым, кого увидел Мулькаман, войдя во двор, был Мухаммед-серке. Он стоял под тутовником, вороша ногой опавшие листья. Руки его были сцеплены за спиной: левая удерживала правую, сжатую в кулак. Казалось, он сам себя смиряет, готовясь к разговору с Нарлы. Догадаться зачем он пожаловал было

нетрудно. «Только его сейчас не хватало!» — подумал Мульки. Он крадучись направился к затиши, чтобы укрыться там у Шункара. Но чуть не успел, из кибитки вышел Нарлы, поманил к себе.

Мухаммед-серке скользнул взглядом по Мулькаману, криво усмехнулся. Лицо его было багровым, ноздри широко раздувались, губы дрожали.

— Проходи в дом, если пришел, — сказал Нарлы вместо приветствия.

Мухаммед-серке не сдвинулся с места:

— Давайте начистоту поговорим, — произнес он срывающимся от волнения голосом. — Дурные слухи обо мне ползут по селу. Как посмели вы говорить такое не разобравшись? Я люблю Шункара, как своего, горжусь им. Жизнь бы свою за него отдал! Но чтоб позариться на чужое добро!.. В нашем роду воров никогда не было. И не будет!.. Вот, смотрите... — Он протянул вперед руки — на каждой широкой мозолистой ладони мог бы уместиться ребенок. — Неужели они меня не прокормят?!

— Что ты тут руками размахался?! Стыдить нас вздумал!.. Верно люди говорят: «Смущается не тот, кто крал, а тот, а тот кто вора поймал!»! Думаешь, мы ни о чем не догадываемся? Все про тебя знаем. Весной тоже ты был! А не Мухаммед-кривляка. Благодарю Аллаха, что ты сейчас у меня в доме!..

— Нарлы!.. — Мухаммед-серке не ожидал такого напора, он стоял растерянный, жалкий.

— Руки переломаяю, если еще раз хоть пальцем Шункара коснешься! Ты нам жить не запретишь, и в скачках побеждать не помешаешь. Глотали твои кони пыль Шункара и будут глотать. Запомни это! На скачки он звать пришел!.. Издеваться вздумал?

— Нарлы!..

— Молчи, молчи, Мульки тебя узнал.

— Очагом и детьми клянусь, не делал я дурного!

Мухаммед-серке, почтенный человек, клялся, Нарлы промолчал.

— Мухаммед-ага, зачем вы говорите так? Мы вам и без клятв верим. Иначе бы сами к вам пришли. А мало ли что люди говорят. Не слушайте. Простите, если что не так сказал сгоряча. Трудно ли ночью обознаться? А что вы Шункара любите, это правда. И нашего отца вы всегда почитали. Пусть между нами не будет обиды.

Нарлы, не понимая, что происходит, удивленно смотрел на брата. «Что у него на уме? Струсил?.. Или издевается?.. Над кем?..»

— Хватит болтать, Мульки! Ступай, принеси кетмени — работы полно.

Когда Мулькаман вернулся, Мухаммеда-серке во дворе уже не было.

— Я недоволен тобой, Мульки. — Нарлы взял кетмень, оперся на него, как на посох. — Что ты сейчас говорил? Зачем заискивал перед Мухаммедом? Позоришь меня. Я ведь не мальчишка. И ты тоже. До каких пор мне учить тебя?..

— Не трогай меня! Памятью отца заклинаю... — взгляды их на миг встретились. Но не мольбу и не страх, как обычно, увидел в глазах брата Нарлы, а безнадежность и пустоту.

— У Сейита Кары закончил?

— Уже закат, — сказал в ответ Мулькаман.

— Ладно, ступай, — согласился Нарлы. — А ночью спи дома... У тебя есть жена...

Мульки ничего не ответил.

Было уже совсем темно, и все звуки затихли, когда Курбангуль вышла из кибитки. Она пересекла двор, держась подальше от Алабая, подошла к затиши. Войти внутрь не решилась. «Мулькаман!..» Никто не отозвался. «Как ребенок», — с обидой подумала Курбангуль. С той ночи, как хотели украсть Шункара, Мульки ложился спать в затиши, но Курбангуль знала, что причина тому вовсе не конь: она была холодна с мужем, не могла простить ему побоев.

Она осторожно приоткрыла скрипучую дверь:

— Мульки!.. — Тишина была ей ответом.

Курбангуль пошла к свекрови. Гюльрух-эдже еще бодрствовала.

– В затиши смотрела? – спросила она, когда невестка вошла в кибитку: сразу догадалась с чем та пожаловала. Старуха кряхтя поднялась, и вместе они вышли во двор.

Ночь была холодна, Гюльрух-эдже зябко поежилась.

– Нарлы!.. – кликнула она старшего сына. – Выйди.

Нарлы пробормотал что-то спросонок и повернулся на спину.

– Отец, мама вас зовет, – шепнула ему Нязик. – Слышите?

– И ночью покоя нет! – пробурчал Нарлы все еще лежа с закрытыми глазами. – Все тело ломит, – пожаловался он окончательно проснувшись.

– Не знаешь, где Мулькаман? – сказала мать, когда он появился в дверях.

– Говорил же, чтобы спал дома. Осел!.. – Нарлы решительно направился к затиши.

Он пробыл внутри недолго.

– Шункар здесь? – спросила Гюльрух-эдже, когда он вышел оттуда. Нарлы не ответил. Он заглянул в шалаш, где хранил лопаты, обошел огород.

– Как сквозь землю провалился! – сказал он вернувшись.

– Куда можно пойти?..

– Откуда я знаю, – раздраженно ответил Нарлы. – Разве он скажет? Последние дни ходил сам не свой, а что у него на уме, разве поймешь? Бродит где-нибудь. Не в гостях-же! Ночь на дворе.

– Поищи его, – попросила Гюльрух-эдже.

– Ах, мама, мама!.. За что мне такая доля?..

– Когда мужчине за сорок, грех ему жаловаться на сиротство, – раздраженно оборвала его Гюльрух-эдже.

Нарлы вышел за ворота.

– Мулькаман!.. Мульки!.. – крикнул он в темноту. Ему показалось, что кто-то отозвался в той стороне, где стояла кибитка Мамагуль. Он направился туда. Когда подошел поближе, понял, что это поет Мамагуль, вечно занятая работой. Нарлы нехотя повернул к дому. Тревожное предчувствие мучало его.

«Это я виноват, я! – казнил он себя в мыслях. – Совсем измучал парня работой. Уж лучше б возился он с конем, если к этому душа лежит.»

– Нет его нигде, – сказал он, подходя к матери.

– Вернется ли? – с тревогой спросила Гюльрух-эдже.

Нарлы только пожал плечами.

Время тянулось медленно. Они молча стояли у ворот. На небе ярко сияли звезды так всегда бывает перед холодами. Вдалеке, за бесконечными грядями барханов, мерцала Кервенгыран; туманное сияние, окружавшее звезду, делало ее похожей на маленькую серебряную монетку...

Часть четвертая

ЗИМА

Шах-тут, великое дерево, много у тебя листьев, и все они похожи, хоть нет среди них двух одинаковых! Одни сочные, темно-зеленые, другие бледные, словно мало им солнечного тепла и света. На тех ветвях, что тянутся к западу, листва начинает желтеть еще в середине осени и, когда налетит холодный зимний ветер, эти листья первыми становятся его жертвой. Пожелтевший лист раньше или позже опадает – ветер тут ни при чем. Даже в безветренную погоду то один лист сорвется с ветки, то другой и, крутясь, медленно падает на землю, ложится в шуршащий золотой ковер там, где летом покоилась тень дерева. Но, как бы ни злилась зима, все равно хоть один листок, да и останется на ветке шах-тута до самой весны...

О, шах-тут, великое дерево!..

ВОЛЧИЙ ЗАКОН

Не только у зимнего дня «сорок лиц». Весной их у него еще больше. Вроде бы ярко светит солнце, но набегит черная туча, хлынет дождь и через полчаса все вокруг будет залито водой, как во время потопа. Вот и в тот день за ночь небо затянуло тучами. Они летели, клубясь и все плотней закрывая небосклон, так что из-за них не было видно даже утренней зари. Издалека доносились ворчливые раскаты грома, а подбрюшье низко нависших над землей облаков то и дело озаряли зарницы.

Клыч ждал, когда начнется дождь. Он сидел рядом с женой и завтракал. Было ему уже за пятьдесят, но несмотря на седины он не любил, когда к нему обращались соответственно возрасту – Клыч-ага. Он не ощущал своих лет. Вот и шум дождя, напоминавший ему жаркий шепот молодки, он любил, словно мальчишка. Сердце млело, когда слышал его.

Но вместо шума дождя, слышался стук в ворота.

Клыч сидел, точно не слышал. Лишь когда ударили снова, он отставил пиалу, встал и отправился во двор.

Шемшат взглядом проводила мужа до двери и мысленно пожелала, чтобы ранний гость пришел с доброй вестью. Но время тянулось, Клыч не возвращался, и сердце Шемшат наполнилось тревогой. Она выглянула в окно. Клыч разговаривал с председателем колхоза. Подошла к двери, прислушалась. О чем говорят, было не разобрать. Ничего ей не оставалось, кроме как ждать, когда муж сам расскажет ей, зачем это ни свет, ни заря явился башлык. Однако и эта ее надежда не оправдалась. Клыч вернулся, ни слова не говоря оделся и ушел.

Люди, что ждали Клыча, расступились, пропуская следопыта вперед. Он подошел к разбитому окну, осмотрел его, потом опустился на колени и стал разглядывать следы, что четко отпечатались на влажном песке. Все внимательно следили за ним, но ничего нельзя было прочесть на смутном, скуластом лице, разве что чуть побледнел пересекавший щеку шрам – след волчьего когтя.

На самом деле Клыч с первого взгляда узнал, кто был здесь ночью. И больше всего возмутило его, что негодяй ничуть не таился. В том, что тот так наследил под разбитым окном, Клычу чудился оскорбительный вызов ему, следопыту. Боясь как бы ударившая в голову кровь не затмила ему истину, он еще раз внимательно разглядел следы. Нет, никакой ошибки: тот же, что и в прошлом году, скошенный набок отпечаток каблука. Чтобы скрыть свои чувства, Клыч до боли стиснул зубы, заиграл желваками. Но потом возмущение все же захлестнуло его. Он выматюкался, растолкал окружающих его людей и, не обращая внимания на их оклики, пошагал прочь.

Он шел не разбирая дороги, прямо по лужам, и дико озирался по сторонам, словно искал, на ком сорвать зло. «Не человека ты вырастил, а скотину...», – беззвучно шептали его побледневшие от ярости губы.

Так пришел он в дом своего старшего брата и, разуваясь на пороге, внимательно оглядел обувь, расставленную на старой клеенке. Полуботинки, след которых он только что видел у клуба, стояли среди прочей обуви тщательно вычищенные, словно в них неделю не выходили из дому. Он взял правый ботинок, внимательно осмотрел каблук. Нет, этот скошенный каблук ни с чем не спутаешь! Кровь ударила ему в голову, рывком распахнул он дверь и тотчас взгляд его уперся в сияющую рожу Умыта¹, который, лежа на подмятой под бок подушке, чаевничал рядом с отцом.

Увидев свои ботинки, Умыт побледнел, настроение его сразу испортилось, он суетливо вскочил и с протянутыми вперед руками бросился встречать гостя.

– О-о, дядя Клыч! Салам аллейкум, дядя Клыч! Проходите, садитесь рядом с папой. Я сейчас принесу чай. Мама, что дяде Клычу постелить? Где волчья шкура, что дядя Клыч нам подарил? Сейчас, дядя Клыч, принесу.

Клыч тяжелыми шагами приблизился к что-то еще тараторящему племяннику, схватил его за шиворот.

– Ты, свинья... свинья, понимаешь!.. – Он как следует потрянул Умыта, должно быть чтобы его слова лучше дошли до побледневшего от страха подростка. – Чего тебе, свинья, не хватает? От жиру бесишься.

– Дядя Клыч, да что случилось?

– Сам знаешь! Обманщиком меня, свинья, сделать хочешь?

– Материнским молоком клянусь!..

– Не поминай больше материнского молока, свинья ты такая, а то я разом из тебя дух вышибу! – и он снова потрянул Умыта так, что у того голова дернулась из стороны в сторону, словно у матерчатой куклы.

– Ты что делаешь? Убивают! – заголосила Гюлле-эдже и с неожиданным для этой полной женщины проворством с кулаками бросилась на деверя. – Отпусти моего сына. Не смей его бить! Сначала своих детей роди, а потом руки распускай!

Эти слова так ударили Клыча, что он даже согнулся, будто ему кулаком влупили под дых. В глазах потемнело, сердце забилося часто-часто. Он хотел ответить невестке, но гнев настолько овладел им, что он даже говорить не мог.

Мамет, который до этого молча наблюдал за происходящим, вскочил и бросился на подмогу брату.

– Ты что такое, Гюлле, несешь?! Ты как себя ведешь, а, я тебя спрашиваю? Уши твои не слышат, что язык мелет. А ну, ступай отсюда!

– Разве можно ребенка так?

– Значит заслужил этот негодай.

– Что он заслужил?

– Ступай отсюда, ступай! Сколько раз тебе повторять?!

Гюлле-эдже отступила. Она ушла, все еще что-то бормоча себе под нос, и увела с собой Умыта.

Братья остались вдвоем. Мамет-ага не знал, как нарушить тягостное молчание. Он стоял напротив брата и, полуприкрыв веки, наблюдал за ним. Смуглое лицо Клыча еще больше потемнело, губы его дрожали. Никогда прежде Мамет-ага не видел брата таким разгневанным. Нетрудно было догадаться, что виноват в этом Умыт. Но что он на этот раз натворил?.. Мамет-ага начал издали, зная, что одно неосторожное слово может завести Клыча еще больше.

– Эх, братишка, ты все такой же горячий! – Мамет-ага усадил Клыча рядом с собой. Ополоснул пиалу, нацедил в нее чай. – Тебе ведь уже за пятьдесят. Надо себя беречь. Ты, как спичка, в любой миг вспыхнуть готов. Не по возрасту уже такая горячность. Спокойней надо быть, сдержанней. Ну к чему было так на Умыта набрасываться? Поговорил бы со мной, решили бы, как быть, что делать. А на Гюлли не обижайся. Эти бабы, шайтан бы их побрал, сами не знают, что несут. Я тебе так скажу...

Клыч не дал ему договорить. Быстро встал, отошел к окну, потер ладонью внезапно разболевшийся шрам.

– Ты не со мной своей мудростью делись, а с сыном.

Мамет-ага тяжело вздохнул. Показывая, что у него нет слов, развел руками. Встал, подошел к брату и негромко кашлянул, прочищая горло.

– Ну что же мы с тобой, Клыч, пререкаемся. Что там еще Умыт натворил, а?.. Объясни толком, что случилось.

– Зачем. И дальше в своем благодушии пребывай!..

– Братишка, дорогой ты мой, ну, что ты горячишься?! Успокойся, прошу тебя, возьми себя в руки. Будешь таким желчным, давление себе заработаешь. И так, знаешь, какие в нашем селе люди...

Клыч в сердцах махнул рукой и вышел из комнаты.

Быстрым широким шагом шел он к своему дому, как и прежде, не разбирая дороги, не замечая редких прохожих. Визит к брату не принес ему облегчения, напротив, только разбередил старую рану. Он теперь не думал об Умыте. Черт с ним! Клыч себя бранил. Брат прав: если не научится сдерживаться, люди от него и вовсе шарахаться станут, как от зверя. Перед тем, как войти в дом, он немного постоял у ворот, чтобы остыть. Ему не хотелось огорчать Шемшат.

– Дождик не начался? – крикнула она с кухни, когда он раззвуживался у порога.

– Нет еще.

– Что-то быстро ты, старый, вернулся? Все дела сделал?

– Сделал, сделал, – ворчливо проговорил он, забыв о только что данном самому себе обещании не выплескивать на жену дурного настроения. Он бросил поверх ковра выделанную волчью шкуру, навзничь растянулся на ней, заложив сцепленные руки за голову. Глядя на потолок, вспоминал события сегодняшнего утра и прошлогодний случай, когда Умыт, точно побитая собака, смотрел на него молящим взглядом и клялся материнским молоком, что никогда больше не будет воровать. «И опять он материнским молоком клянется! Свинья! Знает, как людей разжалобить. Скотина, ему материнским молоком поклясться все равно, что под ноги себе плюнуть!» – Клыч вполголоса выругался.

– Чайку сначала попьешь или сразу горячее подавать?

Он повернул голову. Шемшат стояла в дверях, держа литровый фарфоровый чайник, расписанный яркими цветами, и пиалу.

– Шемшат, ничего мне не надо, – сказал Клыч, точно извиняясь. Он сел и по привычке коснулся шрама на щеке.

– Как это, не надо? – удивилась Шемшат. – Из дома ушел – даже не позавтракал как следует. Я уже пила вчерашнее разогрела.

– Сейчас мне совсем ничего не хочется. Не поехать ли мне в пески?

– Зачем? Еще шесть дней. Ты если сам не помнишь, у меня спроси, когда на смену заступать. – Она поставила чайник, помолчала, а потом попросила: – Клыч, хоть на этот раз отдохни сколько положено. Погода, смотри, совсем испортилась. – А поскольку Клыч молчал, она прибавила: – Что с тобой, старый?

Клыч нахмурился.

– Да что ты, Шемшат, заладила «старый, старый». Забуди ты это слово проклятое!

Шемшат кивнула. Но смотрела на мужа настойчиво, мол, пока не объяснишь, что случилось, не отстану. Клыч знал, что так и будет.

– Что-то мне нехорошо, Шемшат. Чувствую, в степь поеду – сразу легче мне станет. Ты уж не сочти за труд, собери вещи. Прогуляюсь, развеюсь и вернусь.

Шемшат жалобно посмотрела на него, хотела что-то сказать, но на глаза навернулись слезы, и, чтобы не показать их мужу, она стала торопливо собирать Клыча в дорогу.

Клыч наблюдал за женой и чувствовал себя виноватым. Так и не найдя слов, чтобы ее успокоить, он тихонько вышел из дома и стал готовить мотоцикл. Проверил уровень масла. Набрал из большой бочки, что стояла у ворот, полное ведро бензина, залил в бак до самой горловины.

Шемшат принесла узелок с едой, вещи.

– Ты когда вернешься?.. Или так на смену и останешься?.. Ты уж точно мне скажи, – потребовала она обиженным голосом.

– Постараюсь побыстрее, – сказал Клыч, завел мотоцикл и, обдав Шемшат облаком сладковатого бензинового дыма, укатил со двора. Но еще не успела она вернуться в дом, как он вернулся. Лихо развернулся и остановил мотоцикл рядом с Шемшат.

– Только ты, пожалуйста, не волнуйся. Ничего не случилось, просто захотелось в пески поехать. Вот и все. Бог даст, завтра к вечеру вернусь. А не переживай понапрасну. И не будь одна. Соседок пригласи. Посидите, поуждайтесь, чайку попейте. Если, когда вернусь, лицо у тебя хмурым будет, – пеняй на себя! – Клыч улыбнулся, но улыбка получилась жалкой. – По телевизору вечером фильм хороший. Ты обязательно посмотри, а потом мне расскажешь.

Шемшат смотрела на мужа и глаза ее наполнялись слезами.

– Ну, что ты, что ты, что еще за дождь?

– Всегда я одна в пустом доме, – Шемшат едва сдерживалась, чтоб не разрыдаться. – Совсем у тебя жалости нет. Две недели в песках, вернешься и опять прочь из дому. То придет за тобой кто-то и исчезнешь на неделю. То дела какие-то. Потом опять смена. А у меня пустота в жизни, вроде я и не замужем...

Клыч растерялся и, как всегда, когда не находил слов, коснулся шрама.

– Не нарочно же я.

– Не знаю. Только устала я от одиночества. Не могу больше.

– Завтра же вернусь.

Шемшат ничего не ответила, отвернулась. Клыч выключил зажигание, откатил мотоцикл под навес, взял вещи.

– Ладно, если тебе так хочется, буду дома дрыхнуть.

Он умылся, вернулся в комнату, уселся на еще хранящую его тепло волчью шкуру. На душе было мутно. Он закрыл глаза и тотчас представил себе матерого волка с оскаленной пастью, готового к прыжку, к битве. Вот бы с таким сразиться! Клыч знал, что только так, в схватке со зверем, сможет он очистить сердце от зла, обиды, ярости, что накопились в душе нынешним утром.

Шемшат принесла пить. Поставила миску перед мужем, а сама скромно села чуть в сторонке. Она исподлобья наблюдала за Клычем, ждала, когда он начнет есть. Ей нравилось, как он ест. Как держит ложку в толстых, почти не гнущихся пальцах. Как спокойно, не морщась, отхлебывает горячий, что твой кипяток,

суп. В каждом его движении чувствовалась уверенная сила, может, даже грубость. Ей вспомнился слышанный когда-то разговор о том, что такая вот грубость присуща лишь настоящим мужчинам, и Шемшат невольно покраснела.

Может, от того, что у них не было детей, между Шемшат и Клычем сохранилось чувство взаимной заботливости, какое бывает у молодых, но потом обычно растрачивается в семейных буднях. Они старались предугадать желания один другого. Если у одного случались какие-то неприятности, он насколько возможно старался скрыть их. Они берегли друг друга. Иногда Клыч говорил, что все это «кошачьи нежности». Вспомнив об этом Шемшат чуть заметно улыбнулась, своей ложкой придвинула Клычу куски мяса. Ей хотелось, чтоб за едой он отвлекся от своих черных мыслей, а потом разговорился и, если не секрет, рассказал, зачем приходил председатель.

– Сама ешь, что ты все мне подкладываешь.

– Ем, ем, – торопливо заверила его Шемшат. – Что-то ты ешь без настроения. Скажи, что хочешь, я приготовлю.

– Нет, нет, ничего не надо. И это пойдет.

Как ни старался Клыч выкинуть из головы утреннее происшествие, ничего у него не получалось. Мысли то и дело против его воли возвращались к разговору с Маметом, и он знал, что здесь, в селе, от этих дум ему не избавиться. Душа истомилась по простору, лучшим лекарством для него сейчас была бы степь. Но уехать, оставить Шемшат он не мог, не хотел. И так жизнь у нее невеселая. Некому ей дарить свое тепло, свою нежность. И верно неспроста говорят люди, что женщина сотворена Создателем для того, чтобы заботиться о детях, о муже – без этого жизнь ее теряет смысл.

Они поели. Шемшат пошла относить на кухню грязную посуду, но в дверях остановилась.

– Да!.. Утром Аман приходил.

– Какой еще Аман?

– Чабан. Помнишь, который кричал, что ты его опозорил, мол, не крал он шерсти.

Клыч нахмурился.

– Чего ему надо? Чем недоволен?

– Нет, нет, радость у него. Сын родился на рассвете. Счастливый, улыбается. Говорит: «Я из роддома прямо к вам, чтобы доброй вестью поделиться. Хочу сына Клычем назвать. Пусть вырастет таким человеком, как Клыч-ага». Вот как люди...

– Хватит, Шемшат! Что у тебя за характер. Стоит кому доброе слово сказать, так ты его сразу в тысячу слов превратишь.

– Он что, не прав?!

– А если так, что, всему миру объявить надо?

Шемшат обиделась, ушла и уже из кухни крикнула:

– А ты думал, я молчала?!.

Настал тот час на исходе ночи, когда тьма делается осязаемо плотной. Воздух был напоен пряными запахами пробудившейся природы, ароматами трав и первых цветов. В такую пору трудно охотиться, потому что приходится больше надеяться на удачу. Однако сегодня удача, как видно, отвернулась от нее. Покинув логово, она проделала уже немалый путь, но до сих пор ей не встретилась добыча.

Волчица была светло-серой масти, с густой мягкой шерстью, худая, с куцым, как у туркменских овчарок, хвостом. Голод терзал все злей, и временами ею овладевало отчаяние. Тогда она переставала доверять своему обонянию, а по памяти бежала туда, где в последний раз ей сопутствовала удача. Пустое брюхо гнало ее вперед и вперед, но ноги уже отказывались бежать. Из последних сил поднялась она на вершину высокого бархана и решила остановиться здесь, чтобы немного передохнуть. Она села, опершись на передние лапы, и принялась. Увы! Похоже во всей округе кроме нее нет больше ни одной живой души. Ей оставалась только ждать. Но ждать было трудно. Временами голод так затмевал ее сознание, что требовалось все усилие воли для того, чтобы удержаться на месте.

Когда-то в этих краях водились не только тигры, но, как утверждают некоторые, даже грозные львы, однако могучие хищники бесследно исчезли в бескрайних даях прошлого, оставив волков царствовать в Каракумах. Только добыча не всегда достается тем, кому принадлежит власть. Это кажется удивительным, но, как бы там ни было, лисы и шакалы редко когда остаются голодными, по крайней мере, так казалось волчице.

Еще волчице казалось, что удача перестала сопутствовать ей с тех пор, как она осталась одна. Прежде она охотилась вместе с волком. Но некоторое время назад, незадолго до того, как она оценилась, его тяжело ранили. Раненый волк стал для нее непосильной обузой. Он один съедал больше, чем она вместе с четырьмя волчатами. Вообще-то волчий закон запрещает жить за счет сородичей. Если ты стар, если у тебя не осталось сил, чтобы прокормить себя, волк обязан покинуть свое логово, свое семейство, свою стаю и в одиночестве проститься с жизнью. Однако отец ее волчат оказался малодушным. Волчице пришлось помочь ему уйти из этого мира. С тех пор вот уже почти месяц она охотилась в одиночку, и с каждым разом добыча доставалась ей все труднее.

Голод достиг такой силы, что волчица стала грызть мятлик. Прежде она ела траву лишь после мяса: без этого трудно бежать с набитым брюхом. Теперь же она жрала траву, чтобы обмануть голод, словно какой-нибудь заяц. Это внезапно пришедшее ей в голову странное сравнение с зайцем было настолько неожиданным, что волчица замерла и принялась. Ласковый предрассветный ветерок принес ей долгожданную весть. В один миг она забыла о голоде, ибо голод – плохой советчик, и превратилась в охотника, безошибочного и безжалостного. Она припала к земле и, забыв о времени, бесцельно поползла туда, откуда ветерок принес заячий дух. Вскоре она увидела несколько ципавших клевер зайцев. Подкравшись достаточно близко для броска, волчица молнией метнулась вперед. Одного зайца она сбила лапой, другого подмяла под себя, обрушившись на него всем телом. И тотчас, забыв обо всем на свете, стала терзать свою добычу. Насытившись она немного отдохнула, а, когда проснулась, снова была сильной и свежей, готовой в обратный путь.

Внезапно какой-то далекий звук насторожил ее. Она вскочила, прислушалась. Нет, это не треск мотоцикла – его тарахтенья с некоторых пор она боялась больше всего на свете. Волчица поднялась на вершину бархана и замерла там, задрав морду к блеклым звездам на небе, уже обретшем предрассветную прозрачность. Ветер переменялся, и в нос ей ударил острый овечий запах. В один миг она догадалась, чтобы встревоживший ее звук был звуком колокольчика. Она еще раз прислушалась: звук колокольчика и блеяние овец не приближались – отара шла стороной.

Дальнее овечье меканье вновь растревожило волчицу, сытая умиротворенность прошла, точно не было. Она вспомнила давние уже времена, когда вместе с волком они напали на отары. Что за прекрасные дни были – сытные и беззаботные! Впрочем, память нас нередко обманывает, особенно когда не хочется вспоминать о плохом...

Той ночью, такой же теплой и душной, как нынешняя, волчица охотилась в одиночку. Со дня на день она должна была оцениваться, и бремя мешало ей промышлять вместе с волком. Презрев риск, она уже в третий раз за неделю пришла к чабанскому кошу и, укрывшись в зарослях саксаула, наблюдала за овцами, людьми и собаками.

Псы были ленивыми и несмелыми. Волчица определила это по их лаю. Он был каким-то неуверенным, осторожным. Из этого волчица сделала вывод, что и чабаны при этой отаре непутевые. Ведь ясно, что хороший, опытный чабан не станет держать трусливых собак. Лень же, как правило, передается псам от хозяев. У волчицы было несколько случаев убедиться в этом.

Овцы почуяли близость волка раньше собак. Они сбились в кучу, жалобно блеяли и умирали от страха. Встревоженные этим собаки деликатно полаяли, но отойти далеко от костра не посмели.

Волчица ждала, когда отара успокоится. Время шло, но запах страха, источаемый овцами, ничуть не слабел. Он манил и дразнил волчицу, и наконец, не в силах больше терпеть, она напала на отару. Она перерезала глотку одной овце, другой. Горячая кровь опьянила ее. Овцы в страхе бежали. Это раззадорило ее еще больше. Наконец она все же образумилась, и, забросив на спину ярку, побежала к холмам. Псы кинулись в погоню. Они стремительно приближались, а прибавить скорости у волчицы не было мочи. Тогда

она бросила овцу, и повернувшись встала грудью навстречу собакам, готовая принять бой. Но псы были трусливы. Увидев перед собой разъяренную рычащую волчицу, они остановились как вкопанные. Звонкий лай сменился сначала приглушенным рычанием, а потом они заскулили от бессилия. Волчица не спеша вернулась к овце, захватив ее поудобнее, забросила на спину и продолжила свой путь.

Собаки, словно и в самом деле прогнали врага, с громким лаем вернулись к кошу.

Удалившись на безопасное расстояние, волчица в два приема до отвала насытилась бараниной. Потом она потихоньку пошла к своей норе. Бежать не было ни желания, ни сил. Волчата в ее чреве были уже живы, двигались и беспрестанно толкали ее, причиняя боль. Даже идти было тяжело. Она то и дело останавливалась, чтобы передохнуть. Единственное, чего желала: поскорей добраться до логова, забраться в прохладную глубь и уснуть спокойным, глубоким сном. Еще она думала об овцах. В отаре их во много раз больше, чем волков в самой большой волчьей стае, и каждая овца ничуть не меньше волка — отчего же они так трусливы? Овцы только в ужасе бежали, когда на них напала неловкая, неповоротливая беременная волчица. Немыслимо, чтобы кто-то мог вот так запугать волка! Волчице было жалко овец, которые уродились такими трусливыми.

Медленно поднималось из-за барханов большое красное солнце.

Она уже миновала большую часть пути, когда ее внимание привлек какой-то далекий звук. Она прислушалась: нет, это не лай собак. Незнакомый звук был какой-то неживой, похожий на шум машин. Только что машине делать так далеко в песках? И все же в этом однообразном тарыхтении было что-то пугающее, тревожное. Заметив, что звук сделался громче, отчетливей, ближе, волчица на всякий случай прибавила шагу.

Но избавиться от преследования ей не удалось. Тарыхтение, хоть и быстро, но приближалось, и теперь волчица не сомневалась, что кто-то идет по ее следу. Силы быстро покидали ее, но стоило только остановиться, чтобы передохнуть, как звук сделался ближе. Потом ветерок принес удушливую бензиновую гарь.

Волчица поднялась на невысокий холм и остановилась, чтобы оглядеться, а заодно перевести дыхание. Нечто черное небыстро двигалось, огибая дальний бархан. Волчица предостерегающе зарычала. Она знала, что в песках нет живого существа, которое бы не отреагировало на волчье рычание. Оно пугает даже собак. Но на этот раз и рычание не помогло. Черное существо не остановилось, даже не замедлило ходу. Волчица легла, прижавшись к песку, чтобы понаблюдать за преследователем. Свет восходящего солнца слепил глаза, но она все-таки разглядела человека, ехавшего верхом на тарыхтелке, и стволы охотничьей двустволки у него за плечом.

Ей сделалось страшно. Кубарем она скатилась вниз. Волчица бежала, напрягая последние силы, но даже мысли не было отдохнуть. Страх гнал ее. Она бежала в зарослях кустарника, веря, что сможет уйти, спасти себя и еще неродившихся волчат. Она подбадривала себя мыслью, что, избрав этот путь, получила некоторое преимущество. Еще в молодости она усвоила, что от погони лучше уходить низиной.

Так она бежала, тяжело дыша, напрягая все свои силы, и внезапно до ее сознания дошло, что тарыхтение прекратилось. Волчица не сразу поверила этому, еще некоторое время она двигалась с прежней скоростью, пока не убедилась, что ничто больше не нарушает утреннюю тишину. Она выбежала из зарослей на открытое пространство, чтобы оглядеться, и чуть ли не нос к носу столкнулась со своим преследователем. От неожиданности и страха она даже обмаралась. Волчица остановилась, неуклюже ткнувшись мордой в песок. Попыталась сесть, но желание сопротивляться оставило ее, и она безвольно опустила на землю свое обессилившее тело.

Охотник остановил мотоцикл поперек тропы и стоял, облокотившись на него. Он внимательно следил за зверем. От этого спокойного, настойчивого взгляда волчице сделалось жутко. Она поняла, что проиграла. Охотник обхитрил ее, обогнул бархан с другой стороны, пока она пробиралась зарослями.

Волчица смежала веки, уткнулась мордой в лапы. Сопротивляться не было сил. Она лежала, покорившись судьбе, ожидая конца. Потом приоткрыла глаз — человек даже не снял ружья. Он возвышался над ней, словно черная гора, был, как гора, непоколебим и неподвижен. Волчица попыталась, проверяя, как отреагирует человек. Он спокойно следил за ней, потом что-то крикнул. Волчица вскочила и побежала.

Она удидала, неслась, не разбирая дороги, обезумев от страха. Некоторое время спустя за спиной раздалось уже привычное тарахтение мотоцикла. Охотник ехал следом, похожее, даже не стараясь догнать ее. Волчица наконец поняла его замысел. Он заставил ее повернуть, и теперь гнал ее назад, к тому месту, где она напала на отару.

Она бежала, временами переходя на шаг, но охотник не старался догнать ее. Даже когда она без сил свалилась на песок, он терпеливо ждал, давая ей отдохнуть. До чабанского коша надо было перевалить еще через два бархана.

Отдохнув, волчица побежала вновь. Звериная врожденная жажда жить гнала ее вперед, но на самом деле не от охотника она уходила, а от проклятого тарахтения его мотоцикла. Этот звук преследовал ее с неумолимостью рока. Даже когда охотник выключал двигатель, монотонный стук мотора звучал в ее голове, соперничая с тяжелыми ударами крови.

Немного отдохнув, она побежала резвей, потом у нее даже появилась надежда уйти от погони: она ушла в сторону, затем вернулась назад и спряталась в ямке, которую ветер вырыл под поваленным на землю толстым стволом саксаула. Она лежала, вжавшись в песок, прислушиваясь к тарахтению двигателя. Через некоторое время тарахтение прекратилось. Волчица выглянула из своего укрытия. Охотник выследил ее, остановив свой мотоцикл метрах в десяти, терпеливо ждал. Волчица с трудом поднялась на ноги и побежала.

Солнце поднималось все выше и уже изрядно припекало. Силы были на исходе. Лапы дрожали, в глазах стоял мрак. На бегу она несколько раз отрывала мясо. Когда перевалила бархан и спускалась вниз, остушилась и безвольно покатилась, увлекаемая лавиной песка.

Жажда мучала ее и внезапно ей представилось, что она не бежит, а плывет среди бескрайнего сверкающего на солнце водного простора. Она не чувствовала ног, и некоторое время бежала как бы против собственной воли. До коша было уже близко, а там – конец погони и, вообще, конец, это она знала. Задние ноги подкосились, она повалилась на землю. Потом медленно поднялась, с трудом сделала несколько шагов вперед, и опять упала. Теперь у нее не было надежды на избавление. С трудом она доползла до ближнего пригорка и села, дожидаясь своего преследователя. Когда он приблизился, она даже не шелохнулась, так и сидела, подняв передние лапы, показывая всем своим видом, что признает поражение. Она негромко рычала, но теперь ее рычание было не страшным, а жалким.

Человек остановил мотоцикл, выключил двигатель. Некоторое время наблюдал за волчицей, потом легко поднял из седла свое большое тело, соскочил на землю. Снял ружье, но заряжать его и целиться не стал, а прислонил к мотоциклу. Огляделся, подобрал изогнутую саксаулину, толщиной с руку, и пару раз подбросил ее, как бы примериваясь к весу. Потом стал медленно приближаться к волчице. Она покорно ждала, но когда расстояние между ними сократилось до полутора метров, подчиняясь инстинкту, бросилась на охотника. И в тот же миг тяжелый удар сокрушил ее.

Очнувшись, она полежала некоторое время все еще не веря, что жива. Голова раскалывалась от боли. Потом она почувствовала другую боль, исходящую из основания хвоста. Она скосила взгляд и вдруг обнаружила, что боль есть, а хвоста нет. Волчица жалобно закулила, завывала. Метнулась в одну сторону, в другую, потом медленно потрусилась прочь. Она была опозорена! Лучшее бы охотник убил ее, чем лишить хвоста! Переживая позор, она несколько дней таилась в укромных местах, стараясь не попадаться никому на глаза.

Сидя в убежище, она пыталась понять, почему охотник пощадил ее. Добрый он или злой? Поначалу ей казалось, что он поступил жестоко, оставив ее жить опозоренной. Но постепенно ко всему привыкаешь. Волчица зализала рану и смирилась со своим новым обликом. В конце концов и собаки живут с обрубок вместо хвоста.

Несколько раз она видела охотника. В первый раз сильно испугалась – воспоминание о преследовании было еще слишком живо, но потом уже не боялась его. Правда, к отарам и близко не подходила. Некоторое время назад она заметила охотника неподалеку от своего логова. Вознамерилась рыть новую нору и даже начала ее. Но потом оставила свою затею. Теперь волчица была одинока, а без помощи волка она не могла осилить такую работу...

Когда подъезжаешь к Саганали со стороны песков, первое, что бросается в глаза, — высокие красивые деревья с густыми тенистыми кронами. Благодаря им Саганали не спутаешь ни с каким другим селением на берегу Джейхуна. Только вот беда, все эти красивые деревья — бесплодные. Кроме тени нет от них никакой пользы. Зато посмотришь — вокруг какой-нибудь неказистой низкорослой яблоньки с кривым стволом и поникшими ветвями вся земля усыпана сочными краснобокими яблоками.

Давно заметил эту закономерность Клыч. Иной раз он с горечью думал, что и сам подобен бесплодному дереву. А жизнь проходит так быстро, что даже страшно становится. Ему трудно было примириться с этим, потому что в душе он ощущал себя еще не старым. Казалось, что не много лет, а всего несколько дней прошло с тех пор, как они с Шемшат полюбили друг друга. Он ясно помнил, как засылали сватов, как тем было отказано, как, не видя иного выхода, он умыкнул Шемшат. Мамет с аксакалами ходил извиняться за «проступок» младшего брата, а потом опять сватались — родители Шемшат затребовали большой калым. Понурий, низко склонив голову, вернулся после сватовства Мамет — эта картина была перед глазами, как живая. Клыч часто вспоминал те дни. Откровенно говоря, кроме них и вспомнить-то было нечего — две недели в степи, две недели в селе.

Тишина окружала его в песках, но и вернувшись в село он обнаруживал почти такую же тишину у себя дома. Ему казалось, что проклятая тишина обволакивает, душит его в четырех стенах. Он соорудил возле ворот скамейку и часто, выйдя из дому, любовался играми соседских ребятишек. Когда с сумерками родители звали детей домой, Клыч огорчался не меньше самих мальчишек. Иногда он приглашал детей в гости — полон дом, и тогда Шемшат расцветала. Они угощали ребятишек, но увы, — этот праздник был коротким, точно летний дождь — прошумел и снова палит солнце. Умом он понимал, что можно усыновить сироту, но сердце его противилось этому. Чтобы отвлечься, он убегал в степь, а там не было для лучшей забавы, чем охота на волка.

Человек, живущий среди природы, сам с течением времени приобретает некоторые ее черты. Там полагал Клыч и без труда обнаруживал в своем характере определенное сходство со степью. Оттого он, наверное, и тосковал в селе. Степь была его родной стихией. Единоборство с волком чем-то напоминало песчаную бурю и потом помнилось долго. За каждого убитого волка правление колхоза специальным решением премировало Клыча одним бараном. Поначалу этого его радовало. Загоняя свою премию в хлев, он говаривал бывало Шемшат:

— Родится сын — пир устроим. Вот тогда эти бараны и понадобятся. Ты их хорошенько корми, чтобы жирные были. Людям нравится, когда на тое еда жирная. Я сколько раз слышал, как люди говорят, мол, вот у того той хороший был — все жирное, а тот — пожадничал, тощего барана зарезал. Когда у нас той будет, мы уж порадуем земляков. Не станешь жадничать, Шемшат?

Щеки Шемшат заливал румянец. Она сама с нетерпением ждала того же, что и Клыч. Но чем сильнее было их нетерпение, тем дальше, казалось, отодвигается долгожданный миг. Несколько месяцев Шемшат лечилась, даже лежала в больнице. Одно время она стала переборчивой в еде: то одно ей хочется, то другое. Клыч не ленился: что пожелает Шемшат, то он обязательно добудет, хоть из под земли достанет. Только вот беда, аппетит у Шемшат совсем пропал, уж, кажется, так хочется чего-то, но съест кусочек — и все. Она скрывала это от Клыча. А уж как береглась — даже в летний зной ходила в шерстяных носках!

И вот наконец долгожданное счастье и к ним в дом пожаловало. Клыч от радости не находил себе места. Ему казалось, что чумазый малыш, лицом похожий на него самого, уже бегаёт по двору. Когда спрашивали посторонние, не ожидают ли они с Шемшат прибывления, Клыч только загадочно улыбался. Доверился только самым близким друзьям. Иногда возвращался выпившим: люто ненавидел тех, кто только делал вид будто радуется, лишь бы угодить ему. Однажды поехал в город и вернулся возбужденный, в какой-то особенно приподнятом настроении.

— Смотри, Шемшат, что я привез! — и свалил на ковер перед женой десяток свертков. — Вот, решил, что пора о нашем маленьком побеспокоиться. У нас такого не купишь! — С умилением разглядывал он детские распашенки, чепчики. — А это зимнее. Теплое, на меху. Как говорится, раньше или позже зима все равно

наступит, тогда такого и с огнем не отыщешь, верно? А это игрушки. Выложим перед ним, пусть играет, пока не надоест.

– Перестань, Клыч. Ты сам, как ребенок, – сказала Шемшат, уже с трудом поднялась и направилась на кухню.

– Ты куда?

– Тесто поставлю, чебуреки сделаю.

– Нет, нет, – запротестовал Клыч. – Ты сиди, тубетеечку вышивай, я сам все сделаю. Ты же знаешь, тебе сейчас тяжелую работу делать нельзя. Что нужно, скажи, не стесняйся. Даже если я чем занят, все брошу, а твою просьбу выполню. Я все могу: и стирать, и готовить, и корову подоить. Ну, в крайнем случае, сестру на подмогу позову, или невестку.

– Перестань, Клыч!

– Что, я сам тесто не могу замесить? В песках кто, думаешь, нам хлеб печет. Сами все, сами. И – ребят спроси – кто лучше всех с тестом справляется. Я, между прочим. И фитчи им готовлю, и чебуреки. Ишлекли могу прямо в песке испечь, – Клыч расхвастался, правда, больше для того, чтобы развлечь жену. – Ты когда к родителям уезжала, ребят позвал. Так мы тут такие пельмени заделали... Одни тесто готовили, другие – фарш, третьи лепили. И очень даже ничего получилось. Ты не поверишь, если я скажу, кто тесто месил. Это вы, женщины, думаете, что мы только есть мастера. Между прочим, кто любит поесть, тот и повар хороший. Ты только скажи, я такие чебуреки соображу – пальчики оближешь.

Но случилось так, что, как говорится, «и в береженный глаз соринка попала»: ребенок родился недоношенный и через несколько часов скончался. Да, человек думает, что готовится к тою, а его ждут поминки.

Когда Клыч уехал на смену, Шемшат убрала и спрятала подальше игрушки, что он расставил на все видных местах. Вернувшись из песков, Клыч сразу же заметил это, но даже слова ей не сказал. Он переменялся. Сторонился приятелей, которым поторопился сказать, что они ждут ребенка. Стал замкнутым, молчаливым. Все больше сидел, погруженный в думу, потирая след волчьего когтя на щеке. Когда Клыч уходил из дому, Шемшат горько плакала.

Снова Шемшат легла в больницу. А потом еще раз. Мамет, когда узнал, что зав. отделением его знакомый, обрадовался. Отвез врачу двух баранов. Сделал это тайком от Клыча, зная, что брат этого не одобрит. «Что делать, Клыч, если жизнь теперь такая, – в мыслях спорил Мамет с братом. – Не все праведники, как ты. Вора разговорами не устыдишь. Ты, братишка, все никак не поймешь, что у тех, кто зло вершит, рука сильная. Глупо надеяться, что все люди станут добренькими и честными. Уж лучше сам живи, как все. Можно подумать, мне нравится взятки давать. Но, что делать...»

Однако и взятка не помогла. Им объявили, что детей у них не будет. Клыч и Шемшат отказывались этому верить. Клыч доставал жене путевки в санатории, Шемшат ездила к табибам и на святые могилы.

Однажды, окончательно потеряв надежду, Шемшат решилась. Она объявила мужу, что им надо серьезно поговорить. Настраивалась на спокойный, неторопливый разговор. Но когда посмотрела на Клыча, нетерпеливо поглаживающего шрам, заглянула в его полные жалости глаза – сердце защемило, все мысли смешались. Шемшат разрыдалась и только твердила:

– Я домой вернусь, Клыч.

Как ни уговаривал ее Клыч – бесполезно. Утром она ушла не простившись.

Проснувшись, Клыч долго лежал в постели, полагая, что Шемшат во дворе, доит корову или кормит кур – да мало ли с утра дел по хозяйству. Потом он вышел из дома, огляделся, но ее нигде не было. Дважды он негромко позвал: «Шемшат, Шемшат». Ответа не последовало. Клыч вспомнил вчерашний разговор и только теперь осознал, что произошло. Он вернулся в комнату. Постель лежала, как была, разобранная, и это окончательно убедило его, что Шемшат ушла. Клыч бессильно опустил на матрац.

Почему-то он представил плачущую невестку, Гюлле, глотая слезы, что-то жалобно говорила ему. «Тебе скоро сорок – потом будет поздно. Может попытаешь счастья, Клыч?» – спросил он сам себя, но знал, что это не его слова, а ее, невестки. В нем все противилось мысли, что он может жить не с Шемшат, а с

какой-то другой женщиной. Одна эта мысль причиняла ему боль. В свое время Шемшат ушла к нему против воли родителей. Это с тем, у кого достаток, все готовы породниться. А если ты бедняк, то и спи со своей честностью и порядочностью... Каково же Шемшат теперь вернуться в родительский дом! Как она станет жить там? Да разве мало наказана она тем, что у нее нет детей? Разве этого горя недостаточно?

Он отправился к тестю и вечером вернулся домой вместе с Шемшат.

– Это что ж ты такое придумала? Встала и пошла. А обо мне ты вспомнила? Неужели тебе жалко меня не было? Что ж теперь, тем, у кого детей нет, и на свете не жить?

Шемшат молча слушала его упреки, потом встала и со словами «Ужинать пора» вышла на кухню. Только после этого Клыч немного успокоился.

Клыч старался не думать о том, что у них нет детей. Но вопреки его воле, что ни шаг, сама жизнь напоминает ему об этом. И Шемшат нет-нет, а вдруг не выдержит, разрыдается, начнет причитать: «Кто похоронит меня, несчастную? Кто надо мной «мама» скажет? Некому будет даже на кладбище меня отнести?!». Клыч, как может, утешает жену, но, откровенно говоря, у него самого порой бывает так тяжело на душе, что хоть плачь.

Давным-давно, пожалуй, это было одним из самых ранних его воспоминаний, вместе с соседской девочкой он играл в «жениха и невесту». В тени дувала был их дом. Считалось, что Клыч пришел уставшим, и «невеста» суетилась вокруг него, а он, лежа в тени, только покрикивал: «Принеси подушку!», «Поддай чай!». «Тише, отец, детей разбудишь!» – время от времени говорила девочка. Детей у них было много – завернутые в разноцветные лоскутки щепки лежали рядом у забора. Девочка брала то одну, то другую и, прижимая к груди, принималась укачивать «ребенка»: «Перестань, не плачь. Папа устал. Лежи тихо.» Одни взрослые глядя на них улыбались, другие – бранили, говорили, что «это – не игра». Но они все равно играли в «жениха и невесту», потому что трудно было придумать игру приятней и увлекательней, чем эта. Откуда было взрослым знать, что вся их жизнь – игра.

Они выросли, девочка стала невестой, а потом женой другого. Дом ее полон настоящих детей, а вот ему остались только приятные воспоминания о детских играх. С годами он то ли действительно припоминает, то ли выдумывает все больше подробностей. Заново переживая детство, легче коротать долгие дни в песках. Однако ночи еще длинней. Стоит зайти солнцу, кажется, что время остановилось, и ты остаешься в холодных объятиях собственной тоски. Над тобой небо, усыпанное бесконечно далекими звездами, и сам ты одинок, как холодная звезда.

Порою одна из бесчисленных звезд срывается вниз, летит, выпягивая тонкий длинный хвост, и бесследно сгорает. Посмотришь через миг – ничего, только равнодушное черное небо там, где совсем недавно сверкала звезда. Вот с такой летучей звездой, порою, сравнивает Клыч себя, свою судьбу, и, глядя в небо, засыпает. А утром снова гнать отару, и работа помогает забыть о ночных думах.

Зайчати́на быстро утолила голод, и, набив брюхо, волчица почувствовала, как она устала, как вымотали ее голод и долгие поиски пищи. Сон сморил ее, и она немного поспала прямо там, где ела. Спала недолго, но проснулась полной сил и как бы помолодевшей. И первое, что услышала, – блеянье овец. Оно приблизилось, стало таким отчетливым в ночной тишине, что никакого труда не составило вообразить топчущихся по кругу овец с жирными курдюками. И представив это, волчица тихонько завyla от вождения.

Она легко поднялась на ноги, несколько мгновений постояла в нерешительности, а потом медленно, как бы против собственной воли, двинулась по направлению к отаре. И если прежде, когда ее гнал голод, волчица была близка к отчаянию, то теперь, насытившись, она исполнилась беззаботного куража. Она поднялась на вершину холма и оттуда понаблюдала за овцами, мирно пощипывающими травку при свете вышедшего из-за туч месяца, за пастухами, беззаботно спящими возле догорающего костра, и за их собаками, дремлющими рядом с хозяевами. И чем дальше она следила за ними, тем увереннее себя чувствовала.

Все благоприятствовало хорошей охоте. Во-первых, овцы устали от ночного перехода и будут легкой добычей. Во-вторых, судя по многим приметам, чабаны принимали гостей. А когда на чабанском коше

ночной гость, там допоздна едят, пьют и веселятся. Теперь людям не до овец. Они не то, что волка преследовать, еле ходить могут, а если начнут палить из ружей, то чего доброго друг друга перестреляют. И, наконец, собаки. От них сейчас тоже не много проку. Они смелые, когда чувствуют поддержку людей, когда те подзадаривают их криками. Теперь же, когда люди спят, как убитые, собаки тоже пользуются моментом. К тому же им наверняка кое-что перепало, когда резали овцу и готовили угощение. А сытость – мать лени. Так что и псов можно сейчас не очень-то бояться.

Сейчас если и следует кого опасаться, так это осла. Вон он, даже не развьюченный пасется среди овец. Несмотря на свои весьма внушительные размеры и твердые, точно камни, копыта, осел очень труслив. Присутствие хищника он чувствует раньше овец и собак. И в этот раз, стоило только на миг перемениться ветерку, как осел почуял близость волчицы. Он насторожил свои длинные уши, стал рыть копытом землю и заревел «и-а, и-а», захлебываясь собственным криком, словно на него икота напала. Осел разбудил собак. Задирая морды, с громким, звонким лаем они носились из стороны в сторону, но определить, где волчица, не могли. От костра они предпочитали не удаляться, и волчица догадывалась, что их сердца сейчас переполнены страхом. Это еще больше раздражило ее. Она негромко зарычала и поднялась. Сейчас она не боялась ни собак, ни людей. Волчица чувствовала себя сильной, смелой, ловкой и ей хотелось показать себя. Она живо вообразила, как, сея панику, подобно смерчу нападает на отару, валит умирающих от страха овец, кусает жирные курдюки. Ей показалось, что она уже чувствует жаркий, душный, пьянящий запах крови. Волчица вздохнула полной грудью, но ощутила не запах крови, а свежесть приближающегося ливня. Тяжелая черная туча стремительно надвигалась с севера, и это тоже было кстати – дождь смоем все следы.

Как ни странно, но пресыщенность лишает рассудка почти так же, как и голод. Однако если голод, ставя перед выбором между жизнью и смертью, вынуждает презреть опасность, то пресыщенность лишь притупляет инстинкт самосохранения. Два года волчица старательно обходила отары и стоило ей только услышать далекое бляение овец, как она точно наяву видела перед собой огромного и черного, как гора, охотника, и тупая внутренняя боль начинала припекать обрубок хвоста. Сейчас желание насладиться риском было столь сильно, что волчица хоть и вспомнила о черном охотнике, но теперь он представлялся ей таким же неловким и не очень смелым, как и все прочие люди.

Почти не таясь приблизилась она к отаре, и, когда овцы, почуяв ее, с тревожным бляением кинулись врассыпную, волчица напала на них, сея смерть и ужас. Она набросилась на жирную овцу, но, завалив ее, не успокоилась, переломила хребты еще двум-трем овцам и наконец, зарезав пронзительно бляевую ярочку, почувствовала, что пора уходить. Собаки все еще не кинулись в погоню, а она уже перевалила бархан и там сбросила на песок свою добычу. На сытое брюхо ноша показалась ей чересчур тяжелой. Медленно обошла она вокруг некрасиво упавшей дохлой овцы, потом опустилась на песок рядом с ней и положила переднюю лапу на измазанный липкой кровью бок своей жертвы. Волчица отдыхала, время от времени озираясь, и, пока она так лежала, аппетит совсем пропал.

К своему логову волчица добралась, когда уже почти совсем рассвело. Небо было плотно затянуто тучами и из-за этого казалось, что ночь отступает медленней, чем обычно. Из предосторожности некоторое время волчица путала следы. Вместо того, чтобы спуститься в нору, она прошла дальше, четко отпечатывая следы на отсыревшем за ночь песке. Она шла широким шагом, изредка переходя на трусцу, потом прыгнула в сторону и, осторожно ступая по траве, сделала широкий полукруг, заходя к норе с подветренной стороны. Там она поднялась на взгорок и еще раз внимательно оглядела окрестности. Не заметив ничего подозрительного стала спускаться к норе, скрытой от посторонних взоров зарослями тамариска. Дойдя до них она дважды негромко подала голос, предупреждая волчат о своем возвращении. Щенки спали, сбившись в кучу, перед самым входом в нору. Самый сильный и ловкий из них, тот, что был сверху, узнал ее голос, очнулся, замотал головой, прогоняя сон, потом соскочил на землю и – боком, боком, – подпрыгивая и урча, направился ей навстречу. Следом побежали остальные.

Волчица обнюхала волчат и убедившись, что причин для беспокойства нет, прошла к ровной площадке слева от норы, где обычно кормила свое потомство. Там она прилегла, чтобы немного отдохнуть, но

голодные волчата наскakивали на нее и пытались добраться до сосцов, хотя она давно уже не кормила их молоком. Волчица угрожающе зарычала на них, но, зная, что так их теперь не утихомирить, поднялась и стала отрыгивать полупереваренные куски мяса.

Щенки с жадностью набросились на пищу, а волчица с умиротворением наблюдала за ними. Всякий кусок доставался волчатам с бою; надо было оттолкнуть, оттереть от него ближнего своего, а если тот не хотел отступать, то уж совсем неумоточно цапнуть его за ляжку, расчищая себе путь к возжеленному мясу, и из-за этого трапеза большие походила на побоище. Увы, такова жизнь. Волчица и не думала защищать слабых. Напротив, она всем сердцем болела за самого цустрого и сильного волчонка, того самого, что первым кинулся ей навстречу, когда она вернулась. Этот не пропадет, знала она и радовалась, когда именно ему доставались самые лакомые куски. Из всего помета он казался ей самым привлекательным.

Волчата быстро все съели и, хотя знали, что большие им ничего не перепадет, облизываясь, с надеждой поглядывали на мать. Но та решила, что настало время игры. Она подошла к своим детенышам и, легким шлепком опрокинув самого сильного из них, сама повалилась на бок, показывая, что позволяет им напасть на себя. Несколько дней назад она принесла им полузадушенную лису. Волчата до ночи терзали ее, и эта наука пошла им впрок. Сейчас их атаки стали стремительными, а укусы порой причиняли боль. Волчица быстро утомилось игрой, и это ее даже немного встревожило. Скрывая свою растерянность, она грозно зарычала на волчат, стряхнула их с себя и поднялась. Ей хотелось спать. Но сначала она пошла к небольшому, всего в пять-шесть шагов длиной озерцу, оставшемуся после первых весенних дождей, что было неподалеку от норы и, подползая на брюхе к самой воде, стала жадно, словно бы измученная жаждой, лакать ее. После этого волчица поднялась на поросию низким кустарником вершину холма и оттуда долго озидала пески. Доверяя обонянию больше, чем зрению, раз за разом принималась к ветерку, но ничего необычного не различала, а только запах приближающегося дождя и густой аромат цветущей степи.

Своего первого волка Клыч взял, когда ему едва исполнилось двенадцать. Детство его пришлось на военные годы. Мужчины, под защитой которых село было точно за каменной стеной, ушли на фронт, в домах остались немощные старики, дети да женщины. Волки сразу почувствовали это и обнаглели. До того даже ночью обходившие Саганали стороной, теперь они нападали и днем, резали скот, безобразничали на бахчах. Чувствуя, что нет им отпора, стали угрожать даже людям. Клыч на всю жизнь запомнил тот день, когда на пути серых разбойников оказался их дом. На рассвете мать отправилась в хлев задать корма скотине, и глазам ее открылась страшная картина: ночью волки зарезали корову и двух овец. Дико завывала Акбиби-эдже. Когда Клыч прибежал на ее крик, мать обняла, прижала его к себе и залилась слезами. Вот так стояли они посреди разора, и Клыч, которого самого душили слезы, пытался успокоить мать:

– Не плачь, мама, не плачь. Вот вернется отец, он им покажет. А корову другую купим, с телятчком...

Но Акбиби-эдже не стала дожидаться возвращения мужа. На следующий день, взяв с собой Клыча, она отправилась в пески. По дороге к ним присоединился Мамет. Вот тогда Клыч впервые увидел, как ставят капканы, как выбирают для них место. После того, как Акбиби-эдже укрывала ловушки травой и хворостом, она достала чекушку с какой-то желтой жидкостью и окропила из нее все вокруг. Мамет объяснил, что это моча волчицы. Ее запах привлечет волка – так всегда делал отец, он же и добыл эту приманку из мочевого пузыря убитой им волчицы.

Ночью Клыч не мог заснуть. Тогда он впервые узнал, как длинны бессонные ночи. До этого ему казалось, что ночь пролетает, как одно мгновение, кажется, только опустил голову на подушку и вот уже тебя будит мама. В тот день будить его не пришлось. Попив чай, они отправились проверять капканы. На всякий случай Клыч захватил крепкую сучковатую палку, но она ему не пригодилась. К капканам не пошли. Поднялись на вершину бархана и оттуда увидели, что в двух их капканах есть добыча. Они побежали в село. «Люди, мы волков поймали! Люди, мы волков поймали!» – кричали они, задыхаясь от быстрого бега.

Чуть ли не все саганалинцы отправились добывать волков. Обезумевший от боли зверь бился, пытаясь разжать стальную хватку. Люди со всех сторон окружили его, и стали бить палками, закидывать камнями. Всю накопившуюся злобу выместили они на этих волках, но этого показалось мало. Дохлых волков поволокли к селу и там, привязав к шестам, оставили на устрашение другим хищникам, мол, знайте, что и вам здесь не поздоровится. Тот день стал большим праздником для всего села. Все были счастливы, словно не волков, а Гитлера победили. И как всегда праздник не обошелся без ссоры. Две женщины заспорили: каждая доказывала, что это именно ее удар оказался для волка роковым. Вот тогда наконец и вспомнили о тех, кто взял волков. Стали благодарить Акбиби-эдже. Разменявший восьмой десяток Берды-ага обнял старческими сухими, дрожащими руками Клыча, прижал его к своей груди: «Ты, сынок, сегодня двух фашистов убил, что жить селу не давали!». Сначала Клычу показалось, что старик оговорился, но потом он догадался, что имел ввиду аксакал.

Тот день был одним из самых счастливых в его жизни. Вспоминая его, Клыч невольно улыбался. Однажды Шемшат призналась, что тоже запомнила тот день. Она вместе с матерью ходила смотреть на убитых волков, тогда и приглянулся ей Клыч. Уж лучше бы она не признавалась ему в этом. Теперь в хорошем настроении Клыч не упускал случая похвастаться, что он любим ею с детства, и всякий раз, расстилая волчью шкуру, с улыбкой спрашивал: «Ну, так как ты ко мне относишься?».

После того случая серые реже нападали на село. А Клыч, несмотря на юный еще возраст, вскоре стал известным на всю округу охотником на волков. Узнал их повадки, научился выслеживать, а однажды, как говорится, на своей собственной шкуре убедился в том, что волк не сдастся до последнего. Попавший в капкан зверь прыгнул на Клыча, повалил парнишку и хорошо, что тот успел прикрыть лицо, а то мог остаться без глаза. Но шрам от стального волчьего когтя, распоровшего щеку, остался Клычу украшением на всю жизнь. Хищника он тогда одолел, хотя был напуган до смерти и, чтобы победить страх, выпил крови убитого им волка, чье бездыханное, но еще не остывшее тело лежало у его ног.

Он не прекратил охотиться на волков, даже когда было указание беречь их, дескать стало их чересчур мало. Вот этого Клыч никак не мог взять в толк. Как может стать слишком мало зло? Зло оно и есть зло, его в мире всегда предостаточно. И уж будьте покойны, оно обязательно найдет себе лазейку. Так, в общем-то, и случилось: прошло несколько лет, и запрет отменили, но волки уже так размножились, что теперь бить их разрешили в любое время года.

На волков Клыч охотился всегда в одиночку. Приходилось ему, конечно, и капканами пользоваться, но все же он сам предпочитал выслеживать зверя. Едва различимые отпечатки могли сказать ему много: волк или волчица проходили здесь? сколько лет зверю? сыт он или голоден? давно ли рыщет?..

Тому, кто умеет читать следы, дело в селе всегда найдется. То у кого-то корова пропала, то еще что-то, случалось ему идти и по следу человека. Было ему под тридцать, когда в песках напали на него несколько человек. Избили крепко, повредили правый глаз. Мамет-ага не отходил от брата, пока Клыч не встал на ноги. И кормил, и поил его. А однажды, когда дела уже пошли на поправку, высказался начистоту:

– Не забывай, Клыч, что ты среди людей живешь. Сколько раз я тебя просил: прекрати. Нет, не слушаешься! А я знаю, что говорю. Посмотри, ты даже с людьми по-человечески поговорить не можешь. Сразу ляпнешь, что думаешь. Нельзя так, дорогой братишка. Ты скажи, что хочешь, но вроде в шутку, улыбнись. Тогда, хоть и обидны слова, все их стерпеть легче. А если откровенно, так лучше уж и вовсе молчать. Мало ли вокруг воровства?.. Не один ты это видишь, только, кто поумней – помалкивает. Вот и ты: посматривай, да помалкивай!

Клыч и сам замечал, что люди сторонятся его, словно побаиваются. Встретится он со знакомым на улице, так тот спросит его о житье-бытье и уже торопится распрощаться, придумает, что, мол, у него срочное дело, или еще какую отговорку. И даже тот, кто любит поболтать, в его присутствии взвешивает каждое слово, старается выглядеть рассудительным и степенным, хотя сам понимает, как неестественно это выглядит. Правда – она, что черствый хлеб, им и поперхнуться можно. Людям нравится, что помягче да послаще. Даже друзья юности не то, чтобы отвернулись от Клыча, но все же отношения с ними стали иными. Перестали бывшие приятели приходить к нему «на пельмени». Да и он сам теперь все реже ходит в

гости. Куда пойти есть! Немало есть домов, что могут согреть его своим теплом, радушием и гостеприимством. Но вот беда, придет он поговорить по душам, а приятель с детьми своими или с внуками даже играет. Увидит, кто пришел и торопиться детей из комнаты выпроводить (Клыч порой едва успевает детишкам гостинец вручить), а потом старательно обходит «опасную», как ему кажется, тему: о детях – ни полслова. Вот и приходится весь вечер в шахматы играть.

Доиграв партию, он, понутив голову, отправится домой. Но для человека, который умеет читать следы, даже пустынная улица полна жизни. Привычка подмечать все необычное, порой даже против собственного желания, невольно делает его соучастником чуть ли не всех важных событий села. Разве может остаться он равнодушным, если увидит, что сосед, который вечно на все жалуется, всегда чем-то недоволен, на этот раз бежал домой радостный, чуть ли не в припрыжку. Увидев такие следы, Клыч непременно в мыслях пожелает, чтобы радость в доме соседа поселилась навсегда. Если же заметит след вора, а такой след всегда выделяется среди других, не поленится и вместо того, чтобы идти домой, отправится к вору и заставит его вернуть украденное.

Воруется тот, кто надеется выйти сухим из воды, избежать позора и наказания. Если бы каждый посягнувший на чужое добро знал, что дела его тайной не останутся, то, наверное, поостерегся бы позорить себя и своих детей. Увы, вор о будущем задумывается редко...

В прошлом году, когда Клыч пошел по следу вора, укравшего из дома зав.фермой большую сумму денег, он почти не удивился, когда в конце концов поиск снова привел его к Абраю. В прежние времена такое было немыслимо, но за последние годы Клыч уже всему перестал удивляться. Часто настоящий жулик не тот, кто ограбил, а тот, кого обворовали. Клыч заподозрил недоброе, еще когда Шах – дадут же люди прозвище человеку! – пришел к нему с просьбой найти вора. Уж очень тот не хотел говорить, сколько у него украли. И так крутил, и эдак, а суммы не назвал. Почему? Ну, это понятно. Если бы Клыч услышал, сколько взяли денег, он бы, пожалуй, первым делом стал выяснять, откуда столько у зав.фермой. Вора Клыч обнаружил без особого труда, а потом, как шутили односельчане, пошел по его следу в обратном направлении. На суде, когда объявили приговор, Абрай-шах кричал, что – даст Аллах живым и здоровым вернуться из тюрьмы – так уж он рассчитается с Клычем.

Совсем не так он вел себя, когда стали приоткрываться его темные делишки?! Человек, которого почти всерьез величали Шахом, который, казалось, одним своим видом может горы сокрушить, поник, словно из него пар выпустили. Как ему хотелось замять скандал, как он крутился вокруг Клыча, чтобы все осталось шито-крыто. Когда посулы не действовали, стал бить на жалость. Детми своими, точно щитом, прикрылся – пришел к Клычу со всем своим семейством. Дети ныли, а Абрай под эту музыку умолял: «Пожалей детей, Клыч! Ты только молчи, а я сам все улажу, с кем надо договорюсь». Ему, наверно, казалось, что он нашел у Клыча слабину, куда можно «выстрелить». Но эффект получился совсем иной – Клыч рассердился. «Да не унижайся ты так, Абрай!» – сказал он в сердцах, дав понять, что разговор окончен.

Но Абрай-шах не успокоился. В дом к Клычу стали приходить его послы. Все это были уважаемые, почтенные люди. А разговоры их сводились к одному: негоже, мол, меряться силами с человеком оступившимся, да и вообще – жизнь коротка, надо со всеми жить в мире. Ну, а раз такой случай, то и для себя некоторую выгоду извлечь не грех, говорили они, подразумевая под этим вознаграждение. Абрай был человеком щедрым, не привык считаться с расходами, и мало кому в селе не приходилось обращаться к нему за помощью. Теперь все полагали, что стоит Клычу перестать упрямяться и будущее его обеспечено на долгие годы.

Известно, сердце человеческое – не камень. Оно податливо, точно воск, отзывчиво на чужую боль. Но если после стольких уговоров, после детских слез, после увещевания почтенных старцев сердце не смягчилось, может, это плохое, жестокое сердце? Оно, наверно, и не каменное даже, а стальное. Кому приятен жестокий, немилосердный человек? Но станет ли лучше жизнь вокруг, если «каменное» сердце помягчает? Эти мысли принесли Клычу немало страданий.

Среди заступников Абрая только Мамет был человек простой, без особых заслуг, без высокой должности. Но он был уверен в себе. Ему даже в голову не приходило, что брат может отказать ему в

просьбе. Поэтому, когда Абрай обратился к нему с жалобой на Клыча, он поклялся, что все уладит. Когда же и его слова остались неслышанными, он очень обиделся на младшего брата. Ведь он же поклялся! Теперь сам оказался в неловком положении. Мамет-ага решил, что больше ноги его не будет в доме у Клыча. Однако дней через пять-шесть пришел. Пришел рано утром. Всю ночь он не сомкнул глаз, тоска одолевала его. «Как дела, Клыч?» – ласково поинтересовался он и сел напротив брата. Шемшат тоже не сводила с Клыча глаз. Мамет спокойно, улыбаясь, выпил чайник чая и ушел...

Клыч лежал, размышляя над тем, что происходит, когда кто-то пришел. Прислушавшись к звуку шагов, он легко узнал походку старшего брата и в тоже время это были шаги неуверенного в себе, чувствующего свою вину человека. Это нетрудно было понять потому, как гость топтался у порога, не решаясь открыть дверь.

Потом Мамет дважды кашлянул, как бы предупреждая хозяев о своем приходе, и только после этого вошел. Некоторое время он стоял в дверях, пока Клыч взглядом не указал ему, где сесть. Он долго усаживался, потом обвел взглядом стены. И внезапно сильней, чем обычно, Мамет ощутил особый, какой-то нежилой запах этого дома. Он взглянул на Шемшат, которая как раз в это время вошла в комнату и сдержанно его поприветствовала, кивнул ей, и в голову ему пришла мысль, что сколько не мой, сколько не скреби в доме, но если нет в нем запаха материнского молока и мокрых пеленок, то откуда появится жилой, уютный дух. Не поднимая головы он некоторое время наблюдал за Клычем, который лежал облокотясь на две пуховые подушки, и мысленно повторил те слова, что придумал дорогой от дома для того, чтоб ненароком не обидеть брата. Потом, точно собравшись духом, заговорил негромко, но вместе с тем решительно:

– Я так и не понял, Клыч, что тебя сегодня утром расстроило. Не сумел выяснить, вот и решил по дороге на работу заглянуть...

Клыч не дал ему продолжить.

– Мамет, не расстроило это меня, поверь – больше терпеть, видеть этого не могу! Слишком много воли ты сыну даешь, добром это не кончится. Вот увидишь, станет он ничтожным человеком.

– Ничтожным? – переспросил Мамет, словно не расслышал.

– Да! – сердито подтвердил Клыч, не сумев погасить охвативший его гнев. – Эта свинья лжет людям в глаза и еще клянется молоком матери. Ты сам в этом виноват. Все ему позволено, все ему непочем. В прошлом году, когда он магнитофон у соседей украл и его поймали, разве не клялся он молоком матери, что к чужой вещи теперь даже пальцем не прикоснется? И что же?.. С каких это пор материнское молоко так подешевело?

– Да, я, братишка, понимаю, что ты неспроста беспокоишься, очень хорошо понимаю, только ты мне толком объясни, что он сделал?

– Снова украл!.. Но это – я по глазам твоим вижу – тебя нисколько не беспокоит.

– Украл, говоришь? Так ты из-за этого, братишка, шум поднял? А я думал небо на землю свалилось. Воровство – тоже невиданное дело! Да кто сейчас честно живет? А? Пойми, братишка, каждый человек ищет выгоду от своей работы, а ты говоришь – воровство. Да если всех, кто не только на честные деньги живет, за решетку сажать, то мно-о-ого наших односельчан в тюрьму угодит. Ну, скажи, скажи мне, кто живет честно. Назови, хоть одного. А уж я тебе объясню, какой он честный и сколько его честность стоит.

– Вот это ты умеешь.

Мамет сделал вид, что не расслышал.

– Ну, что этот негодяй на этот раз отмочил?

– Клуб обчистил.

– Колхозное? – удивленно сказал Мамет-ага. Он покачал головой и ухмыльнулся. – Родной колхоз обворовал, а? Ты только посмотри, что он вытворяет? Это нехорошо. Как бы я его не любил, придется на этот раз серьезно с ним поговорить.

– Поговорить?! Ты думаешь этим кончится? Да его судить будут!

– Какой еще суд! – запальчиво воскликнул Мамет-ага.

– Обыкновенный.

– Вина его доказана?

– Там его след.

– След? Тоже мне – доказательство. Это не страшно. Да мы от этого просто-напросто откажемся.

– Как это откажетесь? – возмущенно произнес Клыч. – Это ведь правда.

– Ну и что? Наивный ты, братишка, человек. Конечно, в том, что Умыг в клуб залез, ничего хорошего нет, но если дело до суда дойдет мы ничего признавать не станем.

– Даже правду?

– Правда, ложь – это, братишка, одни слова.

– Но это же подлю.

– Ну и пусть.

– Да, теперь я тебя наконец понял.

– Ну и слава Богу! Я прежде и сам таким, как ты, был, думал все в жизни просто и правильно. А потом, когда эта самая жизнь дала пару раз по загривку, тогда и смекнул, что она посложней, чем кажется.

– Выходит, ты ничего против того, что твой Умыг – вор, не имеешь? Тебя это не тревожит.

– Как это не тревожит. Тревожит. Ну и что... Сам ведь знаешь, – Мамет-ага нахмурился, вздохнул, но этот вздох скорее походил на стон, словно кто-то разбередил ему старые раны. – Почему я ему имя такое дал? А потому, что он последняя моя надежда. Единственный сын, младший. Дочки... Дочки они не в счет, вышли замуж и нет их. Они в доме гости. А мне в доме не гость нужен – настоящий хозяин. Он – что правда, то правда – моя слабость. Знаешь, даже строго с ним поговорить не могу. Кажется, накричу на него, а он, как и первенец наш... Ты пойми меня, пойми, – голос Мамета звучал просяще, но в тоже время искренно. – Душа горит, когда вижу, каким он стал. А что делать – терплю. Все мои пожелания добрые, скажу тебе, боком выходят. И машину для него купили, и невесту уже присмотрели – нравится ему девушка, как школу закончит, – поженим. Но он разве ценит. Чем больше для него делаешь, тем дальше он от нас становится. Только я тебе, братишка, вот что скажу. Смотрю я, как некоторые живут, и хочется, чтобы Умыг тоже таким стал – хитрым, решительным, мог сам о себе позаботиться. Посмотри, иной устроится в магазин – и как живет?.. В достатке, да в хорошем достатке. Что я хорошего в жизни видел – одни трудности, так пусть хоть Умыг ничего этого не знает. Разве для себя я с таким трудом дом строил?..

– Да, брат, если на жизнь сетовать надо, ты в этом деле никому не уступишь. Знаешь, как тебя люди за глаза называют? Зейренчулы!

– Вах, тоже мне – удивил!.. Теперь так ведется: в глаза тебя должен хвалить, а другого – поносить, и чем больше гадостей ты о нем скажешь, тем лучше. А подойдет к вам этот самый другой, ты ему улыбайся и приятные вещи говори. Это всем известно...

– Жалуйся, жалуйся. Жизнь – плохая, времена – плохие, а ты сам – несчастная безвинная птичка.

– Нет, нет, Клыч, слава Аллаху, жизнь у меня прекрасная. И на время нынешнее я тоже не жалуюсь. А вот люди некоторые... Но все равно знай, Клыч, чего бы это мне не стоило, сына я защитить сумею. Он моя надежда. – И заметив, что Клыч собирается ему возразить, Мамет-ага прибавил. – Может, поддержки мне от него будет не много,

но ведь утопающий и на соломинку надеется. Ну, а с клубом дело поправимое. Поднесу что-нибудь председателю, он все и уладит. А ты, братишка, вот что пойми?.. Подумай, отчего это председатель не милицию вызвал, а тебя пригласил? Что ему стоило туда позвонить? Между прочим, милицейские овчарки в следах получше твоего разбираются. А тут все просто. Позвони он в милицию, ему от этого дела никакой выгоды не будет. А так – хоть сколько, да перепадет. Да, брат, вижу, ничему ты не научился, когда «помогал» Абрай-шаху.

Мамет-ага налил из стоявшего перед ним чайника полпиалушки уже негорячего чая и сделал несколько торопливых глотков. Словно опасался, что, если Клыч что-нибудь скажет, он не сможет сразу же

дать ему отпор. Но Клыч молчал, низко склонив голову, и Мамет-ага позволил себе немного расслабиться. Он пил чай, время от времени поглядывая на брата, и пытался понять, когда и почему разошлись их дороги. «Вот как в жизни бывает: исток – один, а русло у каждого свое, – подумал он и сокрушенно покачал головой. – Эх, Клыч, нравится тебе людей выслеживать – выслеживай, мне до этого дела нет. Да что я могу?.. Даже если я против, ты все равно по-своему поступишь, своя голова на плечах. Хотя, откровенно говоря, когда тебя люди хвалят, мол, того вора Клыч поймал, этого выследил – и мне приятно бывает, горжусь, даже горло от волнения сжимает. Но... Мне страшно за тебя, брат! Ты ведь у меня единственный близкий человек, с кем могу и радость разделить, и заботы в трудный день. Когда вижу тебя, на сердце благостно становится. Вот почему не нравится мне, что ты людей выслеживаешь, словно волков. У тебя на уме лишь работа и охота. А рядом есть люди, что поопасней волков, они на самую жизнь охотятся, чтоб покорить и подчинить ее себе. Кто ты против них? Беспечный простака!.. Столько на белом свете прожил, а нет у тебя ни хитрости, ни ловкости. Теперь-то уж себя не переделать, понимаю, но – ради Бога! – будь осторожней, брат!». О, как хотел, как мечтал Мамет-ага сказать все это Клычу. но, увы, эти слова так и остались произнесенными вслух!

Затянувшееся молчание нарушил Клыч. Он сел и, испытующе глядя на брата, сказал:

– Ты что, Мамет, ждешь, что я тебе сейчас соболезновать стану? Извини, но уж как-нибудь в другой раз, когда сможешь в глаза смотреть, вины за собой не чувствуя. Я совесть свою обманывать не желаю. Ей-то зачем страдать? Тебе вот что скажу: пусть Умыт свое получит. Уж если он по этой дорожке пошел, то раньше или позже лоб себе разобьет. Только, знай, потом больней будет. А что ты о председателе говорил... Пойдем, я у него напрямик спрошу.

– Это был разговор между нами, если разнесешь, смотри – на меня не обижайся! – голос Мамета сорвался в крик.

– Мамет, вышел я из того возраста, когда меня можно было испугать. Шило-то в мешке не утаишь.

– Если ворошить не станешь, никто про то шило и не вспомнит.

Под окнами раздался треск мотоциклетного мотора – кто-то приехал. Клыч поднялся и вышел из комнаты, а некоторое время спустя вернулся, ведя какого-то парня с длинным лошадиным лицом.

– Ты чайку попей, пока я соберусь, – говорил Клыч.

– Старший чабан к вам послал, – объяснял парень, смущенно поглядывая на Мамета-агу. – Того гляди дождь пойдет. Старший чабан даже просил Повелителя дождя, чтобы он, Буркут-баба, повременил немного. Старший чабан так и сказал: «пока Клыч свое дело не сделает». А мне старший чабан говорит – езжай быстрее и, как найти вас, объяснил.

Мамет-ага поднялся, окинул незванного гостя с головы до ног изучающим взглядом. Парень ему не понравился. Не нравилось, что глаза у того беспрестанно бегают, что он через слово повторяет «старший чабан», «старший чабан». Не случилось бы беды, подумал он.

– Пойду я, Клыч, – сказал он. – А ты, когда вернешься, загляни ко мне. Надо договорить.

– Подожди, сейчас Шемшат покушать принесет.

– Я уже пообедал. На работу надо. Трактор-то посреди улицы. Так ты зайди, когда вернешься, не забудь.

Клыч проводил брата до дверей и отправился на кухню, придумывая на ходу, как бы помягче сообщить жене, что он уезжает. Пока он топтался, не зная с чего начать, Шемшат, с улыбкой глядя на него, заговорила сама.

– Что, старый, аппетит появился?

– Да, понимаешь...

– Понимаю. Утром, когда в пески не поехал, аппетит у тебя пропал. А теперь Аллах, видно, твои молитвы услышал. Я же слышала, что кто-то на мотоцикле приехал. Отправляйся. Что делать, когда возраст такой подошел, что дома с женой не сидится. Езжай, езжай!..

– Да что ты, Шемшат. Ведь ты-то меня знаешь...

— Ладно, что ты меня уговариваешь. Не к лицу в твои годы простачком прикидываться. Я же сказала — езжай. Только уж не задерживайся надолго.

Клыч сразу повеселел, стал разговорчивым.

— Не задержусь, Шемшат. Тотчас прилечу. Что делать, не заставляй же людей себя умолять. На отару волк напал, овец порезал и ушел. А я ведь тебе рассказывал, что волк, если ему где удача сопутствовала, обязательно на это место снова вернется. Так что от него сейчас избавиться надо. Чабаны там волчий след огородили, но погода-то видишь какая, того гляди дождь начнется, — говорил он увлеченно, уже весь в предвкушении предстоящей охоты, а потому даже не сразу заметил, что Шемшат, собирая провизию в дорогу, его даже не слушает. — Ну, что ты, Шемшат, голову повесила! — воскликнул он в сердцах. — Не хочешь, чтобы я ехал?

— Да что ты, езжай, если надо.

— Ну вот, опять кошацьи нежности. Чего ты обижаешься, я ведь десять дней дома сидел.

— Да просто настроения нет, Клыч.

— Что так?

— Сама не знаю.

— Может, заболела? Врача привезти?

— Не надо. Ты мне лучше из песков шпинат привези, — попросила Шемшат. — Помнишь, привез как-то, я еще чебуреки пожарила. Такие вкусные получились. Что-то снова мне чебуреков со шпинатом захотелось. Кажется, съем, и сразу мне легче станет. Так что, если сможешь, собери.

— Сделаем! — Клыч внимательно посмотрел на жену. — Ты, случаем, не забеременела?

— О-о, придет же тебе в голову! Да я такой радостью сразу бы с тобой поделилась. Нет, в наши с тобой годы не так-то просто угодить желаниям, старый.

— Старый, старый... Сколько раз просить, не говори так.

— Не хочешь признавать, что старость пришла?

— Жаль, уезжать надо. А то бы ты сейчас узнала старый я или не старый.

Шемшат замахала руками.

— С тобой и пошутить нельзя. Вот бери, — она протянула ему узелок с едой. — Не задерживайся.

— Завтра утром вернусь. А если повезет, то сегодня вечером.

Они вышли из дома. Парень уже ждал его, стоя возле своего мотоцикла.

— Ой, совсем забыла, — вдруг воскликнула Шемшат. — Надо же нам к маленькому Клычу пойти, родителей его поздравить.

— Что за Клыч?

— Я же тебе говорила. Аман приходил, сын у него родился. Он его в твою честь Клычем назвал. Просил прийти в гости.

— Что, только сегодня сын родился и он сразу же той устраивает? Пусть жена его из больницы выпишется, тогда и сходим, поздравим, — и заметив огорчение в глазах Шемшат, Клыч прибавил. — Ты пока подарки приготовь, а я к тому времени вернусь, не волнуйся.

— Вах, подарки-то готовы.

Шемшат вернулась в дом, а Клыч стал готовить свой мотоцикл в дорогу. Приторочил к заднему сидению узелок, что собрала ему Шемшат, подтянул тягу. Парень крутился рядом, не зная, чем помочь. Клыч окликнул его:

— Ты уж не обессудь, друг, — просьба одна есть.

— Говори, Клыч-ага! — с готовностью откликнулся тот.

Но Клыч мешкал, что-то снова сердце заныло. «Милое дело, — думал он, — собирать эту травку, что дитем пахнет!.. Был бы у меня сын, захватил бы его с собой в степь, сказал бы: «Сынок, пока я вернусь, собери здесь шпинату». Эх, жизнь!..» Он не позволил себе раскиснуть, взял себя в руки.

— Жена попросила немного шпинату привезти. В окрестностях Гупбали его много растет. Ты уж выручи, пока я по следу волка поеду, ты там собери немного травки к моему возвращению.

— Какой может быть разговор, Клыч-ага. Соберу всю, что есть.

Пора было ехать, но Клыч все медлил. Странно, утром ему больше всего на свете хотелось в степь, насладиться азартом охоты, степным простором. Теперь же, когда такая возможность предоставилась, он не испытывал радости. Какое-то нехорошее предчувствие томило его. Он глянул на небо. Тучи были еще ниже, еще черней, чем ранним утром. Кто знает, может они не успеют проехать и половины пути, как хлынет ливень и смоем все следы. Но Клыч понимал, что это только отговорка, с помощью которой можно уклониться от схватки с волком. Но себя-то не обманешь!.. «Интересно, каким он будет, этот зверь?» – подумал Клыч и почему-то представил матерого зверя, жестокого и безжалостного.

Пора!.. Они поехали – чолук-подпасок впереди, Клыч следом, хотя он знал дорогу, пожалуй, даже лучше проводника. За фермой съехали с шоссе. Хорошо укатанная грунтовка завораживая взгляд убегала под колесо, ровно урчал двигатель – Клыч вел мотоцикл почти машинально, а мысли его были заняты спором с братом, с племянником. Он знал, что и непроходящее чувство усталости, и тревожное ожидание схватки с волком – все этого из-за того, что он понервничал утром. «Что за жизнь проклятая, – думал Клыч, распаяя себя еще больше. – Прежде воровать вынуждал голод, а теперь?.. От сыпости воруют, от жадности!» Он представил племянника. Здоровенный детина, хотя учится еще в девятом классе. На голове копна волос – теперь, говорят, так модно. Вспомнил, как сделал Умыгу замечание, мол, подстригись, что ты как баба. А в ответ услышал отповедь: «Вы, может, не знаете, дядя Клыч, но наш пророк Мухаммед тоже носил длинные, до плеч волосы. Говорят, когда видел красивую женщину, то от волнения теребил их. Вы что же, дядя Клыч, не хотите, чтобы ваш любимый племянник походил на святого пророка? Смотрите, пророку это может не понравиться.» Любимый племянник!.. Черт с ними, с этими длинными волосами, – бесил тон, каким разговаривал с ним Умыг: вежливо, с улыбочкой – не придерешься, но в то же время с презрительной иронией и нескрываемым чувством собственного превосходства.

Может, от того, что у него не было собственных детей, Клыч особенно остро чувствовал, как уродует чистые детские души непомерная, бездумная любовь родителей. Да разве это любовь? Не о детях они своих думают, не о их будущем, а о том, как самим себе доставить удовольствие. «Что вы делаете, люди!» – порой хотелось кричать ему. Но кто станет слушать его? Это все равно, что кричать здесь, в безлюдной степи. А даже если и выслушает кто, так за дурака примет.

А каким бы отцом стал он сам? Этот заданный себе вопрос заставил его вспомнить далекое детство, счастливую пору беззаботных игр с соседской девочкой. Важно ступая, заложив руки за спину (подражая кому-то из взрослых), он заходил в их невсамделишный, размещившийся в зарослях тамариска дом и с чуть ли не с порога кричал: «А ну, чай неси! Есть хочу!» А «кжена» дрожащим, умоляющим голосом просила: «Ой, отец, потише, детей разбудишь!» и, подхватив на руки малыша – щепку, завернутую в тряпичный лоскут, принималась его укачивать, приговаривая шепотом: «Не плачь, мой хороший. Твой папа устал, сейчас покормлю его, а ты полежи пока тихонько». Как всегда, эти воспоминания повергли Клыча в тоску. Нет, видно, не дано ему смириться. А каково Шемшат? Она только виду не подает. Ему показалось, что он слышит ее голос. «Да, не переживай ты так, старый, из-за того, что не дал нам Аллах детей! Видно, так нам на роду написано. Счастье наше в ином. Иной человек умрет и тотчас исчезнет из памяти людской. Даже родные дети его не часто вспоминают. Ты – другое дело. Люди тебя долго добрым словом поминать будут, а заодно и меня вспомнят. Мол, хорошая жена у Клыча была. Мне и этого хватит!».

Клыч тяжело вздохнул. «Кошачьи нежности», – подумал он и улыбнулся – сердце его немного оттаяло.

Они добрались до низины Гупбалы к полдню, но было сумрачно, как вечером. Черные тучи, казалось, придавили окрестные холмы своей тяжестью.

– Слава Аллаху, что поспели до дождя! – Старший чабан почтительно поприветствовал Клыча и повел его посмотреть на волчий след. И с первого взгляд след показался Клычу знакомым. Как утром!.. И в том, что дважды за день ему придется идти по знакомому следу, он почувствовал особый смысл, предзнаменование. Да, это был след того самого зверя, которого он пощадил однажды. Клычу даже показалось, что он вновь видит полные отчаяния и страха золотые бездонные глаза волчицы. Тогда она должна была вот-вот оцениться, и он не стал убивать ее. Да, как видно, зря! Клыч даже побагровел от гнева, но потом постарался успокоить себя: «Если человек преступает клятву, то чего ждать от зверя!».

След был знакомым, но некоторые доступные взгляду опытного следопыта отличия ясно говорили о том, что волчица на этот раз напала на отару лишь из-за куража, а не потому что была голодна. И за это теперь придется поплатиться!..

След уводил на восток, но Клыч знал, что это только уловка, чтобы запутать возможных преследователей, а на самом деле логово волчицы на запад от Гупбалы. Туда он и направился. Миновав три гряды остановился, чтобы чуть спустить шины – дальше начинались зыбучие пески. С вершины холма, глядя на лежащее у ног море песка, Клыч, подобно рыбаку, который, взглянув на рябь, может сказать, где мель, а где глубоко, прикинул, как ему лучше ехать.

Может из-за того, что внезапно переменилась погода, Клыч чувствовал себя нынче не так, как обычно. Беспокойно было на душе, муторно. И даже охота не помогла развеяться, напротив, тревожащее его сомнение нарастало. «Мамет, наверное, прав, и мне пора отказаться от этого занятия? Возможно сегодняшние совпадения – предзнаменование, а не случайность», – снова подумал он. Теперь ехал он неспеша, и ласковый ветерок обвевал лицо. Легко сказать – откажись, рассуждал Клыч. Когда пол жизни минуло разве удастся перемениться. Теперь уже поздно начинать новую жизнь. Да, если откровенно, он и не чувствовал в этом необходимости. Ему нечего стыдиться. Разве что он слишком простодушен и прямолинеен, как волки.

Волки – и это было Клычу известно с детства – пока не преодолеют вставшего на их пути препятствия, лучше умрут, чем отступятся. Это знали и далекие предки наши, когда шли против волка с одним ножом. Обмотают левую руку кошмой и выставят вперед, чуть ли не в самую пасть, и, пока волк рвет войлок, охотник может спокойно орудовать ножом. Не одному волку его простота стоила жизни! Но Клычу это волчья повадка нравится вовсе не потому, что она однажды спасла ему жизнь. Нет, не поэтому. Хотя волки его враги, это – единственное, чем бы он согласился походить на них. Но разве удастся? Слишком много ловушек и опасностей вокруг.

Он проехал километров двадцать пять и остановился возле большого старого саксаула. Слез с мотоцикла, прислонил его к корявому, причудливо изогнутому стволу дерева. Снял ружье, зарядил его и, держа наизготовку, направился к волчьему логову.

День уже клонился к вечеру, но дождь, что собирался с самого утра, так до сих пор и не пошел, однако и не распогодилось. Клыч взглянул на небо. Облака неслись, догоняя друг друга, образуя в вышине причудливые нагромождения. Когда же наконец прорвет эти громадные мешки с дождем? Ведь с самого утра люди ждут дождя. А ждать – так считал Клыч – хуже всего на свете. «Эх, хлынул бы сейчас ливень, чтобы напоить землю, утолить ее жажду!» – подумал он, но тотчас сообразил, что теперь время для этого как раз самое неудачное. Лишь начнет накрапывать дождь, волчица с волчатами укроется в норе, что значительно усложнит его задачу. «Ладно уж, – усмехнулся он, – ждали с утра, подождем еще немного».

Клыч приближался к волчьему логову не таясь. Что с того, если волчица заметит его издали. Теперь ей все равно конец. Пусть убегает, если хочет, но от судьбы не уйти, а Клыч сейчас воплощал собой грозный рок. Если потребуется он день, и два дня будет идти по следу. Однажды он двое суток преследовал волка, пока не загнал его, а после этого прошел еще почти столько же, неся тяжелую волчью шкуру, ту самую, что он потом подарил Мамету. Но тогда во время охоты он испытывал не усталость, как теперь, а радостное, азартное возбуждение.

Он знал, что волчица теперь отдыхает и, если не начнется дождь, проспит еще около часа. За это время и надо ее прикончить, решил Клыч. Теперь, когда он был совсем близко от норы, так близко, что ясно различал храп волчицы, он стал идти крадучись, стараясь раньше времени не встревожить зверя. «Бедняга, – думал он, глядя на свежий волчий след, четко отпечатавшийся на чистом песке, – похоже, она этим барашком и не полакомилась, как следует». Если бы волчица не храпела так противно, он возможно, испытывал бы к ней даже жалость.

Выгнувшись во всю длину волчица спала у входа в нору. Сидевшие чуть в стороне волчата поначалу насторожились, но потом, смешно виляя хвостами, двинулись к охотнику. Стрелять в спящую волчицу Клычу не хотелось, и он сначала решил, что дождется, пока волчица проснется. Но миг спустя подумал, что

так поступать неразумно – он лишится преимущества, которое дает ему внезапность. Но и слушать храп волчицы было нестерпимо. Пусть проснется, взглянет в лицо своей судьбе!..

Носком сапога он несильно пнул в бок приблизившегося к нему волчонка. Тот завизжал, и волчица тотчас проснулась. Страшный черный человек стоял шагах в десяти от нее с ружьем наизготовку. Первым желанием волчицы было бежать прочь, но силы как-то разом оставили ее. От страха она протяжно завывала. Потом, немного успокоившись, зарычала и стала готовиться к прыжку. Но воля ее была сломлена еще с прошлого раза, и она, не решившись напасть на своего врага, заметалась, потом села и, моля о пощаде, подняла передние лапы. То, что волчица сидела так, готовая безропотно принять свою судьбу, дало Клычу мгновение передышки.

Он глянул на небо. Усилившийся к вечеру ветер быстро гнал тучи на восток, точно не хотел, чтобы Клыч наслаждался «шепотом молодки». Но облака были слишком тяжелы, слишком полны влагой – так что без дождя сегодня наверняка не обойдется. Но он будет идти недолго – хлынет, прошумит, а после него небо очистится во всю свою ширь.

ЛЮБОВЬ ПО-ИНДИЙСКИ

Эх, взрослые, взрослые!.. Только и слышно, что у вас ни минутки свободного времени. Не задирайте нос и посмотрите вокруг – это не вам, а вашим детям дня не хватает, чтобы всюду поспеть.

Эх, взрослые, взрослые!.. Вечно воображаете, что это только у вас важные, неотложные дела!.. И никак не возьмете в толк, что детям надо сделать в тысячу раз больше вашего!

Эх, взрослые, взрослые!.. Все на свете вы знаете, целый мир вам подвластен, но разве способны вы постичь чудный мир ваших детей!

Их юные души прекрасней индийских красавиц!

Их любовь чиста, как в индийском кино!

При рождении ему дали имя Ильмурат. Этим родители намекали, что сын их рожден, чтобы в нем воплотились желания народа, чтобы стал он всеобщим любимцем. Но когда Ильмурат чуть подрос, имя его каким-то образом незаметно укоротилось. Все стали звать его просто Илли. Илли, так Илли, – когда человеку девять лет, у него чересчур много важных дел и слишком мало свободного времени, чтобы придавать значение таким мелочам.

Сегодня в сердце Илли с утра бушевала буря.

Он принес домой красочный журнал, с обложки которого загадочно улыбалась индийская кинозвезда. Илли не мог оторвать от нее восхищенного взгляда. Никакая сила в мире не могла бы сейчас затмить в глазах Илли красоту индийской актрисы. Впрочем, никто и не пытался этого сделать. Никем не замеченный он прошел в свою комнату и с размаху плюхнулся на кровать. Лег на спину и стал любоваться индианкой. Чем дольше смотрел, тем сильнее она ему нравилась. Не только в Саганали, во всем Лебапе не сыщешь равной ей красотою.

Вдруг произошло такое, что заставило Илли мгновенно сесть на кровати: индианка подмигнула ему и при этом глубокий взгляд ее черных глаз наполнился любовью. Он проникал в самую душу, и Илли показалось, что сердце его вот-вот растает. Вот какой удивительной силой обладает любовь! Тахир и Зохра полюбили друг друга еще в колыбели, но это вовсе не означает, что в третьем классе нельзя полюбить так же сильно и страстно, как Тахир.

Илли тоже подмигнул индианке. Она ему не ответила. Но Илли даже не подумал на нее из-за этого обидеться. Разве можно обидеться на любимую?! Илли решил, что отныне чудесная индианка должна красоваться над изголовьем его кровати. Он принес молоток и жмень гвоздей, но успел забить только два из них, как в комнату заглянула его мама Сенем.

– Илли-джан, ты что это задумал? Дом тебе наш не нравится?

– Нет, я просто так, – соврал Илли, пряча молоток, а заодно пытаясь загородить собой портрет индийской кинозвезды.

– На кровати не стой – сетку продавишь.

– Мама, но мне хочется постоять немного на кровати...

– Так. Давай-ка сюда молоток! – Илли подчинился. – А кого это ты за спиной прячешь?

– Девушку... – прошептал Илли, осипшим от волнения голосом.

– Что еще за девушка?

– Очень-очень красивая. Честное слово.

– Зачем же ты ее прячешь, если она такая красивая?

– Скажи, что не будешь ругать, тогда покажу. Ну, скажи, скажи!.. Если ты ее увидишь, то тоже полюбишь! – Внезапно осмелев, он спрыгнул с кровати. – Ну, что, мама?! Правда, она красивей всех на свете?!

Сенем улыбнулась.

– А раньше ты говорил, что твоя мама самая красивая.

Илли смутился, точно его уличили во лжи. Он посмотрел на маму, потом на прекрасную индианку и наконец снова перевел жалобный, молящий взгляд на маму.

– Вы обе красивые!

Откуда было знать Илли, что в детстве человек обладает удивительной способностью находить и видеть красоту даже там, где ее никто кроме него не замечает. Как жаль, что с годами этот дивный дар утрачивается!

Дети быстро увлекаются, но их увлечения редко бывают продолжительными. Сенем не думала, что интерес Илли к индийской красоте, продлится дольше, чем прочие. Но когда сын, пришедший домой около полудня, до вечера не выходил из своей комнаты и даже не ел, она решила взглянуть на него.

– Илли, что с тобой сегодня? Ничего не ел! И скотина до сих пор не напоена! Забыл о своей обязанности?!

Илли бросил на портрет кинозвезды долгий прощальный взгляд и отправился во двор. Взял ведра, наполнил их водой и понес к загону, но все это время ничего вокруг себя не видел, потому что мысли его были заняты индианкой.

Вдруг Илли прозрел: навстречу ему шла красавица, такая же прекрасная, как и индийская актриса. А какая у нее очаровательная улыбка! Сколько в ней обаяния! И это не какая-то незнакомка, живущая за тридевять земель. Всамделишная девушка, их соседка Тазегуль – вот уж кому имя дали правильно! – настоящий живой цветок.

– Илли-джан, ты зачем столько воды набрал. Надорвешься!

– Нет, мне не тяжело, – похвастался Илли. Но этого ему показалось мало, и он добавил: – Я и тебя поднять смогу!

– Какой ты силач, Илли! Хороший мальчик! – сказала девушка, забрала у него ведра и понесла к загону. Илли последовал за ней. Тазегуль вылила воду в корыто, из которого поили овец.

– Тазегуль, если я хороший мальчик, значит я тебе нравлюсь?

– Ну, конечно, Илли-джан. – Тазегуль опустила перед ним на корточки. Теперь, когда ее лицо оказалось прямо перед его глазами, Илли смог разглядеть каждую его черточку. Но этого ему показалось мало и он нежно прикоснулся кончиками пальцев к ее щеке.

– Ты очень красивая, Тазегуль. Прямо, как индианка.

– Правда?

– Ей Богу! – Илли полоснул себе по горлу большим пальцем, точно бритвой. – Когда я вырасту, все за тебя делать буду. Ладно?

– Хорошо, Илли-джан! А я красивой стала только теперь, когда помогла тебе воду принести?

– Нет! – возмутился Илли. – Ты всегда красивой была, просто я не говорил.

– Ладно, Илли-джан. Если потребуется моя помощь, говори, не стесняйся. Я тебе всегда помогу.

Илли кивнул.

– Только никому не болтай, что я тебе помогала.

– Замок!

– Что такое «замок»?

– Ей Богу! – сказал Илли и снова коснулся щеки Тазегуль. – Ты меня правда любишь?

– Ну, конечно! – Тазегуль поднялась и пригладила Илли волосы. – Ты же хороший мальчик. Правда?

– Правда.

– Нужна будет помощь – только скажи...

– Нет, не скажу. Все буду сам делать. Красавицам не пристало работать.

Илли смотрел вслед уходящей Тазегуль и радовался, что последнее слово в этом разговоре осталось за ним. «Красавицам не пристало работать» – это речь настоящего мужчины, с гордостью думал Илли. Как хорошо, что эти слова пришли ему в голову. Одно лишь огорчало сейчас Илли: Тазегуль вот-вот скроется из виду.

Кто скажет, почему счастье длится лишь одно короткое мгновение, а потом приходится очень долго жить воспоминанием о нем? Вот было бы здорово, если бы счастье и воспоминания поменялись местами! Тогда мгновения счастья тянулись бы долго-долго...

– Ты что стоишь тут, рот раззявив? – Сенем бросила в кормушку большущую охапку сена, и тыльной стороной ладони стерла пот со лба. – Тазегуль что тут делала?

– Тазегуль? – Илли удивленно выпучил глаза. – Ты ее видела?

– Видела. Она зачем приходила?

– А-а-а, Тазегуль... Время спросила...

Ошибается тот, кто думает, что в маленькой груди ребенка не поместится настоящая большая любовь. Скорей уж наоборот: тесной для нее может оказаться грудь взрослого. Ведь чем дольше живешь на свете, тем меньше любви тебе достается.

Илли любит не только индийскую актрису и Тазегуль. В школе он влюбился в свою учительницу. Овадан-мугальма такая красивая, что Илли сколько ни смотрит на нее – не может налюбоваться. Эта новая любовь подействовала на него очень дисциплинирующе. Кому захочется краснеть, слушая упрёки любимой?! Вот и приходится стараться. Отец и мать не нарадуются, глядя как он теперь корпит над уроками.

Но...как легко обидеть влюбленного, как просто ранить его беззащитное сердце!

Эх, да разве обо всем расскажешь!..

А все Овадан-мугальма!..

Впрочем, если быть справедливым, не одна она виновата.

Началось с того, что после уроков Илли увязался вслед за учительницей, чтобы полюбоваться ее легкой чарующей походкой.

Верно взрослые говорят, что золоту хозяин быстро найдется. Совсем недолго шла Овадан-мугальма в одиночестве. В квартале от школы ее поджидал стройный, плечистый парень. Сначала они о чем-то поговорили, и Овадан-мугальма весело смеялась. А потом она взяла парня под руку и пошла рядом с ним.

При виде этого кулаки у Илли сжались сами собой, и он так прикусил губу, что во рту стало солоно от крови. Когда учительница скрылась из виду, Илли побежал туда, где она недавно стояла рядом с парнем, и в ярости стал топтать их следы. Внезапно в голову ему пришел план мести. Илли огляделся. Его внимание привлек тутовник, окруженный зарослями тамариска, и он направился к нему, собирая по пути камни.

Это только взрослым по силам совладать со вспышкой гнева, только взрослые, поразмыслив, могут отказаться от своих первоначальных намерений. Если что пришло в голову ребенку, то это и палкой оттуда не вышибишь. План мести так завладел всеми помыслами Илли, что он даже забыл поговорить перед сном с индианкой. На уроках Илли не находил себе места. А как только прозвенел последний звонок, он побежал к своему тутовнику.

Как и предполагал Илли его соперник был уже на месте. Вскоре показалась и Овадан-мугальма. Парень приветливо помахал ей рукой, и в тот же миг на него обрушился град камней. Сначала он пытался защититься от них, размахивая руками, словно на него напал пчелиный рой, но потом сдался и побежал навстречу Овадан-мугальме. Трус спрятался от камней за спиной учительницы!

Овадан-мугальма решительно направилась к зарослям тамариска. Но там ей удалось обнаружить только приготовленные для атаки комья глины и гору камней. Она и вообразить прежде не могла, что в Саганали их можно насобирать столько...

О-о, гнев даже из ничего может сделать гору!..

Домой Илли вернулся совсем без настроения. И как всегда, если у человека нет настроения, ему обязательно встретится кто-то, у кого настроение очень даже хорошее. Этим «кто-то» оказался старший брат Илли – Ашир.

– Что, братик мой дорогой, голову повесил? Двойку схватил? А может, кто обидел моего любимого братца? Ты только скажи!.. Мы враз проучим того, кто посмел омрачить твоё счастливое детство! Кто этот несчастный?

– Никто... – буркнул Илли. Что еще мог он сказать?! Не рассказывать же Аширу о его несчастной любви к Овадан-мугальме.

Эх, дети, дети!.. Они ужасные собственники. Если что-то им понравилось (вещь или человек – не важно!), то это только им одним и должно принадлежать безраздельно – они убеждены в этом. Такой порядок вещей кажется им вполне естественным. И поэтому, когда жизнь идет не совсем так, как им хочется, начинает казаться, что весь мир оказался на краю гибели. Поверьте, в этой ситуации довольно странно встретить веселого и беспечного человека!

А Ашир все не унимался.

– Илли-джан, а ну-ка посмотри на меня внимательно!

– Ну!

– Как я выгляжу. Все в порядке? А прическа?...

– Ты куда это собрался?

– В кино, братец мой симпатичный. Индийский фильм сегодня.

– Индийский?.. Возьми меня!

– Маленький еще на индийские фильмы ходить.

– Ты же меня брал раньше!

– А на этот – нельзя. Детям до шестнадцати лет смотреть категорически запрещено. – И Ашир щелкнул Илли по носу. – Подрасти немножко.

Никогда в жизни не было прежде у Илли такого ужасного дня. Он прошел в свою комнату, бросил портфель в угол и повалился на кровать. Даже улыбка индийской кинозвезды сегодня его не радовала.

– Надо мной смеешься, да? – унылым голосом спросил Илли. Индианка ничего не ответила, но улыбка ее (так ему показалось) сделалась еще шире. Это окончательно вывело Илли из себя. – Рот до ушей, хоть завязочки пришей! – Илли показал индианке язык, а потом встал и перевесил портрет лицом к стене. – Вот теперь улыбайся, сколько тебе хочется!

Но от этого на сердце стало еще тяжелей. Он упустил свою Овадан-мугальму... Коварная индианка смеется над ним... Тазегуль – вот его отрада, вот его спасение! Хоть одним глазком взглянуть на нее!..

Сказано – сделано! Он решил проникнуть в соседний двор со стороны сада. Там, укрывшись за деревьями, он сможет сколько угодно наблюдать за домом и, возможно, увидит в светящемся окне милый силуэт Тазегуль.

Но вышло не совсем так, как он себе представлял.

Илли увидел Тазегуль, как только пробрался в соседский сад. Но рядом с нею стоял Ашир и что-то шептал ей...

Тайна хороша тем, что кроме тебя о ней никто не знает. Но, с другой стороны, много ли в ней проку, если никто не знает, что у тебя есть тайна. Сложность еще в том, что лишь бы кому тайну не откроешь, но выговориться-то хочется. А если рассказать обо всем Айхану просто так, без подготовки, у того, чего доброго может сложиться впечатление, что Илли просто-напросто болтун. Нелегкую задачу предстояло решить.

Они возвращались из школы, и Айхан рассказывал последние новости, когда Илли перебил его на полуслове:

– Эх, Айхан, жаль не можешь ты хранить секретов. А то бы я рассказал тебе кое-что...

– Я не могу хранить секретов?! – Айхан даже задохнулся от возмущения. – Я хоть раз тебя предал?

– Вообще-то нет. Но это такая тайна, Айхан...

– Ты же знаешь: я – замок!..

– Солью поклянись!

– Клянусь солью! – точно эхо откликнулся Айхан.

– Все равно не скажу! – Илли с шумом втянул в себя воздух, прочищая забитый соплями нос.

– Ты, вообще, не мужчина, – обиделся Айхан. – Подавись своей тайной. Очень надо. Только зачем ты меня клясться заставлял? Поклянись, поклянись... Я тебя просил что ли рассказывать?.. Даже слушать твой секрет не хочу!

– Ты не знаешь, что это за тайна. – Илли, которого его знание тяготило не меньше, чем Айхана – любопытство, подошел поближе к приятелю.

– Не хочу тебя слушать. Говори, что тебе угодно! – Айхан с вызовом заткнул уши пальцами. Но не очень плотно.

– Ты же не знаешь, что я видел.

– И знать не желаю.

– Эх, ты!.. А я своими глазами... Побожись, что никому не скажешь!

– Ей-богу!

– Так и быть. Я своими собственными глазами видел, как Ашир держал в своих руках руку Тазегуль.

– Врешь! – На лице у Айхана появилась дурашливая улыбка и казалось, что он сейчас закричит во весь голос.

– Клянусь! Видел, ну, как тебя сейчас.

– Да-а, силен твой братан. Тазегуль красивая. Все говорят, что она как пери.

– Вот. А он стоял с этой пери и за руку ее держал. Честное слово. А Тазегуль смотрела на него и улыбалась.

– А потом? Он обнял ее?

– Такое сразу не делается. Даже этого не знаешь.

– Теперь Ашир женится на Тазегуль.

– Конечно. Свадьбу справим. Я от братана ни на шаг не отойду.

– Не отойдешь... Да тебя вытурят, как пешку.

– Кто вытурит?

– Братан твой вытурит!

– Нет, он меня любит.

– Тазегуль он любит!

Илли не нашел, что ответить. Он помолчал, потом снова с шумом втянул в себя сопли и сказал:

– Тазегуль глядит на братана и молчит. А потом Ашир ей что-то сказал, и она ему улыбнулась.

– Я знаю, что он сказал. «Я люблю тебя, Тазегуль. Давай поженимся!»

Илли пропустил эту реплику мимо ушей.

– Ашир ходит и молчит, будто ничего не случилось, – сообщил он.

– Ты сказал братану, что видел их?

Узнать ответ Айхану не удалось.

– Илли! Эй, Илли! – донеслось до них из-за забора.

– Братан! Смотри, Айхан, никому ни слова!

– Я что, не мужчина, – Айхан ударил себя кулаком по груди. – Замок! – И мечтательно добавил: – Ох, и наедемся баранины. Ты попроси отца, чтобы голову нам дал.

– Илли! Бегом сюда!

– Иду! – крикнул Илли и пошел не то, что медленно, а едва передвигая ноги. – Раскричался: «Илли! Илли!».

– Что с тобой?! На солнце перегрелся?

– Со мной-то ничего. Может с тобой что-то случилось?

– Ты поменьше чирикай, а беги маме помогать. Хвороста принеси к тамдыру.

– Сам принесешь!

– По лбу хочешь?

– Попробуй, если смелый! Сразу все маме расскажу. И ей тоже...

– Кому ей? – осведомился Ашир, и не дождавшись ответа, сказал примирительно. – Ты, братишка, уже большой, куда не положено, соваться не должен. И маме нужно помогать.

– Вот и помогай! А я и маме скажу, и папе. Все расскажу! Я своими глазами видел. Мама! Мама! – закричал Илли. – Наш Ашир...

– Илли-джан, ты что разорался? – Ашир обнял брата за плечи.

Илли скинул его руку.

– Нечего меня обнимать! Обнимай... – Илли на всякий случай отступил подальше. – Ее обнимай!

– Ну-ка, стой! Скажи, что ты видел?

– Все видел.

– Ты это о чем?

– Не притворяйся! – лукаво улыбаясь сказал Илли и погрозил старшему брату пальцем. Вчера вечером я все видел. Как ты ее за руку держал. И еще кое-что. Сказать?

– Ладно, верю. Ты у нас глазастый. Только смотри, не болтай никому. Ты же мужчина!

– Побьешь – всем расскажу!

– Чего мне тебя бить? Ты же, Илли-джан, мой любимый братишка. Никому об этом не говорил?

– Говорил.

– Кому?! – Лицо Ашира побледнело.

– Айхану. Но он – замок! Солью поклялся.

– И ты поклянись, что больше никому не скажешь.

Вместо того, чтобы клясться, Илли спросил:

– Братан, ты теперь на Тазегуль женишься, да? А мне она кем будет? Тетей? Ой, мне страшно!

– Почему тетей? Невесткой. Женой твоего старшего брата. Потом она и тебе хорошенькую умную невесту подыщет.

– Дай я тебя обниму, Ашир! – Илли повис на шее у брата и вдруг заплакал.

– Ты чего, дурачок?!

– Ну, братан, ты силен. Только ты обязательно на Тазегуль женись, ладно. Она такая красивая. А я все, что ты скажешь, делать буду. А мне ее как называть надо? Гельнедже? Нет, я лучше буду говорить Тазегуль.

– Ладно. А сейчас ступай, притащи хворост. Мама сейчас выйдет и будет ругать тебя, за то, что до сих пор хворост не принес.

– Я все сделаю, только ты на Тазегуль женись!

– Тихо ты! Не ори. И по имени ее не называй, а то еще кто услышит.

Илли убежал вглубь двора за хворостом, но почти сразу же вернулся обратно с пустыми руками и еще на ходу крикнул брату:

– Ишь ты, какой умный! И на Тазегуль жениться хочешь, и чтобы я все за тебя делал. Сам хворост таскай!

– Да, ну тебя!.. Ты же сам сказал, что все сделаешь. Слово держать не можешь. Тогда и говорить не надо было, – раздосадованный Ашир нехотя поплелся за хворостом.

– Ашир-джан, что, больше некому дрова принести? – крикнула с порога Сенем-эдже, которая как раз в это время вышла из дома. – Сказал бы Илли.

– Братан сам принесет. Он у нас, мама, знаешь какой сильный.

– А тебе не стыдно бездельничать и смотреть, как старшие работают?

– Ничего, он знаешь какой сильный? – Илли дождался, когда Ашир подойдет поближе, и громко, чтобы брат наверняка его услышал, сказал: – Мама, ты знаешь, наш Ашир...

– Заткнись! – крикнул Ашир, бросая охапку хвороста рядом с тамдыром.

– Не кричи на меня. Дрова носи!

– Ты что это тут раскомандовался?!

– Ладно, мама! Я ему обещал, – вступился за братишку Ашир. – Смотри, Илли... Я иду за хворостом... Когда Ашир скрылся за углом дома, Сенем-эдже, заглядывая в глаза Илли, сказала:

– Маму, Илли, обманывать нельзя. Если что узнал – скажи. Я все равно все по твоим глазам вижу.

Илли потупился, но промолчал.

В это время Ашир принес еще одну охапку хвороста. Разгрузившись, он схватил себе подмышку Илли и побежал вместе с ним на задворки, где хранился хворост.

– Ты мужчина?

– Мужчина.

– Тогда никому ничего не говори. Я тебе пообещал, что принесу дрова, – вот, ношу...

– Ладно, брат, никому не скажу. Замок! – поклялся Илли, а маленькое его сердечко забилося часто-часто и даже заныло от невозможности выплеснуть переполнявшую его тайну.

Как ему хотелось, чтобы все в Саганали узнали, о том, что его старший брат Ашир и красавица Тазегуль встречаются! Но увы!.. Он дал клятву молчания, и теперь... Впрочем, смекнул Илли, на Айхана эта клятва не распространяется, и он стрелой помчался к Воровскому холму, где обычно встречался со своим приятелем.

Айхана он обнаружил в стороне от остальных ребят, что играли на холме. Тот лежал на спине, заложив руки за голову, и его безучастный ко всему взгляд был устремлен в бесконечность блекло-голубого неба.

– Чего валяешься? – без лишней деликатности осведомился Илли.

– Настроения нет, – Айхан печально вздохнул. – Я тебе честно хочу сказать, Илли. Я люблю Тазегуль. Правда, правда. Всем сердцем ее люблю. Она мне даже снится. Вроде собираем мы вместе цветы возле старой туранги. Я даю ей букет и говорю: «Ты красива, как эти цветы! Твои папа и мама угадали, когда назвали тебя Новым Цветком». А она прижала букет к груди и говорит: «Ты хороший мальчик, Айхан. А то, что маленький еще, это ничего». А потом мы бежим вместе по лугу...

– Дурак ты, Айхан. Если братан услышит – убьет тебя.

– Ну и пусть. Без нее мне жизнь не нужна.

– Да она и не знает про твой сон. Она любит моего брата.

Айхан кивнул, потом сел, посмотрел по сторонам и вдруг крикнул, но не во весь голос, а тихо, чуть ли не шепотом:

– Эй, люди! Тазегуль любит Ашира!

– Тихо ты!

– Так ведь нет никого. А мне так хочется, чтобы все об этом узнали.

– И мне, – признался Илли.

– Так давай вместе покричим.

– Что?

– О том, что Тазегуль любит Ашира.

Они покричали, правда, почти беззвучно. Потом Айхан сказал:

– Интересно, о чем они говорят? – И не дожидаясь ответа, принялся фантазировать. – Братан твой, наверно, говорит: «Я тебя люблю!», а она ему: «Если умру – буду земле принадлежать, если нет – тебе!».

– Они сто часов говорили!

– Сто часов?!

– Ага. Может даже больше. Долго-долго разговаривали.

– Слушай! На свадьбе не будем невесту пропускать, а что дадут – разделим поровну.

– Здорово! Папе скажем: «Раскошеливайся, а то свадьбу не пропустим!», а он нам скажет: «Ну-ка, орлы, подставляйте свои подолы!»

И хотя пока подолы их рубашек только свежий ветерок раздувал, приятели развеселились так, точно уже взяли выкуп за невесту.

Когда вечером вся семья собралась за ужином, Илли сидел с видом заговорщика, изредка ухмылялся, и, глядя на него, всякий бы догадался, что ему известна какая-то тайна. Больше всего ему хотелось заставить Ашира поволноваться, но как сделать это, не нарушая клятвы, он пока не придумал. Когда Ашир наливал ему чай, Илли сначала подмигнул брату, а потом выразительно перевел взгляд на отца, как бы спрашивая, не сказать ли обо всем отцу? Ашир угрожающе нахмурил брови и, запрещая, качнул головой, мол, только пикни! Однако запрет Илли только раздодорил.

– Папа!

– Что, сынок?

– Мой братан силен...

– Все мои сыновья сильные! – сказал отец, занятый своими заботами.

Ашир толкнул брата локтем в бок.

– Илли!

– Не бойся, – прошептал ему Илли. – Я же сказал – замок!

Отец не обратил внимания на эту возню. Он отставил пиалу и сказал, обращаясь к жене:

– Позови завтра всех, кто согласен помочь.

– Не тревожься, отец, если узнают, все придут помогать. Я уже некоторым соседкам сказала. С утра придут.

Ночью Илли приснилась Тазегуль. С счастливой улыбкой на губах она стояла рядом с Аширом и держала его за руку. Потом Ашир ее обнял, но, что произошло дальше, Илли увидеть не успел: на самом интересном месте его разбудила мама.

– Илли-джан, сынок, просыпайся... Разве мальчик, у которого брат женится, может так долго спать? Сон точно рукой сняло. Илли сбросил одеяло, сел и, удивленно выгаращив глаза, спросил:

– Кто женится?

– Ашир! Завтра свадьба будет. У тебя сегодня мно-ого дел. Ты и Айхан-джан, вы вдвоем, должны всех односельчан на свадьбу пригласить. Всем-всем скажите, что завтра у нас той.

– Кто тебе сказал, мама? Кто?!

Сенем-эдже удивленно посмотрела на сына.

– Что такое, сынок?

– Не обманывай! Кто тебе сказал, что Ашир и Тазегуль любят друг друга? Айхан, да?!

– С чего ты взял, что Айхан?

– Доносчик! Проболтался!..

– Да успокойся ты! Зачем из доброго известия тайну делать? Наоборот, пусть все знают и радуются вместе с нами.

– Предатель! Не мужчина он, не мужчина! – Илли вскочил и с глазами полными слез выбежал из дома. Через минуту он был уже у соседей.

– О-о, Илли-джан! – улыбнулась ему мама Айхана. – На той нас звать пришел? Молодец! Радостную весть легко нести. Летишь – ноги земли не касаются!

– Вам кто сказал?

– О чем?

– Что Ашир Тазегуль любит. Айхан?

– Глядите-ка на него! Да кто ж этого у нас в селе не знает.

– Доносчик! – крикнул Илли и выбежал из дома. Айхан следом.

– Не подходи ко мне, трепло!

– Ей-богу, не говорил.

– Не говорил, а все уже знают.

– Хлебом и солью клянусь!

Илли не знал верить ему Айхану или нет. В глазах у него блестели слезы, губы дрожали, он едва сдерживался, чтобы не разрыдаться.

– Что такое, Илли-джан? У тебя брат женится, все село этому радо, а ты плачешь. Не годится так, дорогой! Не стойте, бегите и всех-всех зовите на той.

Илли, не в силах больше сдерживаться, убежал, чтоб никто не увидел, как он плачет.

– Что с ним, Айхан? – Айхан пожал плечами. – Ладно. Ты, сынок, беги. Помоги Сенем-эдже. Надо всех на свадьбу Ашира позвать.

– Не пойду! – покраснев как рак, прошептал Айхан. Глаза его наполнились слезами, и он побежал догонять Илли.

– Илли! Клянусь! Никому не говорил.

– Илли! Эй, Илли! Вы почему до сих пор здесь? – крикнула Сенем-эдже. – Я же тебе сказала: беги и скажи всем, что завтра у нас той.

– Не пойду! Никому не скажу!

– Что ж это получится? У Ашира на свадьбе гостей не будет, да?! Не вредничай, Илли!..

– Не пойду!

– Ну и сиди!.. Беги, Айхан, скажи всем людям...

– Нет!..

Им обоим очень хотелось, чтобы все-все узнали о том, что Ашир и Тазегуль любят друг друга, но, увы, они не могли этого сделать. Они же поклялись! Дали слово! Замок!

Этот день в Саганали начался свадебными хлопотами. В огромных казанах варилось мясо, зарезанных с вечера овец. Языки пламени вырывались из очагов, и словно бы давали знак прохожим: «Здесь сегодня праздник! Заходите! Будьте нашими гостями!».

Первым, еще ранним утром, прибыл из песков Хенек-багши. Обнаружив, что кроме него гостей пока нет, он поначалу растерялся, но виду не подавал. «Ничего, люди постепенно соберутся!» – сказал он встречавшим его, расчехлил свой дутар и негромко запел.

Вообще-то в Саганали не принято ждать на свадьбу специального приглашения. Как можно не прийти на такой праздник?!

Только двое саганалинцев на этот раз были в стороне от предсвадебных хлопот, которые охватили все село. Они и на свадьбу не пошли! Ушли за село, взобрались на Воровской холм и сидят там обиженные на весь мир. Будь их воля, погасло бы пламя в очагах, у Хенека-багши порвались бы струны на дутаре и, вообще, – не было бы этой свадьбы!

Но одного их желания мало!.. Звукам музыки, песням, смеху и веселым окрики людей, занятых подготовкой свадьбы, уже тесно в Саганали, и выплеснувшись за пределы села они долетели до Воровского холма, где спрятались от всех Айхан и Илли.

Как замечательно поет Хенек-багши!

Как задорно смеются люди! Только, интересно, над кем это они смеются?

Илли сидит с несчастным видом, низко понурив голову и прикусив нижнюю губу. В глазах у него стоят слезы, готовые вот-вот покатиться ручьями по щекам. Он едва сдерживается, чтобы не разрыдаться.

Ближе к полудню все село оглушили гудки автомобилей из свадебного кортежа. Куда это, интересно, они мчатся, если Тазегуль и Ашир соседи! Нет, что за свадьба без них! К тому же принято, чтобы молодожены возложили цветы к памятнику погибшим на войне односельчанам.

Вот, слышите, гулко ударил бубен. Это Айджан-эдже, мама Айхана. Лучше нее никто не может играть, хотя, кажется, велика ли хитрость – бей себе на здоровье. Но это не так: играть на бубне – настоящее искусство.

*Берем невесту, берем!
Для Ашир-джана невесту берем!
Самую лучшую берем!..*

Вот и вся ее песня. Раз за разом повторяет эти слова Айджан-эдже. В конце концов Илли это надоело.

– Ну и заладила одно и то же: берем-берем, берем-берем!.. Взяли уже! – Илли покосился на Айхана. – Предательница твоя мама.

– Мою маму не трогай. Она ни при чем! Это все Ашир. Ашир твой предатель!

Илли долго молчал, обдумывая слова Айхана. Не так-то просто решить, кто больше предатель. Наконец он чуть слышно произнес:

– Тазегуль тоже предательница.

– Еще какая! – тотчас поддержал Айхан. – Сама же говорила, что любит тебя.

– Я теперь домой не пойду, – сказал Илли.

– А где жить будешь? – поинтересовался Айхан.

– У вас, – ответил Илли и посмотрел на Айхана, словно хотел прочесть его мысли.

– Живи! – согласился Айхан.

Но Илли уже передумал.

– Не буду я у вас жить. Вон, как твоя мама распелась: берем-берем, берем-берем. Пусть!.. Пусть берет! Пусть и учительку нашу возьмет в придачу!

– А где спать будешь?

– Здесь!

– А если джин Хет-Хет прилетит?..

Илли посмотрел по сторонам, точно в поисках убежища. Но во все стороны от Воровского холма разбегались только ровные, как ладонь, хлопковые поля. Вдоль арыка с лопатой на плече шел поливальщик Кертик-ага. Илли всегда не нравился этот толстяк, а сегодня, когда весь мир ополчился против него, особенно. Презрительно скривив губы он сказал Айхану:

– Неужели Кертик-ага тоже кого-нибудь любит?

Айхан отозвался сразу, точно давно уже ждал этого вопроса:

– Любит, любит!

– А ты откуда знаешь?

– Я сам слышал, когда Кертик-ага по телеку выступал.

– И кого же он любит, – осведомился Илли со скептической ухмылкой на губах – разве такому толстяку могут быть доступны высокие чувства?!

– Труд, сказал, люблю, хлопок наш белоснежный да еще старый свой кетмень...

– Так и сказал?

– Я своими ушами слышал!

– И про лопату?

– Честное слово.

– Может быть он с ней и обнимается? – Илли улыбнулся.

– И целуется! – подхватил Айхан.

Илли встал и кулаком размазал по щекам слезы.

– Смотри, Кертик-ага идет в обнимочку со своей любимой!

– Э-э, Кертик-ага! Обнимите ее крепче!

– Кертик-ага, поцелуйте ее разочек!

Услышав свое имя, Кертик-ага задрал голову и посмотрел на вершину холма. Он видел, что там, дурачась, скачут и размахивают руками какие-то мальчишки. Но, чьи они, разглядеть не смог. Только улыбнулся веселым мальчишкам и одобрительно покачал головой.

Пока ты мал, тысячи занятных мелочей окружают тебя, и каждая из них может доставить тебе радость, вызвать смех, подарить улыбку. Они помогают забыть о всех неприятностях и невзгодах! Куда эти милые пустяки исчезают с годами? Почему от взрослых они разбегаются, словно пугливые джейраны при виде охотника?..

В свадебной суете исчезновение Илли обнаружилось только поздним вечером. Обеспокоенная Сенем обошла соседей, но младшего сына нигде не было. Разбудили Айхана, только и он не сказал ничего вразумительного. Еще бы, ведь Айхан – замок!

Встревоженный Гельды-ага тоже отправился на поиски. Уже поздней ночью он привел Илли, держа сына за ухо. И по дороге тому, видно, досталось от отца: веки у Илли распухли, глаза были красными от слез.

Гельды-ага вытолкнул упирающегося Илли на середину комнаты.

– Скажи, где еще найдется такой бессовестный, как ты? А?

– Где ты этого негодника нашел? – Сенем хоть и радовалась, что сын отыскался, но виду старалась не показывать.

– На Воровском холме. Вырыл себе яму и спит, как ни в чем не бывало. Хорошо, Кертик-ага подсказал...

– Кертик-ага шпион!

– Я тебе покажу «шпион»! – Гельды-ага погрозил сыну кулаком, который был чуть-чуть больше, чем голова Илли. Трудно сказать, чем бы закончилась наша история, если бы Гельды-ага осуществил свое намерение, но на счастье Илли в этот момент в комнату вбежал возмущенный Ашир.

– Папа!.. Мама!.. Этот дурак совсем с ума сошел! Его к врачу отвести надо!

– Что такое? Что случилось? – всполошилась Сенем.

– Этот придурок погладил Тазегуль по щеке и заявил, что любит ее.

– Кто тебе сказал? – завопил Илли, от возмущения выпучив глаза, но тут же прикусил язык. Что за глупый вопрос! Об этом кроме Илли и Тазегуль знали только овцы. Не они же Аширу насплетничали, к тому же всех их еще перед свадьбой пустили под нож. Предательница Тазегуль!.. Слезы и до этого стояли у Илли комом в горле, но он сдерживался. А теперь... Теперь... Илли разрыдался и бросился в свою комнату.

Он лежал ничком на кровати, уткнувшись носом в мокрую от слез подушку, и рыдания сотрясали его.

– Не плачь, Илли-джан... Пожалуйста...

От неожиданности Илли замер. Кто это говорит? Он закрыл дверь на крючок, и кроме него в комнате никого нет. А голос нежный, точно звон серебряного колокольчика. Как у Тазегуль... Предательница!.. Теперь будет просить прощения...

– Илли-джан, дорогой, не плачь. Все будет хорошо! Вот увидишь!

Илли очень хотелось посмотреть, кто его успокаивает, но не решался поднять голову. Слезы все еще лились из его глаз. Если бы вас так обидели, вы бы тоже разрыдались! Взрослые всегда так: сначала обижают, а потом подлизываются. Все из-за предательницы Тазегуль... А теперь успокаивает, словно она не виновата. Не плачь!.. Смеется ему, что ли?!

– Ты не обижайся на них, Илли-джан. Они все любят тебя, и желают тебе только добра.

– Желают, желают, – давясь слезами, передразнил Илли. – Никто меня не любит.

– Любят. Просто ты их не понимаешь.

– Это они меня не понимают.

– Верно. Они тоже тебя не понимают. Но ведь у них сейчас столько забот, столько дел... Ты же видишь!

– Это ты, ты виновата!

– Я?.. Ой, а я-то при чем?

– Не знаешь?! – возмущенный Илли, забыв о слезах, поднял голову.

О, чудо!..

Рядом с ним сидела не Тазегуль...

Киноактриса!

Индийская красавица!!!

Не веря своим глазам, Илли мгновенно сел на кровати, и не в силах ничего понять переводил взгляд с красавицы, сидевшей рядом с ним, на ее портрет, что висел над изголовьем его кровати.

Да, сомнений не было, индийская кинозвезда сошла к нему с обложки журнала. Вместо улыбающейся девушки там теперь были только ряды мелких буквочек (если бы подобное случилось с вами, то и вы бы, пожалуй, не сразу вспомнили о том, что сами несколько дней назад повернули портрет улыбающейся красавицы лицом к стене!).

– Ты!.. Ты как здесь оказалась?

– Тебе плохо, тебя обидели – поэтому я здесь.

– А как ты узнала, что мне плохо.

– Мы с тобой едины.

– Едины?!

– Конечно! Разве ты меня не узнал? Я – твоя душа.

– Такая красивая!.. – Илли снова разрыдался.

– Илли-джан, что же ты плачешь? Не плачь! Ты ведь мужчина!

– Я не плачу, – взволновано произнес Илли, ладонями размазывая по щекам слезы. – Я ведь тебя люблю. Честное слово! С тех самых пор, как увидел.

– Я знаю. Я тебя тоже люблю.

– Правда? – Глаза Илли засияли от счастья.

– Правда. Зачем мне тебя обманывать.

Илли смотрел на индианку и не мог насмотреться. Никогда в жизни он не видел такой красоты.

– Можно, я до тебя дотронусь?

Индианка кивнула. Илли кончиками пальцев осторожно коснулся девичей щеки.

– Ты красивая, как... – Илли на миг задумался. – Как Тазегуль... Нет, как Овадан-мугалыма... Нет, нет, ты еще красивее.

– Правда.

– Ей Богу! – Илли полоснул себя пальцем по горлу.

– Ты тоже красивый.

Илли прижался лицом к плечу индианки.

– Только ты, пожалуйста, никому не говори, что я тебя люблю.

– Никому не скажу.

– Поклянись!

– Ты мне не веришь? – удивилась индианка.

– Верю. Но скажи, пожалуйста, замок...

– Замок! А теперь закрой глаза и спи. Ни о чем не переживай, ни на кого не обижайся!

– Ты будешь со мной?

– Конечно. – Индианка прилегла на край кровати рядом с Илли.

Илли обнял индианку, прижался к ней. Потом закинул на нее правую ногу. Никогда в жизни он не спал таким крепким, таким безмятежным сном. А какие замечательные сны ему снились!.. Ни один индийский фильм с ними не сравнится...

– Илли-джан!

Илли нехотя открыл глаза. Мама склонилась над его кроватью. Она улыбалась, словно вчера вечером ничего особенного не произошло. – Вставай, сынок! А то «кино» проспидишь.

– Какое кино? – недоверчиво спросил Илли.

– Выходи во двор – увидишь.

Илли посмотрел по сторонам – индианки в комнате не было. Он глянул на стену – портрет висел все так же перевернутым. Илли снял обложку журнала с гвоздей, минутку постоял, прижав индианку к груди.

– Хватит тебе с этой бумажкой возиться! – поторопила сына Сенем.

Эх, взрослые, взрослые!.. Как много вы не замечаете, сколько удивительного из жизни ваших детей ускользает от вашего взора.

Не обращая внимания на слова матери, Илли бережно разгладил картинку, потом повесил портрет на место. Белозубая улыбка индийской красавицы озарила комнату! Илли любовался индианкой, позабыв обо всем на свете, и это могло продолжаться бесконечно, но Сенем крепко взяла Илли за руку и потянула из комнаты.

Во дворе на широкой, покрытой ковром суфе завтракал Гельды-ага. Сенем села рядом с мужем, усадила Илли возле себя. Только они устроились, на веранду из комнаты Ашира вышла Тазегуль. Голова ее была покрыта красивым платком – знак того, что она стала женой и невесткой. Рядом с ней шли ее подружки, а сопровождала их всех невестка Тазегуль – жена ее старшего брата. Тазегуль была так смущена, что едва шла. После каждого шага она останавливалась и гелнедже приходилось подталкивать золовку. Так Тазегуль приблизилась к суфе и чуть слышно поздоровалась. Лица Гельды-ага и Сенем засветились от счастья!

– Здравствуй, моя милая, здравствуй, Тазегуль-джан! Давно мечтала я об этом дне, как станешь ты моей невесткой, войдешь в наш дом. Счастья тебе, родная! – Сенем спустилась с топчана к Тазегуль и обняла девушку. – От меня можешь яшмаком не закрываться, Тазегуль-джан. Я тебя с самого рождения знаю, сколько раз нянчила тебя.

– Нет, нет, Сенем-дайза, вы свои хитрости бросьте! – сказала одна из подружек Тазегуль. – Сначала подарки – потом разговоры.

– Да я все нашей Тазегуль-джан отдать готова! – Сенем протянула невестке заранее приготовленный узелок с подарком.

Но подружка не унималась.

– Гельды-ага, а что же вы медлите? – спросила она лукаво улыбаясь.

– Я!.. – растерялся Гельды-ага. – Да все что у меня есть, детям моим принадлежит.
– Нет, разговорами вы не отделаетесь, Гельды-ага.
– Ей Богу! Кроме одежды, что на мне, все остальное – молодых. Ну, а если подарок требуется, так это с Сенем спрашивайте. В доме она всем заправляет. Я и сам у нее прошу, если мне что надо, – признался Гельды-ага.

– Илли-джан, а ты что подаришь своей гелнедже?

Тазегуль встала напротив Илли и кивнула ему. Илли заглянул в глаза Тазегуль и ему сделалось не по себе, даже мороз пробежал по спине. Тазегуль смотрела на него невинным взглядом и глаза ее улыбались.

– Илли! – шепнула сыну Сенем. – Гелнедже поздоровалась с тобой. Ты должен ей ответить.

Но Илли сделал вид, что не услышал подсказки. «Сейчас вы увидите настоящее кино!» – подумал он.

– Что-то я не заметил, как она со мной здоровалась, – произнес он с невинным видом.

Тазегуль покраснела и снова чуть заметно кивнула.

– Разве так здороваются? – возмутился Илли. – Поздороваться по-человечески не может.

Тут уж Гельды-ага не выдержал.

– А ну, ступай в дом, негодник! – крикнул Гельды-ага.

Дважды приказывать Илли не потребовалось.

Все об Илли забыли, никому он теперь не нужен. Завтракать его не позвали. В школу он не пошел, и до этого тоже никому нет дела. Правда, если говорить откровенно, молока с чуреком он бы выпил с удовольствием, а вот идти в школу ему хотелось не очень. Спрашивается, что хорошего его там ждет? Все будут смеяться, дразнить его, говорить, что он проворонил свою любовь!.. А как он посмотрит в глаза Овадан-мугалыме? Об этом даже подумать страшно! Вот кто настоящая предательница! Встречается с парнем из чужого села!

До сегодняшнего дня Илли был уверен, что весь мир принадлежит ему. Конечно, не только ему одному, но на все, что есть на земле, он имеет равное право с остальными. Оказалось, что это совсем не так. Выяснилось, что самые главные сокровища, те единственные, которыми ему хотелось владеть, принадлежат другим, а Илли к ним даже пальчиком прикоснуться не может. Сколько взрослых, узнав о куда меньшей потере, оказывались в больнице с инфарктом!

Так что Илли еще благополучно отделался. Он хоть и лежит среди дня в кровати, но инфаркта у него, слава Богу, кажется нет, а если что и терзает сейчас его сердце, так это – ревность. Нет, так дальше продолжаться не может! Илли на цыпочках подошел к двери и выглянул из комнаты. Никого!.. Во дворе тоже, ура! Он побежал на Воровской холм, но на полпути остановился и переменил направление на сто восемьдесят градусов. И вовремя! Когда он добежал до своего укрытия, в конце улицы уже показалась Овадан-мугалыма. Ее красавчик тоже не заставил себя долго ждать. Правда теперь он, вместо того, чтобы любоваться красотой Овадан-мугалымы, то и дело озирался по сторонам и вздрагивал при каждом подозрительном шорохе.

Его бдительность заразила и учительницу. Стоило Илли задеть локтем ветку, она так и встрепенулась.

– Кто там! Немедленно выходи!

Илли затаился как мышь. Но в следующий миг он обрушил на влюбленных град камней. Атака была мощной и стремительной. Затем в полном согласии с законами военного искусства Илли отошел на заранее подготовленные позиции – никем не замеченный он вернулся в свою комнату.

Когда во второй половине дня Сенем заглянула к сыну, безучастный ко всему Илли лежал на кровати и разглядывал потолок.

– С голоду еще не умер? Ступай, поешь!

Илли перевернулся на бок, лицом к стенке.

Сенем, за девять лет неплохо изучившая характер своего сына, спорить с ним не стала, а принесла ломоть чурека, намазанный толстым слоем масла, от аромата которого у Илли слюнки потекли.

Только мама вышла из его комнаты, к Илли сразу вернулся аппетит. Он набросился на еду, как голодный волк на ягненка. Ел и думал, что на сытый желудок жизнь кажется все-таки не такой плохой, как она представляется голодному.

Вслед за аппетитом к Илли вернулся и слух. С веранды доносились голоса – кто-то пришел в гости. Голос гостя показался Илли очень знакомым. Чтобы проверить свою догадку он осторожно выглянул из комнаты. Увы, дурное предчувствие его не обмануло! Илли торопливо закрыл дверь на крючок. Бросился на кровать и с головой укрывшись под одеялом.

Сердце его билось гулко и часто. Так гулко, и так часто, что он даже не сразу сообразил, что это стучат в дверь.

– Ильмурат, выходи немедленно! – Илли узнал голос отца.

– Сами его разбаловали. «Младшенький, младшенький...» Поручите мне, я его быстро перевоспитаю. – Это Ашир. Он затарахтел кулаком в дверь. – Быстро открой! Не заставляй меня дважды повторять!

Потом Илли услышал голос мамы:

– Нет, Овадан, ты, наверное, обозналась. Он сегодня целый день из своей комнаты не выходил. Еле упростила его кусок хлеба съесть.

– Может, ты не заметила, как он уходил? – сказал отец.

И предатель Ашир тут же поддакнул:

– От него можно ожидать, чего угодно!

– Как я могла не заметить! – возмутилась мама. – Не слепая же я.

Больше всего на свете Илли сейчас хотелось, чтобы все поверили маме. Но если сам себе не веришь, чего же ждать от других. Кажется, Сенем не удалось переубедить ни мужа, ни учительницу, хотя ей очень хотелось защитить своего сына.

Ашир снова затарабанил в дверь.

– Открывай, Илли! Смотри, пожалеешь – хуже будет!

Что может быть хуже того, что уже случилось. Скорей небо на землю свалится, чем Илли дверь откроет!

В Саганали редко случается что-то неожиданное. Конечно, каждый день здесь происходит много всякого, но только все это бывало и прежде. Может, поэтому саганалинцы живут в постоянном ожидании чего-особенного, необыкновенного, что внезапно нарушит плавное течение их жизни. И уж если что-то случилось, все саганалинцы, оставив свои дела, дружно торопятся на место чрезвычайного происшествия, что увидеть (такая удача, увы, выпадает не многим) и обсудить взволновавшее село событие. А так как обсуждать никому не заказано, обсуждение затягивает до следующего ЧП – камень тонет быстро, да круги по воде долго расходятся!

На этот раз произошло нечто, о чем долго еще будут судачить саганалинцы, а возможно, и жители соседних сел, ведь долговязый жених учительницы Овадан не саганалинец, он из соседнего села.

– Сынок, ты подумай, перед тем, как такие вещи говорить! – пытается успокоить парня Кертик-ага.

– Чего тут думать! – насккивает на него долговязый. – Все факты налицо!

– При чем тут факты, – вытирая пот со лба, вздыхает Кертик-ага. – Делать мне что-ли больше нечего, кроме как в вас камни бросать? Да ты посмотри на меня. Разве я похож на хулигана?

– Внешность бывает обманчивой. Яму вы вырыли?

– Да я тебе уже десятый раз говорю: не рыл я никакой ямы!

– А лопата чья? – не унимается долговязый.

Толстяк Кертик-ага разводит руками.

– Лопата, сынок, и в самом деле моя, – соглашается он.

Ямы не появляются сами собой. Если раньше возле тутовника ямы не было, а теперь она появилась, значит кто-то ее вырыл. Это понятно всем. Непонятно другое: кто ее вырыл и зачем это ему понадобилось? Напрасно вы думаете, что никто из саганалинцев не знает ответа на эти вопросы.

Илли, обливаясь потом, стоял среди прочих саганалинцев и следил, как Кертик-ага препирается с долговязым женихом Овадан-мугалымы. Он, может быть, даже внимательней прочих следил за

перепетиями этой перепалки и поэтому не сразу почувствовал, что кто-то толкает его в бок. Это была Сулгун.

– Тебе что, места мало?! – накинулся Илли на одноклассницу.

Но Сулгун вцепилась в рукав его рубашки и решительно потянула Илли за собой. Хотя эта бесцеременность Илли очень не понравилась, он все-таки подчинился. Когда они отошли на порядочное расстояние, Сулгун отпустила рубаху и сказала, глядя Илли прямо в глаза:

– Тебе, Илли, там делать нечего.

– Это почему же? – с вызовом спросил Илли.

– А потому!.. Думаешь я не знаю? Я все-все знаю. И что Кертик-ага на шпионил, когда ты на Воровском холме спрятался... И что Овадам-мугальма приходила на тебя жаловаться... И лопату ты украл!.. И яму ты вырыл!.. И еще наябедничал будто Кертик-ага камни кидал...

Сулгун тараторила, а Илли почувствовал, что ноги у него делаются ватными.

– Кто тебе сказал? – уже менее решительным тоном поинтересовался Илли.

– Никто не говорил! Я сама все знаю!

– Продай, продай меня!..

– Я что, продавщица? – удивилась Сулгун. – Но, если хочешь, – пожалуйста!

– Беги! Беги!

– Ладно. – Сулгун пожала плечами. – Только учти, ты сам меня попросил.

Эх, верно говорят, что злейший враг человека – его характер. Разве обязательно ссориться с Сулгун? Разве нельзя было попросить, чтобы она держала язык за зубами? Что теперь об этом думать! Ладно – мужества Илли не занимать. Он все выдержит, все стерпит... Жалко только, что такой замечательный план рухнул из-за какой-то любопытной девчонки. Как она только все разнюхала?

Этот вопрос, надо сказать, волновал Илли больше всего. Ночью он так и не смог заснуть. Утром был рассеянным и печальным. В школе не сводил глаз с Сулгун. Она, как ни в чем ни бывало бойко отвечала урок, шушукалась с подружками, звонко смеялась, бегала и прыгала на переменке. А Илли не то, что смеяться, ему жить не хотелось. Он даже на переменах не выходил из класса. Сидел, опустив голову на парту, и изредка тяжело вздыхал. Даже после уроков он не решался покинуть класс. Илли казалось, что стоит ему только выйти из школы, как на него обрушится еще какая-нибудь неприятность.

– А ты, оказывается, трусишка!

– Я?! – Возмущенный Илли поднял голову. Перед ним стояла Сулгун. – Я трус?.. Можешь даже моему папе сказать, я все равно не боюсь! Не веришь?

Сулгун загадочно улыбнулась.

– Не бойся, я никому не скажу!

– Поклянись!

– Замок!

Илли облегченно вздохнул.

– Вчера я здорово испугался, – признался он. И как бы в оправдание себе прибавил: – Девчонки все такие болтливые...

Они вместе шли из школы, и Илли исподтишка наблюдал за своей спутницей. Чем дольше он на нее смотрел, тем привлекательней она ему казалась. «Смелая!» – восхищенно прошептал он. От этого настроение у Илли стало еще лучше. Он даже улыбнулся.

– Хочешь, я тебе свой дом покажу?

– Настоящий?! – удивилась Сулгун.

– Никому не скажешь?

Сулгун кивнула.

Короткими перебежками они устремились к зарослям тамариска. Илли нырнул в известный лишь ему одному лаз, Сулгун – следом, и они оказались в шатре, сплетенном самой природой. Солнечный свет полудня лишь едва пробивался сквозь густую зелень.

Илли достал из тайника кусок старой кошмы, аккуратно расстелил ее и бросил на «ковер» свой портфель.

– Садись!

Сулгун присела на край кошмы.

– Ну как?

– Здорово! – призналась Сулгун.

Илли сел рядом с ней.

– Что делать будем?

– Я убирать буду!

– А мне что делать?

– Ты сиди. – Сулгун сорвала несколько пружиков и стала подметать. Илли облокотился на портфель, как на подушку, и стал ждать, когда закончится уборка. После бессонной ночи глаза у него так и слипались.

– Ты понарошку моя жена? – спросил Илли.

Сулгун пожала плечами.

– Хватит убирать. Иди сюда. – Илли положил портфель Сулгун рядом со своим.

– Что теперь делать будем? Обедать?

– Нет, сначала поспим немножко. – Илли растянулся на кошме.

Сулгун тоже легла.

– Когда светло, как-то не спится, – призналась она некоторое время спустя.

– А ты закрой глаза и будет темно, – посоветовал Илли.

Они зажмурились, но поспать им не удалось.

– Вы что тут делаете?!

Чей-то голос, прозвучавший точно гром среди ясного дня, вмиг лишил их сна. Илли и Сулгун сели, точно их пружиною подбросило.

Стоя на четвереньках, в дверь их дома заглядывала Овадан-мугальма.

– Лежите? – произнесла она тоном, не обещавшим ничего хорошего.

– Сидим, – буркнул Илли в ответ незванной гостье.

– Интересно, чем это вы тут занимаетесь?

Илли почувствовал, как Сулгун прижалась к его плечу. Это придало ему смелости.

– Ждем...

– Когда восемнадцать лет исполнится? – спросила учительница с издевкой.

– Нет, мы ждем, когда придет Керттик-ага. Он захочет в вас камни бросать, а мы скажем: «Как вам, Керттик-ага, не стыдно. Что такого, если Овадан-мугальма встречается с парнем не из нашего села. – Илли видел восхищенный взгляд Сулгун и от этого стал еще красноречивей. – Теперь все-таки не старые времена – сердцу не прикажешь!.. Парень хоть не саганалинский, но высокий, симпатичный.»

Овадан-мугальма схватила Илли за ухо.

– Второй раз тебе меня не одурачить. Зачем Керттик-ага станет кидаться камнями! Это ты, ты!.. Перед всем селом меня опозорил.

– Вы ему ухо оторвете! – Сулгун повисла на руке у учительницы.

– Ты еще что тут щебечешь? Руки этому негоднику надо оторвать!

– Это не он. Это я!.. – крикнула Сулгун и для убедительности схватила горсть камушков, оставшихся здесь со времен былых сражений.

Хотя в отличие от прочих саганалинцев жизнь нашего героя была полна неожиданостей и опасностей, слова Сулгун произвели на Илли ни с чем не сравнимое впечатление. Даже образ прекрасной индианки на миг померк в его сердце. О Тазегуль и Овадан-мугальме даже говорить не приходится. Тем более, что их он уже проворонил. Окончательно вскружили ему голову слова, сказанные Сулгун перед расставанием у ворот ее дома. «Ну, и силен же ты врать, Илли!», – произнесла она с восхищением в голосе.

Перед тем, как идти домой, Илли решил завернуть на Воровской холм. Лишь там, среди тишины и покоя, глядя в бездонно-голубое небо, можно было спокойно подумать, разобраться в своих чувствах. И чем дольше Илли в них разбирался, тем привлекательней казалась ему Сулгун. Красотою она, возможно, немного уступала индианке, Тазегуль и Овадан-мугальме, зато ума и решительности у нее было больше, чем у кого-либо из знакомых Илли саганалинцев. И, как ни трудно в этом признаться, у нее была смелость, которой порою так не хватало самому Илли. Трудно даже представить, как столько достоинств смогли вписаться в девчонку, которая почти на полголовы ниже его, Илли, ростом?!

Только Илли как следует размечтался, в жизнь его снова бесцеремонно вмешался Кертик-ага:

– Шел бы ты, сынок, домой. А то опять тебя искать будут! – Голос его звучал ласково.

Судя по всему этот добродушный толстяк, безумно влюбленный в свою старенькую лопату, еще не знал самых последних саганалинских новостей, а то вряд ли бы он так миролюбиво разговаривал с похитителем своей возлюбленной. Поскольку в Саганали новости разносятся с невообразимой быстротой, Илли не стал ждать, пока они достигнут Воровского холма. Он отправился домой, и, только вошел во двор, с первого взгляда понял, что родителям уже все известно.

– Положи сумку и приходи. Поговорить надо. – Гельды-ага даже головы не поднял, чтобы взглянуть на сына.

Никогда прежде путь от порога дома до детской комнаты и обратно не казался Илли таким длинным. Увы, даже самая длинная дорога раньше или позже кончается!

– Ближе подойди! – приказал Гельды-ага сыну, остановившемуся в почтительном удалении.

– Я лучше здесь постою!

– У тебя с головой все в порядке? – поинтересовался Гельды-ага. Но ответа он дожидаться не успел.

– Что вы там делали?! – сорвалась в крик Сенем. В глазах у нее блестели слезы. – Как мы теперь людям на глаза покажемся?

– Ничего мы не делали...

– Ничего?.. Значит учительнице привиделось, как вы в обнимку лежали? – сказал Гельды-ага, растегивая ремень.

Больше всего на свете взрослые любят учить детей уму-разуму! Илли кажется догадался почему: давать советы гораздо проще, чем им следовать. Иначе почему сами взрослые не делают и половины того, что рекомендуют делать другим, и сваливают свои взрослые проблемы на детские плечи.

В тот день многие отвели душу, наставляя Илли. Самое удивительное, что разные люди, не сговариваясь, повторяли одно и то же. Папа, мама, Овадан-мугальма, Кертик-ага – хоть бы кто из них сказал что-нибудь новенькое. Нет, повторяли то, что Илли слышал уже тысячу раз. Что ему оставалось – стоял, глядя в землю, и тяжело вздыхал время от времени. Почему никто не спросил Илли, что творится в его душе? Нет, им все равно, наверное, не понять этого. Конечно, если бы Илли постарался, он бы, пожалуй, сумел кое-что втолковать. Но взрослым и в голову не приходит, что умные вещи может говорить не только начальство. Поэтому Илли стоял и молчал, что по мнению распекавших его означало полное признание им своей вины.

И Сулгун досталось добрых советов не меньше, чем Илли. Если бы они воспользовались хоть десятой их частью, никто в Саганали не мог бы сравниться с ними мудростью. Но, если говорить об Илли, он ничуть не поумнел. Сколько не пытается понять, что имела ввиду Сулгун, когда сказала: «Ну, и силен же ты врать!..», никак не может найти ответа. Может, она думает, что он обманщик?!

Три дня держался Илли в стороне от Сулгун, даже посмотреть в ее сторону не смел. Но в конце концов его терпение лопнуло! Он подкараулил ее на полпути от школы.

– Ругали? – Сулгун улыбнулась ему как ни в чем не бывало

– Ругали. – Вздохнул Илли.

– Сказал, что больше не будешь?

– Они разве отстанут? – уклонился от прямого ответа Илли.

– Боишься?

– Я?! Я никого не боюсь! – заявил он заносчиво.

– Все о нас только и болтают.

– Ну и пусть.

– И смеются.

– Ну и пусть смеются!

– Их, наверное, завидки берут.

Илли удивленно посмотрел на Сулгун. Какая она все-таки умная! Эта мысль ему в голову почему-то не приходила. Но внезапно его тоже осенило.

– Давай, погуляем немножечко, – предложил Илли и, как галантный кавалер, взял Сулгун под руку.

– Зачем? – попыталась освободиться она.

– Чтобы еще больше болтали. Поговорят, а потом им надоест и оставят нас в покое.

Илли заблуждался, полагая, что со временем все забывается. Бывает так, что спустя годы досужая болтовня превращается сначала в красивую легенду, а потом, если повезет, в прекрасный дестан, слушая который люди украдкой утирают слезы. Кто знает, может быть пройдет время и кто-нибудь напишет дестан о Илли и Сулгун, и, читая эту волнующую поэму, наши внуки будут радоваться и плакать!

Эх, взрослые, взрослые!... Слушать любовные дестаны вам нравится?.. Нравится! Отчего же тогда вы категорически против, чтобы героями дестана были ваши собственные дети?

Скажем прямо: не все саганалинцы ополчились против Илли и Сулгун. Например, какой-то мужчина средних лет, глядя им вслед, масляным голосом воскликнул:

– У Зохре и Тахира, у Шасенем и Гариба не было, наверное, такой любви!

– Ну, прямо, как в индийском кино!.. – мечтательным тоном заметила какая-то молодка, когда Илли и Сулгун проходили возле магазина.

Правда, ее тотчас поставила на место соседка по очереди.

– У нынешней молодежи только ветер в голове!.. А теперь уж и дети выпендриваться стали. Надо же, под ручку ходят! Да в их возрасте об этом и знать не положено. Я за всю жизнь ни разу мужа под руку не взяла...

– А во всем телевизор виноват, – поддержал ее какой-то мужчина. – Чего там только не показывают!

Не успели еще Сулгун и Илли дважды пройти из конца в конец главной улицы, как весть об их новой выходке уже облетела Саганали и достигла Воровского холма. Возмущенные родители, подобно грозным орлам, налетели на наших голубков, и не дав им сказать другу другу «прощай!», занялись воспитанием молодого поколения. Еще по дороге домой Гельды-ага дал сыну пару хороших подзатыльников, а дома... Нет, на этот раз не ремнем, а розгой всыпал отец нашему герою, да так, что неизвестно, чем бы закончилась эта учеба, когда бы материнское сердце не подсказало Сенем, что воспитательный процесс пора прервать.

Илли не плакал. Он ревел, выл, рыдал, обливался слезами, кричал как резанный, орал, визжал от боли, но ради Сулгун, не раздумывая, претерпел бы и вдвое больше, лишь бы ее не коснулось пламя родительского гнева.

Еще не высохли слезы и каждая клеточка тела горела негасимым огнем, когда в комнату, где Илли, лежа на животе (другие положения были для него пока неприемлимы), предавался размышлениям о радостях и огорчениях, которые приносит человеку любовь, когда в комнату неслышно вошла Тазегуль.

– Здравствуй, деверь!

Илли ничего не забыл, и ничего не простил! Он сделал вид, что не слышит.

Но Тазегуль не унималась.

– Ты что же, так никогда и не будешь со мной здороваться? Смотри, я обижусь!

Илли взглянул на невестку. Сквозь слезы он увидел ее улыбающееся лицо, и в глазах у него потемнело от обиды.

– Меня высекли, а тебе смешно!

– Что ты!.. Я просто так улыбнулась. – Тазегуль протянула руку, чтобы пригладить его взъерошенные волосы, но Илли отпрянул в сторону, точно к нему приближалась ядовитая змея.

– Не прикасайся ко мне!

– Какая муха тебя укусила?

– Предательница!

– Ах, вот в чем дело! Ты уж прости меня, дорогой деверь.

Илли хотел воскликнуть «Никогда!», но прекрасная мысль пришла ему в голову. Забыв о боли, вскочил он с кровати и выбежал из комнаты.

Тазегуль кинулась за ним вдогонку.

Илли побежал к колодцу. Он схватил ведра и протянул их невестке:

– Помнишь, что ты мне обещала?

– Конечно. Я от своих слов не отказываюсь. – Тазегуль взяла ведра, наполнила их до краев и медленно пошла с ними к загону с овцами. Илли шествовал рядом. Ему хотелось насладиться мстостью, но этому мешало его доброе и ранимое, как у индийской красавицы, сердце. Сердцу сделалось больно при виде того, как Тазегуль, закусив от напряжения губу, несет тяжелые ведра.

– Ладно. Давай помогу, – Илли взялся за дужку ведра.

Но у Тазегуль тоже был характер. Она потянула ведро к себе.

– Отпусти! Ты мне мешаешь.

– Не отпущу!

– Я сказала – отпусти!

Так-то Илли ее и послушался!..

Трудно сказать, как бы закончилось это противостояние, если бы не вмешалась Сенем.

– Это что тут происходит?! Ты почему, Тазегуль-джан, воду таскаешь. Это Ильмурата обязанность скотину поить. – Сенем забрала у невестки ведра и поставила перед Илли. – Это что такое? Тебе не стыдно заставлять гелнедже работать?

– Не стыдно, – буркнул Илли, и тут же получил звонкую оплеуху, от которой из глаз у него посыпались искры.

– Мало тебе, что перед всем селом нас опозорил, ты еще добавить решил?! Я тебе покажу – телевизор. Ты теперь к телевизору, бесстыдник, и близко не подойдешь!

– Не ругайте его, пожалуйста. Это я виновата.

– Твоя-то в чем вина, Тазегуль-джан?

– Илли обиделся на меня. Говорит, напои овец, тогда искупишь свою вину.

– Он, наверное, пошутил.

– Я тоже сначала так думала, но...

Слова Тазегуль ошарашили Илли. «Если человек вступил на тропу предательства, ему, видно, не просто вернуться к честной жизни!», – мелькнуло у него в голове, а потом в глазах у Илли потемнело так, будто ему шандарахнули по макушке тяжеленным ведром. Когда же к нему вновь вернулась способность видеть, он обнаружил, что мир вокруг здорово переменился. Его красивая и добрая мама стала теперь не такой красивой, как прежде, а о доброте и говорить не приходится.

– Что стоишь, как истукан? А ну-ка, быстро бери ведра! – приказала она Илли.

Илли взглянул на Тазегуль. И ее красота куда-то испарилась.

Готовый вот-вот расплакаться Илли поднял тяжелые ведра и побрел к загону. А за спиной у него...

– ...говорит, помнишь, ты мне обещала помогать, так и...

Сенем не дала невестке договорить.

– Этот ребенок человеческого отношения не понимает. С ним нельзя по-хорошему!

И мама предала его!.. Другим людям везет: им мама бывает надежной опорой не только в детстве, но и в зрелые годы. А Илли... Мир показался ему тесней овечьего закута. С Сулгун его разлучили... Родная мать – и та отвернулась...

Напоив овец он отправился к Айхану. Только другу мог он доверить, что творится сейчас у него на сердце. Но и тут его ожидало разочарование. Айхан, пряча глаза, признался, что мама запретила ему дружить с Илли. А тетюшка Айджан выйдя из комнаты сказала:

– Ступай домой, Илли! Айхан еще уроки не сделал.

Илли вернулся домой. Никем не замеченный прошел он в свою комнату, разделся и лег в кровать. Было уже не рано, но сон не шел к нему. Тяжело быть одному в целом мире!.. Помечтать, как обычно мечтал он перед сном, медленно погружаясь в дрему, мешали тяжелые мысли. Даже улыбка индианки сегодня не радовала, она была какой-то холодной, натянутой.

Так пролежал он довольно долго, потом встал и отправился бродить по дому. Заглянул в гостинную. Там, сидя перед телевизором, занималась рукоделием мама. Первым его желанием было броситься к ней, но потом он передумал и, тихонько вздохнув, прикрыл дверь.

Потом он пошел к отцу. Гельды-ага читал газету.

– Что скажешь? – спросил он, когда Илли заглянул в комнату.

– Папа, можно я у тебя в комнате спать буду?

– А в твоей комнате что, джин Хет-Хет поселился?

– Мне не хочется одному спать.

– Тогда, может, и тебя женить? Подожди, станешь, как Ашир...

– Не хочу я быть, как Ашир.

– Чего ж ты хочешь?

– Мне хочется с тобой спать.

Гельды-ага некоторое время колебался, потом нехотя сказал:

– Хорошо. Тащи свою постель.

Илли побежал к себе, принес постель, а когда расстелил ее, обнаружил, что отец уже спит. Огорченный Илли свернул матрас и вернулся в свою комнату. Если бы сейчас туда прилетел джин Хет-Хет, Илли бы его не испугался. Они бы поговорили по душам...

– Не спится? – прозвучал чей-то приятный голос.

Нет, не джин Хет-Хет, а прекрасная индианка сидела на краю его кровати.

– А, это ты... – Илли тяжело вздохнул. – Все меня ненавидят.

– Ну, что ты!

– Не надо меня жалеть! Никто меня не любит, все меня предали: и мама, и папа, и Овадан-мугальма, и Тазелуль, и Айхан – все... А я их всех так любил.

– Ты их и сейчас любишь, Илли. Вот станешь взрослым и поймешь это.

– Не хочу я быть взрослым.

– Почему?

– Все взрослые – предатели и сплетники. А я не хочу быть таким.

– Ты и не будешь, – обнадежила его индианка.

– Тазегуль мне разонравилась, – пожаловался Илли. – А мама сказала, что ко мне нельзя относиться по-человечески.

Индианка своей нежной и прохладной рукой погладила Илли по щеке. Блаженство растеклось по всему его телу и некоторое время он лежал молча.

– Я женюсь на тебе, когда вырасту, – признался он.

– Ах, Иллиджан, когда ты вырастешь, меня уже не увидишь!

– Почему! – Илли вскочил, как ужаленный.

– Лежи! – успокоила его индианка. – Просто, только в детстве можно позволить себе все, что пожелаешь.

– Это почему же я тебя не смогу увидеть, – продолжал допытываться Илли.

– Потому что, когда ты вырастешь, и душа у тебя другой станет. Появятся новые дела, новые мечты...

– Что же мне делать?

– Танцуй! – сказала индианка. – Ты же видел, что в индийских фильмах, хорошо людям или плохо, они все равно поют и танцуют. – Индианка запела, взяла Илли за руку и вывела на середину комнаты. – Танцуй, Илли, танцуй!

– Но я не умею! – испугался он.

– Ты просто не пробывал раньше. Танцуй! – приказала индианка и улыбнулась своей белозубой улыбкой.

Ночь исчезла!.. Солнце засияло в зените! Илли и не подозревал, что он умеет так здорово танцевать. Вот бы позавидывал Айхан, если бы увидел!

Илли танцевал, а индианка пела:

Эх, взрослые, взрослые!.. Все вы знаете, целый мир вам подвластен, но разве способны вы постичь чудный мир ваших детей!

Эх, взрослые, взрослые!.. Множество раз должен влюбляться ребенок, пока найдет свою единственную, пока поймет, что муки и страдания, которые приносит любовь, – недорогая плата за счастье, что она дарует людям!

Нежные души детей прекрасней индийских красавиц!

Их любовь чиста, как в индийском кино!..

1988 г.

ГНЕЗДО БЕРКУТА

1. Что-то случилось

Глядя на готовый вот-вот рассыпаться остов кибитки и прохудившийся в нескольких местах войлок, Ябан с горечью вспомнил слышанные когда-то слова о том, что у человека и его жилища – один век, одна судьба. Видно, и его срок подходит к концу. Конечно, если поднатужиться, поднакопить немного денег, можно не только прогнившие жерди заменить, но и накрыть кибитку заново. Однако, эта старая, осевшая юрта была памятью о родителях, их небогатым наследством. Они поставили ее для Ябана с мечтами, что бы их сын обрел в этом доме семейное благополучие и достаток. Ему казалось: поменять здесь что-то – значит погрешить против их памяти. Двадцать лет прошло, как отошли они в иной мир, а все в доме осталось так же, как было при отце. Впрочем, нет. Одну вещь Ябан все-таки заменил, хотя ее и нельзя с полным основанием считать частью дома.

Зимами, когда у дехканина появляется немного свободного времени, отец Ябана охотился с беркутом в песках. По левую руку от входа в юрту врыл он столб, сидя на котором беркут отдыхал. Здесь же была обшитая красной тряпкой приманка-вабило, с которой Тарлан (так звали беркута) привык кормиться. Вот это вабило и пришлось сменить. Другого выхода не было.

После смерти старого охотника Тарлан так ни к кому из домашних и не привык. Внезапная потеря хозяина лишила птицу покоя. Ябан пытался приучить беркута к себе, но в конце концов отпустил его на волю. Время от времени тот прилетал проверить не вернулся ли его хозяин, некоторое время отдыхал на своем привычном месте, а потом снова улетал. Он возвращался все реже, пока не исчез вовсе.

Эта поразительная привязанность птицы к человеку, заронила в сердце Ябана страстное желание иметь такого же преданного беркута. И когда он заимел птенца, то назвал его тоже Тарланом и кормить стал на отцовском вабиле. Летом подоспел срок учить беркутенка охотиться. Когда тот набирал высоту, Ябан, размахивая вабилом, кричал «Хайт! Хайт!», и птица, привыкшая к тому, что хозяин этим кличем зовет ее полакомиться мясом, камнем падала вниз. Острые когти беркута вонзались в вабило, но мяса не было, а была лишь красная тряпка. Обиженный беркут клекотал и шумно бил крыльями; оглядываясь вокруг, искал мясо.

Ябану было жаль простодушную птицу. Чтобы успокоить беркута, он приглаживал взерошенные перья и приговаривал при этом: «Не для потехи же я тебя обманываю. Вот научишься охотиться, тогда, – клянусь! – никогда тебя больше не обману!».

Но птица не верила уговорам, и вабило сделалось для беркута самой ненавистной в мире вещью. Он отказывался брать с него даже самые лакомые куски. Заметив вабило, злился и порывался улететь. Так продолжалось до тех пор, пока Ябан из войлока и куска плотной красной материи не смастерил новое вабило, взамен отцовского...

Ничего другого в доме перемены не коснулись.

Так же, как и его отец, Ябан хозяйничал на клочке земли, величиной всего лишь в один танап: выращивал там пшеницу, а, собрав урожай, сажал скороспелую фасоль и маш, которыми, в основном, и кормилась семья. Так что подобно труженику-хозяину земля тоже не знала отдыха.

Родители успели поставить Ябану дом и женить сына, но долго радоваться внукам им не довелось. Первенец Ябана – Акмурад – прожил совсем не долго. Четырех лет он заразился корью. Обессиленный малыш обнимал Ябана тонкими, слабыми ручонками и сквозь слезы допытывался: «Папочка, ты меня любишь?». «Как же мне тебя не любить, сынок? Ты ведь моя опора», – шепотом говорил Ябан, прижимая к себе сынишку. Он пообещал, что в пятницу они вместе поедут на базар за халвой. Малыш очень обрадовался: «Только ты меня не обмани, папа. Ты, правда, купишь халву?». Ябан дал зарок, что как только сын поправится, обязательно возьмет сына с собой на базар. Но Акмурад не дотянул даже до пятницы. Позже, переживая горечь потери, Ябан всякий раз видел перед собой молящие глаза ребенка и слышал его слабый дрожащий голосок. Он испытывал чувство вины из-за того, что невольно обманул сына. Жалел, что никогда не брал его с собой прежде. Однако эта утрата была не единственной. Они с Джумагуль потеряли еще двух детей. Ябан понимал чувства жены, которая, проводив из этого дома в путь без возврата трех детей, свекра и свекровь, стала намекать мужу, что было бы неплохо переселиться. Так как Ябан делал вид, что не понимает ее намеков, она в конце концов высказалась напрямик и, чтобы просьба ее была убедительной, разрыдалась.

Однако не только смерть близких людей заставляла их задуматься о переезде. Отношения с соседями складывались так, что не только Джумагуль, но и сам Ябан был бы рад жить подальше от Рахима, ведь Скольким – Йылма – соседа прозвали не только за то, что брил бороду, скорей, за его ненадежный характер. Как-то они даже подыскали место на другом конце села, и Джумагуль приготовилась разбирать юрту. Но в последний миг Ябан остановил ее: «Нельзя нам бросать этот очаг, Джумагуль! Сердце подсказывает, если бросим это место, так и в другом не найдем благополучия».

А уж как бы здорово было жить вдали от Рахима Йылмы! Сколько раз Ябан зарекался не иметь с ним дело. Но как сдержишь зарок, если вы соседи?!

От тяжелых дум его спас чайник, который поставила перед ним жена. Ябан сел и стал наслаждаться чаепитием.

Чай согрел тело и успокоил душу, но он все же не смог прогнать накопившуюся за день усталость. Об этом можно было догадаться по частому подергиванию век и по тому, как крепко его сильные пальцы сжимали пиалу, словно Ябан боялся ее выронить. На бесконечные вопросы Мерданчика, который ради отцовских сказок, ложился в постель вместе с курам, он отвечал рассеянно и односложно. В дни получше нынешнего Ябан обычно бывал словоохотлив, рассказывал детям разные истории и шутил с женой.

Тут покойное течение чаепития нарушил двенадцатилетний Хыдыр. Он буквально ворвался в кибитку и, остановившись на пороге, никак не мог отдышаться: по-рыбы, широко открывая рот, глотал воздух и размахивал руками.

– Где ты бродишь, полуночник?! – начал Ябан, но увидев, что сын не на шутку перепуган, забеспокоился. – Что случилось?.. Кто тебя напугал?

– Он, наверное, джина встретил, – высказал догадку Мердан, который хоть и был всего на год младше Хыдыра, но по-детски верил в сказки.

– Никакого джина я не встретил, – проговорил Хыдыр, наконец отдышавшись. – Знаешь, папа, отец Бабагельды свалился, а его мама сидит и плачет...

– Откуда свалился?

Хыдыр пожал плечами.

– Толком объясни!

– С земли...

– Как это?

– Просто...

– Голову морочишь!

– Бабагельды плачет и Тазегуль тоже плачет...

– А ты, спрашивается, что там делал?

– Мы с Бабагельды играли. Он сам позвал.

– Видно, что-то случилось, – сказала Джумагуль, которая занималась шитьем.

– Господи, да что же могло стрястись? – не на шутку встревожился Ябан. Он встал, снял с вешалки свой чекмень и стал собираться к соседям.

– Папа...

– Что еще?

– Не ходи к ним, – попросил Хыдыр.

– Это еще почему? – удивился Ябан.

– Просто так. Не надо...

Хыдыр собирался еще что-то сказать, но Джумагуль не дала ему договорить.

– Отец сам знает, что делать! – прикрикнула она на сына. – А ты садись и попей чайку, пока он совсем не остыл.

2. Соседи

Рахим Йылма брел к своей юрте и проклинал снегопад, который все усиливался. Только кожаный колпачок его охотничьего беркута Алгыра, который мял в своем кулаке Рахим, знал, что сейчас творится в его душе. Но и этого показалось ему мало: проходя мимо навеса, Рахим Йылма в сердцах швырнул колпачок туда, где обычно сидел беркут. У порога дома он ненадолго задержался, прислушался к доносящимся детским голосам, потом тихонько толкнул дверь. Когда он появился на пороге, детский гомон сразу стих. Ни на кого не глядя Рахим прошел в глубь юрты, сбросил шубу, лег на свое хозяйское место возле очага. Перед глазами у него все мелькало, куда-то валилось, словно дом превратился в вертящееся веретено. Он захотел сесть, но не сумел пересилить тяжесть, что давила на затылок. В ушах звенело, перед глазами плясали огненные светлячки, взгляд стал меркнуть. Только потрескивание саксаула в очаге нарушало мертвую тишину.

Зохра кинулась к мужу. Плача стянула с его ног чокаи, размотала насквозь мокрые портянки. Потом накрыла мужа одеялом и, подкладывая ему под голову еще одну подошку, осторожно спросила:

– Что стряслось, отец?

– Покинул он нас, жена, – прошептал, чуть не плача Рахим Йылма. – Ушел!.. Сколько я ни звал, так и не вернулся.

– Да разве мыслимо из-за этого так расстраиваться! Ушел – ну и ладно! Пропали он пропадом. Убиваешься, точно сына потерял, – прибавила она в сердцах, протягивая мужу пиалу с чаем. – На, выпей! Другого беркута заведешь.

Рахим с трудом приподнялся, взял пиалу и, шумно прихлебывая, опорожнил ее. Потом снова повалился на подушки. Хотя он был накрыт теплым одеялом, озноб бил его, а голос жены доносился издалека, словно сквозь толстый слой ваты.

– Хыдыр-джан, – говорила та соседскому мальчишке, – ступай-ка, дружок, домой. Наигрались уже на сегодня, хватит. Ступай! Время позднее, дяде Рахиму отдохнуть хочется, а вы шумите.

Тазегуль – младшая дочь Рахима Йылмы, растопырив глазенки, смотрела на отца. Его трясла лихорадка. Девочке сделалось страшно, она всхлипнула, потом громко разрыдалась.

– Не плачь, доченька, – принялась утешать ее Зохра. – Если будешь плакать, дядя твой облысеет, – говорила она, утирая дочке слезы.

Тазегуль прижалась к матери. Слезы душили ее, она хотела, чтобы отец перестал страдать, чтобы все сели ужинать. Ей было жалко отца, у которого улетел беркут.

– Мама, Алгыр от нас навсегда улетел? – спросила она у матери.

Зохра не знала, что ответить. Она пожалела о словах, сказанных сгоряча мужу.

– Ну, что ты, доченька, – наконец сказала она, сама с трудом сдерживая слезы. – Вернется наш Алгыр, обязательно вернется. Без нас он пропадет. – Она обняла притихшую дочь, стала гладить ее по головке.

Некоторое время спустя из-за двери послышалось чье-то осторожное покашливание, потом в дверях показался Ябан.

– Вечер добрый!

Рахим Йылма уже немного отошел, он с трудом оторвал голову от подушки, приподнялся и, увидев, кто явился, застыл в этом неудобном положении, не зная, что сказать незванному гостю.

– Гость – к добру! – встрепенулась Зохра. – Проходи, сосед. Садись вон там. Что-то давно тебя видно не было?

– Не помешаю ли, Рахим?

– Все в порядке! Проходи, Ябан, садись.

Усаживаясь, Ябан огляделся. Давно он здесь не был. Вещей за это время у соседа прибавилось. Появился красивый резной сундук, да и ковров стало побольше.

– Сейчас Хыдыр прибежал, говорит, что ты, Рахим, упал... – начал Ябан, с вопросом глядя на соседа.

– Алгыр не вернулся. Вот, что случилось, – объяснила Зохра. – Да и сам простыл, видно. А что беркут улетел, так, с одной стороны, это даже не плохо. Хищник, он и есть хищник. Лучше от него подальше держаться. Слышал, небось, что Сулеймана беркут натворил. Уж как он его любил, как холил! А он, проклятый, его сыну всю голову расклевал. Бедняга, как увидел, что стряслось... До сих пор, говорят, Сулейман сам не свой. Вот и скажи, сосед, что я неправа.

– Вообще-то так... – согласился Ябан.

– Пейте чаек! Вы побеседуйте пока, а я ужин согрею. Дурдымурад-джан, сынок, принеси-ка дров.

Сидевший в сторонке Дурдымурад, видно, мечтал о чем-то своем, потому что услышал мать, лишь когда она повторила свою просьбу. Услышав свое имя, он резко повернулся в сторону матери. Потом вскочил и кинулся к двери. Впопыхах споткнулся о сложенную горкой посуду. Покраснев от смущения, поднял два разбитых чайника и испуганно посмотрел на отца.

– Будь ты проклят!.. – крикнул Рахим Йылма.

– Не сердитесь, отец, не надо, – заступилась за сына Зохра. – Посуда бьется, говорят, к счастью!

– Ну, раз так, то и этот разобьем! – Рахим Йылма схватил стоявший перед ним чайник и швырнул его в сына. Дурдымурад едва увернулся.

– Разве можно так, отец?! – вскинулась Зохра. – Хорошо, хоть промахнулись. Он же не нарочно. Ступай, сынок. Растет прямо на глазах. Благодарение Аллаху, что дал нам такого сына. Ты б накиннул на себя что-нибудь, а то простудишься, – крикнула она вдогонку сыну.

– Не сглазить бы, сосед, но Дурдымурад у нас – огонь! – сказала она, когда тот вышел из кибитки, а сама в сердцах ругнула сына, который оставил дверь открытой. – Что его не попросишь – все сделает. – Она подошла к двери, захлопнула ее. – Расстроился на отца глядя. А так у него любое дело в руках горит.

Ябан искоса наблюдал за Рахимом. Годы, похоже, не старили соседа. Если не считать несколько появившихся в последнее время морщин, он все еще выглядел молодо. Высокий лоб и острый подбородок как бы удлинляли его худое безбородое лицо. Хотя Рахим изо всех сил старался не выказать своей слабости, лихорадка терзала его все сильнее.

Ябан понял, что без лекаря здесь не обойтись, и отправился звать табиба, который жил на другом конце села.

3. Подарок

В свое время Ябан немало помучался, чтобы заиметь хорошую птицу. Началось с того, что у парня, промышлявшего где-то в Кугитанге, он купил весной три белых с яркими красными пестринами беркутиных яйца. Вынашивал их по старинке: в поясе, связанном из верблюжьей шерсти, который носил на себе не снимая до тех пор, пока не вылупились птенцы.

Этот способ существовал издавна, достался от дедов и прадедов, и у знатаков почитался наилучшим, хотя в последние годы применялся все реже и реже. Как полагал Ябан, отвадили от него людей бездельники-острословы. Досталось от них и ему. Односельчане, заметив Ябана в таком поясе, изошрялись на все лады.

Стоило показаться на людях, обязательно находился остряк, который на потеху остальным принимался расспрашивать его о здоровье: «Как себя чувствуешь, Ябан? Надо же, все лицо пятнами пошло. Ничего, не огорчайся: родишь – сами исчезнут». И ни одно застолье не обходилось без того, чтобы кто-нибудь не попросил «дать Ябану чего-нибудь соленьенького», а остальные, отводя взгляды, хихикали. Старики бранили шутников: «Хей, бестолковые! Что ж, по-вашему, ремесло исчезнуть должно?!».

Но сколько не потешались над ним, настойчивость Ябана победила.

Птенцы вылупились из всех яиц. Себе он оставил самку, так как всякому любителю ловчих птиц известно, что они сметливы и преданы хозяину. Самцов же, когда они встали на крыло, отпустил на волю. Он жалел об этом всякий раз, когда наступала пора брачных игр, и его Торлан, повинаясь своей природе, билась о прутья кибитки, стремясь на простор, к своим сородичам.

С осени он стал готовить птицу к охоте. Кормить ее начал вымоченным мясом, чтобы беркут не полнел и истосковался по свежей крови. Перед тем, как выпустить в первый свободный полет, трое суток держал беркута без сна, чтобы измученная бессонницей птица, стремилась поскорей вернуться на свой хекем. Сам измучился не меньше беркута. Потом учил беркута «брать» добычу. Подготовка к настоящей охоте длилась почти месяц. Но когда наконец отправились в пески, первая же дрофа чуть не свела на нет все старания Ябана.

Когда он снял с головы птицы кожаный колпачок и отправил Торлана в полет, беркут, хотя дичь была рядом, вместо того, чтобы преследовать летящую дрофу, начал набирать высоту, чтобы потом, как положено, камнем упасть на добычу. Дрофа разгадала этот маневр. Она, шумно трепеща крыльями, опустилась на землю, и задрала хвост. Когда беркут уже выпустил когти, чтобы схватить дрофу, та обдала его струей жидкого зловонного помета, а сама отбежала на несколько шагов в сторону. От нестерпимой рези в глазах у беркута пропала всякая охота преследовать дрофу.

После этого Торлан чуть не лишился зрения. Раз за разом Ябан промывал ему глаза, потом привез знахаря, сведущего в глазных болезнях. По воле Аллаха, птица не ослепла, хотя зоркость левого глаза у нее чуть ухудшилась. С тех пор прошло десять лет. Изъян, известный только хозяину, не помешал беркуту стать отличным охотником, прославленным на всю округу. И эту славу предстояло подтвердить сегодня на празднике, который Нурджан-ишан устроил в честь свадьбы своего сына.

Когда Ябан прибыл на место, до начала состязаний оставалось еще немало времени. Вокруг низины, где они должны были проходить, собралось уже множество любопытных. Место здесь было просторное, тут и скачкам не было бы тесно. Охотники со своими птицами держались особняком от зрителей.

Наконец на круг выехал верхом на лошади Дурдымурад – сын Рахима Йылмы. Толпа встретила паренька довольными криками – все уже жаждалось. Дурдымурад, улыбаясь, приветственно помахал зрителям рукой. Потом, обернувшись, кивнул организаторам состязаний – мол, я готов.

К луке его седла на длинной бечеве привязали чучело лисицы. Задачей Дурдымурада было доскакать до шеста с платком, который был установлен на другом конце низины. Ловчей птице полагалось взять лисицу прежде, чем Дурдымурад достигнет отметины. Чей беркут будет быстрее, того и объявят победителем, тому и достанутся призы.

Первым вызвали Нургельды. Когда судья взмахнул платком, Нургельды снял с головы своего Бека кожаный колпачок и рукой указал своему беркуту, где скрывается добыча. Беркут увидел «лисицу» и взлетел.

Дурдымурад принялся нахлестывать лошадь.

Рыжая шкура, точно это была живая лисица, влекомая всадником, часто меняла направление. Она оказывалась то справа от лошади, то слева. И все же беркут уловил нужный момент, камнем упал на лисицу и вцепился ей в загривок. По правилам состязаний Дурдымурад должен был тотчас отпустить бечеву. Но он сделал это, лишь когда лошадь промчалась мимо вешки. Однако, эта уловка не помогла: беркут, хоть ему пришлось несладко, крепко держал свою жертву.

– Ты что ж это делаешь, ублюдок! Почему сразу веревку не отпустил? – накинулся на Дурдымурада Нургельды. – Не умеешь – не берись. Беркут давно взял «лису». Я знаю, это ты нарочно...

– Ваш беркут – тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить! – настоящий охотник, – лгисто улыбаясь, затараторил Дурдымурад, точно не слышал адресованной ему брани. – Как он приманку потрепал!.. Она теперь и на лисицу не похожа. Настоящий охотник!

– Да и хозяин у него – орел! – сказал подобревший от похвал Нургельды. – Так-то, джигит!

Один за другим отправлялись в полет беркуты и не было среди них птицы, которая не смогла взять «лисицу». Призы доставались всем. Каждому – по достоинствам его птицы, а уж за этим следили придирчивые знатоки, оценивавшие какую игру показал беркут.

Когда подошел черед Торлана, Дурдымурад решил подыграть. Теперь он не гнал лошадь, как прежде. Напротив, исподтишка сдерживал ее, а нагайкой размахивал только для виду, чтоб обмануть зрителей. Но этого ему показалась мало: Дурдымурад выпустил веревку за миг до того, как беркут Ябана вцепился в «лисицу». Это не осталось незамеченным, и зрители недовольно зашумели.

Но больше всех огорчился сам беркут. Он разок клюнул неподвижную рыжую шкуру, догадался, что его обманули, забил крыльями и обиженно заклекотал. Потом взмыл ввысь и устремился на лениво скачущую лошадь.

Дурдымурад, заметив это, тотчас прикрыл голову лошади попоной, а сам соскользнул из седла вниз. Атаковавший лошадь беркут был вновь обманут: вместо живой плоти в его когтях оказалась тряпка. Он взмыл с нею ввысь, там ему наконец удалось избавиться от обузы, и вконец разозленный он приготовился к новому нападению.

Теперь Дурдымурад струсил не на шутку: беркут падал прямо на него. Он попытался укрыться под брюхом лошади. Но, когда острые беркутины когти вцепились ей в спину, в общем-то мирная кобыла, громко заржала и поднялась на дыбы. Теперь Торлан мог наказать обидчика, и неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не подоспел Ябан. Его крики «Хайт! хайт!» отвлекли птицу, и в следующий миг она была уже в руках у хозяина.

В душе Ябана все кипело от возмущения, но увидев побледневшее от страха лицо и трясущиеся губы испуганного на смерть мальчишки, он сдержался.

– Что ж ты так оплошал, Дурдымурад? Видишь, как люди недовольны. Нельзя бечеву раньше времени отпускать.

Дурдымурад понемногу приходил в себя, глупо улыбался и лихорадочно искал, что сказать в оправдание. Но мысли мешались. Он не придумал ничего путного и, заикаясь от волнения, стал расхваливать беркута.

– Ваш беркут, Ябан-ага, – настоящий охотник. Что ему лиса!.. От него и лошади досталось...

– Торлан, хоть и птица, но тоже не любит, когда ее обманывают, – прервал Ябан поток его болтовни, надевая на голову беркуту колпачок. Потом он отъехал в сторону и там, приложив руку к груди птицы, попытался сосчитать частые удары готового разорваться сердца, но почти сразу же сбился со счета. «Не страдай, Торлан! Ведь это всего лишь игра», – прошептал он, а сам подумал: что одному – забава, другому – смерть.

Перед глазами у него все еще стояло белое, как полотно, лицо испуганного мальчишки. Он вспомнил, как тот, ползал по земле, пытаясь спрятаться под лошадь, а потом его неуместную лесть – и во всем этом угадывались повадки Рахима Ыылмы.

В прежние времена тот всякий раз накануне состязаний отправлялся задобрить ездового, который должен был волочить лисью шкуру. Просил, чтобы тот не очень гнал лошадь, когда придет черед Алтыра. Унижался, говорил лстивые слова. И иногда это приносило плоды. Позже, когда подрос Дурдымурад, Рахим Ыылма всеми правдами и неправдами добился, чтобы волочить «лису» поручили его сыну. Теперь ему не надо было унижаться, обивать чужие пороги. В нужный момент Дурдымурад придерживал лошадь. Конечно, эта уловка не могла обмануть знатоков. Но когда Ябан однажды поднял шум, требуя честной игры, судьи только снисходительно ухмылялись. «Каков отец, таков и сын!», – с горечью думал Ябан, и это, пожалуй, огорчало его не меньше, чем сегодняшняя неудача Торлана.

– Ябан-ага!.. Ябан-ага!

Ябан оглянулся на крик, остановил лошадь, подождал, пока Нургельды, которому сегодня достался главный приз, поравняется с ним.

– Ваш беркут, Ябан-ага, лучшая во всей округе ловчая птица. Никто не может с Торланом сравниться. И заслуга в этом... – он сделал паузу, чтобы придать торжественность своим словам, – ваша, да, ваша, Ябан-ага. Порадовал меня сегодня ваш беркут. Давно, скажу вам, не получал я такого удовольствия. А потому, позвольте сделать вам подарок...

– Подарок? – удивился Ябан.

– Примите этого барашка, – Нургельды взглядом указал на тучного двухгодовалого барана, который лежал поперек холки на его лошади. – Клянусь, намерения мои чище материнского молока!

Щедростью Нургельды не страдал, это было известно всем в селе. Ябан не знал, как быть: принять такой щедрый подарок или отказаться под благовидным предлогом.

– Да я вижу, вы, Ябан-ага, сомневаетесь, – напирал Нургельды. – Угадал? Верно? Так вот, скажу вам, Ябан-ага, зря. Этот барашек ваш по праву. – Он снял с плеча своего беркута и сказал, обращаясь к нему: – Ты уж, Бек, не обижайся, но награда наша должна принадлежать Торлану. – Он снял с головы Бека колпачок и подбросил птицу в воздух. – Лети домой, Бек! Да не озоруй! А я скоро, только помогу Ябану-ага: подвезу барашка до его дома.

Когда приехали, Нургельды спешил, снял с лошади барана.

– Гелнедже! – крикнул он, – эй, гелнедже, где вы? Забирайте вашего барашка. Сегодня беркут вашего супруга доставил мне ни с чем несравнимое наслаждение, а потому я решил хоть малой долей отблагодарить Ябана-ага...

Джумагуль выглянула из дома, посмотрела на Нургельды, на мужа и снова скрылась за дверью.

Нургельды, ухватив барана за рога, потащил его к загону.

– Неудобно получается. Не знаю даже, как тебя благодарить, – сказал Ябан-ага, когда Нургельды возвратился.

– Чепуха! О какой благодарности вы говорите. – Нургельды подошел к своему коню, вставил ногу в стремя.

– Ты что, уезжать собрался?!

– Дела, Ябан-ага.

– Да хоть чайку попьем.

– Как нибудь в другой раз. – Нургельды сел в седло.

Из кибитки, держа в руках сачак, вышла Джумагуль. Подошла к Нургельды.

– Вот это вы вовремя, гелнедже, – сказал тот, отворачивая край скатерки. – Неудобно уходить, не отведав хлеба-соли.

Он отломил кусочек чурека, взял его в рот, произнес благодарение, а потом прищипорил своего коня.

С улыбкой смотрел в след ему Ябан, а, когда Нургельды скрылся из виду, сказал стоявшей рядом Джумагуль:

– Ну-ка, жена, побалуй меня чайком. Попьем вместе... Сколько бы ты мне сегодня не угождала, все будет мало.

Джумагуль не проронила в ответ ни слова.

А как хотелось Ябану поделиться своей радостью! Когда у человека хорошее настроение, тишина его угнетает. Ведь сколько случилось сегодня. Не один Нургельды восхитился умом Торлана. Это было зрелище. Конечно, по началу, когда Дурдымурад придерживал лошадь и выронил раньше времени веревку, недовольных было много, но потом... То, что сделал Торлан, всем подняло настроение. Нет, не посрамил беркут своего хозяина! А каков Нургельды! Отдал барана и глазом не моргнул!

Джумагуль точно прочитала его мысли.

– Нургельды просто так даже пыль со своих ковров не даст. Неспроста это. Что, интересно, ему от нас потребовалось? – спросила она, ставя перед мужем чайник.

– Я и сам поначалу удивился, – признался Ябан. – Говорит, от чистого сердца, материнским молоком клянется. А щедрость такая – верно, не всякому доступна. Я бы, может, тоже хотел подарки делать, да откуда взять.

– Все равно, что-то здесь не так. Чего-то, отец, ему от нас надо!

– Да что у нас взять? – Ябан окинул взглядом кибитку. – Ну, скажи, на что тут позариться...

Джумагуль промолчала.

Вернулся домой Хыдыр. Нос у него был разбит. Одной рукой он размазывал по щекам кровь, другой – прижимал снег к переносице, чтобы остановить кровотечение.

– Что случилось? – встревожился Ябан.

– Ничего, – буркнул Хыдыр. – Подрался просто.

– Это с кем же?

– С Бабагельды.

– С Бабагельды? – удивился Ябан. – Как же это он тебе нос расквасил?... Ведь он младше, да и послабей, пожалуй, будет.

– Зато у него прихвостней полно. Пусть только выйдет один на один.

– Какие еще прихвостни?

– Такие... Обыкновенные... Все за него!

– А я вот что думаю, сынок, – сказал Ябан, влажным полотенцем стирая с лица сына запекшуюся кровь. – Если все за Бабагельды, может, ты сам в чем-то виноват.

– Ничего я не виноват, – огрызнулся Хыдыр. – Просто Рахим-ага богатый, вот все и подлизываются. Он своего сына в обиду не даст. Если бы я Бабагельды нос разбил, он бы сразу прибежал. А вы – боитесь!

– Нечего было задираться, – сказала Огульсенем. – Признайся, ведь это ты драку затеял. Бабакулы ни с того, ни с сего драться не станет.

– Заткнись! – крикнул сестре Хыдыр. – Я знаю, почему ты Бабагельды защищаешь. А родной брат – хоть сдохни!..

– Ты где таких слов набрался?

– А что же она...

– Ты стоял, а он на тебя набросился?

– Просто он врет, врет, папа, – Хыдыр дрожал от ярости. В глазах у него блеснули слезы, он едва сдерживался, чтоб не разрыдаться.

– Не из-за каждого же слова в драку лезть.

– Да?! Он говорит, что ты лизун, что тебя вчера никто не звал, а ты прибежал подхалимничать. А я сказал, что его отца Аллах проклял, и поэтому у него беркут улетел.

Глядя, как терзается сын, Ябан почувствовал, что и у него сердце защемило. Он уложил Хыдыра, накрыл его одеялом, взял руку сынишки в свою большую ладонь и пожал ее, желая, чтоб сын почувствовал его участие. Но Хыдыр не понял его.

– Я его убью. Я их всех поубиваю, – без конца твердил он, распаяя себя так, словно речь шла о чести рода. – Пусть выходят один на один. Сами они лизуны несчастные, так и бегают вокруг Бабакулы. Внезапно какая-то мысль завладела им. Лицо его сделалось строгим, он сел и заглянул в глаза Ябану.

– Папа, он неправду говорит?

– Кто?

– Бабагельды.

– Конечно, сынок.

– Папа, они хоть богатые, но плохие. Ты не держи их сторону, – попросил Хыдыр. И, пожалуй, это было самое главное, что он хотел сообщить. После этого Хыдыр успокоился, а вскоре задремал, прижавшись к отцу.

4. Поддержка

Неделю Рахим Йылма не вставал с постели, горел огнем. Мысли о пропавшем Алгыре и раздирающий грудь кашель чуть не докончили его. Не было сил голову с подушки поднять. Спас его наваристый, крепко наперченный унаш, после которого Рахим как следует пропотел, заснул целующим, сладким сном.

Неизвестно, сколько бы он проспал, но чуть свет его растолкала дочь.

– Папа! Папа! Бушлук!

– Ну, что тебе? – проворчал Рахим, все еще не желая расстаться со сном.

– Наш Алгыр скоро прилетит! – сообщила Тазегуль.

Рахим так и сел.

– Кто сказал?

– Мне сон приснился. Вроде оказалась я на озере Сувгуяр. И прилетел ко мне Алгыр. Сел мне на руку – тяжелый такой! Я ему говорю: «Алгыр-джан, зачем ты он нас улетел? Мы же все тебя любим. Папа, с тех пор как ты нас покинул, болеет. Во сне зовет тебя. Возвращайся, Алгыр! Я тебя еще сильнее любить буду. Свою долю мяса отдам...» А Алгыр взлетел и крикнул мне человеческим голосом: «Я скоро прилечу, Тазегуль!» Вот какой сон. Мама говорит, что такие сны – вещие...

– Сон!.. – передразнил дочь Рахим. – Делать вам с матерью нечего. Разбудила чуть свет!

Рахим Йылма лег на бок, укрывшись с головой одеялом. Хотелось еще немного поспать, но рассказ Тазегуль расстроил его. Где сейчас Алгыр? Что с ним? «Давно надо было ему колпачок обновить, – думал он. – Алгыр золотой короны заслуживал, а я ему лоскут кожи пожалел», – корил себя Рахим.

Ему показалось, что со двора донесся знакомый клекот. Он тотчас сбросил одеяло, сел на постели.

– Слышите?.. Вернулся!.. Вернулся, наш Алгыр! Чего сидишь?! – крикнул он перебивавшей рис дочери. – Беги во двор! Кричи: «Хайт! Хайт!»

– Я же вам говорила, папа!

Тазегуль выбежала из кибитки. А Рахим шепотом благодарил Аллаха за то, что тот услышал его молитвы. Но время шло, Тазегуль не возвращалась, и Рахим Йылма потерял терпение. «Хайт! Хайт!» – несколько раз крикнул он. На его зов в кибитку вернулась Тазегуль. Глаза девочки были полны слез.

– Он вернется, папа! Обязательно вернется!

– Дура! – разозлился Рахим. – Трудно было пару раз «Хайт!» крикнуть? Чтоб ты хлебом подавилась!..

Он торопливо оделся, вышел из кибитки, пошел к навесу, под которым жил его беркут. Здесь было пусто, а потому сделалось Рахиму тоскливо. Конечно же клекот беркута ему только почудился. Он почувствовал, что хворь возвращается в его тело и побрел в дом. Там, не говоря никому ни слова, разделся и снова завалился спать.

Разбудил его чей-то голос. Рахим выглянул из-под одеяла. В юрте была одна лишь Тазегуль. Рассадив у сундука своих кукол, девочка разговаривала с ним:

– ...Алгыр тоже скучает по папе. Проголодается и прилетит, чтобы ему папа мяса дал. А ты, Абадан, почему улыбаешься? – сказала она, беря в руки одну из кукол. – Не веришь? Вот тебе!.. Вот тебе, дурочка! Чтоб ты хлебом подавилась! Наш Алгыр обязательно вернется!

Хотя Рахим Йылма понимал, что беркут теперь уже не прилетит на своей хекем, ему очень хотелось верить словам Тазегуль. «Пусть будет, как она желает», – прошептал он и улыбнулся. Улыбнулся впервые с тех пор, как слег.

Когда Рахим был здоров, он порой не замечал, как проносится день, и временами делалось страшно, что так же быстро промелькнет вся жизнь. Теперь же, когда он лежал в постели, всякий день тянулся дольше вечности. И, как назло, почти не было желающих его проводить, а если и приходил кто, так не задерживался: посидев рядом с больным только ради приличия, торопились по своим делам. Рахим Йылма виду не подавал, но в душе проклинал этих лицемеров. «Если идешь к больному, так прихвати что-нибудь вкусенькое, посиди с ним, поговори», – рассуждал он.

В дни болезни Рахим с удивлением обнаружил, что лишь его сосед по-настоящему заботлив. Хотя у Ябана имелось немало причин обижаться, тот каждый день заходил справиться о здоровье, причем не с пустыми руками и всегда предлагал помощь: «Если что требуется – не стесняйся, Рахим, только скажи. Болезнь-то не вечно над человеком властвует». Эти посещения сделались привычными настолько, что когда Ябан задерживался, Рахим Йылма начинал раздражаться по всякому пустяку, ему казалось, что все его забыли, точно он уже умер.

Вечером, когда Ябан появился на пороге, держа перед собой миску с угощением, лицо Рахима расплылось широкой довольной улыбкой.

– Проходи, Ябан-джан! Проходи, дорогой! – приветствовал он гостя.

– Ну, как дела? Поправляешься? – осведомился Ябан, ставя на край дастархана миску с куртуком. – Утощайся, сосед. Только что приготовлено.

– Да вознаградит тебя всемогущий Аллах, Ябан-джан. Поверь, я так рад твоему приходу. В дни болезни люди познаются. Я ведь знаю, что кое в чем виноват перед тобой.

– Оставь этот разговор, – смутился Ябан.

– Нет, нет. Вот и давеча твоего Хыдыра наш шалопай обидел. Уж не знаю, когда этот сукин сын человеком наконец станет. Ничего, вот поправлюсь, я его так взбучу, что он света не увидит.

За едой говорили о разных пустяках. А когда поужинали, Рахим почему-то забеспокоился, сделался суетливым, точно ему предстояло сообщить что-то малоприятное, и, наконец, заглядывая Ябану прямо в глаза, словно желая прочесть, как тот отнесется к его словам, начал говорить о наболевшем.

– Когда черепаха случайно на спину перевернется, сородичи ее не бросают. И дикий жеребец не оставит свой табун, если грозит опасность. Наоборот, сам под пули бросаться будет. А ласточки?.. Чужих птенцов, если те осиротели, выкармливают. Вот и объясни мне, Ябан-джан, отчего люди самые неблагодарные из всех божьих тварей. Нет, не спорь. У меня ведь глаза есть, вижу, кто чего стоит. Взять тебя: среди ночи, сном своим жертвуя, отправился за лекарем. Поверь, сердце мое этого никогда не забудет. Мало на свете таких людей, как ты! Эти вещи понимать начинаешь, когда нет сил голову от подушки оторвать. Вот, Нургельды... Прямо тебе скажу: ошибался я в нем! Что делать, видно и меня некипяченым материнским молоком выкормили! Только, понимаешь, из грязи вылез, сразу нос задирает стал. Ни разу, негодяй, о моем здоровье не справился! А если бы я барана зарезал, так он бы вмиг тут оказался. Жрал бы, да меня нахваливал. Клянусь!..

Разговор затянулся до поздней ночи. И надо сказать, что речи соседа лучше всякого бальзама залечили раны Ябана, раны от обид, причиненных ему в разные годы Рахимом Йылма. Когда возвращался домой, душа Ябана пела, точно весною. Еще издали он заметил двоих, а когда приблизился услышал взволнованную речь парня:

– Я уж не знаю, что еще делать. Не могу же я напрямик им сказать. А уж чего только не делал! Взгляни на мой лоб. Пять раз на глазах у матери о притолоку лбом ударялся. Другая бы сразу догадалась, что сын вырос и его пора женить. А моя никаких намеков не понимает. Знай себе твердит: «Расти, сынок, нам на радость». Я уж и кричал им. Вышел вечером из кибитки и крикнул: «Пора сына женить!». А они сделали

вид, точно ничего не слышали. Не горюй, милая! Все будет, как мы хотим. Клянусь, месяца не пройдет, как моя матушка придет к вам с дастарханом...

Ябан узнал голос Дурдымурада. Вспомнил, что у соседского сына в последнее время все время разбит лоб, и, усмехнувшись, пожалел бедолагу, у которого такие недогадливые родители.

Самому Ябану ни разу в жизни не доводилось ходить на тайные свидания с девушками. Такое ему только снилось ночами. Но, как наяву, пьянил влекущий взгляд черных глаз. Он брал в свои нежные девичьи ладони. Дрожь волнения пробегала по телу. Набравшись смелости он обнимал красавицу, и, задышав благоуханием ее волос, гладил длинную косу.

Безропотно ждал Ябан того дня и часа, когда удастся вновь перекинуться парой слов с соседкой. Не только ночью, но и днем, стоило лишь закрыть глаза возникала она перед его мысленным взором. О, как прекрасны девушки, которые доступны нам только в мечтах! Но увы, огонь в сердце соседской девчонки воспламенил не Ябан, а совсем другой парень. После этого она перестала ему являться даже в снах...

Теперь Ябана влекло к этим двоим не столько любопытство, сколько желание прикоснуться или хотя бы приблизиться насколько возможно к чужому счастью. Он был уверен, что эти двое счастливы настолько, что и у всех, кто рядом с ними, нет никаких забот и тревог. Увы, размечтавшись, Ябан не заметил присыпанного снегом хвороста, оступился, и чуть не упал.

Шум встревожил молодых. Дедушка от испуга на миг прижалась к парню. Но тотчас отстранилась и кинулась прочь.

– Эй, кто там?! – крикнул Дурдымурад.

Ябан спрятал лицо в ладонях. Он понял, что мечты его разбились и, более того, их осколки острыми иглами вонзились в его сердце. Он услышал, как стукнула дверь его дома.

А Дурдымурад тем временем подошел поближе и озирался, выставив перед грудью кулаки.

– Эй, ты! Если мужчина, выйди, не прячься. Или я тебя сам найду! – Голос Дурдымурада звучал звонко и требовательно.

Разгневанный Ябан вышел на свет.

– Я тебя сейчас так найду...

– Ой!.. – Дурдымурад узнал Ябана и бросился наутек.

Возмущенный поведением дочери Ябан, не разбирая дороги, брел к своей кибитке. Споткнулся, упал, больно ударил колено. Пошарил рукой по земле, желая найти палку, чтоб как следует проучить Огульсенем. Но потом вспомнил слова ишана о том, что отцу не подобает наказывать дочь, это дело матери, иначе жизнь девочки будет несчастливой. Теперь он готов был во всем винить Джумагуль. «Если мать, как мать, она должна знать, что в голове у дочери! – распалял он себя. – А, может, она знает?».

– Что стряслось, отец! – воскликнула Джумагуль, когда Ябан вошел в дом. – На вас лица нет!

– Больше всего не люблю бродить ночами, неизвестно с кем встретишься, – сказал Ябан, оглядывая кибитку. Огульсенем уже лежала в постели, до глаз укрывшись одеялом. – Что это она так рано в постель залезла?, – спросил он, обращаясь к жене. – Уж не умирать ли приготовилась?

– О чем вы это, отец? – удивилась Джумагуль.

– О том!.. Не видишь, жена, что у тебя под носом творится!

Беркут встрепнулся на хекеме, всплеснул своими большими крыльями. Ябан сел на кошму рядом с Тарланом, дорожащими от волнения пальцами коснулся золотистых перьев на затылке птицы. Почувствовав хозяйскую руку Тарлан успокоился.

– Горячая вода есть?

Джумагуль смутилась, покраснела. Кинула быстрый взгляд в сторону Хыдыра, проверяя спит сын или нет. Тот нырнул с головой под одеяло.

– Так есть у нас горячая вода? – повторил Ябан.

– Полный кумган, отец.

– Хорошо. Сынок, помоги мне, – сказал он, пододвигая к себе таз. – Давно мы что-то Тарлана не купали. – Он взял беркута, стал снимать с него колпачок. – Полей-ка водички... – приказал он Хыдыру от чего-то дрогнувшим голосом.

Больше всего на свете Тарлан любил купаться. Оказавшись под струей теплой воды, беркут, блаженствуя, закрыл глаза. Весь вид его говорил о желании растянуть купание подольше.

– Видишь, Хыдыр, беркут готов каждый день купаться. Не то, что ты...

Но всему на свете приходит конец. Кончилась и горячая вода в кумгане. Куском полотна Ябан обернул птицу, сел с ней поближе к огню. Чтобы перья поскорей обсохли, отжимал их рукой. Все это помогло ему немного успокоиться, хотя и не отвлекло от тяжелых дум.

Этой ночью он долго не мог заснуть. То, что Огульсеном, его дочь, тайком ходит на свидания с парнем, оказалось для него настоящим ударом. Однако, перебирая в памяти события последних дней, он не без удивления обнаружил, что давно уже ему следовало насторожиться. Он припомнил, как при нем расхваливала сына Зохра, как Огульсеном вступилась за Бабакулы, как Дурдымурад хотел подыграть ему на состязаниях... Все это было неспроста. Чем больше он размышлял, тем все более запутанными представлялись ему события последнего времени, а поступки близких – дочери, жены – подозрительно странными. «Коль уродился простаком, так всякий свой кол выше твоего поставить норовит, – корил себя Ябан. – Ну, о чем еще говорить, если жена, что делит с тобой все невзгоды, и дочь, который ты подарил жизнь, даже они – против тебя. Одних детей Аллах забрал, других... избаловали. Чем больше для детей делаешь, тем меньше они это ценят. Верно старики говорят: «Кто не наказывал дочь сызмала, позже сам себя высечет!...»

Под конец Ябан решил, что в лепешку разобьется, но дочь выдаст замуж честь по чести. Заснул он с мыслью, что утром отправится на охоту, чтобы немного развеяться.

5. На охоте

Увидев, что отец собирается в пески, Хыдыр упросил взять его с собою. Ему очень хотелось увидеть ручного джейрана, о котором он столько слышал. Ябан не стал отказывать сыну.

Пески были для Ябана всем. К ним стремилась его душа и в радости, и в горести, ибо он знал, что среди бескрайнего простора пустыни вновь сможет обрести душевный покой. И на этот раз пески встретили отца с сыном радушно, как желанных гостей. Ябану казалось, что из зарослей саксаула доносится негромкая мелодия, – то завывал налетающий несильными порывами северный ветер. В другой раз он, может, и подпел бы. Но сейчас Ябану было не до песен. Он все еще оставался во власти тяжелых дум, и, занятый ими, мало на что обращал внимание.

Чуть приметная тропа, петляя, вела в глубь песков. Лошадь, чувствуя, что всадник не торопится, ступала размеренным шагом. Беркут дремал на плече у Ябана. Хыдыр сидел за его спиной, озирался в надежде первым заметить дичь, но пески точно вымерли.

Внезапно лошадь шарахнулась в сторону и тревожно заржала, а вслед за ней пронзительно закричал Хыдыр. У поворота тропы стояла пара гиен-корсаков.

– Эх, ты!.. Храбрец называется!.. – крикнул Ябан.

Он знал, что опасаться гиен нет причины – те отступят. Но гиены растерялись и стояли на тропе, не желая уступать ее людям. Наконец они пришли в себя и, чтобы не уронить достоинства, негромко зарычали, а затем метнулись в сторону и через миг исчезли из виду, сделавшись неотличимыми от таких же рыжих, как они, песков.

– Знал бы, что ты такой, ни за что бы не взял с собой на охоту,

– Я не испугался, – начал оправдываться Хыдыр.

– Да уж я видел, – сказал, трогая лошадь Ябан.

Хыдыр еще долго не мог прийти в себя. Перед глазами у него стояли гиены. С виду отличающиеся от собак только необычным полосатым раскрасом, они тем не менее здорово напугали его: что-то угрожающее было в их вздыбленной шерсти, в пронзительном взгляде исподлобья. Ему чудилось, что проклятые твари крадутся следом. Он, боясь оглянуться, прижимался к спине отца, и повеселел только когда они выехали на равнину.

Ябан чувствовал состояние сына, но виду не подавал. Он уже начал присматриваться к окрестностям, в поисках дичи. Иногда пробегал в дали одинокий джейран или заяц, но Ябану жалел этих одиночек. Он знал, что стоит только джейрану потерять свое стадо – никакое другое его уже не примет. Одиночка может надеяться только на себя, говорят же, что сирота сам себе пуповину перерезает.

– Папа, папа, смотри! – раздался восторженный крик Хыдыра. – Джейран!

Из ближних зарослей, навстречу им прыжками приближался молодой джейран. Ябан остановил лошадь, спешил и шагнул ему навстречу. Джейран доверчиво ластился к ногам охотника и тихонько блеял. При виде его Ябан растрогался.

– Ах ты, бедолага, – приговаривал он, поглаживая джейрану спину. – Хватит, хватит, успокойся.

Только самому себе признавался Ябан, что своей неуместной жалостью он губит джейрана. Тот растет неженкой, сам даже прокормиться не может, хотя в округе вдоволь хороших пастбищ. Что станет с ним, если он, Ябан, перестанет подкармливать его? Ябан знал ответ. «Вот, что такое «неразумная любовь», – думал порой Ябан.

Джейран родился и вырос в этих местах, здесь же он потерял мать и остался сиротой. Эта низина была его миром, который он не решался покидать, хотя за грядой барханов лежали места, где трава погуще. Неподалеку от этого места его слабого и голодного нашел однажды Ябан. И хотя джейран очень привязан к Ябану, даже вместе с ним он не решается покинуть родные места. Когда провожает, доходит до чуть приметного холмика и дальше – ни шагу. Играет возле холмика, смотрит вслед другу и защитнику, пока тот не исчезнет из виду, но невидимую границу переступить не смеет, сколько ни зовет его Ябан.

В сопровождении джейрана они добрались до шалаша, который служил Ябану станом. Он сам соорудил его, здесь хранился нехитрый скарб, необходимый охотнику вдали от дома. Здесь же обитал джейран. Войдя в шалаш, Ябан сразу заметил, что кто-то побывал здесь в его отсутствии. Тунче стояло на своем месте, но кто-то почистил его. Прежде оно было совсем закопченным. Прибавилось и имущества: появились две небольшие подушки и одеяло – старое, но целое. Сколько ни гадал Ябан, он так и не придумал, что за добрая душа оставила их здесь.

Он развел костер и поставил кипятить в тунче воду для чая. Достал из переметной сумы половину лепешки из джугары, и, подперев сзади палочкой, поставил ее разогреваться возле костра. Когда верхняя корочка от жара костра стала чуть темнеть, ловко повернул горячую лепешку другой стороной.

Обычно в шалаше было полно дыма, и он нещадно ел глаза. Сегодня дым столбом тянулся к небу, и это было верной приметой того, что скоро пойдет снег. С запада ползли низкие облака. Глядя на них Ябан подумал, что ноша, которая придавила его сердце, пожалуй, ничуть не меньше этих туч, похожих на тюки с шерстью. Эти черные тяжелые тучи раньше или позже обрушат на землю снегопад, или прольются дождем. Отчего человеческое сердце не может так же просто избавиться от своей ноши? Все оттого, что мужчинам не к лицу слезы. Но как же тогда облегчить душу?!

– Папа, смотри какие тучи, – тронул его за локоть Хыдыр. Ябан ничего не ответил – только кивнул и стал заваривать чай. Двумя хворостинами снял с огня тунче, бросил в кипяток заварки, трижды, чтоб было покрепче, переливал чай из кувшина в пиалу и обратно.

Внезапно совсем близко раздался волчий вой. А спустя немного времени на вершине бархана показались сами волки. Они были всего в десятке шагов от шалаша.

Хыдыр испугался, но виду не подал. Смотрел на волков, круглыми от страха глазами, и в груди у него накапливался противный холод. Волки были побольше аульских собак.

– Не страшно? – сказал Ябан.

– Нет!

Через некоторое время волки ушли своей дорогой. Хыдыр с отцом приступили к трапезе. Горячий чай постепенно растопил льдинку, что лежала под сердцем.

– Папа... – начал Хыдыр, но умолк, и только после глотка чая продолжил. – Папа, я тебе что-то скажу, только ты никому об этом не рассказывай. Ладно?

– О чем это?

– Знаешь, папа, я испугался. Только ты никому об этом не говори, иначе мне проходу не будет.

– Ты же говорил, что не страшно?

– Говорил... А на самом деле испугался, – признался Хыдыр, отводя взгляд в сторону.

6. Станный разговор

Когда человек болен и прикован к постели, мысли его редко устремлены в будущее. Что понапрасну мечтать, если все в руке Аллаха и только от него зависит: ждет ли человека долгая счастливая жизнь или дни его уже сочтены. Куда полезней, вспоминая минувшее, пытаться найти там знаки, предвещавшие нынешние неудачи. Чем чаще перебирал Рахим Йылма в памяти события последних дней, тем ясней становилось ему, кто оказался вестником беды.

Этого наездника было ни с кем не спутать. Что ни выделял под ним конь, Нургельды сидел в седле как влитой. И точно так же, словно каменное изваяние, застыл на его руке ловчий беркут Нургельды – Бек.

Узнав всадника еще издали, Рахим Йылма засуетился. Разгладил усы, приосанился. Рахим происходил из состоятельной и почитаемой семьи, но самому ему не удалось добиться в жизни ни особого положения, ни уважения односельчан. Тем больней переживал он возвышение других. «Да кто ты такой? – ворчал он, подкладывая дров в костер. – Думаешь, если мирабом стал, так теперь самый главный? Раньше слюни пускал от радости, что я с тобой заговорил, а возомнил, что мы ровня. Ничего, ты у меня еще узнаешь, где запад, где восток!».

– Я так и думал, что это ты все Каракумы закоптил, – вместо приветствия крикнул Нургельды. – Что, гелнедже голодной оставила? Так тебе и надо, старый хрыч! Доставлял бы жене удовольствие, так и она б тебя на руках носила. А коль сил – кот наплакал, обнимайся здесь с саксаулом, ха-ха-ха!

– Присаживайся к огню, Нургельды-джан. Попей со мной чайку.

– Эх, Рахим, бессильному никакой чай не поможет, – сокрушенно покачивая головой, продолжал насмехаться Нургельды. – Старые кости одеялом не согреешь! Что ты здесь валяешься?! Нет, чтоб о семье позаботиться! Уж не думаешь ли ты, что твоя доля сама на тебя с неба свалится? Знай, это только сова к человеку незваной прилетает!

– А то я не знаю, что удача сама не приходит. Пол дня мотался, вот и решил чайку попить.

– И это за пол дня вся твоя добыча? – сказал, указывая взглядом на пустой мешок Нургельды. – Небогато.

– Какая теперь охота...

– Какой охотник, такая и охота, – усмехнулся Нургельды, к седлу которого были приторочены джейран и два зайца. – Дичи полно. Просто твой Алгыр уже, как и ты, ни на что не годится.

– Да ты знаешь, какой у меня беркут! Елбарс-бай за него отару предлагал, а я отказался. Клянусь!

– Хватит!.. хватит!.. Размечтался, старый обманщик.

– Да я в иной день с этим беркутом до тридцати лис беру!

– То-то я и вижу, что ты пустой мешок караулишь.

– Сегодня у меня другие намерения.

– Какие же это?

– Ты знаешь, что в чалмаре у Ябана джейран живет? Я, между прочим, за ним сюда приехал. У Ябана никакого понятия. То он хромого джейрана подкармливал, теперь этого. Когда я хромоножку подстрелил, так он чуть не плакал. Накинулся на меня. «Как ты мог?!» – кричит. Вот только лишний шум мне ни к чему, иначе б я давно уже этого джейранчика пустил пастись за облаками.

– Только тронь!

– А что будет?

– Узнаешь, – отрезал Нургельды. – Не с Ябаном, со мной будешь дело иметь. Понял! И вообще, нечего тебе здесь хозяйничать. Вырой свой колодец, поставь шалаш и прохлаждайся там сколько душе угодно.

– Шутишь, Нургельды-джан?

– Еще тебя здесь увижу, тогда узнаешь: шучу я, или нет!

– Ябан никому здесь отдыхать не запрещает.

– А я запрещаю. Понятно?!

– Понятно, – повторил Рахим Йылма, удивляясь с чего это Нургельды защищает Ябана и его джейранчика.

– Вот какой ты у нас понятливый, – рассмеялся Нургельды. – Снег сегодня будет?

– Откуда мне знать, – огрызнулся Рахим.

– Ты же сам говорил, что тебя перед непогодой блохи кусать начинают, ха-ха-ха! – Нургельды прищипорил лошадь. – Будь здоров, Рахим! Да запомни: чтоб я тебя здесь больше не видел.

– Что ж ты, Нургельды-джан, даже чайку не попил? – крикнул Рахим Йылма, глядя вслед гарцующему всаднику, а когда тот скрылся из виду, выругался: – Балбес!.. С водой к тебе, мираб, богатство пришло, как вода и схлынет! Недолго твоей арбе скрипеть осталось!

Потом Рахим допил чай, укрыл хворостом сложенное из стволов саксаула устье колодца, зашел в шалаш, чтобы оставить там тунче. Напоследок погрел над догорающими углями костра руки, отвязал от лапы Алгыра привязь, на которой тот разгуливал неподалеку от шалаша, забрался на лошадь и поплотней закутался в шубу, его почему-то знобило. Он кинул прощальный взгляд на шалаш, в котором дремал джейраненок. Но брать его Рахиму расхотелось. Мысли были заняты одним: отчего это Нургельды заделался вдруг защитником Ябана?

Он размышлял над этим, покачиваясь в седле, но вдруг его лошадь наострила уши и коротко заржала. Верно говорят, что кобыла ногами видит. В трех-четырех шагах от тропы убегала зарослями перепуганная лисица. Помня охотничью примету, что братья одинокого зверя к беде, Рахим, хоть соблазн был и велик, не стал тревожить своего беркута. Но когда некоторое время спустя та же лисица вновь пересекла его тропу, он решил – была не была! – и снял с Алгыра колпачок.

Беркут медленно повел головой, оглядывая окрестности, заметил лисицу и взлетел. Набрав высоту, он завис там на несколько мгновений, удерживая себя редкими взмахами крыльев. Потом послышался характерный свист, это беркут ринулся вниз. Он падал камнем, потом полетел над землей и скрылся из виду за барханом. Через некоторое время Алгыр показался вновь, но добычи у него в когтях не было. Рахим встревожился: «Что это? Неужто беркут упустил такую легкую добычу?».

Алгыр стал снова набирать высоту. Он поднимался все выше и выше. Было похоже, что птица собирается атаковать вновь. Но вместо этого беркут развернулся по ветру и полетел прочь. Рахиму показалось, что в своих когтях Алгыр уносит его сердце.

– Хайт! Хайт! – завопил он, размахивая руками.

Его крик эхом отозвался в пустынном просторе. Алгыр улетал. Рахим Йылма прищипорил лошадь, поскакал вдогонку за беркутом. Один бархан за другим оставлял он у себя за спиной. Нагайкой нахлестывал ни в чем неповинную кобылу, пока рука не онемела, но беркут так и не вернулся на его зов.

От этих печальных воспоминаний к реальности вернул его голос жены.

– Что с вами, отец детей моих? Побледнели так. Уж не лихорадит ли снова? – Она раскинула перед ним скатерку. – Я снова лапшы приготовила. Съешь унаш, пропотеешь, как следует, хворь и отступит. Я и горстку маша бросила. Меня еще бабка учила, что маш самое верное средство от простуды. А голову, давай, платком повяжем. Надо пропотеть. И не вздумай раскрываться, а то – ни дай Бог! – просквозит снова. Погода-то совсем испортилась. Не вставай, не вставай. Давай-ка, лучше еще одну подушку подложу. – Все так же беспрестанно тараторя, Зохра принесла таз и кувшин с подогретой водой. – Ополосни руки, отец! Позволь я тебе полью...

Рахим подивился многословию жены. Он догадывался, что тому наверняка имеется какой-то повод, но спрашивать ни о чем не стал. Не говоря ни слова, омыл руки, придвинул поближе к себе миску с лапшой и стал есть.

Зохра тем временем заварила чай и, наполнив праздничную, с позолотой пиалу, поставила ее перед мужем. Сама же сидела напротив, с умилением глядя на Рахима.

– Перестань шуметь! – прикрикнула она на Бабагельды, который затеял игру в бабки. – Чтоб ты провалился, проклятый! Из-за этих шалопаев спокойно и чаю нельзя попить, – разворчалась Зохра.

– Не шуми, жена! Глазом моргнуть не успеешь, как эти львята настоящими львами станут. Будет у каждого своя охота, своя львица! На кого тогда ворчать станешь? Ничего тебе делать не останется. Будешь к ним в гости ходить, на почетном месте сидеть и на внучат любоваться.

Рахим Ыльма рисовал эту полную благодати картину, чтобы успокоить расшумевшуюся жену, но достиг совсем не того, к чему стремился. Его слова оказались тем самым камушком, от которого срывается с горного склона грозная лавина.

– О внуках он размечтался!.. Ты сначала сыну дом поставь, чтоб было где гнездо свить. Жени его. Глянь, каким красавцем наш Дурдымурад стал! Вовремя сына женить – это родительский долг. Соседская Огулсенем, да, это не девушка, а настоящий цветок!..

– Опять ты за свое? – попытался остановить жену Рахим, но было уже поздно.

– Хоть одета и скромно, а все равно среди сверстниц выделяется. Тьфу-тьфу-тьфу на дурной глаз! А Дурдымурад-то наш не промах! Разбирается, что к чему. Я поначалу все в толк взять не могла, чего это он перед их кибиткой, заломив папаху, разгуливает. Руки у нее, поверь мне, отец, золотые прямо...

– Тебе только дай волю язык почесать, так ты пятерых переговоришь! Надо меру знать! Нашла, кого расхваливать.

– За эту девушку ее дела говорят, – не унималась Зохра. – Ты ел куртук, да нахваливал. А его, между прочим, Огулсенем готовила.

– За что я тебя, Зохра, всегда хвалил, так это за сообразительность. А теперь?.. Что это за детские разговоры? Разве ты не поддержала меня, когда я решил женить сына на дочери Нургельды, а?

– Поддержала!

– Так что ж ты теперь зря языком молотишь! – возмутился Рахим. – Не этими ли самыми словами ты дочку Нургельды расхваливала. И умница она, и красавица, и руки у нее золотые... Может, тебе все равно, кого хвалить? Только я, между прочим, по твоему же научению уже ходил к Нургельды свататься. Что он теперь скажет, если я к Ябану свататься пойду? Ты бы об этом лучше подумала.

– А то я не думала. Мне самой-то лучше дочки Нургельды никакой невестки не надо.

– Так о чем разговор?!

– Нам нравится, а сыну не нравится. Беда, да и только. Не думала я раньше, что так может быть. А он уперся, ни о ком кроме Огулсенем и слышать не хочет. Зачем станем сына неволить?

– Не такая уж это тяжкая неволя – объятия красавицы. В них обо всем на свете забудет, – усмехнулся Рахим.

– Я вот еще о чем тревожусь, отец, – острожно сказала Зохра. – Как бы не отказал нам Нургельды.

– Почему?

– Аппетит у него знаешь какой? Будет богачей искать. Мы для него никто.

– Брось ты! И мы не меньше богачей дадим. А если потребуется, то и побольше. Ты же знаешь, я с ним всерьез только один раз говорил. А принял он меня, между прочим, как родного, с кем много лет не виделся.

– То-то ты от него вернулся быстрее, чем ветер следы замел, – съязвила Зохра.

Рахим сделал вид, что не слышит ее колкостей.

– Да он волчком вокруг меня вертелся. Выставил все самое лучшее. «Если, – говорит, – на конец ветки привесить камень, то она в конце согнется. Нынешние жены, дорогой гость, вроде этих камней. Пилят и пилят своих мужей до тех пор, пока те против своей воли не пойдут той тропкой, какую они для них выбрали. Как ни горько сознаваться, Рахим-ага, но и я не исключение. Перед тем, как согласие дать, надо с женой посоветоваться». «Что ж, – говорю, – ты, Нургельды-джан, точно мне в душу заглянул!» Вот весь разговор, слово в слово!

– Если б так и было, мы бы уже давно свадьбу сыграли. Я тебе вот, что скажу. Коль девушка сыну приглянулась, так не станем мешкать. Пускай Нургельды хуже будет. А Ябану за честь с нами породниться, тянуть не станет. Между прочим, к ним в дом сваты ну, точно, твои муравьи дорогу проложили. Только из уважения к нам они до сих пор никому согласия не дали.

– Это их дело.

– Все село говорит, что Дурдымурад и Огулсенем любят друг друга.

– Небось сама эти слухи и разносишь! Ты же у нас, как квочка, еще яйца не снесла, а уже за пол дня кудахчешь. Великое дело – сына женить! Можно подумать, что только у тебя одной сын есть.

– А заботы о детях все на мне! Знал бы ты, что это за тяжесть.

– Будто я о детях не забочусь! – обидел Рахим. – Но я еще и о завтрашнем дне думаю.

Между тем, слова жены все больше подтачивали непреклонность Рахима. Чего уж проще, махнуть на все рукой и привести в свой дом дочь Ябана. Только много ли проку от этого? – размышлял он. Ябан, этот простак, и так ни в чем не отказывает. Другое дело Нургельды. Да-а, кто с мирабом породнится, тот без воды не останется. А как же иначе!.. Не допустит Нургельды, чтобы собственная дочь нужду терпела.

Но напрямик о своих резонах не сказал.

– Твоя любовь к детям, женушка моя, ну, точь в точь, как у верблюдицы. Та, чтоб свое дитя спрятать от всех, ляжет на верблюжонка да и раздавит его. – Рахим мельком глянул на Зохру, проверяя, как она восприняла его слова, потом прибавил: – К тому же дочь Ябана – тихоня...

– Радоваться надо, что тихоня...

– Не скажи. Что в этом хорошего? Мне нравятся женщины напористые, с характером. Своим достатком, скажу по совести, мы наполовину твоей настырности обязаны. А жена Ябана?.. От нее никогда слова лишнего не услышишь – вот поэтому и живут в бедности!

– Не надо мне никакого богатства, – неожиданно заявила Зохра, – были бы только сыты, одеты... Да чтобы радость в доме была! Ни о чем другом не мечтаю. Ну, скажи, ты хоть раз с детьми по-человечески разговаривал?! Шутку, доброе слово они от тебя слышали? Нет, не было такого! Что толку в богатстве, если счастья в доме нет? На тот свет сундуки с собой не потянешь. Нашел, чем гордится: кучкой плешивых овец!.. – Выговорившись, она резко поднялась и стала убирать грязную посуду. Некоторое время покой дома нарушал только стук мисок друг о друга. Но это затишье тянулось недолго. – На днях Нурджан-ишана видела. Интересовался, когда у нас свадьба будет. Я сказала, что обязательно его на той позовем.

– Мелешь языком, что попало!.. О, Аллах! – простонал Рахим Йылма, переворачиваясь на другой бок, лицом к стене. – Клянусь, еще когда ты ужин подавала, я сразу понял, что и улыбки твои, и слова льстивые – это все не просто так!

Но больше всего Рахим был зол сейчас на сына.

«Дурак, ах, какой дурак! – в мыслях распекал он Дурдымурада. – Красотой по молодости лет обольстился. А на кой, спрашивается, человеку красота? От остывшего чая и то проку больше. Им хоть жажду утолить можно! Не о красоте думать надо, а о своем завтрашнем дне. Не пара тебе дочь Ябана, не пара! Сейчас ты для людей человек, у которого свой дом есть, да и в доме кое-что имеется. А не будет у тебя поддержки, так и уважать перестанут. Нищий никому не нужен! Если можно за твой счет пожить, вот тогда люди приветливы. А если проку им от тебя нет, то и лишним словом с тобой не перекинутся. Перед зятем Нургельды все шапки ломать станут, везде будешь желанным гостем. Пусть не красавица, пусть упрямая... Ничего! Это даже неплохо. С такой женой не побездельничаешь. А ведь мы, мужчины, какие?.. Не будет жена все время пилить, так и станешь лодырем. Вот в чем правда-то!»

7. Река отчуждения

Какими бы натянутыми не были отношения между двумя семьями, Рахим и Ябан, как подабает соседям, при встрече приветствовали друг друга и, как ни в чем не бывало, болтали о пустяках. Но эти разговоры не могли, конечно, иссушить холодную реку взаимной неприязни, что разделяла их. Истоки ее были в далеком прошлом. С детства они недолгоблively друг друга. Тем не менее дело никогда еще не доходило до открытого столкновения.

С детства Ябан свои обиды не прятал, говорил обо всем напрямик. Рахим был совсем другим. Как бы он ни злился, виду не подавал, но исподтишка мстил. Даже когда они оба женились, река холодности, что разделяла их, не пропала. Временами эта река разливалась, как море, временами пересыхала, превращалась в ручеек, но исчезнуть совсем не могла. Однако случалось, что то одному, то другому приходилось вступить в ее холодную воду, чтобы добраться до противоположного берега.

Так было несколько лет назад, когда Ябану пришлось обратиться с просьбой к соседу. Если бы только ломота в коленях, он бы, пожалуй, перетерпел, но Огулсенем, бедняжку, совсем замучали чирья, а у Рахима Йылмы имелись черепашьи яйца и пеликаний жир, что и заставило Ябана переступить соседский порог.

– Правильно сделал, Ябан, что пришел, – сказал Рахим, выслушав его просьбу. – Лучше этих снадобий не найти.. Хворь, как рукой, снимают. Ты и представить себе не можешь, сколько я сил потратил, чтобы их добыть. А они, можно сказать, тебя дожидались. Понимаешь, обещал я их одному человеку. – Ябан, решив, что это отказ, собрался уходить, но Рахим задержал его. – Что ты, сосед! Ему не к спеху. Для него я еще раздобуду.

Надо сказать, лекарства стоили тех денег, что заплатил за них Ябан. Не прошло и недели, как болезни точно рукой сняло. Благодарный Ябан отправился к соседу.

– Да благословит тебя Аллах, Рахим! Да благословит тебя Аллах! – твердил он одно и то же, не в силах побороть охватившего его волнения.

– Что я тебе говорю! Лучше моих снадобий не найти.

– Что правда, то правда, сосед. Да благославит тебя Аллах! Чтоб тебе самому никогда лекарства не понадобились!

После этого случая отношения между соседями наладились. Чуть ли не каждый день они ходили другу в гости. Ябан не садился ужинать без Рахима. Не перебивая слушал его бесконечные истории.

Весной, когда дайханских забот прибавилось, Рахим по всякому пустяку стал обращаться к Ябану то за советом, то с просьбой о помощи. Поначалу Ябан помогал соседу с готовностью – рад был отплатить Рахиму добром за добро. И все ж временами он испытывал раздражение – сосед, похоже, не знал меры.

Однажды ночью Ябану приснилось, что он отправляется куда-то верхом на верблюде, а после этого услышал он громкое стрекотанье сороки, которое его и разбудило. Только рассветало. Некоторое время он лежал, размышляя к чему бы это за раз приснились две дурные приметы. Но ничего не надумал, и занялся домашними делами, ведь Джумагуль уже больше недели нездоровилось. За хлопотами по дому и застал его Рахим Йылма.

– Бог в помощь, Ябан-джан! Все живы-здоровы?

– Слава Аллаху!

– А я к тебе, Ябан-джан, с просьбой. Пшеница моя созрела, пора жать, я что-то расхворался, не управиться мне одному. Помоги, а то, боюсь, полевки да воробы без зернышка меня оставят.

– Вот беда какая, – вздохнул Ябан. – Я-то свой урожай еще не собрал. Джумагуль хворает, мне и за детьми приглядывать приходится.

– Что с ними случится!

Ябан растерялся. Он принялся объяснять, как туго ему сейчас приходится, но Рахим его не слушал.

– Не думал, Ябан-джан, что ты в трудную минуту откажешься мне помочь. Я и минуты не раздумывал, когда ты пришел ко мне за пеликаний жиром. Не посмотрел, что он другому человеку обещан. Только ты не подумай, что я специально об этом вспомнил. Нет, я человек бескорыстный. Просто к слову пришлось.

– Не отказывай соседу, отец детей, – сказала Джумагуль. – Мы уж как-нибудь обойдемся.

Увы, не обошлись. Из-за того, что помогал притворщику Рахиму убирать урожай, молотить и веять зерно, Ябан взял со своего поля чуть ли не вдвое меньше, чем в другие годы. Уже к середине зимы все запасы кончились. Пришлось снова отправляться к соседу с просьбой. Рахим Йылма клялся и божился, что у него осталось совсем мало, только чтоб посеяться. Ябан знал, что это не так, ведь он сам таскал мешки с зерном в погреб соседа. Он ушел с пустыми руками. И после этого случая вода в реке, что разделала их, стала прибывать.

Однажды зимою они отправились на охоту. Всю дорогу Рахим похвалялся своими охотничьими подвигами. Но вместо похвалы, Ябан только сдержанно заметил, что убивать дичи больше, чем того требуется для пропитания семьи, грешно.

Рахим Йылма, которого это замечание задело, начал оправдываться.

– Ах, Ябан, чего ради детей не сделаешь. Лишь бы они не голодали, лишь бы одеты были опрятно!... Да ради этого и не такой грех на душу возьмешь... А иначе разве стал бы я дичью торговать?!

Поверить в искренность Рахима было трудно. Ведь в его загоне не переводился скот, да и зерна вполне хватало от урожая до урожая, кому, как не Ябану, это знать.

Временами Ябан сравнивал себя с козой, которую повадился доить варан. Те, как известно, большие охотники до молока. Заметив одинокую козу, варан начинает шипеть и бить хвостом по земле, завораживая таким образом свою жертву, а сам тем временем подбирается к ее вымени. Коза стоит неподвижно, словно зачарованная, и приходит в себя лишь от боли, когда варан вцепится в ее вымя. Но освободиться не может и вынуждена терпеть, пока тот не насытится. После такой дойки на вымени козы остается рана, которая досаждала ей долгое время. Казалось бы, это должно послужить козе уроком, но нет – варану удается обманывать ее снова и снова. Так и Рахиму раз за разом удавалось обмануть простодушного Ябана. А тот успокаивал себя тем, что в конце концов за всякое зло последует справедливое возмездие.

Шли годы, вода в реке, разделявшей соседей, то убывала, то прибывала. Сейчас, после того, как у Рахима Йылмы улетел беркут, она вновь начала мелеть. Соседи опять стали ходить друг другу в гости. Но разбирать хворост, что издавна взамен забора складывали на меже, разделявшей соседей, Ябан не торопился. Однако из головы не шли слова Рахима, сказанные тем некоторое время назад. «Что мы из-за всяких мелочей друг на друга обижаемся?! В чужом глазу соринку легко заметить. Ссоримся, сплетни разводим, каждый себя невинной жертвой воображает. А ведь вина на каждом лежит. Знаю, ты на меня, Ябан, обижаешься. Но кто в этом мире не ошибался? Пусть прошлое останется в прошлом!..» Сто раз был согласен с этими словами Рахима Ябан. Оттого продолжал приглашать соседа в гости и сам изредка навещал его, хотя, если честно, делал это без особой охоты, а только чтобы проявить участие к больному.

Но после того, как Ябан увидел свою дочь с соседским Дурдымурадом, он перестал ходить к Рахиму. Ждал сватов. Он был рад, что той ночью сдержался и не избил дочь, ведь больше всего на свете Ябан желал счастья Огулсенем. И хотя трудно было примириться с мыслью, что дочери придется жить в чужом доме, в котором ей никогда не будет так же хорошо, как в родном, и это наполняло душу тревогой, Ябан все же не мог не признать, что Дурдымурад парень, в общем-то, неплохой – вежливый и трудолюбивый.

Иногда ночами, мучаясь бессоницей, Ябан видел перед собой улыбающееся лицо Дурдымурада, мысленно вел с ним бесконечные разговоры. Страшило, что Дурдымурад может стать таким же как его отец, Рахим Йылма. Не мог простить Ябан, что вновь и вновь удавалось Рахиму втереться ему в доверие, обмануть и подчинить себе. «Что верно. то верно: в человеческих слабостях он, как никто, разбирается. Польстит, когда надо, заболеешь – навестит, поговорит, а уж говорить он мастак – и о старине много знает, и о том, что сейчас творится. Но всегда и повсюду выгоды себе ищет. Шагу просто так не ступит. Сколько лет прошло, а он все тот пеликаний жир вспоминает. А я ведь и заплатил сполна, а позже полную склянку пеликаньего жира подарил. Это он позабыл, а что вылечил меня – всякий раз вспоминает. Так и хочется иной раз сказать: «Отруби эту проклятую ногу, только не говори больше, что я тебе обязан». Одна беда: Рахим и после этого от меня не отстанет».

И снова, в который уж раз, давал Ябан зарок быть с Рахимом всегда настороже и по возможности держаться от него подальше.

8. Уговоры

Плохо ты знаешь Нургельды, – сказал Нурджан-ишан, глядя Ябану прямо в глаза. Потом, поправив шубу, продолжил. – Золотой он человек. Нет, нет, послушай. Соглашайся, не раздумывай! В его доме дочь твоя будет, как сыр в масле кататься, в шелках ходить. Да и самим вам давно пора подружиться. Живете поблизости, вот и будете друг к другу в гости ходить. Я слышал, ты опять с Рахимом помирился. И это после стольких лет ссоры. Не разбираешься ты в людях, Ябан. Понаглядке о них судишь. Потом, опять же сидишь ты в самом конце арыка. Из-за нехватки воды каждый год урожай недобираешь. А уж Нургельды бы помог тебе, – Нурджан-ишан умолк и пристально посмотрел на Ябана, ожидая, что тот скажет. Но, когда молчание

затянулось, примирительно произнес: — Ничего, мы тебя не торопим. Ты хорошенько подумай, а мы заглянем через неделю. До свидания!

Только теперь дошло до Ябана, отчего расщедрился Нургельды на тое у Нурджан-ишана. В голове его звучал голос жены: «Нургельды просто так даже пыль со своих ковров не даст. Неспроста это. Что, интересно, ему от нас потребовалось?». Теперь Ябан узнал ответ на этот вопрос. Ни слова не говоря гостям, он решительно направился к загону, и вскоре вернулся, ведя барана, того самого, что подарил ему Нургельды.

— Держи, — сказал он, протягивая Нургельды веревку. — Забери свой подарок.

— Что ты, что ты... — Нургельды торопливо заскочил в седло, пришпорил лошадь. — Счастливо оставаться, Ябан-ага. Мы еще заедем.

Из кибитки донесся плачь — это рыдала Огулсенем.

9. Уговоры (Продолжение)

С наступлением весны, когда установилась теплая погода, Рахим Йылма встал на ноги и окончательно выздоровел. И все же он не чувствовал прежнего удовлетворения жизнью. Ему не хватало Алгыра. Он мечтал занять новую птицу, чтобы охотиться с ней в песках, чтобы вновь жена восхищалась им, когда вернется с богатой добычей, которой хватало и для семьи, и чтобы продать соседям, а остатки преподнести в дар Нурджан-ишану, а взамен получить его благословение. Теперь, не зная, чем занять себя, он из-за каждой мелочи придирался к домашним, а в мыслях вновь и вновь подсчитывал, сколько дней минуло с тех пор, как Алгыр улетел от него. С каждым днем плечи его опускались все ниже и ниже, словно их придавило нуждой. Мысль о том, что надо любой ценой добыть нового беркута, преследовала Рахима днем и ночью. И вот наконец он решился, сложил в хурджун снеди, чтобы хватило на неделю, оседлал кобылу и отправился к Ябану.

Тот неподалеку от загона рубил дрова. Хыдыр помогал отцу, относил поленья в кибитку. Наградой за это ему была сказка. Совершив ходку, Хыдыр бегом возвращался и устремлял на отца требовательный взгляд.

— ...Битва разгорелась. Разъяренные львы горели жаждой победы, но муравьев было много, очень много. Тысячами они гибли, но еще тысячам удалось достичь цели. Они искушали львов так, что те в конце концов взмолились о пощаде. Вот тогда и стало им ясно, почему пророк Сулейман здоровался со львами сидя, а приветствуя муравьев вставал. В конце концов львы и муравьи заключили перемирие. Только рыжие муравьи-древоеды, которые опоздали на битву, до сих пор воюют со львами. И больше всего от них достается льятам. Львы же из-за этого считают муравьев лжецами и клятвоотступниками.

Завидя приближающегося соседа, Ябан прервал рассказ.

— Добро пожаловать, Рахим!

— Ты не на охоте?

— Как видишь! Дома дел поднакопилось.

— А я в горы собрался. Может, составишь мне компанию.

— В горы?

— А что!.. Прогуляемся, Ябан-джан! Мудрые люди говорят, что в этом бренном мире, куда пришли мы на несколько дней, только то и существует, что мы своими глазами смогли увидеть. Хочу взглянуть на священные вершины. Да только в одиночку ехать тоскливо. Я люблю поговорить, ты умеешь слушать, думаю, вдвоем нам неплохо будет. Мне лучше тебя, Ябан-джан, спутника не найти. Ну, как?..

Приветливый вид Рахим Йылмы и его лстивые слова не могли обмануть Ябана — слишком хорошо знал он характер соседа. Ябан сразу смекнул, что Рахим решил отправиться в дальний путь, чтобы добыть себе нового беркута, а вовсе не для того, чтобы любоваться горами. И конечно карабкаться по отвесной скале к орлиному гнезду придется ему, Ябану. «Не вздумай согласиться!» — приказал сам себе Ябан.

— Знаю я там одно урочище, Ябан-джан. Дичи полно. И отдохнем, и поохотимся всласть.

– В горах сейчас опасно, Рахим. Снега еще не сошли. Давай-ка лучше в пески отправимся.

– Что пески!.. Они, Ябан, всегда под боком, надоели уже. Поехали в горы!

Ябан подошел к Рахиму почти вплотную, заглянул ему в глаза.

– Зачем, Рахим, сто раз повторять «мус-мус», вместо того, чтоб сразу сказать «Мустафа», – напомнил он соседу старинное присловье. – Ты остался без беркута и в горах хочешь добыть птенца, так?

Рахим Йылма промолчал.

Ябан взял висевший на изгороди чекмень, набросил его на плечи. Однажды, в такую же пору он отправился в горы и потом дорого поплатился за свое безрассудство – потом почти месяц лежал больной в постели. Но сейчас он готов был забыть даже об этом, если б только мог знать, что Рахим перестанет охотиться ради корысти.

– Послушай меня внимательно, сосед. Много раз я собирался сказать тебе все начистоту, да все как-то не выходило. Но теперь не обессудь, если неприятно будет мои слова слушать. Скажу все, как думаю. Знай: я обрадовался, когда у тебя улетел Алгыр! И мечтаю об одном только: чтобы больше никогда у тебя не было ловчей птицы. Думаю, ты знаешь, почему!

– Я думал, сердце у тебя добрее, Ябан. Видно, ошибался. – Рахим отступил на шаг, и вдруг заговорил быстро, сбивчиво. – Ты знаешь, Ябан, у меня в доме все есть. Все, что душе угодно. И ничего лишнего мне отныне не надо. Как Алгыр улетел, я многое передумал. И поверь, я теперь другой человек. Нурджан-ишан говорит, что эта птица была на хоругвях всех потомков Огуз-хана, всех берущих начало от него племен и родов, ибо первыми приручили беркутов для охоты наши предки.

– Наверное это так, но они охотились по совести, и добывать дичи больше, чем требуется для пропитания, всегда считали грехом.

– Это правда, и я – клянусь! – никогда не согрешу впредь. Охотиться стану только для души. Нет ничего в мире дороже взаимного понимания. И когда я в песках, мне кажется, что я понимаю весь мир, и он понимает, что у меня на душе. Не могу существовать без песков, без степного простора. Сердце мое отдыхает, когда пью чай в твоём шалаше, будь благословен построивший его! И беркут для меня больше, чем просто птица. Без него я сам не человек. И поверь, отныне мне чужда алчность. Говорю об этом искренне. Верно люди говорят, какова бы ни была беда, она с человеком не вечно. Помнишь, когда ноги у тебя болели, ты ведь готов был уже отчаяться. Я, как глянул на тебя, сразу понял, что в твоей душе творится...

10. Гнездо беркута

Уже начало смеркаться, когда наконец достигли гор. Дальше путь лежал по узкой тропе, что вела в глубь ущелья. Ехали молча; тишину нарушало только цоканье копыт, да вторившее ему гулкое эхо.

– Пожалуй, здесь остановимся, – подал голос Рахим. – Хорошее место, тихое. – Небольшая площадка, защищенная от ветра огромными валунами, была и в самом деле удобным местом для ночлега. – Мы здесь в прошлый раз с Нургельды останавливались. А вот там, – Рахим Йылма указал взглядом на вершину скалы, нависшей над местом их привала, – гнездо беркута. Ох, помню, как я туда карабкался. Да еще ночью – представляешь! Думал, ночью беркут спит, а он, чертова птица, напал на меня, чуть глаза не выклевал. Но я своего достиг. Когда вниз спустился, Нургельды подколоть меня хотел. «Где, – спрашивает, – Рахим-ага, добычу прячешь?» Я достаю из-за пазухи птенца. У Нургельды глаза на лоб полезли. «Неужели беркутенок?» «Он самый!» – отвечаю. Потом он долго еще удивлялся, что я ночью сумел на такую скалу взобраться. «Если бы, – говорит, – своими глазами не видел, ни за что бы не поверил!» В село вернемся – спроси у него, если сомневаешься.

Ябан собрал сухой хворост, расчистил снега и стал разводить костер. Когда пламя занялось, набил снегом тунче, поставил на огонь. Рахим расстилал кошму и продолжал захлеб рассказывать о своем прошлом посещении этих мест.

– Не раз, не раз я бывал тут! Когда приезжал с Нургельды, до утра сидели у костра. Здесь так легко дышится... В прошлый раз и глазом мигнуть не успели, как весь чай выпили. Я тогда чуть не опозорился – заварки мало взял. Хорошо, что он прихватил с собой, будто знал, что мы пить много будем. Нургельды мне

говорит: «Остатки тебе!» и подает последнюю пиалушку с самым крепким, вкусным чаем. Ладно, думаю, для него и то уж честь, что выпал случай пить чай с уважаемым человеком. Он ведь помоложе меня! Сиж, пью чай, на него внимания не обращаю, а он — шаст в темноту и кричит оттуда: «Я мигом! Подождите немного, Рахим-ага!». И притаскивает большущую охапку хвороста. Никогда себе не прощу, говорит, если сегодня еще не попью с вами, Рахим-ага, чаю. Я говорю: «Время уже позднее, поспать бы немного». А он мне: «Нет, Рахим-ага, я жертвую сегодняшним сном. В жизни я не слышал таких умных и приятных речей. Даст Аллах, и мне что-нибудь от вашей мудрости перепадет.» Я засмеялся. Что правда — то правда, поговорить люблю, да и речи у меня дельные. Короче, всю ночь слушал он меня с открытым ртом, особенно стариной интересовался. А я ворошу и ворошу древние времена, про своих предков рассказываю. Когда меня начинало клонить в сон, он подавал пиалу свежего чая и просил не спать. И все удивлялся, как это я столько храню в памяти. «Ваши волосы не даром поседел. Голова ваша такая умная!» — вот что говорил он мне. Так, за разговорами и не заметили, как наступило утро...

Ябан почти не сомневался, что все рассказанное было плодом воображения Рахима. Тот любил иной раз присочинить, а потом сам верил в свои небылицы. Ему начинало казаться, что так было и в действительности. Особенно любил он похвалиться дружбой с богатыми и знатными людьми. Сегодня Рахиму повезло, он нашел покорного слушателя и теперь заливался соловьем.

Отхлебнув глоток из пиалы, довольный собой, он продолжал сочинять:

— Так вот, рассвело. Я не привык спать днем, а Нургельды, вижу, уже изнемогает. Глаза у него так и слипаются. Я говорю: «Эх ты, слабак! Тебя хватило только на одну ночь. Будь мужчиной, проснись, встань. Пора домой.» А он сквозь сон мямлит: «Немного посплю, Рахим-ага, и пойдем». Но я не дал ему покоя, пока не сели на коней. Он всю дорогу дремал в седле. Я даже боялся, как бы он не свалился с лошади, время от времени будил его. Мы, если по правде, и о тебе тогда вспоминали, Ябан... Едем, вдруг наши кони чего-то испугались. Смотрим — на дороге валяется дохлый джейран. Видно, от холода околел. Нургельды смеется: «Вот бы сейчас Ябана сюда, он бы поплакал над ним, как над родной матушкой». Я не удержался и плетью его по спине, не сильно конечно, предупредил, чтобы впредь не болтал глупостей. Я не люблю, когда оскорбляют уважаемых людей...

Ябан не заметил, как его сморил сон. Проснулся он на рассвете от холода. Костер прогорел. Рахим лежал на кошме, свернувшись калачиком. Время от времени он сладко улыбался: казалось, что и во сне он рассказывает небылицы. Из уголка рта у него вытекала слюна и уже успела порядком намочить тельпек, положенный под голову.

Ябан отправился собирать хворост. Когда вернулся, Рахим все еще спал. Ябан развел огонь, поставил кипятить воду.

Когда вода забулжила, он стал трясти спящего за плечо:

— Эй, Рахим! Вставай! Чай вскипел!

Рахим Йылма поднялся, отер снегом лицо и уселся на кошму, расстеленную у костра. Попил чай, съел разогретый на огне чурек.

— Ябан-джан, ты на не меня не обижайся, но у тебя, кажется, мука на исходе? Когда в прошлый раз у тебя был, заметил, что всего-то пол мешка осталось. Хотел тогда еще тебе муки в долг предложить, но подумал: вдруг обидишься, вдруг гордость твою задену?

Рахим Йылма опять разбередил начинающую заживать рану. У Ябана сошлись брови на переносице.

— Ты бы мне хоть намекнул, я бы дал тебе муки или пшеницы, сколько нужно. Не обижай своего старого друга, Ябан-джан. Вот вернемся...

— Пусть Аллах отблагодарит тебя, Рахим...

Когда они, закончив чаепитие, пошли ставить силки, восток уже заливала алая заря.

— Болезни совсем доконали меня, устал! — сказал Рахим, хотя они прошли совсем немного. Посидим чуток, отдышусь, — попросил он, присаживаясь на камень. — Эх, неужели мне больше никогда не доведется поохотиться с беркутом! — Он задрал голову, и посмотрел туда, где на скале, по его расчетам, было беркутиное гнездо.

Ябан решительно поднялся, взглядом пробежал путь от подножья скалы к самой вершине, потуже подпоясался и взял веревку.

— Друг! — воскликнул Рахим. — Неужели ты меня уважишь? Решил добыть мне беркутенка?! Давай полезем вместе, вот только чуть передохну.

— Не надо, — сказал Ябан. — Что там вдвоем делать!

Рахим Ыылма, рассеянно следя за карабкающимся по отвесной стене Ябаном, думал о том, что вот уж столько раз он обманывал этого человека, пользуясь его простотой, а непохоже, чтобы тот держал на него обиду. На каждую просьбу откликается, ничего не жалеет для товарища. Нет, на этот раз обещания Рахима не будут пустыми словами. Он, действительно, как только они вернуться в аул, даст Ябану полный чувал зерна, не будет больше его обижать. Сейчас Ябан возьмет из гнезда беркутенка, птенец вырастет, и они — старые товарищи — будут вдвоем охотиться в Каракумах, любоваться седыми песками. А с Нургельды придется поговорить. Не нужен ни он, ни его дочь-лентяйка. У Рахима есть друг, который ради него готов пойти в огонь и в воду. Вот эта дружба и есть настоящее богатство. Эту дружбу нужно беречь... Но куда же он лезет!..

Чем выше забирался Ябан, тем сильнее ныло сердце у Рахима Ыылмы. Ему захотелось, чтобы Ябан повернул обратно. А тот вскарабкался уже довольно высоко, и добравшись до крошечной площадки, где можно было немного отдохнуть, задрав голову, глядел туда, где чернела огромная глыба. Под ней было гнездо беркута.

Ябан начал подниматься быстрее, но чуть не сорвался — соскользнула с камня нога, и охотник с пронзительной ясностью осознал, что каждый его шаг может оказаться последним.

Эта отвесная скала стояла особняком от гряды и по сравнению с другими вершинами была невысокой, на ее северном склоне снег хотя еще не растаял, но белел лишь местами. Со стороны казалось, что на скалу забраться нетрудно, но для Ябана, прошедшего всю жизнь в пустыне, любой подъем был нелегким. Чем выше он поднимался, тем меньше оставалось сил. И Ябан со страхом подумал, что поднимается он слишком медленно, а до гнезда еще далеко.

Камни, за которые он цеплялся, были скользкими и холодными, и у Ябана заоченели пальцы. Он поочередно дышал на них, чтобы немного согреть. От усталости появилась дрожь в коленях. Теперь он понял, что не рассчитал силы и вначале поднимался быстрее, чем следовало. Спешка здесь ни к чему. Дрожь в коленях делалась все сильнее, и вместе с ней усилилось противное чувство страха. Хорошо бы найти хоть крошечный выступ и передохнуть...

Пытаясь приободрить себя, Ябан мысленно твердил, что до гнезда уже рукой подать, радовался каждому шагу к вершине. Подавшись вперед, он дотянулся до ближайшего выступа и до боли в пальцах ухватился за него. Это была возможность долгожданной передышки, но тут и с грохотом полетел вниз камень, на которой Ябан за миг до этого опирался. Показалось, что и камень, за который он сейчас держится, вот-вот сорвется. Ябан грудью налег на него и только после этого осмелился перевести дыхание и оглядеться.

Его взору открылся необозримый мир. И только сейчас Ябан понял, на какое опасное дело пошел. Призвав на помощь Аллаха, глянул вниз. Во-он он, Рахим! До сих пор сидит на том же месте. Смотрит на него. Маленький какой...

Ябану отчего то вдруг стало жаль его. Не такой уж он и вредный, а без охоты, видно, и впрямь жить не может...

Он вообразил, как обрадуется Рахим, увидев птенца, и сам воспрял духом. Сознание того, что он делает благое дело, прогнало усталость. Он представил, как они вдвоем будут охотиться в Каракумах и любоваться степным простором. Существует присловье: «Охота — не мед, а яд.» Но какой приятный яд! Особый вкус у него. Вдвоем с другом они вкусят его. Потом отдохнут в шалаше у колодца, почавничают, полакомятся дичью. Но...

Но может быть, все это обман, придуманный Рахимом? Может, обещая вечную дружбу, рай земной, Рахим всего лишь заволакивает Ябана, как варан ударами хвоста заволакивает козу?

Стоило беркуту Ябана единожды обмануться, и он возненавидел отцовское вабило. А сколько раз Ябан клевал на вабило Рахима и тем не менее не смог отречься от старой, пусть неверной, дружбы. А может, он снова клоннул на приманку? Вернуться? Нет... Любое дело следует довести до конца, но это в последний раз.

Ябан глянул на лагерь. Костер все еще дымил. Стреноженные лошади обнюхивали друг друга. Раньше они враждовали. Видимо, даже кони почувствовали, что их хозяева подружились...

Ябан хотел встать, но тут точно кто-то тихонько тронул его плечо. Уж не ангел ли смерти коснулся своим крылом?! Сердце екнуло. Какое чувство встревожило в этот миг его душу? Вспомнил жену? Детей? Да, он должен поднять их, должен выдать замуж дочь, женить сыновей и поставить им дома. Это священный отцовский долг, что завещан предками. Он не может уйти, не выполнив своего долга.

Ябан рассердился. Сейчас не время сейчас думать об этом. Он продолжил подъем. Вскоре оказалось, что ему не за что ухватиться. Камни были словно отполированные, а до гнезда оставалось еще метров двадцать. Теперь он не видел пути, ведущего к цели.

Довольно долго Ябан пребывал в растерянности. Если удастся ухватиться за торчащий чуть в стороне выступ, дальнейший путь будет преодолен. Но как дотянуться до него? Подпрыгнуть? Опасно... Стоит на вершок ошибиться и... Вот если бы набросить на этот выступ веревку!

Одной рукой держась за камень, другой он попытался размотать веревку, которая была закреплена на поясе, но не смог. Он глянул вниз и голова у него закружилась. Упершись лбом в холодную каменную стену, он постоял умиряя сердцебиение. Пальцы чуть не примерзли к камню. Находиться в таком положении он долго не сможет, и Ябан заторопился, хотя еще не отдохнул, как следует. Спускаться будет, пожалуй, еще сложнее, — подумал он. И припомнив, как Рахим сочинял, будто влезал сюда ночью, и Ябан улыбнулся.

Перед его взором вдруг возникла кибитка. Отец радовался, когда женил Ябана! Он был угрюмым человеком, но в тот день улыбался, потому что исполнил свой долг. Неужели Ябан уйдет из этого мира, не выполнив отцовского долга. Не грех ли это перед собственными детьми? Нет, он не опозорится, потому что свято идет по родительской тропе...

Как ни старался Ябан упереться покрепче, ничего не получалось, мешал промокший, соскальзывающий с ноги чокай. Резким движением Ябан сбросил его. Остался в шерстяной портянке — стало удобнее. Теперь — последний рывок к гнезду беркута. Ябан решил испытать счастье. Он подпрыгнул, норовя дотянуться до желанного выступа, но пальцы предательски скользнули по мокрой стене...

Услышав страшный крик, Рахим вскочил как ужаленный и кинулся туда, где лежал Ябан. Глаза того были широко раскрыты. Казалось, они с сожалением смотрели на вершину скалы, где громоздилось гнездо беркута.

— Я же говорил... я же говорил... надо осторожнее... — стонал Рахим Йылма и, глянув в сторону гнезда, заскрежетал зубами.

В небе прямо над скалой показались два беркута. Они сделали круг и, убедившись, что гнездо в безопасности, растаяли в дрожащей синеве.

С КЕМ УМОМ ПОДЕЛИТЬСЯ?!

Монологи трех дорожников

Рассказывает Баки:

– Как посигналит машина, что за нами приезжает, Мерданчик – это сынишка мой трехлетний – обязательно проснется. Встанет и проводит меня. Когда подхожу к машине, оглянусь – он на крыльце стоит, ручкой мне машет. А жена теперь не выходит. Соседок опасается. Языки у наших соседок километровые. Поначалу как-то пару раз вышла меня проводить на работу, так они потом такое рассказывали!.. Мол, вся в слезах, словно муж на войну уходит. Честное слово! Им только повод дай, они из Мухы слона сделают.

Все, трогаемся. В этот момент – я точно знаю – соседи незаметно наблюдают. Чуть человек выделится они себе от зависти уже места не находят. Когда выезжаем приходится обогнать двух-трех соседей, которые тоже на работу направляются. Так чем ближе к ним наша машина, тем ниже они головы опускают. Это они нарочно делают вид, что меня не видят. Ниже своего достоинства считают первыми поздороваться с соседом, который моложе их. Я не такой. Как поравняемся, обязательно крикну: «Салам аллейкум, сосед!», а это уж их дело – отвечать или не отвечать. Как Шаназар-ага говорит, не ответить на приветствие – это самое подлое дело. И вот сосед, чуть кивнет, словно его к этому суд приговорил, как говорится, под тяжестью неопровержимых улик. А у самих вид, будто они в этот момент мировые проблемы обдумывают. Эх, бедолаги!

А шоферу нашему, Аману, на все эти тонкости наплевать. Ему под пятьдесят, и он такой толстый, что его даже Пузаном прозвали. Щеки висят, под подбородком десять складок, а когда смеется, кажется, что сейчас все пуговицы с рубашки отскочат, так его жир сотрясается. Он, знай себе, какую-то итальянскую песенку мурлычит, хотя, голову могу на отсечение дать, и понятия не имеет, о чем она. И машину он всегда напротив дома Токара останавливает.

Я его тысячу раз просил:

– Останавливайся возле дома Шаназара-аги. Он пожилой человек, а Токар по сравнению с ним – мальчишка. Что с того, что он бригадир? Ничего с ним не сделается от того, что пару лишних шагов пройдет.

Когда Аман-Пузан это слышит, он даже вздрагивает, словно я сообщил ему что-то ужасное. Некоторое время смотрит на меня, удивленно вытаращив глаза, а потом скажет:

– Что ты за человек? Все разыгрываешь меня? Или у тебя на плечах не голова, а футбольный мяч. Запомни, дорогой, с такими понятиями ты никогда карьеры не сделаешь. Потом скажешь – дядя Аман мне верно говорил, да уже поздно будет.

Казалось бы, Токар сам должен Пузану сказать, мол, останавливайся возле дома Шаназара – окажем старику уважение. Но от него этого не дождешься. Он из тех, что не возраст, а должности уважают.

Когда Токар из дома выходит, он в отличие от меня по сторонам не смотрит. Неспеша запирает ворота на все три замка. Когда кто-нибудь из соседей скажет ему «Салам, Токар-джан!», он в ответ только степенно головой кивнет, и снова с замками возится.

А Шаназар-ага такой заботы не знает. У него-то и ворот нет, не то, что замков. Все настежь. Даже входная дверь без запора. По старинке живет. Бехбит каждый раз над ним подшучивает: «Отстаешь от нашей замечательной эпохи, Шаназар-ага. Прошло то проклятое время, когда мы жили без замков. Теперь наступила замковая эра. Не то, что у нас в райцентре, даже в самых глухих селениях народ понял роль и значение замков в жизни современного общества!..» А Шаназар-ага ворчит: «Э-э, на все замки понавешали. Завтра уже и замки охранять придется.»

Наш Шаназар-ага уже пенсионер. Невысокого росточка, с орлиным носом. Дома ему не сидится, работает вместе с нами. «А что, – говорит, – мне дома делать? Старики теперь не те, что прежде. Нет, чтоб выйти из дому, на солнышке посидеть, поговорить с другими стариками. У каждого тысяча забот. Люди теперь друг в дружке не нуждаются. Каждый сам для себя живет. Уж лучше я с вами работать буду, чем в поселке от скуки умирать!» Так вот Шаназар-ага не то, что Токар, ждать себя не заставляет, как услышит сигнал, сразу бежит, и всегда у него наготове какая-нибудь история.

– Оказывается, черт побери, когда человек стареет, у него и сны какими-то особенными становятся. Нынешней ночью сон видел, обереги Аллах от такого. Вот спроси, спроси, что мне приснилось!.. Значит так. Лечу я куда-то в дальние края. Нарядный, в костюме. И вдруг, черт побери, вывалился из самолета вниз головой. Лечу, ветер в ушах свистит. И вокруг ничего, за что ухватиться можно. Земля уже близко, черт побери! Все, конец, думаю. И тут что-то мне под руку попало. Вцепился я, что было сил. И вдруг страшный крик. Проснулся я, а это, черт побери, старуха моя кричит и свою косу из моей руки вырвать хочет. Вот так тетушка Хесель меня сегодня спасла, подоспела на помощь в трудную минуту. Это я к тому, сынок, что жен обижать нельзя. Они нам, черт побери, не только на яву, но и во сне поддержка.

Раз сегодня Шаназар-ага с утра рассказал о своем сне, значит мы целый день будем говорить о снах. Кому что снилось и как сны толковать, и что сбывается, а что не сбывается. И так всегда. Если бы садясь в машину он рассказал, к примеру, о своей корове, как она отвязалась, так, уж поверьте, целый день все бы только о коровах и говорили. Как привязывать их надо и что делать, если корова все-таки отвязалась. Тут я вам вот что могу посоветовать: если к вам приближается отвяжавшаяся корова, берите ноги в руки и быстрее улепетывайте, потому что, знаете, она вас не молоком угощать идет. Словом, Шаназар-ага нам закваску на целый день делает, а от чего так – этого я не знаю.

– Ясное дело, – продолжает между тем Шаназар-ага, – что после такого кошмара, и мне, и тетушке Хесель спать расхотелось. Вскипятили чайку и до самого вашего приезда вспоминали молодые годы. Тут я, можно сказать, обмишурился. Совсем, черт побери, не могу себя контролировать. Увлёкся и рассказал ей такое, о чем мужу при жене лучше не болтать. Ладно, теперь, черт побери, что таиться!.. Одним словом, мы тогда в Новороссийске стояли. Вот я, черт побери, и познакомился там с одной молодкой. Марусей звали. Ядреная такая баба. Одинокая. Я в те годы тоже ничего был – старшина Аннаев. Ну и завязалось. Тут, конечно, моя тетушка Хесель в слезы. Но дело не в этом...

Однако дослушать историю не удалось. Токар наконец-то справился с замками, и, стуча каблучками своих брезентовых сапог, направился к машине. У него не только сапоги, но и китель, как у башлыков. Вид у него, что и говорить, солидный. Идет неспеша, голову опустил, думает о чем-то, или вид делает, что думает. Только у машины голову и поднял. А тут Шаназар-ага как раз представлял нам развернутую картину второй мировой войны: в одной руке – граната, в другой – автомат... Токар негромко кашлянул, поприветствовал Шаназара-агу, сказал, что пора ехать.

Шаназар-ага несколько мгновений удивленно смотрел на Токара, видимо, не в силах сразу сообразить, каким это образом тот оказался рядом с ним на передовой, потом кивнул бригадиру, а мне передал «начальскую сумку». В ней – продукты для нашего обеда. Каждый раз, протягивая ее мне, Шаназар-ага напоминает: «Держи крепче, браток. Ни о чем другом, кроме этой сумки, не думай!». После этого он начинает забираться в кузов. Он не любит, если ему руку протягивают, чтобы помочь. «Что это за высота? – говорит. – Мы, черт побери, и не такие высоты брали!». Я жду, пока он вскарабкается. Чтобы ни говорил Шаназар-ага, но штурм грузовика дается ему с трудом. Он и сам это признает.

– Черт побери, – бормочет он, с трудом переводя дыхание, – Перекоп брать и то, наверное, легче было. Натерпелся страху, думал уже – не залезу. Уж очень высокие борта. Надо пару досок снять...

Есть люди, которые не любят за руку здороваться. Шаназар-ага не такой. Он обязательно руку мне пожмет. Сожмет, словно клещами, и тряхнет пару раз.

– Как дела, братишка? Как Мердан-джан, растет? – ласковым голосом спрашивает он, глядя тебе в лицо. Среди морщин его глаза точно звездочки сияют, и ничто от них, должен вам сказать, не укроется. Тотчас увидит, если буря у тебя в голове. А если узнает что не так, тотчас начнет по крыше кабины барабанить.

– Ну, что, мир перевернулся? – хмуря брови, скажет Токар, высунув голову из кабины.

И тотчас Шаназар-ага на него обрушится:

– Какой, черт побери, ты руководитель, братишка?! Если хочешь быть настоящим руководителем, обязан знать, что на сердце у твоих работников, какие заботы их гнетут, чего им недостает... А если это тебя не интересует, так отдай свою должность тому, кто справится!

Шаназар-ага говорит все это совершенно серьезно, потому Токар знает, что перечить ему нельзя. Вылезет из кабины, пойдет узнавать, что стряслось.

В позапрошлом году был один случай.

Зима, холодрыга, а в доме у меня ни дров, ни угля. Сказал я об этом, Шаназару-аге. Он так начал тархтеть по кабине, что Аман-пузан чуть не оглох. Одним словом, заехали мы за остальными нашими и прямиком на топбазу. Если рядом с ним Бехбит, наш Шаназар-ага никому спуска не даст, потому у Бехбита язык классно подвешен. Он за словом в карман не полезет. И конституцию и уголовный кодекс, что твой прокурор, знает. Как скажет: «Согласно статье такой-то...», так начальник, который до этого на тебя и смотреть не хотел, сразу поникнет, точно из него пар выпустили. Он все готов сделать, лишь побыстрей от тебя избавиться. Да, тому, кто законы знает, все двери открыты, а нам, бедолагам, свои дела приходится решать мольбами да взятками.

Словом, в тот день мы уголь привезли и потом в спокойной обстановке у нас пообедали. За это, правда, Шаназар-ага и Токар после по выговору получили. Старику на собрании сказали, что, хоть дело и благое, но нельзя его делать в служебное время, используя государственную машину. Конечно, был бы рядом с ним Бехбит, Шаназар-ага объяснил бы что к чему. А так испортили ему на две недели настроение.

А если у него испорчено настроение или что-то его раздражает, то у Шаназара-аги начинается мигрень. И пока он как следует не пропотеет, голова у него так и раскалывается. В те дни то и дело для него чай готовить приходилось. Но сколько он чая ни пил, Бехбиту все равно доставалось: «Когда надо, тебя вечно не сыскать. А как увидели, что тебя нет, так и обрушились все на нас».

Бехбиту под сорок, а он уже весь седой. Один глаз у него косит. И ростом он не вышел. С виду он неказист, но он наш главный законник. Живет он в самом городе, а работает с нами в районе. Курбан и Стиль (на самом деле его зовут Атаджан, просто прозвище ему такое Курбан придумал) – тоже городские. Они выходят на остановку рядом с универмагом, и мы их всех забираем.

Еще один наш работник с нами на грузовике не ездит. На своей машине добирается. Но Тойджан Деркарович – его так даже Токар величает – если один день на работу приедет, так потом три дня болеет. Словом, как прежде получал он зарплату ни за что, так и теперь ее получает. А за таких, как он, вечно нам, простым работягам, отдуваться приходится. Посмотришь на него – солидный человек. Рассудительный. Мозгами привык работать – на голове ни одного волоска не осталось. Все говорит правильно – не придерешься. Одним словом, начальник. Еще и году у нас не проработал, а уже меня учит, как надо асфальт ложить! Он вам объяснит и как детей воспитывать, и как жену в руках держать. Лопатой махать Тойджана нашего не заставишь, а вот языком болтать – только дай ему волю.

Работа у нас, дорожников, такая, что чуть ли не через день без дела сидеть приходится. А что делать, если асфальта нет. Это – ладно, плохо, что приходится тойджановские поучения при этом выслушивать. Когда Бехбит устает от его лекций, он начинает приставать к Токару: «Почему не везут асфальт?». Токар начинает кивать на начальство, особенно от него Байраму достается. Но однажды, как раз когда он его хаял, к нам Байрам приехал. Бехбит все, что от Токара услышал, ему и выложил. После этого Токар с нами начальство не обсуждает. Он, вообще, не любит, чтобы мы на глаза начальству попадались. С одной стороны это даже хорошо: надо в отпуск – только заявление напиши, все остальное Токар сам сделает, даже отпускные тебе домой привезет, лишь бы ты в контору не ходил.

Но известно ведь, что только туда и хочется попасть, куда тебя не пускают. Как-то закончили мы работу пораньше и отправились в РСУ. Пришли и сразу наткнулись на зама, Алты Ораевича.

– Вам что здесь надо? – спрашивает.

– Да просто так, – говорим, – работу пораньше закончили и решили заглянуть в контору.

– Без дела болтаться тут нечего. Берите лопаты и вскопайте баскеты.

Земля там, точно твой камень. Лопату хочешь вонзить – так она аж звенит. Но перед начальством особенно не повольнишь. В общем, похать пришлось – будь здоров. Хуже всего Стилю пришлось. Он-то лопатой махать не привык – знай себе на катке катается. Тут, бедняга, побледнел весь, пот с него градом.

– Говорил вам, не надо идти в котуру, – бурчит, – нет не послушались. Машину не могли спокойно дожидаться! Медом здесь для вас намазано? Получили. Но я-то за что страдать должен. А во всем Курбан виноват – ему сюда больше всего хотелось. Завтра тоже приходи, и послезавтра, только меня уж, пожалуйста, не зови, я лучше чаек на чистом воздухе попью...

Ладно. Только закончили мы бaskеты перекапывать – Алты Ореевич тут как тут.

– Вставайте, ребята, вставайте, что вы расселись. Не устаете целыми днями сидеть? Это хорошо, что вы здесь. Идите в контору, сейчас собрание начнется.

О-хо-хо!.. Три часа говорильни. Не позавидуешь тем, кто в конторе работает. Нет, я теперь свою ненаглядную лопату на их калькуляторы ввек не променяю. Домой добрались часов в одиннадцать. Теперь мы туда ни ногой. Даже издали смотреть на контору не хочется. Бехбит, правда, исключение.

Он нам не чета. Два года назад был нашим бригадиром. Тогда у нас простоев почти не было. Не то, что теперь. Теперь только и слышишь: «Эх, вы, нахлебники. Когда вас ни увидишь – лежите, чай пьете!».

Бехбит, когда был бригадиром, то асфальт у начальства требовал, то гравий, то еще что. Ну, ясное дело, если ты такой надоедливый, то начальство постарается от тебя поскорей избавиться. Так и случилось. Нашли какой-то повод, и Бехбит теперь рядовой дорожник, как и все мы. Но для нас он все равно бригадир. Это он показывает шоферам, где выгружать гравий, асфальт. Токар в такие дела не вмешивается. Ему вообще, больше нравится в конторе сидеть. Он у нас за снабженца.

А у Бехбита странный характер: он – законник, его медом не корми, дай с начальством поспорить. Если ему что-то покажется подозрительным, так он не успокоится, пока не докопается до истины. Как-то мы почти полтора месяца не работали, и вдруг за время этих простоев нам начисляют премию. Так Бехбит, представляете, два дня ходил в контору по всем кабинетам, пока Байрам – начальник наш – не распорядился провести ревизию. После нее Алты Ореевича и Токара чуть с работы не выгнали. После этого Токар чуть не сбесился. Завалил нас работой – машины шли одна за другой. Пришлось нам, конечно, помучаться, но старались этого Токару не показать. Один Стиль то и дело вздыхал: «От твоего правдоискательства нам только вред» – и так на Бехбита смотрит, что другой бы от одних этих взглядов сквозь землю провалился. А Бехбит – ничего, знай растолковывает всем, что все-таки случилось.

Курбан как-то не выдержал:

– Ты, – говорит, – своим занудством жену сделал сердечницей – нас хоть в покое оставь.

Обидно, конечно, но правда в этом есть. Все хорошо в меру, а если на каждом шагу о законах талдычить – это, честно говоря, даже раздражает.

На свое сорокалетие Бехбит нас к себе домой пригласил. Так это, скажу я вам, не дом, а настоящий музей, такой там порядок. Все – на своем месте, а ведь у Бехбита шестеро детей. Мой Мерданчик один каждый божий день все в доме вверх ногами переворачивает, ни черта найти невозможно. А у Бехбита не дети, а экскурсоводы какие-то. Вроде тех старушек, что в музеях сидят и предупреждают, что экспонаты руками трогать не полагается. Дети, а не шумят, не смеются и говорят как-то по-взрослому. Стиль сказал им что-то в шутку, так они к нему пристали – мол, почему вы так говорите?

Стиль уж и извинился, бедняга, перед ними, а они знай себе твердят: «Так говорить нельзя!». Стиль умоляюще смотрит на Шаназара-агу в надежде, что наш ветеран спасет его от юных бехбитовцев. Но Шаназар-ага ничего вокруг не видит и не слышит – тост произносит:

– Вот уже столько лет, черт побери, вместе работаем, а до сих пор друг у друга в гостях не были. Это не годится, ребята. Давайте чаще друг у дружки бывать.

Стиль изменил тактику, сделал вид, что очень внимательно тост слушает и хочет, чтобы ему не мешали.

А дети за рукав его тянут и, знай, свое: «Почему вы так сказали, дядя?». Мало того. Они еще Бехбиту его слова пересказали. Так он на три часа лекцию завел о том, что можно детям говорить, а что – нет. Все уж забыли, для чего собрались.

И на следующий день Бехбит снова стал о воспитании детей рассуждать.

Стиль не выдержал и говорит:

– Все, хватит!.. Больше меня ни на свадьбу, ни на поминки не зовите. Не надо!..

– Как это не надо? – удивился Шаназар-ага. – Обязательно надо друг к другу ходить, за одним столом сидеть...

Тут Стиль как заорет:

– Что вы, ей-богу, к каждому моему слову цепляетесь!

А что он тогда детям сказал, я сейчас, хоть убей, вспомнить не могу.

Стилю тоже уже за сорок, но такое при первом знакомстве вам даже в голову не придет. Стройный, лицо приветливое, живой взгляд, усики маленькие, но они его даже молодят. Он, между прочим, был женат аж четыре раза. Первый раз женился, когда служил в Калининграде. Жена у него украинка была. Пять лет вместе прожили, и было у них двое сыновей. Со второй женой он жил три года. Там у него один сын. Дольше всего он со своей третьей женой жил. У нее от него – три дочери и пять сыновей. Им три раза на двойни везло. Но и с ней Стиль разошелся. А с четвертой женой он прожил всего сорок три дня, после чего та его выгнала, как Стиль объясняет, – из-за того, что слишком много алиментов платит. Вот тогда он к нам и пришел. А до нас, где он только не работал, – трудовая в три пальца толщиной!

Пока мы работаем, Стиль отдыхает. Вот когда мы асфальт разровняем, наступает его очередь. Разъезжает на катке своем взад-вперед среди гари и чада, ну, словно в тумане.

Каток у нас старенький, но, когда Стиль пришел, он преобразился. Все, где можно, он фотографиями красоток обклеил и видами разных городов. Баранку обшил бархатом с бахромой. Над сидением соорудил полог из белой парусины, а по краю – помпончики. И в кабине грейдера (а Стиль и на грейдере работает) тоже все в картинках. И все девушки. Красивые, цветные. Иногда я и сам ими любуюсь. Между прочим, ничего зазорного в этом нет.

Когда Стиль приступает к работе, для Курбана это – настоящий праздник.

– Не уставай, сокол! – кричит он, – А мы пока чайку попьем. Если хочешь, присоединяйся! – и громко смеется, довольный своей шуткой. Но Стиль только прибавляет газу и делает вид, что его не слышит.

Сейчас мы прокладываем дорогу к колхозу «Социализм». И за неделю, что здесь работаем, узнали уже немало интересного. Из пяти участков, на которые поделен колхоз, три называют «огуречными». Там в каждом дворе выращивают под пленкой огурцы. Сажают среди зимы, а в мае уже собирают урожай и везут продавать в дальние города. Стиль двоих таких «огуречников» видел аж в Калининграде. И охота людям платить бешеные деньги за эти азотные огурцы?!

Колхоз план по хлопку из года в год не выполняет. И как он может его выполнить, если почти все азотные удобрения, что поступают в колхоз, оседают на мелеках* огуречников. На все азота не напасешься!..

На этих трех участках в каждом дворе есть машина, а то и две. Даже мальчишки раскатывают на «Жигулях». Шаназар-ага на это спокойно смотреть не может.

Как-то он остановил одну машину. За рулем – мальчишка, сопляк. Шаназар-ага спрашивает, в каком он классе учится. В пятом! В каком, каком? – переспрашивает Шаназар-ага, не веря собственным ушам. А мальчишка не поймет, чего от него этот старик добивается, кривится недовольно. Он небось зазорным для себя считает с такими как мы разговаривать. Дурак, что с него возьмешь!

– Как ты думаешь, неужели из него хороший человек вырастет? – говорит разгневанный Шаназар-ага Курбану, вместе в котором гравий раскидывал.

– Откуда я знаю, Шаназар-ага.

– Не знаю, не знаю... Можно подумать, что, я у тебя, черт побери, таблицу умножения спрашиваю?! – Шаназар-ага очень расстроился, что Курбан его не поддержал, даже лопату свою бросил и пошел к Бехбиту.

– А что я могу поделывать, Шаназар-ага? – отвечает Бехбит даже не оторвавшись от работы.

Шаназар-ага глаза выпучил от удивления. Чуть не выругался, но сдержался и пошел обратно. Схватил свою лопату и стал так шуровать, что пыль столбом. Кидает гравий и о чем-то сам с собой разговаривает. Но это ему скоро надоело. Он опять лопату бросил и говорит:

– Ну, что вы за люди?!

– Хотите сказать, что мы – плохие люди? – обиделся Курбан. – Уж не потому ли мы плохи, что трудимся в поте лица? Вы уж прямо говорите!

– Я не о тебе говорю, а о тех, кто сопликам машины даёт.

– Вот так и говорите.

– Я и говорю! На что мы, черт побери, надеемся, детей своих балуя?! Разве не ясно выражаюсь? Баки, эй, Баки, завари-ка чай! Снова мигрень разыгралась. Пока чайку не попью, эта зараза идохнуть мне не даст.

– Смотри, Баки, Токар Назарович говорил, чтобы на обочине чай не пили – начальство ругается, – кричит мне Стилль. – Как бы кто не увидел...

– Пусть видят. – вмешивается в разговор Бехбит. – Покажите мне, где сказано, что на обочине нельзя кипятить воду для чая. Разжигай костер, Баки! Если кто придет, я сам ему отвечу.

Заварил я крепкий чай, принес Шаназару-аге. А он сидит, голову себе кушаком перетянул. Стал он чай пить, торопливо, прямо пиалушку за пиалушкой. Это он так делает, чтобы пропотеть. Как вспотел, так мигрень его и отпустит. И точно. Три-четыре пиалы выпил, испарина на лбу выступила и, я смотрю, немного ему полегчало: глубокие морщины на лбу чуть разгладились и настроение, похоже, немного смягчилось.

– Ну, и силен же этот чай! Вот, что я тебе скажу: чай да жена – они всегда выручат, – улыбаясь, сказал Шаназар-ага.

А когда он говорит «вот, что я тебе скажу», это означает, что он приглашает поддержать разговор. Только что я могу ему сказать. Отойти, конечно, неудобно – стою и молчу. Тогда Шаназар-ага попытался прийти мне на помощь.

– Спасибо тебе, Баки, твой чай спас меня от этой чертовой мигрени.

Но опять же мне сказать нечего. Кивнул, мол, благодарю за доброе слово. Тут Шаназар-ага взорвался.

– Что ты киваешь, словно на собрание пришел. Язык проглотил? – сказал раздосадованный старик и продолжил, глядя на работавшего в стороне Курбана. – У каждого времени, черт побери, свои болезни. Прежде страдали мы от тифа и малярии – цветущие джигиты от них буквально на глазах никли. Проказа, черт побери, за людьми охотилась. Трахома глаза разъедала. А сейчас – верно Керим-шахир¹ говорит! –

автомобильная болезнь народ косит. Сама смерть на дороги вышла. Сколько людей из-за проклятых машин гибнет?! И этого мальчишку ничего хорошего не ждет. Потом поздно будет слезы проливать. Сожалениями еще никого с того света не вернули...

Подождал Баки. Тщательно протер свою пиалу и попросил:

– Плесни-ка, Баки, и мне чайку. Как себя чувствуете, Шаназар-ага?

– Отпустило.

– Минувшей ночью приснился мне, Шаназар-ага, мальчишка, что возле шлюзов живет. Будто говорит он нам: «Попейте чаю у нас дома. Что вы у дороги сидите?». А когда мы пришли к нему домой, мать на мальчишку налетела: «Зачем, – говорит, – привел этих проходимцев?!». Мальчишка вцепился ей в подол и просит, обливаясь слезами: «Пусти их, мама! У них дома нет. Они нищие.» А потом и вы, Шаназар-ага, умолять ее стали: «Ради сына своего, налей нам, милая, по пиалушке чая»...

– Вот такая жизнь чертова! – перебил его Шаназар-ага. – Что наяву, что во сне унижаться приходится.

Рассказывает Токар:

– Говорят, что обычному человеку требуется семь-восемь часов сна. Но некоторые, хоть проспят восемь часов, все равно потом еще полдня зевают. А мне достаточно всего трех-четырех часов. Это нормально. Я читал, что и Петр Первый, и Гете, и Наполеон – тоже спали не больше четырех часов в сутки.

Вообще я из тех людей, кто старается каждую минуту использовать с пользой. По пути на работу, например, вместо того, чтобы таращиться на дорогу, можно заниматься каким-нибудь делом. Я сплю. Наполеон, между прочим, верхом на коне спал! Так почему бы мне не поспать в теплой кабине?

Начальник наш – Байрам Абдыевич – узнал об этом и любит теперь с намеком мне говорить, что «человеку без цели всегда спать хочется». Можно подумать, что у него какая-то великая цель! Об одном мечтает: проработать без происшествий еще полгода и с почетом уйти на пенсию. Вот какие думы ему сон отбивают и днем, и ночью! Все дрожит, как бы чего не случилось, как бы не опозориться.

Я удивляюсь тому, что за странная штука – счастье. Одним – постоянно везет, другим – голый номер. Вообще, счастье, по моему, глуповато, как красивая девушка. Не знает, кому в руки даваться. И чаще всего достается каким-то бестолковым тупицам. Им должности хорошие, а тот, кто этого места по-настоящему достоин, ходит весь мазутом перемазанный, да еще выговоры на него то и дело сыпятся. И всю жизнь им всякие тупицы помывают.

Завидую тем, кто родились в тридцатые. Когда в пятидесятые годы обнаружилась нехватка интеллигенции, их выдвигали на большие должности, помогали, поддерживали. Говорят, тогда самые большие начальники еженедельно, ну, в крайнем случае, раз в месяц интересовались условиями их жизни и работы. Вот тогда такие тупицы, как Байрам Абдыевич, и выдвинулись, позанимали высокие должности. И попробуй их сегодня оттуда турнуть, мол, не занимай чужого места, отдай достойному! Говорят о перестройке и гласности, а так тебя турнут, что век не оправишься. Теперь начальник и не подумает твоим самочувствием интересоваться. Да он с нами, линейщиками, кто всю черновую работу делает, здоровается, можно сказать, из одолжения. Кивнет еле-еле. А зачем Байраму Абдыевичу о моем самочувствии спрашивать, если он меня опасается. Да, да! Боятся за свое кресло. Ведь он же видит, чего я стою, и что сам он по уровню подготовки против меня – нуль. Когда я после техникума, с «красным» дипломом к нему пришел, он даже смотреть документы не стал: нет вакансий – и весь разговор! Если бы я был каким-нибудь несчастным троечником, вот тогда бы он мне место сразу нашел и помог бы, и поддерживал, зная, что бояться ему нечего. Спасибо Алты Ореевичу. Он папе пообещал: «Уйдет начальник в отпуск, приму!», и слово сдержал. Бехбит документацию так запутал – концов не найти. Когда Бехбита потом с должности снимали, так он еще радовался, что в тюрьму не угодил за растрату. Но Байрам Абдыевич все равно потом пенял Алты Ореевича, что тот без его ведома принял меня на работу. А со мной, вообще, почти год были натянутые отношения. Проверка за проверкой, проверка за проверкой...

Но я знаю секрет, как угодить людям. Простейшее дело. Когда станут поучать, надо молча слушать и кивать в знак согласия. Вот и все! Разумеется, слушать общеизвестные истины, разявив рот от удивления, занятие невеселое. Но что делать? Терпел и слушал, да еще благодарил за «очень уместные замечания», а иногда даже делал вид, что записываю его слова в блокнот. Вот так я его и одолел! С годами у таких тупиц, как Байрам Абдыевич, бдительность притупляется, и они начинают думать, что молодые сплошь болваны и тупицы. Правда, всегда поддакивать тоже небезопасно. Недавно один пьяный шофер сбил жену работника райУОСа¹ и та умерла. Дорога там, возле шлюзов, у съезда на «Социализм», нехорошая: крутой поворот и ухабы. Вот Байрам Абдыевич и постарался всю вину на меня спихнуть. Кричит: «Я тебе разве еще в прошлом месяце не говорил, чтобы отремонтировали этот участок! Чем ты занимаешься?!». Я ему спокойно объясняю: «Простите, Байрам Абдыевич, но мы разорваться не можем. Сейчас, вы сами прекрасно знаете, асфальтируем улицы в «Новой жизни». Как закончим, перейдем на дорогу в «Социализм», а это как раз и участок возле шлюза захватывает. Тогда обязательно все сделаем.»

– Пяти машин асфальтобетона достаточно, чтоб за полчаса все там исправить!

Начальник есть начальник! С ним спорить – себе дороже. Это все равно, что танцевать на краю пропасти – мигнуть не успеешь, как вниз свалишься! К тому же Байрам Абдыевич человек уже пожилой. А у нас, сами знаете, старшим перечить не принято, их почитать надо. Так что против старшего ты по рукам и ногам связан. Я спорить с ним не стал и на следующий же день быстренько залатал тот участок.

Правда, Алты Ореевич был недоволен:

– Ты чего это перед ним выслуживаешься?! Скажи – исправлю, а сам делай по-своему. Понял? А ты перед ним, как мальчишка... Сейчас не то время.

Раньше Алты Ореевич работал начальником ПМК. Да только нахимичил там так, что потом еле выкрутился. У него братья и родичи на высоких должностях, так что поддержка имеется...

Вообще, в жизни полно неписанных законов! Один из них, по-моему, гласит: что, коль хочешь хорошо жить и спокойно работать, будь добр подладиться к начальству – войди в доверие, угождай, чем можешь, выполняй любой каприз. Тогда и тебе кое-

¹ Районное управление оросительных систем.

что в этой жизни перепадет. Правда, некоторые, как только черпак окажется у них в руках, сразу пытаются побольше захватить. Это их ошибка. А еще, как я понял, нельзя быть запанибрата с людьми. Больше почитают тех, кого не знают. И наконец, – это, пожалуй, самое важное сейчас правило: надо выступать на собраниях, чтобы тебя и уважали, и побаивались. Теперь такие времена, что если у тебя язык не подвешен, как следует, будь ты хоть семи пядей во лбу – ничего в жизни добиться не сможешь. Я, например, выступаю при всяком удобном случае. Жалуюсь на нехватку техники: мол, нет у нас автогудронатора и фрезера и поэтому слишком большой объем работ приходится выполнять вручную. Я знаю, что многие надо мной посмеиваются – откуда вдруг в нашем РСУ такая техника. Но после такой критики начальство уже не посмеет говорить, что я неинициативный, бездеятельный, – что и требуется доказать.

А вот когда ты со всех сторон подстрахован, можно и о себе подумать. Сейчас каждый человек старается хоть какую-то выгоду от своей должности поймать. Так что мы не исключение. Одному гравий потребовался, другой двор заасфальтировать решил... К кому они идут? Ко мне. Если сладится, то, как говорится, обе высокие договаривающиеся стороны останутся не с пустыми руками. Разумеется, делюсь с Алты Ореевичем. Ему половину, и мне половину...

– Если у тебя бочка с медом, – любит учить Алты Ореевич, – глупо облизывать палец. Из-за этого даже мараться не стоит. Ведрами черпать надо. Ты, Токар, – говорит он мне, – делай, что хочешь, но я должен быть в курсе. Тогда можешь быть уверен, что Старик (так он Байрама Абдыевича называет) к тебе не подкопается.

Вообще-то, откровенно говоря, если у тебя документация в ажуре, то никто к тебе не подкопается. Главное, чтобы на бумаге все сходилось. Именно поэтому наша контора такое денежное место. Ведь деньги, можно сказать, лежат у нас прямо под ногами. После того, как каток проехался, кто определит, сколько грунта переместили или какой толщины асфальтовое покрытие? А гравий – что, его кто на весах взвешивал? Только начальник наш делает вид, что он праведник. Алты Ореевич несколько раз его прошупывал, как говорится. Полный отказ и бурное возмущение!.. Но я все равно не верю, что он живет на одну зарплату. Вы бы глянули на его дом. Настоящий дворец. Машина. А какой он дома себе кабинет устроил: импортная мебель, все стены в книгах – одни собрания сочинений!

Я по глупости тоже стал книги дефицитные скупать. Сказать по правде, так до сих пор сердце ноет, как вспомню, сколько денег пришлось отвалить. По три-четыре номинала некоторые покупал. А что толку? Читать-то некогда! Целый день на работе – домой возвращаешься уже затемно. Поужинаешь, посмотришь кино по телевизору – уже одиннадцать, глаза слипаются. Жизнь такая, что даже в гости сходить некогда.

Вообще-то, кто сейчас по гостям ходит?.. Анахронизм. Я, например, поддерживаю близкие отношения только с двумя товарищами – имена называть воздержусь! – из Облмежколхоздорстроя. Дружим, так сказать, на семейном уровне. Они меня, между прочим, давно уже к себе работать зовут, но я, откровенно говоря, пока не тороплюсь. Сначала надо в партию вступить, поднакопить денег. Ведь если идти туда, то не рядовым же сотрудником. А хорошее место стоит теперь кучу денег. Так что приходится пока горбатиться в РСУ.

Мне, конечно, надо было сразу в институт поступать, а не в техникум. Это – моя ошибка.

– Я тебя, братишка, не пойму, – говорит мне недавно Алты Ореевич, – Парень ты вроде не глупый, сообразительный, все тебе дороги открыты. Так чего ты свой шанс теряешь? Поступай скорей учиться. Если тебе так уж твоя нынешняя должность нравится, так она, между прочим, никуда от тебя не денется. Но старика нашего вот-вот проводят на пенсию. Кого поставят на его место? Меня? Меня не поставят, на мне,

сам понимаешь, темное пятно. Кое-кто считает, что мне и этой должности много. Так что надо тебе, братишка, быстрее в институт и в партию вступать. Чем могу, готов помочь. А потом вместе поработаем.

Алты Ореевич на сто процентов прав. И в институте у него связи есть. Подмазать, конечно, придется. Но, говорят, пяти тысяч вполне хватит, чтоб поступление гарантировать. Главное – поступить, а там – и глазом моргнуть не успеешь! – уже у тебя диплом в кармане. А с дипломом в РСУ не засижусь. Сначала можно в область, а там, глядишь, и в министерство. Только с красной книжечкой пока проблема. Уже два года здесь работаю, но о партии пока даже разговора со мной не было. Вот, что меня по-настоящему беспокоит. Без красной книжечки, хоть у тебя десять дипломов будет, порядочной должности не получить. Но, как говорится, «сирота себе сам пуповину перерезает». Это в том смысле, что в настоящее время если сам о себе не побеспокоишься, то никто о тебе и не вспомнит. За хорошую работу теперь только почетные грамоты раздают!.. Да еще, если человек чего-нибудь стоит, так вокруг тьма завистников.

Попросил отца сходить к Байраму Абдыевичу, так, что вы думаете?..

– Давай, – говорит, – не будем, Непес, никого в партию по знакомству проталкивать. От самого человека должна его судьба зависеть, а не от отца с матерью, братьев и родственников.

Попробовал нашему парторгу, Ильджану Деркаровичу, намекнуть. Так он даже слушать не стал.

– А что ты такого сделал особенного, чтобы тебя в партию принимать?

Расстроился я тогда – жутко. Это, правда, полгода назад было. Теперь-то он мне так не скажет. Теперь у меня есть к нему «золотой ключик». И не только к нему... Этим ключиком, скажу я вам, в районе не одну дверь отпереть можно. Тойджан Деркарович, а он старший брат Ильджана Деркаровича, до того, как в мою бригаду пришел, председателем райисполкома работал. Не повезло человеку. Сын его сбил кого-то. Смертельный исход, а за парнем и раньше кое-какие грехи были. Словом, пришлось Тойджану Деркаровичу написать заявление. Ему, конечно, другую должность предложили, директора педучилища. На полном серьезе. Я уже давно заметил, что как освободят руководящего работника за моральную неустойчивость или еще за что-нибудь вроде этого, так обязательно переводят на воспитательную работу. Но Тойджан Деркарович в отличие от многих отказался:

– С каким лицом, – говорит, – буду я других воспитывать.

В бригаду нашу пришел. Поначалу я опасался. Честно сказать, взял его только потому, что с Ильджаном Деркаровичем отношения портить не хотел. Только потом понял, как мне повезло. Ильджан Деркарович при мне брата просил:

– Где хочешь работай, только не позорься на глазах у прохожих.

А Тойджан Деркарович отвечает:

– Пусть люди, когда мимо проходить будут, вспомнят о моей судьбе и задумаются, так ли они своих детей воспитывают. Буду я для них, как чарыки для Аяз-хана¹.

И ко мне два раза Тойджан Деркарович подходил.

– Я дорожник или нет?.. Выдай, как положено, спецовку оранжевую.

Спецовка что, мне не жалко, их на складе полно, только выдать ее Тойджану Деркаровичу это, вроде, унижить его. Еще неизвестно, как на это Ильджан Деркарович посмотрит. А с другой стороны, кто его в этой спецовке узнает. Мало ли дорожников – даже внимания не обратят. А вот если среди дорожников будет один человек в костюме, да еще с поплавком на лацкане, тогда обязательно обратят внимание. Задумаются или нет – не знаю, а вот посмеются – это точно. Правда, Тойджана Деркаровича не всякому повезет с лопатой в руках увидеть. Очень большой человек. У него и сердце, и давление повышенное. С собой целую аптеку носит. Пять-шесть таблеток за раз глотает. Сейчас в больнице лежит. Я его, ясное дело, каждый день навещаю. В конце концов он мой рабочий, должен же руководитель интересоваться здоровьем подчиненных!

На днях в больнице с Ильджаном Деркаровичем встретился. Сидит рядом с братом, лицо озабоченное. Я между делом говорю ему, мол, многие мои сверстники уже в партию вступили. А я не хуже их: от работы этой проклятой тощим стал, как бродячая собака.

– Оставь этот разговор, – говорит вполголоса Ильджан Деркарович. Я даже пожалел, что этот разговор затеял.

Но Тойджан Деркарович услышал.

– Чем ты занимаешься, если такие кадры не замечаешь. Надо помогать только тем, кто по-настоящему работать умеет. А наш Токар работающий, толковый парень.

Вчера в конторе Ильджана Деркаровича встретил. Обрадовался мне, как брату. Разговор, значит, на него подействовал. Ты зачем в контору приехал, – спрашивает, – если какие проблемы, заходи, не стесняйся. Нет, говорю, я в бухгалтерию.

¹ Сказочный персонаж, пастух, ставший падишахом. Перед своим престолом он повесил сыромятные чоботы чарыки, чтобы они напоминали ему о том кем он был прежде.

Такой бухгалтерии, как у нас, наверное, больше нигде нет. Открываешь дверь, и твоя голова начинает кружиться от аромата дорогих духов, как будто ты случайно ошибся адресом и попал в райский сад. Ты уже мало что соображаешь, а тут вдобавок тебя пронзают взгляды пяти красавиц. Глаза их сияют. Увидишь – так не только колени дрогнут. Какие у них фигуры, как улыбаются! Казалось бы, таких красоток и пальцем не коснись, но – нет, все замужем.

По праздникам я всем им делаю подарки, ну, и на день рождения, разумеется, каждой персонально. Алты Ореевич их дни рождения лучше своего знает. А красавицы, понятно, мои подарки не забывают – в документах у меня полный ажур, не подкупаешься, никакая ревизия не страшна. Так что деньги, которые на подарки истрачены, не только окупаются, но еще и неплохую прибыль приносят.

С одной из этих гурий*, при том с самой прелестной, – имя называть воздержусь! – блаженствует Алты Ореевич. Он-то и не прячется особо. Со мной в шутку называет ее «тетей понарошку». Иногда прибежит: «Выручай, Токар-джан! Я сегодня домой не попал, задержался, понимаешь, с тетей понарошку... Словом, если тетка твоя звонить будет, – скажи, что я у тебя ночевал. Она тебе доверяет».

Вот чего я, действительно, понять не могу: одни люди хотят хорошее место получить, а не могут, зато другие, которым, кажется, все в жизни дано, из-за бабских прелестей в один миг своего кресла лишаются. Меня их глупость просто бесит! Или, бывает иногда, с приятелями сидишь, так разговор только о потаскухах разных. Тю-тю-тю, тю-тю-тю – слушать противно! Но, попробуй, скажи им: «Ребята, что вы делаете?!». Засмеют, скажут, дурак, не понимаешь, в чем прелесть жизни! Это еще неизвестно: кто понимает, а кто – нет. По мне, чем время на такую трепотню тратить, лучше хозяйством заняться, огородом, скотиной. У меня корова с теленком, три барашка – никакой любовницы не надо!

Вообще, все, что нормальному человеку требуется, у меня есть, все девять заповедей исполнены. Жена у меня покладистая, не чета тем вертихвосткам, которые под лозунгом «Муж – моя собственность!» отца своих детей, как последнего раба, эксплуатируют. Тихая, спокойная, довольствуется тем, что есть. Имя называть – дурная примета! Одно скажу: деньгами в доме только я распоряжаюсь. Это – главное! Ведь, откровенно говоря, теперь многие мужья только вспоминают те времена, когда они в доме настоящими хозяевами были. Сами признаются, что деньги лишь в день получки в руках подержат, а домой придут и все до последней копейки вручат жене.

Дети тоже есть. Мальчики уже в школе учатся.

– Вы, – говорю я им, – головы себе историей и литературой, пением да рисованием не забивайте. Математика – вот во что вам вникать надо!..

Месяца два назад, когда девочка родилась, я, само собой, радостной вестью с Байрамом Абдыевичем поделился, настоял, чтобы он посетил мой дом. А когда пришли, говорю: «Уважаемый Байрам Абдыевич, окажите честь, дайте дочери имя!». Старик растрогался чуть ли не до слез. Обрадовался. По его желанию назвали дочку Ляле. С тех пор, как встречу его, говорю: «Навестили бы дочь Ляле!». Для него это, словно бальзам на сердце. Теперь, если сын родится, назову его Ильджаном. Пусть Ильджан Деркарович порадуется!

А вообще-то хозяйство лениться не дает. Дела, как старушечье ворчание, никогда не кончаются. Если живешь в пригородном поселке и держишь скотину, то наипервейшая твоя забота – корма. Где их брать? Накосить негде. Прежде, говорят, милое дело, по берегам Амударьи непроходимые заросли были, зверье всякое водилось, травы – вдоволь, коси – не хочу. Теперь – ни тугаев, ни зверей диких, ни травы, все

распахали и засеяли хлопчатником. А гербициды так сыпят, что все сорняки скоро в «Красной книге» окажутся.

Не знаю, как другие, но у меня и с кормами вопрос решен положительно. Неподалеку от поселка нашего колхозная ферма, так вот заведующий – имя называть воздержусь! – со мной в очень хороших отношениях. Избавил меня от половины забот. Если нужен комбикорм и сено, – только дай ему знать, на следующий день привезут да еще сами выгрузят. Само собой, такие услуги за спасибо не делаются. Но для пользы дела надо уметь немножко кулак разжимать. Улицу заасфальтировал, на которой зав. фермой живет. Да по-дружески самый лучший гравий выделил. Не гранит, а известняк. Прошло пару дождей, деготь смыло, так теперь покрытие белым стало, прямо-таки светится. Ну, и само собой, двор заведующему заасфальтировал, дорожки: и вокруг мелека, и к туалету... Разумеется, тоже не за спасибо. Это называется «удружить соседу». Вот такая дружба теперь ценится. И не слушайте, что Шаназар-ага болтает. Устарели его понятия. Чего, спрашивается, водиться мне с людьми, от которых никакой пользы нет. С ними пускай Шаназар-ага знает!

Я для людей тоже немало делаю. Дороги строю – из города в село, из села в город, а уж кто по этим дорогам ездит, куда и зачем, по делам или в гости – это, извините, меня не касается. Сам я, честно сказать, по этим дорогам в гости бы ехать не хотел. Между нами говоря, ни одной порядочной дороги в округе нет.

Все от нас, дорожников, зависит. Люди думают, главное – асфальт. А главное, как раз то, что под ним. Все от качества полотна зависит, в первую очередь, от гравийного слоя. Ни пустот, ни рыхлостей в нем быть не должно. Но соблюдается это редко. Делают все тяп-ляп, торопятся. Приятно смотреть, как дорога вдаль тянется, вот и подгоняешь. Из-за этого и в районе, и в области ни одной дороги, чтоб ГОСТу 9128-59 соответствовала, нет! Разве наши дороги можно по третьей категории принимать?! Будь моя воля, все дороги в области, что образцовыми считаются, в четвертую категорию перевел!

Все, Токар-джан, хватит, не нервничай, не распаляй себя зря. Все равно пустой болтовней ничего не изменишь! Раскисать нельзя.

Работай! Борись!

Рассказывает Шаназар-ага:

Старость, черт побери, – это сплошные огорчения. Сил никаких не осталось, одни желания да намерения. Да еще воспоминания о том, что творил в молодые годы. Хотя и им теперь, черт побери, не порадуешься. Вспомнишь и расстроишься – вот бы вернуть те денечки! Видно, не от хворей человек умирает, а от того, что не дано его мечтам исполниться. А если еще, черт побери, окажется, что дело, которому все свои силы отдал, выеденного яйца не стоит?! Про таких, видно, и говорят, что неуспокоенным, с открытыми глазами помер...

Лет двадцать назад слух до меня дошел, что в самый дальний район дорогу тянуть решили и теперь людей ищут, кто на этой стройке работать согласен. Бросил я, черт побери, свою чабанскую ярлыгу и пошел в дорожники. Отцы и деды наши дороги источником достатка называли, тех, кто строит их, почитали. И мы себя не щадили, чтоб народ наш, который ничего кроме пыльных проселков прежде не видел, мог современной дорогой на машине ехать, куда ему заблагорассудится. Но техники-то, черт побери, мало было. Вручную холмы да бутры не очень-то сроешь. Вот и тянули дорогу не как короче, а как полегче. Бархан – огибаем, на село вышли – опять огибаем. А некоторые башлыки, из тех, черт побери, горластых, чьим криком, как говорится, джугару изжарить можно, даже через свои поля дорогу прокладывать не давали...

Мы-то что – работали, старались, себя не щадили. На месяц раньше срока закончили трассу. Наградили многих, меня орденом Трудового Красного Знамени. Так я его, черт побери, теперь не ношу, никому не показываю и даже не говорю, что он у меня есть. Я вам так скажу: ничего на свете страшней нет, чем стыдится награды, которую за свой честный труд получил и которую теперь, черт побери, от людей прятать приходится!

Когда случается теперь той дорогой ехать, так от стыда сгореть готов. Хотя, если по совести, то краснеть не я должен, а те, черт побери, кто эту дорогу проектировал, согласовывал и утверждал. Но ведь чаще всего так и бывает, что стыдно не вору, а обворованному...

Когда иной раз едешь в рейсовом автобусе, а он, черт побери, точно ступа, в которой все твои косточки в пыль истолочь хотят, так только и слышишь, как пассажиры клянут дорожников. Да, небрежность прежних лет теперь больно отдается. Если уж строить, так сразу надо было и тянуть прямо, и все колдобины засыпать! А теперь, черт побери, не дорога, а сплюснутые латки. Тут – заплатка, там – заплатка, но от них толку мало. Где заплатка, там вода себе все равно, черт побери, щелочку найдет. Полгода не пройдет – надо снова латать. Из-за того, что все время ремонтом заняты, и новое строить, черт побери, некогда!

Я бывает задумуюсь: так жизни наши тоже, черт побери, как эти дороги. Вот Тойджана, к примеру, взять. Почти всю жизнь людьми руководил. И ни с каким делом, что поручали ему, не справился. Разве таких мало? Он хоть сам сознается:

– Поверь, Шаназар-ага, – говорит, – ни к какой я работе не приспособлен. Копать не могу – устаю быстро. Штукатурить – тоже не могу. За что ни возьмусь – все из рук валится. И где служил, там тоже, откровенно говоря, ничего толково сделать не мог. Ничего не могу. Сына – и того в тюрьму посадили... Вот такой я чурбан! Единственное, чему научился, так это – складно болтать, да еще умею подать себя перед начальством. Теперь порой подумаю, какой высокой должности смог достичь, – даже дух захватывает!..

Работает Тойджан, себя не жалея. Но только ему норму наравне с нами не вытянуть. Даже ночью иной раз приезжает, черт побери, гравий рассыпать. Утром, смотришь, он бледный, как полотно, пот градом капится, а все лопатой махает.

– Черт побери, зачем ты себя, Тойджан, так мучаешь?!

– Две недели, – говорит, – обузой вам был, пока в больнице валялся. Хватит, не хочу больше дармовой хлеб есть. Уж лучше сдохнуть!..

Это, черт побери, запросто! Покидал еще полчаса гравий, за сердце схватился и упал. «Скорая» увезла. Только «скорая помощь» разве ему поможет? Это только говорится, что сердце больное, на самом-то деле у него совесть болит.

Да, Тойджана понять не просто. И вообще, кого, черт побери, легко понять?! Люди даже не стараются сблизиться. Сосед с соседом отношений не поддерживает. Туркмены, которые никогда дверей не запирали, теперь, можно подумать, так разбогатели, что, черт побери, по три-четыре замка на дверь навешивают.

Замков да засовов теперь столько – не пересчитать!

Вот, сын Непеса Токар той в честь рождения дочери устраивал. Народу – полно, а сплошь – не знакомые люди. Соседей – ни одного!

Что тут скажешь?

Да и кому, черт побери, нужны твои советы?!

Теперь все люди умные – ты им только поддакивай. У всякого своя правда. Никогда прежде, скажу я вам, ум такой бесполезной вещью не был, как в нынешние времена.

Вот Бехбит!.. Или Бакы... Почему-то сторонится он нас, да и не только нас. Станный, черт побери, парень! Нет у него ни слов своих, ни мыслей. Что говорить, что делать – все ему подсказать надо! Больно, черт побери, смотреть, что среди молодых все больше таких, как он, становится. Что это мы с детьми нашими сделали – уж слишком они все пугливые да осторожные?..

Или Стиль, вот тоже – человеку, точно собаке кличку придумали. Ну, что сказать?.. Конечно, Аллах людей разными делает, но нельзя же, черт побери, быть таким безразличным ко всему! Ему и соврать ничего не стоит! «Мы, – говорит, – детей своих врать с самого рождения учим, когда к соске-пустышке приучаем. Вместо груди материнской резинку в рот несмышленьшу сунут, ребенок почмокает и заснет. Как же ему потом правдивым человеком вырасти? Вот и я так, с пустышкой во рту врать с детства научился!» Это он, конечно, комедию ломает. Ему же за сорок, в ту пору пустышек и в помине-то не было.

В таком возрасте ни очага своего у человека, ни семьи нет. Даже думать о будущем не хочет. Наплодил, черт побери, сирот по белому свету, и живет не тужит. Опять какую-то бабенку обхаживает – Бехбит видел. Не признается. Говорит: «Нет, дорогие соратники, теперь я с вами до самой смерти вкалывать буду. Уж

очень вы мне полюбились. Ну, в крайнем случае, схожу к прежней жене!». Балабол!.. И что, черт побери, женщины в нем находят?!

Хотели мы помирить его с женой. Но эта женщина наотрез отказалась. Говорит: «Надоел мне этот брехливый дурак!». Дочка их старшенькая в первом классе учится. Одеженка на ней плохонькая была. Вот мы скинулись и купили ей новую форму и косыночку. Девочка обновки увидела, глядит на нас, а глазенки слез полны. Ребенку-то ласка требуется. Отцовская ласка. Вот чего ей, черт побери, не хватает. Девочка уже вещи взяла, да Бехбит все испортил.

– Бери, – говорит, – ласковая, это папа тебе купил.

Малышка в лице переменялась. Обновки бросила на пол, к матери прижалась. А та говорит нам сквозь слезы:

– Больше сюда не приходите. Дружкам этого проходимца в нашем доме делать нечего.

Ну, что, черт побери, ей ответишь?!

Говорят, общество у нас справедливое. Но разве справедливо, что развратники, разрушающие семью, как наш Стиль, что люди, думающие лишь о собственной выгоде, которые на той зовут нужных людей да начальников, а соседей и знать не желают, вроде Токара, не несут, черт побери, никакой ответственности. За то, что продавщица на трояк обсчитала, могут в тюрьму посадить, а тех, кто на сотни тысяч государству ущерб нанес, кто детей на сиротство обрекает. кто...

Что, опять поучаю?!

Продолжает Токар:

Шофер мой, Аман, хотя у него уже внуки, обращается ко мне на «вы», как старшему «ага» говорит. Каждый день первым здоровается, справляется о здоровье. Если перейду на другую работу, с собой его возьму.

– Шеф! – Когда Аману надо что-нибудь от меня, он всегда так говорит. – Шеф! Просят три машины гравия. Вы уж помогите.

– Посмотрим...

Сказать по правде, осточертела мне эта работа. Скорей бы институт закончить. Ведь сколько можно на грузовике трястись?! Говорят, стыдно за должностями гонятся. Кому стыдно, пусть как хочет живет. Я не хуже тех, кто должности хорошие имеет, персональные машины. Недостатками они, может, меня превзошли, а вот заслуг против моего у них нисколько не больше. Просто повезло людям.

К примеру, чем Байрам Абдыевич лучше меня? Тем, что больше рубаш сносил или хлеба съел побольше?.. Ни организаторских способностей, ни грамотности особой. Какое у него образование? Как и я, техникум закончил, к тому же заочно. Простейшую формулу « $L = a + tv + cv$ » разобрать не мог. Так бы и умер, наверно, не зная, с чем ее едят, если бы я не объяснил. И ничего, разъезжает себе на ГАЗ-69. А говорит он как? Двух слов на собрании сказать не может. Стоит, заикается... Стыдно слушать! Поучился бы у Алты Ореевича – вот у кого ораторские способности!

Трясусь в кабине грузовика и думаю о том, как все-таки жизнь несправедливо устроена. Настроения, ясное дело, никакого. А Аман все поет. Чего ему не петь. Три машины гравия сбросит налево, небось у него в кармане кое-что зашелестит...

В конторе четыре машины асфальтобетона выбил, послал на участок, Амана отправил за гравием, а сам пошел к Байраму Абдыевичу.

– Байрам Абдыевич! Дочка Ляле плачет, зовет «дядю Байрама». Видеть вас хочет, соскучилась.

– Растет, значит... – Расцвел старик. Конечно, кому лесть не по душе?

– Знаете, Байрам Абдыевич, я вам вот что скажу. Сосед у меня один имеется – так, старичок-с-кулачок, – так он все твердит, что «кончились прежние дружеские застолья, сердечных отношений между туркменами не стало»... Честное слово, Байрам Абдыевич, когда вас приглашаю домой, а вы меня все «завтраками» кормите, ей-богу, думать начинаю, что прав этот старикашка.

– Как дела на участке, Токар?

Ну, старый ишак! Ничего, кончится твоё время! Тогда не дожدهшься, чтобы тебя хоть кто-нибудь в гости пригласил.

– В общем, ничего... Вот только Тойджан Деркарович опять в больнице. Хорошо бы провести его коллективно.

В обед начальник, Ильджан Деркарович, главный инженер, я и ещё двое из профкома в больницу отправились. Алты Ореевич тысячу отговорок придумал, чтобы не идти. Меня в сторону отозвал, шепчет:

– Глупость совершаешь, Токар. Нечего ходить к замаранным. Смотри, и к тебе грязь пристанет!

Ничего, жизнь ещё покажет, кто глупей!..

Когда целой делегацией к нему пришли, Тойджан Деркарович очень обрадовался.

– Извини, Тойджан, – Байрам Абдыевич говорит, – мы и не знали, что ты в больнице. Хорошо, Токар подкасал.

– Побольше бы нам такой молодежи, как Токар. – говорит Тойджан Деркарович. – Завидую его умению заботиться о коллективе, о каждом человеке. В день по два раза о здоровье спрашивается. А ведь на свете нет ничего дороже внимания, сердечного участия. Да. И грамотный парень к тому же. Вы послушайте, как он о дорогах говорить может. Ты, Токар-джан, не красней, я истину сказал, славу богу, жизнь меня научила в людях разбираться. Ты, Токар, способен принести большую пользу нашему народу. Только трудностей не бойся, ради дела...

Ну, не стану все пересказывать, что Тойджан Деркарович говорил – он там целый доклад сделал. В контору вернулись – Алты Ореевич навстречу. Откровенно говоря, я при Байраме Абдыевиче стараюсь от него в стороне держаться. Но тут прямо припер меня.

– Токар, загляни ко мне на минуточку. Дело есть!

– Говорите, если есть, что сказать. Какие секреты от Байрама Абдыевича и Ильджана Деркавича?

Потом на участок смылся, но Алты Ореевич там меня нашел. На своем «ожигуленке» приехал. Гурия его на заднем сидении устроилась. Морду в сторону воротит, в окошко глядит – меня, видите ли, застеснялась.

– Ты что, Токар, от меня бегаешь?

– Я?! Да, старик, сами знаете, терпеть не может, что я с вами, Алты Ореевич, в хороших отношениях. Говорит, нечего в конторе толкаться, ступай на участок.

– Ладно, Токар-джан. Устал я что-то. Решил развеяться. Поедем, отдохнем. Тетке твоей позвонил, сказал, что у тебя сегодня день рождения, когда вернусь, не знаю. Ты имей ввиду. Потом... Если из конторы кто спросит – я был у тебя на участке, только что уехал, понял?. Да, Токар-джан, просьба одна: деньги, понимаешь, в сейфе забыл. Ты четвертак или тридцаточку мне займи. В получку отдам.

– Что за разговор, Алты Ореевич. Отдавать вовсе не обязательно.

Вот так, тридцатка – тю-тю! Все, что заработал сегодня. Говорят, я много здесь имею. Иметь-то имею, да только деньги, как вода сквозь пальцы, текут.

Ничего, Алты Ореевич, стану начальником – не посмотрю, что у тебя родственников много, связи кругом – лишнего дня с таким прохвостом работать не стану. Одной моральной нечистоплотности хватит, чтобы ты близко ко мне подойти не мог. Ты только в институт устроиться помоги!

Ближе к вечеру председатель одного колхоза заехал – имя называть воздержусь! – в гости пригласил. На его машине поехали.

Газик!

Новенький! Все сверкает!

Продолжает Бақы:

Я уж не знаю, где такие жесткие доски нашли, чтоб сидения для нас в кузове сделать. Если рытвина какая на дороге, то так тебя по одному месту припечатает, что из глаз звезды посыпятся. Только очухаешься

после одной колдобины, как машина уже в следующую угодила. Шаназар-ага впереди сидит, в борт вцепится, глаза закроет и молит аллаха, чтоб позволил нам быстрее до места добраться. И если уж совсем плохая дорога, начинает кричать на шофера нашего Амана.

– Эй, братишка, ты же не дрова, а людей везешь. Нельзя что-ли помедленней? Задница скоро, черт побери, как орех расколется!

Но Пузан разве его слышит?! Еще, как нарочно, только Шаназар-ага кричать начнет, машину так тряханет, что старик чуть за борт не вылетит. Приземлится, побряхтит и скажет:

– Ну, все, братишка, теперь жми на полную катушку – беречь уже, черт побери, нечего. – И к нам обернется, – Эх, парни, не зря говорится: что посеешь, то и пожнешь. Можно сказать, у нас сейчас жатва, щедрый урожай собираем. Так что терпите.

Это он нас подбадривает.

До объекта нам мимо шлюза ехать. Там домик водного объезчика, возле него дорога как раз на колхоз «Социализм» сворачивает. И как едем, у поворота всегда пацаненок стоит. Грязненький, сопливенький... Года на два, наверно, старше моего Мерданчика. Босьяком, простоволосый... Не играет, ничего не делает, стоит и на дорогу смотрит.

Однажды Курбан не выдержал:

– Чем это интересно его мать занимается, если ей даже умыть дитя некогда? Что это за мать такая? Разве может быть у женщины забота важнее, чем за детьми смотреть?!

– В погоне за лишним рублем люди совсем детей своих забыли, – поддержал его Шаназар-ага.

Позавчера старик заставил Амана-Пузана машину остановить, пошел к обходчику и отругал его за то, что ребенка на дорогу без присмотра выпускает. Только тот, видно, безразличный человек. На другой день едем: мальченка где стоял, там и стоит. Вот сегодня не обратил внимания, сегодня мы все пытались Курбана успокоить.

Курбан так раскричался, будто это мы виноваты. Если бы не Шаназар-ага и Бехбит, разорвал бы, наверно, Стиля в клочья.

У каждого, конечно, свои заботы. Одним, пожалуй, и дела нет до того, отчего это дорожники так раскричались, другие глянут удивленно и дальше по своим делам едут.

Вон, «Волга» белая мчится. У водителя лицо всегда хмурое, вечно чем-то озабочен. Рядом жена сидит. Он не то, что на нас, на нее не взглянет. На дорогу только смотрит, торопится. Ему жену на базар забросить надо, а потом еще к себе на службу успеть. В райпо работает. Наш Тойджан его знает. Как-то даже имя называл, только я запаматовал. Вечером, когда мы домой собираемся, он обратно проезжает. У жены лицо светится: сразу видно, что торговля хорошей была. Да и он, наверно, тоже радуется, но только виду старается не показывать. Сейчас таких, у кого лицо словно маска, полным-полно стало.

После этой «Волги» должен проехать коричневый «Москвич». Машина старенькая, полным-полна детей. Как покажется она, мы все работу бросаем. Больше всех, завидев ее, радуется Шаназар-ага. А тот, который на «Москвиче», всегда поприветствует нас: сбросит скорость, посигналит, кивнет и улыбнется обязательно. А детишки ручками нам машут, «здравствуйте» кричат и смеются. Глядя на них даже мрачный Курбан лицом светлеет.

У этого человека на днях одиннадцатый ребенок родился, и каждое утро он вместе с детьми ездит в роддом проводить жену и малыша. Вчера остановился возле нас. Детишки выстроились и хором прочитали стихотворение. Представляете, о дорожниках! Я даже не знал, что о нас стихи есть. Шаназар-ага, глядя на детей, чуть не прослезился. А потом старшая девочка – у нее длинная коса и в косе ленточка – станцевала перед нами. Прямо на свеженьком асфальте, он даже еще не остыл как следует.

Мы целый день этот концерт вспоминали. И дома я о нем рассказал. Ведь человек должен делиться тем, что у него на душе, тем, что его радует и что печалит. Конечно, тут тоже предел должен быть. Нельзя же, как Ялкаб – сосед мой, он все, что днем было, что делал, что говорил, вечером обязательно своей жене в точности докладывает. Шаназар-ага верно говорит: «Есть разговоры, которые надо пересказывать, но есть, черт побери, и такие, о каких лучше не распространяться!». Ялкаб этой разницы не видит. А у женушки его язык, между прочим, что смерч – тоже никаких преград не знает. Все, что от мужа услышит, готова первому

встречному рассказать. Иногда утром скажешь что-нибудь Ялкабу, а вечером моя жена слово в слово все это повторяет.

Иной раз даже предупрежу его, смотри, жене не говори. Так вечером моя жена начнет допытываться, почему ты Ялкабу сказал, чтобы он жене не говорил. Упрекнешь Ялкаба, что он лишнее жене болтает, так на другой день это уже всему поселку известно.

Как-то Ялкаба жена моей ультиматум предъявила: у мужа и жена – одно сердце, одна голова, никаких тайн между ними быть не должно. Если появятся у них друг от друга секреты, так, считай, семья уже не семья. Пусть, говорит, твой муж перестанет наш очаг, нашу дружбу разрушать!

Нет, вы только подумайте – я ее очаг разрушаю! А моя жена эту мысль, между прочим, поддерживает. «Если тебе, Баки, так уж надо с кем-то поговорить, так ты лучше со мной посоветуйся. Подумаем что и как. Все мужчины так поступают».

Ладно, отвлекся я. После коричневого «Москвича» обычно салатного цвета «Волга» едет. Медленно. Водитель на нас не взглянет. Как с объезда на асфальт выедет, машину остановит, тряпочкой пыль сотрет. Потом отойдет в сторонку и перед тем, как дальше в город ехать, полюбуется своей «Волгой».

Город наш, а точнее городок, кучу людей кормит из тех, что селу не пришлись. Должности там у них хорошие, и оклады, видать, неплохие, если даже на «волги» хватает.

После салатной «Волги» приехал председатель колхоза «Социализм». Вышел из своего «газика», поздоровался с нами, работу нашу осмотрел.

– Вы, товарищи, большое доброе дело для нас делаете, спасибо вам. Измучались мы без дороги.

Курбан вытер пот со лба.

– Ты, башлык, Токару спасибо скажи, – Сразу видно, что он без настроения.

– А кто это?

– Ты Токара не знаешь?! Бригадир наш.

– А-а... И Токару спасибо.

– Ты это ему сам скажи.

– И ему скажу. Только, что ни говорите, – работу-то вы делаете, – председатель улыбнулся.

– За работу зарплату получаем. Бесплатно теперь и травинка не колыхнется. Работать не будешь – с голоду сдохнешь. Семью-то кормить надо!

– Да перестань ты, Адыш! – Стиль аж зубами заскрипел.

– Ты мне рот не затыкай! Что кричишь?.. Я что, от твоего хлеба отказался?! И еще. Имя мое нечего коверкать. Меня Курбан зовут.

– Товарищи, товарищи! – напомнил о себе председатель. – Я собственно приехал узнать нет ли в чем недостатка. Что привезти вам? Может, проблемы какие? Если надо что, скажите.

– Мы, башлык, ни в чьей помощи не нуждаемся. Дай бог, чтоб все заработанное нам досталось, – этого хватит.

– Курбан-джан, что ты все говоришь, говоришь, дай и нам слово сказать, – вмешался в разговор Бехбит. – Спасибо, товарищ председатель, за участие. Нам ничего не требуется. Главное, утречком жене угодить, а уж она потом столько соберет, что еле несешь.

– Молодец, Бехбит! Шуточное ли дело в твоём возрасте каждый день жене угождать, – осклабился Стиль.

Председатель поторопился уехать. Пожал каждому руку, залез в свой «газик» и укатил по новой дороге.

Я глянул на Шаназара-агу. Он кряхтел и развязывал свой кушак – похоже, его снова стала донимать мигрень. Я отправился готовить чай.

– Бакыш, – окликнул меня Стиль, – иди сюда. Пусть тот чай готовит, из-за кого у Шаназара-аги голова разболелась! Адыш, ты что, оглох?! Иди, кипяти воду.

– Я тебе не Адыш! – набросился на Стиля Курбан. Они бы сцепились, если бы не Бехбит. Да тут как раз привезли четыре машины асфальта.

Стиль все не хотел оставить Курбана в покое. Правда, Адышем на этот раз он его обзывать не стал. Испугался, может. Крикнул без имени:

– Эй, тебе придется работать и за Шаназара-агу!

Курбан взорвался:

– Клянусь Аллахом, еще слово скажешь – убью!

Шаназар-ага любит приговаривать: «Работай – как раб, гуляй – как бек!». Вот так мы и вкалывали до обеда – с асфальтом вольничать нельзя.

В организациях, конторах, вроде нашей, люди, как мне кажется, не придают большого значения полуденной трапезе. Перекусят наскоро и займутся своими делами. У нас не так, хотя Шаназар-ага любит повторять, что много чая пьют там, где мало работают. Это верно. И у нас иногда бывают дни, когда делать нечего. Нет асфальта, вот и приходится глушить чай с утра до вечера – что поделаешь?

Дежурному в такие дни достается. Мы ведь по очереди дежури́м, сегодня – я, завтра – другой. Дежурный еду разогревает и следит, чтобы всегда был кипяток для чая.

Шаназар-ага не любит дежурить. Его тяготит даже обязанность чисто подмести место, где будем обедать. «Ладно, ребята, садитесь, – уговаривает он нас. – Чересчур привередливые вы, черт побери! Отряхнитесь потом! На войне люди сидят, где попало, лишь бы пули и снаряды на голову не сыпались!» А Курбан говорит: «Больше всего на свете не люблю ползать на карачках, когда приходится чай кипятить, и томиться в очереди за билетами на самолет». Скажешь ему, что завтра его очередь дежурить, настроение у Курбана сразу портится, он бюллетень готов взять лишь бы чай не кипятить. Между прочим, в дни, когда дежурит Курбан, работы, как нарочно, бывает мало. И он, задыхаясь от дыма, до шести раз за день чай готовит, потому что Стиль назло ему выпивает столько, что лопнуть можно.

На этот раз только мы после обеда к работе приступили, как со стороны города показался коричневый «Москвич». Рядом с водителем сидела его жена с новорожденным на руках. Посигналив, машина остановилась.

– Друзья, завтра прошу на той в честь рождения сына, – сказал Сахат. – Обязательно приходите. Наш дом на улице, что вдоль арыка, сразу за магазином. Спросите, где Сахат-тракторист живет, – вам любой покажет...

– Долгих лет жизни твоему сыну! – сказал сразу повеселевший Курбан. – Придем. Обязательно придем! Вот удачно, как раз у меня завтра дежурство.

– Завтрашнее дежурство переносится на послезавтра, – объявил Стиль.

– Спасибо за приглашение, Сахат-джан, обязательно придем, – торопливо сказал Бехбит, видимо, опасаясь, что сейчас между Курбаном и Стилем вспыхнет ссора.

Сахат-тракторист уехал, а мы все разом, как по команде, посмотрели на Шаназара-агу, не развязывает ли он свой кушак. На этот раз пронесло – и мы облегченно вздохнули.

После обеда Токар прислал аж семь машин асфальта! Только самосвалы разгрузились, подъезжает легковушка. За рулем – женщина, да такая красивая, что рядом с ней голова без вина закружиться может. Выходит она из машины и улыбаясь глядит на нас. Тут к ней подбегает Стиль. Обнялись они и прямо у нас на глазах поцеловались.

Шаназар-ага проворчал свое вечное «черт побери» и отвернулся.

Женщина что-то говорила Стилю. Тот кивнул ей и пошел к нам.

– Держи, Бехбит! – протянул Стиль ключ от катка. – Мне сегодня другая работа предстоит. Прощайте!

– Ба, ба!.. Ты что, не видишь, сколько асфальта привезли?! На катке кто работать будет?

– А кто хочет, тот пусть и работает.

– Стой, Стиль. Отвечать будешь за этот поступок. По статье...

Стиль его и слушать не стал. Сел в машину, и они укатили.

– Что, орлы? – сказал Шаназар-ага. – Заробели?

– Вы, Шаназар-ага, не подначивайте! Вы же нас знаете. Вы нас подбадривайте, воодушевляйте, а уж мы не подведем, – заверил Бехбит и, словно ища поддержки, посмотрел на Курбана.

– Что же это получается? – бормотал тот. – Вот мошенник, укатил к бабе. Как же он теперь нам в глаза смотреть будет?

Шаназар-ага, глядя на него, горько улыбнулся.

– Только я вот о чем вас прошу, парни, – сказал он. – Даже если устанем сильно, завтрешнюю работу откладывать не станем. Верно?

Это Шаназар-ага о заборе говорит. Я решил забор построить, вот ребята и согласились помочь мне в выходной. Мы всегда друг другу помогаем, если по хозяйству что сделать надо. Знаете, почему? Однажды Шаназар-ага пригласил трех-четырех соседей, чтобы помогли залить фундамент под кладовку. И ни один из приглашенных не явился. Оказалось, что в тот же день завмаг, что живет на одной улице с Шаназаром-агой, времянку ломал, чтобы новый двухэтажный дом строить. И мужчины со всей улицы пошли завмагу помогать. Не стал Шаназар-ага во второй раз к соседям обращаться. Нас позвал. Вот с тех пор и повелось. Бехбит как-то сказал: «Хоть живем мы не по соседству, но сердца наши бьются дружно и рядом!».

Шаназар-ага не одобряет моего решения забор ставить. «Опутали себя, черт побери, коконом, точно шелкопряды! Ну, к чему забор между соседями, да еще из жженого кирпича? Прежде у сельчан душа была просторной, что твоя степь, а теперь?... Огородились, черт побери, со всех сторон заборами», – вот как он рассуждает.

Но без забора никак нельзя. Живешь, как на сцене, а соседи за каждым твоим шагом наблюдают. Легко сказать – плюнь!.. Жена Ялкаба нарочно дорогие вещи на нашей стороне развешивает, да еще сына своего сторожить их ставит. Специально дразнит! А куры?... Куры их только на нашей стороне и гуляют, в свой курятник идут лишь нестись. Да и жена ворчит. Ладно, что бы Шаназар-ага ни говорил, будем в «коконе» жить!

А что, теперь все так живут.

Продолжает Шаназар-ага:

Сегодня у Курбана лицо хмурое, как, черт побери, зимнее небо. Дай-то бог, чтоб все хорошо кончилось. А началось с того, что Курбан сказал:

– Плохи дела, Шаназар-ага. Агейли (так его первенца зовут) в какую-то девчонку влюбился. Вместе учатся...

– Радоваться надо, Курбан!

– Чему мне радоваться? Девушка, в которую этот балбес влюбился, беременная. На пятом месяце.

– Ба!..

– Не горюй, Курбан! Дедом станешь – нечего панику поднимать, – сказал Бехбит.

– А ты знаешь, что ребенок от Агейли?

– Откуда мне знать?

– А не знаешь. так и не лезь со своими советами! Уму-разуму легко учить! Я бы таких!.. Башку свернуть мало! – Курбан сжал кулак и посмотрел по сторонам, точно искал кому бы тут свернуть голову. – Как мне идти ее сватать? Разве будет настоящим очагом тот, что создам для сына? Грязь в дом привести!.. Нет, не может быть, чтобы она от Агейли забеременела. Опутала небось моего балбеса, потаскуха чертова!.. Ей лишь бы за кого уцепиться.

– Чего ты раньше времени «караул» кричишь?! Агейли что, маленький ребенок?... Небось сам знает, что делает.

– Это – его знание?! – набросился Курбан на Бехбита. – Это, я тебя спрашиваю?

– Эй, что с вами? – Велика важность. Да сейчас полно дувушек, которые замуж выходят уже в положении. Тысячу случаев могу рассказать. Мода сейчас такая. – Стиль махнул рукой. – Раз уж так получилось, все! Иди свататься и той устраивай.

– Не стану, будь уж уверен, не стану! Тьфу! – на такого сына!

– Твое семья. Раз уж посеял – будь хозяином.

Даже когда на работу добрались, Курбан не сразу успокоился. Представляю, какой он, черт побери, дома переполох устроил. Потом асфальт привезли. Хорошая вещь – работа: болтать нет возможности. Разговоры прекратились. Мы с Бехбитом решили идти сватать эту девушку, и Курбан немного отошел. Что ему делать?!

Потом Токар с Тойджаном приехали. Лица у обоих сияют.

– Замечательная смена растет, Шаназар-ага. Я Токара нашего имею ввиду, почтенейший. Недостаточно мы нашу молодежь ценим. Не поддерживаем ее. Вот, дал Токару рекомендацию в партию. И поговорил уже с кем надо. Токару расти нужно, вперед двигаться.

– Всю жизнь буду благодарен вам, Тойджан Деркарович!

– Ты меня не благодари, Токар. Это – мой долг, мой партийный долг. Поступи я иначе, нанес бы ущерб нашему обществу. – Тойджан полез в карман и достал пачку денег. – Я только что из больницы, Шаназар-ага. По дороге сюда завез меня Токар в контору, а мне кассир говорит, мол, зайдите, вам кое-что причитается. Токар, оказывается, зарплату выписал. Спасибо, конечно, но я ведь болел. Значит эти деньги не мои, а ваши. Разделите, Шаназар-ага, между ребятами. Кто заработал, тому пусть и достанется. Мне чужого не надо. Мне хватит того, что положено. Зарабатывать деньги надо в поте лица, да, честным, добросовестным трудом. Вот почему я Токару рекомендацию дал – умеет он работать.

Когда Тойджан деньги мне попытался отдать, Токар возмутился.

– Нет, нет, Тойджан Деркарович, – говорит, – это – ваша зарплата. Никому ее отдавать не надо.

– Нет, Токар, ты мне не перечь. Я хочу жить честно. И ты так жить старайся. Это мое напутствие тебе. Честным будь и людям помогай!

– Тойджан Деркарович, там, конечно, не много, но не гнушайтесь. Скоро премия будет квартальная, еще получите. Берите, берите себе! Вся бригада вам так скажет. Да для нас уже одно-то счастье, что вы, Тойджан Деркарович, с нами в одном коллективе...

Глядя, как Токар перед Тойджаном вертится, я Байрама вспомнил, начальника нашего. Когда сидели с ним... Да, вдвоем... А что здесь, черт побери, такого?!

В воскресенье я в город на базар поехал, только из автобуса вышел, слышу кто-то кричит «Шаназар!.. Шаназар!..» Думаю, кому я, черт побери, понадобился? Оглянулся, смотрю «газик» стоит, и кто-то машет мне рукой. Откровенно говоря, сразу я не признал, кто меня зовет. Но все же подошел. Смотрю – черт побери! – да это же наш Байрам. Раньше-то он полный был. А теперь похудел, осунулся. Только по голосу да по глазам и узнал его. А ведь, кажется, всего два-три месяца прошло, как он к нам на объект заезжал. Что такое, черт побери?! Оказывается, болел, больше месяца в больнице лежал. Пригласил меня к себе домой. Серьезно... Посидели, поговорили. Долго сидели. Потом Байрам меня домой отвез. На машине, к самому порогу.

Когда старуха моя узнала, где был, говорит: «Надо было у него должность просить!». У нас в роду, видишь ли, нет такого, кто бы, как сын Непеса, с директорской папкой ходил. Она мне, черт побери, все уши уже прожужжала: мол, неужели ты такой никудышный, что хоть над тремя-четырьмя шалопами начальником быть бы не мог? «Если не увижу, как хоть один из моих сыновей из дома с директорской папкой выходит, не смогу, – говорит, – спокойно глаза закрыть перед смертью». Вот так, черт побери! А у нас четыре сына – рабочие на хлопкозаводе. О дочерях я уж не говорю. Но и зятя... Шесть зятьев – и ни одного, черт побери, с директорским портфелем!

Без поддержки эту заветную папку захватить не просто. Если бы хоть кто среди наших родственников в кресле сидел, тогда другое дело. Как, черт побери, шалопаи и придурки разные должностей высоких добиваются?! И чтоб сыновья начальника какого, будь он хоть на самой никудышной должности, лопатой, как я, махали или вместе с сыновьями моими рабочими на хлопкозаводе работали – этого я тоже не видел. Хотя я, откровенно говоря, свою котомку, в которой обед на работу ношу, ни на какой портфель не сменяю!

Что?.. Опять в другое русло свернул?!

Непес, сосед мой, всю жизнь в колхозе, что рядом с нашим поселком, зампредом был. Вот и исхитрился сыну должность добыть: теперь его Токар над нами начальник. Бригадир!.. Воспользовались,

черт побери, тем, что у Бехбита в бумагах непорядок обнаружился. Бумаги они и есть – бумаги! У каждого слабина имеется! Вот, взять Бехбита, в бумагах он, откровенно говоря, – слабак. Нацарапает что-нибудь, а потом сам разобрать не может, просит Курбана прочитать, что написано. А тому что, бойко читает, а так там или не так, кто, черт побери, разберет. Зато говорить наш Бехбит – большой специалист, его хлебом не корми – дай поговорить!

А Токар не такой. Он лишнего слова не скажет, а вид у него такой, будто говорит вам: а ну-ка, догадайтесь, если сможете, что у меня на уме! Он, черт побери, будто уже во второй раз в наш мир сумасшедший пришел, все ходы-выходы знает. «Сынок, не водись ты с Алты Оре, – говорю я как-то Токару по-соседски. – В мире ничего тайного нет. И о ваших делишках люди знают. Потом сожалеть поздно будет. Ты бы лучше с Байрамом посоветовался. Он много в жизни видел, да и человек порядочный». А он, черт побери, молча так в ответ улыбнулся, дескать, оставь, почтеннейший, свою мудрость при себе. Я уж пожалел, что разговор этот с ним начал.

Вообще, откровенно говоря, чем, черт побери, дряхлей становишься, тем больше нравится уму-разуму учить. Только у каждого времени свои нравы. Прежде-то, в наше время, люди были и решительней, и проще, и почтительней. А теперь? Куда ни посмотришь: сплетники, нытики, трусы или такие, что себе на уме.

И равнодушия, черт побери, много стало. Вот, у Овякулы, объезчика водного, что рядом со шлюзом живет, сынишка... На обочине стоит, грязный, неухоженный, рубаха на нем чуть ли не до пят. Машины мимо едут – кричит что-то, руками машет, а никому до этого, черт побери, дела нет.

На днях попросил Амана притормозить и пошел к Овякулы. «Присмотри, – говорю, – за сынишкой, а то неровен час под машину угодит». И надо же, ребенок, которого мы за мальчишку приняли, на самом-то деле девочка, черт побери! Дуньязель зовут. Справная была девочка, в школу ходила, да два месяца назад, когда жену Овякулы пьяный шофер сбил, увидела мать мертвую и в один миг, черт побери, речи лишилась. С тех пор мычит только, а что – один Овякулы разобрать может. С тех пор, как мать на кладбище увезли, стоит, ждет ее возвращения, бедняжка, и кричит всем машинам проезжающим: «Почему так быстро едете? Задавить меня хотите?» Девочка права: все мы куда-то торопимся, словно, черт побери, от погони уйти хотим. А куда бежим?.. Зачем?..

Хотел девочку пахлавой угостить, что старуха мне на обед дала. Не взяла. Жаль, что не взяла. Ребята спрашивают, что, мол, сказал Овякулы. Что им ответить? Лучше им, черт побери, вообще об этом не знать. Теперь всякий раз, как проезжаем мимо шлюза, стараюсь их от дороги отвлечь. Рассказываю что-нибудь, лишь бы не глазели они на бедняжку Дуньязель. Жду-не дождусь, чтоб скорей закончили мы здесь работать да переехали на другое место.

Каждый живет ожиданием. Вот бедняжка Дуньязель ждет свою маму – упаси Аллах людей от подобного ожидания! А я – чего только в голову не взбредет! – порой кажется, что и я, как Дуньязель, жду несбыточного...

Разговор прошел, что хотят взамен той дороги, которую мы двадцать лет назад строили, новую проложить. Ну, не совсем новую... Те участки, что потом спрямляли, трогать не станут. Хоть силы и не те, что прежде, мечтаю я и на новой стройке поработать. А что?.. В крайнем случае хоть одного сына на это строительство отправлю. Умолять буду, но уговорю. Должны они меня понять.

У дорог, черт побери, тоже своя судьба есть, как у людей. А судьба всякому по его достоинствам воздает. Иная дорога год от года людям дороже, милей становится. Глядишь, машины по ней днем и ночью, туда-сюда снуют. А другая, хоть и много пота было пролито, чтоб ее проложить, не у дел остается, и скоро ее забывают. Немало мы, черт побери, таких дорог развели!

Я так думал, что обилие дорог сблизить людей должно. Но нет, не стало этого. Люди друг друга и видеть не хотят. Никому нет дела до плачущего, а уж чтобы поговорить по душам, вечно времени не хватает. Не достает моей душе прежних приятельских, душевных разговоров. Вот, сидели мы у Бехбита... Или у Байрама я был... Мир мой сразу просторней стал! Но ведь как редко, черт побери, встречаемся!

С работы вернешься, чем заняться? Если сам не позовешь, так никто к тебе не придет посидеть, чайку попить, поговорить. Сосед мой, Непес, даже с ним теперь не посидишь, а ведь прежде чуть не каждый вечер

чаевничали вместе. Дети наши вместе играли. Жил он тогда в старенькой кибитке, никаких тебе заборов, черт побери, – заходи когда хочешь. Теперь нет. Теперь дом большой, красивый, из жженного кирпича, а вокруг него забор. И одна только дорога есть – через ворота с двумя замками. Горожанам мы раньше удивлялись, что они дома свои запирают, а теперь и сами их не лучше. Я вам так скажу: чем больше замков появляется, тем меньше, черт побери, становится тропок, что прежде дом с домом связывали. А ворота какие?.. Вот говорят, что зажиточней мы жить стали. Может и так. Только, черт побери, с достатком сколько замков да засовов появилось!

Пошел я на днях к Непесу. Постучался в ворота. Жду. Уже думал, дома никого нет, когда из-за ворот голос мальчишеский:

– Кто там?

– Это я, милый, сосед ваш, Шаназар-ага. Открой.

– Кто нужен?

– Непес, дедушка твой.

– Нет его, – говорит и через дырку, «глазок» называется, на меня смотрит. – Шаназар-ага, чего надо?

– Да, ничего, – говорю. – Был бы дед дома – посидели бы, отвели бы душу разговорами.

– Как это?

– Ну, поговорили бы по душам.

– Зачем?

– Милый, – говорю, – выдь-ка ты за ворота. Что ты на меня через дырку эту смотришь. Навешали, черт побери, замков!

– Чем мы других хуже? Вы, Шаназар-ага, тоже замок купите, сейчас в магазине нашем разные замки есть.

– Сынок, я тебя вот о чем спросить хочу: отчего ты не играешься никогда. Я в твои годы, ох, любил играть. С утра до ночи в дом дозваться не могли. Возвращался затемно, весь грязный...

– Дурак я что ли, одежду марать!

Безлюдно на нашей улице. Никто не прогуливается неторопливо, никто в гости к соседу не спешит, вместе с ним чаек попить, поговорить...

Иной раз почудится, что бегут ватагой мальчишки, с криками, со смехом!..

Нет...

Тихо. Пусто.

РАССКАЗЫ

УРАГАН

Жеребята еще неуверенно держали головы, но уже всю резвились на пастбище среди холмов Аркача. Равнодушные к душистым полевым травам, проголодавшись, они, причмокивая, сосали материнское вымя. Яловые кобылы шипали траву без аппетита. Они неотрывно следили за жеребятами. Временами подходили к приглянувшемуся жеребенку и, пытаясь приучить его к себе, принимались вылизывать в самых укромных местах. Когда их жеребят вылизывали чужие, матки ревновали. Они напирала на яловых, чтобы отогнать их, и порою между ними разыгрывались настоящие сражения. А жеребята, словно они ни при чем, снова убегали резвиться.

Но это приволье продолжалось не долго. Однажды на пастбище прибыли пять человек и, тщательно осмотрев каждого жеребенка, разделили поголовье. За жеребятами, которых отобрали для скаковой конюшни, стали ухаживать особенно заботливо. Остальных же отправили в рабочее отделение, в загон, что был с другой стороны двора, и, похоже, совсем о них забыли. Когда счастливым из скаковой конюшни привозили сено, вечно голодные бедолаги оживали в надежде, что и им перепадет клочок душистой травы. Тянулись мордочками сквозь прутья изгороди. Но на их жадные взоры не обращали внимания.

Сено в полдень привозил на телеге Селим-ага. Это был немолодой, вечно чем-то озабоченный человек, и никто не помнил, чтобы на его смуглом плоском лице, похожем больше на ладонь, чем на лицо, хоть раз появилась улыбка. Сено с телеги он скидывал с каким-то яростным остервенением, и даже игры жеребят, могли вывести его из себя.

Иногда вместе с ним был тихий бритоголовый мальчик, которого звали Вели. Вцепившись в прутья изгороди, окружавшей загон, он зачарованно смотрел, как жеребята лакомятся клевером, воображал себя жокеем и терзался, не зная кому из обитателей конюшни отдать предпочтение.

Соловый с золотистым отливом жеребенок был резвей прочих. Его распирала энергия. Он и в загоне не стоял спокойно, все брыкался, а уж когда выпускали на поле ничто не могло удержать его на месте. Он легко отрывался от табуна и уходил далеко вперед. Если же бежал наперегонки со своими пагодками, то без труда оставлял их сзади. Озорной жеребенок стал любимцем Вели. Его тонкие стройные ноги, поначалу казавшиеся чересчур длинными, и высокий лоб с отметиной постепенно сделались предметом тайной гордости мальчика. Часами он мог наблюдать за своим кумиром, и при этом тихая счастливая улыбка озаряла его лицо. А вот Селим-ага то и дело ругал озорного жеребенка. Правда, тот даже внимания на эту брань не обращал. И это Вели считал единственным недостатком своего любимца. Сам он ни за что бы не осмелился шалить после того, как дедушка сделает замечание. Но ему было невдомек, что раздражает деда. Разве конь не для того создан, чтобы скакать быстрее ветра? Ведь это так здорово! Временами Вели хотелось самому стать таким же резвым и непокорным, как соловый жеребенок.

В год заранее отобранных для скачек молодых лошадей начинают готовить к скаковым испытаниям. Как завидывал Вели, стригункам, у которых так быстро кончилось беззаботное детство. За двенадцать месяцев нескладные жеребята превратились в красивых молодых коней, а он подрос всего на несколько сантиметров. Ему тоже хотелось побыстрее вырасти, и, оседлав самого сильного скакуна, под восторженные крики зрителей промчатся по дорожке ипподрома.

Новые жеребята сменили в загоне его друзей. Вели понимал, что и эти вырастут и покинут его, и это наполняло грустью его глаза. Он знал, что еще не одно поколение лошадей пройдет через конюшню, пока он станет взрослым. Но не все было так уж мрачно. Солового, его любимца, оставили при ипподроме, чтобы он вместе с Селимом-ага возил сено. Когда Вели узнал об этом, он обрадовался так, точно выиграл целую гору альчиков.

Соловый поначалу бунтовал против унижительной повинности ходить в хомуте, запряженным в телегу, но Селим-ага за неделю сбил с него гонор, и Ураган – такую жеребца получил кличку – сделался шелковым: потянешь вожжу – он идет, как миленький, куда приказано. Селим-ага на рассвете запрягал его в телегу и отправлялся в колхоз, нагружал там целый стог клевера, сажал на верх внука, и они отправлялись в обратный путь. К ипподрому, к родной конюшне Ураган шел легко, словно без поклажи.

Вели нравились эти поездки. Как прекрасно быть на высоте и созерцать мир с вершины горы, пусть гора эта всего лишь из клевера, нагруженного на телегу! Как потом не хочется спускаться вниз! Иногда Вели брался за вожжи, но Ураган, почувствовав детскую руку, начинал фыркать и мотать головой.

Он так и не смирился с необходимостью тащить воз, и при любой возможности убегал в поле, грохоча пустой телегой. После этого Урагану здорово досталось! Рука у Селима-ага была крепкой и ругался он грозно. А когда удила рвут тебе пасть, поневоле подчинишься – жизнь все-таки дороже. Но больше всего на свете Ураган мечтал о степном просторе и вольной скачке. И многие обиды прощал он хозяину за то, что изредка тот отпускал его с Вели в степь. «Мужчина должен с детства сидеть в седле, – говорил Селим-ага, напутствуя внука. – Вот и учись! А заодно у этой скотины прыги, может, чуть поубавится!».

Поначалу Ураган, словно не веря, что обрел свободу, шел шагом, медленно набирая темп. Вели нетерпеливо прищипоривал коня, ударяя в бока босыми пятками. И Ураган устремлялся вперед.

Он летел над степью, одетой в нежно-зеленный весенний наряд. Нет ни ветерка, но когда ты в седле, ветер свистит в ушах и рвет с тебя рубаху. Вели от страха упасть сидит зажмурившись и крепко вцепившись в луку седла. Ураган чувствует, что испытывает сейчас его наездник. Мальчику нечего беспокоиться, Ураган не доставит ему хлопот.

Сделав широкой полукруг, Ураган поворачивает к селу. Вот и конюшня показалась. А в воротах стоит Селим-ага. Вели и опомниться не успел, как Ураган доставил его к деду. Конь, опьяненный свободным бегом, шумно дышит, роет копытом землю, с боков его падают хлопья пены. Он рвется в скачку, но Селим-ага велит внуку выгулять Урагана, чтобы у того восстановилось дыхание. После прогулки шерсть у коня начинает лосниться и еще ярче отливать золотом.

Сколько бы ни проскакал Ураган, ему все мало. Однажды, вырвав из рук Вели повод, он ускакал в степь, но когда начало смеркаться вернулся в конюшню. Селим-ага крепко привязал его к коновязи и наказал плетью. «Не понимаешь добра! – приговаривал он. – Убить тебя мало!».

Еще Селим-ага наказывал Урагана за то, что тот при любой возможности старается полакомиться душистым клевером, что предназначен для скаковых лошадей. Уличив Урагана в воровстве, Селим-ага бьет его плетью по морде. Иногда он этим не удовлетворяется и наказывает его голодом. Два дня не дает ни сена, ни зерна. Бросит в ясли клочок соломы и скажет, ухмыльнувшись: «Ничего, пустому брюху и черствая лепешка слаще меда покажется. В другой раз не будешь жрать чужого!».

Так прошло четыре года.

Ураган был теперь уже совсем не тот, что прежде. Бока его запали, шерсть потускнела и прыги в нем поубавилось. Убедившись, что своеволие ничем хорошим не кончается, Ураган послушно брел туда, куда направлял его возница. И аппетит у него стал плохим.

Несколько раз он болел, но Селим-ага, похоже, даже не заметил этого. Напротив, во время болезни он особенно ожесточался, больно хлестал Урагана плетью по бокам. Когда Ураган постепенно оправился, к нему вновь вернулось желание насладиться скачкой. Он с завистью поглядывал на своих одногодков, когда те, дробно стуча копытами, проносились мимо него по дорожке ипподрома. Ураган ржал и пытался освободиться от упряжки, но кожаные ремни крепко держали его.

Те кони были настоящими конями, не ему чета, и Ураган не раз замечал, с каким восхищением смотрит им вслед Вели. Да и он сам, стоя в дальнем углу конюшни, только и мечтал о том, как полакомиться душистым сеном, которым потчуют чемпионов.

Когда жокеи проводили своих скакунов мимо Урагана, те злобно косились на него и угрожающе ржали. Но Ураган их несколько не боялся. Напротив, он начинал вырываться, готовый скакать вместе с красавцами из скаковой конюшни. Но Селим-ага впрягал его в телегу.

Однажды старик замешкался, и Ураган вырвал из его руки недоуздок. С места он взял в карьер, но поскакал не по кругу ипподрома, а к горам. Конь скрылся из виду так быстро, что Селим-ага и опомниться не успел. Сначала он не встревожился, полагая, что Ураган, как обычно, вернется к вечеру. Но соловый не вернулся, и всю ночь старик провел без сна, а утром пошел повиниться начальству. Послали двух наездников и к полудню те вернулись с Ураганом. Кони под жокеями были все в мыле.

– Ну, Селим-ага, твой Ураган и в самом деле ураган, – сказал наездник Ялкаб, один из тех, кого посылали на поиски беглеца. – На прямой не могли за ним угнаться, – признался он, передавая Селиму-аге повод.

На другой день Ялкаб пришел снова.

– Не отдашь ли, Селим-ага, мне своего Урагана. Рискну.

– Только спасибо тебе скажу, Ялкаб-джан, если избавишь меня от этого разбойника. Я человек старый, мне нужна лошадь тихая, спокойная. А этот, словно бешеный, не стоит на месте, все рвется куда-то.

Ялкаб не стал медлить, оседлал Урагана и верхом отправился к Полату Пудаковичу. Тот выслушал Ялкаба не перебивая, но, когда жокей выложил все свои аргументы, отрезал:

– Нельзя! – Этого ему показалось мало, и он замотал головой из стороны в сторону, но при этом окинул Урагана быстрым цепким взглядом. – Кто за коней отвечает? Все это хозяйство на мне, – Полат Пудакович широким взмахом руки отметил размеры своих владений. – А ты, Ялкаб, еще один хомут для меня приготовил. И не думай даже. Где ты раньше был? Ты разве в комиссию неходишь? Был в составе комиссии?

– Был.

– Акт о выбраковке подписал.

– Подписал.

– Вот и не морочь мне теперь голову.

– Полат Пудакович, – взмолился Ялкаб, – тогда он брыкался много, вот мы и решили, что он чересчур нервный. Кто не ошибается?.. Вы взгляните, какой это конь. Спина широкая, глаза светятся. Ребра длинные. С обеих сторон – поровну. Грудная клетка, смотрите, какая просторная...

– Яйца курицу не учат. Сам вижу.

– Полат Пудакович, а вы бы взглянули, как он скачет. Мне и секундомер не нужен. Когда мы за ним гнались, он километр, наверное, за минуту ноль шесть прошел. А если его потренировать?.. Всю ответственность беру на себя!

– Поздно, – сказал Полат Пудакович, но уже без прежней категоричности в голосе. – Ухода хорошего он не знал, болел – это раз. Во-вторых, старый уже для скачек. В-третьих, и это самое главное, мы сами его забраковали. Если теперь скажем, что ошиблись, нас, сам понимаешь, по головке не погладят. А в-четвертых...

– Полат Пудакович, рискнем! Я его выхожу, через месяц не узнаете. Расходы на него небольшие. Год-другой еще поскачет, и, думаю, большого успеха достичь с ним можем.

Полат Пудакович не ответил, он изучал Урагана. Сначала осматривал издали, потом подошел поближе и, видимо не доверяя собственным глазам, пядь за пядью ощупал шею, грудь, бабки.

– Ну, смотри, – сказал он наконец, продолжая разглядывать Урагана. – Если будут искать виноватого, я свою голову под палку подставлять не стану, первым на тебя укажу.

– Согласен, Полат Пудакович. Не придется вам удар принимать.

– Только без комиссии все равно не обойтись. Не хочу зря рисковать. Пусть все будет оформлено, как положено. А, главное, коллегиально решение принято. Если что, пусть комиссия отвечает.

– Да никому не придется отвечать!..

Через неделю собралась комиссия.

– Поздно привлекать коня к скачкам, – заявил ветеринар. – Желудок у лошади не десяти отделений, а всего одного, а Урагана кормили чем ни попадя. Испортили желудок... А еще эмфизема легких... – И он, нацепив очки, бубнящим голосом стал читать заранее заготовленную справку.

– Вас послушать, так, вообще, ни одной здоровой лошади нет, – вспыхнул Ялкаб. – Если обеспечим хороший уход – все хвори, как рукой снимет.

– В общем так: Ураган, я уверен, может стать гордостью нашей конюшни, если, конечно, все приложат для этого соответствующие усилия, – подвел итог коллегиальной работе Полат Пудакович. И после короткой паузы, не желая выпускать из своих рук и второй конец дубинки, прибавил: – Если, конечно, вы, товарищи, не опоздали со своим решением...

Одним словом, было решено готовить Урагана к скачкам.

С этого дня жизнь его переменилась. Из рабочей конюшни его перевели в скаковую, выделили там отдельный денник. Ялкаб не отходил от него. Кормили и поили Урагана теперь по часам, да не абы чем, а отборным зерном и душистым сеном, о котором прежде он мог только мечтать. Не доверяя конюхам, Ялкаб сам выгуливал коня, а по утрам скакал с ним галопы.

Новая жизнь нравилась Урагану. Когда его ставили рядом с другими скакунами, он стрелой устремлялся вперед, не чувствуя, как наездник натягивает удила. Все больше лошадиников приходило утрами на ипподром специально, чтобы взглянуть на него. Молва об Урагане становилась все громче. И он, словно догадываясь, чего ждут от него люди, день ото дня прибавлял резвости.

Иногда Ялкаб выводил Урагана в падок, куда Полат Пудакович приводил двух-трех почетных гостей ипподрома.

– Настоящую жемчужину всегда заметят, – многозначительно говорил он. И прибавлял: – Я велел готовить его к скачкам.

Однажды его навестил даже вечно занятый Селим-ага с внуком. При виде старых друзей Ураган приветственно заржал.

– Ураган! – радостно крикнул Вели. – Дедушка, ты только посмотри. Какой красавец! Нашего Урагана теперь не узнать! Верно, деда?!

Селим-ага было не узнать. Вечно хмурый, сегодня он улыбался. Он придирчиво осмотрел Урагана, а потом сказал, обращаясь к коню:

– Да, Ураган, ты настоящий скакун! Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить! Надо же, жили рядом, а понять друг друга не смогли. Не разглядел, ты уж прости меня, Ураган. Ты нас уже, поди, забыл. А вот мы по тебе скучаем. Смотрим, когда ты скачешь. Скоро чемпионом станешь, в далекие края будешь ездить, призы привозить. Мы с Вели очень в тебя верим. А ты уж меня не опозорь. Ведь, если что случится, сразу скажут, мол, конь Селим-сейиса...

Наступила осень.

На ипподроме начались соревнования.

Ураган, который всю жизнь ждал этих скачек, очень нервничал, вставал на дыбы, не слушал Ялкаба. «Или они не понимают, что я им говорю, или истина в конец обесценилась!» – недовольно бурчал врач-ветеринар, наблюдая за происходящим. Он был осторожным, несмелым человеком, но незадолго до начала заезда все же подошел к Ялкабу.

– Не нравится мне Ураган, сказал он. – Состояние его ухудшилось.

– Да перестаньте вы, – отмахнулся жокей. – Вас послушать, так на всем белом свете не найти ни одной здоровой лошади.

– Чем это тебе его состояние не понравилось? – усмехаясь, спросил Полат Пудакович, который оказался свидетелем этого разговора и был очень обеспокоен тем, что из-за зануды-врача конюшня может упустить свой шанс. – Ты взгляни, как он ногами перебирает от нетерпения. Нельзя же в конце-концов быть таким перестраховщиком!

Ударили в колокол.

Ураган взял с места в карьер и легко повел скачку. Он оторвался на несколько корпусов, но через некоторое время расстояние между ним и остальными стало все же понемногу сокращаться. Уже слышалось шумное, разгоряченное дыхание преследователей и частый, четкий топот их копыт. Ялкаб сидел

низко пригнувшись, почти припав к холке Урагана, чтобы лучше слышать его дыхание. Грива хлестала его по лицу.

Половину дистанции они все же прошли первыми. Вскоре за поворотом остальная скачка стала увеличивать темп, а вот с Ураганом что-то случилось. Его ход то ли от усталости, то ли еще по какой причине потерял свой четкий ритм. Дорожка приобрела сначала какой-то странный желтоватый оттенок, а потом ее и вовсе окутал туман. Серый жеребец, который до поворота уступал Урагану не менее двух сажень, сравнялся с ним. А совсем близко раздавался топот копыт еще одного преследователя. Ураган попытался сохранить свое лидерство, но это ему не удалось. Сначала они втроем шли вровень, но потом Ураган уступил им пол корпуса. Он скакал изо всех сил, с губ его срывались хлопья пены, он хотел прибавить, но в глазах у него потемнело и среди мрака, окружавшего его, Ураган видел только два желтых пятна. Это уходили вперед те, что недавно преследовали его. Кровь Урагана клокотала, и Ялкаб, стиснув от досады зубы, был вынужден свернуть с круга.

Только они сошли с дорожки, как Ураган зашатался и, точно споткнувшись, рухнул на землю. Ялкаб успел освободить ногу из стремени, и отлетел вбок. Ураган и его наездник лежали в пыли, а заезд шел своим ходом.

Ураган напрягся, пытаясь подняться, но сколько не силился – это ему не удавалось. Его длинные сильные ноги, потеряв под собой опору, беспомощно сучили по воздуху. Вытянув шею он смотрел вслед остальным скакунам, которые уже приближались к финишному столбу. Некоторое время спустя он все же смог подняться и, шатаясь, стоял на дрожащих от слабости ногах.

Пять-шесть человек, перемахнув через ограду, отделявшую зрителей от скакового поля, бежали к месту происшествия. Полат Пудакович, бежавший впереди всех, размахивал руками и ругался:

– Всех разгоню к чертовой матери! Слишком умные стали! Я же говорил... Нет, рекордов ему захотелось. А врач куда смотрит?! Оба работы лишитесь. Чтоб глаза мои тебя больше не видели, – крикнул он Ялкабу, который виновато воротил голову, боясь встретиться с директором взглядом, и старательно отряхивал картузом пыль с колен.

Селим-ага и Вели тоже были там.

– Вот скотина проклятая! Чуяло сердце, что он меня опозорит. То же мне – скакун... Свое место знать надо! Ну, ничего, ты от меня еще получишь! – говорил он, и лицо его от гнева потемнело еще больше, чем обычно.

Только маленький Вели рыдал, глядя Урагану гриву. Никто не замечал слез мальчика, никто не велел ему перестать. А Ураган смотрел на него своими большими, умными глазами и, казалось, сам вот-вот тоже расплачется.

Потом Селим-ага посадил внука на Урагана и, успокаивая самого себя, сказал:

– Ладно, поедem отсюда... Некогда нам эти скандалы слушать. У каждого свое место. Лучше сена жеребятam привезем.

Вели, у которого еще слезы не просохли, счастливо улыбнулся. Все кончилось самым лучшим образом: он сидит верхом на Урагане, а завтра, может, дедушка снова позволит им на заре поскакать по степи...

Неторопливым шагом старик, мальчик и лошадь шли через поле к рабочей конюшне. А те люди, что столпились вокруг Ялкаба, и, перебивая друг друга, выясняли, чей вины больше, даже не заметили их ухода.

Тем временем дали старт новому заезду, и кони рванулись вперед, разыгрывая большой приз.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

*Светлой памяти моего отца
Ходжагельды Оде посвящаю.*

1

«Вот тебе мой совет: если не хочешь жизнь прожить в нищете, ты свои мысли о справедливости, порядочности, честности закопай где-нибудь подальше, в укромном местечке. Болтать об этих красивых вещах можешь сколько угодно, но, где ты их похоронил, никто знать не должен — ни друзья, ни дети, даже с женой этой тайной не делись. А вздумаешь поступать по совести, так вовсе с голым задом останешься. И не спорь! С мое проживешь — жизнь тебя научит, убедишься, кто прав.» Так некогда наставлял Назара его отец. Были эти слова криком отчаяния, но сказал их старик от всего сердца...

Все люди умники. И каждый хочет поучать другого, да только не всякому чужие поучения по нраву. С чужих слов вообще мало что в память западает. Не люди человека уму-разуму учат, а сама жизнь. Но уж то, чему жизнь научила, до самой смерти не забудешь. Когда сам споткнешься, да упадешь, да набьешь шишку, так потом о ней на каждом шагу вспоминать будешь. И ступать научишься осторожно. Вот так жизнь людей к своему норову приспосабливает. Поначалу несешься как угорелый, но преподаст жизнь урок-другой, и поймешь, что лучше всего не трепыхаться, а жить, как живется, плыть по течению. За свои шестьдесят пять лет Назар-ага не раз и не два раза в этом убеждался — столько жизнь ему шишек набила, что просто не перечесть. И всякий раз вспоминались отцовские слова о порядочности и справедливости. Только когда вспомнишь — уже поздно. Но с другой стороны, как такому совету следовать? Как про совесть забыть? Разве сможешь поступать несправедливо, если на тебя твои дети смотрят? или ворованое домой принести? — ведь дом, очаг, семья — это святое. Со временем Назар-ага понял, что следовать такому завету смог бы только совсем подлый человек. И другое понял: хоть учил его отец честность, порядочность и справедливость зарыть где поглубже, но сам этого сделать не смог. Да оно и понятно: чаще всего люди других то делать учат, что им самим не по силам оказалось.

Как бы там ни было, но что отец объяснить не смог, тому жизнь научила. Впрочем, это только говорится, что жизнь. На самом деле во всем проклятый Шадман-ялдыр<SFЯлдыр — здесь Лысый.> виноват. Вот и получается, что у жизни, которая Назара-агу уму-разуму учила, лысина до затылка, брюхо необъятное и в маленьких глазках всегда недобрые огоньки горят. И сколько бы ему ни говорили, что злейшие враги человечества — фашисты, Назар-ага твердо убежден, что в сравнении с Шадманом-ялдыром самый страшный фашист — ничто.

Фашистов Назар-ага бил. Он и в окопах мерз, и в окружении голодал, и в госпиталях валялся, но фашистов разбил и после пяти лет разлуки вернулся в родное село с великой победой. А вот проклятого Шадмана ни за пять, ни за десять лет победить не смог. Вот уже и возраст пророка перешагнул, а все равно Шадман-ялдыр пока верх берет, хотя оружие у него не пушки и не танки, а лишь слонявый брехливый язык. И должностью, и богатством своим добивается проклятый Шадман одного: чтобы Назар-ага о совести забыл, от справедливости, порядочности и честности отказался.

Вот странное дело: человека, который ненавидит тебя и притесняет всячески, кажется, что лишний раз вспоминать. Так нет же, постоянно он у тебя в голове, днем и ночью с ним споришь-препираешься. И о чем бы в доме не говорили, так уж получается, что раньше или позже разговор все равно на проклятого Шадман-

ялдыра свернет, точно на нем свет клином сошелся. И из-за этого кусок хлеба, который тяжким трудом добыт, того и гляди поперек горла станет.

И нынче что-то случилось. Тойли вечером домой пришел не в духе. Даже когда к дастархану сел, лицо по-прежнему было суровым, никак его обида не отпускала. «Бедняга, — думал Назар-ага, наблюдая за сыном, — так до сих пор и не научился чувства свои скрывать. Что в сердце, то и на лице написано. Тяжело ему в жизни придется». Но Тойли и не думал скрывать, что у него на сердце, напротив не терпелось ему, что в груди горело, выплеснуть поскорей.

— Слушай, отец, а что если взять этого лысого за шиворот, да втолковать ему, что козь не успокоится, так пожалееет, что на свет родился. Сколько его притеснения терпеть можно? Все же мера есть. Нельзя всю жизнь со стиснутыми зубами ходить? Уже раскрошатся скоро, ей-богу!

— Терпи, сынок. Не горячись. Нет в этом мире ничего неучтенного. А причинишь кому зло, так оно к тебе потом десятикратно вернется. О делах Шадмана-ялдыра всем известно. С рук ему это не сойдет. Раньше или позже станет жертвой собственных козней.

— Пора бы уже. Если должен его бог наказать, так уж все сроки миновали. Но, видать, чего-то бог перепутал, вместо того, чтобы наказание Шадману послать, он все ему добра прибавляет.

— Не богохульствуй, Тойли! Ему это не понравится.

— Понравится - не понравится, что-то я особой разницы не вижу. Я тебе, отец, прямо скажу. В один прекрасный день Шадман свою смерть из моих рук примет. То он тебя терзал. Теперь, гад, на меня обрушился...

— Да что ты такое говоришь, сынок. Об этом даже думать грех. Покайся. Все по воле Аллаха. Сказано ведь: «Терпенье свое исподволь возьмет». Увидишь, еще придет Шадман к нашему порогу просить прощения за все содеянное. Не дано человеку от своей судьбы убежать.

— А Шадман-ялдыр убежал. Иначе бы его голова давно вдребезги разлетелась. Восемь выстрелов Гундогды-ага сделал, и ни один в цель не попал, а!..

— Ну и что Гундогды доказал. Ни к чему та пальба была. На девять лет в тюрьму угодил, а что изменилось?

— Зато этот негодяй хоть пару лет был ниже травы, тише воды. Ничего, если я решу с ним рассчитаться, так не промахнусь. Упру ствол промеж глаз и спущу курок.

— Что ты болтаешь такое! Страшные слова говоришь. Все мы рабы божьи. Без его воли и волос с головы не упадет. И Шадман свое получит. Сколько раз я тебе говорил. И не заставляй меня одно и то же повторять.

Если говорить откровенно, лишь надежда, что бог раньше или позже накажет Шадмана, служила опорой Назару-аге. Верил он в это в молодости. Не разуверился и в старости.

2

Они и в детстве не ладили. Шадман был старше почти на год, сильней и языкастей. К тому же отец Шадмана был состоятельный человек, от которого многие зависели и перед которым робели.

Но только детские стычки и ссоры в счет не идут — память о них стирается с годами. По-настоящему Назар-ага столкнулся с Шадманом, когда обоим было уже под тридцать. Шадман в то время уже бригадирствовал — на весь мир смотрел свысока (впрочем он и сейчас такой!). Все село от него зависело. Ведь все трудились в его бригаде, с утра до ночи гнули спину в поле, а кто сколько трудодней получит решал Шадман. Немало было таких, кто всякий взгляд Шадмана ловил, любое его желание угадать старался, лишь бы заслужить кусок посыпней. Терпеть это было выше сил, но только куда из своего села убежишь.

Для туркмена родные места покинуть — все равно что конец света пережить. Все готов претерпеть, лишь бы не покидать тех мест, где пролилась кровь, когда пуповину перерезали. Назар-ага не решился бросить родное село, хотя задумывался об этом не раз. Успокаивал себя тем, что не навечно Шадману бригадирская должность досталась. Если не бог, то хоть власть должна же его за все проделки наказать. «Эта

власть белого царя скинула, Гитлера победила — кто против них проклятый Шадман-ялдыр», — успокаивал сам себя Назар-ага.

Когда живешь, доверявшись судьбе, неизвестно куда она тебя приведет и что тебе увидеть придется. И увидел-таки однажды то, что видеть не стоило. Было это, когда поле, что «девяткой» называли, поливал. Знал бы, что так получится, ввек бы его туда пойти не заставили. Но что делать — знать сама судьба его туда привела.

...Полив шел нормально. Закинув лопату на плечо, он неспеша направился к тутовникам, чтобы отдохнуть немного в тени. Шагал, глядя как вода бежит в междурядьях. Радовался, что до вечера можно будет отдохнуть, а к тому времени вода напитает все поле, хлопчатник вдоволь утолит жажду. И вдруг его точно палкой по голове ударили! Назар не верил своим глазам. Надо же такому случиться! От неожиданности он даже лопату выронил. Только теперь припомнил, что чудилось ему чьи-то голоса. Но откуда на «девятке» в эту пору людям взяться?!

— Слепой что ли? Куда прешь!..

«Уж лучше бы мои глаза ослепли, чем видеть такое бесстыдство», — думал Назар.

— Ты что здесь делаешь? — Шадман-ялдыр торопливо натягивал штаны. А Сона, так звали девушку, стремглав убегала прочь, не разбирая дороги, прямо через поле. Бежала так быстро, будто надеялась убежать от позора.

— Ты что здесь шляешься?!

— Я... я... — Назар хотел объяснить, как он здесь оказался, но язык не слушался его. И колени дрожали. Без сил он опустился на землю.

— Встань! Что расселся? Встань!

Назар, опершись на лопату, поднялся. Не потому, что приказал Шадман, нет. Противно было сидеть в опоганенном месте. Поднялся и пошагал прочь.

Шадман побежал следом.

— Стой! Куда идешь? Подожди. Постой, тебе говорят, — Шадман положил руку Назару на плечо.

— Убери свою поганую руку!

Шадман руку убрал, глубоко вздохнул, пожал плечами и, глядя в сторону, попросил:

— Поговорим?

— О чем говорить. Все понятно.

— Предположим, ты ничего не видел. Ясно.

— Ты мне не угрожай.

— Я не угрожаю. — Шадман торопливо сглотнул слюну. — Ты мне нравишься, Назар. Что попросишь — сделаю. Ни в чем отказа иметь не будешь, только пусть эта история между нами останется.

— О-о, проклятый мир!

— Сосед, о мире после поговорим. Дай мне честное слово, что никому об этом не расскажешь, а! Поклянись!

— Ишак ты! Я жил и радовался, что село у нас такое хорошее, что люди здесь честные, порядочные. А ты разом всех замарал. Всех! И такую скотину люди выбрали бригадиром. С тебя пример брать должны, а ты что себе позволил. Все село опозорил. Верно говорят, что рыба с головы тухнет.

— Давай по-мужски поговорим.

— С тобой? Ты хоть знаешь, что такое настоящий мужчина?

— Ты, Назар, если проболтаешься, бабой будешь!

— Неужели тебе девчонки не жалко. Ей ведь замуж выходить, семью создавать.

— Нет, Назар, она сама. Что мне делать, если она на шею вешается.

— Вешалась. Небось написал ей лишних трудодней. Будь прокляты эти деньги!

— Ну, хватит, Назар. Давай серьезно поговорим.

— О чем с тобой говорить. Таких людей надо гнать из села. Ты не человек. За все ответишь перед людьми.

- Не горячись. Рабом твоим буду. Зарплату увеличу.
- Думаешь всю жизнь бригадиром будешь?! Не нужны мне твои грязные деньги.
- Деньги – есть деньги. Это только дураки делят их на чистые и нечистые...

«Прогнать Шадмана из села, прогнать... прогнать...» Одна лишь эта мысль вертелась в голове у Назара. Ни о чем другом думать не мог. Радовался, что сдержался, не ударил негодяя. Пусть его бог накажет. А уж он так ударит, что второй раз не поднимется. Ну, что за мерзкий тип, решил будто за лишний трудодни весь мир купить может. Аксакалы ему покажут!

Вечером Назар собрался духом и пошел к Чашему-аге. За чаем говорили о пустяках. Не клеился разговор. Назар хотел быть чистым перед богом, но как трудно сказать о дурном. О чем бы не начинал говорить Назар, Чашем-ага отвечал коротко «да», «конечно». Не раз и не два обдумал Назар, что ему предстоит сказать, но произнести вслух не мог. К тому же жена Чашема была в комнате, как при ней о таком сказать... И все же решился и сказал. А когда, торопливо попрошавшись, уходил домой, столкнулся на крыльце с Шадманом. Тот метнул на Назара злой взгляд и, не сказав ни слова, вошел в дом Чашема.

Ночью Назар мучался без сна. Виделся ему то ухмыляющийся Шадман-ялдыр, то несчастный Чашем-ага, то его беспутная дочь, бежавшая через поле. Стоило ли говорить Чашему о случившемся? Может поступил опрометчиво? Было Назару плохо, тяжело, воздуха не хватало и он дышал, судорожно открывая рот, точно утопающий, но он знал, что утаив правду, чувствовал бы себя еще хуже: считал бы себя грешником и перед богом, и перед людьми. Уж таким он уродился.

Чем же все это кончится? Ясно одно: Шадману теперь не позавидуешь. Из села, может, и не прогонят, но с должностью придется ему расстаться. Это справедливо. Не зря ведь говорят: козь падишах листок в саду сорвет, его подданные все деревья порубят!..

А каково сейчас Чашему-аге. Переживет ли он муку позора? Как бы он сгоряча на Шадмана руку не поднял. Может, уже придушил этого пса. Никто, конечно, Чашема не осудит, но все же грех... О-о, скорей бы утро, скорей бы все разрешилось.

Но утра ждать не пришлось. Заполночь кто-то постучал в ворота. Потом послышалось откашливание и чей-то голос негромко позвал:

– Назар, эй, Назар, выйди!

Назар сел на постели, вглядываясь в темень, пытался понять чей это голос. Потом встал, поправил одеяло на детях, и, взяв кухонный нож, пошел к двери. Кто бы ни пришел, ясно, что в такой час явился он неспроста.

- Отец, я боюсь, – послышался испуганный голос жены.
- Нечего бояться!
- Не ходите. Если чего надо, пусть утром придут.
- Эй, Назар! – На этот раз голос прозвучал требовательней.
- Иду, иду! – Назар глянул туда, где спали дети, и вышел на веранду.
- Кто там?
- Не узнал, что ли? – Это был Гундогды. Сердце у Назара успокоилось.
- Эх, Назар, Назар. Что же ты натворил. Не ожидал от тебя такого. Все село опозорил.
- Разве я виноват?!

– Ладно, что случилось, то случилось. Держись! – Гундогды положил руку Назару на плечо. – Вот что скажу: главное, духом не падай. Знай, я с тобой. Конечно, дел ты натворил. Но я-то знаю, зла у тебя в сердце нет, и чтобы там ни было – я от тебя не отвернусь.

- Гундогды, ты зачем пришел? Утешать меня, что ли?
- Тебя ждут в доме Чашема. Меня за тобой послали.

Поджидали их человек семь-восемь. В основном, родственники Чашема и Шадмана. Сидели, низко склонив головы, и, когда Назар с Гундогды вошли в комнату, лишь мельком глянули на них.

Первым, как и предполагал Назар, заговорил Кара-ага. Он самый почтенный аксакал, без его ведома и травинка не шелохнется в селе. К тому же он близкий родственник Чашема.

– Назар, братец!.. – Кара-ага замолчал, как бы еще раз отмеривая, взвешивая слова, которые ему предстояло сейчас произнести. – Мы от тебя всегда ждали только хорошего. Надеялись, что вырастешь достойным человеком. Отец твой, пусть земля ему будет пухом, был мудрым, порядочным человеком. А ты... ты не оправдал нашей надежды. От жиру бесишься! Все село опозорил.

– Не такая уж у меня жизнь богатая, чтоб от жиру беситься. Сами знаете, кто в нашем селе от жиру бесится. Это он – Шадман!

– Нет, братец, коль взял грех на душу, так хоть за чужую спину не прячься.

– Нет у меня такой привычки!

– Ты пойми, Назар, и нам этот разговор вести нелегко. Речь идет о серьезных вещах. За то, что обесчестил дочь Чашема...

– Обесчестил?! Я что-ли?! Клянусь Аллахом! Хлебом и солью клянусь! Если обманываю, пусть меня покарает священный дастархан этого дома!

– Побойся такие слова говорить. – Кара-ага посмотрел на Шадмана. – Шадманберды, ты уж извини, что прошу о таком вслух говорить, но Расскажи, что видел. О чести всего села речь идет.

Шадман глубоко вздохнул. Посмотрел на Кара-агу, потом на Чашема, после этого заговорил, глядя куда-то в угол.

– Я бригадир. Вы, люди, сами мне эту ношу доверили, и какая это работа тоже сами знаете. Если каждый день все поля не обойду – кусок в горло не идет. Словом, поближе к полудню отправился я на «девятку», посмотреть как там полив идет. А как до тутовников дошел – на них и наткнулся. А уж как там девушка оказалась...

– Ложь, ложь! Не верьте, люди! Шадман врет. Все наоборот было: это я застал их на месте позора. Если не верите, спросите девушку.

– Позовите девушку! – В голосе Кара-ага слышалось раздражение.

Плачущая жена Чашема ввела в комнату зареванную Соню. Та, перемежая слова громкими всхлипами, заговорила, глядя на Назара.

– Опозорил меня... Опозорил, проклятый... Говорил, жену прогонишь... Обманул... Будь ты проклят!

Назару казалось, что он не переживет этого позора. Но ничего страшного не произошло: и небо не обрушилось, и земля не разверзлась. Сколько ни пытался Назар втолковать, как было на самом деле, – его никто не слушал. Гундогды тоже не дали говорить: «Вы с Назаром всегда за одно!»

Несколько дней Назар ходил точно помешанный. Некоторые перестали с ним здороваться. Другие, хоть и не говорили вслух ничего обидного, провожали его презрительными взглядами. Правда, были и такие, кто поддерживал его: «Ты, Назар, на такое не способен. Мы верим!»

Но все равно ему казалось, что он остался один-одинешенек, и люди все отступились от него.

Однажды, укрывшись в укромном месте, он вдоволь выплакался. Плакал, потому что односельчане поверили навету, что не захотели докопаться до истины, что Шадману поддакивали «Верно, Шадман говорит!», «Правильно, Шадман-джан!». Вспомнилось, как Гундогды в сердцах сказали: «Хоть это и несправедливо, но сколько слабый ни причитает, все равно всегда сильный прав». В чем сила Шадмана? В должности. В связях. В многочисленной родне. В деньгах наворованных! Да, богатство... Из-за него и мужественные люди смелость теряют.

«Нет, Шадман, и на тебя управа найдется, – убеждал самого себя Назар. – Не жди тогда пощады. За все, за все, негодяй, ответишь. Дождусь я этого.»

Назар полагал, что надежно спрятался ото всех. Но его отыскал сын – шестилетний Тойли. Мальчик смотрел на него широко раскрытыми, округлившимися от удивления глазами: щеки отца были мокрыми от слез, глаза красными. Тойли вздохнул поглубже.

– Папа, тебе письмо пришло.

Назар не мог выдержать взгляд ребенка, отвел глаза в сторону, сказал негромко:

– Знаю, сынок, и тебе сейчас трудно. Мальчишки небось тебя дразнят, говорят обо мне разное. Ты им не верь. Это все неправда.

Губы у Тойли дрожали. Потом он отвернулся, чтобы отец не увидел его слез, а потом, зарывав навзрыд, кинулся прочь.

Назар перечитал письмо несколько раз и не мешкая отправился в райцентр. Там отыскал прокуратуру, нашел следователя Караева. Это был уже не молодой человек с улыбчивыми глазами. Он оставил Назара в кабинете, а сам куда-то надолго ушел. Назар мысленно повторил слова, которые обязательно надо сказать, чтоб наконец докопались до истины. В душе все горело, не терпелось побыстрее рассказать следователю о наболевшем, но тот все не возвращался, а когда пришел долго перебирал бумаги, а потом что-то писал, не замечая Назара.

– Согрешили значит, – наконец улыбаясь произнес Караев, словно речь шла о чем-то забавном и веселом. – Изнасиловали Сону Чешемову...

– Ложь это! Клевета! – Назар резко встал со стула.

– Сядь! Сядь! Здесь горло драть нечего. Я тебя заранее предупреждаю: станешь лгать – только хуже себе сделаешь! Только чистосердечное признание может облегчить твою вину, понимаешь! – И следователь снова улыбнулся. – Вот у меня заявление передовой колхозницы Соны Чашемовой, – говорил он, перебирая бумаги. – Вот показания Шадманберды Айдогдыева. О том, что вы пытались сначала его избить, а потом оклеветать, опозорить перед родственниками девушки, перед всем селом. А он, между прочим, человек авторитетный не только в районе, но и в области. Коммунист!

– Все это сплошная клевета! – Назару казалось, что язык у него распух и едва ворочается во рту. Все слова, которые он хотел сказать, куда-то разлетелись. Он с трудом соображал, что говорит ему улыбающийся следователь.

– ...вот их заявления. Если желаете – можете познакомиться. На их основании мы возбуждаем против вас уголовное дело. После следствия передадим дело в суд – там определяют меру наказания. – Следователь Караев расплылся в улыбке.

Взяв себя наконец в руки, Назар стал рассказывать, что увидел, когда поливал»девятку». Следователь явно тяготился его рассказом. Он то вздыхал, то строго сводил брови, потом внезапно встал и вышел из кабинета. Через несколько минут он вернулся и, сообщив, что у него срочное дело, стал собирать разбросанные на столе бумаги.

Следствие тянулось полтора месяца. Снова и снова отправлялся Назар в районную прокуратуру, с каждым разом все яснее понимая, что улыбчивый следователь Караев вовсе не собирается искать истину. Что цель у него иная – упрятать его, Назара, в тюрьму. Когда он впервые осознал этого – хотелось наложить на себя руки. Порой на допросе от досады ему вообще не хотелось говорить со следователем: много ли толку, если тот не устает твердить, что у него нет никаких доказательств, зато против него свидетельства двух человек. Назар, изредка кивая головой, слушал Караева, а сам проклинал свои глаза и свой язык.

Ночами ему мерещилась тюрьма.»О, Аллах, – думал он, – и это испытание пережить судьба заставит: невинным в застенке оказаться».

Кто-то посоветовал Назару пожаловаться на следователя. Он написал несколько заявлений в разные инстанции. Везде встречали его приветливо. Внимательно выслушивали. Удивлялись. Участливо говорили на прощанье:»Не волнуйтесь. Обязательно разберемся. Вопрос решим по справедливости. Можете не беспокоиться.»Дни шли, но ничто не менялось. Напротив, следователь Караев все чаще и определеннее говорил, что не миновать Назару тюрьму.»Будь, что будет, – решил Назар. – Но уж если суждено идти в тюрьму, пойду после того, как Шадмана на тот свет отправлю!»

Много раз Назар убеждался, что нет у него друга верней и преданней, чем Гундогды. Но одно дело, когда ты сидишь с другом за дастарханом в счастливый день, и совсем другое, если над твоей головой нависла беда. Гундогды, который по натуре был домоседом, те полтора месяца, что тянулось следствие, каждый вечер приходил к Назару, чтобы успокоить и обнадежить приятеля. Говорил, что вот-вот должен вернуться из отпуска армейский приятель, который теперь стал прокурором и уж он-то, конечно, поможет. Так и получилось: в один прекрасный день следователь Караев с улыбкой сообщил, что из-за

недостаточности улик дело прекращено, все кончилось добром, все уладилось. Правда, для этого Гундогды пришлось продать корову с телянком, а кроме того отвезти в город все, что сумел накопить на черный день Назар. Но как бы там ни было — несправедливость все же не восторжествовала.

3

После того, как прокуратура от него отступилась, Назара стало тревожить другое: как решат люди, не заставят ли аксакалы, чтобы он покинул родное село, село, честь которого он опозорил. Ведь сколько раз еще в детстве доводилось слышать ему, что случись подобное, виновного неприменно изгонят из села. Но дни шли, а Назара никто не гнал из родных мест. А после того, как Сона вышла замуж за парня из соседнего села, история стала вообще потихоньку забываться. Но никто из односельчан не решился прямо выступить против Шадмана, хотя, конечно же, многие знали, кто на самом деле опозорил дочь Чашема. Назар и обижался на земляков, и одновременно искал им оправдание: у всякого свои заботы, а сильному противостоять трудно. Понять он их мог, а вот простить — нет.

Однажды в село приехал председатель. Время было обеденное, но людей собрали, чтоб решить, как объясняли, какой-то срочный вопрос. Выяснилось, что за счет колхоза один человек поедет на ВДНХ, правление предлагает направить в Москву Шадмана, за что и следует проголосовать. Кое-кто уже потянул руку вверх, когда из толпы кто-то выкрикнул:

— Если нам голосовать, так мы и кандидатуру свою предложим. Пусть Назар едет. Человек трудится, спины не разгибая. Хоть отдохнет малость.

— Да. Верно. Пусть Назар едет, — поддержали другие.

Председатель покраснел, словно ему вlepили пощечину. Ни слова не говоря, он пошел к своему «газику». В Москву все равно поехал Шадман. Но Назар не очень горевал об этом. Теперь у него в сердце не было обиды на земляков.

Однако было у этой истории продолжение. В следующую же получку Назар обнаружил в ведомости против своей фамилии такую мизерную сумму, что даже постеснялся расписаться. Весь месяц он работал на ночном поливе, и за все труды — тридцатка.

— Эй, Шадман, что ж это творится? Другие, что со мной работали, по двести получили, а мне — тридцать рублей?

— Как работаешь, так и получаешь, Назар. Из-за того, что ты мне сосед, я лишнего выписать не могу. Я конечно понимаю, что тебе семью кормить...

— Ты мне заработанное отдай!

— Сколько положено — столько и получил.

— И эти себе заberi! — Назар повернулся и пошел прочь.

Прошел месяц, и он снова обнаружил в ведомости все ту же тридцатку. Вне себя от гнева Назар поехал в правление, пожаловаться башлыкy на самоуправство Шадмана. Он бы ему все сказал, не посмотрел, что они с Шадманом-ялдыром дружки-приятели. Но председателя в кабинете не оказалось. Хоть кому-то должен он был излить душу, но сколько дверей ни открывал в длинном конторском коридоре — все кабинеты были пусты. Лишь в бухгалтерии сидела девушка-счетовод. Видно уж очень разгневанное и страшное было лицо у Назара, потому что, когда он распахнул дверь, она, сжавшись от испуга, залепетала:

— Нет председателя. Он на ваш участок уехал.

«Кому ты хочешь жаловаться! Что черный кобель, что — белый, от обоих псиной несет. К тому же жалобщиков никто не любит. У всякого своя судьба, своя доля, и справедливости на земле, видно, в самом деле не осталось!» — рассуждал Назар, лежа на топчане в тени тутовника, когда из-за забора, со двора Шадман-ялдыра донесся зычный председательский смех — смех, который ни с каким другим в селе не спутать.

Чтоб не слышать этого смеха, Назар ушел в дом, но и там долго не усидел. Занялся домашними делами, напоил овец, корову. Только всякий взрыв смеха, что доносился с соседнего двора был точно удар ножа. Наконец он не вытерпел. Отбросив в угол хлева вилы, быстрым решительным шагом отправился к соседу.

Когда он вошел, Шадман разом забыл о веселье. Он побледнел и торопливо поднялся навстречу Назару.

– Назар!

– Чтоб вам этот хлеб поперек горла встал!

Председатель, в глазах которого блестели выступившие от смеха слеза, проговорил с укоризной.

– Зачем ты так, Назар? Что ты от нас плохого видел?

– Плохого? Да кроме плохого ничего и не видел.

4

Время идет быстро, словно на той торопится. Но чем быстрее оно летит, тем меньше в жизни добрых перемен, так казалось Назару. Дела Шадмана шли в гору, а вот его – под гору. Все чаще он болел, все чаще жаловался на сердце. Однажды настал день, когда, забыв про гордость, пришлось идти к Шадману просить работу полегче. Ясное дело, такой для него не нашлось – мало ли у бригадира родственников и прихвостней. Назара отправили на пенсию, а кетмень его по наследству перешел Тойли. Да, видно, не только лопата, но и доля опцовская сыну досталась. Каждый день ждал Назар-ага известия, что наконец-то Шадмана судьба покарала, но вместо этого слышал одно и то же: «Сегодня Шадман при всех кричал на меня», «Из зарплаты у меня удержали». Да мало ли что – стоит Тойли рот открыть, Назар-ага уже сам может рассказать, как дело было.

– Что ж сегодня случилось? – наконец спросил он у Тойли, видя что тот только клянет Шадмана, а говорить в чем дело не торопится. И это начинало тревожить.

– Председателя сняли.

– Председателя? – торопливо переспросил Назар-ага. – Сняли?

– На пенсию отправили. По состоянию здоровья.

– По состоянию здоровья. Да таких как он до самой смерти из кресла не выгонешь. Если отправили на пенсию – значит плохи его дела. От суда уведят. А что Шадману. Они одной ниточкой связаны.

– А ничего. Председателем его избрали.

– Что! – Назару-аге показалось, что сердце его треснуло, словно перезревший гранат, и от боли у него потемнело в глазах.

– Да кто нас спрашивал. Приехал райком, говорит, лучшего руководителя, чем Айдогдыев не найти. Мол, Шадманберды-ага на пенсию хочет, на отдых, но, если народ попросит, поработает еще на благо общества.

– И вы попросили.

– Я что ли просил?

– Но руку-то поднял.

– Что моя рука решает. Все подняли.

– И ты поднял?!

– Дождется он, чтоб я за него голосовал. Я крикнул, что «против».

– А люди что?

– Что, что – рассмеялись. Один Гундогды-ага меня поддержал. Он даже выступил.

Тойли стал рассказывать, что говорил Гундогды, но Назар-ага его уже не слушал.

После этого удара судьбы Назар-ага слег. Тойли вечерами сидел рядом с отцом, не отходил от него, выполнял любое желание. О разном они беседовали, но, словно сговорившись, имени Шадмана-ялдыра не поминали.

Однажды Тойли пошел в магазин, но вернулся оттуда быстро и с еще с порога сказал, не скрывая радости:

– Шадмана-ялдыра в больницу отвезли. Говорят, ревизоры приехали, все его делишки на чистую воду выплыли – вот сердце и прихватило!

– Бедняга! – Назар-ага с трудом поднял руку, вытер со лба испарину. – Божий гнев страшен, никто от него не укроется. Много Шадман натворил, о будущем не думал. Ради чего? У него что, дети голодали? Сколько людей его проклинали. Теперь за все ответить придется. Да, сынок, есть она.

– Ты о чем, отец?

– Справедливость, говорю, хоть поздно, но пришла. Я разве не говорил тебе, что плохой человек раньше или позже станет жертвой собственных козней. Нет ничего неучтенного...

Назар-ага тяжело вздохнул. Сколько раз он был близок к отчаянию? Сколько раз он готов был согласиться, что Шадман-ялдыр взял над ним верх?»Только теперь, – думал Назар-ага, – начинается настоящая жизнь».

Но дней этой новой, второй жизни, о которой столько лет мечтал старик, оставалось так мало, что все их можно было сосчитать на пальцах одной руки.

ТВОЙ МИР

Понедельник

Ораз-ага, с лица которого последнее время не сходило выражение озабоченности, выглядел сегодня сияющим. Легкой походкой вошел он в кабинет, с улыбкой посмотрел на Аннама, который от нетерпения уже места себя не находил.

– Аннам-джан, как думаешь, почему я опоздал?

– Почему, не знаю, а вот что опоздали – это точно, – ледяным тоном заметил Аннам. – Я вас с девяти часов жду-не дождусь. Мне же в райисполком надо, бумаги на «Жигули» заполнить. Нельзя же тут все бросить. Хоть один человек должен в кабинете сидеть. Вдруг начальство позвонит.

– Брось, Аннам-джан! Ты лучше послушай мои новости. Поинтересуйся-ка, что случилось у твоего Ораза-аги.

– Ораз-ага, дорогой... – взмолился Аннам, направляясь к двери. – Я и так опаздываю. Вы знаете, какая там длинная очередь.

– Если уйдешь, не дослушав меня, честное слово, обижусь. – На лицо Ораза-ага стало возвращаться привычное выражение озабоченности. Взгляд сделался тяжелым, а над переносицей прорисовались глубокие морщины. Он сел за свой стол и жестом пригласил последовать его примеру Аннама, который стоял у двери. – Присядь на минутку, брат. Никуда от тебя твой райисполком не денется. Всегда туда

успеешь. – Морщинистое лицо Ораза-аги снова стало разглаживаться. – Должен тебе сообщить, Аннам-джан, что по последним сведениям твой покорный слуга попал в картотеку вдовушек. Да, да, поверь мне, дорогой. Оказывается у вдовушек есть специальная картотека, в которой собираются все сведения о подходящих в мужья мужчинах. Там все узнать можно: когда овдовел, какие у него привычки, какой характер. С этими вдовушками шутки не шути!.. Хотя я и пожилой человек, они крест на мне, оказывается, еще не поставили. По их соображениям, твой Ораз-ага пока в тираж не вышел. И у них обо мне все сведения имеются. И когда жена умерла, и как я переживал. Оказывается уже семьдесят три дня прошло. Я-то не считаю, а в их бухгалтерии учет на высоте. Родственницу свою дальнюю встретил сейчас, так она мне обо всем этом и рассказала. Мол, вдовушки меж собой говорят: «Уже семьдесят три дня прошло, как Ораз-ага овдовел, а он, похоже, навсегда решил холостяком остаться. А кто ухаживать за ним будет, когда дочь выйдет замуж – готовить, стирать?..» Знаешь, что еще родственница сказала? «Когда ты, говорит, за рулем – никого не замечаешь. Вдовушки обижаются: проезжаешь мимо – даже не посмотришь в их сторону!» Вот так, Аннам-джан! Знаешь, откровенно говоря, я и не надеялся заново жизнь свою устроить. А ведь они верно рассуждают: дочка в доме гость. Заберет ее какой-нибудь молодец, что потом делать? Знаешь, для меня все это так неожиданно. Прямо, как гром среди ясного неба. Не знаю, что и думать. Может, рискнуть, попытать счастья? Что скажешь, Аннам-джан?

– Тороплюсь я, Ораз-ага. Там, куда не сунешься, везде очереди. Без знакомства, думаю, там ничего не добиться.

Вторник

– Ораз-ага, ну, кажется, дело с мертвой точки сдвинулось. Нужна справка с места работы. Еще от врачей. Ну, это исправимо. – Такими словами встретил Аннам Ораза-ага, который сегодня выглядел неважно – глаза его покраснели от бессоницы. – Если все будет в порядке, Ораз-ага, через неделю получу машину. Теперь не знаю, как с гаражом быть.

– Аннам-джан, слушай, что я тебе скажу. Все у меня внутри горит, прямо буря какая-то. Мне необходимо с тобой обсудить все это. Ты уж не удивляйся, не подумай, мол, Ораз-ага на старости лет с ума сошел. Нет, братишка, я в своем уме. Но ведь рассуди: человек приходит в этот мир, что жить, и жить, по возможности, хорошо, так? Так! Значит, сколько ни горюй – дела не исправишь. Не идти же на тот свет вслед за покойницей? Я жену свою чтил всегда, уважал ее. Только добрым словом ее вспоминаю. Поминки справил, как положено. Да, ты это, Аннам-джан, сам знаешь. Так вот я, брат, подумал: поздно твоему, Оразу-ага, на старости лет привычки менять. Есть люди, кому холостяцкая жизнь по душе, а я не такой. Это ведь еще не известно, кому сколько прожить суждено. Я тебе, Аннам-джан, прямо скажу: всю ночь не спал, думал. Одиночество, верно говорят, оно только богу доступно. А человеку спутник нужен, друг. Ты представь только мою теперешнюю жизнь. Всегда одинок. Большой дом, просторный двор, а мне они на мозги дают, точно я в клетке какой. Лежу и думаю, думаю. Окружающим, конечно, виду не показываю, но, честно говоря, неохота даже после работы домой идти. Живу только ради дочки. Болтаю с ней о том, о сем, чтоб она, бедняжка, не скучала. Нет, Аннам-джан, я тебе прямо скажу: в пожилые годы мужчина в жене нуждается еще больше...

– Ораз-ага, вы уж извините, что перебиваю вас. Можно одну вещь спросить.

– Спрашивай, Аннам-джан, на любой твой вопрос отвечу.

– Так вот, Ораз-ага, интересно – на горячее сколько примерно уходит.

– На горячее? – Ораз-ага удивленно уставился на Аннама.

– Ну, да. Для машины. На бензин в месяц сколько расходуете?

– На бензин? Много. – Ораз-ага поерзал на стуле и продолжил. – Так вот, Аннам-джан, сегодня рано утром отправился я к родственнице, к той самой, о которой вчера тебе рассказывал. Она, между прочим, тоже вдовая. Так вот, сказал ей все в открытую. О себе рассказал, о жизни своей. Она, в общем-то, с пониманием отнеслась, стала спрашивать, кто мне по сердцу. Всех вдовушек перебрали. Не поверишь, у

меня от одних имен голова закружилась. Что после войны вдов было много, это я понять могу. Но сейчас откуда их столько?! Родственница посоветовала познакомиться с Огуллой. Приятная, говорит, симпатичная. Готова второй раз замуж выйти, но только чтобы человек был уравновешенный. Детей у нее трое. Вот это, честно сказать, меня немного настораживает. Все-таки в мои годы тишины хочется, покоя, а дети... Есть еще одна. От меня неподалеку живет. Родственница как о ней рассказала, я сразу вспомнил. Красивая, лет под сорок, в самом соку. Детей у нее нет. Но, понимаешь, не нравится мне, как она одевается. Платье на ней всегда приталенное. Волосы на голове тюрбаном. И полон рот золотых зубов. Одним словом, современная женщина. Мне надо простую женщину, чтоб хорошей хозяйкой была. А с такой только в кино, да в театры ходить. Мне это ни к чему. Я, честно сказать, с твоей покойной гелнедже так ни разу за всю жизнь в кино или в театре не был. Ну, Аннам-джан, как мне быть, что посоветуешь? Скажи, что думаешь. Не зря же говорят, что старый верблюд за молодым следует. У молодых, понятно, свой взгляд на жизнь. Но, что же мне, до конца дней одиночкой оставаться...

– Нашли вы себе хобби, Ораз-ага. Конечно, у каждого свои заботы. – Аннам встал. – Вы, Ораз-ага, сегодня никуда уходить не собираетесь?

– Чего?

– Посидите тут, а я за справкой сбегая. Справка из домоуправления нужна, а их только с девяти до двенадцати выдают. Я быстро сбегая.

– А что ты, Аннам-джан, мне посоветуешь?

Но Аннам уже скрылся за дверью.

Среда

– Шутки-шутками, а дела, как я посмотрю, начинают принимать совсем не шуточный оборот. Причем, Аннам-джан, все само собой идет именно так, как надо.

– Верно, Ораз-ага! Если должно повезти, так обязательно повезет. Я вчера вместо одной, две справки выправил. Даже не верится. Вчера очень хороший день был.

– Я тебе, Аннам-джан, не о справках говорю. Если судьба будет благосклонна, очень может быть, что в самом скором времени мне удастся соединиться с одной хорошей женщиной. Правда, Аннам-джан, ей уже под пятьдесят. С виду столько не дашь, лицо молодое. Детей у нее двое, но уже самостоятельные, живут отдельно. Простая, скромная. Родственнице моей призналась, что с двадцати пяти лет в одиночестве живет. Не хотела второй раз замуж выходить, чтобы детям не пришлось упреков чужого человека слышать. А теперь вот осталась одна. Скучно, и, говорит, если бы нашелся человек не пьющий, не курящий... А когда родственница моя обо мне ей рассказала, она вроде говорит: «Вот, кажется, имею такой человек, которого я хотела найти!». Так вот, Аннам-джан, сегодня в двенадцать часов у меня с ней свидание. В парке.

– Свидание? В парке?

– Что ты так удивляешься, Аннам-джан. Ну, назовем это не свиданием, а просто встречей. Или беседой. Но только учти, Аннам-джан, ровно в двенадцать я должен быть в парке. Нельзя же, чтобы она меня ждала.

– О-о..

– Вот ты, Аннам-джан, современный человек. Как думаешь, чем у нас все кончится? Говори прямо, не стесняйся. Мы ведь коллеги, бок о бок работаем. Скажи честно, может, твой Ораз-ага с ума сошел на старости лет? Если мое поведение тебе не нравится, так и скажи. Мол, яшули, в твоём предпенсионном возрасте такие геройства опасны для здоровья. Ну, скажи, что думаешь!

– Если вы, Ораз-ага, спрашиваете у меня совета, я вам отвечу так. Же-ни-те-сь. Немедленно. Ни одного дня не теряйте. Потому что если у человека есть мечта, он должен стремиться к ней и ни о чем больше не думать. Вот, хотя бы взять меня. Я как куплю машину, больше ни о чем думать не стану. Буду блаженствовать. Езжай, куда хочешь! Увидел симпатичную женщину – познакомиться проще простого. Женщины, скажу я вам, как увидят мужчину с машиной так прямо голову теряют. Вот с гаражом, я

чувствую, будут сложности. Как думаете, Ораз-ага, из ваших знакомых никто помочь не может. Подскажите выход.

– О чем-таким ты говоришь! – нахмурился Ораз-ага. – Я сколько голову не ломал, так и не придумал, что сказать ей при встрече. Смешно, наверное, в нашем возрасте при первой встрече говорить женщине, что люблю ее и тому подобное. Нет, я такие слова, даже когда молодым был, и то говорить не решался. Стеснительным был. Если бы отец не женил, так бы и жил, наверное, бобылем. Научи, Аннам-джан, о чем мне с ней говорить. Неудобно же получится, если я молчать буду. Вроде она должна меня развлекать. Нехорошо получится. Ты – человек современный, язык у тебя хорошо подвешен.

– Скажите «Здравствуй, дорогая!».

– Ты меня совсем за идиота, что ли, считаешь. Как поздороваться, я и сам знаю. О чем после говорить?

– Скажите «Как думаете, может нам жить одним домом?».

– Прямо – так сразу. Некрасиво, вроде бы. Ладно, предположим. А потом что? Помолчать, дать ей время подумать?

– Нет, будьте, как огонь. Не давайте ей опомниться. Говорите ясно, четко. Смотрите, не мямлите.

– Легко советовать! «Говорите четко»... Ты мне посоветуй, что говорить.

– Скажите, что у вас свой дом, машина. Подарите что-нибудь. Женщины любят подарки.

– А что можно подарить?

– Сколько ей лет?

– Я же говорил. Лет сорок пять, под пятьдесят.

– Под пятьдесят? Да зачем вам, Ораз-ага, такая старушенция. Мало, что ли, восемнадцатилетних красавиц!..

– Вот уж они мне точно ни к чему, брат. Ты что, разыгрываешь меня? Как тебе не стыдно.

– Да я вполне серьезно, Ораз-ага. У вас свой дом, машина. Знаете сколько красоток о таком партнере мечтают. Машина и дом – это теперь главные мужские достоинства!

– Да на что мне – восемнадцатилетняя!.. Быть при ней вроде сторожа? Я с тобой серьезно разговариваю. Мне нужна женщина, которая бы хозяйство вела, стирала, готовила, поговорить со мной могла. А детей на старости лет я заводить не собираюсь.

– А вот я, как куплю машину, погуляю от души. Кстати, Ораз-ага, вы когда машину купили? В каком году?

– Что? В каком году? Чего тебе такие мысли в голову лезут!

– Хочу прикинуть, сколько лет можно ее эксплуатировать. Ездить буду осторожно. А потом продам.

Ораз-ага встал и одернул пиджак.

– Я сегодня, Аннам-джан, в новом костюме. А ты даже не заметил. Хоть бы поздравил с обновкой. Ну, как? Хорошо сидит?

– Полный порядок, Ораз-ага!

– Ты даже не посмотрел, как следует. Хочешь, чтобы я оскрамился.

– Да эта женщина молиться на вас должна.

– Как думаешь, шляпу надеть, или можно без головного убора.

Аннам посмотрел на часы и встал.

– Ого, совсем мы с вами заболтались. Я и не заметил, как время пролетело. А у меня сейчас столько дел, столько дел... Я пошел, Ораз-ага. Если начальство спросит, скажите, что на участок поехал.

– Я тоже уйду. Я же говорил, что в двенадцать у меня встреча.

– Тогда подбросьте до дому. Вы ведь на машине.

Четверг

– Что-то ты, Аннам-джан, сегодня припозднился? Я тебя уже давно дожидаясь.

– Начальство искало?

– Чего это ты решил, что начальство тебя ищет?

– А зачем ждете?

– Рассказать хочу, как вчерашняя встреча прошла.

– Какая встреча?

– Ну, ты даешь! Я же говорил тебе, что в двенадцать часов у меня в парке была назначена встреча с женщиной, с той, с сорокапятилетней, – торопливо напомнил Ораз-ага. – Представляешь, Аннам-джан, подхожу я к условленному месту, сам еще не знаю, как мне быть, а она уже сидит на скамеечке, дожидается меня. Что делать! «Здравствуйте, – говорю, – Огулькейик. Как поживаете?»

– Кто такая Огулькейик?

– Я же тебе объясняю. Эта самая женщина, сорокапятилетняя. Слушай, как все было. Значит, посидел немножко. Я молчу, она молчит. Потом Огулькейик попросила о себе рассказать. Я говорю, что всю жизнь проработал в научно-исследовательском институте, научным сотрудником. О покойнице рассказал. Сказал, что была она замечательной хозяйкой, но заболела, бедняжка, туберкулезом и от него померла. Рассказываю, а сам глаз от Огулькейик оторвать не могу, так-то, Аннам-джан. Не ахти какая красавица. Обыкновенная скромная женщина. На руках два золотых кольца.

– Взяли ее руки в свои?

– Ты что! Мальчишка я, что ли? Потом она о своей жизни рассказала. Говорит, что после смерти мужа ей несколько раз предлагали выйти снова замуж, но она согласия не давала.

– А вам дала?

– Почти что. Поставила два условия. Во-первых, чтобы не препятствовал я ей время от времени сыновей навещать, а, во-вторых, чтобы внуки могли к ней в гости приходить. Больше мне, говорит, ничего не надо: ни вещей дорогих, ни деликатесов.

– Деликатесов! Где их взять? Говорили, что мяса будет навалом, а в магазинах одни пустые полки. Хорошо еще, если есть машина, можно весь город объехать. Ничего, Ораз-ага, скоро, бог даст, и я пешком ходить перестану. Вот только какой цвет теперь самый модный?

– Какой цвет?

– Ну, машины...

– А-а... Белый.

– И мне белый нравится. Честное слово, даже доплатить немного за цвет готов.

– Вот так-то, Аннам-джан. Поговорили мы с ней обо всем на свете. Умная, понимающая женщина, жизнь повидала. Опять же сказал, что не курю, не пью. Огулькейик обрадовалась, чято я, так сказать, не подвержен. О зарплате спросила. В общем, решили объединить наши пожитки.

– Прекрасно. Давайте, быстренько сыграем свадьбу.

– Болтаешь лишь бы что! До свадьбы далеко еще.

– Эх, Ораз-ага, если женщина согласна, тянуть не надо.

– Нет, нет, Аннам-джан, в этом деле спешка не нужна. Надо все хорошенько взвесить. Как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь. Во-первых, надо отметить годовщину. А иначе люди осуждать меня станут. Потом, еще неизвестно, как дочка к этому отнесется. Хорошо, если скажет: «Женись, папа. Я тебя понимаю. Нелегко тебе без спутницы жизни». А вдруг заупрямится? Скажет: «Никого в дом наш не приводи!» Что тогда? Теперь представь такой поворот. Женился я на Огулькейик. Дочь выдал замуж. Остались мы вдвоем. Случится что со мной, мы ведь не вечно живем. А у Огулькейик сыновья. Мой дом им достанется? Мой-то, сам знаешь, парень простой. Ему ничего не надо. Вот и получится, что останется он ни с чем. Вообще, Аннам-джан, никому на моем месте оказаться не пожелаю. Голова от этих мыслей прямо раскалывается. Думаю вечером детей собрать. Посажу их перед собой, и прямо скажу, что думаю. Посмотрим, как отнесутся. Вот только не представляю, Аннам-джан, как сказать им об этом. Что посоветуешь?

Но Аннам в мыслях давно уже мчался куда-то на новеньких белых «Жигулях».

Пятница

– Ораз-ага, начальство мной не интересовалось? – осведомился Аннам, входя в кабинет.

Погруженный в свои думы, Ораз-ага нехотя повернул голову, смерил коллегу взглядом.

– А что такое?

– Да нет, просто. Опоздал, потому и спрашиваю. Оформляю документы, Ораз-ага. И кажется нашел нужного человека – обещал достать белого цвета.

– Белого цвета?

– Вы же сами говорили, что он самый модный. Вы, Ораз-ага, даже не представляете, сколько волокиты с оформлением. Никому до тебя дела нет. Сейчас придется снова бежать. Я в общем-то, забежал предупредить, что сегодня меня не будет. А теперь побегу.

– Подожди, подожди!

– Некогда, Ораз-ага.

– Ничего, десять-пятнадцать минут ничего не решают. Я же тебе говорил, что хочу вечером детям открыться. Велел к ужину прийти. Но сын конечно опоздал – живет далеко, сам знаешь, пока добрался. Но все-таки поговорили.

– О чем?

– Как о чем? Я же тебе сколько раз уже говорил.

– От болтовни толку нет, Ораз-ага. В разговорах полжизни проходит. Если начальство меня спросит, скажите, что машину оформляю. Шеф в курсе, я ему говорил. Все! Бегу.

– Аннам-джан!

– Некогда, Ораз-ага. Вот приобрету машину, обязательно посидим, поговорим. Опытный автомобилист и молодой, так сказать. А теперь – лечу!

Ораз-ага даже головы не поднял.

– Счастливого пути, брат! Ступай, если торопишься, – чуть слышно произнес он.

Счастливого пути Ораз-ага пожелал, но в душе сильно обиделся на Аннама за то, что тот не пожелал его выслушать. «И куда, интересно, этот голубчик полетел?» – думал он. Но сколько ни пытался Ораз-ага вспомнить куда и зачем пошел Аннам, это ему не удавалось. А потом и рабочий день подошел к концу...

ШЕСТАЯ ПАЛАТА

— Кровать несут, — произнес, ни к кому не обращаясь, Карли, прислушавшись к звукам доносившимся из коридора. Не успел он закрыть рот, как дверь палаты распахнулась и две молоденькие медсестры стали заносить кровать.

Байджан тотчас вскочил.

— Что это вы делаете?!

— Сами не видите? — огрызнулась красивая медсестра.

— Четырех кроватей вам здесь мало? Совести у вас нет. Можно подумать, что это не больничная палата, а склад. — Байджан так решительно направился к девушкам, что — можно было подумать — сейчас он выкинет уже наполовину внесенную в палату кровать в коридор. Но вместо этого он только провел ладонью по прутьям спинки, словно удостовериваясь, что кровать ему не примерещилась, и вернулся к своей койке. — Конечно, кроватей больше, койко-мест тоже больше — будете потом рапортовать о трудовых победах. А сколько из-за этого больным беспокойства? Только вам что — нету у вас совести, нету!

Худенькая смуглая девушка что-то шепнула своей красивой подруге, и обе медсестры молча покинули палату, оставив кровать в дверях.

Байджан, шумно дыша, уселся на своей кровати и, глядя ладонями жирные щеки, посмотрел в сторону Карли, будто говоря: «Ну, как я их?!». Карли молчал. Тогда Байджан приказал Карахану, чья койка стояла у дверей:

— Иди, выкинь кровать в коридор.

— Я кровать выкину, а меня из больницы выгнут, — пробубнил длинный и худой, как жердь, Карахан.

— Пока не вылечат, не имеют права, — подал голос четвертый обитатель палаты — Какыш, такой же круглощекий как Байджан. После этого жалобно заскрипели пружины его кровати, это Какыш решил сесть, чтоб удобней было разговаривать.

— Ты говоришь о праве, а я о правде, — сказал Карахан. — Если врачей разозлишь, они на все способны. Сделают на всю жизнь инвалидом, и ничего не докажешь. У них и шприцы, и лекарства. Когда тебе, Какыш, укол делают, ты что — проверяешь, какое лекарство в шприце? Да и как проверишь? А если больной умрет, так врачу в лучшем случае выговор объявят. Вот и все.

— А если будешь молчать, эти бессовестные кровати здесь впрытык поставят, — сказал Байджан и овел взглядом палату. Он все еще ждал реакции на свой недавний героический поступок.

— Только у нас четыре кровати. В других палатах и по пять, и по шесть стоят. В девятой вообще восемь кроватей, — сказал Карли, глядя на Байджана. Похоже он не одобрил его поведения.

— Карли-джан, я и говорю, что у них совести нет. Скоро в два яруса кровати ставить начнут. А им бы лучше побеспокоиться о новой больнице. Современной, многоэтажной. Кто им мешает такую построить? Никто, уверяю тебя, никто. Просто они абсолютно о покое больных не думают.

— Золотые слова, Байджан. Сущую правду говоришь. — Какыш подошел к тумбочке Байджана и налил в свою большую пиалу чай из китайского термоса.

— Наливай, наливай, не стесняйся! — сказал Байджан. — Там на второй полочке конфеты лежат. Хорошие, импортные. Вчера кто-то принес. Все несут, несут...

— Спасибо, дорогой! — Какыш взял полную горсть конфет и медленно, чтоб не расплескать чай, направился к своей кровати. — Скоро завтрак принесут, а пока мы кишечки чайком промоем.

— Друзей у меня, слава Аллаху, много. Все принесут. Попрошу, так и птичье молоко достанут, — Байджан вздохнул и повернулся к Карахану. — Вынеси эту кровать, я тебя прошу.

— А что врачи потом скажут?

— Если спросят, кто вынес, на меня укажи. Скажи: «Байджан вынес». Кто бы ни пришел, я сам с ним поговорю.

Карахан стал нехотя подниматься, но в это время в палату вошел дежурный врач, а следом за ним те две медсестры, что принесли кровать. Дежурный врач остановился у порога, обвел взглядом палату и, заметив Байджана, приветливо улыбнулся.

– А-а, Байджан! Ты здесь. Ну, как дела – поправляешься?

– Поправляться-то поправляюсь, но покоя совсем нет. Вы сколько больных сюда набить решили? И так уже четыре кровати!

– Не волнуйся, Байджан, тебя беспокоить не будем. – Дежурный врач повернулся к медсестрам. – Я же сказал отнести в шестую палату.

– Это и есть шестая палата, – улыбаясь ответила красивая медсестра.

– Несите в седьмую. Сколько раз можно повторять.

– В седьмой и так семь кроватей.

– Ничего, будет восемь.

– Там ее и ставить негде, а здесь, смотрите, как свободно, – упрямылась медсестра.

– Все! Разговор окончен. Берите кровать и несите в седьмую палату. Да мигом. Сейчас операция закончится, а кровать еще не готова. – Дежурный врач ушел, а девушки с шумом поволокли кровать в соседнюю палату.

– Я, Карахан, думаю, что второго человека с такой заячьей душой, как у тебя, на свете и не найти, – заговорил Байджан. – Гаишники тебя совсем запугали, ха-ха-ха? Слава Аллаху, что я не шофер.

Дверь приоткрылась. Красивая медсестра предупредила, что начался обход. Она уже собиралась идти дальше, но Байджан сказал:

– Задержитесь на минутку, красавица, пожалуйста, мы вас очень просим. Понимаете, мы, жильцы этой палаты, вот чем интересуемся... – Байджан с улыбкой смотрел на девушку. – Вы, простите, замужем или нет?

– А вам-то что до этого?

– Хотим узнать, нашелся ли такой отчаянный джигит, который решил соединить с тобой свои пожитки. Если нашелся, пусть к нам заглянет. Полюбуемся этим храбрецом, ха-ха!

– А я смотрю на вас – никакой вы не больной. Вам бы хлопок в поле собирать...

– Это кому здесь пора хлопок собирать? – спросил Ашир Нарлыевич, входя в палату в окружении врачей и медсестер.

– Овлякулиеву. Его, Ашир Нарлыевич, уже вполне можно выписывать, – не сробела перед зав.отделением красивая медсестра. – Шов давным-давно зажил...

– С каких пор, Ашир Нарлыевич, вам медсестры указывать стали, кого лечить, а кого выписывать...

– Ну, ну, не сердчай, Байджан! Что ты на ребенка обижаешься. Молодая, горячая...

– Я не ребенок, Ашир Нарлыевич! – отрезала медсестра и резко повернувшись вышла из палаты.

– Вот оно современное воспитание, – посетовал Какыш, преданно глядя на Байджана.

– Байджан, да она – твоим детям ровестница. Не обращай на нее внимания. Молодежь теперь такая, – Ашир Нарлыевич присел на край кровати. – Лучше скажи, как самочувствие? Как спал?

– Спал, как ягненок.

– Хорошо. А ну-ка, приподними рубашу. А шов-то и в самом деле зажил. Теперь можно и выписываться.

– Торопитесь, да?

– У каждого, как говорится, своя выгода.

– Если вы тот разговор ввиду имеете, Ашир Нарлыевич, так не беспокойтесь, я своего обещания не забыл. Считайте, что все уже сделано. А выписываться действительно пора. Надоело. Вонь ваша больничная... Завтра оформляйте выписку.

– Здесь я решаю: кого выписывать, а кого еще лечить. Насчет выгоды я пошутил, Байджан. Дела подождут, главное – здоровье!

– Да я уже и так порядочно здесь вылежал. Другие после аппендицита на шестой день домой отправляются, а я десятый лежу.

– Куда торопишься, Байджан? – вместо доктора ответил Какыш. – Отдохни еще два-три дня. Вместе выпьемся. – В его голосе слышалось беспокойство; так бывает встревожен малыш, которого мать собирается оставить одного.

Ашир Нарлыевич что-то вполголоса сказал медсестре, которая шла рядом с ним с журналом в руках, потом, мельком глянув на Карли, подошел к Какышу.

– Поднимите рубаху.

– Доктор, а когда вы меня выпишите? – сказал обойденный вниманием Карли дрожащим от обиды голосом.

– Когда надо будет, тогда и выпишем.

– Вы меня даже не осмотрели, а у меня на месте шва гнойнички появились.

– Что ж ты спрашиваешь, когда отпустим. Пока гной есть, о выписке говорить рано, – отрезал Ашир Нарлыевич, а потом обратился к Какышу: – Начальник ваш звонил. Справлялся о вашем самочувствии, просил побыстрее вас на ноги поставить. Вы, что жаловались?

– Что вы, что вы, Ашир Нарлыевич, – беспокойно захлопнул Какыш.

– Что-то мне ваш шов не нравится, – сказал Ашир Нарлыевич, разглядывая большой круглый живот Какыша. – Трещинка какая-то появилась. Как аппетит?

– Терпимо.

– Как это понимать.

– Какой аппетит у больного человека. Ем понемногу, чтоб голод не мучал.

– Надо есть. И первое, и второе. Хлеба постарайтесь кушать поменьше, и от жирной пищи воздержитесь. А молока пейте, сколько душе угодно.

– Спасибо, доктор. Сто лет живите.

– Ашир! – сказал Байджан, обращаясь к дежурному врачу. – Осмотри, дорогой, Карахана. Он уже надоел мне. Только и слышно от него: осмотри да осмотри. Будто другого слова не знает.

– Карахан Хекимов, – прочитала медсестра в журнале. – Четвертый день после операции.

– Обязательно осмотрим, Байджан. Следить за здоровьем пациентов наша святая обязанность, товарищ Хекимов, – разговаривал точно с капризным ребенком врач, осматривая Карахана. – Повязку смените, – другим голосом сказал он медсестре, закончив осмотр.

Ашир Нарлыевич и вся его свита покинули шестую палату. Все облегченно вздохнули.

Карли чувствовал себя оскорбленным.»Жирного Какыша осмотрел. Поговорил, совет дал. Байджану так вообще шов поцеловать готов. А ко мне даже не подошел...» – он тяжело вздохнул и отвернулся к стене.

В это время дверь приотворилась и в щель просунулась голова больного из соседней палаты:

– Овлякулиев!

– Я, – нехотя привстал Байджан.

– Вас вызывают.

– Скажи, пусть сюда идут.

– Не пустят.

– Еще как пустят. Пусть скажут, что к Овлякулиеву идут.

Через некоторое время гонец вернулся:

– Я же говорил, что не пустят. Если можешь встать, иди, пожалуйста, сам.

– Иди, Карахан, приведи их. Объясни толком к кому они пришли. Мне сейчас что-то вставать неохота. Но и Карахан вернулся ни с чем.

– Не пустили, Байджан. Говорят, хоть к Овлякулиеву, хоть к кому – не положено.

– Это кто ж такой принципиальный?

– Красавица, та самая

– Нет у человека совести, – слабым голосом проговорил Байджан с трудом, точно немощный старик, садясь на кровати.

– Не успокоится, пока подарка не получит, – поставил диагноз Какыш. – А может она в тебя, Байджан, влюбилась, а? Заигрывает?

– Тоже мне любовь, – ворчал Байджан. – Утомила она меня совсем. – И шаркая тапочками, он пошел к двери.

Вернулся Байджан через полчаса, неся две тяжелые авоськи. Толстяк Какыш с неожиданным проворством кинулся ему навстречу и выхватил одну из них.

– Да разве можно тебе таскать тяжести? Позвал бы нас.

– Конечно нельзя, но если эта упрямая гостей ко мне не пускает. – Байджан поставил авоську возле тумбочки и тяжело опустился на кровать.

– В тумбочку сложить? – спросил Какыш, перебирая завернутые в бумагу гостинцы.

– Зачем. Сейчас все съедим. Вставайте, товарищи! – торжественным тоном произнес Байджан и плавным взмахом руки пригласил всех к своей тумбочке. – Принесли столько, что на всю больницу хватит. Мясо парное, – сказал он, развернув один сверток. – Та-ак. Сейчас мы его мигом. А в кастрюле что?

Какыш поднял крышку.

– Шурпа. – Какыш невольно проглотил слюнки.

– Все, все вытаскивай, – поторапливал его Байджан.

– О-о! Яблоки! Пару штук возьму себе? Можно?

– Бери, Какыш, бери! Тут всего навалом. И хлопцам дай. Берите, ешьте на здоровье! Хорошая еда – самое лучшее лекарство.

Через миг обе авоськи были опорожнены, и Байджан отправился отнести их своим приятелям. Какыш тем временем, выбрав шесть огненно-красных яблок, отнес их в свою тумбочку, достал из-под подушки большую деревянную ложку и, усевшись на кровати Байджана, налег на шурпу. Ел он аппетитно причмокивая, ловко вылавливал ложкой куски жира. Следом подошла и очередь паровой говядины. Чавканье стало невыносимо громким. Карли не вытерпел:

– Браток, ешь, пожалуйста, потише.

– Все такое вкусное...

– На здоровье! Только, пожалуйста, не чавкай.

Вернулся Байджан. Правой рукой он поглаживал место операции, а на лице у него сияла улыбка:

– Не болит! – радостно сообщил он. – Даже когда надавливаю, не болит. – Байджан сел на край кровати, налил себе пиалу чая. – Подходите, ребята, не стесняйтесь. Что вы, ей-богу, словно красны девицы?

– Как наша медсестра, да? – пошутил Карахан, и больше всех довольный своей шуткой подошел к импровизированному столу.

– Не вспоминай о ней, Карахан. Бери, кушай. О-го, мясо что, кончилось?

– Да его совсем немного было, – равнодушным тоном сообщил Какыш и, взяв с тумбочки еще два яблока, пошел к своей койке. – Ничего, что я яблоки взял?

– Какой разговор, бери, ешь на здоровье! И ты, Карахан, не стесняйся. Кончится – еще принесут. Пока я здесь, вам, ребята, о еде заботиться не надо. Не дам я вам похудеть. Эй, спишь что-ли! – окликнул Байджан лежавшего повернувшись лицом к стенке Карли. – Что-то я тебя, Карли, не пойму. Не лежи, как обиженный, подсаживайся к нам. Не бойся – не отравлено. Я тебе так скажу: нет лучше друга, чем тот, с кем был на войне или в больнице. Нас, понимаешь, боль общая сроднила. Нет, честно скажи, может мы чем тебя обидели?

– Да нет же, нет. Просто я по утрам много не ем. Аппетита нет.

– Яблоко хоть съешь.

Дверь открыла пожилая женщина и, почему-то глядя на Какыша, сказала:

– Байджан, к тебе там пришли.

– Сейчас иду, – откликнулся Байджан и, подмигнув Какышу, прибавил. – Я же говорил, что сегодня гостям конца не будет.

Он ушел, а Какыш принялся за яблоки. Ел он их аппетитно, с громким хрустом, так что Карли в конце конце не вытерпел и приподнявшись на локте посмотрел сколько яблок еще осталось.

– Чего надо?... – перехватив его взгляд, с тревогой спросил Какыш.

– Покоя...

Через несколько минут вернулся Байджан. Положил на тумбочку свернутый из газеты кулек и сообщил:

– Племянница приходила.

– А это что? – Какыш взглядом указал на кулек.

– Орехи кажется.

– Да, орехи, – подтвердил Какыш. – Крупные. С базара, наверное. Интересно, не горчат?

– Попробуй. Вы, ребята, тоже берите. Слава богу, друзья и родственники не забывают. Несут и несут.

– Уважают, – сказал Какыш ртом полным орехов.

Через некоторое время привезли в палату завтрак.

– Я не буду! – тотчас объявил Байджан, строго сведя брови, точно ему предлагали сделать что-то нехорошее.

– Говорят, богу неуютно, когда отказываются от еды, – сказал Какыш, протирая свою большую, принесенную из дому миску. Он подошел к раздатчице и сообщил: – Доктор рекомендовал мне есть побольше мяса.

– А нам доктор ничего такого не говорил, – отрезала раздатчица, глядя на Какыша немигающим взглядом.

– Забыл, наверное, – миролюбиво согласился Какыш. – Ладно, Байджана порцию мне давай.

– Не дам. Если он есть не хочет – это его дело, а вам не дам. Не положено.

– Как это – не положено? – возмутился Байджан. – Совести у вас нет! Будто из своего кармана даете! Итак вашу стряпню есть невозможно, так вы еще ложку каши выгодать стараетесь. Отдайте этому человеку мою порцию!

Перед тем, как начать завтракать, Карли сказал:

– Какыш, хочу тебя попросить...

– Дорогой, прошу тебя, ни о чем меня не проси, – не дал договорить ему Какыш и рассмеялся своей шутке.

– Ешь, пожалуйста, тихо. Не чавкай. Не могу слышать.

– А ты ешь и не слушай!

Кто-то постучал в дверь. Потом она медленно приотворилась, и в палату проскользнул франтовато одетый молодой человек, чернявый, с аккуратными усиками.

– О-о, кто пришел! – радостно произнес Байджан, вставая навстречу парню. – Наш драгоценный зам. А усики, усики, смотрите, у него какие!

– Башлык-джан, без тебя у нас, ей-богу, как на кладбище. И на работу идти неохота. Никакого интереса. Теперь люди поняли, на ком все у нас держится.

– Ладно, ладно, сладкоголосый мой!

– Башлык-джан, моя жена специально для вас плов сварила. Вот, горяченький... – Зам растерянно посмотрел по сторонам, не зная куда пристроить свой сверток.

На помощь ему пришел Какыш.

– Сейчас место расчистим, – говорил он, перекладывая банки и свертки, что лежали на байджановой тумбочке, в свою. – Ничего, ничего, пусть здесь полежат – разницы нет. У нас, можно сказать, все общее.

После завтрака Карли отправился погулять. Он шел, держа руку на боку, и ему казалось, что тепло ладони делает уколы боли менее резкими. Но все равно долго ходить было трудно и, заметив свободную скамейку, он сел. Ему повезло. Все скамейки, что стояли вдоль аллеи, были заняты. От ворот больницы к корпусу почти непрерывным потоком шли люди. Глядя на них, можно было подумать, что половина города оказалась внезапно в больнице, а вторая половина несет им передачи.

«Да разве только в передачах дело?» – с горечью думал Карли. Его изводила тоска. Как это ужасно, если не с кем даже поговорить по душам. Вот на работе другое дело. Там то один придет поспорить, то другой. А сюда никто не пришел. Хотя наверняка знают, что он в больнице. А когда выпишется, скажут, что

не знали, не слышали, или что были очень заняты срочной работой. Нет, при желании всегда найдется время, чтобы навестить больного приятеля. Ну и черт с ними! Просто нужно работать там, где ты действительно нужен людям. А кому нужен твой чертов НИИ, Карли?! Что о чужих говорить, если родной брат только один раз навестил. Забежал, как в больницу положили, а после даже не справился, как прошла операция. Впрочем...В прошлом году, когда Язли сломал ногу, он, Карли, тоже был у него всего один раз. Выходит – квиты!

Карли казалось, что здесь, в больнице он сделал открытие. Прикованный к больничной койке человек страдает от одиночества гораздо больше, чем здоровые. В больнице как-то особенно не хватает сердечности, дружеского общения. Но здоровые люди так беспечны, не думают, что тоже однажды могут оказаться на больничной койке.

Пожилой мужчина присел на скамейку рядом с Карли. Закурил, и вдруг Карли, который вообще-то не курил, попросил у него сигарету. Но первая же затяжка заставила его раскашляться до слез. Карли бросил сигарету на землю, растоптал. Когда приступ кашля кончился, ему стало неловко перед стариком. Он встал и ушел, пошел бродить по больничному парку. И гулял так до самого обеда. А в палату возвращался с надеждой, что после долгой прогулки удастся ему быстро заснуть.

– О, наш пропащий объявился! – первымотреагировал на его появление Байджан. – Что случилось? Каждый день исчезаешь куда-то?

– Гулял, – холодно ответил Карли.

– Я взял тебе порцию, – сообщил Карахан. – И чай заварил. Давай налью.

– И мне налей, – подставил свою большую пиалу Какыш.

– Кто из вас Какыш? – спросила заглянувшая в палату женщина. – Жена пришла.

– Иду, иду. – Какыш со значением кашлянул, хотелось похвастаться, что к нему тоже пришли посетители. Перед тем, как выйти в коридор, он важно обвел взглядом палату, будто хотел запомнить, где что лежит и не будет ли перемен за время его отсутствия. Его не было не долго. Минут через десять он вернулся, неся большую черную сумку. Он поставил ее на свою кровать и стал разбирать.

– Все несут, несут, – приговаривал он, вынимая из сумки пакеты. – Разве один человек столько съесть может. Говорю им не несите, да разве послушают.

Опорожнив сумку, Какыш тотчас начал складывать в нее свертки, что лежали в его тумбочки.

– Передам жене. Чем здесь сгниет, пусть лучше дети едят. – Перекочевали в корзину и огненно-красные яблоки, и сверток с орехами.

Чтоб не видеть ничего этого, Карли прикрыл лицо полотенцем и почти сразу провалился в сон. Уже вечером разбудил его Карахан. Он тряс его плечо:

– Просыпайся. Жена пришла.

Когда в конце коридора, за стеклянной дверью Карли увидел жену, он в первый миг испытал не радость, а жалость. Жена стояла уставшая, с низко опущенной головой, прядь волос выбилась у нее из-под платка.

– Еле вырвалась, – сказала она, когда Карли подошел к ней. – Пока детей из садика забрала, пока ужин готовила – смотрю, уже совсем темно.

– С кем детей оставила.

– С кем я их оставляю? Сами. Ничего, мы как-нибудь обойдемся. Как ты? Как здоровье? Скоро выпишут? Как иду в больницу, дети просят: «Ж папе хотим!».

– И я соскучился. – Карли на миг прикрыл веки, пытаясь представить лица детей.

На обратном пути в палату, Карли окликнула медсестра, та самая, красивая, что утром спорила с зав.отделением.

– Скажите, пожалуйста, а этот толстый, ну, Овлякулиев, он кем работает?

– А ты что, не знаешь?

– НЕ знаю. Вижу, что богатый. И что нечестный.

– Я думал, его в городе все знают. – сказал Карли. – Он директор универмага.

– Зла мне на таких людей не хватает.

- Уймись. С работы выгонят, – равнодушно произнес Карли.
- Уже. С завтрашнего дня буду работать в детском отделении.
- Может оно и лучше.
- Там тоже такие порядки – дети начальников, к ним отношение особое.
- Трудно тебе жить.

Они вместе дошли до палаты. Медсестра пропустила Карли вперед, а сама вошла следом и стала молча раздавать градусники. Вскоре она вернулась с журналом. Байджан притворно испуганным голосом произнес:

- Ого, оказывается у меня температура. Выше тридцати восьми... Я же чувствую, что мне хуже стало.
- Медсестра встряхнула градусник.

- Могу записать, что тридцать семь.

Байджан не сразу нашел, что ответить. И уже вслед крикнул:

- Ну, что за девка! Совсем совести нет!

– Современное воспитание, – с готовностью подсказал Какыш, втирая о рукав пижамы большое яблоко.

– Не носить мне моего имени, если не добыюсь, чтоб ее с работы выпнали. Честное слово, даже взятки дам, но научу ее людей уважать. Я... – Байджан умолк, раздумывая, чем еще ему поклясться, но в это время из коридора донесся крик: «Овлякулиев! На выход!».

– Люди нынче очень прилипчивые, – философствовал он, нашаривая под кроватью тапочки. – С утра до ночи будут ходить – знают, что я пригложусь. Ха-ха-ха! Но, ничего. Я тоже крепкий орешек.

- Это верно, – не удержался Карли.

Минут через пять в палату забежал какой-то мальчишка.

- Карахан! Какыш! Дядя Байджан сказал, чтобы вы к нему пришли. Он вас во дворе ждет.

Оставшись в палате один, Карли стал думать над тем, почему Байджан позвал только Карахана и Какыша. Обиделся? Унизить хочет? Он так и не смог найти ответа – Карахан и Какыш вернулись почти сразу. Каждый нес по тяжелой сумке.

– Нет, он, вообще, с нами как с рабами обращается, – возмущался Какыш. – «Сумки, – говорит, – возьмите!», а сам даже головы не повернул. Пусть дураков поищет в другом месте. Я ему не раб.

- Нездоровится ему. Температура, – сказал Карахан, доставая из сумки банку с вареньем.

– Его температура – мне до лампочки. Пусть со мной считается, недоучка несчастный. Я его выходки терпеть не намерен. Слава богу, должность у меня не меньше, чем у него – заместитель начальника треста. Это вам – не шурум-бурум!

Выплеснув злость, Какыш стал разбирать содержимое сумки. Пару чебуреков и четыре граната положил в свою тумбочку. Тут и Байджан вернулся.

– Ну, ребята, – прощальный ужин, – объявил он. – Завтра выписываюсь домой. Давайте сейчас почаевничаем напоследок.

– Верная мысль! – тотчас откликнулся Какыш, и в голосе его уже не было прежнего раздражения. – Жаль, конечно, расставаться. Да и продуктов столько – обратно их повезешь что-ли?

– Ничего, Какыш, с продуктами мы прямо сейчас разберемся. До завтра ничего не оставим. Ты сходи, ополосни чайники, Карахан сейчас с кухни кипятку принесет. А мы с Карли пока стол накроем.

Ни слова не говоря Какыш пошел ополаскивать заварные чайники. Вернувшись он поставил их на тумбочку Карахана, а сам, сев на край байджановой кровати, сказал плаксивым тоном:

– Значит бросаешь нас, Байджан. Как мы тут без тебя... Я, ей-богу, привык к тебе, как к брату. Да у тебя во-он сколько знакомых, небось, выйдешь отсюда – сразу нас забудешь.

– Бросьте. Для вас мои двери в любой час открыты. Приходите, но только с деньгами! Ха-ха-ха! Э-э, в наше время надо радоваться, если за деньги удастся что-нибудь купить.

- Будем живы-здоровы – обязательно придем, – заверил Какыш и пододвинулся ближе к Байджану.

Ночью Карли спалось плохо. Перед взором стояли лица друзей, приятелей. В мыслях он разговаривал с ними, пенял, что они забыли о нем, не навещают его в больнице. Потом внимание его привлек какой-то звук. Он прислушался.

– Мыши что-ли?

– Да, наверное, мышь, – отозвался Карахан. – Я тоже слышу: хрусть-хрусть, хрусть-хрусть.

– Надо свет включить, – сказал Карли.

– Не надо лампочку включать, – свистящим шепотом попросил Какыш. – Это я. Проголодался чуток, думаю, дай чебурек скушаю...

– Ну, что вы, ей-богу, совести у вас нет. Только заснул, – разозлился Байджан.

Карли отвернулся к стене, накрылся с головой одеялом. Но это помогло мало: хруст слышался теперь вперемежку с чавканьем...

ЗОВ ДУШИ

*Светлой памяти моей бабушки
Огульгельды Оде посвящаю.*

Огульгерек-эдже вернулась домой совсем разбитой: колени дрожали, на лбу выступила обильная испарина, которая, казалось, высосала последние силы. Об одном мечтала она: поскорей опустить голову на подушку и отдохнуть. Но ее возвращение, как всегда, вызвало в доме переполох.

– Ах, мама, не надо было вам ездить. Теперь сколько в себя приходиться будете? – выговаривала своей восьмидесятилетней свекрови тетушка Гуллер, сама уже женщина немолодая. Она приложила ладонь к морщинистому лбу Огульгерек-эдже и вздохнула: – Вот видите, уже температурите.

– Пока в мотоциклетке Джомарткулы-джана сидела, все нутро мне растрясло. Он, бедняга, так осторожно ехал, да это, видно, у меня уже душа еле-еле в теле держится.

– Все упрямитесь, мама! И в прошлый раз целую неделю болели. Зачем себя мучаете, спрашивается? Это надо – на мотоцикле! Сын же вам сказал, что сам отвезет...

– Разве у него получится... – жалко улыбнулась Огульгерек-эдже. Она помолчала, без выражения глядя на невестку, потом попросила: – Невестушка, если не трудно, свари мне, дорогая, унаш. Что-то лапши захотелось. Может прибавит мне сил.

Тетушка Гуллер молча кивнула и отправилась на кухню. А ее место рядом с Огульгерек-эдже тотчас же занял шестилетний правнук Вепа.

– Бабушка, что с тобой? – шепотом спросил он, испуганно тараща глаза.

– Не знаю, ягненочек. – Старуха прикрыла своей ладонью пухлую детскую руку. – Нездоровится что-то...

– Надо дядю Джуму позвать. Пусть укол сделает.

– Не надо. Боюсь я его уколов, – улыбнулась Огульгерек-эдже.

– И я боюсь. Но после укола болезнь пройдет, – серьезно, как взрослый, сказал Вепа. А потом попросил: – Ты, бабушка, больше никуда не уезжай.

– Хорошо, ягненочек! – пообещала Огульгерек-эдже.

Спустя полчаса вернулся Довлетберды и чуть ли не с порога стал выговаривать:

– Мама, зачем же вы поехали. Что вам ни говорят, вы все упрямитесь, все наоборот делаете. Может мы вас чем обидели? Ну, чего тебе хочется. Скажи, тотчас исполним. Найдем все, чего душа пожелает.

– Спасибо, сынок. Ничего мне не надо.

– Ну и сиди тогда дома. Нет, мы тебе ездить не запрещаем, но ведь после этих поездок сама мучаешься. Вот что плохо. Другое дело, если б тебе дома поговорить было не с кем. Но ведь у нас, слава богу, народу полно. Невестка твоя, дай ей волю, с утра до ночи проговорит. Вам уже третья собеседница и не потребуется. А внуки, правнуки. Сиди, смотри телевизор, радио слушай.

Старуха молчала. Конечно, при желании она нашла бы, что возразить сыну. Но сейчас ей больше всего хотелось, что бы, уставший после работы Довлетберды, спокойно поужинал и отдохнул, а на нее обращал как можно меньше внимания.

– Я скоро встану, сынок, – наконец шепотом сказала Огульгерек-эдже. – Ты иди, ужинай. Со мной Вепа-джан посидит. – А когда сын вышел из комнаты, спросила: – Вепа-джан, бабушка Акнур дома? – Правнук кивнул. – Позови ее, ягненочек!

Вепа убежал. С кухни доносился запах свежего теста и перца. Во дворе затарахтел мотоцикл. «Видно, Довлетберды решил поехать за Джумой,» подумала Огульгерек-эдже. Потом ей вспомнилось, что и сын, и невестка, оба, упрекали ее одними словами. Она улыбнулась, но улыбка на ее губах продержалась недолго. «Какое же это упрямство?», – прошептала она. Да и в самом деле, сколько человек может в четырех стенах высидеть? Было бы еще с кем по душам поговорить, но...

В последнее время Огульгерек все чаще ощущала себя одинокой. Дом был полон народу, все любили ее, заботились о ней, но не хватало общения со сверстниками, которые только и могут понять тебя по-настоящему. С невестками разве поговоришь от души; они люди другого времени и разговоры у них не те, о каких истосковалась Огульгерек-эдже.

Огульгерек-эдже прожила жизнь долгую и нелегкую. Родители выдали ее замуж, когда ей не было еще пятнадцати. Не жалея сил трудилась она в чужом доме, лишь бы не услышать упреков. Сперва у нее родились сыновья: Аллаберды и Довлетберды. Третьей была дочь Огульбагт. Четвертого его сына называли Ходжаберды. Забота о детях и тяжелая работа на колхозном поле отнимали все силы. Дети росли. В год, когда собирались сыграть свадьбу Аллаберды, началась война. Ушел на фронт ее муж Беркели. Через год, в один день, ушли вслед за отцом сыновья – Аллаберды и Довлетберды.

Из последних сил билась Огульгерек, чтоб малолетние Огульбагт и Ходжаберды не знали нужды. Вставала до зари, ложилась за полночь, трудилась не жалея себя, только бы заменить мужа и ушедших на войну сыновей. Дни бежали, сменяя один другой, но не было среди них счастливых. Даже когда колхоз вручал ей грамоты или подарки – они мало радовали ее. Ночами она мечтала, чтобы поскорее возвратилось

светлое мирное время. А иногда по ночам она плакала, но не от тяжелой жизни, а горюя о Беркели. А еще порою плакала она, гордясь своими детьми, радуясь, что растут они разумными, послушными и нет ни у кого повода попрекнуть их безотцовщиной.

Кончилась война, вернулся Довлетберды, а Беркели и Аллаберды навсегда остались в чужой земле.

Черные дни остались в прошлом, настало время, о котором так часто мечтала Огульгерек. Она женила сыновей, выдала замуж дочь. Пошли внуки. Она благодарила судьбу за то, что удалось ей услышать их беззаботный лепет. Верно сказано: «Дети – молоко, внуки – сливки». Может из-за их вечной занятости, но дети были не такими душевными, как внуки, – так казалось Огульгерек. Посчастливилось ей увидеть и правнуков почти всех своих внуков и внучек. Только у Язгуль пока не было детей.

Язгуль, дочь Ходжаберды, была ее любимицей. Она росла болезненной, и поэтому чаще других бывала с бабушкой. Переживая, тревожась за нее, Огульгерек всякий раз говорила себе: «Единственное мое желание, увидеть, как она выйдет замуж».

Это желание исполнилось. Язгуль выросла красивой девушкой, и вышла замуж за любимого парня. В день их свадьбы счастьем Огульгерек не было предела. Она хлопотала, точно молодая, готовя угощение и обслуживая гостей. А про себя шептала: «Эх, если бы Беркели увидел этот день!»

Жизнь устроена так, что, пока жив человек, нет предела и его желаниям. Теперь Огульгерек больше всего на свете мечтала дожить до дня, когда Язгуль станет матерью. Но прошло уже два года, как Язгуль замужем, а детей у нее все нет. И с каждым днем все сильней становилась ее тревога за внучку. Видно, на небесах слышали ее мольбы, и несколько месяцев назад Огульгерек всю свою пенсию стала откладывать на подарок тому, что принесет ей долгожданную весть о рождении самого желанного правнука. Однако тревожилась она о Язгуль теперь еще больше прежнего. Каждое утро кто-нибудь из внуков шел к Язгуль, чтобы узнать, как она спала, как себя чувствует. А при всяком удобном случае Огульгерек сама отправлялась к внучке, чтобы увидеть свою любимицу и немного помочь ей по хозяйству.

С веранды донеслись голоса.

– Что, опять она расхворалась? – Огульгерек узнала голос Акнур-эдже.

– Да, нездоровится что-то, – ответила ей тетушка Гуллер. – Проходите, она в дальней комнате. Я сейчас тоже приду.

Через некоторое время в комнату, где отдыхала Огульгерек, вошла Акнур-эдже и чуть ли не с порога стала отчитывать:

– Зачем тебе надо было ездить? Знаешь же, что расхвораешься. Только себя мучаешь. И домашним беспокойство...

– И ты так говоришь, – огорчилась Огульгерек-эдже. Немного помолчала, а потом, улыбнувшись, сказала: – У замужних свои заботы. На земле хоть потоп, а им все по колено.

– Поздно в твои годы о муже думать!

Лицо Огульгерек-эдже помрачнело, не ожидала она такого ответа на свою шутку.

– Я вчера заходила, сказали, что ты к Огульнар поехала. Чего это?

– Проведать решила. Когда она свадьбу играла, не смогла поехать. А тут она сына прислала, Джомарткулы. Правнук на днях родился. Обрадовалась, когда я приехала. Всю ночь проболтали.

– Ну, как, все живы-здоровы?

– Все хорошо. – Огульгерек приподнялась, точно намеревалась сообщить что-то особенно важное. – Знаешь, иной раз в жизни такое случается, что до самой смерти не забудешь. Огульнар еще незамужем была, когда мы с ней на одной делянке работали. Я кетменем ногу поранила, так она две недели за двоих трудилась и половину трудодней на меня записала. Бригадир ей говорил, чтоб все на себя записала, но она отказалась. А сама-то, как тростиночка была. За те две недели так похудела, что не понять, в чем душа держится. Никогда я ее доброты не забуду. А потом вышла замуж в соседнее село, и почти позабыли друг друга...

...Обычно после очередной своей поездки Огульгерек-эдже хворала не больше двух-трех дней, на этот раз минула уже неделя, а ей все не становилось легче. Правда, ехать в больницу отказалась наотрез. Она лежала в своей комнате, и была окружена всеобщим вниманием. Всем хотелось как-то услужить ей, порадовать ее. Приезжали даже издалека, чтобы провести ее. И Огульгерек-эдже подолгу беседовала со своими гостями. Особенно она радовалась, когда приходил навестить ее кто-нибудь из ее сверстниц. Когда же ненадолго оставалась одна, сразу становилось тоскливо. Удивлялась, как она могла думать, что человеку, если он сыт и одет, больше и мечтать не о чем. В мыслях говорила с Беркели, улыбалась – ей казалось, что она слышит голос мужа. «Огульгерек, я доволен тобой, – говорил Беркели. – Все я отсюда видел – большое ты дело сделала, не всякому мужчине такое по плечу! Недаром ты мучалась: теперь наш дом – настоящий дом! Жаль, что не сумел тебе помочь, что пришлось тебе и мою ношу нести, чтоб дети сиротства не почувствовали. Спасибо тебе, Огульгерек». Эти слова ободряли Огульгерек-эдже, но головная боль все равно не проходила, а усилившаяся с каждым днем слабость не на шутку тревожила ее.

«Я тысячу раз довольна своей жизнью, – думала она. – В любой миг без сожаления уйду в мир иной. Но как хорошо было бы увидеть напоследок мою Язгуль. Ей сейчас тяжело ко мне ехать, а иначе давно бы примчалась к своей любимой бабке. О, Аллах, нет у меня больше желания, чем дожидаться как Язгуль станет матерью!..»

Огульгерек-эдже смежила на миг веки, и вдруг привиделась ей Язгуль.

Внучка бежала к ней и кричала: «Бабушка!.. бабушка!..» Огульгерек-эдже тотчас проснулась, но в комнате никого не было.

Однако предчувствие все же не обмануло старуху. На следующий день, рано утром, маленький мальчик, братишка мужа Язгуль, принес известие, которое тотчас заставило Огульгерек-эдже забыть о болезни.

– Бабушка Огульгерек, бабушка Огульгерек, – мальчик от волнения немного заикался. – Хорошая весть!.. Бушлук!

– Что такое, ягненочек мой?

– Прошлой ночью у гелнедже родился сын.

Огульгерек с неожиданной легкостью встала на ноги, и дрожа от волнения, взяла мальчика за плечи.

– Что ты сказал, ягненок мой. Повтори-ка!

– Прошлой ночью у Язгуль-гелнедже родился сын. Гелнедже хочет назвать его Беркели в честь дедушки.

– Ах, как сладко звучат твои слова, душа моя. Как я рада, твоему известию. – Огульгерек крепко обняла мальчика.

– Гелнедже сказала, чтобы я спросил о вашем здоровье. А еще просила, чтобы вы не беспокоились и не приезжали к ней.

– О каком беспокойстве ты говоришь? Как это – не приезжать. Ступай, скажи ей, что я здорова. Обо мне она заботится! Пусть не обо мне тревожится, а себе и сыночке, быть мне жертвой за маленького Беркели! Как же пришлось ей на ум назвать сына именем покойного Беркели?! Гуллер, Гуллер, слышите? Где ты, невестка? Язгуль-джан родила сына. Беркели его назвала...

– Бабушка Огульгерек...

– Что, ягненок мой?

– Язгуль-гелнедже говорит, что когда родится у нее дочка, она назовет ее вашим именем.

– Правда?! Ах, моя умница!.. – В глазах у Огульгерек-эдже заблестели слезы. Она торопливо достала узелок с деньгами, припасенными специально для этого счастливого дня, и протянула мальчику пачку денег.

– Вот, ягненочек мой, возьми и купи себе все, чего твоя душа пожелает. Это тебе за добрую весть.

Проводив мальчика, Огульгерек поспешила к сыну, который уже собирался на работу.

– Довлетберды-джан, слышишь, Язгуль родила сына. И назвали его именем твоего покойного отца.

– Нашлась-таки причина, – Довлетберды недовольно нахмурился, глядя на мать.

Но Огульгерек-эдже точно не слышала его слов.

– Поскорей поедem, сынок.

– Мама, да вы же еще больны.

– Не сочти за труд, сынок, отвези. – Огульгерек-эдже с мольбой смотрела на сына. – Пока не увижу правнука, покоя мне не будет. Прошу тебя, отвези.

– Нет, мама, нет.

– Я тебя минуты лишней не задержу. Только взгляну.

– Мама, вы же знаете, что Язгуль пока из роддома не выпустят. Через несколько дней...

– Ничего, пусть мне Беркели-джана в окошко покажут. Ведь сколько я этого дня ждала. Единственное желание в жизни осталось!..

– Ей богу, мама, – начал отступать Довлетберды-ага, – полежи еще пару денечков, а потом вместе поедem.

– Ладно, сынок, если у тебя сейчас нет времени, не стану тебя задерживать. Мне на работу не спешить. Дойду тихонечко пешком, до роддома ведь недалеко. А может Ходжаберды подвезет? У него ведь машина, спроси его, Довлетберды.

Довлетберды-ага, видя, что мать ни за что не уступит, пошел к младшему брату.

Когда Огульгерек-эдже уже собиралась сесть в машину, прибежал Вепа.

– Бабуля!.. – Он вцепился Огулгерек в руку и стал тянуть ее к себе, чтобы она не села в «Москвич». – Снова ты уезжаешь! Опять дядя Джума тебе уколы делать будет. Не езжай, ты ведь мне обещала.

– Ах, ты, ягненочек мой, радость моей души. Ты разве не слышал, что у нашей Язгуль сын родился. Вот взгляну на него и приеду. А потом никуда больше ездить не буду. Всегда будем с тобой вместе. Согласен?

Мальчик кивнул, хотя толком не понял что к чему.

Огульгерек-эдже вместе с тетушкой Гуллер поехали в роддом. Довлетберды, держа за руку Вепа, стоял у ворот и смотрел вслед машине, пока «Москвич» не скрылся из виду. Он был недоволен.

Но Огульгерек-эдже не обманула ни сына, ни правнука: эта поездка и в самом деле оказалась для нее последней.

ТРИНАДЦАТЫЙ ЛАД

Светлой памяти Ахмеда Бекмурадова

Мог ли Кор Гожалы представить, что сам, можно сказать, своими собственными ногами придет туда, где жизнь устроит ему испытание, сравнимое разве что с концом света. Приглашение поступило за месяц до праздника. И не с кем-нибудь передал его Аллан-бурун, сам приехал просить, чтобы Кор Гожалы почтил своим присутствием его той. Но разве в этой жизни хоть один шаг делается просто так, без причины?! Аллан-бурун мечтал устроить такой пир, чтобы поразились вся округа. А чего стоит уж одно то, если люди будут говорить: на той Аллана-буруна за тысячу верст прибыл Кор Гожалы – бахши известный и почитаемый всеми туркменами!

И вот назначенный день настал. Оседлав своего гнедого жеребца, Кор Гожалы отправился на той Аллана-буруна. Когда он прискакал туда, его уже ждали многочисленные гости, весь кишлак вышел ему навстречу. Люди радовались празднику, озарившему их безрадостную, беспросветную жизнь.

Восторженная толпа проводила бахши на почетное место, Кор Гожалы усадили на деревянном помосте, что устроили рядом с нарядной белой кибиткой. Люди любовались им, они готовы были носить своего любимца на руках, исполнить всякое его желание. О-о, разве бахши не видит, не чувствует этого?!

Кор Гожалы благодарно кивнул окружавшим его людям, которые не отрываясь следили за этим.

– Сегодня в вашем доме одним мусульманином больше станет, – сказал Кор Гожалы хозяину.

– Мы ждали вас, бахши-ага. – Аллан-бурун был в приподнятом настроении.

– Тогда позовите вашего пальвана.

Некоторое время спустя к бахши подвели смуглого мальчишку лет семи от роду.

– Саламалейкум! – Мальчик, смущаясь, приблизился к почетному гостю.

– Валейкум эссалам! – Бахши смерил мальчика взглядом. – Молодец, ты уже совсем большой.

– Нет... – Малыш нахмурился. – Я еще не стал джигитом. Вот сделают обрезание, тогда буду настоящим мужчиной. Все так говорят.

Кор Гожалы протянул мальчику привезенный в подарок детский дутар. Сказал с улыбкой:

– Когда станешь джигитом, научись играть на нем. – Сын Аллана-буруна кивнул и, принимая подарок, тоже улыбнулся. – Только смотри, не плачь, когда будут джигитом делать.

Мальчик ответил сразу, словно давно уже ждал этих слов.

– Мужчина не должен плакать.

Все вокруг рассмеялись, людей развеселил слишком серьезный тон ребенка. А мальчик – бахши это видел – обиделся: губы его задрожали. Откуда ему было знать, почему взрослые смеются над его словами.

Однако когда гости стали вручать ему свои подарки, он перестал обижаться. С трудом удерживая в руках чудесные дары, довольный ребенок пошел в белую кибитку, где через несколько минут ему предстояло стать настоящим мужчиной.

Стали разносить угощение, и разговоры сами собой затихли. Этого часа давно уже ждали. Слава Аллаху, в селе нашлись мастера вкусно готовить – подняли людям настроение. А когда человек сыт, он уже

не может сидеть молча. Гул голосов постепенно стал нарастать. И выпирая жирные пальцы об усы, о голенища сапог-ичиг, люди стали все чаще поглядывать в сторону бахши.

После трапезы сообща произнесли благодарственный «аминь». Потом и Аллану-буруну, и его сынишке, который в это самое время становился настоящим мужчиной, было сказано немало добрых пожеланий. Лишь после этого хозяин дома обратился к Кор Гожалы.

– Бахши-ага, – Аллан-бурун запнулся, словно подбирая слова. – В нашем селе, почтеннейший, тоже есть бахши, может вы и слышали о нем. Так вот – давно мечтает он спеть вместе с вами. Только и говорит всем и каждому, мол, обязательно должен я сыграть на тое вместе с Кор Гожалы. Вот земляки и попросили меня посоветоваться с вами на этот счет. Если вы не возражаете...

– Да кто же станет возражать против этого! – сказал Кор Гожалы, однако в глубине душе родилось беспокойство. «Если в селе есть бахши, способный играть наравне со мной, стоило ли меня звать. Выходит, решили состязание здесь устроить. Интересно, кто это, как зовут этого бахши?»

Словно прочитав его мысли, Аллан-бурун сказал:

– Да слышали вы о нем, наверное. Люди зовут его Хелей-бахши.

– Хелей-бахши? – »Так это к тому же баба!»

– Да, да, Хелей-бахши. Вы удивлены, кажется? А вообще-то ее звать Безмеден.

– Какого она роду-племени? Из эрсари, из иомудов?

– Нет, Хелей-бахши родом из баятов.

– А-а, вот как... – Кор Гожалы знал, что все ждут от него прямого, ясного ответа. Сейчас толпа взвешивает каждое его слово, следит за каждым движением. Он не стал томить присутствующих. – Пожалуйста, пусть поет. Один бахши другому не помешает.

Кор Гожалы закусил губу, низко опустил голову. Соперничать с бабой, видано ли подобное среди туркмен. Да-а, пока человек жив, с чем ему только столкнуться не придется. Конечно, можно и спеть вместе, можно и посостязаться, только обидно, что после этого быстрее степного пожара разнесется слух, мол, Кор Гожалы с бабой перепевки устроил. Да и велика ли честь победить ее? О собственном поражении даже думать не хотелось – это позор. Если станут говорить, что Гожалы-бахши не смог одолеть женщину, – тогда хоть тельпек с себя снимай!

О, Аллах, помоги, убереги нас от позора!

Пришла Хелей-бахши, сопровождаемая целой свитой женщин, медленно склонив голову поприветствовала сидящих на топчане, но сама там не села, а устроилась в стороне, на старенькой кошме, брошенной на землю.

«Неужели эта курица собирается петь вместе со мной? О, Аллах, что там может уместиться в ее птичьих мозгах. Верно люди говорят: «У женщины нет ума, у осла – красоты». Если она пришла с намерением победить Кор Гожалы – тогда она вдвойне дура. Или в этом селе не знают, кто я и как пою? Да нет, должны знать – я ведь в этих краях не на одном тое пел.»

– Как дела, гелин? Надо было на топчане сесть.

Хелей-бахши поудобней устроилась на своей кошме:

– Нам, женщинам, бахши-ага, не стоит отрывать ног от матушки-земли...

Сидящие рассмеялись. Кор Гожалы слегка покраснел. Вены на висках у него вздулись, в груди заклокотало.

«Она еще и подкалывает!.. Видно, всерьез мечтает меня победить. Эх, Гожалы, Гожалы! Похоже, здесь тебя собираются сделать посмешищем. Узнаешь ли ты себя? Считал себя великим бахши, а сегодня над тобой потешается какая-то баба, что выучила пару песен и едва научилась брэнчать. Впрочем, как знать... Может тебе все снится, Гожалы? Да нет, это не сон! Ну, что она еще придумала, эта – Хелей-бахши?

Посмотрим.

Жизнь гораздо на разные шутки.»

Аллан-бурун приблизился к Кор Гожалы, шумно дышал прямо в ухо, намереваясь что-то сказать ему. Но не успел.

– Бахши-ага, будешь убегать? – Хелей-бахши давала понять, что готова к состязанию.
– Мне убегать несподручно, лучше догонять тебя буду. – Гожалы изо всех сил старался не показать своего раздражения. – Ты ведь выразила желание посоперничать со мной.
– Начинай, Безмеден-гелин, – хитро улыбаясь, сказал Аллан-бурун. – Наш договор в силе.
– Лишь бы вы сдержали слово, Аллан-ага.
– Не беспокойся. Я не из тех, кто дает слово, а потом от него отказывается. – Аллан-бурун сидел, пристроив на коленях подушку, довольно потирая руки. Он окинул взглядом присутствующих, ожидая подтверждения своим словам. Люди молчали. Лучше уж промолчать, чем свидетельствовать о том, чего не знаешь. И потом – сейчас не время болтать, надо слушать – бахши настраивают свои дутары.

Тише!

Хелей-бахши не заставила долго ждать – под одобрительные восклицания земляков она коснулась шелковых струн своего дутара. Начала играть, низко склонив голову, но постепенно воодушевляясь, через некоторое время распрямилась, открыла лицо. Ее спутницы, те, что пришли вместе с Хелей-бахши, чтобы поддерживать ее во время состязания, сидели с выражением неземного блаженства на лицах, щурясь от удовольствия, они как бы говорили: о, бахши, если ты сейчас не запоешь, нам самим петь придется.

Длинные тонкие пальцы, легко перебирая струны, превратили бесхитростный дутар в источник завораживающих звуков. Казалось, что ты слышишь рокот морского прибоя, мерные и все усиливающиеся удары волн о прибрежные скалы. Но гул этот не раздражал, напротив, он обвалакивал тебя, завораживал. Начинало чудиться, что ты плывешь, подхваченный волной, заключившей тебя, как мать своего ребенка, в ласковые и теплые объятия. Музыка уводила далеко-далеко, в какой-то неведомый край, где ждала тебя встреча с любимой.

Люди, что собрались на той Аллана-буруна, пришли именно на это свидание!

*Тайное свидание.
Устоять попробуй!
Вот рука любимой!
Где ж твоя рука?!*

Женщина запела. Ее бархатный голос зачаровывал.

Раньше Кор Гожалы никогда не предполагал, что женщина способна толком спеть что-нибудь, кроме колыбельной. Оказывается, способна, да еще как! Бахши удивленно слушал песню. Пользуясь тем, что люди, обратившиеся в слух, забыли о нем, он внимательно разглядел Хелей-бахши.

До чего же она красива! Стройная, с тонкими и правильными чертами лица, которое не портили даже едва заметные темные пятна, вроде тех, что бывают у беременных. От этого лица трудно было оторвать взгляд, оно само было прекрасно, как музыка.

А голос, голос!..

Жаль, что жизнь пролетела!

Однако туркмены тоже иногда ошибаются. Кому пришло в голову женщину, умеющую так красиво петь, назвать столь грубо – Хелей-бахши? Гелин-бахши или Аял-бахши – звучит благозвучно – вот так и надо было назвать ее! А Хелей-бахши – это прозвище мог придумать лишь глухой слепец, который лица Безмеден не видел, голоса ее не слышал. Но нет, небось земляки дали, которые теперь слушают – вздохнуть не смеют. Эх, туркмены, туркмены!

Ладно, послушаем песню!

Хов, бахши, хов!

Безмеден закончила играть, бережно положила дутар на кошму рядом с собой, мельком глянула на Кор Гожалы. Тот словно окаменел: лицо было, как маска, взгляд устремлен в даль, казалось, что он ничего не видит и не слышит.

– Теперь ваша очередь, гость-бахши!

Однако гость понял не только то, что Хелей-бахши сказала вслух, но и то, что говорил ее взгляд. Кор Гожалы взял в руки дутар.

Знакомые струны, знакомые лады... Скоро уже в шестой раз встретит он, Кор Гожалы, Год мыши, и всю жизнь только и занят тем, что извлекает звуки из потемневшего от времени дутара. Порой они заглушают сердечную боль, помогают забыться, и ничто кроме них в этом мире не в силах одарить покоем страдающую душу.

Старый дутар, волшебный дутар! Дутар, умеющий исцелять болезни и прогонять безысходную тоску. И в горе, и в радости жаждут туркмены услышать его. И неспроста говорится: «Если Кор Гожалы поет на Аму, его слышно в Бами». Быстрее птицы, не ведая преград, летит его песня, при звуках ее расцветают цветы и грусть обращается в радость. Чабаны, что чуть не полгода пробыли в песках, возвратясь в село скажут, какие песни пел Кор Гожалы, словно сами были на тое. Только его дутару доступны звуки такой высоты и чистоты, только его голос способен подняться до заоблачной выси. Спасибо тебе, дутар, спасибо! Правда, поначалу даже дутар не мог угнаться за певцом, когда пел Кор Гожалы свои знаменитые «Балсаят» и «Коне гузер». Еще один, тринадцатый лад потребовался, чтобы они сравнялись.

Отныне тринадцать ладов доступны дутару!

И тринадцатый – самый высокий – зовут его именем: лад Кор Гожалы.

Что ж, слушайте, люди, как будет петь бахши, создавший тринадцатый лад.

И он начал.

Петь, конечно, не просто, но еще трудней приходится тем, кто своими возгласами раззадоривает бахши. Ведь неспроста говорится, что тому, кто рубит дрова, дают пай, а тому, кто его поддерживает – два пая. «Ай, молодец!», «Как поет – прямо сердце тает!», «Чудо, чудо дивное!» – разве перечислишь все слова да присказки, какими вдохновляют они бахши. Но только говорится, что им два пая приходится. На самом деле даже пиалки с чаем не дадут, когда они раньше самого певца сипнут и горло надсаживают. Зато, когда бахши чайком горло споласкивает, толпа терпеливо ждет. Вот и выходит, что бахши даже легче, чем его окружению.

Но вот настает миг, когда люди погружаются в сладкую истому, очарованные музыкой закрывают глаза, начинают раскачиваться в такт мелодии. Вот время просить взаймы! Не то, что деньги, последнюю рубаху отдадут! Уж если что умеют туркмены от души делать, так это – слушать музыку, песней наслаждаться!

Аллах в своей бесконечной милости одним повелел петь, другим – слушать песни. Гожалы был полон благодарности за выпавшую ему судьбу. Что в сравнении с даром, ниспосланным свыше, те дары, которыми осыпают его люди? Впрочем, именно им обязан Кор Гожалы своим теперешним богатством! Туркмены редко бывают чем-либо довольны по-настоящему, но если сумеешь угодить, – вознесут до небес: в каждом доме будет отведено тебе почетное место, каждое твое слово в золото оправят. Взять хотя бы теперешний случай: когда односельчане узнали, что он решил отправиться на той Аллана-буруна, а сев еще не окончен, сами вызвались ему помочь. И вспахали, и посеели. Провожая с почетом в путь, просили не задерживаться – возвратиться поскорее.

«Спой им, пусть люди хорошенько отдохнут. Чтоб на всю жизнь этот праздник запомнили!..» – так напутствовали его.

«Держись там уверенно. Хоть края чужие, знай, мы всегда с тобой рядом!» – так говорили на прощанье, словно догадывались, что на тое Аллана-буруна случится то, что случилось.

Он запел «Кичи». Нет, сегодня он просто обязан показать на что способен. Сначала надо сделать так, чтобы люди хорошо отдыхали. Увести их в прекрасный мир, где нет ни забот, ни хлопот, и продержаться там до самого утра. Сделать это не трудно. Что тут трудного?! Как не спеть хорошо, если рядом сидит такая прекрасная женщина, у которой к тому же есть желание посостязаться с тобой!..

Когда вновь настал черед Хелей-бахши, она пошла по стопам Кор Гожалы. Неторопливых песен петь не стала. Почти сразу же взяла высоко и сделала это без видимого труда, только слегка подалась вперед. И между песнями не отдыхала долго. Торопливо выпив пиалу остывшего чая, запела «Харайым донди».

Гожалы-бахши не нашел в ее исполнении никаких изъянов. Голос у Безмеден был красивый и сильный, дутаром она владела мастерски. Ну, а об облике ее и говорить не приходится – молодая женщина была очень красива. Каково же было его удивление, когда сидевший рядом с ним Аллан-бурун посмеиваясь произнес:

– Ах, несчастная!.. Зачем же тебе, беременной, так высоко брать? Смотри, не подведи меня!

Кор Гожалы показалось, что он ослышался.

– Беременная?! – переспросил он.

– Да, дорогой гость. Как бы она, состязаясь с вами, прямо здесь от бремени не разрешилась. У мужика, который такую женщину в жены взял, в голове, видно, ветер гуляет.

Бахши чуть дутар из рук не выронил...

Хелей-бахши лишь однажды прежде слышала Кор Гожалы, но этого было достаточно, чтобы она влюбилась в его голос. Его пение покорило Безмеден. С тех пор, когда она брала в руки дутар, перед ее взором тотчас же оживал поющий Гожалы-бахши, ей казалось, что она слышит его. Это великое счастье, что судьба свела их вместе на этом тое. Не описать ее удивления, когда месяц назад, вернувшись от Кор Гожалы, Аллан-бурун сказал ей, что бахши просит ее петь вместе с ним. Он поздравил Безмеден, пообещал щедро отблагодарить, если она уважит его гостя. Как она радовалась тогда! Но по поведению Гожалы-бахши не скажешь, что это он пригласил ее петь сегодня. Неужели Аллан-бурун обманул?! От него всего ждать можно... Не важно! Как можно было отказаться от предложения, зная, что вновь такой случай вряд ли представится. Жаль только, что ей сейчас трудно петь в полную силу.

Спев несколько песен, Безмеден взглянула на Кор Гожалы: теперь, пожалуй, настал его черед. Но бахши сидел низко склонив голову, отрешенный от всего происходящего вокруг. О, Аллах, что с ним?! Уж не она ли своим пением испортила настроение Кор Гожалы? Ничего, даст Бог, вдохновение снова посетит бахши.

Она спела еще одну песню, но Кор Гожалы, похоже, даже не слышал ее. Он сидел так же неподвижно, как прежде, а его задумчивость стала, пожалуй, еще глубже. Чтобы внимание слушателей не рассеялось, Безмеден пришлось запеть снова. Она не могла сосредоточиться на песне. Самое неприятное – неизвестность.

«Что случилось? Что с Кор Гожалы? Может, его обидели? – Одна догадка сменяла другую. – О-о, если б Аллах дозволил ей взять на себя все горести Гожалы-бахши, она бы даже миг не раздумывала, приняла бы на себя ношу и ойкнула! А может, он ведет себя так нарочно, чтобы изнурить меня?.. Только бы не навредить ребенку! – От одной этой мысли Безмеден ощутила внутри себя боль, которая с каждым мгновением нарастала. – Неужели это Аллах наказывает ее за гордыню, за то, что осмелилась состязаться с самим Кор Гожалы?»

С трудом она допела песню, опустила дутар.

– Теперь ваша очередь, бахши-ага! – В голосе Безмеден звучала обида.

Кор Гожалы взял в руки дутар, но играть начал не сразу. Некоторое время сидел погруженный в свои думы.

Не раз доводилось ему слышать, что перед смертью люди вспоминают прожитую ими жизнь, хотя так это или не так, никто наверняка сказать конечно не может. Как бы там ни было, сейчас перед мысленным взором Кор Гожалы вновь ожили многие события его долгой жизни. Смерти он не боялся – в любой час готов отчитаться за каждый свой шаг, о другом подумал, в трудном положении ты, Гожалы, оказался.

И голос услышал:

«Гожалы, если пострадает ребенок в утробе этой женщины – его кровь падет на тебя. Ты станешь убийцей, бахши!».

Чей это голос?

Самого Аллаха?

Или твоей совести, бахши!

...Вот, широко раскинув тонкие свои ручонки, бежит навстречу тебе, Гожалы, любимый внук. Во всем белом, точно птичка. И вдруг – споткнулся, упал. Сердце бахши замерло. Нет, снова бежит – отлегло. А навстречу тебе уже идут земляки, односельчане. Говорят негромко, чтобы не услышали посторонние:

– Играй! Не уступи Хелей-бахши.

Гожалы резко поднял голову, удивленно посмотрел по сторонам. Все это только почудилось: ни внука рядом, ни земляков. Только чужие люди окружали его, с нетерпением ожидая, когда он наконец начнет петь.

– Что-то, дорогой Гожалы-бахши, пыл ваш угас? – приторно улыбаясь, сказал Аллан-бурун. – Если хотите, поднимем вам настроение. Только скажите – черняшку враз найдем!..

– Гожалы-бахши испугался нашей Безмеден! – выкрикнул кто-то из толпы. – Поник он рядом с нашим цветком! – Несколько человек рассмеялись. Кор Гожалы постарался не слышать этих слов, по крайней мере, сделал вид, что не слышит. Он принял решение: играть до рассвета, не уступая черед Хелей-бахши – на этом тое она больше петь не будет!

Гожали-бахши запел.

Пел, отдавшись музыке без остатка, подчинив ей всего себя.

Спев шесть песен, позволил себе выпить глоток чая. Аллан-бурун воспользовался моментом:

– Гожалы-ага, Хелей-бахши просит позволения спеть пару песен.

– Своего бахши вы можете хоть каждый день слушать. Я долгий путь проделал, чтоб приехать сюда, и потому хочу петь!.. – Никогда в жизни он не говорил с людьми так грубо, как сейчас.

Но Аллан-бурун настаивал:

– Давайте не будем обижать нашу Хелей-бахши, дорогой Гожалы-ага. Она давно уже мечтала попеть вместе с вами. Не так ли, Безмеден-гелин?

Хелей-бахши никак не могла взять в толк, что происходит с Кор Гожалы, отчего бахши утратил и задор, и вдохновение. Ведь как он пел поначалу! Может, устал, все-таки долгий путь проделал, чтобы приехать сюда? Да, наверное, это усталость! Тогда надо постараться, чтобы люди этого не заметили. Слава Аллаху, боль в животе немного отпустила – можно попеть.

Женщины для того и созданы, чтобы в трудный час поддерживать мужчин!

Безмеден потуже затянула пояс.

У Кор Гожалы в глазах потемнело. «О, Аллах, что она делает?! Эта женщина погубит свое дитя. Неужели, люди, вы не видите, что происходит? Найдите же выход!..»

Вообще-то, говорят, что глаза даны людям не только для того, чтобы видеть явное, но еще и для того, чтобы один человек мог понять, что творится в душе у другого. Увы, чаще всего это остается незамеченным. Музыка уже завладела людьми без остатка, обо всем на свете забыть их заставила, но неужели, думал Гожалы-бахши, не найдется в этой толпе человека, который бы сказал Безмеден: «Хватит, остановись, не губи себя!»?

Кор Гожалы вновь почудилось, что его окружили земляки – стоят понурые, головами качают, кусают губы. Руки к нему тянут, словно хотят спасти, вывести из той ловушки, в которую заманил их любимца Аллан-бурун. Напрасно они руки протягивают: так можно утопающего спасти, а не того, кто погружается в пучину отчаяния. Какая-то сверхъестественная сила сковала Кор Гожалы, он даже рукой шевельнуть не мог. Только мысли в голове неслись быстрее аргамаков!

«Торопись, Гожалы, торопись! Ищи выход. Потом поздно будет себя казнить... О-о, неужели не осталось мне ничего другого, как только бежать отсюда с позором?! Сколько бессонных ночей проведено, чтобы постичь тайны дутара!.. Сколько сил и душевного огня отдал, чтобы достичь той высоты, которую занимает ныне среди туркмен!.. Пожертвовать всем этим трудней, чем жизнь отдать. Честью своей пожертвовать! Да после этого он на себя и тельпек надеть не посмеет... На весь род, на село, на всех земляков ляжет тень позора, от которой вовек не отбелиться. О-о, горе тебе, Гожалы!..»

Между тем люди уже начали перешептываться.

– Говорил я тебе, что никто не может сравниться с нашей Хелей-бахши!

– Ты говорил... Да я сразу знал, что он и мизинца ее не стоит!..

Эх, туркмен, туркмен! Не понимаю я тебя. Двух своих любимых бахши принуждаешь ты соперничать. Бахши, которого вчера превозносил до небес, сегодня хочешь опозорить, сравнить с другим. Разве нельзя разделить свою любовь между ними; каждым человеком гордиться, успехам всякого радоваться?!

Хелей-бахши пела вдохновенно. Голос ее взлетал высоко и, казалось, нет ему предела. И люди, подчинив свои сердца великой власти певца, отрешились от всего земного. О-о, как славили они Хелей-бахши!..

«Гелин, ты ведь погубишь своего ребенка», – беззвучно шептали губы Кор Гожалы. Будь он в своем селе, среди земляков, Кор Гожалы, не раздумывая ни мгновения сказал бы это в полный голос, но здесь, среди чужих, сказать подобное чужой женщине, чужой жене – он не посмел.

Хелей-бахши мельком глянула на гостя и начала новую песню. Когда она выкрикнула: «О, моя горькая судьба!», Кор Гожалы совсем отчаялся. Нет, нельзя допустить, чтобы с Хелей-бахши случилось несчастье! Ни за что!

О, Аллах!

Окинув рассеянным взглядом очарованную музыкой толпу, Кор Гожалы вдруг, точно кто-то подтолкнул его, вскочил со своего места и, на ходу запихивая свой дутар в ковровый чехол, решительно направился туда, где ждал своего хозяина гнедой жеребец. Сел в седло, прищепил коня. Налегке возвращался он в родные края. И честь мужскую, и славу свою, заслуженную тяжким трудом многих лет, оставил в чужом селе.

Тяжело!

Очень тяжело! Но что делать?.. Бог с ней, со славою! Лишь бы совесть осталась чистой! Разве легче будет, если станут говорить, что Кор Гожалы погубил женщину.

Ах, откуда было знать Кор Гожалы, что именно так и будут говорить долгие годы...

Песня оборвалась внезапно, на полуслове.

– Эй, люди, а где Гожалы-бахши?!

– Вон... Удирает!

– Испугался тебя, Хелей-бахши! Ха-ха-ха!

От славы великого музыканта в один миг ничего не осталось. Обратилась слава в издевку, и помчалась та вслед за Кор Гожалы. Быстро догнала!..

Люди смеялись.

Аллан-бурун положил перед Хелей-бахши два узелка с подарками. Он был доволен: его той запомнят надолго, далеко разнесется весть о нем...

– Вот подарки, Безмеден-гелин. Я верил, что ты победишь, а Гожалы-бахши придется познать горечь поражения. Только знай, и моя доля есть в твоей победе.

– Одного я не пойму, Аллан-ага... Почему Гожалы-бахши уехал так неожиданно, никому ничего не сказав.

– Уехал потому, что признал свое поражение.

– А больше ничего не случилось?.. Я видела, как вы что-то сказали ему, и Гожалы-бахши побледнел.

– Я же сказал тебе, что и моя доля есть в твоей победе.

Безмеден хотела еще что-то спросить, но внезапно ее пронзила резкая боль. Не в силах терпеть ее, она выронила из рук дутар...

Детский плач огласил округу, заставил всех вздрогнуть.

Мальчик, которому нынче сделали обрезаение, выбежал из белой юрты и горько плакал, глядя в ту сторону, куда ускакал Кор Гожалы.

– Почему плачешь, сынок? Больно? – Жена Аллана-буруна, взяв сына на руки, унесла его в дом.

Хорошо мальчишкам: если больно – могут поплакать. Если их обижают – тоже. Поплачут и сразу станет легче, а ведь знают, что мужчины не должны плакать.

ВОРОВСКОЙ ХОЛМ

1

В считанные мгновения недобрая весть облетела село и подняла на ноги всех от мала до велика.

Гнев овладел сельчанами. Каждый отыскал себе увесистую палку. В селе это просто – только руку протяни! Кривые узкие улочки наполнились людьми. Все не сговариваясь шли к высокому старому тутовнику, что рос посреди села. Люди шептали проклятия и ругались. Ох, и много же нашлось крепких слов!

Парень лет двадцати пяти на вид, которому они адресовались, стоял привязанным к тутовнику. Одежда на нем была изорванная и окровавленная, усы, обычно лихо подкрученные, теперь уныло повисли. Лицо разбито в кровь.

Шестеро крепких мужчин оберегали его от толпы, потому что всякий норовил протолкаться вперед и ударить парня своей палкой. «Обождите, люди! Не торопитесь! – пытались образумить толпу охранники. – Дождемся аксакалов, тогда и решим, как быть!». Кое-кто унимался, но на многих эти уговоры не действовали. Они кидали издали свои палки, норовя попасть в парня, который безропотно сносил брань и побои. А что ему еще оставалось? Самое страшное, быть наказанным за несодеянное! Одиноким сын Курбана ага Сахат должен был сегодня отвечать за несодеянное.

– Камнями его закидать надо! – предлагали одни.

– Палками! Палками! – не соглашались с ними те, кто успел захватить с собой дубинку.

– Повесить его – вот и весь разговор! На этом самом тутовнике. Пусть все видят!

В это время в воротах ближнего к тутовнику дома показалось несколько стариков. Люди расступились перед аксакалами. Впереди их, негромко постукивая своей клюкой, шагал Адылла-ага. Он подошел почти вплотную к связанному. Долго стоял, вглядываясь в его лицо. Глаза старика от гнева налились кровью, губы дрожали. Казалось, он сейчас сам, своими руками задушит парня. Но Адылла-ага сдержался. Отошел от парня, повернулся к толпе и поднял руку, призывая к вниманию.

Шум стих.

— Люди, этот мерзавец растоптал нашу честь! Он — вор! Свел со двора соседа корову и зарезал ее. Было раньше воровство в нашем селе? — спросил Адылла-ага. И сам же ответил: — Не было! Мы старались не запятнать честь нашего села. Блюли ее. А сын Курбана Сахат нас опозорил. Вора нужно наказать. А самим стараться, чтоб впредь подобного не было. Если же мы пожалеем вора, может случиться так, что кто-то еще позарится на чужое. Таково наше мнение, мнение старейших.

— Убить! Смерть ему! Весь их род уничтожить! — В сторону вора полетели палки.

— Люди! — Адылла-ага снова поднял руку. — Времена меняются. Нельзя нам его убить. Власть не позволяет. За убийство потом отвечать придется. Но в былые времена и другие наказания для вора имелись. Рубили руку или уши отрезали. Переселяли на окраину. Изгоняли из села. Что мы изберем? Аксакалы решили изгнать Сахада — сына Курбана из села.

Тщедушный — кожа да кости — старик Курбан, умоляюще заглядывая в глаза односельчан, вышел на круг:

— Люди, родные мои, пощадите сына. Если желаете, мне голову отрубите. Убейте меня. Из села выгоните. Но сына.. Единственный сын. Если прогоните его, погаснет огонь в моем очаге. Зачем мне тогда жить на белом свете? Пощадите, люди добрые! — Старик, как подкошенный, упал перед толпой на колени. Потом обернулся к Адылле-аге. — Адылла, ровестник мой, пощади. Люди тебя слушают, заступись.

— И Курбану-агу вместе с сыном прогнать! — закричали в толпе. — Сам виноват. Держал бы сына в узде, не дожили бы мы до такого позора.

Адылла-ага помог отцу вора подняться с колен.

— Курбан, сын твой останется жить — разве этого мало. Но из села пусть убирается, нет ему здесь места.

— Адылла, прошу тебя...

— Курбан, проси все, что у меня есть, отдам. Но снисхождения для вора не проси. Отрекись от него. Он и село, и тебя опозорил.

— Кто же род мой продолжит? Опустеет дом...

— Крепись, Курбан. Вор недостойн быть продолжателем твоего рода.

Сахат:

— Я не хотел совершать воровство... — Сказал он.

— Что тогда ты хотел сделать?

— Корова Гараджа ага сошла с привязи...

— А что ты делал в полночь в загоне Гараджа?

Сахат замолчал.

Курбан ага подошёл к соседу Гараджа:

— Гараджа, что ты делаешь? До сегодняшнего дня мы жили как одна семья. У нас всё было общим. Хочешь, забери мою корову с телёнком, но не губи моего одинокого сына.

— Ох, сосед, если бы я знал, что здесь замешан Сахатджан, я бы слово не проронил бы, вед я думал, что это сделал кто-то чужой. А теперь Адылла и другие слушать меня не хотят.

Гараджа ага обратился к Адылла ага:

— Адылла, послушай, мы с семьёй Курбана как родные. Я прошая вину Сахатджана. Отпусти его!

— Если ты прощаешь Сахата, то мы его не прощаем — жёстко ответил. Потом подал знак охранникам, и те развязали парня. Толпа зашумела.

— Ступай, проваливай!

— И не вздумай вернуться! Враз убьем!

– Будь ты проклят!
– Век не видеть этой воровской рожи!
Парень, в глазах его блестели слезы, протянул руки к толпе:
– Люди, земляки, не гоните меня! Лучше руку отрубите. Как я без вас жить буду? Люди, поверьте меня, я не хотел воровать... – Опять повторил Сахат.
– А что ты хотел сделать? – Спросили люди.
– Я не могу этого сказать, это стыдно.
– Вы слышали что сказал этот парень? – Спросил и заискивающе улыбнулся один безбродый человек.
– Разве воровать не стыдно?
– Раньше, негодяй, надо было думать. А теперь – ступай! Верблюжей колючкой слезы вытри!..
– Прочь с наших глаз!
– Вон из села. В Саганали воров нет.

Но парень стоял, как вкопанный, и слезы ручьями катились по его щекам. Один из охранников толкнул его в спину, и он, чтобы не упасть, пробежал несколько шагов. Люди шарахались от него, как от прокаженного. Сахат пристально всматривался в лица собравшихся девушек и женщин. Наконец, он увидел кого искал – свою девушку. Это была дочь Гараджа ага. Они без слов понимали друг друга. Девушка молча плакала

Два взгляда прощались друг с другом.

Так, не смея поднять головы, вор покинул родное село.

Но история на этом не кончилась...

За селом, с западной стороны высился холм. С его вершины Саганали было как на ладони: видно каждый дом и кто чем занимается. Издавна там было любимое место игр сельских мальчишек. Весь день звенели их звонкие голоса. Они и уходили с холма лишь потому, что слышали от взрослых, будто, как стемнеет, туда прилетает джинн Хет-Хет, который крадет детей. Стать добычей Хет-Хета никому не хотелось, потому с сумерками спешили в село. Но только утром – бежали к холму.

На этот раз прибежавшие первыми в нерешительности остановились у подножия холма. На вершине сидел изгнанный из села сын Курбана-аги и жадно глядел в сторону села. Мальчишек, что столпились внизу, он похоже даже не заметил. Они отошли в сторонку и стали ждать, когда вор уйдет. Но время шло, а он и не думал покидать холм.

На следующий день ничего не изменилось. Вор сидел на холме и словно зачарованный смотрел в сторону близкого, но недоступного для него села. Тут кто-то из мальчишек сочинил, что это джинн Хет-Хет принял облик вора, и все гурьбой кинулись в село, чтобы сообщить саганалинцам последнюю новость.

Когда люди приблизились к холму, вор даже не посмотрел на них. Взгляд его был устремлен вдаль.

– Эй! – крикнул снизу Адылла-ага. – Тебе того, что натворил, мало? Ты свою долю сам выбрал. Теперь будь мужчиной – уходи! Перестань детей пугать.

Осунувшийся, с почерневшим лицом стоял среди односельчан покорившийся своей судьбе Курбан-ага. Губы его двигались, он просил, чтобы Аллах дал сыну мужества, того, чего не дал ему самому. Потом, как бы прощаясь с сыном, невысоко поднял руку. Но сын не заметил этого.

Вор встал. Взмахнул руками. Хотел что-то сказать. Но язык не подчинился ему. Раздосадованный этим он резко повернулся, а через миг холм скрыл его от взглядов односельчан.

Был полдень, когда по узкой сельской улочке, волоча за собой длинный шлейф пыли, прогрохотала полупортка. Грузовик остановился возле старого туговника. Из кабины вылез крупный мужчина с пышными черными, как смоль, усами, в черной кожанке, с кожаной и тоже черной фуражкой на голове. Он потянулся, разминая затекшее в кабине тело, и обвел сельскую улицу равнодушным взглядом. Потом подозвал мальчишек, которые сопровождали машину с тех самых пор, как она въехала в село.

– Ступайте по домам и зовите всех, кто может ходить. Скажите, собрание будет, начальство из района приехало. А еще скажите, что тем, кто не придет, худо будет. Быстро! Марш!

После этого усатый направился в тень. А из кузова грузовика по его знаку вылезли два милиционера и вор – сын Курбана-аги. Они тоже пошли в тень тутовника, но усатый держался от них поодаль. Он неторопливо прогуливался, уперев руки в бока.

Стали сходитьсь извещенные мальчишками саганалинцы. Усатый делал вид, что не замечает подошедших. Только когда люди запрудили все вокруг и из толпы послышались голоса «В чем дело?», «Что за новость привез?», человек в черной кожанке окинул толпу холодным колючим взглядом, подошел к грузовику и, опершись сапогом о колесо, без особых усилий, привычно поднял в кузов свое грузное тело.

– Товарищи! – Он еще раз обвел толпу взглядом. – Что у вас здесь творится? Что за законы вы себе придумали. Советской власти не признаете?

– Уважаемый, прежде чем начинать разговор, выбрось камень, что за пазухой держишь, – сказал, обращаясь к человеку в кожанке, один из аксакалов.

– Нет у меня никакого камня! – разозлился черноусый. – Тоже мне камень-шмамень. Вы со мной игры тут не играйте – все равно проиграете!

– А раньше говорили, что один против многих не игрок, – заметил кто-то.

– Ошибаетесь, дорогой товарищ. Как игра закончится, зависит от того, кто с кем играет. Вы, спрашивается, почему прогнали из села своего односельчанина, советского гражданина, имеющие равные с вами права? Кто вам позволил? Хотите старые порядки возродить?! Не допустим этого! Учтите, за такие дела в Сибири глаза открывают.

Ропот прокатился по толпе саганалинцев. Вперед выступил старик с длинной белоснежной бородой и негромко заговорил:

– Те, кому прежде в Сибири глаза открывали, были такие же люди, как мы, не хуже и не лучше. Так что ты Сибирью нас не пугай, а прямо говори зачем приехал.

– Я тоже длинных речей не люблю, товарищи! Хотите, прямо – слушайте. Я представитель района. Приехал предупредить вас о том, что самовольство еще никого до добра не доводило. Пережиткам прошлого нет места в нашей новой жизни. Все советские граждане должны жить дружно, как единокровные братья. А если среди нас появился враг, который против нашего единства, так мы, товарищи, этого врага народа быстренько прихлопнем. Вот! – начальник указал на вора, который теперь тоже был в кузове грузовика, и рядом с милиционерами стоял сбоку от усатого. – Ваш земляк, молодой симпатичный парень, а шатается по району, как какой-то бездомный бродяга, ночует где попало... В нашем государстве бездомных нет. Каждый должен жить в своем доме. Нет у вас, товарищи, права прогонять человека из его родного дома, из его родного села. Понятно? А если он чем провинился перед вами, сообщите правоохранительным органам, и там определят справедливую меру наказания.

Адылла-ага, которому надоело слушать грозные речи представителя района, громко кашлянул.

– В чем дело, аксакал? Выступить хотите?

– Тебе хочу кое-что сказать, парень!

– Пожалуйста, выступайте, товарищ, только сначала назовите имя, фамилию...

– Адылла сын Сейдали.

– Понятно, Адылла Сейдалиев. – Усатый достал из нагрудного кармана своей кожанки карандаш и записную книжку, сделал какую-то пометку. – Товарищи, слово представляется Адылле Сейдалиеву. Говорите, товарищ.

– Я вот о чем хочу сказать. Село у нас дружное, живем как у одного очага. Люди спокойные, мирные, прежде, чем что-то решить, советуемся. Как говорится, семь раз измерим – один раз отрежем. Так вот, решили мы всем селом, что парню, которого вы защищаете, среди нас не место.

– Что это за разговор, товарищ Сейдалиев! Решили всем селом... Кто вам такие полномочия дал?! Чтобы выносить решения, надо иметь на это право, понятно! Если каждое село свои решения принимать станет, знаете, что у нас будет? Настоящая анархия! Вы, товарищ Сейдалиев, анархист. И за это будете отвечать. Обязательно!

– Что это, спрашивается, за село, если люди в нем не могут прийти к одному мнению, не могут сами решить, кого им уважать и любить, а кого – проклинать?

Представитель района от возмущения побагровел.

– Тов-варищ Сейдалиев, – сказал он, заглянув в свою книжицу, – вы толкаете людей на неверный путь! Круговую поруку возродить хотите?! Не допустим этого! В чем вы обвиняете Курбанова? Я говорил с ним. Сахат никакой вины за собой не знает. Если это не так, скажите! Ну?!

Все молчали.

– Курбанов, вылезай из кузова! – приказал усатый. – Если кто вздумает тебя притеснять, приходи прямо ко мне. А уж я поговорю с ним с глазу на глаз. Ну, что таращишься, слазь!

Сахат дрожа всем телом от страха, испугано поглядывая то на односельчан, то на грозного начальника в черной кожанке, вылез из кузова.

Представитель района еще немного попутал напоследок, сказал, что не потерпит самоуправства, а потом грузовик, обдав напоследок саганалинцев вонючей бензиновой гарью, укатил в райцентр.

Вор остался в окружении саганалинцев. Он обвел земляков умоляющим взглядом, точно спрашивал совета, как ему быть. Один лишь гнев прочитал он на их лицах. Глаза его наполнились слезами и, чтоб не разрыдаться перед людьми, он, прихрамывая, пошел прочь по дороге, над которой еще не осела пыль от грузовика.

Отец протянул в след ему дрожащие слабые руки. Но они не могли ни достать, ни удержать сына, который торопливо удалялся от людей.

А в конце недели, под вечер, в село снова прикатил грузовик. Правда, на этот раз без черноусого. Машина остановилась рядом с домом Адыллы-аги. Милиционеры забрали хозяина и увезли его с собой.

Когда это известие разнеслось по селу, все снова собрались у старого тутовника. Было решено утром всем селом идти в райцентр и любой ценой вызволить Адыллу-агу.

Но утром в село ворвалась злая весть:

– Война!

Год спустя пришло в Саганали известие, что Адыллы Сейдалиева нет больше среди живых. Одни говорили, что он умер в тюрьме, другие – что героически погиб на фронте, но, как бы там ни было, все село оделось по нему в траур.

А вор в селе больше не показывался. Никто о нем ничего не знает, да и не хочет знать. Исчез. Канул в неизвестности. Только холм, что защищает Саганали от знойных ветров из пустыни, тот самый, куда ночами прилетает джинн Хет-Хет, с тех пор называют Воровским.

Вот так, и носит на себе чужую вину. Тяжкая это ноша. Только холму ее и выдержать...

2

Метель обрушилась на Саганали и подчистую подмела его улицы. Кто был там – всех в дома загнала. Больше других из-за непогоды пострадали мальчишки, которые в обычные дни с утра до вечера пропадали на Воровском холме. Метель оказалась сильнее родительских запретов и подзатыльников!

Буря бушевала уже второй день, и бесцельное сидение перед заиндевелыми стеклами да созерцание снежных вихрей за окном утомило мальчишек хуже любой работы. Ву-у-у!.. Ву-у-у!.. В вое ветра им слышался строгий наказ не высовывать нос на улицу. Зато взрослые словно ждали такой погоды. Они рады не покидать теплые дома. Попивают себе зеленый чай и ведут неторопливые беседы.

Проселок, что пересекает Саганали, – обычно это самая оживленная улица села – и тот остался один на один с метелью. Впрочем, нет. Здесь и теперь не было безлюдно. Посреди дороги, будто не замечая вьюги, стоял какой-то старик с котомкой за спиной. Он нерешительно озирался по сторонам, словно решал, как ему быть. Похоже, что пришел странник издалека, – одежда его покрылась толстым слоем снега. Старик внимательно всматривался в силуэты домов, как будто надеялся увидеть что-то знакомое. Может, он и

бывал в Саганали прежде, да только из-за метели никак не найдет дом, в котором некогда гостил? Да и как узнать в такой снегопад!

По всему видно, что старик сильно устал. Замерзшие и обветренные щеки стали багровыми, как кожура граната. Руки дрожат. Ему бы поскорей попасть в нужный дом, чтобы отдохнуть там и согреться. Да только никто не спешит встретить странника.

Он долго стоял перед одним домом, но войти туда не решился. Подошел к другому, понаблюдав за ним. Потом поднялся на крыльцо, но не постучал в дверь, а по-старинному несколько раз кашлянул. Его услышали. Дверь осторожно приоткрылась, и из дома вышла полная женщина средних лет. Она пробуравила старика пристальным взглядом, надеясь понять, кто это такой.

– Как поживаете, хозяйка? Домашние живы, здоровы ли?..

В ответ хозяйка едва шевельнула губами:

– Слава Аллаху...

– Приезжий я, дочка. Издалека прибыл. Когда в путь отправлялся, солнышко сияло, а потом – вот... Старуха упрасивала не ездить никуда зимой. Говорит, весной вместе отправимся. Не послушался ее. Пошугил, кто знает доживем ли до весны. Силы-то уже на исходе, так что надо поторопиться...

– Кого вы ищите, яшули? – нетерпеливо перебила женщина, уставшая слушать старика.

– Я?.. Да, вообще-то, никого, дочка...

– Ну, раз приехали сюда издалека, значит в гости к кому-то?

– Понимаю твое удивление, дочка. Конечно, странно. Но только, когда уходил из дому, ни у кого здесь гостить не думал. Хотелось просто взглянуть на Саганали. А теперь-то – вот какая штука! – Саганали и не Саганали вовсе, а «Новая жизнь» – » Тазе дурмуш». Многие и не знают, что прежде это Саганали было. А то что жизнь здесь новая – верно. Все переменялось. Я, честно сказать, ничего здесь узнать не могу. Все уже после войны построено. Я, дочка, хотел взглянуть, и в тот же день обратно. Да видишь, как получилось. А в райцентре в гостинице тоже свободных мест нет. Вот я и решил: поеду в село и у кого-нибудь переночую. На последнем автобусе сюда приехал. А утром я первым рейсом...

– Кого вы здесь знаете? Давайте провожу...

– Кого я тут знаю? – Старик растерянно развел руками. – Никого теперь не знаю. Вот пришел к вам, может, приютите на ночь.

– Что? – Хозяйка удивленно выпучила глаза.

– Ну, в гости... в гости пригласите! – сказал старик погромче, вероятно полагая, что его собеседница туговата на ухо.

– В гости?

Старик не решился еще раз повторить свою просьбу. Он стоял в надежде, что хозяйка сейчас пригласит его в дом. Но вместе этого полные ее губы недовольно скривились, и она процедила:

– В гости? С чего бы это?

– Да мне только переночевать! Мне-то и постели не надо. Кожух, он и туфяк, и одеяло за раз, а тельпек – вместо подушки...

Женщина между тем совсем разволновалась.

– А почему вы сюда пришли? – допытывалась она. – Домов-то на улице во-он сколько! А вы – к нам. Что, наш дом – особенный?!

– Да вот, приглянулся.

– Как же я вас приму? – Хозяйка задумалась. – Муж пьяный. Он с меня потом семь шкур спустит...

– А ты разбуди его. Я сам с ним поговорю.

– Я ж человеческим языком объясняю, дед. Пьяный он вдрызг. считай, что, как труп, сейчас. Часов через пять только проспится.

Неудача сильно подействовала на путника. Хозяйка уже захлопнула дверь и прогремела засовом, а он все еще стоял, собираясь духом перед тем, как идти проситься в другой дом. «Тише ты! – донеслось до него из-за двери. Старик узнал голос хозяйки. – Я же ему сказала, что ты спишь, мол, пьяный. Я и так боялась, что

ты из дома выйдешь некстати. Пусть, где угодно, ночует! Сумасшедший какой-то! А может, нищий. Или вор!...»

Старика точно кипятком окатили. Он торопливо спустился с крыльца и вышел на улицу. Метель свирепствовала вовсю. Даже теплая шуба из овчины не спасала от ледяного пронизывающего ветра. Холод пробирал до костей. Еще немного, казалось старику, и он превратится в ледышку. «Только бы до тепла добраться, а там и помереть можно!» – прошептал он синими от холода губами.

Старик постоял у соседнего дома, двухэтажного, с гаражом. Но проситься в него не решился. Наверняка здесь живет человек состоятельный, а что за интерес богачу принимать гостем бесполезного незнакомца. Он перешел на другую сторону улицы и вошел во двор за зелеными воротами. Поднявшись на крыльцо по обыкновению своему кашлянул.

Дверь открыл подросток лет пятнадцати. Увидев пожилого незнакомца, он кликнул отца. Тому было уже за пятьдесят. Выйдя, он почтительно пожал руку старику.

– Ищите кого-то, яшули? – осведомился он.

– Никого я не ищу, мил-человек. Ты не подумай только, что я попрошайка или – не дай Бог! – вор. А то зашел в один дом тут по соседству, так меня дальше порога не пустили. Нет, я не нищий, и не бродяга... Если не веришь – на, посмотри. – Старик торопливо сунул руку за пазуху. Достал паспорт и протянул его хозяину дома.

Тот неохотно взял красную книжку, медленно перелистал страницы.

– Издалека приехали.

– Да, судьба далеко забросила, – кивнул старик. – Так уж случилось. Вот и решил перед смертью взглянуть на Саганали.

– Так вы что, родом отсюда?! Действительно, место рождения – село Саганали! Сахат Курбанов, – прочитал он вслух и, вглядываясь в лицо старика, произнес. – Знакомое имя. Слышал вроде что-то про вас, но что, сейчас не припомню.

– Э-э, брат, ты меня не узнаешь. Я здесь не долго жил. Ты сам-то чей будешь? Лицо уж больно знакомое...

– Отца, может, моего знали. Адылла его звали. Посадили из-за одного мерзавца в тюрьму, а оттуда он уже не вернулся.

– Да, верно, верно... – прошептал старик, неожиданно побледнев.

– Может, знали его, яшули?

– Адыллу-агу что ли? Нет, нет. Почти не знал... – Старик решительно забрал свой паспорт, сунул его в карман, кивнул на прощанье, осторожно спустился по обледенелым скользким ступеням и на замерзших негнувшихся ногах засеменил к воротам..

– Куда же вы, яшули, в такую стужу? Оставайтесь! Погостите у нас, поговорим, бывшие деньки вспомним, – закричал вслед ему хозяин, но старик даже не оглянулся, видно, не услышал его за воем метели.

И в третьем дворе странника ждала неудача. Приятный обходительный мужчина, выслушав его объяснения, извиняющимся голосом произнес:

– Вот ведь незадача какая!.. Вы уж не обижайтесь, яшули, пожалуйста. Сегодня, как назло, в гости пригласили. И не пойти никак нельзя. А то бы обязательно вас приютили. Я всегда рад гостям. Жаль, но придется вам к кому-нибудь другому пойти. Да, не волнуйтесь, вам в любом доме рады будут. А как же: пожилой человек, много повидавший...

Извинившись за причиненное беспокойство, старик пошел к соседнему дому. Вслед ему точно пушка бабахнула – это хлопнула входная дверь.

В соседнем доме дверь старику открыли почти сразу. Навстречу вышел богатырского сложения мужчина.

– Как поживаете?.. Все ли благополучно, брат мой? Домашние живы, здоровы ли?.. Пусть всегда здесь будет... – Старик попытался – будь, что будет! – войти в дом, но хозяин стоял перед ним точно могучая крепостная стена.

– Вам что надо, яшули?

– Совсем замерз я, сынок. Пусти в дом погреться. Потом все расскажу.

Хозяин даже глазом не моргнул.

– Что-то не признаю я вас, яшули? Видно вы домом ошиблись. Кого ищите?

– Сынок, – взмолился старик, – пусти переночевать. До утра. Я заплачу. Пять рублей. Нет, десять!.. – торопливо поправился он. – Пиалушку чая нальешь – скажу спасибо, а нет – так тоже не обижусь. Мне бы согреться и поспать. А если сомневаешься, думаешь, что я вор какой, то паспорт в залог дам. – Старик сунул руку в карман, но, хоть и предлагал отдать паспорт в залог, доставать документ не стал.

Богатырь несколько мгновений разглядывал пришельца, потом попросил немного обождать, и скрылся в доме, притворив за собой дверь. Старик облегченно вздохнул. Потом прислушался. Из-за двери слышался раздраженный, с металлическими нотками голос женщины, упрекавшей в чем-то мужа. Беспрестанное женское ворчание не было для старика в диковинку – за долгую жизнь он привык к нему в собственном доме. Удивило его, пожалуй, другое: с чего бы женщине упрекать такого богатыря?

Прошло пять минут. Десять. Старик напомнил о себе покашливанием. Спорящие голоса стихли. Затем погас свет. Старик подождал еще немного, потом пошел прочь.

В следующем доме дверь распахнулась еще до того, как странник дал знать о себе.

– Не пустите ли переночевать, хозяева? Я заплачу.

Молодой смазливый мужчина, льстиво улыбаясь, покачал головой.

– Извините, яшули, но у меня сегодня, так сказать, неподходящая обстановка. Но я вам точный адресок дам. Уж там вас наверняка примут, не сомневайтесь! Во-он, – хозяин указал на соседний дом, – видите белые двери?! Смело ступайте. Там таких гостей, как вы, так сказать, ждут-не дождутся. Принимают с удовольствием. Но уж вы, яшули, не оплошайте...

Из-за белых дверей вышла дородная женщина средних лет. Не удостоив старика приветствием, она окинула его оценивающим взглядом, и недовольно поджала губу.

– Хозяюшка, не приютишь ли меня на одну ночь? Я заплачу. Десять рублей дам.

– Я тебе покажу – «десять рублей»! – взорвалась хозяйка. – Издеваешься?! Посмеяться, старый хрыч, захотелось?! Да это твои мощи даже десятки не стоят!

Женщина ушла, хлопнув дверью, а с соседского крыльца донесся скрипучий смешок.

До конца улицы было еще далеко, но сердце подсказывало старику, что ни в одном доме его сегодня не примут. Однако он решил предпринять еще одну попытку.

Хотя только начало смеркаться, вдоль улицы уже горели фонари. Старик миновал несколько домов, возле высокого особняка остановился, но только открыл калитку, как его настиг грозный старушечий оклик:

– Ты чего здесь шастаешь?!

– Хотел на ночлег... – извиняющимся тоном начал старик, но старуха не дала ему даже договорить.

– На ночлег!.. Ишь ты! Знаешь, что люди в такую погоду по домам сидят, вот и рыщешь, где что плохо лежит. Сидины бы своей постыдился!

– Я не вор.

– Иди, иди отсюда! Не вор, говоришь?! Людей не обманешь!

Эти слова заставили старика покраснеть. Губы его задрожали, как у ребенка, что собирается заплакать. И видимо опасаясь, как бы старуха не сказала ему чего похлеще, он поспешил прочь. Он дошел до одиноко стоящего тутовника и сел на землю, прислонившись спиной к стволу старого дерева. Тело ныло от усталости. Просто сидеть – и то было удовольствием. Ему казалось, что мороз ослаб, а может он просто притерпелся к нему. Старик сидел, закрыв глаза. В ушах у него звенел противный голос старухи: «Не вор, говоришь?! Людей не обманешь!». Неужели узнала? Не иначе, подумал он. Старик вздохнул. Надо же, столько лет прошло, а односельчане, выходит, его до сих пор не простили...

Много лет назад, еще до войны, земляки изгнали его из Саганали. И вот, чуть ли не полвека спустя, он вернулся, чтобы взглянуть перед смертью на родные места. Села теперь не узнать! Все здесь изменилось. И люди тоже...

Он открыл глаза. С трудом встал на ноги. Провел ладонью по корявой коре тутовника, того самого, привязанным к которому он стоял перед земляками много лет назад. «Пожалуй, только это дерево осталось, каким было», – подумалось ему.

Еще четыре двора отделяло его от конца улицы. С трудом переставляя ноги, он поплелся к ближайшему дому с надеждой, что там живут люди молодые, которым о нем ничего не известно.

* * *

Милицейский газик и автобус «Скорой помощи», что прибыли из райцентра, остановились у подножия Воровского холма. Там же уже успел собраться чуть ли не весь колхоз «Тазе дурмуш».

Приехавшие осмотрели труп неизвестного, который обнаружили утром мальчишки. Милиционеры делали снимки, что-то измеряли рулеткой.

Высокий плечистый парень в черной кожаной куртке, видимо, следователь, приблизился к толпе любопытных.

– Кто-нибудь знает этого человека? – спросил он, разглядывая паспорт, что нашли в кармане у покойника. – Сахат Курбанов. Здесь родился. Родственники тут есть? – Все молчали. – Что же, своего земляка не знаете?

– Нет, он не здешний, – уверенно ответил мужчина богатырского телосложения. – Своих мы всех знаем.

– Приезжий он! – Парень с открытым приветливым лицом протолкался поближе к следователю. – Приходил ко мне вчера, просил пустить переночевать. А мы как раз в гости идти собирались. Я ему говорю: «Яшули, идите с нами». Но он наотрез отказался. И дома один оставаться не захотел. Ладно, говорит, ступайте с Богом, где-нибудь в другом месте переночую. Кто мог подумать! – заключил он со скорбным выражением на лице.

– И к нам он, бедняга, приходил, – сообщила полная бойкая женщина. – Честно сказать, я его сперва за вора приняла. Думаю, чего это пожилой человек, старик даже, придет в чужой дом пиалушку чая просить. Он мне так и сказал: «Налей-ка, хозяйюшка, чаю горячего пиалушку». Мне что, чая жалко. Я как раз плов готовила. Поужинал он с нами. Предлагали ему остаться переночевать, а он говорит, нет, для ночлега у меня сегодня другое место намечено. Шутник такой был. С детьми сидел, истории им разные рассказывал – мы так смеялись, до слез прямо!.. – и она, кусая губы, смахнула набежавшую на глаза слезу.

– Неужели этот бедняга на вора похож? – следователь с укоризной покачал головой. – Туркмены всегда гостеприимством своим славились, а вы на одну ночь не могли старика приютить.

– Тоже мне гостеприимный выискался! – накинулась на него толстуха. – Сам бы ты его приютил? Небось быстро бы в милицию сдал! Вы и честным людям не верите. А языком все болтать могут!

Следователь понял, что переговорить толстуху ему не удастся, и отошел к своим коллегам, стал их торопить.

– Вот, что странно, – сказал сын Адылла-аги, – глаза-то у старика закрытыми были. А говорят, если уходит человек из жизни с неисполненными желаниями, то глаза у него открытыми остаются. Такой смертью бедняга умер, а, получается, цели своей достиг.

– Какая уж тут цель, – возразил ему один из земляков. – Холодно, вот сон его и сморил. Так и замерз во сне...

– В последний раз спрашиваю, кто-нибудь старика знает? – крикнул следователь. – Родственники есть? А то тело сейчас увезем...

Никто из сагалинцев не отозвался. Знакомых, а тем более родственников у несчастного старика в «Тазе дурмуш» не было.

Так никем и не признанный труп погрузили в автобус «Скорой помощи», и машины укатили по шоссе, что вело в райцентр. Сагалинцы долго смотрели им вслед. Почему-то всем казалось, что на этих машинах увозят из села что-то очень ценное, можно даже сказать – святое, хотя на самом деле милиция и медики

забрали с собой всего лишь мертвое тело. Труп старика, который умолял саганалинцев приютить его, но всюду получил отказ...

1989 г.

ПОВОРОТ

Одна-единственная машина тревожила пыль на проселке, ведущем в Саганали. И это была полупортка Дурдымурада. До того, как стать шофером, сорок лет жил он ничем особенным не выделяясь среди земляков, никаких пороков, впрочем как и достоинств за ним не числилось. Но потом жизнь круто повернула баранку его судьбы. Старенькая полупортка представлялась саганалинцам чем-то чудесным, чуть ли не даром небес их небольшому селу. Ведь это была самая первая и пока единственная здесь машина! Надо ли уточнять, что все разговоры вертелись вокруг нее. Каждому было известно, когда Дурдымурад выехал на ней в райцентр и когда предположительно вернется, а так же завелась ли нынче машина легко, с пол-оборота, или напротив, капризничала, как намерз.

Вечерами саганалинцы собирались у дома Дурдымурада, чтобы полюбоваться грузовиком. Однажды дело этом не ограничилось и кто-то крикнул Дурдымураду, который чем-то занимался под капотом своей машины:

– Эй, друг, прокати! Проветримся на свежем воздухе.

Дурдымурад отказал. Сказал, что машина не в порядке, но в другой раз он обязательно выполнит их просьбу. Люди и не подумали обидеться. С надеждой, что на днях ждет их необыкновенное приключение, разошлись они по домам. Но об обещании Дурдымурада не забыли и спустя несколько дней пришли вновь. Теперь были они настойчивей. Сколько Дурдымурад не придумывал отговорки, они стояли на своем, и вскоре стало ясно, что сегодня они разойдутся не прежде, чем покатаются.

Дурдымурад некоторое время пребывал в нерешительности, но потом все же стал заводить грузовик. Люди так обрадовались, что никто не обратил внимания на его насупленный вид и сведенные у переносицы брови. Первыми, забыв об уважении, которое надлежит оказывать старшим, на штурм кузова бросились мальчишки. За ними последовали взрослые. Каждый боялся, что ему не хватит места. Поднялся ужасный гвалт. Но в обиде никто не остался, каким-то образом все разместились.

Тем временем Дурдымурад железной загогулиной, именуемой «фукояткой», пытался завести свою полуторку. Удалось это ему не сразу. Наконец мотор несколько раз чихнул, потом взревел и все вокруг затянуло густым, едким дымом. Кое-кто из пассажиров закашлялся. Но что такое – пару раз кашлянуть? Люди готовы были дышать бензиновой гарью день и ночь напролет, только бы удалось прокатиться.

Когда дым развеялся, Дурдымурад обошел грузовик.

– Стоять в кузове запрещено! Все садитесь, – приказал он. – Я из-за вас в тюрьму попадать не собираюсь!

Сели. Наконец машина медленно тронулась с места. Ну и ну! Все от мала до велика обрадовались так, точно летели на волшебном ковре-самолете.

Но нет предела человеческим желаниям. Грузовик не проехал еще и нескольких десятков метров, как кое-кому из сидящих захотелось встать, чтобы сполна насладиться поездкой. Сначала запрет Дурдымурада нарушили те, что были ближе к кабине, там, где можно держаться за высокий деревянный борт. За ними, хватаясь за плечи стоящих впереди, поднялись остальные. Встречный ветер приятно охлаждал щеки и щекотал в носу. Людям, впервые оказавшимся в кузове грузовика, казалось, что им досталось все счастье мира. И надо же!.. Все это невообразимое количество счастья без особой натуги везла по пыльной сельской улице старенькая полуторка Дурдымурада.

Машина доехала до околицы и повернула обратно. Завидев ее останавливались удивленные прохожие, выбегали из домов любопытные, с завистью глядя вслед счастливым.

С тех пор каждый вечер у дома Дурдымурада было настоящее столпотворение. И ему приходилось проявлять немало изобретательности, чтобы отказать очередным желающим покатайся на машине.

Но что скажешь старейшинам села почтеннейшим Гельдымураду-ага и Сеидали-ага, которые ходят, опираясь на палочки и еле передвигая ноги! Однако не поленились, пришли как раз к тому часу, когда Дурдымурад вернулся из города.

– Люди говорят, что прокатиться на твоей машине воистину райское наслаждение. Вот и мы не устояли перед соблазном. Не откажи, родной, прокати нас на своем железном коне!

Дурдымурад не посмел противиться желанию аксакалов, тем паче, что Гельдымурад-ага приходился ему дядей. Не сказал ни да, ни нет. Но старики и не думали ждать его разрешения. Решительно направились к полуторке и по обычаю стали из вежливости уступать друг другу очередь первым подняться в кузов: «Ты садись, Сейдали!», «Нет, нет, только после тебя, дорогой Гельдымурад!». Дурдымурад помог им. Через миг старики оказались в кузове и устроились там, крепко вцепившись в передний борт и улыбаясь, точно им посчастливилось найти клад.

Грузовик осторожно тронулся с места.

Поддерживая друг друга, аксакалы стояли в кузове и с достоинством отвечали на улыбки и приветствия прохожих. Они любовались родным селом и его обитателями. С высоты все выглядело неожиданно новым. Старики переглянулись. Им даже слов не потребовалось, чтобы поведать друг другу о своих чувствах. Да, эта машина – большое дело! Жаль только ездит быстро. Не успели они и глазом моргнуть, как грузовик достиг холмов, что к югу от села, развернулся там и вот уже затормозил рядом с домом Дурдымурада, откуда они только минуту назад, кажется, выехали.

Дурдымурад уверенный, что на этом его благородная миссия закончена, заглушил мотор, вылез из кабины и направился к дому. На пороге оглянулся, чтобы попрощаться со стариками, и увидел, что те до сих пор сидят в кузове.

– Племянник, постой! – окликнул его Гельдымурад-ага. – Подойди-ка сюда, разговор имеется.

Дурдымурад вернулся, подошел к заднему борту и протянул старикам руку:

– Слезайте!

– Руку можешь пока опустить, племянничек, – сказал Гельдымурад-ага. – Мы, слава Аллаху, и сами вылезти можем, если захотим. Только не насытились еще. Что это за путешествие?.. Раз, два и... приехали! Ты уж нас повози на своей машине, как следует, чтобы мы на старости лет поняли, что к чему.

– Нет, уважаемые аксакалы, никак не могу. Эта машина не моя, а государственная. Бензин, сами понимать должны, на строгом учете. И машину мне государство дало не для того, чтобы вас, Гельдымурад-ага, и вас, Сейдали-ага, катать.

– Ничего, не обеднеет твое государство, – успокоил племянника Гельдымурад-ага. – Тебе еще спасибо скажут, что уважил двух старейших колхозников, – добавил он, с мольбой глядя на Дурдымурада.

– Не судьба, видно, приятным насытиться, – со вздохом произнес Сейдали-ага. – Ладно, приятель, надо и меру знать, – тронул он за рукав Гельдымурада-ага. – Слазим!

Но не успели они еще приступить к осуществлению этого намерения, как Дурдымурад вскочил в кабину и включил зажигание. Мотор взревел, и машина рванула с места так, что Сейдали-ага едва смог удержать своего ровесника, собравшегося вылезать из кузова.

– Да, друг мой, похоже, твой племянник рассердился, – сказал Сейдали-ага, усаживаясь на полу рядом с Гельдымурадом-ага.

– Нехорошо получилось, – признал Дурдымурад-ага. – Надо было вылезти и поблагодарить, да только кто мог подумать, что он стал таким заносчивым. Ладно, как бы там ни было, покатаемся еще немного. Нет, ты только посмотри, что этот негодник делает! – воскликнул он. – Несется, словно бешеный бык!

Машина, подпрыгивая на ухабах, мчалась все быстрее и быстрее. Стариков кидало из стороны в сторону. Им даже не за что было ухватиться. Они не на шутку перепугались, да и было отчего: такая тряска любую душу из тела выпрясет, тем паче если тело это уже не первой молодости, да к тому же изрядно потрепано всякими болезнями.

– Ты что делаешь, Дурдымурад?! – крикнул Гельдымурад-ага. – Веди машину по-человечески!

– Погубить нас решил, – сказал Сейдали-ага. – Ну, и шуточки у твоего племянника!

Машина, растянув за собой длинное облако пыли, летела быстрее стрелы. И неизвестно, чем бы закончилась эта поездка для аксакалов, если бы Дурдымурад не утомился. Он затормозил возле своего двора, вылез из кабины и, громко хлопнув дверцей, ушел в дом.

Из кузова не доносилось ни звука. Старики без сил лежали на дне кузова, недвижимые, словно их души уже покинули наш бренный мир. Прошло не меньше получаса, пока они отдышались.

Весть о том, как «с ветерком» прокатились аксакалы, облетела Саганали если уж не быстрее легконового ахалтекинца, то наверняка дав сто очков форы полуторке Дурдымурада. Через день это было известно уже всей округе, и если встречались два человека, то разговор непременно касался этого чрезвычайного происшествия. А так как всякому хотелось показать свою особую осведомленность, история зажила своей собственной жизнью, то разрастаясь до масштабов космического бедствия, то суживаясь до сухого перечисления фактов – все зависило от того, кто рассказчик.

Надо ли уточнять, что мнения саганалинцев как всегда разделились.

– Разве мыслимо так пожилых людей мучать? – говорили одни. – В конце концов, если не хочешь сделать доброе дело, так и скажи, мол, извините, уважаемые аксакалы, но катать вас не буду. Нет, порядочные люди так не поступают!

– Интересно, как бы ты сам запел, окажись на месте Дурдымурада. И так от зари до зари человек горбатится, бензиновой вонью дышит, так ему и вечером отдохнуть нельзя. На кой черт, спрашивается, лезть на старости лет в кузов? Сиди дома, пей чаек и жди, когда тебе «деревянный автомобиль» подадут. Нет, если один раз людей как следует не проучить, они тебе в конце концов на голову сядут. Всем не угодишь...

Когда отголоски этих споров долетали до Дурдымурада, он принимался ворчать:

– Всем хочется удовольствие получить, а отдуваться должен Дурдымурад. Какая, спрашивается, мне от этого польза?..

Старейшины села хотели поставить в этой истории точку и как-то вечером явились к Дурдымураду.

– Ты, Дурдымурад, поступил нехорошо! – сказали они. – Ступай и попроси у стариков прощения!

Однако разговор не получился.

– Люди, я вас, кажется, не беспокою?... – сказал в ответ Дурдымурад. – Вот и вы меня, пожалуйста, в покое оставьте!

Такое в Саганали случилось впервые. Да, да! Не было в истории села случая, чтобы кто-то посмел ослушаться старших, не посчитаться с их мнением. А все из-за проклятой полуторки! Именно она посеяла в селе, где до той поры слова аксакалов считались святыми, семена раздора и склоки. (Когда пять лет спустя началась вторая мировая война, многие саганалинцы искренне полагали, что причиной тому явились автомобили и, в первую очередь, конечно же, машина их земляка Дурдымурада!)

Старики после той злополучной поездки больше месяца не вставали с постелей. Саганалинцы, которые всегда почитали себя детьми одного очага, членами большой и дружной семьи, не отходили от них и, чтоб облегчить страдания Гельдимурада-ага и Сейдали-ага, развлекали их разговорами, а заодно на чем свет стоит костерили Дурдымурада.

– Да что вы себя с ним ровняете? – говорили люди. – Кто он против вас? Пустое место! Считайте, что его и нет вовсе! Мы к нему так и будем относиться!

Только одно дело – сказать, и совсем другое – жить, делая вид будто одного из твоих земляков как бы не существует. Обстоятельства разные случаются: рад бы человека не видеть, да нужда толкает к его порогу!..

Сам же Дурдымурад бодрился и делал вид, что ему все ни по чем.

– Мне от их обид, – говорил он, – между прочим, никакого убытку. Захотели лишиться удовольствия – пожалуйста! Мне-то что?..

На рассвете он на своей тархтелке уезжал в райцентр, а возвращался оттуда уже в сумерках. Но мальчишки по-прежнему поджидали его. Прокатиться, держась за задний борт грузовика, скажу вам, удовольствие ничуть не меньшее, чем трястись в его кузове. Правда, для этого нужна смелость, но храбрецы в Саганали никогда не переводились. Уцепится такой сорви-голова за борт, едет и еще рожи строит тем, кто не решился составить ему компанию: глотайте, мол, пыль, если боитесь!

Кое-кто из смельчаков даже пытался перебраться в кузов, но Дурдымурад всегда пресекал подобные проникновения на его суверенную территорию. Только заметит нарушителя, сразу ударит по тормозам, выскочит с перекошенным от злобы лицом и худо будет тому, кто не успеет вовремя улизнуть.

Один парнишка соскочил, да неловко – подвернул ногу, упал и воет от боли. А Дурдымурад схватил его за ухо, поднял точно кутенка и – бац! бац! – влепил пару звонких пощечин. Потом сел в машину и, как ни в чем не бывало, укатил.

Через полчаса родители того мальчишки пришли к Дурдымураду.

– Беда, Дурдымурад! Сын наш, видно, ногу сломал, ступить не может, плачет от боли. Надо его к лекарю отвезти.

– Я его что-ли заставлял за машину цепляться? Нет, никуда не поеду!

После этого случая мальчишки все реже рисковали цепляться за задний борт, Впрочем, если кто из них и набирался дерзости, Дурдымурад делал вид, что его не замечает.

Большинство саганалинцев, заметив на дороге машину Дурдымурада отворачивались, но некоторое, особенно если это случалось подальше от села, просили подбросить до райцентра. Дурдымурад только прибавлял газу.

– Что за люди пошли! – возмущался он. – Только и ищут себе пользы. Жили же, когда у меня машины не было. Что же теперь им так же спокойно жить мешает?

Однажды в дверь его дома постучали среди ночи. Стучали долго. Наконец заспанный Дурдымурад отворил дверь.

– С добром ли явились? – спросил он у людей, что стояли у крыльца.

– Нет, Дурдымурад, с бедою, – сказал сельский фельдшер. – Сын Гельдимурада-аги тяжело заболел, надо его в больницу везти.

- А чтоб вы делали, не окажись меня в селе?.. Или если бы машины у меня не было?..
- На телеге не довезем.
- Машина – государственная. И государство ее выделило не больных возить, а зерно.
- Выручи, Дурдымурад, – взмолился молчавший до того Гельдымурад-ага. – Сын мой при смерти...
- А если начальство узнает?
- Что ж они, не люди? Объясним...
- Вам, дядя, легко рассуждать. Объясним... Им только попадись!
- Ладно! Хватит болтать! Повезешь или нет?
- Что вы на меня, дядя, кричите?!

Люди пошли прочь. И только Гельдымурад-ага в воротах остановился и, рубанув рукой воздух, крикнул:

- Даже в день скорби не перешагну твой порог!.. Будь я проклят, если нарушу эту клятву!

На следующий день Саганали погрузилось в траур: сын Гельдымурада-ага умер двадцати двух лет от роду. Проводить его пришел и Дурдымурад. На него никто не обращал внимания, впрочем это и не обязательно на похоронах и поминках.

– Ах, сынок мой, сынок! – причитал, обливаясь слезами Гельдымурад-ага. – Сокрушил ты меня, испепелил ты мое сердце! Как переживу это горе? Почему я не ушел вместо тебя? Отчего Аллах нарушил очередность?

Только надо заметить, что смерть не признает никаких очередей. Нет для нее ни молодых, ни старых – разит наугад, хватается любого, кто ей приглянулся, и кидает его в сыру-землю.

Забрав без очереди сына Гельдымурада-ага, некоторое время спустя пришла она в Саганали вновь и на этот раз за Дурдымурадом. Она свела его с неизлечимой болезнью – раком, а уж та всего пару недель развела Дурдымураду все нутро. Он отошел среди ночи, с широко раскрытыми глазами, словно не успел насмотреться на этот мир, и эта плохая новость облетела село еще до того, как высохла ночная роса на травах.

Жена Дурдымурада, сидя в головах у покойника, горько причитала, оплакивая мужа. Она голосила, но люди будто не слышали ее плача. Солнце уже достигло зенита, а только пять-шесть человек собрались во дворе. Наконец она поняла, почему никто не приходит, и от этого ее вой сделался еще громче, еще безысходней. Она, бедняжка, чуть умом не тронулась.

– О, господи! Будь проклята черная судьба! Не хотят люди разделить со мной боль утраты! Что ж это такое? Уж лучше и мне уйти, чем видеть такой позор! О-о, горе мне, горе!

Она выбежала из дому и, воздев руки, запричитала:

- О-о, я несчастная!.. Никому нет дела до нашего горя. Будь проклята эта машина!

Ее мольбы наконец проникли за закрытые двери домов и растревожили сердца саганалинцев. Первым, не поднимая головы, пришел Гельдымурад-ага и стал успокаивать жену покойного:

- Не плачь! Возьми себя в руки!
- Как же мне не плакать!.. – вопила она. – Лишилась я опоры... Как же не плакать...

Понемногу двор стал наполняться людьми.

И хотя в свое время Дурдымурад лишь немногих удостоил чести покататься на его машине, теперь саганалинцы готовы были на своих собственных плечах нести его в последний путь...

1987 г.

МУЖЧИНЫ

Комната была полна людьми. На дастархане теснились пустые миски, опорожненные и недопитые, но уже давно остывшие чайники.

– Вы, парни, пожалуй, не помните, – Кертик-ага, заискивающе улыбнулся и вытер жирные пальцы о край скатерти. – А в прежние времена даже небогатые люди, когда устраивали той, сзывали все село, из других аулов приглашали. Борцы боролись, бахши пели. А сейчас что? Даже те, у кого денег полно, и то от души не расщедрятся. Зовут только нужных людей, в одной комнате всех гостей угощают. Нет, парни, я вам прямо скажу: нынче и праздники не те, да и люди, откровенно говоря, измельчали...

– К чему это вы так? – сказал один из гостей, недовольно глядя на старика.

– Нет, если вы обвиняете, Кертик-ага, то уж будьте добры – объясните в чем причина? – подмигивая соседям, спросил известный своим озорством Хемра, в надежде посмеяться над стариком.

Кертик-ага не торопился с ответом. Убедившись наконец, что ему удалось завладеть вниманием присутствующих, он, слегка откинувшись назад, произнес.

– Причина в чем, спрашиваешь? – помолчал немного и произнес свой приговор. – Причина известная: не осталось настоящих мужчин...

– Ого!..

– Ты не»огокай», Хемра-джан. Я истину говорю. Мужчины свою власть женщинам уступили. А женщина добром сорить не станет. Даже если найдет что на дороге, так и то поскорей в чулан тащит. Природа у них, у женщин, такая. Конечно, они для дома, для детей стараются, но как бы ни было, теперь без жениного дозволения и травинка в доме не колыхнется.

– По вашему, Кертик-ага, выходит, что жен слушать не надо, так? – вступил в разговор Елбарс, который в глубине комнаты, полулежа на подушках, цедил остывший чай. – А я так понимаю, что кое в чем они правы. Из-за кутежей только траты лишние, а все равно, сколько ни выставь угощения, всем мил не станешь. Разве не так?

– Противно слушать, когда своих жен цитировать начинают. Своего мнения у тебя, Елбарс, нет? Женщина есть женщина. Сказал ей»сядь» – пусть сидит, скажешь»стой» – тогда пусть встанет.

– О, Хемра, как ты поешь. Только зачем бахвалиться, если за свои слова ответить не можешь!

Хемра побагровел.

– Не бойся! Я своих слов никогда на ветер не бросаю.

Добродушный толстяк Мяти поспешил разрядить обстановку:

– В прежние времена мужчины, говорят, своих жен меньше дров ценили. А у них не по одной жене было, по двенадцать, и ни одна даже пискнуть не смела. А теперь... – он прикусил нижнюю губу и в отчаянии замотал головой. – Нет, я так думаю, что просто бабы теперь совсем другие, не то, что прежде. Какой бы ты герой ни был, дай тебе двенадцать теперешних женщин в жены, через день из дому сбежишь. Нет, это нам медали надо давать за то, что все их капризы терпим.

– Что-то ты не туда разговор повел, Мяти. Кертик-ага что сказал: тои в прежние времена были не в пример нынешним. А ты о чем?.. – Хемра, который почему-то был решительно против разговора о женах, погладил по головке своего трехлетнего сына, что сидел у его ног, и продолжил: – Что ни говорите, а по большому счету Кертик-ага прав. У Астана после четырех дочерей родился сын, а он от друзей пятью килограммами мороженого мяса решил отделаться.

– Вот, Астан-джан, благодарность за угощение. Хлеб-соль ел, а теперь, слышишь, как заговорил. – Елбарс посмотрел по сторонам. – Все теперь так отмечают. И правильно. Посоветовался с женой...

– «Посоветовался, посоветовался...» В роддоме, что ли?..

– А почему бы и нет. Что, нельзя жене о своих планах сказать?

– Сказать можно, да только нет теперь прежних жен, которые, чтобы муж не спрашивал, один только ответ знали: «Как вы, отец, решили, так тому и быть!». Теперь станешь с ней советоваться, а она сразу учить начнет, мол, как я скажу, так и будет. Все за тебя решит. И куда пойти, и с кем говорить, и что сказать.

– Тут все от тебя самого, Мяти, зависит. Воли жене не давай. Скажет что-нибудь, а ты сделай вид, что не слышишь ее. Да и работать побольше заставляй. Если устанет за день, как вол, так не очень-то ворчать станет. Понял?

– Чего ты других учишь, а сам так не делаешь? Размечтался наш Хемра. Рядом с женой слова лишнего не скажет. Объясни-ка нам, почему ты, куда ни идешь, повсюду с собой сынишку таскаешь. Нянька ему, что ли, а?.. Что ребенку среди взрослых делать?

– При чем тут нянька. Просто, как иду куда-нибудь, он в слезы. А я его слез не могу видеть. Сердце ведь не каменное, Елбарс-джан. С работы приду, он на шею бросится, обнимает, целует, прямо праздник для него.

– Это верно. Современные дети больше к отцам тянутся. И я объясню почему: матери на них не очень-то внимание обращают. Чуть что – сразу подзатыльник. Вот они и держатся от них подальше. А у мужчин сердце мягкое. Отец сынишку не ущипнет, не скажет ему: «А ну, ступай к матери!».

– Золотые слова, Кертик-ага. Наш Хемра – живой пример. Ладно, здесь все свои – скажи честно, Хемра, жены боишься?

– Я, выходит, трус, а ты, Елбарс, – храбрец. Если тебе родители такое имя дали!, так, можно подумать, у тебя и сердце львиное.

– Нет, в прежние времена все по другому было, – мечтательно произнес таксист Мяти. – Помню отец, вечная ему память, прикрикнет на мать: «А ну, молчи!», так она и молчит до посинения. А теперь мать начнет детей ругать, так муж, чтоб ей угодить, тоже на них набросится. До чего дошло – матери детей отцом пугают: «Вот скажу отцу, он тебе покажет!» Словно псу на растерзание отдаст...

– Нет, ребята, я вам так скажу: не осталось теперь настоящих мужчин. Может, где есть еще один-другой, но в нашем селе давно уже все удалыцы перевелись.

– Опять вы за свое, Кертик-ага, – обиженно произнес Хемра. – Можно подумать мы не мужчины.

– Мужчины, мужчины, – примирительно сказал Кертик-ага. – Только я не о том говорю, что у тебя в паспорте написано. Ты знаешь,

что такое денене? Никто не знает? – Ответом ему было молчание. – Так вот, денене – это складчина. Соберется компания, каждый вносит свою долю, купят барашка или козленка и посидят потом как следует. Помню в молодости соберемся, придем среди ночи к кому-нибудь, овцу зарежем, потом хозяин жену будит, чтоб она нам келебашаяк приготовила – пируем до самого рассвета. Вот что мы творили. А кто из вас без

согласия жены посмеет барашка резать? А чья жена согласится среди ночи баранью голову и ноги чистить? А?

– Это конечно можно... – еле слышно произнес кто-то.

– Кто сказал? – воспрянул Керттик-ага, пристально вглядываясь в лица сидящих.

– Только не я, – честно признался Елбарс под ухмылки окружающих.

– Действительно, кто сказал, – поддержал Керттика-агу хозяин дома, глядя на Хемру.

– Нечего на меня смотреть, Астан. Если я что скажу, так от своих слов отступаться не стану. Я жены не боюсь. Женщина есть женщина. Что ей скажу, то и сделает.

– Нет, давайте прямо говорить. Кто из вас может среди ночи пригласить к себе друзей, резать ягненка и приказать жене, чтобы она его гостям угощение готовила? – не унимался Керттик-ага. – Только такой человек достоин называться настоящим мужчиной!

– Нет, Керттик-ага, сейчас уже слишком поздно. И вообще, что вы каждый раз один и тот же спор затеваете, – на правах хозяина дома стал урезонивать старика Астан.

Но Керттика-агу было уже не остановить:

– Нет мужчин настоящих?

– Кому надо среди ночи барана резать. Давайте завтра сложимся. Барана я найду.

– Елбарс-джан, днем каждый сможет. В том-то и штука, чтобы гостей ночью пригласить, когда женушка спит самым сладким сном.

– Ну, тогда на одного Хемру надежда. Он с самого начала говорил, что не боится жены – вот пусть и докажет.

– Плохая у тебя привычка, Елбарс. Сразу за чужую спину прячешься. Я тебе что плохого сделал?

– Ты, Хемра, не крути. Скажи прямо: сможешь или нет.

– Жене что-то нездоровится, Керттик-ага...

– Заболела? А я ее сегодня возле магазина видел.

– Не лезь, Елбарс. Я же не говорю, что она в больнице лежит. Ходит...

– Вот и заставь ее келебашаяк нам приготовить.

– Если захочу – заставлю.

– Вот и хорошо! – обрадовался Керттик-ага. – Сейчас прихватим моего барашка и отправимся к тебе. И даю слово, – старик торжественно возвысил голос, – если сделаешь так – я даже не заикнусь впредь, что не осталось в нашем селе настоящих мужчин.

– Неудобно как-то, Керттик-ага, в моем доме резать вашего барашка. Был бы у меня баран...

– А ты что со своими баранами сделал? У тебя ведь семь их было, один жирней другого.

– Сиди, Елбарс, и помалкивай!

– А зачем ты врешь!

– Ты сам лучше свое имя оправдай. Тоже мне – лев-храбрец.

– Я честно говорю: моя жена мотовства не любит. Говорит, жить надо скромно – нам пыль людям в глаза пускать незачем.

– А еще что твоя женушка говорит?

– Ладно, Керттик-ага, бросьте!.. Зачем вы людей срашиваете, – сказал Мяти-таксист.

– Нет, Мяти-джан, никого я не срашиваю. Я ведь сразу говорил, что не осталось у нас настоящих мужчин. И раньше это знал, а сегодня еще раз убедился.

– Ладно. Нам это не под силу, так вы, Керттик-ага, сами покажите на что способны, – стал напирать на старика Хемра.

– Нет, стар я для таких споров, парни. Будь я, как вы, – тогда другое дело. Я и не скрываю, что давно уже жожи жене в руки отдал. Да и у старухи силы не прежние. Голову чистить, ноги... Конечно, если настаиваете...

– Не нужно нам келебашаяк. Пусть печенку пожарит.

– Ну, если печенку – тогда дело другое. Это можно.

– Значит идем?

Хемра ожидал, что Кертик-ага начнет увиливать, но старик был полон решимости:

– Идемте.

– За приглашение, конечно, спасибо, Кертик-ага, – пошел на попятную Хемра, – только завтра люди нас засмеют, если мы среди ночи барашка резать станем.

– Эх, Хемра-джан, нельзя всю жизнь ходить таким важным, точно фотографироваться собрался. Засмеют – так засмеют. Зачем нам сегодня думать о том, кто что завтра скажет.

– Это верно. Но вот тетушка Айджан... Не по-людски это – ее среди ночи будить. Она ведь хворает.

– Вы ребята об этом не беспокойтесь. Идемте.

Все разом встали, точно только и ждали этого приглашения.

Когда вышли на ночную улицу Мяти-таксист, глядя на бодро шагающего впереди Кертика-агу весело произнес:

– Да были в прежние времена настоящие смельчаки!

– Люди, я, наверное, с вами не пойду, – сказал Хемра, словно оправдываясь. – Сынишке спать пора. Поздно. Астан, а ты пойдешь?

– Как можно в стороне от такого пиршества отказаться!

– Ну, как знаешь. Конечно, если б не ребенок, отчего не посмотреть, как Кертик-ага будет барана резать. Ладно. Я домой. До свиданья.

Никто Хемре не ответил. Мысленно все были уже во дворе у Кертика-аги. Когда же этот миг настал, Кертик-ага решительно распахнул дверь загона и предложил:

– Ну, парни, выбирайте любого!

– Только без меня, – Елбарс отступил на шаг назад. – Кертик-ага, вы бы все же с женой посоветовались. Тетушка Айджан обидеться может.

– Кертик-ага сказал «режьте!», вот и делайте, что он велит, – веселился Мяти-таксист.

– Верно. Если что – Кертик-ага за все ответит. Наше дело маленькое. – Астан вошел в овчарню и остановился, вглядываясь в темноту. – Сейчас подомнем какого-нибудь. Эй, Кертик-ага, покажите, какого ловить, перед женой ведь вам отвечать.

– Да что вы в самом деле! Мы с ней, как один человек: мои мысли – ее мысли. Лови любого.

Астан так и поступил. Ухватил первого попавшегося и потянул его к двери.

– Вербку несите!

– Где ее теперь искать! Да и зачем веревка, если сейчас его зарежем. – сказал Кертик-ага. – Нож нужен, а не веревка.

– Оставьте в покое этого барана, – забеспокоился Елбарс. – Смотрите, сейчас нас всех отсюда погонят.

– Чем болтать, лучше нож держи.

– Нет, Кертик-ага, я барана никогда не резал.

– Да ты горло ему перережь, а остальным я сам займусь, – дрожа, словно от холода, сказал Мяти.

– Держи его за ноги, держи!

Через миг барашек жалобно заблеял, и тотчас же скрипнула дверь дома.

– Кто там? – раздался голос тетушки Айджан, а вслед за тем детский плач и топот убегающих ног.

– Хемра!.. – констатировал Елбарс. – Я так и знал, что он за нами плетется. А теперь он, как всегда, ни при чем.

– Эй, кто там у загона? – снова крикнула тетушка Айджан. – Сейчас мужа позову.

– Свои, жена.

– Вы-ы? – Тетушка Айджан подошла ближе. – Елбарс... Астан... Что же вы здесь стоите, проходите в дом.

– Сейчас, сейчас... Иди в дом, мы чуть позже подойдем.

– Что это вы тут делаете? – с тревогой в голосе спросила тетушка Айджан.

– Да вот, парням свежатинок захотелось.

– А Кертик-ага разве с вами, гелнедже, не советовался? – удивленно произнес Елбарс. – Я их отговаривал, но они не послушали.

– А-а, теперь понятно. Значит это не парням, а вам свежей баранины среди ночи захотелось? Небось весь вечер людям испортили? Только и знаете – людей на глупости подбивать.

– Эй, жена, что ж ты меня перед молодежью позоришь. Что они подумают. Разнесут завтра по селу, что Кертик-ага боится своей жены.

– Причем тут боится? Обязательно что-ли жить в страхе друг перед другом? Я же не о том говорю. Ну ладно, у вас, как говорится, борода выросла, а ума не принесла, но ты, Астан... Не стыдно? Отпусти несчастного барана!

– Ладно, люди, я пошел, – сказал Елбарс и тотчас растворился в темноте.

– Вы, парни, что – своего Кертика-агу не знаете. Да он же временами, как помешанный.

– Слова выбирай, жена!

– Я и выбираю. Да отпустите вы барана!

– Поздно.

– Что?..

– Поздно.

– Успели горло перерезать? Несчастное животное. Посмотрите, чем они в полночь занимаются. Только, отец, вы меня сейчас готовить не просите. Я уже не прежняя Айджан. Голову, ноги завтра буду чистить, сейчас нет сил.

– Гелнедже, да не нужен нам келебашаяк. Пожарьте печеночку, почки, сердечко. А вообще – что мы сами себе приготовить не сможем? Отдыхайте. Спасибо уж за то, что не гоните нас и не ругаете, – заторотил повеселевший Астан.

– Да что ж мне вас гнать и ругать. Вы, мужчины, только на такие дурацкие выходки и способны. Беситесь от жиру!..

Тетушка Айджан ушла, сказав, что идет спать. Но заснуть уже не смогла: развела огонь в очаге, поставила казан, а некоторое время спустя принесла поздним гостям свежесваренную баранину.

– Да-а, – многозначительно протянул Мяти-таксист, глядя то на тетушку Айджан, то на сидевшего с невозмутимым видом Кертика-агу.

А позже, когда гости прощались с хозяином, каждый из них, пожимая старику руку, сказал:

– Вы, Кертик-ага, молодец!

Только на рассвете легли Кертик-ага и тетушка Айджан в свои постели. Но хотя старик провел бессонную ночь, заснуть он не смог – лежал с открытыми глазами, глядя в потолок. Потом быстро повернулся на бок, приподнялся и глядя туда, где лежала жена, торопливо заговорил:

– Разве ты сама не говорила, что теперь и свадьбы не такие, как прежде, и мужчины рабами своих жен стали, а? Мол, мужчина теперь без разрешения жены и не чихнет. Говорила, говорила! – а теперь...

– Ах, отец, – отозвалась тетушка Айджан, – да я, как увидела, что вы барашка режете, сразу прежние годы вспомнила. Когда молодыми были. Вдруг представилось, что я еще молодуха, и так сразу легко стало... Вы уж не обижайтесь, пожалуйста, что я поворчала немного...

Кертик-ага опустил голову на подушку, на губах у него играла улыбка, и от этого лицо казалось помолодевшим сразу на много лет.

1987 г.

ПАЛЕЦ В МЕДЕ

Конечно, бесконечные домашние заботы не могут не утомлять Айджан-эдже, она уже давно не молода. Но, честно говоря, одно дело – домашние хлопоты, и совсем другое – накормить трех вечно голодных овец, которые с утра до ночи своим противным блеянием оглашают окрестности. Большую часть дня Айджан-эдже проводит в поисках травы. Она уже несколько раз пыталась переложить эту работу на своих подросших внуков, но те, хоть и обещали помочь, целый день носятся неизвестно где и домой их раньше ночи не докличишься. Однажды Айджан-эдже на них понадеялась. И что же. Конечно, скотина осталась голодной. После этого случая она ни на кого не надеется. С утра взяв пустой мешок и серп отправляется на поиски травы. Хотя, кажется, что ее искать: прямо рядом с домом колхозный люцерник. Целая кормовая база под носом, а приходится плестись неведь куда ради мешка травы. Вот бы выпустить овец в люцерник! Они бы разом блеять перестали, набили бы наконец себе брюхо!

Каждый день Айджан-эдже борется с искушением накосить люцерны рядом с домом. И надо сказать, что не всегда ей удавалось это искушение побороть. Однако все три попытки кончались неудачей. Всякий раз, словно из-под земли вырастал Гундогды и принимался отчитывать ее:

- Не стыдно вам, Айджан-эдже, в таком возрасте заниматься воровством?
- Чего мне стыдится? От двух охапок травы колхозная скотина не околеет. Будь спокоен!
- Сдохнуть – она конечно не сдохнет, но косить колхозную люцерну не позволю.
- Гундогды-джан, но хоть накошенную траву можно взять?
- Нельзя!
- Я косила, трудилась. Клок травы тебе жаль, а моей спины не жалеешь. Негоже так, сынок.
- Не трогайте, пусть лежит.

Тут, привлеченный их голосами, появлялся бригадир, Шадыман-ялдыр.

– Айджан-эдже, немедленно выходите из люцерника! Кто вам позволил? Хотите, чтоб я милицию позвал?

- Только этого не хватало: на старости лет в милиции оказаться...

Но Шадыман-ялдыр, забыв об Айджан-эдже, уже набросился на Гундогды:

- Почему позволяешь кому попало косить колхозную люцерну?
- Я что-ли позволяю?
- Если ты не позволяешь, так почему же Айджан-эдже косит?
- Это ты у нее самой спроси?

– Мне не зачем у нее спрашивать. Ты сторож. Ты получаешь зарплату. Значит с тебя и спрашивать буду. Всю потраву удержу из твоей зарплаты и еще сообщу куда следует. Я уже устал с тобой препираться!

– Хватит пугать, хватит! Что ты мне еще сделать можешь. Два месяца я неучтенные поля поливал – ты ни копейки не заплатил. Когда тутовники распределяли, мне, конечно, самый захудалый достался. Что еще придумаешь? Ты меня знаешь, я терплю-терплю, но если выведешь меня из себя – добра не жди!

- Нашел кому угрожать!

Шадыман и Гундогды так разошлись, что совсем забыли из-за чего разгорелся спор. И об Айджан-эдже забыли. Так что ж ей ждать, когда вспомнят?! Торопливо запихав в мешок скошенную люцерну, Айджан-эдже припустила к дому.

А Шадыман-ялдыр и Гундогды еще полдня поливали друга друга грязью. Айджан-эдже знает их с детства. Они и в молодости вечно не ладили. Да и когда богатый с бедным ладили? Никогда. И не будут ладить. Вот чего Гундогды никак понять не может. Поверил, бедняга, что теперь все равны. А когда такое было. Недаром же сказано, что когда богатый говорит, даже бог молчит. Богатые правду и купят, и продадут – вертят ею, как заблагорассудится. А бедняга Гундогды только шишки набивает. Стоит ему человека в шляпе увидеть, как сразу жаловаться начинает: «Шадыман-ялдыр – вор. Шадыман – то, Шадыман – это!» Ну и что.

Да ничего. Начальство только снисходительной улыбочкой отделается, дескать, всем известно, кто такой Гундогды. Склонник, жалобщик. В наше время только конченные дураки правду-истину ищут. Вот за

это Айджан-эдже больше всего на Гундогды и злится. Ну, спрашивается, чего он добился своей правдой, Ничего! А имел бы голову на плечах, так вместо того, чтобы с бригадиром воевать, таскал бы себе домой люцерну и скотину откармливал. Продавай потом мясо и живи себе припеваючи – никакая зарплата не нужна. Эх, не понимает Гундогды, где его выгода. Слушался бы Айджан-эдже – давно бы уже был академиком жизненных наук.

В день, о котором пойдет речь, Айджан-эдже утром как обычно вышла из дома с пустым мешком и серпом, чтобы накосить травы своим вечно голодным овцам. Гундогды прохаживался по люцерновому полю. Недобро поглядывая на него, Айджан-эдже отправилась к хлопковому полю. Рыская среди рядков в поисках травы, она на чем свет стоит кляла глупого Гундогды.

– Сидел бы дома в такую жару, так нет... Можно подумать, что он мед сторожит...

Домой Айджан-эдже возвращалась, когда солнце уже стало клонится к закату. Добыча ее была небогатой – всего-то полмешка травы. Но чем ближе подходила она к дому тем сильнее кружил ей голову духманный аромат люцерны, а от яркой зелени прямо-таки рябило в глазах. И Айджан-эдже точно молнией ударило: Гундогды-то нигде не видно. Забыв обо всем на свете она ринулась в атаку на колхозный люцерник. Ее серп так и звенел. Надо же, какая удача! Айджан-эдже поспешно запихала в свой мешок свеженакошенной травы и с еще большим рвением принялась за работу.

– А вот это, Айджан-эдже, никуда не годится! – прогремел над ее головой голос Гундогды.

От неожиданности Айджан-эдже обмерла. Гундогды, будь он проклят, точно из-под земли вырос. И по его лицу было видно, что сторож взбешен не на шутку.

– Молод еще учить меня, что годится, что не годится, – решив, что лучшая оборона – нападение, огрызнулась Айджан-эдже. – Разве можно так подкрадываться? Напугал меня до полусмерти.

– Стыдно в ваши годы воровством заниматься!

– Я ж не серебро себе на украшения ворую. Мне трава нужна, тра-ва!.. Всю округу обошла – нигде травы нет. А скотина моя криком исходит от голода. Пойди, взгляни на этих бедных овечек, – слова мне больше не скажешь.

– Высыпьте траву из мешка!

– Только притронься к моему мешку! – Айджан-эдже так вцепилась в свою торбу, что и десять таких молодцев, как Гундогды не смогли бы отнять у старухи ее сокровище. – Вы почему посеяли люцерну рядом с моим домом? Нарочно, чтобы в искушение меня ввести. Посадили бы здесь хлопчатник, а там, где хлопчатник растет, – люцерну.

Тут она заметила приближающегося Шадымана-ялдыра – будто ему кто по телефону сообщил! Схватив мешок, она что было духу, кинулась бежать к своему дому.

– Стойте, Айджан-эдже! Я вам говорю, стойте! – кричал ей вдогонку Шадыман-ялдыр.

Айджан-эдже даже не оглянулась.

Тогда бригадир накинудся на Гундогды.

– Ты что стоишь, рот разинув? Немедленно задержи расхитительницу колхозного добра! А может, ты ее пособник?

– Не одному же тебе колхозным добром пользоваться! Пусть и люди немного попользуются. Или ты решил, что Шадыману все можно, а другим нет.

Шадыман и Гундогды затеяли свой обычный бесконечный спор, и конечно же забыли про старуху.

А она тем временем потчевала свою скотину, любовалась, как изголодавшиеся овцы хрумкают сочной травой и приговаривала:

– Да не торопитесь вы так. Вам принесла, вам. Никуда эта трава не денется. – Вслух говорила одно, а в душе все-таки боялась, что сейчас к ней заявятся Шадыман и Гундогды и заберут траву. «Ну что за жизнь такая. Нет же, чтобы съездить куда-нибудь или поболеть пару денечков, – да у этих подлецов, видно, только и дел, чтоб меня караулить. Все, – решила Айджан-эдже, – хватит на старости лет оскорбления

выслушивать. Надо сыну сказать, чтоб избавил меня от этих встреч с Шадыманом. Пусть прикажет своим балбесам, чтоб хоть заботу об овцах на себя взяли.»

И стоило только подумать о внуках, как они – тут как тут. Примчались, точно вихрь, и в один голос выдохнули:

– Бабушка, мы голодные!

Айджан-эдже намеревалась сказать внукам, что ничего на этом свете даром не достается, что нечего шляться без дела, что надо побольше бывать дома, помогать старшим, заботиться о скотине... Но внезапно ей расхотелось читать мораль. Ведь когда одно и тоже твердят раз, другой и третий, то это любому надоест. Только сейчас Айджан-эдже осознала, что внуки настолько привыкли к ее поучениям, что теперь хоть и слушают, а не слышат. От частого употребления слова ее как бы истерлись и потеряли силу своего воздействия. Поэтому она молча пошла ставить чай, жарить яичницу. Лишь теперь она почувствовала, что и сама здорово проголодалась. Между тем внуки, не дождавшись когда будет готов ужин, схватили по ломтю хлеба и помчались на улицу догуливать.

Айджан-эдже, наслаждаясь тишиной и покоем, поела, попила чай, и короткий отдых вернул ей силы. Усталость, точно рукой сняло, она чувствовала себя так, будто скинула с плеча тяжелый мешок с травой. Мешок с травой... Мысль о нем напомнила Айджан-эдже, что дел у нее невпроворот. Она отправилась поить скотину, а сама думала о том, что овцы из-за проклятого Гундогды сегодня не поели сколько надо. И Айджан-эдже приняла решение: сегодня ночью, когда все уснут, она назло Гундогды и Шадыману пойдет за люцерной. Эта мысль так прочно вклинилась ей в голову, что весь вечер она мысленно представляла, где и как будет косить люцерну. И в ее воображении посреди двора уже вырос огромный стог сена.

Страх боролся с нетерпением, но, чем темней и тише становилось за стенами дома, тем смелей делалась Айджан-эдже. Наконец она решила, что час настал. Взяв серп и заранее приготовленный канар она отправилась в люцерник.

Была ясная лунная ночь. Весь мир спал – стояла необычайная звенящая тишина. Решив отвести от себя подозрение, Айджан-эдже не стала косить траву у дороги, а пошла в глубь поля, подальше от своего дома. Она была полна решимости проработать до зари, чтобы, во-первых, хоть несколько дней отдохнуть от самой ненавистой заботы, а во-вторых, насладиться победой над сверхбдительным Гундогды.

Но только она взмахнула серпом, как за спиной раздался знакомый голос:

– Это вы что ли, Айджан-эдже? Что вы здесь делаете?

– Я... я... – От неожиданности Айджан-эдже не сразу нашлась, что ответить. – Да вот, сынок, проверяю. – И окончательно разозлившись на Гундогды, который не дал осуществиться ее мечте, зло прибавила: – Проверяю, понятно тебе!

– Это что ж вы проверяете? Люцерну?

Айджан-эдже, пропустив его вопрос мимо ушей, заговорила с издевкой в голосе:

– Чего это тебе не спится? Ты здесь, жена одна дома...

– А вы почему не спите? – оборвал ее Гундогды.

– Доживешь до моих лет, поймешь. Не спится – и все, вот я и решила проверить, как ты колхозное богатство сторожишь.

– Ну и как? Довольны моей работой?

– Слушай, Гундогды, твои глаза хоть кого-нибудь кроме меня замечают?

– Айджан-эдже, я против вас ничего не имею. Скотину всем кормить надо. Шадыман нарочно меня сторожем поставил, надеется подловить меня и сделать виноватым.

– Гундогды-джан, ты парень хороший. Ступай, погуляй часок-другой на другом конце поля. Сделай вид, что меня не видишь – ночь ведь. Эти три проклятые овцы скоро своим блеянием с ума меня сведут. Покоя мне от них нет ни днем, ни ночью.

– Нельзя, Айджан-эдже, никак нельзя. Ступайте домой!

Айджан-эдже почувствовала, что испытывать терпение Гундогды не стоит, и в душе ее разыграла такая ненависть к нему, что она была готова хоть сейчас накинуться на него с кулаками. Это ж надо! Она сна лишилась, а что толку... «Ах ты негодяй, ах ты бездельник! Бог тебя накажет...».

Айджан-эдже, плетясь к дому, обрушила на Гундогды столько проклятий, что исполнись из них хоть десятая часть, никто бы не позавидовал несчастному караульщику.

Почуввав приближение хозяйки, в агиле заблеяли овцы. Айджан-эдже со злостью швырнула на землю пустой канар и серп.

– Замолчите вы наконец? Заткнитесь! Надоели мне, что горькая редька. Чтоб вы сдохли от голода! Может, хоть тогда Гундогды порадуетесь!

Утром, когда она жаловалась сыну, Ашир вместо того, чтобы обрушиться на Гундогды, сказал:

– Да зачем вам, мама, куда-то ходить? У нас и во дворе травы хватит, чтобы трех овец прокормить.

– Сегодня хватит, завтра хватит, а что станешь делать, когда она кончится? – И Айджан-эдже обиженно поджала губы.

И все же, видно, некоторые ее проклятия настигли того, кому они были адресованы. Айджан-эдже аж вздрогнула от неожиданности, когда со стороны люцерника до нее долетел крик:

– Нет, нет, не заставишь больше меня все терпеть! Всю жизнь что ли собираешься мной командовать?! Я за себя постоять смогу!

Это был голос Гундогды. Айджан-эдже сразу его признала. И стала молить Аллаха, чтобы Шадыман наконец прогнал Гундогды из сторожей.

Айджан-эдже косила клевер, что рос на ее мелеке. Чтобы лучше слышать, о чем спорят Гундогды и Шадыман, она даже переместилась поближе к дому. Спустя некоторое время мимо ворот ее дома быстрым шагом прошел Гундогды. «Жидок парень против Шадымана, – огорчилась Айджан-эдже. – Вместо того, чтобы до конца с бригадиром разобраться, домой сбежал. Нет, против Шадымана ему не выстоять. У того и власть и деньги, а Гундогды что...» – Айджан-эдже сокрушенно покачала головой, собрала клевер и понесла его овцам. Но даже вид мирно лакомящихся клевером овец на этот раз не умиротворил, как это бывало обычно, ее душу. Не давал ей покоя Гундогды. «Нет, что-то тут не так, – думала Айджан-эдже. – Не такой он человек, чтоб за Шадыман-ялдыром последнее слово оставить. С чего бы это он домой побежал?» И вдруг ее точно осенило – за ножом, а того хуже – за ружьем. И только она так подумала, как со стороны люцерника до ее слуха донеслись ружейные выстрелы: пах! пах!

Айджан-эдже обмерла от страха. Потом, забыв обо всем, помчалась туда, откуда слышалась пальба. Когда она достигла люцерника, ей открылось небывалое зрелище: Гундогды, вскинув ружье, мчался за Шадыманом, а грозный толстяк бригадир убежал от него, точно заяц от борзой.

Пах!.. Пах!..

У Айджан-эдже перехватило дыхание. Представив лежащего в луже крови Шадымана, Айджан-эдже торопливо трижды поплевала себе за ворот, чтоб отвести от себя дурное видение. Потом она побежала домой. Закрыла окна, заложила дверь, и до темноты просидела взаперти, прислушиваясь к каждому шороху. Было тоскливо. Наконец снаружи донесся голос Ашира:

– Мама! Мама!

Айджан-эдже осторожно открыла дверь.

– Мама, что такое?

– А ты ничего не слышал?

– Что? – Хотя Ашир сразу же догадался, чем интересуется мать, с ответом он не спешил. – Ты о Гундогды что ли? Да, нехорошо он поступил.

– Вах-вах, бедный Шадыман, сколько детей осиротил...

– Ты что, мать, причитаешь? Жив Шадыман.

– Жив? Так ведь Гундогды столько раз стрелял. Неужто промазал.

– Вот так.

– Слава богу!

– Это за что же ты бога благодаришь? – осведомился Ашир. Он даже не скрывал своего разочарования тем, что Гундогды промахнулся.

Айджан-эдже разозлилась на сына – хоть Шадыман-ялдыр никому ничего хорошего не сделал, все ж нехорошо человеку смерти желать. Перед ее глазами снова ожила картина, которую она видела днем, когда Гундогды с ружьем в руках гнался за бригадиром. Айджан-эдже прикусила губу. В глубине души она считала себя отчасти причастной к случившемуся.

– Что ж теперь будет, сынок?

– С Гундогды? Его милиция забрала. А Шадымана в соседнее село повезли, к табибу.

– Ты же сказал, что Гундогды промахнулся.

– Ну да. Только у Шадымана от страха сердце стиснуло.

– Стиснет от такого, – Айджан-эдже закончила расспросы и принялась готовить ужин. Но внезапно ею завладела новая мысль. – Сынок, а когда Шадымана к табибу отвезли?

– Недавно. А что?

– А Гундогды, как ты думаешь, милиция до ночи отпустит?

– Скажешь тоже, до ночи. Он теперь до суда там просидит, да и после суда вряд ли домой вернется. А что такое мама?

– Что-то наша невестка не идет, – невпопад ответила Айджан-эдже.

– Придет, не спеши.

– Эх ты, какой спокойный! Придет невестка, скажешь, чтоб ужин сама готовила. У меня дело есть. Я пошла.

– Куда ты, мама.

Но Айджан-эдже было недосуг толковать с сыном. Она спешила в люцерник. «Хоть раз в жизни спокойно нарежу травы», – думала она, предвкушая предстоящий праздник. Косить-то она накосила, но праздника в душе почему-то не было. Прежний страх так и не отпускал ее. Так и чудилось, что сейчас откуда-то вынырнет проклятый Гундогды. Любой шорох заставлял ее вздрагивать. «Вот негодяй, – орудуя серпом, беззлобно думала она о Гундогды, – совсем меня запугал!»

Но никто не мешал ей, и постепенно она успокоилась. Работа шла как нельзя лучше. Она косила и косила, не чувствуя усталости – жадность не давала ей утомиться. Когда же она стала собирать траву в канар, то оказалось, что туда, сколько ни трамбуй, даже половину накошенного не вместить. А что еще хуже: набив полный мешок, Айджан-эдже обнаружила, что не может сдвинуть его с места – пришлось отсыпать половину и делать несколько ходок, чтобы перенести всю траву домой.

– Хоть разок увижу, как вы насытитесь. Жрите, только не лопните! – приговаривала Айджан-эдже, щедро потчует своих овец. Но дожидаться конца трапезы не стала, а вновь отправилась в поле.

Всю ночь она не спала. К утру амбар был доверху забит люцерной, а среди двора вырос внушительный стог. Айджан-эдже прикрыла его всяким тряпьем, – мало ли вокруг завистливых глаз – и довольная своим ратным подвигом легла в постель с первыми лучами солнца. Проспала она до обеда. А встав первым делом отправилась кормить баранов. Раскидывала по агилу охапки свежего сена и приговаривала:

– Ешьте, ешьте! Пусть ваши курдюки станут точно свадебные казаны!

После этого она отправилась взглянуть на то место, где ночью косила люцерну. Выкошенным оказался большущий участок – она даже вообразить не могла, что ей такое по силам.

Но что этот участок в сравнении с бескрайним колхозным люцерником. От одной мысли об этом у Айджан-эдже сразу же перестала ломить натруженная ночью спина, и она решила, что как только стемнеет, надо еще немного травы припасти. Чем ниже солнце клонилось к западу, тем сильнее делалось беспокойство Айджан-эдже

– Мама, не надо... – попросил Ашир.

– Я лучше знаю, что надо, а что не надо! – отрезала Айджан-эдже.

И как только стемнело, она спокойно, без прежнего внутреннего волнения, пошла к люцернику, точно на работу отправилась. Но подойдя поближе заметила, что кто-то прячется среди травы. «Это кто ж такой?.. Неужели Шадыман-ялдыр? – лихорадочно соображала Айджан-эдже. – Притаился, ждет, когда начну

косить. Нет, на Шадымана не похоже. Он такой трус, что, говорят, как стемнеет, даже во двор только вместе с женой выходит. Это, скорей всего, кто-то вроде меня.» – Айджан-эдже посмотрела по сторонам. Так и есть. Во-он вдалеке еще один силуэт виднеется. Похоже сегодня сюда все село бежало.

Страх прошел, и вместо него в груди у Айджан-эдже запылал огонь справедливого негодования. Что ж это такое делается?! Кто позволил косить люцерну чуть ли не у порога ее дома?

Без страха двинулась Айджан-эдже вперед, и, остановившись в нескольких метрах от беззаконника, крикнула:

– Эй, кто ты? Хватит прятаться. Выходи, кто бы ты ни был!

– Вий, Айджан-эдже, это вы? – раздался в ответ молодой женский голос.

– А ты кто?

– Я Энегыз, жена Шадымана.

– А что ты тут, Энегыз, делаешь, – строго спросила Айджан-эдже.

– Как что? Пришла мешок травы набрать. Из-за этого бессовестного Гундогды наша скотина чуть от голода не передохла.

У Айджан-эдже от удивления даже рот открылся: надо же, оказывается этот Гундогды так себя поставил, что его боялась не только она, бесправная старуха, но даже жена самого бригадира.

– Дада, Айджан-эдже... Вместо того, чтобы самому нам люцерну носить, этот Гундогды прямо так Шадыману и сказал: поймаю кого из вашего дома – на весь свет опозорю. Честно говоря, такого дурня еще поискать надо, Айджан-эдже. Слава богу, теперь его, говорят, надолго в тюрьму упрячут.

– А что ж ты ночью сюда пришла.

– Днем глаз много.

– Тогда ступай косить отсюда подальше, – распорядилась Айджан-эдже, давая понять, что разговор окончен и ей пора приниматься за дело.

– А здесь что, нельзя? Какая вам разница?

– Большая. Ты бы еще у меня во дворе косить стала.

– Оттого что эта трава рядом с вашим домом растет, она вашей собственной не стала.

– Ступай, ступай, отсюда! Старших слушаться надо.

– Старики по ночам дома сидеть должны. – огрызнулась Энегыз. – И не считайте себя тут хозяйкой. Где бы эта люцерна не росла, она все равно общественная. И я не позволю ее вам косить.

– Да кто ты такая? Сама, значит, косишь, а мне не позволишь? Мало вы что ли колхозного наворовали?!

– Мало! Да, мало! Что еще скажешь?

– Убирайся отсюда! Хватит со старшей препираться.

– Со старшей! – хмыкнула Энегыз. – Верно говорят, что старые люди из ума выживают. – И показывая, что не желает больше разговаривать с Айджан-эдже, принялась снова резать траву.

– Чтоб духу твоего здесь не было! – Айджан-эдже, не в силах больше терпеть это издевательство, двинулась на жену Шадымана-ялдыра. Они стали пихать друг друга. Энегыз, здоровая телка, так Айджан-эдже толкнула, что бедная старуха упала и ударилась головой о землю. Лежит Айджан-эдже, подняться не может, и представляет, что сейчас жена Шадымана-ялдыра всю люцерну скосит, – от этого ей так обидно, что даже боль от ушиба не чувствуется. А нахальная Энегыз, знай себе, косит – только серп звенит...

1989 г.

В КАЖДОЙ ГОЛОВЕ ХАН

Старший чабан Халим гнал свою отару к своему колодцу, а поскольку дорога была знакомой не только ему, но и овцам, ничто не отвлекало его мыслей от спора со старшим чабаном Мухы. Этот спор мог продолжаться без конца, но с вершина холма старший чабан Халим заметил, что рядом с кошарой стоит машина. Он обрадовался приезду гостей и криками заставил овец прибавить шаг. И спорить со старшим чабаном Мухы он прекратил; сейчас ему хотелось догадаться, кто приехал, и он пытался определить это по поведению постоянных обитателей становища.

Возле врытой в землю рогадины старший чабан Мухы вместе с кем-то из гостей свеживал барана. Гайли – помощник старшего чабана Мухы, волочил здоровенную саксаулину. Из этого следовало, что дров, которые были запасены впрок, не хватило, а значит угощение готовится по высшему разряду. Похоже, важные люди приехали, иначе бы старший чабан Мухы не расщедрился. А ведь гости есть гости, подумал Халим, не все ли равно, какие у них должности. Спасибо уж за то, что не забыли, приехали навестить тех, кто в песках. Уже давно на колодец никто не приезжал. А когда ты остаешься в песках надолго один, твой взгляд в любой час дня следит за дорогой, все ждешь: не едет ли кто, не везут ли новостей. Еще хорошо, что человек может с самим собой поговорить, чтобы легче на душе стало. Откровенно говоря, только такой разговор и может довести человека до истины. Но сегодня ночью уши от ржавчины очистятся – с самим собой разговаривать нынче не придется! Лишь бы гости оказались открытыми, общительными людьми.

Сколько ни вглядывался Халим, он так и не смог определить, кто помогает старшему чабану Мухы свеживать барана. Незнакомец не столько работал, сколько размахивал руками, видно, что-то рассказывал. Временами он напоминал Ханека-бахши, а порою заведующего фермой Сахата. Но когда из домика вышел Сахат, Халим тотчас узнал его по степенной и уверенной походке. Рядом с Мухы был кто-то другой. И Ханек-бахши совсем не такой. Но кого-то собеседник старшего чабана Мухы определенно напоминал...

Сам заведующий фермой Сахат вышел навстречу Халиму. Улыбаясь поприветствовал его, пожал руку.

– Скажи-ка, Халим, сердце тебе не шепнуло, что я в гости приехал? Эх ты, а я вот уже давно твое приближение почуял. Ну, думаю, теперь пора – Халим уже на подходе. Вот и вышел встретить. Как вы тут?

Небось забот прибавилось, из-за того, что я в больнице прохладился? Что же это я о делах — если откровенно, сегодня я просто погостить к вам приехал.

— Вот это правильно! Ты же знаешь, мы тебе всегда рады, всегда ждем...

— Ладно, ладно... Нечего меня поддомкрачивать. Ты прямо говори, в чем нужда, какие трудности. Я же вижу: озабочен ты чем-то.

— Не без этого, Сахат. Помнишь, когда на старом колодце чабанил, все приставал к тебе, мол, хочу, чтобы кто-нибудь рядом был. А теперь вижу, что жизнь, в песках прожитая, к одиночеству меня приучила. Тесна мне степь...

— Ах, вот оно что!.. Кто твердил: «Переведи ко мне Мухы, мы с ним с детства дружим»?.. Года не прошло!.. Ну, чего вы тут не поделили?! Подсказывало мне сердце, что так и будет. Что за люди! У каждого в голове хан сидит, а я один вам всем угодить должен! Чтобы каждый был и собой доволен, и работой, и соседом. А эти ханы, что у вас в головах, никого кроме самих себя признавать не желают. Ну, что за война тут у вас? Да вашего колодца не то, что на карте мира, наверное, даже на областной карте нет! «Колодец Халима»... Вот ты, Халим, сам и думай, как здесь мира добиться... Думай, думай!..

— Могу на старый колодец откочевать. Был я там сегодня, смотрел. Травы много.

Не-ет, не такого ответа ждал заведующий фермой Сахат от старшего чабана Халима! И от того, что его воспитательная работа действия не возымела и столько слов, можно сказать, даром улетели на ветер, завфермой обиделся. Но виду он, конечно, не подал.

— Нет. Не солидно это будет, Халим.

— Ничего.

— Нет, нет!.. Если уж кому уходить отсюда, пусть уходит Мухы.

Старший чабан Мухы, который все еще свеживал барана, давно уже наблюдал за ними и теперь, словно догадавшись, что речь идет о нем, не скрывая обиды, крикнул:

— Эй, начальники, ну, подойдите же сюда! Что?.. Рядом со мной разговаривать нельзя? Не волнуйтесь, никуда ваш разговор от вас не убежит.

— Сейчас идем! — крикнул Сахат. — И в самом деле, Халим, что это они одни работают. Идем, поможем.

— Городские пусть под крышей парятся, а мы у костра устроимся, — говорил помощник чабана Гайли, расстилая узорчатую кошму.

— Поторопиться надо... Как бы в обратный путь не опоздать, — сказал заведующий фермой Сахат, поудобней устраиваясь на кошме. — Дай-ка, Мухы, нож, помогу мясо крошить. В степи, я вам скажу, все равны. Все должны на равных трудиться... Эй, Гайли! Теста, пожалуй, маловато...

— Ты не волнуйся, начальник, это только для донышка я приготовил. А чтобы сверху накрыть, у меня еще одна миска.

— Каждый должен быть мастером своего дела, — важно заявил шофер Тангы (это именно он помогал старшему чабану Мухы свеживать барана), обращаясь к Сахату. — Взять хотя бы шоферов, — сказав это, он откашлялся, точно ему предстояло сообщить нечто очень важное.

— А что — шофер... — сбил с него пафос завфермой. — Крутит баранку — и ладно.

— Не скажи, шеф. Крутить баранку и обезьяна может. Вон, медведи в цирке... Но разве язык повернется назвать медведя шофером? То-то. У настоящего шофера в машине любую нужную вещь найти можно. Ведь машина это, как... второй дом. Там и пила, и топор, и миска с ложкой, и съестное, и вода...

— Короче, Тангы-джан, что ты вокруг да около крутишься.

— Вот я и говорю: собрались вы гемме готовить, но, если мясо без чеснока и без зелени, разве это пирог? Нет, это не гемме будет, а пирожки столовские. Зелень у вас имеется? Нет!.. Зато в моем хозяйстве...

— Тангы с видом будто он собирается осчастливить человечество отправился к грузовику и некоторое время спустя принес полиэтиленовый пакет с зеленью и пряностями. — Вот, сдобрим этим хорошенько мясо, тогда получится настоящий гемме. Я тебе, шеф, так скажу: шоферов, которые с головы до ног маслом перепачканы, а в машине только ключ на двадцать четыре имеют, я бы, честное слово, прав лишил. Пусть поливальщиками работают. Откровенно говоря, в нашем колхозе я еще не видел шофера, у которого бы все, что надо, «в хозяйстве» имелось. А все потому, что вечная спешка...

– Я уж не знаю, чего там в шоферском хозяйстве не хватает, но что у многих шоферов совести совсем не осталось – это точно. – заметил Гайли. – Чуть волю им дай – все готовы с собой унести, да еще горсть земли впридачу захватят.

– В песках не всякий шофер согласится работать, – не обратив внимания на эту провокационную реплику, продолжил Тангы. – Боятся!.. Верно, машина на бездорожье застрянет, тогда хлебнешь горя. А эти, так называемые шофера, видите ли, не привыкли вдали от дома ночевать. Сахат, понимаете ли, должен им необходимые условия создать!.. А вот мне, я вам прямо говорю, ничего от колхоза не надо, был бы только такой шеф, как у меня.

– Это верно, – поддержал его старший чабан Мухы и заговорил торжественно, словно выступал на собрании. – С тех пор, как Сахат стал заведующим фермой, не было года, чтобы мы не выполнили план по всем показателям. Много, очень многое зависит от руководителя!

– Ладно, без домкрата обойдемся, – равнодушным тоном прервал его заведующий фермой Сахат и прилег, облокотясь на принесенную для него подушку.

Только старший чабан Халим стоял у костра, не зная, чем заняться. Он нерешительно посмотрел по сторонам, потом робко, точно был в гостях, присел на кошму рядом с Сахатом.

– Говорили, что приболел ты, в Ашхабад, в больницу ездил. Сейчас как себя чувствуешь, поправился? – спросил Халим и, не зная кстати ли теперь такой вопрос, покраснел от смущения.

– Слава богу, Халим-джан, выздоровел. Как конь бегая. А когда слег, боялся, что никогда больше не увижу родных мест. Столько лет на них смотрю, а оказывается еще не налюбовался. Спасибо, ваша забота помогла. Раньше я семьдесят шесть килограмм всегда весил, а в больнице, когда сказали, что пятьдесят пять кило осталось, ну, думаю, – все. И надежду потерял. Когда Ханек-бахши и другие чабаны приехали проводить, поверишь, как ни мужался, ком в горле стоял.

– Мы не могли. С отарой были, – начал оправдываться старший чабан Мухы.

– Это ничего, Мухы-джан. Пожелай лучше, чтоб никто больше этой заразой не болел.

– Как, говоришь, называется? Эккенек? Ну и словечко придумали – язык сломать можно. Значит, чабанская болезнь. Так ты у нас, Сахат, хуже чабанов – все время с овцами. А весной, когда стрижка была, еще и спал на шерсти, чтоб не своровали. Надо было сразу в больницу ехать, как только занеможил... Когда мы беспечными быть перестанем?

– Ничего, Халим-джан, главное – выздоровел. Впредь постараемся не болеть – некудышное, скажу я вам, это дело. А сегодня, вот, погулять захотелось, на пески взглянуть, вас проводить.

– Когда тебя, начальник, не было, знай, даже пески свою прелесть потеряли, – сказал старший чабан Мухы. – Прежний заведующий...

– Ты при мне лучше о нем не вспоминай, – перебил его Гайли и нахмурился.

– Да он же башлык наш теперь! – в сердцах воскликнул Халим.

– Ну и что?! Когда был заведующим, что ни день – склоки, скандалы. Не понимаю, как его люди председателем избрали. Жаль, что я в песках был. Я бы на том собрании все ему прямо в глаза сказал. Пусть знает, чего он стоит.

– Ты же десять лет с ним работал, Гайли... Отчего же прежде не говорил? А если желание сильное, то и сейчас не поздно. Вообще, ты зря, наш новый председатель прекрасно с делами справляется, – сказал заведующий фермой Сахат, но в голосе его все же проскользнула обида.

– Заместитель у него толковый...

– Ну, Тангы, ты сидишь-сидишь, а потом, как ляпнешь глупость какую-нибудь! Заместитель... Да кто же не знает, как он стал заместителем. Только угодничать и умеет, – возмутился старший чабан Мухы.

– Нет, друзья, я вам так скажу: если хочешь знать, чего стоит начальник, взгляни на его шофера, – начал Тангы, но лишь на миг замешкался, как этой паузой тотчас же воспользовался Гайли.

– А мне зоотехник наш не нравится, – сообщил он. – Гундосит что-то, а чего хочет – не поймешь. Как начнет говорить, меня прямо бесит.

– Уф!.. – Заведующий фермой Сахат замотал головой. – Затянули любимую песню!.. Одни вы – умные, остальные все – дураки. Можно подумать, поставь вас на их место, все бы сразу на лад пошло. И на какой колодец не приедешь, разговоры везде одинаковые. Раньше чабаны и пошутить умели, и о жизни поговорить. Куда все это делось? Уже два-три года от вас нормального слово не слышу. Нет, не годится так, парни. Давайте-ка, сменим пластинку. Пора, Гайли, раскатывать тесто, мясо мы уже порезали. Только ты, Мухы, помельче, помельче кроши, что это за куски такие? Надо, чтобы как раз в рот положить можно было. Тангы, ты, давай, свою зелень сполосни, мы и ее заодно порежем.

– Не всякий может хорошо гемме приготовить. Но есть настоящие мастера...

– Лучше меня, Тангы-джан, никто не готовит, – заявил старший чабан Мухы. – Вот увидишь.

– Мне говорили, в Нью-Йорке, или еще где одну книжку выпустили, «Книга рекордов Гиннеса» называется. Там тебя случайно нет, а, Мухы? Может, нам чемпионат устроить, кто лучше всех гемме приготовит, хи-хи?

– Мне, Гайли, соревноваться не за чем...

Хотя старший чабан Халим сотни раз слышал, как подкалывают друг друга Мухы и его помощник, он все же не сдержался и с осуждением посмотрел на Гайлы. Потом, чтобы не сорваться и не сказать обидного слова, встал и, сославшись на головную боль, ушел в дом. Задернул занавеску и лег. Но прошло совсем немного времени, как кто-то пришел. Это был заведующий фермой Сахат.

– Отдыхаешь? Да, и по лицу видно, что устал. Слов нет, после работы обязательно надо чуть-чуть соснуть. Теперь, как жара спала, сможете хоть ночью выспаться, – Сахат присел на край кровати и протянул Халиму несколько таблеток. В другой руке у него был стакан воды. – Прими и запей, – приказал он. – Очень хорошо от головной боли помогают. Воду всю пей, до дна. Вот так! А теперь поспи...

Сахат вышел и аккуратно задернул за собой занавеску. Раньше сквозь нее было запросто видно, кто стоит на пороге. Теперь – нет. Как же, увидишь, если старший чабан Мухы всякий раз после еды станет выпирать о занавеску жирные руки... Эти чертовы пятна не отстирываются даже! Хорошо, что хоть о чем говорят слышно.

Люди зубы свои по разным причинам теряют. От старости только немногие выпадают. Больше – из-за того, что приходилось с голоду кости глотать, ну, а в основном, потому, что живешь зубы стиснув!.. Если бы одна только занавеска, тогда и говорить не стоило бы...

Колодец в этой низине выкопал старший чабан Халим. Ему повезло: уже на глубине трех метров появилась вода. Халим перебрался на новое пастбище. Потом колхоз облицевал его колодец камнями, рядом с ним построили домик для чабанов и загоны для овец. Люди стали называть это место «Колодец Халима». Вот, что не дает покою старшему чабану Мухы!..

Один изрядно поплутавший в песках водитель, добравшись наконец до цели, спросил у старшего чабана Мухы: «Это, что ли, Колодец Халима?».

«Колодец Халима?.. – сделал удивленный вид старший чабан Мухы. – Я не один год в песках, но от тебя, братишка, впервые о таком слышу. Колодец Халима?.. Нет, нету такого поблизости.

Машина поехала дальше. Когда два дня спустя, похудевший, почерневший от усталости водитель, с глазами, красными от бессоницы, выскочив из машины с кулаками набросился на старшего чабана Мухы, Халим сразу догадался, что между ними произошло.

Летом, чтобы овцы не страдали от зноя, Халим пасет отару ночами, а когда начинает припекать, возвращается к колодцу. Из-за этого отдыхать ему приходится днем, в самую жару, когда лежишь, обливаясь потом. Старший чабан Мухы, которого никакая сила не заставит пожертвовать ночным сном – пусть хоть все овцы от жары передохнут! – словно не понимает этого. Сидит с Гайли, шутки шутит. Хоть и говорят люди, что «Сну подушка не требуется», на самом деле это не так! Шепот старшего чабана Мухы, точно осиное жало, впивается в мозг старшего чабана Халима. А если захочешь побеседовать с ними, сказать пару слов, в ответ услышишь: «Да, ты спи, Халим, спи...» Попробуй, засни после этого!

Обида делает людей кичливыми, заставляет без конца вспоминать былые заслуги. И старший чабан Халим, увы, не исключение из этого правила.

– Скажи-ка, Мухы, кто это пастбище нашел?
– Ты, Халим.
– А кто здесь колодец выкопал?
– И это ты сделал.
– А когда Сахат сказал, что здесь будет две отары, кто тебя привел.
– Ты, ты.
– С тех пор, как ты здесь, твои овцы хоть раз голодными оставались?
– Нет, Халим.
– Я тебе какую-нибудь пакость делал?
– С чего бы тебе пакости мне делать?
– Зачем же ты, Мухы, надо мной издеваешься? Что колхоз ни даст, все домой тащишь. Ничего уже здесь не осталось. И отара твоя все время на моих выпасах. Ты разве не понимаешь, что это для чабана самая горькая обида. Я сколько раз тебя просил!..

– Оставь, Халим!.. Терпеть не могу, когда человек все делает с расчетом, что ему потом все в ножки кланяться станут!

Что ему на это сказать?.. А старший чабан Мухы стоит, как ни в чем не бывало, – ему же все до лампочки. Старший чабан Халим вздохнет с укоризной, сядет пить чай, но если человек раздражен, то чай его гнева не уменьшит, да и удовольствия от чаепития никакого.

А Мухы бросит в принесенный Гайли кипяток полную ладонь заварки, пару раз перельет чай из тунче в пиалушку и обратно, чтобы покрепче заварилось, а когда чай хорошенько настоится, пьет, причмокивая, потом обливается. А после чаепития обязательно затеет с Гайли какой-нибудь бесполовый разговор. Опять начнут перешептываться!..

Гайли, тот любит из себя простака изображать.

– Слышь, Мухы!.. Говорят, во Франции деревня есть то ли Манкребо, то ли Санкребо, одним словом, там уже две тысячи лет чемпионат среди врунов проводят. Как думаешь, смогли бы мы с тобой там какой-нибудь приз урвать? Говорят, один туркмен, ну, из тех, что за границей живут, участвовал и приз получил. Неужто мы хуже?

– Не-е, Гайли, я не поеду. Не достоин. Ты со старшим чабаном Халимом езжай. Он у нас – пе-ре-до-вик!..

Разве можно такое вытерпеть?.. Старший чабан Халим бросается с кулаками на старшего чабана Мухы. Гайлы начинают их разнимать:

– Бай-бов, Халим, ты что?.. Шутки не понимаешь?..

Нет, Гайли, старший чабан Халим шутки не хуже тебя и твоего старшего чабана Мухы понимает!

«Кто может подумать, что мы с Мухы не ладим? Сказать – так и то, наверное, не поверят. А если и поверят, так станут смеяться: вы, мол, что, мальчишки? И то правда, где еще увидишь, чтобы взрослые люди не могли меж собой договориться? Стыд, да и только. Ведь нет ничего такого на свете, чего нельзя было бы понять и простить. Старики верно говорили, что жить следует, гордясь друг другом. Да только, кто их слушал!.. Лишь теперь понимать начинаешь, что они неплохие вещи советовали. Хватит!.. Надо перебираться на старое место». Эти мысли в последнее время не давали старшему чабану Халиму покоя ни днем, ни ночью. Они вертелись в голове, когда пас отару и когда возвращался к колодцу, но сильнее всего мучали – стоило только опустить голову на подушку. Старший чабан Халим понимал, что не отделаться ему от этих дум, пока он не примет окончательного решения.

Он был убежден, что в пустыне нет ничего страшнее ветра. Как ты от него ни прячешься, где только ни укрываешься, ветер все равно тебя достанет. Хоть десятью кошмами укройся, все равно он к тебе проникнет. Найди самое безветренное место, он и там станет тебя посыпать песком. Засыпет с головы до ног. Потом еще не один день песок будет скрипеть под зубами. В селе, среди людей, хорошо. Там ветер человеку не страшен.

Для старшего чабана Халима вот уже полгода всякий день бушевала буря. И нет никакой надежды, что она сама собой успокоится. Надо возвращаться к старому колодцу. Там не так уж плохо. Халим еще раз в

этом убедился недавно. Конечно, теперь, когда там безлюдно, все кажется запущенным, навевает тоску. Всякое место красиво только до тех пор, пока там живут люди. Надо уходить, хотя, конечно, с этой низиной жаль расставаться. Одно лишь успокаивает старшего чабана Халима: даже если он откочует отсюда, – колодец останется, и имя его останется! Не всякому в жизни такое удастся...

Был у него недавно разговор со старшим чабаном Мухы.

– Ты спишь? – спросил он.

– Пока нет. Но если скажешь «Спи!», придется заснуть.

– Правда?

– Иначе быть не может. Это пастбище и колодец тебе, говорят, от предков достались. И сам ты передовик!

– Я думаю вернуться на старое место.

– А название «Колодец Халима» тоже с собой заберешь?

– Пусть говорят «Колодец Мухы».

Старший чабан Мухы некоторое время молча глядел в потолок, потом растерянно посмотрел по сторонам, встал, подошел к Халиму.

– Ты серьезно?

– Уйду...

– Некрасиво получится. Вроде я тебя отсюда выжил. Я уйду. Как бы там ни было, а первым сюда ты пришел. Значит тебе здесь и оставаться. А мне в степи простора хватит. Чтоб ни командывал никто, ни попрекал. Я тебе вот что давно уже хочу сказать. В последний раз, когда был в селе, видел, как наши сыновья играют. Дружно, весело. Не дерутся, не спорят. Долго я любовался ими. И, честно сказать, завидывал. Ведь и мы были такими. Целыми днями вместе, водой не разольешь. Понимали же мы тогда друг друга! А теперь нам за сорок, вроде бы кое-какой умишко накопили, но друга понять не можем. Только и выискиваем, к чему бы придраться. Разве не так?!

Слушая эти страстные слова, Халим пристально вглядывался в лицо старшего чабана Мухы. Все тот же Мухы! Вот, что значит – прямой разговор, сразу истинное лицо человека видно, – думал он.

– Верно, – прошептал Халим.

– Так почему же мы так себя ведем?

– Себя об этом спроси.

Мухы хотел что-то сказать, но молчал. Однако не потому, что не нашел нужных слов. Они давно были приготовлены. Он хотел сказать, что ничуть не слабей Халима, что и в детстве не уступал ему ни в чем, и теперь, если выпадет случай, готов вырыть колодец глубиной не три, а все десять метров. Что, хотел спросить он, если ты вырыл трехметровый колодец, имя твое должно быть увековечено? Он понимал, что говорить такие слова – глупо. Но и промолчать в такую минуту он не мог.

– Будь моя воля, я бы назвал эти места «Колодец дружбы».

– Да хватит вам об одном и том же! – вмешался Гайли. – Я вам одну интересную вещь расскажу. В газете прочитал. В Италии...

– Заткнись ты! – крикнул старший чабан Мухы и встал. Не зная, что еще сказать старшему чабану Халиму, он подошел к двери и исчез за грязной занавеской...

– Халим-джан! – Заведующий фермой Сахат отдернул грязную занавеску и заглянул в комнату. – Вставай, Халим-джан. Гемме готов, все тебя ждут.

Уже стемнело. Скатерть была расстелена. Мухы и Гайли срезали с пирога верхнюю корочку с прилипшим к ней песком. Из тростниковой «свистульки», что была вставлена в гемме, вырывался булькающий звук кипения.

– Ба-а, вот это настоящий гемме. Слава тебе, Мухы-джан! – сказал заведующий фермой Сахат с вожделением глядя на гемме, выставленный на середину дастархана, и даже сглотнул слюну. – Такой пирог только настоящий мастер приготовить может. – Давайте, снимайте крышку! Аромат какой!.. А юшка тоже, должно быть, объедение. С ней и «крышка» в дело пойдет. Ну, джигиты, вперед!

– Вкус мясу придает зелень, – не забыл напомнить Танги и первым протянул руку к гемме. – Ешьте, рябята!

Некоторое время слышалось только смачное причмокивание.

– Начальник, а ты что же не ешь? – вдруг сказал старший чабан Мухы.

– Ем, – начал оправдываться заведующий фермой Сахат.

– Нет, начальник, так не годится. Начальник не должен обманывать подчиненных. Мы так понимаем: если ты начальник, значит говорить правду – это твоя обязанность.

– Эх, Мухы-джан, нельзя мне сейчас такие сытные блюда. В знак уважения я съел чуток, но больше, извини, не могу. Да вы ешьте, не обращайтесь на меня внимания! А я, когда смотрю как вкусно вы едите, честное слово, не меньше удовольствия получаю, чем если бы сам ел. Хватит, Мухы-джан, не отвлекайся, смотри, как эти могучие львы налегают, скоро тебе ничего не останется.

– Я же для тебя готовил...

– Попрошу минутку внимания, – сказал заведующий фермой Сахат. – Я конечно понимаю, что, когда на дастархане такой замечательный гемме, грех отвлекать людей разговорами, но все же, пожалуйста, послушайте, что я вам скажу.

– Говори, начальник, – разрешил Гайли, выпирая жир с губ.

– Есть на сачаке хлеб и соль?

– Есть! – дружно ответили Сахату.

– Так вот, за этим богатым столом я хочу открыть вам, зачем сегодня приехал сюда. Поверьте, очень нелегко было до сих пор держать эту новость в тайне. Но я решил, что скажу об этом только когда все соберутся за широким щедрым дастарханом. В дороге дважды чуть не открыл эту тайну Тангы. Никто не знает, какого труда стоило мне перебороть искушение. И вот теперь настало время сообщить вам эту хорошую новость.

– Говори, начальник, говори!..

– Так вот. Я приехал сообщить, что в следующее воскресенье Халим должен обязательно приехать в село. За овцами приглядеть мы пришлем сменщика.

– Собрание будет? – спросил старший чабан Мухы.

– Халиму будут орден вручать. Орден Трудового Красного Знамени. Вот почему он обязательно должен явиться.

– За что орден? – сказал старший чабан Мухы.

– А ты не догадываешься? За то, что хорошо работал, что из года в год план перевыполняет. Работай и ты так, Мухы-джан, мы и тебя наградим. За нами не залежится!

– Ну и ну! – протянул Тангы, облизывая жирные пальцы. – Поздравляю, Халим! В честь такого события, видно, придется съесть еще один гемме. Держи руку, Халим! Зелень с меня!

Старший чабан Мухы вытер руки и отодвинулся от дастархана.

– Чего ты, Мухы? Ешь! – скахал Гайли и ловко забросил в рот кусочек мяса. – Не нравится, что ли? Наверно, зелени переложили.

– Да, нет. Всего в норму. Только я, пока готовил, уже одним запахом насытился.

– Это хорошее качество. Надо, чтобы ты каждый день еду готовил!

– Тебе лишь бы брюхо набить!..

– Хорошо бы после такой еды еще глоточек чаю, – мечтательно произнес Тангы.

– Чай мы мигом сообразим, – сказал Гайли. Он встал наполнил закопченный кувшин водой и поставил тунче на угли костра.

– А за чаем я спую для вас. Гайли-джан. принеси дутар.

– Дутара нет, начальник.

– Что ты каждый раз одно и тоже твердишь: «нет» и «нет». Нет, так надо обзавестись. Приедешь к Ханеку-багши, так у него дутар на самом видном месте. Чайку попьем, начнет он петь, так сразу кажется, что мир светлей стал. В село возвращаешься, а песня его все еще над барханами летит. Моя мечта, чтоб в каждом домике чабанском обязательно был дутар.

– Зачем мне дутар, если я на нем играть не умею, – пробурчал старший чабан Мухы.

– Я научу, – серьезно сказал заведующий фермой Сахат. – Ты только не ленись. Разве есть что-нибудь, чему бы человек не мог научиться!

– Вот из-за этого в последнее время слишком много стало певцов и музыкантов, – сказал Тангы, известный дипломатическим умением направлять разговор в нужное русло. – Некоторых слушать невозможно.

– Конечно, если человек хочет за счет музыки обогатиться. Это вроде того, как уважаемый председатель нашего передового колхоза от всякого чурека норовит хоть кусочек себе отломить, – сказал, подмигнув старшему чабану Мухы, его помощник Гайли. – Верно, Мухы?

– Что ты как молитву твердишь «председатель», «председатель». Это не председатель, а червь ненасытный, – взорвался старший чабан Мухы.

– А вот заместитель у него умелый...

– Ну, Тангы, ты как... – Гайли умолк, подыскивая слово пообидней.

– К твоему сведению, Гайли, я никогда не говорю просто так, не имея исчерпывающих фактов, – обиделся Тангы. – Шофер его за два года дом себе из жженного кирпича поставил и «Жигули» купил...

– А ты ему завидуешь? Он разбогател, воруя колхозное добро. И заместитель такой же вор.

– Вах, Гайли, а кто теперь не вор? Председатель? Агроном? Главный инженер?

– Эй, эй, Мухы-джан, остановись! Следующим в штатном расписании я иду. Ради Бога, не надо дальше перечислять. Нет, если от вас вовремя не сбежать, – плохо будет. Развязал вам пирог языки! Теперь и этим бескрайним пескам мир тесней курятника покажется. Вам только дай языками почесать.

– Нет, начальник, тобой мы от души довольны. За пять лет, что ты нами руководишь, нет чабана, который бы на тебя обиду держал. А если и найдется такой, так значит сам виноват.

– Ладно, домкратить меня не надо. Все, Тангы-джан, вставай, поедем.

– А чаек?..

– Все в порядке, Гайли-джан. Сказано умными людьми, что путника дорога украшает. Поели-попили, поговорили о том, о сем. Ни в чем недостатка не было. Спасибо вам за все, – заведующий фермой Сахат поднялся, пожал руки всем поднявшимся вслед за ним. – Разговор наш в следующий раз продолжим, а то ему конца не видно. Ну, до свидания, будьте здоровы!

– Счастливого пути!

– Гайли-джан, в следующий раз обязательно привезу дутар. От чего бы, ребята, честное слово, не наполнить нам Каракумы звуками дутара!..

Старший чабан Мухы пнул лежавшую на земле саксаулину и, ворча что-то себе под нос, повернул к домику...

На колодце Халима снова остались только три хана...

1986 г.

СВОЁ – НЕ ХОРОШЕЕ

Гаип-башлык настолько привык к голосу своей жены, который непременно сопровождает и обед его и чаепитие, что без него чай ему – не чай, и отдых – не отдых. Вот что значит привычка. Тетушка Сенем начинает тараторить, когда еще чайники несет.

– Не могу больше терпеть, отец. За что, спрашивается, мне такое мучение? – Она поставила перед мужем, который пришел домой пообедать, пузатый фарфоровый чайник и... умолкла. Держала паузу, видимо, дожидаясь, что муж поинтересуется, о чем идет речь. Прежде такого за ней не замечалось: уж если начнет говорить, так и слова не вставишь.

– Это что ж тебя так, жена?.. – произнес Гаип-башлык, чтоб подвинуть тетущку Сенем к продолжению разговора. О чем пойдет речь, его нисколько не интересовало.

– А ты как думаешь? – Тетушка Сенем подхватила реплику и тут уж вошла в свою роль. – Корова наша проклятая, чтоб рога у ней обломались! Уж не знаю, с какой стороны подступиться. Бешеная какая-то. Как начнет брыкаться, так без собаки к ней и не подойдешь. Правда, правда!.. А жрет – все подряд. Только успевай подавать. А потом уставится, точно сорок дней ее голодной держали. И мычит. Замычит, так считай пропало. Ты ей хоть воду давай, хоть сено подкладывай, мычит – и все.

– А что ж она не мычит, когда я дома?

Тетушка Сенем и глазом не моргнула.

– Вот такая вредная корова! Как увидит, что ты из дому ушел, так и начинает реветь. Ты – домой, она молчит. – Она кашлянула, прочищая горло, а заодно, чтобы подготовить мужа к самой важной информации. – Такой противной коровы, отец, наверно, на всем белом свете нет.

– Сколько у нас эта буренка?.. Года еще нет. А помнишь, как ты ее расхваливала? Уж не в твоих ли, жена, руках она, бедняжка, в самую плохую на свете корову превратилась? – Гаип-башлык не стал уточнять, что вопрос риторический. Понадеялся на догадливость тетущки Сенем.

Он не ошибся. Тетушка Сенем сразу смекнула, куда муж клонит. Но она прекрасно знала и другое: куда бы он ни клонил, сколько бы не упирался, но в конце концов будет так, как она решила. Слава богу, не в первой.

– Ты меня, отец, не подкалывай. Я ж не ясновидящая, чтоб с одного взгляда понять, какой у коровы норов.

– А кто говорил, что никакая другая корова столько молока не дает?!

– Я говорила. Но только зачем мне это молоко, если каждая его капля такими мучениями достается.

– Мучениями, – передразнил жену Гаип-башлык. – Что у тебя за хозяйство? Какие трудности? Мой бы груз на тебя переложить, тогда бы, может, поняла, что такое трудности. Ты – жена председателя колхоза. Можно сказать, у всех на виду. В колхозе я тебя работать не заставляю. Но дома – уж будь добра!..

– Да как увижу эту проклятую, так, честное слово, руки опускаются. – Тетушка Сенем подпустила слезы в голос.

Председателю препираться надоело, но и безоговорочное свое поражение признавать тоже не хотелось.

– Где ж ты покупателя найдешь на самую проклятую на свете корову?

Ох, уж эта ирония!.. Но тетущка Сенем знала, что близка к цели, а потому муж мог иронизировать сколько ему заблагорассудится.

– У нее это что ли между рогами написано? А даже и было бы написано, так никто читать не станет. Люди за честь почтут, хоть что с нашего двора купить. – Тетушка Сенем задумчиво посмотрела в окно. Мысленно она уже с кем-то торговалась и единственное чего боялась – продешевить. Действительно, сколько же за эту корову можно взять? Она подлила мужу чай и сказала: – Уж лучше бы я в гости к Мамагуль не ездила. Как увидела ее корову – залобовалась. Во всем их селе нет коровы лучше. Вот какая мне корова нужна: смирная, ласковая. Стоит спокойно, даже головы не повернет. А какой теленок?! Ты бы его увидел, так тоже бы глаз оторвать не смог. Может купим, отец, а?.. – Теперь черед тетущки Сенем задавать риторические вопросы. Можно было бы, конечно, обойтись и без этого, но в стратегическом плане такой вопрос необходим. Почему? Так и быть, открою секрет. А вдруг и эта корова плохой окажется? Мало ли что Мамагуль говорит, на всякий случай надо и к худшему подготовиться. Как-то спокойней на душе, когда знаешь, что в любой момент можно сказать: «А разве не сам ты говорил покупай!». Вот почему так

важно добиться от мужа ответа. — Ты чего молчишь, отец? Как скажешь, так и будет. Если решил купить, так и не станем тянуть. Возьмем? Ну, говори же. Купим, да?

Гаип-башлык почувствовал, что кольцо окружения сейчас сомкнется. Он взглянул на жену, сглотнул слюну и с решительным видом встал.

— Посерьезней разговор есть, чем о корове... Ты давай, крепенького чаю мне завари да неси в дальнюю комнату. Я там пообедаю. А пока ты чай завариваешь, я переоденусь.

— А в этой комнате что, крепкий чай пить нельзя? И обед готов.

— Я говорю, серьезный разговор. С глазу на глаз, поняла? — Гаип-башлык снизил голос и с таинственным видом посмотрел по сторонам, словно кто-то их мог подслушать.

Чтоб добиться своего, в чем-то порой приходится уступать. Раз муж сказал, что будет обедать в дальней комнате, значит так тому и быть. Может и в самом деле есть важный разговор. Не споря больше, Сенем-эдже отправилась хлопотать о крепком чае. Заварила, принесла в дальнюю комнату и, ни слова не проронив, поставила чайник перед мужем. Гаип-башлык придвинул чайник поближе и прилег, упершись локтем в подушку, всем своим видом показывая, что теперь он готов продолжить беседу. Но о чем?.. Что еще за важный разговор?.. Сенем-эдже было любопытно, но, с другой стороны, где ж взять терпения, чтоб дожидаться, когда созреет ее уж чересчур степенный муж. Можно подумать, что только у него важные дела.

— Дочка, между прочим, сегодня приходила. Приехала со своим усатым муженьком, — сообщила Сенем-эдже.

— К черту и дочку твою, и мужа ее усатенького! — Помянув черта, Гаип-башлык по привычке глухо кашлянул. — Пустая у нее голова, пустая! Я удивляюсь, отчего это девушкам чужие парни лучше своих кажутся. Так и норовят замуж выскочить за незнакомого, в чужое село да еще, чтоб подальше. Бывают же такие дуры!

— Вышла бы за кого из соседей, — подхватила Сенем-эдже, — так и уважали бы ее побольше. Приходила бы к родителям, когда захочется, взяла бы из дому, что нужно. На дочь башлыка косо никто не посмотрит...

— Не смогла ты ее воспитать как следует!..

— Воспитание она, отец, получила, — Сенем-эдже вся собралась, приготовившись к обороне, — нельзя же в самом деле допустить, чтобы все твои труды пошли насмарку! — Просто мода теперь у девушек такая. Самостоятельности хотят. Вот и наша за этой проклятой модой погналась. Иначе разве бы пошла против материнской воли. Можно подумать у меня душа не болит. И днем и ночью думаю, чем этот усатый ее приворожил. Неужто его усы ей милей, чем родители. Это ж надо: ради мужа от родителей своих отречься! Мы разве такие были? Родителей душой и сердцем уважали. Как они решат, так и было...

— Правильно. Поэтому и живешь счастливо... — начал Гаип-башлык, но развить эту мысль не успел. Сенем-эдже пропустила его реплику мимо ушей.

— Так вот. Гляжу я на нее и думаю: натворила дел, доченька, зачем теперь-то пожаловала. И этот, усатый герой, стоит, подбоченясь, рядом, точно гору своротил. Спрашивает: «Может, какая помощь нужна. Только скажите, все сделаю». «Ты уже свое сделал!» — думаю, а вслух, значит, так резко говорю: «Ты, парень, знай, мы ни в чьей помощи не нуждаемся. Это к нам помощь просить приходят!». Ах, какая у меня дочь скромная была!.. Это ты, Гаип, виноват, что она из дому убежала.

Гаип-башлык ушам своим не поверил. Он так и замер, удивленно выпучив глаза.

— Да, да, не смотри на меня так!.. — Сенем-эдже знала, что для достижения победы мало обороняться, надо атаковать. Истина эта, в общем-то, широко известна, но Сенем-эдже постигла ее не с чужих слов, не в мемуарах какого-нибудь полководца вычитала. — Ребенка не одна мать воспитывать должна. Отцовское воспитание — особое. А ты?.. Тебе несчастный хлопчатник дорожке собственных детей. С утра до ночи в поле. Ну-ка, вспомни, когда ты интересовался, чем твои дети занимаются, как они учатся?! Все я, все я. А у меня тоже не десять рук и голова, между прочим, тоже одна...

Гаип-башлык принялся ногтем прочерчивать узоры ковра — есть у него такая привычка. Уж кому-кому, а тетушке Сенем хорошо известно, что это означает. Муж признал свое поражение.

Наступило тягостное молчание. Но по-настоящему насладиться победой Сенем-эдже не успела: в дверях появился Деркар, ее тринадцатилетний сын.

– Мам, а я вас везде ищу! – Деркар посмотрел на отца, что лежал упершись локтем в подушку и низко склонив голову, потом на мать, которая сидела слегка откинувшись назад и как бы свысока поглядывала на мужа. – Что вы тут делаете?

– Да так, разговоры вяжем, сынок.

– А я травы принес. Полный мешок. Аж у старого мавзолея собирал!..

Гаип-башлык только что выслушавший упрек, причем справедливый упрек тетушки Сенем, вспомнил о своем отцовском долге.

– Молодец, сынок. Доброе дело сделал. Только не надо было так далеко ходить. По обочинам тоже травы много.

Деркар пропустил эту реплику мимо ушей.

– Мам, теперь можно пойти поиграть?

Сенем-эдже не ответила. Она посмотрела на мужа и как бы приободрила его, мол, сам скажи. Гаип-башлык тяжело вздохнул, ища выход из непростой ситуации.

– Надо же, какие времена настали. Раньше сено тележками домой везли, а теперь ребенок должен собирать. Поиграй, сынок. – Сенем-эдже удивленно посмотрела на мужа, и Гаип-башлык предостерегающе поднял руку. – Траву корове не давай, сынок. Мы ее сейчас продавать будем.

Деркар ушел, но почти сразу же вернулся.

– Папа, там тебя кто-то спрашивает.

– Скажи, что папы нет – в район уехал, – распорядилась Сенем-эдже.

Деркар ушел, притворив за собой дверь. Гаип-башлык, зная, что покоя теперь не будет, заторопился:

– Значит, вот какой разговор, жена, – начал он, но продолжить не успел, потому что тетушка Сенем решительно поднялась.

– Я побегу, надо соседям сказать, что корову продаем.

Если женщина, не дай бог, что-нибудь задумает, так потом ни другим, ни себе покоя не даст. Разве могла Сенем-эдже, буквально вырвав у мужа разрешение, терпеть, чтобы самая проклятая на свете корова оставалась в ее хлеву? Разумеется, нет.

– Потом поговорим, отец, – сказала она, выходя из комнаты. Так серьезный разговор был отложен до вечера.

Стоило сообщить новость соседке, как через некоторое время хлынули покупатели. Чуть ли не все село собралось. Видя такое дело, Сенем-эдже сказала, чтобы люди сами назвали цену. Тотчас объявился посредник, и разгорелся торг против которого иные международные аукционы просто детская игра. Тем, кто надеялся купить председательскую корову задешево, пришлось прикусить губу. Не прошло и получаса, как буренка сменила хозяина. Им стал самый предусмотрительный, что захватил с собой побольше денег. А те, что замешкались, даже поторговаться не успели, им осталось только завистливо наблюдать, как счастливчик, обмотав веревкой рога собственного счастья, гордо ведет к себе домой бывшую председательскую корову.

Полдела было сделано, но Сенем-эдже не позволила себе отдыхать. Вместе с Деркаром отправилась она в соседнее село к Мамагуль, и еще засветло они вернулись обратно, гоня перед собой корову с теленком. И даже после этого отдыхать было рано. Вывалив в ясли всю заготовленную Деркаром траву, Сенем-эдже издали понаблюдала за коровой, рассмотрела ее со всех сторон и, придя к заключению, что никогда прежде не было у нее такой ладной, такой замечательной коровы, позволила наконец себе немного расслабиться.

Она бы и чайку, может, выпила, если бы для этого не требовалось идти в дом, а следовательно, разлучиться с новобретенной коровой. Пить же чай в хлеву Сенем-эдже остереглась – еще увидит кто из соседей. Она заняла наблюдательный пункт на айване и стала дожидаться мужа. Когда же он приехал, то первым делом повела его любоваться своим приобретением.

– Вот, отец, о какой корове я всю жизнь мечтала! Смотри, какая спокойная. А теленок... Вылитая мама! За ужином тоже только и было разговоров, что о новой корове.

– Помешалась ты на этой корове, – позволил высказать свое недовольство Гаип-башлык, когда дети ушли спать.

– Молока я не много надоила, пустила к ней теленочка, – сообщила в ответ Сенем-эдже в десятый или даже может быть в одиннадцатый раз за вечер. И, видимо, почувствовав, что терпение мужа сейчас лопнет, прибавила: – Вот теперь, отец, я спокойна.

– Зато мне покоя нет, жена, – сказал Гаип-башлык, направляя русло беседы к тому серьезному разговору, что в обед был отложен до вечера.

– Что еще случилось?

– Работники, черт бы их побрал... Ни на кого положиться нельзя. Думаешь, вот, наконец, нужный кадр, а оказывается – нет. Как у русских говорится: «Федот, да не тот!».

– Выгури этого Федота. – Тетушка Сенем предпочитает меры простые и решительные.

– Выгурить. Легко сказать. Кадров нет для замены. Предположим, выгоню, а кому дела их передать?

– Назови-ка, хоть одного, кто не тот.

– Абды, наш главбух. Зла не хватает. Простым бухгалтером в соседнем колхозе работал. И кого я только не упрасивал, чтоб его к нам перевели?.. Перевели. Двух лет еще не прошло, как кресло главбуха занял, а наворовал уже столько, что страшно становится. Ревизоры сказали, что с первого дня работы начал хитрить. Из-за него и мне выговор влупили. А я в чем виноват: сказали – хороший работник, вот я и доверился.

– Что-то тут не так, отец. Ведь Абды человек мягкий, скромный. Мне всегда «гелнедже» говорит, готов любую просьбу выполнить.

– Вот, вот. Эти просьбы выполняя и натворил дел. – Гаип-башлык шумно вздохнул. – Вот теперь и ломаю голову, кого на его место посадить.

– Не хорошо получилось, – с сожалением произнесла Сенем-эдже, перед мысленным взором которой в этот миг было жалкое лицо всегда вежливого и угодливого Абды.

– Правление проводил. Многие предложили Серхена. Но я не согласился.

– Серхен?.. Это кто такой?!

– Да один парень из первой бригады. Толковый, с высшим образованием. На какую работу его не направишь, он и слова наперекор не скажет. Но не ужился с Абды. Верней, Абды его за что-то невзлюбил. Каждый день на меня наседал, умолял, чтоб избавил его от Серхена. Я и отправил парня табельщиком в пески. Теперь его в контору вернуть, значит свою ошибку признать. Мне кажется, что лучше человека со стороны пригласить.

– Обратись в район.

– Сказали, чтоб такие вопросы сам решал.

– С Абды говорил?

– Говорил. Рекомендует одного односельчанина своего. Молодой, недавно финансово-экономический техникум закончил. Побеседовал с ним – с первого раза неплохое впечатление.

– Справится, – сказала Сенем-эдже, которая знала, что хочется услышать мужу. – А если кто из бухгалтеров с высшим образованием станет шум поднимать, скажи, что сверху указание.

– Вот это ты верно сказала! – обрадовался Гаип-башлык.

На этом совет закончился, но не закончилась наша история.

Обманула новая корова надежды тетушки Сенем. Ладная и смиренная, но ведь корова еще и молоко давать должна. А с этим у нее, как говорится, была напряженка. Недели не прошло, как желанная корова окончательно обесценилась в глазах Сенем-эдже. И она не скрывала своего разочарования. Прийдя в один прекрасный день на обеденный перерыв Гаип-башлык почувствовал, что жена нынче не в духе. День, как уже говорилось, стоял прекрасный, настроение у Гаипа было приподнятое, и потому он не придал этому значения.

– Ну-ка, жена, неси чай! – весело скомандовал он. – На топчане посидим, на свежем воздухе.

– Что ж, можно и на топчане почаявничать, отец... – Голос Сенем-эдже дрогнул, она запнулась, не зная, как сообщить мужу о корове. – Что не делаю, все не так выходит. Наша новая корова, отец, совсем без молока оказалась. Говорила же Мамагуль, да я внимания не обратила.

– Так... Где приобретаем очередную корову? Небось уже есть двор на примете? – улыбнулся Гаип-башлык. Сенем-эдже сделала вид, что не заметила этой усмешки.

– Стоит, как вкопанная, даже голоса не подаст. Я, отец, боюсь, как бы с чей чего не случилось. Как бы не околела... Да, поторопились мы, отец. Не стоило старую корову продавать. Помычала бы и перестала. Это ты, отец, виноват. Надо было меня отговорить, а ты даже слова против не сказал. – Произнеся эти слова, Сенем-эдже внутренне замерла, ожидая, как муж отреагирует на ее упрек.

– Что-то Деркара не видно?

Очень неожиданный вопрос. Сенем-эдже почувствовала, что разговор уходит из-под ее контроля.

– За травой его послала.

– Опять к мавзолею отправился?

– А куда же еще.

– Что, поблизости травы нет? – Гаип-башлык скинул туфли и забрался на топчан. А так как Сенем-эдже молчала, ему пришлось самому ответить на свой вопрос. – Ничего в мире не меняется. Мы и сами ходили черти куда, пять-шесть километров не лень было мешок тащить, хоть рядом с домом травы сколько угодно.

– Все мы такие были, – дипломатично согласилась Сенем-эдже, а сама тем временем лихорадочно обдумывала, куда клонит муж. С чего это он вдруг заговорил о сыне, прошлое стал вспоминать. Не хочет о корове говорить? Ну и правильно! Ей даже стыдно стало, что она докучает мужу по пустякам. Можно подумать, что у него без коровы хлопот мало. Сенем-эдже решила, как ей быть. Она продаст корову и купит новую... Разве Гаип в хлев заглядывает? Нет. И правильно делает! Пусть у него о семейных делах голова не болит. И в полной мере оценив деликатность мужа, Сенем-эдже решила показать, что и ей небезразличны его заботы.

– Как на работе дела, отец? Все уладилось?

– А как же иначе!

– Я так и знала.

– Разве есть что-нибудь, чего ты, Сенем, не знаешь? – похвалил жену Гаип-башлык.

– Да!.. Тут с утра, отец, несколько человек приходило. Все такие приветливые. Должность нужна. Никому не охота в поле потом обливаться.

– Ну и что?

– Сказала, чтобы к тебе обращались, к башлыку.

Гаип-башлык улыбнулся.

– А народ, между прочим, тебя за глаза Сенем-башлык кличет.

– Мало ли что завистники говорят.

В этот миг приятный разговор супругов был прерван громким куриным кудахтаньем и хлопаньем крыльев у ворот.

– Кыш, кыш! – крикнул Гаип-башлык. Надо сказать, что хотя многие в колхозе побаивались его грозного голоса, нахальные куры на него никак не отреагировали. – Сенем, сколько раз просил – не выпускай кур.

– Я и не выпускаю, отец. Это соседские.

– Ишь ты. Даже не думают, что они в чужом дворе.

– Устала уже соседям говорить. Обещают не выпускать, а делают по-своему. Придется сказать им слово покрепче. Нечего своих кур у нашего порога откармливать! – Взгляд тетушки Сенем остановился на одной из кур. – Ты посмотри, отец, какая курочка. И у нас такой нет. Такая хорошенькая...

– Соседская плешивая курица красивей лебедя кажется... Не слышала этой присказки?

– Да ты посмотри, отец. Грудка какая!.. Из нее такой плов получится, – мечтательно произнесла Сенем-эдже.

— А наши куры для плова не годятся?
— Плов плову рознь, отец. Из этой курицы не плов будет — объедение. Если не так, значит я уж совсем ни в чем не разбираюсь. Поговорю я с соседями, а, отец? За такую курочку и денег не жалко.
...Надо ли уточнять, что на ужин был плов и что соседской курице не удалось миновать казана тетушки Сенем. Однако справедливости ради надо отметить, что плов и в самом деле получился отменный!..

1987 г.

КАПЛИ

Земля-кормилица

Земля-кормилица превыше всего. И горы сней не сравнятся.

Почему?

...Пошел снег. Валил днем и ночью не переставая. Все вокруг сделалось белым-бело, не разбираешь, где горы, где холмы, где поля. Но выглянула солнышко и улыбаясь, точно добродушный человек, принялось расчищать снежные заносы. Первыми поля свою снежную шубу скинули, а вот на горных вершинах, что в самое поднебесье упираются, до середины лета снег лежал.

Земля-кормилица превыше всего.

Буря

Потемнело небо, налетел с севера ветер, поднял пыль, закрутил ее столбом, С воем обрушился ураган на большое село. И в один миг проверил кто какой хозяин: построенное абы как — разрушил, вещи, брошенные где попало, — унес с собой, стога, что сметаны были на скорую руку, — раскидал по всему полю.

Напугал сельчан ураган. Вспомнили они приметку, что «после ветра — дождь», и принялись к ливню готовиться.

Дождь пошел вскоре, да только их село стороной обошел, обрушился на соседей, где его не ждали...

Крылья

«Конь — крылья человека». Так сказали наши давние предки, ибо эти чудесные крылья открыли им простор мира и возвысили душу, даря ей страстное желание жить.

Красивые крылья. Надежные крылья. Крылья, способные, перенести своего хозяина, куда он не пожелает. Крылья, помогавшие соединиться влюбленным. Крылья, служившие опорой в старости. Крылья, заставлявшие дрожать врагов. Крылья, уносившие в край мечты мальчишек...

Сродни солнцу были для них эти крылья. Без них жизни они себе не представляли.
С тех пор далеко вперед жизнь шагнула.
Прогресс.
Научились люди обходиться без крыльев.

Дождь

Весна выдалась дождливой. Чуть ли не каждый день небо было затянуто черными тучами. Сверкнет молния, раскатисто прогрехочет гром, и через некоторое время на землю обрушатся потоки дождя. Не успеешь оглянуться, а уж все вокруг затопило.

При первых признаках дождя люди разбегались и прятались кто куда. Но на погоду не роптали, считая, что так и должно быть.

Среди лета небеса снова разразились ливнем — видно, остался один в запасе с весенней поры. Надолго запомнился этот дождь. Еще много времени спустя судачили люди о странностях природы.

Черепаха

С приходом осени черепаха закопалась в песок и сладко уснула. Лишь когда весеннее солнце стало уже изрядно припекать землю, очнувшись она от зимней спячки. Неторопливо освободилась от своего песчаного одеяла и, высунув голову из-под панцыря, стала оглядывать окрестности. Первым, кого она увидела, был варан. Варан тоже ее заметил и с грозным шипением метнулся к черепахе. Он принялся суежливо разрывать песок и вскоре откопал небольшое черепашее яйцо. Но проглотить его не успел, ибо откуда не возьмись над ним нависла большая сильная кобра.

Черепаха торопливо спряталась под панцырь, и стала следить за тем, как спорят меж собой варан и кобра. Больше всего на свете ей хотелось, чтобы спорщики побыстрее разобрались друг с другом, и она смогла снова закопать яйцо в песок.

Стараясь прогнать змею, варан раздувал щею и яростно бил хвостом по песку. Но кобра даже не думала отступать. Она высоко подняла свою плоскую голову, угрожающе шипела и, раскачиваясь из стороны в сторону, завораживала противника. Наконец это ей надоело и она молниеносным броском атаковала варана. Укус ее пришелся точно в жилу, вздувшуюся от напряжения у него на затылке. Нанеся удар, кобра тотчас отступила и приготовилась к ответной атаке.

Жгучая боль пронзила варана, точно молния. Закидывая голову, он раз за разом пытался дотянуться до места, куда его поразила кобра. Но эти попытки только отнимали у него силы, и, наконец, он, пошатываясь на ослабевших лапах, отступил к росшей неподалеку гармале, стал тереться о куст и, когда боль чуть ослабла, напал на кобру. Он ударил ее туда, где туловище поднималось над землей. А когда кобра изогнулась, чтобы укусить его, ухватил ее за голову.

Умирающая кобра билась в агонии. Движения ее делались все медленнее, пока она не затихла навсегда. Но и варан ненадолго пережил змею. Он свалился рядом с черепашим яйцом — из раны на холке сочился густой желтый гной.

Некоторое время спустя черепаха приблизилась к яйцу, обнюхала его, а потом заботливо закопала в теплый песок.

После этого она с черепашим упорством стала карабкаться по склону холма, у подножья которого валялись дохлая змея и околевший варан, не сумевшие поделить яйцо черепахи.

Казан мошенника

Сказано: «У мошенника казан не закипит, а если и закипит, то радости никому не доставит!». Может и так, но вот у этого пройдохи казан весело булькает уже не первый год.

Отличный у него казан. Большой, вместительный. Каждый день наш мошенник тащит домой тяжеленную сумку с мясом. Несет ее, воровато озираясь по сторонам, стараясь не попадаться на глаза соседям. Не-ет, от людей не спрячешься! Люди все видят. Видят, но делают вид, что не видят. И будьте уверены: если попытаетесь вывести мошенника на чистую воду – они вам спасибо не скажут.

Каждый вечер вокруг этого казана собирается целая толпа народу. Порядочные, солидные, образованные люди. И вот эти уважаемые люди в гостях у мошенника выпворяют такое, чего в другом месте никогда и ни за что себе не позволяют. Изображают бьющее через край веселье, деланно смеются над второсортными шуточками. Лишь бы угодить хозяину. Хоть этим облагодарить его за угощение. А сам мошенник веселится от всей души. Хохочет так, что стены трясутся.

Правда, в иные дни огонь под казаном едва тлеет. Мошенник сидит, понунив голову. Ему одиноко. И тогда, чтобы прогнать тоску, он кладет в свой казан побольше мяса. Парного, отборного, без единой косточки!.. И снова спешат в гостепримный дом всеми уважаемые люди.

Веселье!.. Пир герой!..

Ночь, но смех мошенника не дает спать всей округе.

...Засыпают соседи лишь поздно за полночь, успокаивая себя тем, что жизнь мошенника все равно добром не кончится.

Вечность

Мавзолей Султана Санджара.

В былые времена вокруг него шумел богатый город. Высились неприступные крепостные стены. Утопали в зелени садов дворцы, поражавшие современников своим великолепием. Тянулись в самое небо минареты.

Но что творит время!

Дворцы и минареты, когда-то окружавшие мавзолей, давно уже сравняло с землей. Лишь кое-где виднеются их руины. Некогда неприступная крепостная стена полузасыпана песком пустыни.

Мавзолей Султана Санджара.

Тепер лишь он один царствует над всей округой.

Тишина.

Вечность.

Вот так время испытывает на прочность, на подлинность. Увы, жизнь человеческая слишком коротка, чтобы использовать подобный метод испытаний.

1987 г.

ИСКУССТВО ОБХОЖДЕНИЯ

I

...Какие только шутки не играет судьба с людьми, стремящимися к богатству. Словно юноша, влюбленный в красивую женщину, человек всю жизнь гоняется за ним. Уж, кажется, на все он готов, чтобы завладеть богатством, привязать его к себе. И все равно не дано ему насытиться до конца. Богатство сводит людей с ума, смеется, издевается над ними. А однажды, словно взбесившаяся река, прорывает плотину в неожиданном месте и уходит, как вода в песок, оставив человека ни с чем.

Вот и двадцатитрехлетний извозчик Мирзо Ахмад только ради будущей удачи согласился отправиться в далекий путь и в конце концов попал в такую глушь, которая поначалу казалась ему настоящим краем земли. Да что там! Сна он из-за мечты своей лишился: никак не мог отделаться от видения, как, доставив в целостности и сохранности имущество Шарифджана-махтума, получает от него обещенное. Мысленно он эти деньги и пересчитал уже не один раз.

Бедность делает человека фантазером. Мирзо Ахмад всю жизнь мечтал досыта наесться пышного белого хлеба и жениться на одной из тех луноликих красавиц, что сводят с ума всех парней Бухары. Ничему другому в его мечтах места уже не оставалось...

В детстве он несколько лет учился читать и писать. Но то ли учитель ему попался плохой, то ли сам Мирзо Ахмад не рожден был для книжной премудрости – как бы там ни было, от той поры в его памяти сохранились одни упреки, которые слышал он и в мечети и дома. Потом его и вовсе перестали посылать к мулле. С утра до ночи носился он по Бухаре в поисках куска хлеба и, если удавалось его раздобыть, – засыпал счастливым сном.

Снилось ему, что находит он клад, становится богатым, и это было так прекрасно, что весь следующий день жил он воспоминаниями об этом чудесном и, как ему верилось, вещем сне. Когда Шарифджан-махтум, назначенный казы Керкинского бекства, нанял его перевезти свои вещи, а напоследок сказал: «Если захотите, останетесь со мной. Я вас в обиду не дам», Мирзо Ахмад рассудил, что счастье наконец-то улыбнулось и ему. «Останусь, – решил он. – Хуже мне не будет. А не понравится – всегда могу уйти...» Мечты о настоящем, большом богатстве не давали ему покоя, и чтобы они осуществились, готов он был на любые испытания.

Удача, похоже, стала сопутствовать ему с самого начала путешествия. В обозе, состоявшем из трех подвод, повозка Мирзо Ахмеда была посередине, и всю дорогу он мог спокойно предаваться мечтам. Когда передняя подвода останавливалась, натягивал вожжи и он, когда трогалась с места, Мирзо Ахмад следовал за нею. Лишь когда дорога привела их в густые заросли, что тянулись по правому берегу Амударьи, на сердце сделалось немного тревожно.

А когда до границы Керкинского бекства оставалось уже совсем немного, им повстречались всадники-туркмены в шелковых халатах и черных папахах. Их было пятеро, выглядели они воинственно, и не похоже было, что они уступят дорогу мирным путникам. Шаджан, что правил передней подводой, съехал на обочину, а когда всадники проезжали мимо, сказал с укоризной:

– Так гостей разве встречают?

– Молчи, если тебя не спрашивают! – прикрикнул на Шаджана Шарифджан-махтум.

Мирзо Ахмад смотрел на всадников, словно зачарованный, глаз не мог отвести и дрожал мелкой дрожью, мысленно он уже распростился с жизнью. Даже когда всадники проехали мимо, он долго еще не мог успокоиться. Все ждал, что те вернутся, чтобы ограбить их беззащитный караван. «Ох, беда, Мирзо Ахмад, жадность тебя погубила, – в мыслях причитал он, придумывая слова, какими станет молить разбойников о пощаде. – Жилось тебе хоть голодно, да спокойно, а теперь душу отдашь ни за грош...» Но время шло, а всадники не возвращались, и в конце концов Мирзо Ахмад решил, что на этот раз беда миновала. Он с облегчением вздохнул, стер со лба холодный пот, и принялся торопить свою лошадку – «Чув! чув!».

Вскоре дорога, долго петлявшая в прибрежных джунглях, вывела их к небольшому селению. Его обитатели ждали их. За главного был у них богатырского сложения человек. Когда возок Шарифджана-махтума приблизился, он почтительно склонил голову.

Шарифджан-махтум слез с подводы и холодно поздоровался со встречавшими.

– Добро пожаловать в наши края, Шарифджан-махтум! – произнес богатырь, выступив вперед. – Уже неделю ждем вас, глаз с дороги не спускаем. Я тревожиться начал, что вы не через Керкичи проследуете, минуете наши края. Рад, искренне рад нашей встрече. Уж коль ступили ногой в пыль нашего селения, прошу отведать у меня хлеба-соли.

Казы как-то нехотя приказал Шаджану свернуть в село. Мирзо Ахмаду не понравилось, что Шарифджан-махтум сидит в повозке с отреченным видом, словно не замечая радости встречающих. Хеким-

пальван – так звали богатыря – то мчался вперед на своем светло-сером жеребце, то возвращался, но все время с его лица не сходила широкая радушная улыбка. Мирза Ахмаду хотелось, чтобы и его хозяин столь же радушно улыбнулся Хаким-пальвану.

К счастью гостеприимный хозяин не замечал холодности казы.

– Мы очень рады вашему приезду, – в который уж раз заверял он почетного гостя. – Люди-то совсем распоясались. Если не призвать народ к порядку – добра не дождемся. Есть в крепости один писарь, Бабыр Хайит оглы зовут. Ведет себя дерзко, только и слышишь от него, что он писарь казы, что все дела идут через его руки, что без него в бекстве ни один вопрос не решается. Сколько раз я просил бека, чтобы этого наглеца убрали от нас. А он всякий раз отвечал, что решит этот вопрос, когда прибудет из Бухары казы... Предупреждаю вас, Шарифджан-махтум, если сразу за Бабыра строго не возьметесь, трудно потом с ним сладить будет.

Мирзо Ахмад, полулежа на своей телеге, не отрывая глаз следил за Хекимом-пальваном. Ему нравилась его уверенная посадка в седле, его спокойная рассудительная речь. Хотелось иметь такой же блестящий и ладный, как у него, шелковый халат, такого же горячего красавца-жеребца. «Живет, видно, как его душе хочется. Да, – мечтал Мирзо Ахмад, – только так жить на свете и стоит». А когда увидел он четыре белые восьмикрылые кибитки и сколько людей бегают, прислуживая баю, ловя на лету всякое его приказание, и какие вкусные угощения готовят для гостей, его мечта о богатстве сделалась почти невыносимой.

А уж какое замечательное угощение выставили перед гостями из Бухары! Ни на кого не обращая внимания, Мирзо Ахмад торопливо уплетал яства, о многих из которых прежде даже не слышал, – вот уж набил брюхо. А потом Хеким-пальван подарил каждому гостю по красивому теплему халату-дону – разумеется, Шарифджану-махтуму еще кое-что досталось. Такое обхождение Мирзо Ахмад видел впервые в жизни.

Он снял свой потрепанный халат и надел новый, полученный в подарок. Ему казалось, что нет на свете человека радушнее и щедрее, чем Хеким-пальван. Еще ему вспомнилось предложение Шарифджана-махтума: «Если захотите, останетесь у меня. Я вас не дам в обиду». А что, совсем неплохо ездить вместе с казы по селам, получать подарки. От одной этой мысли он почувствовал себя счастливым и богатым. Лишь одно огорчало – в крепости их ждет встреча с надменным и жадным человеком, каким представлялся ему Бабыр Хайит оглы. Пребывая после сытного обеда в умиротворенном состоянии, Мирзо Ахмад лениво думал о том, что неплохо бы и Бабыру быть таким же щедрым, как Хеким-пальван, но определенно в этом мире нет совершенства.

До городка добрались, когда уже начало темнеть. Мимо шли люди, не обращая на их обоз никакого внимания. По тому, как беспокойно ерзал на передней подводе Шаджан, Мирзо Ахмад догадался, что тот весьма огорчен таким безразличием керкинцев, однако помалкивает, помня выговор, полученный днем от Шарифджана-махтума. И лишь когда доехали до базара и остановились у небольшого дома, из которого через некоторое время после того, как Мирзо Ахмад обухом плети постучал в тускло светящееся окно, вышел красивый мужчина лет пятидесяти, Шаджан не удержался и проворчал:

– Разве гостей так встречают?

– Я гостей не звал, – холодно ответил Бабыр Хайит оглы, ибо кто это еще мог быть. Говорил он на фарси.

– Слышите, Шарифджан-махтум, что он говорит? Да он еще наглей, чем нам о нем говорили. Гнать его надо! – Мирзо Ахмад соскочил со своей телеги и вплотную приблизился к Бабыру. – А ну, убирайся отсюда!

Однако руку на него Мирзо Ахмад поднять не посмел, оглянувшись, с надеждой посмотрел на казы. Тот равнодушно глядел куда-то вдаль, словно происходящее его ничуть не касалось. Пришлось Мирзо Ахмаду отступить.

Бек распорядился временно выделить Шарифджану-махтуму под казыхану помещение в караван-сараях. Там казы поселился, там же была его приемная. Когда рано утром Мирзо Ахмад по приказанию

хозяина открывал ставни, это означало, что казы готов к приему просителей. Бабыр Хайит оглы по-прежнему сидел под навесом с левой стороны от базара, и с утра до заката вокруг него толпились люди. Желавшие обратиться к казы шли сначала к его писарю и объясняли ему, на что жалуются. Выслушав их, Бабыр Хайит оглы писал прошение на имя казы, с которым просители шли к Шарифджану-махтуму. Кроме этого Бабыр Хайит оглы переписывал разные бумаги, которые приносил ему от казы Мирзо Ахмад. По пять – шесть раз за день приходилось тому пересекать базарную площадь. В остальное же время (разумеется, если казы не отправлялся в поездку) Мирзо Ахмад дремал, сидя в прихожей казыханы. Он быстро привык к этой легкой работе и Керки теперь не казались ему краем света, как прежде. Да и керкинцы оказались вовсе не такими зловредными, как представлялось ему вначале. Особенно же ему нравилось, что люди почтительно называют его кучером достопочтимого господина казы.

Однажды, направляясь к Бабыр Хайит оглы с бумагой от казы, Мирзо Ахмад встретил Хеким-пальвана. Тот, обычно улыбчивый, на этот раз выглядел удрученным. Похоже богатырь был не в духе. Однако, заметив Мирзо Ахмада, он изобразил на своем лице подобие улыбки.

– О-о, Мирзо-джан! Как дела? Как поживает господин казы? Что-то давно вы к нам в гости не заходили?

– Вообще-то собирались, – Мирзо Ахмаду не хотелось огорчать гостеприимного богатыря. – Что-то вы, Хеким-ага, выглядите нынче невесело? Не заболели ли?

– Пока жив-здоров этот проклятый Бабыр Хайит оглы, мне не до веселья, Мирзо-джан. Не возьму в толк, чем он так дорог и беку, и казы? Давным-давно пора от него избавиться. – Внезапно тусклые глаза Хекима-пальвана засверкали веселым огнем. – Мирзо-джан, неужто ты с этой работой не справишься?

– Вряд ли, – честно признался Мирзо Ахмад.

– Это почему же «вряд ли»? Не скромничай. В самой Бухаре грамоте учился. Избавь нас от этого негодяя.

Слушая Хекима-пальвана, можно было подумать, что лишь от желания самого Мирзо Ахмада зависит быть ли писарем Бабыру или нет. Что ж, откровенно говоря, Мирзо Ахмад, скучая в прихожей казыханы, не раз воображал себя на его месте, в окружении множества просителей, чья судьба зависит от того, как он, Мирзо Ахмад, представит их дело в прошении.

– Согласится ли Шарифджан-махтум?

– Мы, все жители бекства, будем просить об этом достопочтимого казы. А уж если удастся нам избавиться от этого выскочки, получишь от меня, Мирзо-джан, хороший подарок.

Прошло немного времени и Мирзо Ахмад из прихожей казыханы перебрался под навес, что с левой стороны от базара. Теперь с утра до вечера переписывал он приказы казы и составлял прошения на его имя, и у него уже не оставалось времени, чтобы вздремнуть днем, как бывало. К вечеру правая рука делалась, точно деревянная. Но стоило вспомнить, как люди подарками или деньгами благодарят его за работу, усталость сразу проходила.

Во всяком деле есть свои секреты. Был такой секрет и в его новой работе. Однако Мирзо Ахмад постиг его без труда: главное – не спешить. Это просителю хочется, чтобы его жалобе тотчас дали ход, чтобы все делалось в сей же миг. А писарю торопиться некуда: чем дольше приходится людям ждать, тем больше они ценят труд Мирзо Ахмада. Открыв этот секрет, Мирзо Ахмад придумал несколько уловок, позволяющих ему волокитить любую просьбу. И так, можно сказать – своим собственным умом, он нашел тропинку, что привела его, вчера еще нищего бухарского арбакеша, к дверям изобилия. Мирзо Ахмад был уверен, что эта тропка еще выведет его к настоящему богатству, а он уж постарается пройти этой дорогой побыстрее, да не сбиться с пути, как иные. «Ждите!» – приказывал он просителям, изображая, что занят неотложными делами. Сам же, так как делать было нечего, предавался философским размышлениям о том, что не только писарю, но и всякому богатому человеку приходится прибегать к этой нехитрой уловке, чтобы заставить других раскошелиться. Только теперь он догадался, почему так холоден и строг был Шарифджан-махтум, когда они гостили у Хекима-пальвана. Чем больше люди боятся тебя, тем сильнее уважают. Слава Аллаху, что есть еще простаки, которые не постигли этой истины – без них было бы куда сложнее зарабатывать

деньги. Ничего, успокаивал себя Мирзо Ахмад, на мой век простаков хватит, а уж я сумею пройти сквозь узкую, как игольное ушко, дверь, что ведет к богатству.

Поначалу Мирзо Ахмад изредка испытывал неловкость, когда приходилось и так, и эдак намекать недогадливому просителю, что от него требуется. Теперь хорошо. Теперь все знают, что любая его услуга заслуживает особой благодарности. Хорошо иметь дело с богатыми, такими, например, как Хеким-пальван. Уж они-то знают, как сделать человеку приятно! Мирзо Ахмад привык, что его теперь каждый день приглашают куда-нибудь в гости и принимают как человека приближенного к беку и казы, их личного советника.

За какие-то полгода Мирзо Ахмад сильно переменялся: походка его сделалась степенной, неторопливой, речь – сдержанной и в то же время властной, лицо стало каким-то просветленным. Хотя каждый день приносил он домой не так уж много – всякому известно, что богатство прирастает постепенно – скоро в его каморке стало тесно от вещей. Уже не всякий подарок его радовал, и все чаще казалось Мирзо Ахмаду, что его усилия не сумели оценить по достоинству – чем больше человек имеет, тем больше ему хочется.

Прошло немного времени и Мирзо Ахмад перебрался в собственный дом, а вскоре стало ему казаться, что все на свете можно купить. Но, увы, как он ни старался, добиться расположения Шарифджана-махтума ему так и не удалось. Казы придирался к малейшей ошибке, раздражался из-за пустяков и, что обидней всего, всякий раз вспоминал Бабыра Хайита оглы, сожалел, что отказался от его услуг. Вот этого Мирзо Ахмад понять не мог. Разве не естественно, что земляк помогает земляку. Иной готов в лепешку расшибиться, лишь бы помочь родственникам и односельчанам. Отчего же Шарифджан-махтум не хочет поддержать своего человека, бухарца. Возможно, у Бабыра Хайита есть какие-то достоинства, да что из этого. Не зря же говорят, что умным не дано быть счастливыми. Мирзо Ахмад так ненавидел своего предшественника, что порой готов был убить его. Как-то мелькнула мысль нанять лихих людей, которые разделяются с соперником. Жадность уберегла Мирзо Ахмада от греха: представив во сколько это может обойтись, он отказался от своего намерения.

Шарифджан-махтум, который поначалу казался Мирзо Ахмаду верхом совершенства, чуть ли не ангелом божьим, теперь утратил в глазах писаря многие привлекательные черты. Казы жесткий и бесчувственный человек. Мирзо Ахмад понял это после одного малоприятного случая. Он возвращался домой, когда ему встретился Шарифджан-махтум. От неожиданности свертки и узелки, которые Мирзо Ахмад нес на руках перед собою, повалились в дорожную пыль. «Я ничего у них не прошу, – лепетал он, дрожа от страха. – Они сами... Не бросать же добро...» Шарифджан-махтум ничего не сказал, но взгляд, которым смерил его казы, был таким презрительно-ледяным, что и теперь, спустя время, Мирзо Ахмаду делается не по себе при одном воспоминании о той уличной встрече. Возможно, следует делиться с казы подношениями и тогда он делается добрее. Кажется, чего проще, да только Мирзо Ахмаду никак не удается перебороть себя. Несколько раз он был уже на полпути к казиату, но какая-то непреодолимая сила в последний миг останавливала его. С какой стати он должен делиться?

Обида на казы и страх перед ним не дают Мирзо Ахмаду по настоящему насладиться обретенным достатком. Что толку в вещах и деньгах, если даже пиалу чая не можешь выпить без того, чтобы не пробежал по спине холодок от одной мысли о казы. Как славно могло бы все сложиться, думает порой Мирзо Ахмад, если бы Шарифджана-махтума перевели в другой велят! Мирзо Ахмад – казы Керкинского бекства... А что, разве он хуже других?.. В конце концов казы только принимает окончательное решение, которое, составляя прошения, подготавливает – кто?.. Ну, конечно же, писарь! Так что, имея толкового помощника... Однако тут, мешая мечтать, в голову отчего-то лезет мысль о Бабыре Хайите оглы...

Однажды, прогуливаясь берегом Амударьи, Мирзо Ахмад повстречался с ним. Случайно. Какой-то человек сидел у самой кромки воды и смотрел вдаль.. Мирзо Ахмад остановился неподалеку, пытаясь понять, что тот высматривает в волнах стремительно бегущей реки. Почувствовав его присутствие, незнакомец оглянулся и оказалось, что это проклятый Бабыр Хайит оглы.

– Бабыр! – удивленно воскликнул Мирзо Ахмад. – Ты что здесь делаешь?

– На воду смотрю, – равнодушно произнес Бабыр.

– А чего на нее смотреть. Река – она и есть река.
– Не скажи. Эта река – особая. Смотри, раньше она вон там протекала, а здесь, где сейчас течет, было старое сухое русло. Кто думал, что река в него вернется? А кто скажет, где побегут ее воды завтра. Нет, эта река на другие реки не похожа: ей тесно в берегах. Один день воды свои несет с шумом, с ревом, а сегодня – слышишь, как тихо...

– Да ну ее! – Мирзо Ахмад махнул рукой. Он присел рядом с Бабыром и пристально посмотрел ему в лицо. – За что тебя любит Шарифджан-махтум?

– Любит? Если бы любил, то не прогнал бы.

– Да он бешеный, точно эта река. Не сегодня-завтра и меня прогонит.

– Будет гнать – уходи. Писарская служба не лучшая на свете. Я ничуть не жалею, что ушел. Надо было раньше ее бросить. Возраст у меня уже немолодой, а приходится все с пустого места начинать. Да и это не страшно. Знаешь, честный хлеб из джугары слаще меда...

– Ты где живешь сейчас?

– В селе. Городская жизнь не для меня. Другим нравится, а мне нет. Я дайханин, пахарь. Слепил себе домишко. Есть немного земли. Прирабатываю, батрачу. Словом, с голоду не умру.

– А как люди отнеслись к твоему возвращению? Ведь ненавидели тебя.

– А что люди?.. Это Хеким-пальван меня ненавидел за то, что не стал вместе с ним козни строить. Народ у нас завистливый. Вместо того, чтоб гордиться, если земляк в гору пошел, высокую должность занял, норовят всеми правдами и неправдами снова мордой в грязь его ткнуть. А чужаку, будь он хоть трижды дурак, готовы точно богу молиться.

– Это отчего же?

– Гордыня людская. Чужаку-то, если надо, не стыдно и в ноги упасть. А к земляку с просьбой обратиться – ниже своего достоинства считают. Как позор, как обиду... Не все, конечно, – богачи. Ты мои слова на свой счет не принимай. Говорю так, потому что зол, – Бабыр тяжело вздохнул. – Идем ко мне в гости. Посидим, поговорим, душу отведем. Посмотришь на мое житье-бытье.

– Нет-нет! – торопливо отказался Мирзо Ахмад. Он быстро встал и посмотрел на Бабыра как, если бы видел его впервые. – А что у тебя дома?

Бабыр пожал плечами.

– Ничего. Разве обязательно повод нужен, чтоб в гости сходить? Просто попьем чайку, поговорим.

– Как-нибудь в другой раз, – чуть слышно проговорил Мирзо Ахмад. Ему было тягостно и хотелось побыстрее расстаться с Бабыром.

А тот, похоже, уже забыл о своем собеседнике. Отсутствующим взглядом смотрел на стремнину, точно хотел в мутной воде Джейхуна* отыскать ответ на мучавшие его думы.

Когда через несколько дней после этой встречи Мирзо Ахмад ранним утром получил приказ немедленно явиться в казыхану, сердце его тревожно затрепетало в предчувствии недоброго. По пути к дому Шарифджана-махтума он и то, и это предположил, но в конце концов остановился на том, что его оговорил проклятый Бабыр. Однако, как это часто бывает, действительность превзошла ожидания.

Если в дом казы Мирзо Ахмад вошел встревоженным, то вышел из него и вовсе с разбитым сердцем. Произошло то, что раньше или позже должно было случиться. «Все кончено, – шептал он. – Все, все пропало». Он шел, спотыкаясь на ровной дороге, словно слепец, ибо глядел в будущее и в глазах у него было черно от страха. Не будет больше подношений, пиров, где восседал он на почетном месте, с собственным домом придется расстаться и хорошо еще, если казы согласится вернуть его на прежнюю кучерскую должность.

Как радовала она его некогда, и какой ненавистной, даже унижительной представлялась ему теперь. Мирзо Ахмад готов был на все, лишь бы избежать ожидающей его позорной участи. Как трудно отказаться от привычного уклада жизни! Один бухарский купец умер от разрыва сердца, когда ему сообщили, что он ограблен и разорен. Вспомнив о нем, Мирзо Ахмад прислушался к биению своего сердца.

Он пришел под свой навес, разогнал ожидавших его просителей, достал чернильницу и перья, положил перед собой лист бумаги. «Что же можно придумать?» – проклятый вопрос разламывал ему голову, но ничего путного придумать не мог. Он набросал несколько фраз, прочел их и скомкал лист, отбросил его в сторону. Взял новый, но и на этот раз получилось не лучше. Выходило похожим на те прошения, что он писал для желавших обратиться к казы. Мирзо Ахмад стал думать о том, что, может, и в самом деле лучше продать дом и вернуться в Бухару.

– Не скажите ли, где находится казиат?

Он поднял голову, посмотрел, кто это его тревожит. Перед ним стоял юноша, невысокий, с большой лобастой головой. И по разговору, и по одежде сразу было видно, что он не из местных. Мирзо Ахмад объяснил, как найти казиат, а потом прибавил:

– Только не советую сегодня обращаться к нашему казы. С самого утра зол, как раненый тигр. Чуть не сожрал меня.

– Из-за чего же?

– У старшего брата казы родился ребенок, но по воле Аллаха другой, который уже начал ходить, в тот же самый день внезапно скончался. Казы приказал составить подобающее случаю письмо. Но мыслимо ли, чтобы на одной ветке росли кислые вишни и сладкий инжир. То ли казы с горя лишился рассудка, то ли решил таким образом от меня, несчастного избавиться.

– Если позволите, я попытаюсь вам помочь.

Мирзо Ахмад с надеждой посмотрел на незнакомца. Неужели Аллах услышал его сетования?

– О, если вы поможете составить это письмо, поверьте, я сумею вас отблагодарить. Достану все, что ни пожелаете. Поймите, от этого проклятого письма зависит мое будущее.

Юноша его уже не слышал. Пристроившись у стола, он уже что-то писал четким красивым почерком. Перо, такое тяжелое и неуклюжее в руке Мирзо Ахмада, теперь легко и стремительно скользило по бумаге: «Печально, когда приходится обрезать у дерева только что зазеленевшую ветвь. Но, согласно мудрому установлению Природы, это позволяет расти новым сильным ветвям, от которых крона дерева делается еще пышней и гуще. Вместе с этими словами утешения, дорогой брат, примите мое искреннее поздравление с рождением сына – да будет ему по воле Аллаха уготована долгая и счастливая жизнь!».

Жалея, что нельзя отдать написанное юношей, Мирзо Ахмад переписал письмо и, оставив незнакомца сторожить свое имущество, побежал к Шарифджану-махтуму.

Он вернулся через четверть часа, радостный и веселый.

– Я ваш вечный должник, – говорил он, задыхаясь от счастья, сжимая руку своего спасителя в своих влажных от волнения ладонях. Казы был очень доволен. «Как это верно, – сказал он. – Подобное мне и в голову не приходило». Век не забуду вашу услугу. Приглашаю вас к себе домой. Отведаете моего угощения и уйдете не с пустыми руками.

– Стоит ли беспокоиться, – начал отнекиваться незнакомец.

– Нет-нет, вы непременно должны быть моим гостем! – наступал Мирзо Ахмад.

– Но сейчас мне надо к Шарифджану-махтуму. Я приехал к нему и пробуду здесь несколько дней.

– Вот и славно. Тогда приглашаю вас вечером и, конечно же, вместе с нашим уважаемым казы. Я недавно купил здесь домик. Все хотел пригласить Шарифджана-махтума на новоселье. Я ведь, если откровенно, всем ему обязан. Вот и предоставился хороший случай отблагодарить моего благодетеля. – Внезапно Мирзо Ахмад умолк, обдумывая что-то. Потом произнес извиняющимся тоном: – О-о, я и не подумал, что сегодня вам захочется побыть с Шарифджаном-махтумом наедине, вам-то наверняка есть о чем поговорить... Но завтра, да, завтра вы обязательно мои гости. Договорились? – И не ожидая ответа прибавил. – Я надеюсь, вы не скажите казы, что помогли составить это письмо...

Странно, но радостное волнение, в каком Мирзо Ахмад пребывал, впервые заслужив благодарность казы, очень быстро улетучилось, а вместо него в душу закралось беспокойство, которое с каждым часом нарастало. Домой он отправился без настроения, а когда прикинул во сколько обойдется прием, достойный казы и его молодого гостя, то расстроился так, словно его ограбили.

На следующий день, сидя под своим навесом, Мирзо Ахмад то и дело воровато поглядывал по сторонам. Все ему чудилось, что также внезапно, как давеча, рядом с ним окажется гость Шарифджана-махтума. Но этого не произошло, и вечером, когда Мирзо Ахмад подсчитал полученную за день мзду, к нему вновь вернулось хорошее настроение.

Была у них еще одна встреча. Он увидел юношу, когда приходил к Шарифджану-махтуму. Холодно поздоровался, осведомился, когда тот собирается уезжать.

– Сегодня. Пора домой.

– Жалко. Так и не погостил ты у меня. Когда в следующий раз приедешь, обязательно заходи. Если мой дом не навестишь – честное слово, обижусь. – Не ожидая ответа Мирзо Ахмад поспешил к двери – на базарной площади его ожидали просители.

II

Никогда прежде Садриддину не приходилось сидеть на таком жеребце – настоящих благородных кровей, высоком, норовистом, и, наверно, поэтому, заноса ногу в седло, он внезапно испытал острое чувство охлаждающего сердце страха. С трудом устроился в седле нетерпеливо бьющего копытом коня. Однако и жеребец, видимо, испугался незнакомого человека в непривычной одежде, коротко заржал и рванулся вперед. Боясь, как бы не свалиться на землю, Садриддин крепко прижал ноги к бокам лошади, до боли в пальцах ухватился за луку седла. Через некоторое время конь успокоился – шагом пошел по знакомой дороге.

Погода, похоже начала, меняться – дышать стало легче, встречный ветерок студил щеки. Постепенно Садриддин освоился, поудобнее устроился в седле, разжав занемевшие от напряжения пальцы, нашел запутавшийся в короткой редкой гриве повод. Одернул халат, поправил съехавшую на затылок чалму и исподтишка посмотрел на Хекима-пальвана, который ехал рядом на своем сером красавце-жеребце. Интересно, заметил ли он, что Садриддин чуть не свалился с коня? Великану, похоже, было не до него – широкая улыбка озаряла его лицо, которое так и лучилось благодушием.

Садриддин был доволен своим прибыванием в Керки, здесь нашлось немало занятного. Собственно, и приглашение Хекима-пальвана он принял в основном из-за любопытства – интересно было проехаться верхом на лошади, осмотреть окрестности, посетить село, где живет знакомый брата. Провожая Садриддина в Керки, тот попросил: «Розыщи Хекима-пальвана и передай ему от меня привет». Когда Шарифджан махтум отказался посетить Хекима пальвана, Садриддин почувствовал себя неловко – ведь он был гостем казы. Тот сослался на срочные неотложные дела, потом отозвал Хекима-пальвана в сторонку и шепотом дал ему какие-то наставления – Хеким слушал их с выражением преданности на лице, время от времени кивал в знак согласия.

По обе стороны широкой тропы тянулись густые заросли. То слева, то справа слышалось токование кеиликов; однажды из кустов чуть ли не под ноги лошадям выпорхнул красавец-фазан, но те не испугались, видимо, привычные к этому. Щедрость и великолепие окружающей природы наполняли душу благоговением и восторгом – не это ли благословенный Гулистан, воспетый великим Саади?..

– Жаль, что Шарифджан махтум не смог поехать с нами, – Хеким-пальван точно прочитал мысли своего спутника. – Я очень предан казы, Садриддин. Он был моим гостем, когда только направлялся в Керки. Я первым встретил его здесь, первым потчевал его на этой земле хлебом-солью. Двух баранов зарезал, сладости и фрукты привезли из самого Чарджоу. На прощание и Шарифджана махтума и всех его слуг одарил щедро. Странно, но он почему-то меня сторонится. Может боится, что я вздую кого-нибудь, а ему потом придется меня выгораживать? – Хеким-пальван расхохотался, довольный своей шуткой. – Годы уже не те – и возраст, и положение уже не позволяют вашему покорному слуге драться, как прежде... Наш казы умный и образованный человек, только очень уж замкнутый. Домосед. Скучной жизнью живет – ни развлечений, ни приятелей. Удивляюсь даже, неужели ему никогда не хочется развеяться? Жизнь, дорогой, мчится так, что за ней трудно угнаться. Оглянуться не успеешь, а она уже окончилась. Подойдет срок, когда будет не до развлечений, так со мной хоть память о веселых днях останется. А Шарифджан-махтум сидит

целыми днями в четырех стенах и дышит книжной пылью. Откровенно говоря, книги ему и друзей, и детей заменили... А так не годится, ведь он не просто ученый какой-то – казы, государственный человек. Помоему, он даже не осознает насколько важна и влиятельна его должность. Но он живет затворником, и потому здесь его мало кто знает, и – что больше всего меня огорчает – не могут люди оценить его по достоинству. Между нами говоря, спроси кого-нибудь о Шарифджане-махтуме, скорей всего удивится – кто это, мол, такой. Зато уж Хекима-пальвана здесь знает каждый. Не все, конечно, добром поминают...

– Это отчего же? – невольно вырвалось у Садриддина. Ему даже стало неловко: пожалуй, вопрос был слишком уж прямолинейным. Хекима-пальвана это ничуть не смутило.

– Жизнь, дорогой Садриддин, тяжела и жестока. Она принуждает человека быть таким же, как она сама. Кто не способен бороться, жизнь свою проживет рабом, вечно суждено ему только прислуживать. Как ни горька правда, но добрый, совестливый человек никогда не достигнет вершин власти, да и богатства настоящего добыть себе не сумеет...

Хеким-пальван выбрал окольный путь, чтоб и в соседнем селе увидели его с гостем из Бухары. Заметив всадников, люди выходили к ним, и Хеким-пальван приветливо заговаривал с каждым, расспрашивал о житье-бытье, о видах на урожай.

Когда выехали на поля, встретился им старик-дайханин. Хеким-пальван натянул поводья.

– Саламатейкум, Мамед-ага!

– Вaleyкум эссалам, как поживаете? – Старик поднял голову, сощутив подслеповатые глаза всматривался в лица всадников.

– Не узнаешь меня, что ли, Мамед-ага?

– Извини, сынок, не узнал. Ты уж не обижайся – совсем плохо видеть стал. Когда кто рядом стоит, так еще разгляжу лицо, а если против света...

– Я Хеким. Хеким-пальван.

– Ба-а, тот самый Хеким-пальван?.. – Старик заслонил глаза от света ладонью. – Оказывается и твой голос может звучать ласково...

Хеким-пальван с досадой крикнул, пришпорил своего серого жеребца.

– Вот, Садриддин, каковы люди: доброго обхождения не понимают. – Хеким-пальван не скрывал своего огорчения. – А еще говорят, что добро будет замечено. Нет, чуть уступку дашь, враз с тобой перестанут считаться. Сами заносятся до небес, а тебя считают чуть ли не обязанным им добро делать...

У Хекима-пальвана их уже ожидали пять-шесть человек. Они приняли у Садриддина поводья, уважительно поздоровались с ним. Хеким-пальван представил гостю каждого из встречавших.

– А теперь, дорогой Садриддин, прошу в дом. – Широким, плавным взмахом руки Хеким-пальван пригласил гостя войти в белую восьмикрытую юрту. Услужливо распахнув перед ним двустворчатую дверь, пропустил Садриддина вперед. Сам усадил его на почетном месте во главе дастархана на постеленных в два слоя мягких цветастых тюфячках, а потом, словно боясь, что кто-то займет место по соседству с его гостем, торопливо устроился рядом. Хеким-пальван не отрывая глаз любовался притихшим, смущенным Садриддином, лишь изредка удостоивая взглядом других гостей, своих односельчан, что деликатно, в полголоса переговариваясь меж собой, рассаживались вокруг.

Садриддин не без удивления разглядывал выставленное в честь его приезда угощение. Хеким-пальван не поскупился. Чего здесь только не было: пышные, с блестящей, точно лаковой, корочкой лепешки хлеба соседствовали с мисками полными отварного сочного мяса, запотевшие расписные кувшины с агараном чередовались с красивыми, причудливыми бутылками французского коньяка и еврейской пасхальной водки, теснились блюда с нарезанными ровными ломтиками и с выдумкой разложенными сырами, с громадными, что кулак Хекима-пальвана, краснобокими яблоками, с гроздьями янтарного винограда, с ломтями дыни гаррыгыз, источавшими райский аромат, – Садриддин и вообразить не мог, что удастся увидеть подобное в глухом селе, затерянном на дальней окраине эмирата.

Двери осторожно отворились, вошли несколько благообразных старцев и поприветствовали собрание.

– Вот, Хеким-ага, решили зайти. Говорят, у вас именитый гость из святой Бухары, пришли поздороваться...

Пришедших усадили. Устроившись поудобнее, аксакалы, как и остальные гости, принялись разглядывать Садриддина. Одни наблюдали за ним исподтишка, другие таращились откровенно, буравили взглядами. Рядом с могучим хозяином тщедушный, скромно одетый молодой человек казался и вовсе мальчишкой – трудно было поверить, что это и есть тот самый ахун, который, по словам Хекима-пальвана, приехал проверять работу керкинского казы Шарифджана-махтума.

Один из гостей, полный мужчина средних лет, как бы между прочим спросил о том, что волновало всех собравшихся:

– Хеким-ага, а почему Шарифджан-махтум не приехал?

– Очень хотел приехать – сами знаете, как мы с ним дружны, – только жаль, срочные дела помешали. Ничего, как-нибудь в другой раз – ему дорога в наш дом знакома. Шарифджан-махтум до сих пор вспоминает, как я его в тот раз принял... – Хеким-пальван разгладил свои красивые холеные усы. – Ну да ладно, главное, Садриддин наш дом почтил, оказал уважение. С казы мы всегда посидеть сможем, а Садриддин из самой Бухары приехал...

Хеким-пальван был само благодущие, от его утрешней суетливости не осталось и следа. Чувствовалось, что он уже достиг своей цели: еще долго земляки будут вспоминать, как у него гостил ахун из Бухары...

Садриддину сделалось скучно. Вспомнился первый день в Керки, встреча с Шарифджаном-махтумом.

...Стоявший в дверях слуга, преградил Садриддину дорогу: «У нашего уважаемого казы сейчас два посетителя». Садриддин присел на край суфы, оглядел просторную комнату, где просители ждали приема. Садриддин хотел увидеть хоть что-то, что напомнило бы ему о присутствии здесь Шарифджана-махтума, но все вокруг было чужим, холодным, не то что в бухарском доме его благодетеля, где каждый камешек в маленьком саду, каждый кирпич в стене, казалось, хранил душевное тепло хозяина дома.

Из-за неплотно прикрытой двери доносился знакомый голос:

– Раз вы объяснились, в знак примирения пожмите друг другу руки. Пожмите так, словно ничего между вами не было. Э-э, нет, так не годится. Вот, это другое дело! А я положу свою ладонь поверх ваших рук. И не ссорьтесь впредь. Стоит ли завистью и неприязнью омрачать счастливые дни, отпущенные нам Аллахом...

Шарифджан-махтум вышел вслед за дайханами. Увидев Садриддина, остановился, словно не веря своим глазам, потом сжал его ладонь в своих.

– Смотрите, кто приехал! Я места себе не находил, все переживал, как ты доедешь. – Коренастый, широкогрудый Шарифджан-махтум заключил Садриддина в объятия. Потом, все еще держа его за плечи, отстранился, любуясь своим гостем. Он широко улыбался, а глаза предательски заблестели. – По письму, которое принес сегодня мой писарь, я сразу догадался, что в наших краях появился грамотный, образованный человек. Так это был ты? Что ж, тебе полагается награда. – Шарифджан-махтум открыл сундук, что, заменяя скамью, стоял у входа в его приемную, достал оттуда нарядный шелковый халат, накинул его на плечи Садриддину. – Оказывается, дорогой Айни¹, ты не только стихи писать мастер...

Наблюдая за воодушевленным Шарифджаном-махтумом, Садриддин искренне порадовался тому, что решил на дальнейшее путешествие. Теперь-то уж они наговорятся вволю, отведут душу! Как разнятся люди и как, в общем-то, ничтожны бывают поводы, что сближают или ссорят их. Сделает тебе кто-то добро – ты помнишь его всю жизнь и полон благодарности этому человеку. Неужели мир несовершенен лишь потому, что творить зло легче, чем совершать добрые поступки?..

Он был еще ребенком, когда Шарифджан-махтум – главный казы Бухары, посетил их дом, чтобы услышать его стихи. А потом вынес приговор, который определил будущее Садриддина: «У мальчика острый ум, ему следует учиться». Садриддина отвезли в Бухару, в медресе. Правда, если бы не поддержка Шарифджана-махтума, вряд ли это учение продлилось бы долго – откуда в бедной дайханской семье деньги, чтобы оплачивать его пребывание в городе. Шарифджан-махтум приютил Садриддина в своем доме.

Сюда приходили самые талантливые и образованные люди Бухары. Их беседы, при которых Садриддин непременно присутствовал, дали ему не меньше, чем учеба в медресе. А еще Шарифджан-

махтум позволил ему беспрепятственно пользоваться своей библиотекой. В доме казы Садриддин впервые прочитал Хафиза и Джамии, Навои и Фирдоуси. Разве можно забыть такое?! «Здесь тоскливо, – писал ему Шарифджан-махтум из Керки, – не с кем словом перемолвиться, и как не хватает мне умного, влюбленного в поэзию собеседника, чтобы вволю наговориться, как бывало в Бухаре. Как хорошо, если бы ты был рядом». Разве мог Садриддин не откликнуться на это приглашение? Ему даже льстило, что Шарифджан-махтум, один из образованнейших людей своего времени, видит в нем, в Садриддине, достойного собеседника, способного скрасить его пребывание в далекой провинции.

– Честно говоря, Садриддин, только здесь я смог по-настоящему понять, как много значит для меня Бухара, – признался Шарифджан-махтум вечером, когда они прогуливались по саду. – Как мало ценил я в Бухаре возможность общаться с образованными, умными, тонко чувствующими людьми. Иной раз хотелось уединиться, побыть одному. Здесь я понял, как нелегко переносить одиночество. Среди чиновников бека есть образованные люди, но, откровенно говоря, я им не доверяю. Их заботит лишь карьера. Путешествовать я не охотник, вот и сижу в одиночестве в четырех стенах. Впрочем, я несправедлив. Есть здесь один умный человек. Окончил Мир-Арап, любит поэзию. Какого бы поэта я не вспомнил, он мог тотчас прочитать его стихи. Когда я приехал, он был писарем казиата. Это был порядочный и прямой человек, а мало кому из сильных мира сего нравится, когда им говорят правду в лицо. Бек приказал избавиться от него, видимо, пообещал кому-то. Отказать беку значило сразу же испортить с ним отношения, я не мог этого себе позволить. А сейчас мне порой очень не хватает этого человека, его острого, порой даже злого ума, прямоты его суждений.

– Он уехал отсюда?

– Да нет, куда он может уехать. Говорят, поселился в селе, обзавелся клочком земли. Обстановка здесь такова, что навестить его я не могу, это вызвало бы много ненужных пересудов. Несколько раз я посылал ему приглашения, но он так и не посетил меня.

– Наверное, обижен.

– Возможно. Хотя я переговорил с ним перед тем, как уволить, и он, кажется, понял мое положение. Я думаю, что он обижен не на меня, а на весь мир. Когда слушаешь его рассказы о жизни, кажется будто читаешь полное страданий повествование Ахмеда Каллы. Слушать его приятно, он хорошо знает фарси, у него правильная, красивая речь.

– А что, если все же навестить его?

– Он беден, и, если мы нагрянем к нему незванными, вряд ли сумеет достойно нас принять. Он человек гордый, и это несомненно причинит ему боль. Бог дает людям возможность, но если они не умеют ей воспользоваться – проклинает. Увы, Бабыр Хайит-оглы один из таких проклятых богом. За то время, что он проработал в казиате, другой стал бы богачем, а он так ничего и не нажил.

Они просидели до глубокой ночи, вспоминая знакомых, читая стихи. На другой день Садриддин проснулся в полдень. Долго лежал, не открывая глаз, вспоминая чудесный вечер в обществе Шарифджана-махтума. Помолился о том, чтобы таких людей было побольше. Ради такого человека можно было даже пешком прийти из Бухары в Керки, и далекий путь при этом казался бы короче, чем десяток шагов до дома неприятного соседа. Шарифджан-махтум утверждает, что в керкинской крепости нет человека, с которым можно откровенно поговорить, отвести душу. А разве в самой Бухаре их много?..

Только в первый вечер удалось побыть им вдвоем. Потом по крепости разнесся слух, что к казы приехал поэт из Бухары, и посыпались приглашения. Каждый день они посещали новый дом, но эти визиты мало чем отличались один от другого. Садриддин в гостях говорил мало. Откровенно говоря, до него и очередь не доходила...

Вернувшись от Хекима-пальвана Садриддин застал своего благодетеля в радостном возбуждении.

– Угадай, кто ко мне приходил?!

Садриддин пожал плечами.

– Бабыр Хайит!.. Я его едва узнал: загорел, стал совсем черным, и в плечах раздался: кетмень – это тебе не перо! Прослышал о твоём приезде. Хочет познакомиться, услышать твои стихи. Сказал, что завтра зарежет барана...

– Барана зачем резать? У него-то, небось, всего один. Для нас зарежет, а сам потом голодать будет? Шарифджан-махтум развел руками.

– Увы, мой друг, но у всех бедняков такой характер, именно поэтому им не удастся разбогатеть, – сказал он и почему-то рассмеялся.

На другой день с утра, чтобы скоротать время, Садриддин отправился побродить по базару. Товары его интересовали мало, зато люди – о, сколько вокруг разнообразных типов, неповторимых характеров! Вот человек с рваным ухом. Интересно, за что его так? Скорей всего, украл что-нибудь. Садриддин представил, что было бы, если бы так наказывали всех воров. Пожалуй, здесь, на базаре, нашлось бы немного людей с целыми ушами.

– Отстань! У меня же не десять рук...

Визгливый, раздраженный голос принадлежал Мирзо Ахмаду. Писарь что-то быстро писал, по-птичьи склонив голову набок, глаза его от усердия были выпучены, он походил на маленького сыча. Теперь он ничуть не напоминал того робкого, испуганного, заискивающего человека, с которым Садриддин познакомился в первый день по приезду в Керки.

– Эй, люди, слушайте и не говорите, что не слышали!..

Толпа подхватила Садриддина, и он, не в силах сопротивляться ей, покорно отправился туда, откуда доносился этот призывный голос.

На возвышении в центре базара стоял худой и длинный, как жердь, глашатай, а рядом с ним, склонив головы, трое мужчин с веревками на шее. Одежда на них была изорвана, лица избиты в кровь. Мухи облепили кровоточащие ссадины. За спиной у них стояли нукеры с равнодушными, тупыми лицами.

– Слушайте и не говорите, что не слышали!.. Остерегайтесь этих троих. Это воры. Запомните их, расскажите о них своим домашним, родным и знакомым. Это – Торе оглы из села Чекир, – глашатай потянул за веревку, заставляя выйти вперед голого по пояс человека, чье багрово-синее от побоев тело было обмотано верблюжьей коллочкой. – Он украл у своего соседа курицу.

Как устроена жизнь! Она заставляет человека пройти через тысячи испытаний. Так неужели все сводится к одному: разбогатеть, не зная ни в чем нужды? Пучеглазый сыч, имя которому Богатство, сколько рук тянется к тебе, сколько людей мечтает завладеть тобой. Всех ты манишь, да не каждому даешься. Предпочитаешь таких, как сам, злых, хитрых и завистливых. В доме у них ты сможешь сытно есть и сладко дремать, а в хижине бедняка не будет тебе покоя. Невидимый, ты паришь над этим базаром, заставляя одних горевать и плакать, а других – смеяться и радоваться. Трех воров ты чуть ли не в землю загнал, ты заставляешь глашатая надрываться, а вот с Мирзо Ахмадом ты подружился – не потому ли он стал обликом походить на ночную птицу?

Садриддин пытался сочинить стихотворение, но сегодня почему-то строки не складывались. Он никак не мог сосредоточиться и знал почему: он ждал предстоящего знакомства с Бабыром Хайитом.

Однако дома его ожидало разочарование. Он застал Шарифджана-махтума одетым по-домашнему. Вероятно, он не сумел скрыть своего удивления, потому что казы сказал:

– Садриддин, я подумал и решил, что мы не можем принять приглашение Бабыра. В крепости только и ищут повода посудачить. Ты даже представить не можешь, что выдумают, если мы поедем в гости к этому бедолаге. Нет, нет, это исключено. К тому же нас сегодня пригласил к себе ишан. Мы не можем обидеть его.

И вдруг заговорил с болью в голосе.

– Что за странные существа – люди? Отчего такое значение придают словам? Скажи мне, Садриддин, почему из-за какого-то одного слова человек может убить себе подобного, загубить чужую жизнь и свою душу? Сегодня мне донесли, что Хеким-пальван убил какого-то дайханина только за то, что тот неучтиво говорил с ним в твоём присутствии. Теперь родственники этого старика жаждут мщения. Я ужасаюсь от одной мысли о том, сколько людей теперь погибнет, сколько крови прольется. Увы, Садриддин, я бессилен

что-либо изменить: в этом краю люди в конце концов истребят друг друга, – Шарифджан-махтум тяжело вздохнул. – Помоги мне отвлечься от печальных мыслей, Садриддин-джан. Прочти-ка мне что-нибудь из Бидули...

Садриддин слушал Шарифджана-махтума, а в голове у него почему-то звучали слова, которые он услышал в первый день: «Раз вы объяснились, в знак примирения пожмите друг другу руки. Пожмите так, словно ничего между вами не было. Э-э, нет, так не годится. Вот, это другое дело! А я положу свою ладонь поверх ваших рук. И не ссорьтесь впредь. Стоит ли завистью и неприязнью омрачать счастливые дни, отпущенные нам Аллахом...»

Пробыв в Керки десять дней, Садриддин отправился в обратный путь. Дорога его лежала через Керкичи, и Шарифджан-махтум, выказывая уважение, проводил его до переправы. Они шли пешком, молча, словно все важное было уже сказано. Почему-то и окрестности, и добрую половину небосклона затянуло черным дымом. Садриддину подумалось, что это дым костра, на котором Бабыр Хайит жарит своего единственного барана.

Он не мог отделаться от чувства, что что-то очень важное, значительное оставил здесь, в крепости, затерянной на окраине эмирата. А вот что именно, этого Садриддин вспомнить не мог.

1986 г.

КРАСОТА ИСТИНЫ

Что руководит художником, что подвигает его на ежедневный нелегкий, изнуряющий труд, каким на самом деле является литературное творчество? Желание славы?.. Жажда самовыражения?.. Или, прямо скажем, несколько наивная вера во всемогущество Слова, в его способность влиять на умы и чувства людей и таким образом, в конечном счете, на нравы общества?.. Скорее всего, и то, и другое, и третье, а сам писатель воспринимает свой творческий дар как некий призыв свыше или, в зависимости от его убеждений, как свой долг перед обществом, перед народом. Для читателя же важнее другое, а именно насколько творчество того или иного писателя способно возбудить в нем очищающее чувство, обогатить и расширить его представления о жизни, о людях.

Некоторое время назад, в начале и в середине восьмидесятых, кое-кто из критиков высказывал опасение, что новое поколение туркменских прозаиков в силу ограниченности своего кругозора неспособно подняться до уровня высоких обобщений, приличествующих современной прозе. На первый взгляд, и в

самом деле, что были способны сказать «городу и миру» вчерашние сельские школьники, которым большую часть учебного года приходилось проводить не за партой, а на хлопковых полях. Они никуда не звали, они не формировали «новое» отношение к жизни, они даже не пытались создать положительные образы «наших героических современников». Их героями становились простые люди, их односельчане, о повседневной жизни которых молодые прозаики рассказывали в силу отпущенного им таланта, рассказывали, как правило, без особых ухищрений, но по возможности честно. С «взвешенных высот» социалистического реализма эта, на первый взгляд «безыдейная», а на самом деле просто менее ангажированная литература представлялась шагом назад. Теперь, по прошествии десятилетия, когда ясней видны особенности того периода литературной жизни, можно сказать, что именно в ту пору начиналась трансформация туркменской *советской* прозы в собственно туркменскую прозу, то есть поворот от литературы «социалистической по содержанию и национальной по форме» к литературе *национальной*.

В том, что новая туркменская проза ограничивала себя выбором тем «местного значения», в том, что молодые в ту пору литераторы «варились в собственном соку», проявился рост национального самосознания, хотя, скорей всего, это происходило для самих писателей неосознанно или, по крайней мере, не вполне осознано.

В туркменской литературе новая проза начала создаваться усилиями тех, чье духовное созревание пришлось на период, когда сама жизнь доказала утопичность коммунистической идеи справедливости, по крайней мере, нереальность достижения ее в рамках советской системы. Поколение, формировавшееся в условиях кризиса советского общества, на смену «революционному романтизму» литераторов-шестидесятников принесло прагматизм и едкую самоиронию. Однако цель этой статьи не анализ литературного процесса, — это, возможно, дело будущего — а рассказ об Османе Оде, писателе, в чьем творчестве наиболее ярко проявились основные признаки новой туркменской прозы.

Осман Оде родился в 1954 году в селе Астанабаба Керкинского этрапа — в одном из старинных культурных центров Лебапа, чьим украшением является памятник истории и архитектуры туркменского средневековья — мавзолей Астанабаба. Детство и отрочество будущего писателя мало чем отличались от жизни большинства сельских ребят. На пробуждение у Османа раннего интереса к литературе и творчеству решающее влияние несомненно оказала его мать — Огулмейрем-эдже — сама личность художественно одаренная. Вот что пишет Осман Оде: «Помню детство. Нас заставляли собирать хлопок, а нам, конечно, хотелось играть. Мама сшила мне два небольших фартука и поставила условие: собери фартук хлопка — получишь интересную сказку. О чем — сам заказывай! Хочешь — о дэвах, хочешь — о животных, а пожелаешь — можно смешную, о сегодняшнем дне, о нашем селе. Слушая мамины сказки, я шел рядом с ней и собирал хлопок. И можно было не бояться, что сказки закончатся. Позже я узнал, что мама сама на ходу придумывала их, чтобы увлечь меня работой».

После окончания школы любовь к литературе привела Османа Оде в Ашгабат, однако попытка поступить на филологический факультет университета оказалось безуспешной. На следующий год он опять среди абитуриентов — и вновь неудача. Ему удастся поступить на подготовительное отделение иняза, а в свободное от занятий время приходится зарабатывать на жизнь в столице. Кем он только не работал!.. Сортировщик газет в «Союзпечати», подсобный рабочий на кирпичном заводе, грузчик на железной дороге. Лишь на последнем курсе университета, Осману удастся получить должность, хоть в какой-то мере близкую его литературным интересам. Он становится корректором в журнале «Туркменистан коммунисти», а пять лет спустя начинает работать там литсотрудником.

На студенческие годы приходятся и первые пробы пера. Но не то, что опубликоваться, даже получить квалифицированный отзыв о написанном было непросто. Вынужден со стыдом признаться, что и я был среди «отфутболивавших» Османа Оде: каких только отговорок не придумывал, чтобы не утруждать себя чтением первых рассказов начинающего писателя. Но его все же заметили. Оде Абдуллаев и Нарклыч Ходжагельдыев поддерживали способного юношу, своими советами помогая ему найти собственный путь в литературе.

И это Осману Оде удалось. Под оболочкой сиюминутных, преходящих событий в его произведениях всегда идет напряженный поиск смысла жизни, поиск духовных и нравственных ориентиров. Поэтому даже на историческом материале ему удается создавать вещи глубоко современные: честность, порядочность, одухотворенность, острая жажда справедливости – разве могут они устареть?!

Он пишет лишь о том, что хорошо знает, изучил досконально, во всех подробностях. Поэтому при всей своей самобытности герои его произведений кажутся читателю людьми знакомыми и близкими, а их поступки заставляют задуматься о глубинных вопросах бытия, о смысле нашего существования. Поиск ответа на эти непростые вопросы и является сверхзадачей писателя. Структура его произведений, где часто идет одновременное развитие двух – трех сюжетных линий, позволяет ясней разглядеть диалектическое многообразие мира, где, как говорится, у каждого есть своя правда. Но, в конечном итоге, торжествует правда художника, ибо она рождена неустанным поиском истины.

Для творчества О.Оде характерно сочетание изобразительного лиризма с символизмом. Даже в сравнительно небольших объемах рассказов ему удается дать широкую панораму жизни и одновременно сказать о нечто большем, что скрыто в подтексте. Действие рассказа «Ураган» («Тувелей») разворачивается на конезаводе. За живой, беспокойный характер жеребенку дали кличку Ураган. Но комиссия, которая отбирает молодняк для скаковых конюшен, забраковывает «нервного» жеребенка. Ураган остается рабочей лошадью на ипподроме, его удел – возить сено для элиты. Только спустя время, да и то лишь благодаря счастливой случайности, специалисты замечают уникальные скаковые способности Урагана – его резвость, его желание побеждать. Но уже поздно!.. Надорвавшийся работой жеребец не сумел выиграть скачки. Попытка достичь славы не удалась, видимо, удел Урагана до конца своих дней ходить, запряженным в телегу.

Эпизод из жизни ипподрома?.. Да, но не только. Как часто, к сожалению, случается так, что достоинства человека вместо того, чтобы стать основой жизненного успеха, оказываются причиной его неудач. Сколько несостоявшихся судеб ярких, неординарных личностей, на памяти у любого из нас. Каждый из них – тоже своего рода Ураган. Обилие всевозможных правил, «усредняющих» жизнь общества, мешает реализовать свои задатки тем, кто не подходит под стандарт. «Будь, как все!.. Не высывайся!», – сколько раз на протяжении жизни слышит человек эти предостережения от родителей, от учителей, от всевозможных начальников. Одни быстро смиряются – быть, как все, просто, а порою и выгодно. Но за свою жизнь я не раз убеждался, что по-настоящему талантливые люди редко мирятся с тоскливыми правилами, регламентирующими каждый шаг, каждый поступок. Для них стать, как все, равноценно самоубийству. Но свобода быть самим собой дорого им обходится. Их считают чудаками, они объект шуток и зачастую шуток очень злых. Карьера их тоже редко складывается удачно. Как часто, увы, место талантливого человека, которого «ушли» по собственному желанию, занимает умеющий угодить начальству бездарь. Разве только талантливый человек страдает от подобной, удобной для начальства «рокировки»? Нет, потери этой далеко неравнозначной замены когда-нибудь ощутит каждый из нас и все общество в целом.

Но рассказ не только об этом. Вот что вспоминает сам писатель: «В застойные годы, если ты не был членом партии, если не прошел все необходимые ступени служебной лестницы, нельзя было даже мечтать о работе, соответствующей твоим способностям. Как часто должности доставались не тем, кто имел ум и деловую хватку, а бесцветным личностям, чьим единственным достоинством была поддержка начальства, а единственным умением – нацепив галстук, просиживать без дела восемь часов за рабочим столом и поддакивать, когда нужно. Карьеру делали не умные и талантливые, а хитрые, пронырливые. Даже если и случалось, что яркую личность заметят, то, как правило, бывало уже поздно. Звездный час упущен, у человека нет ни прежнего азарта, ни былых сил – как говорится, поезд ушел... Так случилось с нашим талантливым литературоведом Ахмедом Бекмурадовым. О судьбе этого ученого, к сожалению, так рано ушедшего от нас, думал я, когда писал рассказ «Ураган».

Многовековой исторический опыт воспитал у туркмен такие черты национального характера как безграничную терпеливость, снисходительность к недостаткам другого, умение прощать в надежде, что

правда и добро в конце концов восторжествуют. Есть множество пословиц на эту тему: «Будет время и терпеливому порадоваться», «Терпеливый раб до Мекки дойдет» и т.п. Назар-ага, герой рассказа «Вторая жизнь» («Икинжи омур»), — человек сверх терпеливый. Его противостояние с Шадманом-ялдыром — колхозным бригадиром, который ради собственной выгоды ни перед чем не остановится, продолжается не год, не два, а, можно сказать, всю жизнь. В ожидании победы добра уходят лучшие годы. Назару-ага уже за шестьдесят, а Шадман все не меняется и, несмотря на многочисленные грехи, он по-прежнему хозяин жизни. Однако не иссякает терпение Назара. «Все мы рабы божьи. Без его воли и волос с головы не упадет» — убеждает он сына. «Нет в этом мире ничего неучтенного. А причинишь кому зло, так оно к тебе потом десятикратно вернется. О делах Шадмана-ялдыра всем известно. С рук ему это не сойдет. Раньше или позже станет жертвой собственных козней» — так Назар-ага успокаивает себя, с этой верой он прожил жизнь.

В основе противостояния Шадмана-ялдыра и Назара-ага не столько давняя личная неприязнь, возникшая, когда Шадман оговорил ни в чем неповинного Назара, свалив на того свои грехи, сколько столкновение двух нравственных позиций. Жизнь по совести, честная бедность Назара противопоставлена силе власти и несправедливому богатству Шадмана-ялдыра, который, по глубокому убеждению его антагониста, является наиболее опасным врагом общества. Автор пишет: «...сколько бы ему ни говорили, что злейшие враги человечества — фашисты, Назар-ага твердо убежден, что в сравнении с Шадманом-ялдыром самый страшный фашист — ничто».

В противоборстве с Шадманом Назар-ага, подобно многострадальному библейскому Иову, раз за разом оказывается униженным. Его объявили насильником, позже за ним закрепилась слава кляузника, ему достается самая тяжелая и грязная работа, а получает он за нее гроши. Мало того, что страдает он сам. Судьба его, как бы по наследству, переходит сыну, которого, так же как и отца, вряд ли ждет в жизни что-то получше лопаты поливальщика. А Шадман раз от раза набирает силу и становится председателем колхоза. При этом автор неоднократно подчеркивает, что униженное положение одного и процветание другого — не игра слепого случая. Власть придерживающие вместо того, чтобы восстановить справедливость, благоволят Шадману, полезному и удобному для них человеку. Односельчане, чье личное благополучие зависит от Шадмана-ялдыра, закрывают глаза на многие проделки последнего.

В конце концов добро все же восторжествует. Сын сообщает уже тяжело больному Назару-ага, что ревизия раскрыла махинации Шадмана.

« — Справедливость, сынок, хоть поздно, но пришла. Я разве не говорил тебе, что плохой человек раньше или позже станет жертвой собственных козней. Нет ничего неучтенного...

Назар-ага тяжело вздохнул. Сколько раз он был близок к отчаянию? Сколько раз он готов был согласиться, что Шадман-ялдыр взял над ним верх?» Только теперь, — думал Назар-ага, — начинается настоящая жизнь».

Однако развязка рассказа лишена безмятежности, «дней этой новой, второй жизни, о которой столько лет мечтал старик, оставалось так мало, что все их можно было сосчитать на пальцах одной руки».

Можно говорить, что Назар-ага — жертва социальной несправедливости. Да, это так. Сколько таких, как он, бедолаг ушли в мир иной так и не дождавшись торжества правды, начала «второй жизни». Тоталитарная система эксплуатировала порядочность, трудолюбие и долготерпимость людей типа Назара-ага. Она превращала человека труда в орудие труда, а опорой этой системы были шадманы-ялдыры.

И все же, думается, главное в этом рассказе не осуждение социальной несправедливости. Нет, не поворачивается язык назвать героя рассказа победителем. Автор несомненно симпатизирует ему, но не скрывает, что жизнь Назара-ага прошла впустую, а вторая жизнь, которую он слишком долго ждал, увы, мимолетно коротка, и это заставляет читателя вновь задуматься над вечной философской проблемой о вине не только палача, но и его жертвы.

В восьмидесятые годы, когда было написано большинство рассказов писателя, порой просто невозможно было называть вещи своими именами и потому приходилось прибегать к «эзопову языку». Рассказ «Свои — не хорошие» («Озумизинки говы дэл»), на первый взгляд, просто шутка, анекдот о безвольном муже-председателе колхоза и напористой, всегда добивающейся своего жене, которая

командует не только дома, но и в колхозе. Таким бы он, наверное, и оставался, когда бы речь в нем шла лишь о курице, корове и об «усатеньком» — парне из соседнего села, с которым, поддавшись моде на «кадры со стороны», сбежала из дома дочь Гайипа и Сенем. Но и специалиста на должность главного бухгалтера колхоза подбирают по такому же принципу. Один «варяг» уже подвел Гайипа, запутав счета и обворовав колхозную кассу. Замену ему председатель снова ищет на стороне. Есть свой, толковый, с высшим образованием, но... свои — не хорошие. Гайипу приглянулся только что закончивший техникум парень из соседнего села — родственник проворовавшегося главбуха.

« — Справится, — сказала Сенем-эдже, которая знала, что хочется услышать мужу. — А если кто из бухгалтеров с высшим образованием станет шум поднимать, скажи, что сверху указание.

— Вот это ты верно подсказала! — обрадовался Гаип-башлык.»

Эта реплика, можно сказать, ключ к рассказу. Кадровая политика колхоза является продолжением кадровой политики на более высоких уровнях, где, руководствуясь имперскими соображениями, руководителями всегда назначали «чужаков», безразличных к нуждам местного населения. Предпочтение так же отдавалось личной преданности, а не деловым качествам претендента. Вот, что рассказывает писатель в своих автобиографических заметках: «В те годы на ключевые должности ставили людей, приглашенных из других республик СССР, имеющих очень расплывчатое представление о Туркменистане. А способные люди из местных, должны были довольствоваться ролями мальчиков на побегушках. Туркмены говорят: «Соседская общипанная курица красавицей кажется». Выразить свое отношение к подобной кадровой политике я попытался в рассказе «Свое — не хорошее».

Думается, что автору эта попытка удалась.

Галерею подлинно народных характеров создал О.Оде в своих рассказах. Его персонажи, даже эпизодические, всегда заявляют о себе как личности, они наделены яркими, запоминающимися чертами. Такова Гуллер-эдже из рассказа «Клад» («Хум») — добрая, бескорыстно щедрая женщина. Она получает удовольствие, делая людям подарки, причем порою даже в ущерб собственному хозяйству, за что ей крепко достается от мужа. Назар-ага говорит: «Я давно бы стал самым богатым человеком в селе, если бы ты не раздавала все, что я зарабатую».

Но ни упрёки, ни тумак не в силах изменить характер Гуллер-эдже.

К сожалению, нередко встречаются в жизни и самоуверенные пустобрехи вроде продавца Овеза из рассказа «Прошу прощения». Вместе с другими он приглашен в дом Астана обсудить подготовку к свадьбе. Всю ночь Овез не дает никому рта раскрыть. Любого, кто пытается вернуть разговор к делам, он обрывает словами «прошу прощения» и продолжает свою болтовню. На рассвете люди расходятся, так и не разобравшись, о какой же свадьбе должна была идти речь, но счастливые, что наконец-то можно отдохнуть от болтовни словоохотливого Овеза.

Убедительный образ нарастающего в отношениях между людьми отчуждения нарисовал О.Оде в рассказе «Твой мир». Ораз-ага и Аннам работают в одном учреждении, сидят в одном кабинете и отношения у них, судя по всему, приятельские. Но каждый из них живет в своем мире. Ораз-ага некоторое время назад овдовел и теперь его заботит предстоящее сватовство. У Аннама другие проблемы — покупка машины.

День за днем пытается Ораз-ага заинтересовать Аннама своими делами, но тот — слушая, не слышит. Временами он перебивает страстный рассказ Ораз-ага неожиданным вопросом, продиктованным его собственными интересами. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что Ораз-ага так же безразличен к хлопотам своего коллеги.

Автора тревожат эгоизм людей, их душевная глухота, рост взаимного отчуждения в обществе.

Главная мысль рассказа «Клад» («Хум»): дармовое богатство не может сделать человека счастливым. Когда-то Назару-ага — герою этого рассказа — посчастливилось найти клад. Прошли годы, Назар-ага состарился и однажды слег. Наступает миг прощания с жизнью. Расстаться со своими сокровищами ему тяжелей, чем проститься с жизнью. Никому не может он доверить хум. Вот какие мысли посещают старика в последний час: «Говорят, богатство — радость. Какая же это радость? В чем она? От богатства — только

бесконечные страдания и страх! Никогда нет покоя из-за мысли, что кто-то может отыскать твои сокровища, только и думаешь о том, где бы их получше спрятать. Наверно, эти переживания и довели меня до болезни».

Автор очень убедительно описывает переживания богача, его тревогу. Назар-ага уходит из жизни, не успев сказать, где он закопал сосуд с золотом, ни жене, ни детям. Из-за этого начинается конфликт между его сыновьями, превращая их жизнь в трагедию.

В рассказах Османа Оде осуждаются многие человеческие пороки, но в первую очередь, лесть и угодничество, когда человека почитают не за его достоинства, а за должность и за выгоду, которую можно извлечь от общения с ним. В рассказе «Шестая палата» одному из больных — Байджану — оказывают всяческие почести и внимания ему уделяют значительно больше, чем другим обитателям больницы. Несметное число посетителей приходит его проводить, а уж сколько несут ему — не счесть. Даже врач заискивает перед Байджаном, потому что этот больной — «главный в универмаге».

Зато другой больной, Карлы, забыт всеми. Вот как говорится об этом в рассказе:

«Как это ужасно, если не с кем даже поговорить по душам. Вот на работе другое дело. Там то один придет поспорить, то другой. А сюда никто не пришел. Хотя наверняка знают, что он в больнице. А когда выпишется, скажут, что не знали, не слышали, или что были очень заняты срочной работой. Нет, при желании всегда найдется время, чтобы навестить больного приятеля. Ну и черт с ними! Просто нужно работать там, где ты действительно нужен людям. А кому нужен твой чертов НИИ, Карлы?! Что о чужих говорить, если родной брат только один раз навестил. Забежал, как в больницу положили, а после даже не справился, как прошла операция. Впрочем... В прошлом году, когда Язли сломал ногу, он, Карлы, тоже был у него всего один раз. Выходит — квиты! »

Рассказ «Наполеон» также заставляет задуматься над «своеобразием» человеческих характеров. Герой рассказа Мамед отправляется вместе с женой в гости к своему начальнику Силапу. И сам Мамед, и тем более его жена никаких теплых чувств к Силапу не испытывают. Визит нужен для дела: Мамед надеется, что начальник даст ему должность повыше. Поэтому они берут с собой дорогой французский коньяк «Наполеон». Придя к Силапу, они рассыпаются комплиментами и без усталости твердят, что очень соскучились. Времена меняются. Начальником становится Мамед, и от него теперь зависит благополучие Силапа. И вот уже Силап с женой идет в гости к Мамеду, потому что «очень сильно соскучился». При этом не забывает прихватить с собой бутылку «Наполеона».

Гостеприимство в крови у туркмен, уважение к гостю — одна из прекрасных древних традиций народа. Отношение к гостю — одно из испытаний, позволяющих увидеть как лучшие черты человека, так и его недостатки. Это отмечал еще великий Магтымгулы. Он говорит:

*Мужественный встретит гостя с улыбкой,
Спрячется трус, завидев идущего гостя.*

У Османа Оде есть несколько рассказов о гостеприимстве. Писатель показывает, как в современной жизни постепенно утрачивается прекрасный обычай наших предков. Особенно удачным на мой взгляд получился рассказ «Стучат».

В гости к Гуллы приходит его старый знакомый Шаджан. Этот неожиданный визит вызывает недовольство у хозяина дома и особенно у его жены. Им хочется поскорее выпроводить гостя. Садап начинает гадать, что привело Шаджана в их дом: наверно, хочет денег занять, возможно, хочет обворовать их, может, он человек из органов, и так далее, и тому подобное.

В конце концов Гуллы говорит жене:

— Ты уж совсем в дебри забрела. Некрасиво это, Садап. Сказал же он, что просто соскучился, поэтому и пришел нас проводить... Честно говоря, у нас ничего не осталось от наших предков. Уже гостям удивляемся. Даже не приняли Шаджана толком.

— Почему это мы должны его принимать? Он что, начальник? Или министр?»

В рассказе «Искусство обхождения» повествуется о событиях, происходивших в начале века. И здесь гостеприимство, как бы оселок, на котором проверяется искренность отношений между людьми. Например,

Хеки-бай приглашает к себе в гости прибывшего из Бухары знатного человека только для того, чтобы еще выше поднять свой авторитет в глазах односельчан. Вот как об этом говорится в рассказе: «Хеки-пальван был само благодущие, от его утрешней суетливости не осталось и следа. Чувствовалось, что он уже достиг своей цели: еще долго земляки будут вспоминать, как у него гостил ахун из Бухары...»

Но бывает и так, что приглашение, сделанное от чистого сердца, остается неслышанным из-за социальных условностей. Бедняк-поэт Бабыр Хайыт готов зарезать свою единственную овцу, чтобы достойно принять в своем доме Садриддина Айни и Шарифджана-махтума — казы Керкинского бекства — просвещенного ценителя поэзии. Но в последний момент казы отказывается от своего намерения и отговаривает Айни:

«Садриддин, я подумал и решил, что мы не можем принять приглашение Бабыра. В крепости только и ищут повода посудачить. Ты даже представить не можешь, что выдумают, если мы поедем в гости к этому бедолаге. Нет, нет, это исключено. К тому же нас сегодня пригласил к себе ишан. Мы не можем обидеть его».

Герой рассказа Мирзо Ахмад несколько раз повторяет Айни, оказавшему ему помощь, что намеревается пригласить его в гости, и даже подчеркивает, что очень обидится, если тот откажется. Но когда наступает время пригласить в гости, жадность одолевает его:

«... радостное волнение, в каком Мирзо Ахмад пребывал, впервые заслужив благодарность казы, очень быстро улетучилось, а вместо него в душу закралось беспокойство, которое с каждым часом нарастало. Домой он отправился без настроения, а когда прикинул во сколько обойдется прием, достойный казы и его молодого гостя, то расстроился так, словно его ограбили. На следующий день, сидя под своим навесом, Мирзо Ахмад то и дело воровато посматривал по сторонам. Все ему чудилось, что также внезапно, как давеча, рядом с ним окажется гость Шарифджана-махтума. Но этого не произошло, и вечером, когда Мирзо Ахмад подсчитал полученную за день мзду, к нему вновь вернулось хорошее настроение».

В рассказе «Приглашение на совет» писатель убедительно показывает, что в гости приглашают только тех, кто может оказать материальную поддержку хозяину дома, а по-настоящему достойных, способных дать дельный совет, не зовут. Так, используя стандартную ситуацию, Осману Оде удается изобразить многообразие человеческих типов, показать, как лишенные искренности чувств добрые традиции народа становятся пустой формой.

Как мы уже отмечали, Осман Оде имеет свой творческий почерк, свой художественный мир. Он только изображает, стараясь как можно реже давать своим героям характеристики или комментировать их поступки, доверяя это читателям. Автор не без оснований полагает, что лишь так произведение может сохранить свою актуальность с течением времени.

В свое время великий поэт Востока Низами (XII век) назвал качества, необходимые для того, чтобы произведение, преодолев встречающиеся на его пути преграды, прошло испытание временем и стало долгожителем. Главным Низами считал наличие героя, который мог бы стать примером для читателей.

Осман Оде разделяет эту точку зрения, и вот что он однажды написал по этому поводу: «Свою внутреннюю злость к негодяям, злым, мерзким людям я хотел бы погасить рассказом о прекрасных, высоких личностях, достойных подражания».

Это утверждение писателя полностью подтверждается образами положительных героев, созданных им. Осман Оде — очень требовательный к себе писатель. Над своими произведениями он работает подолгу, оттачивая каждое слово. Он вспоминает, что свою повесть «Гнездо беркута» переписывал восемнадцать раз. Если произведение ему не по душе, он никогда не предлагает его вниманию читателя.

«У каждой вещи своя суть. Этой сутью и определяется ее ценность. Суть литературы — красота и правда. Некоторые литераторы недооценивают необходимость равного присутствия этих двух великих начал и полагают, что достаточно лишь художественного совершенства. Однако, говоря словами Сагды Ширази, как бы красиво и голосисто ни пел соловей, он не может сказать правды. Говорить правду — это удел человека, и, в первую очередь, удел писателя».

Эти слова — творческое кредо Османа Оде.

Помимо многочисленных рассказов Осман Оде является автором нескольких повестей. Многим пришла по душе и запомнилась его первая повесть «Гнездо беркута». («Албай»).

О каком бы времени не рассказывалось в произведении, оно будет злободневным, если обладает способностью побуждать читателя к размышлениям о важных проблемах сегодняшнего дня. Произведение, не отвечающее таким требованиям, очень быстро забудется, как вышедшая из моды одежда. С этой точки зрения, в повести «Гнездо беркута» много выигрышных моментов. Повесть рассказывает о событиях дореволюционного времени, но и сегодняшних читателей она не оставляет равнодушными. Ведь в ней рассказывается о столкновении высочайшей человечности со злом, с самими низкими человеческими чертами. Автор изображает особую разновидность этой борьбы.

В жизни, к сожалению, нередко встречаются люди, которые, если им что-то надо, готовы на все. Чтобы добиться своего, они способны пресмыкаться и в тоже время им ничего не стоит совершить предательство, интриговать. Добившись своего они становятся совершенно другими, их отношение к тем, от кого они еще недавно зависели, в корне меняется. Они уже не так приветливы, как прежде, избегают тебя. Им ничего не стоит причинить тебе зло. Но жизнь длинная и может случиться так, что этому человеку снова придется обратиться к тебе за помощью. И он опять обретает прежний облик «ласкового ягненка». Будет унижаться и подлизываться, чтобы ты выполнил его просьбу. Казалось бы, человек, однажды преданный, в следующий раз будет действовать осмотрительнее. Но не зря говорят, что «доброе слово кость раздробит».

Рахим-йылма из повести «Гнездо беркута» много раз обманывал своего простодушного соседа Ябана. Однако Ябан не так прост, как это может показаться на первый взгляд. Да, в нем нет ни капли хитрости. Но сосед для него не загадка, Ябан почти всегда осознает какие истинные цели тот преследует. Обманутый несколько раз, он решает раз и навсегда порвать со своим непорядочным соседом, переехать в другой конец аула. Но бросить дом, построенный для него отцом, он никак не может. Для него отцовский очаг священен.

Автору удалось избежать одномерности и схематизма в изображении характеров своих героев. Рахим-йылма вовсе не отпетый негодяй. Ябан, хоть и обижен на Рахима, тем не менее признает, что сосед заботлив и образован. За это он его уважает.

В тоже время некоторые черты Ябана вызывают раздражение и даже чувство жалости к нему. Разница между характерами двух соседей – как небо и земля. Это расстояние автор называет рекой отчуждения. То увеличивая, то сокращая это пространство, автор раскрывает внутренний мир Ябана и Рахима-йылма, показывает их образ жизни.

Ябан вынужден купить у соседа жир пеликана и черепашьи яйца. Но Рахиму-йылма бесконечно напоминает Ябану о сделанном одолжении. Чтобы не слышать этих упреков, Ябан готов сделать все, что ни потребует Рахим. Однако в душе у него все восстает против корыстолюбия соседа. Описание внутренних переживаний Ябана помогает еще глубже проникнуть в характер героя.

Характер Рахима-йылма проявляется в каждом его движении, в каждом слове, в его взглядах на семью. Он желает, чтобы каждый сделанный им шаг приносил его семье пользу. Он не хочет, чтобы его сын Дурдымурад женился на любимой девушке – дочери Ябана. Причины? А вот они: «Дурак, ах, какой дурак! – в мыслях распекал он Дурдымурада. – Красотой по молодости лет обольстился. А на кой, спрашивается, человеку красота? От остывшего чая и то проку больше. Им хоть жажду утолить можно! Не о красоте думать надо, а о своем завтрашнем дне. Не пара тебе дочь Ябана, не пара! Сейчас ты для людей человек, у которого свой дом есть, да и в доме кое-что имеется. А не будет у тебя поддержки, так и уважать перестанут. Нищий никому не нужен! Если можно за твой счет пожить, вот тогда люди приветливы. А если проку им от тебя нет, то и лишним словом с тобой не перекинутся. Перед зятем Нургельды все шапки ломать станут, везде будешь желанным гостем. Пусть не красавица, пусть упрямая... Ничего! Это даже неплохо. С такой женою не побездельничаешь. А ведь мы, мужчины, какие?.. Не будет жена все время пилить, так и станешь лодырем. Вот в чем правда-то!»

В конце повести, казалось бы, хитрость и «доброта» Рахмана восторжествовали. Но это не так. Побеждают человечность, доброта без кавычек. Но вместе с тем читатель не может остаться равнодушным к

гибели Ябана. Автор оставляет за читателем право на справедливый суд. Но дает понять, что с такими, как Рахим-йылма, надо вести непримиримую войну.

Порядочность Ябана не оставляет равнодушной и Рахима-йылма. Каждый раз, поставив своего соседа в безвыходное положение, он чувствует себя перед ним виноватым. И даже дает себе слово больше не поступать так. Говорят, привычка человека – это его вторая натура, и с этим трудно не согласиться. Внутренний монолог Рахима в конце повести можно расценить, как его раскаяние. Но вряд ли он изменится, и это можно понять по тем словам самооправдания, которые он бормочет, стоя над телом разбившегося Ябана.

Ябан стал жертвой притворного обаяния и обмана. Он понимал, что его обманывают. Но не мог устоять перед Рахимом.

Пищу молодому беркуту дают на манке-вабиле. Когда приходит время учить птицу охотиться, беркута несколько дней держат голодным. Потом выпускают, и когда птица взмывает в небо, машут вабилом. Изголодавшийся беркут камнем падает вниз, устремляется к вабилу, на котором его должен поджидать корм. Но пищи нет. Обманутая птица приходит в ярость. Так повторяется много раз, пока беркут не научится с лету атаковать добычу. Обманутый беркут начинает ненавидеть вабило. И если позже его попытаются кормить с вабила, он не берет корм. При виде приманки приходит в ярость. Нет силы, которая могла бы смягчить его обиду. После этого охотник обязан смастерить новое вабило. Ябану не хватает силы воли и решимости, чтобы в очередной раз не клонуть на приманку Рахима-йылмы.

Ключем к произведению, служит притча о варане и козе: «Заметив одинокую козу, варан начинает шипеть и бить хвостом по земле, завораживая таким образом свою жертву, а сам тем временем подбирается к ее вымени. Коза стоит неподвижно, словно зачарованная, и приходит в себя лишь от боли, когда варан вцепится в ее вымя. Но освободиться не может и вынуждена терпеть, пока тот не насытится. После такой дойки на вымени козы остается рана, которая досаждала ей долгое время. Казалось бы, это должно послужить козе уроком, но нет – варану удастся обманывать ее снова и снова.»

Человек не должен быть безвольной жертвой, наподобие несчастной козы. Вот мысль, которую автор пытается довести до читателя с помощью системы созданных им образов. Эту мысль углубляет и образы других персонажей повести – Нургельды и Дурдымурада.

Важную роль в повести играют описания природы, животного мира. Автор показывает, как щедры Гарагумы. При этом подчеркивает, что только от человека зависит добра ли природа к людям или нет. Богатства пустыни расхищаются такими, как Рахим-йылма, Нургельды.

В финале повести Ябан карабкается на скалу, чтобы добыть для Рахима птенца беркута. В этой очень яркой сцене есть символический смысл: скала – это непреодолимая преграда между двумя соседями, преграда между двумя нравственными позициями.

Повесть Османа Оде «Скачки», удостоенная в 1987 году премии журнала «Совет эдебияты», заслуживает более подробного анализа. Для этого достаточно причин. Важную роль в понимании этого произведения играет подтекст. Хорошо это или плохо? Разумеется, подтекст существует в любом художественном произведении. Прямая дидактика, сухие наставления снижают художественное достоинство литературы, и потому, на наш взгляд, достойно всческого одобрения то, что автор, глубоко чувствуя природу художественного, умело избегает нравучительности. Однако, следует признать, что подобно проблеме гармонии между формой и смыслом, есть проблема соответствия между текстом и подтекстом. Перегруженность подтекстом порой затрудняет понимание главной мысли произведения.

Вот что писал по этому поводу Комек Кулиев: «Осман Оде не так открыт, как Джума Худайкулиев, он сложен, у него есть привычка поглубже прятать то, что он хочет сказать. Прочитав его впервые, порой не сразу понимаешь, что автор хотел сказать. Но вряд ли такая манера должна осуждаться, напротив, на мой взгляд, она достойна самого высокого одобрения. Ведь в произведении обо всем можно сказать не написав об этом прямо.

Но... есть мера и для краткости, и для скрытности. О. Оде... иногда так глубоко зарывает свою мысль, что хоть десять раз пройди рядом, все равно не догадаешься, что тут есть скрытые идеи. И будешь

оставаться в неведении до тех пор, пока автор сам все не разъяснит. И лишь тогда удивляешься, когда ты сам этого не понял» («Эдебиат ве сунгат», 25 декабря 1987 года).

Эти слова не лишены смысла. И нам хотелось бы посоветовать автору, совершенно не отказываясь от образности и глубокомысленного подтекста, преподносить их в такой форме, чтобы они были бы доступными каждому читателю.

Доносить мысль, имеющуюся в произведении до сознания читателя, доля литературной критики. Обязанность критики не состоит в том, чтобы «разъяснять» читателю и без того понятные вещи. Ее долг — раскрывать подтекст, вот почему мы считаем необходимым подробно остановиться на повести «Скачки».

Задача художественного произведения состоит не в том, чтобы констатировать наличие у человека той или иной черты характера, хвалить его, если он хороший, и критиковать — если плохой. Основная задача произведения — показать формирование характера, показать его в развитии, раскрыть условия, под влиянием которых эти трансформации произошли.

Как же возникают отрицательные черты характера? Кто, какие обстоятельства становятся причиной их возникновения? Ответ на эти вопросы кажется очевидным: плохой характер складывается под влиянием плохих людей и неблагоприятных обстоятельств. Осман Оде в своей повести подходит к этой проблеме более широко. Он делает попытку показать, что не всегда плохие люди влияют на становление отрицательного характера, порою и хорошие люди и некоторые их поступки могут способствовать тому же.

В слово «скачки» Осман Оде вкладывает смысл — «жизнь». Каждый человек проходит свой жизненный круг. Кто-то — не оставив никаких следов, не сделав ничего заметного. Другие — служат своему народу, своему времени и достойно завершают свой жизненный путь. Жизнь очень сложна. В ней никому не удастся скрыть, кто ты есть на самом деле. Но в жизни встречаются люди, которые, зарабатывают себе славу на чужом труде, но считают, что это честно заработанная ими слава. В повести это очень правильно подмечает Черкез-волопас: «Люди видят только внешнее, не утруждают себя, чтобы добраться до подлинной сути, до самой глубины. Велика ли заслуга этого мальчишки в том, что Шункар выиграл заезд? Люди слепы. Они славят наездника, а того, кто вырастил замечательного коня, подготовил его к победе, позабыли, не замечают в своем ослеплении. Как же не страдать сейису от такой неблагодарности? Да еще как отец он переживает. Мудрено ли? Мало ли наездников погубило зазнайство? Сидишь в седле, смотришь на народ свысока, голова кружится от похвал, от восторгов, токи всеобщей любви хмелят, словно весенний ветерок, — обо всем на свете позабудешь, гарцуя на отцовской славе!»

Как видим, Мульки убежден в том, что слава, завоеванная тяжким трудом его отца, принадлежит ему. Таков первый смысл.

Сам же ипподром, о котором говорится в повести, и предстает в ней в полном смысле слова жизненным ристалищем. Огромное поле, на котором проводятся скачки. Здесь наши предки тренировали знаменитых ахалтекинских коней, получая от этого духовное удовлетворение. Народ, как зеницу ока хранивший своих ахалтекинцев, свое достояние, мог голодать, но никогда не держал голодными коней. Люди продавали последнее, чтобы накормить коня. Зато сегодня кони, к которым всегда так бережно относились, оказались в тяжелом положении. Можно говорить о том, что уже нет прежних, знаменитых на весь мир скакунов. Здесь, наверное, уместно напомнить один эпизод из повести. Заготовители, воспользовавшись нуждой народа, скупают красивых породистых скакунов. Невозможно без волнения читать о Черкезе-волопасе, который считает коня смыслом своей жизни:

«— Нарлы, Нарлы, остановись! Ради бога, не давай руки!.. — Во двор вбежал запыхавшийся Черкез-волопас, встал между Нарлы и безбородым. — Одумайся, сынок. Шункар — наша радость. Не продавай его. Ты зачем ковер выпатчил? — прикрикнул он на Мульки.

— Мы не бесплатно берем, яшули, — с обидой в голосе сказал безбородый. — Хотим помочь беднякам. Какие теперь скачки? Из соседнего села люди коней нам продали. Не верите — идемте, покажу. Там, за селом, и кони, и верблюды. Тридцать верблюдов с коврами, целый караван. Зачем человеку ковер, если дети голодные?..

– Эх, братишка, много ты понимаешь!.. Зачем туркмену жизнь, если лишится коня, ковров и звуков дутара. Наши отцы-деды с нуждой не расставались, а душу свою не продавали. И мы не станем. Никогда!.. Нарлы, пусть брат унесет ковер. Не для чужаков их ткнут наши невестки. Верно, люди?..»

Автор искренне печалится о том, что сегодня осталось очень мало ипподромов, да и на тех почти не слышен стук конских копыт. С помощью живых образов автор говорит о необходимости возвращения былой славы нашим ахалтекинцам. Это можно считать вторым смысловым кругом.

Смысл третьего круга самый глубокий, он дан в подтексте. На примере событий прошлого осуждаются ошибки сегодняшнего дня. Здесь-то и распутывается клубок основной идеи повести. Основная идея повести раскрывается образом Сары-ага. Сары-ага – прекрасный сейис. Он всю свою жизнь тренировал коней бая. На склоне лет он тренирует для себя Шункара. Шункар – очень резвый скакун. На всех свадьбах он выходит победителем. Автор считает Шункара авторитетом Сары-ага среди людей, лучшим плодом его руда и любви. Но этот авторитет жокея присваивает себе его сын Мульки. Здесь автор ставит перед собой задачу дать широкий смысл, касающийся дня сегодняшнего, раскрыв одно неблагоприятное явление, довольно часто встречающееся в жизни. Легко доставшаяся Мульки слава отца, которую тот зарабатывал всю жизнь, невольно заставляет задуматься о таких же явлениях в нашей сегодняшней жизни. Разве не сталкиваемся мы то и дело с этим в нашей повседневной жизни. Давайте будем откровенны. Сегодня редко можно встретить детей высокопоставленных людей, которые бы были заняты на черной работе.

Сын начальника сразу занимает немалую должность. но разве он получил ее благодаря своим способностям? Нет, и еще раз нет! О нем позаботились его ближайшие родственники. Таким образом, туповатые дети некоторых руководителей зачастую вершат судьбами других людей. За примерами далеко ходить не надо. Детям должностных лиц все легко. Они без труда оканчивают высшее учебное заведение и занимают тепленькое местечко. Как правило, у них прекрасный дом, есть легковой автомобиль. А детям простых смертных, всю жизнь занятых тяжелым трудом, иметь все это нелегко, да и не всегда удается.

Каждой главе соответствуют небольшие рассказы о тутовнике. Они также служат раскрытию главной идеи произведения. Раскрывая скрытую мысль автора, можно сказать, что Тутовник – это образ Сары-жокея.

В ауле Ханар другого такого большого тутовника, как этот нет. И в соседних аулах об этом ауле знают по этому тутовому дереву (Сары-ага). Но вот что пишет автор:

«А вот побег, что пошли от корней, никак силы не наберут. По весне растут споро – листьями шумят, но каждый год какая-нибудь беда: то ветер их ломает, то корова обгрызет. В позапрошлом году Сары-ага отсадил два росточка, на огороде они принялись, а вот в тени старого тутовника их братья никак расти не хотят. Никак Сары-ага не возьмет в толк, отчего так получается. Может, есть какой секрет? Или это просто ему не везет? Ведь у многих односельчан и в тени старых деревьев растут молодые тутовники...»

Автор прав. Нужно особое умение для того, чтобы поставить на ноги своего ребенка, вырастить его, не дав испытать жизненных трудностей. Особое внимание автор уделил другой стороне вопроса: нередко дети известных людей вырастают с плохими привычками, топчут авторитет своих отцов, позорят их. Мудрый и умный человек никак не может понять, почему же это так случается, жалуется на свою судьбу, желает, чтобы сын исправился. Каждой раз, когда сын причиняет зло, он переживает это всем сердцем. Сары-ага тоже из числа таких людей. Он не в силах вынести проделки своего сына. Слишком поздно задумывается он над тем, почему так получилось. Так и не найдя ответа, уходит из жизни. Хотя, казалось бы, этот мудрый человек должен был воспитать хорошего сына?!

Жена Сары-ага Гульрух-эдже искренне ненавидит Шункара:

«– Дома джугары не осталось, а ты кормишь его ячменем. Все забыл из-за этого жеребенка. Дай тебе волю, так нас продашь, лишь бы его холить. Тоже мне – бай-ага... Разве мало тебе чужих лошадей? Дети не видели от тебя столько ласки! На них ты только кричать умеешь, все добрые слова – только для лошади!»

Как нам кажется, это женское ворчание и есть ответ на все вопросы Сары-ага. Потому что в жизни именно так и бывает. Некоторые люди, с головой уйдя в свое увлечение, забывают обо всем остальном, забрасывают свою семью. И хотя он живет у себя дома, он далек и от жены, и от своих детей. Он живет в

своем мире, в котором нет места для них. Проходят годы. Дети вырастают эгоистами, потому что для этого у них был пример. А со временем слава отца переходит к сыну, и уже тот перестает замечать окружающих.

Мы должны воспитывать своих детей с раннего детства, учить их самостоятельно мыслить, должны прививать им определенные навыки. Об этом мы говорим постоянно, и это очень верная мысль. Но сами-то мы как поступаем? Говорим: «Мы прожили тяжелую жизнь, пусть хоть дети наши проживут нормально». Дети вырастают неподготовленными к самостоятельной жизни. Ребенку, выросшему без особых трудностей, впоследствии бывает нелегко жить самостоятельно, создавать и содержать свою семью.

В своем доме, созданном его трудом и стараниями, Сары-ага никому ничего не доверяет. Всю работу по хозяйству он либо выполняет сам, либо приказывает как делать это другим. Если узнает, что жена или дети что-то сделали самостоятельно, ворчит на них. И поэтому все просто ждут когда Сары-ага отдаст распоряжение. Старший сын Нарлы достиг сорокалетия, младшему Мульки – тридцать. Но они не готовы к жизни.

Вот что еще хотелось бы отметить. Разве только в семье существует недоверие к молодым? Намеком автор дает понять, что сегодня и в учреждениях молодежи не очень-то доверяют ответственную работу, мало заботятся о том, чтобы они стали квалифицированными кадрами. Но ведь именно в молодости у человека есть и пыл, и энтузиазм, и желание завоевывать вершины. Надо использовать это. Этого не делают. Со временем пыл угасает, способности оказываются невостребованными, талантливый человек остается невостребованным.

Но вернемся к основной линии. Сары-ага умирает. Теперь семья вынуждена жить самостоятельно. Нарлы остается главой семьи. Ему это дается чрезвычайно тяжело. За четыре месяца, прошедших после смерти отца, он буквально сгибается под тяжестью забот. Дети предпочитают держаться от него подальше. Больше всего его мучает то, что прежде безмолвная жена теперь постоянно упрекает его. Нарлы пытается всюду поспеть, но у него из этого желания ничего не выходит. За что бы он ни брался, его всюду постигают неудачи. Нарлы оказывается в очень тяжелом положении. Двум братьям выпадает вкусить настоящую жизнь сполна.

Получивший хороший уход Шункар все еще завоевывает призы на свадьбах. Мульки считает это своей заслугой. Он становится надменным. Говорит Черкезу-волопасу, пришедшему в гости:

«– Видели, Черкез-ага?! Мухаммед-серке чуть не плакал. Значит могу я за конем смотреть!..»

– Пламя в очаге не сразу гаснет, угли еще долго тлеют, – вырвалось у Черкеза-волопаса. Он и сам пожалел об этом. – Пусть твой огонь всегда горит, Мульки-джан, – прибавил он, чтоб загладить неловкость.

– Так и будет, Черкез-ага! – беззаботно воскликнул Мульки. – Пусть завистники говорят, что им хочется, а будет так, как я пожелаю!

– Даст Аллах, так и будет! – Черкез-волопас тронул вожжи. – Сары тогда сможет спать спокойно».

Что означает – «пламя в очаге»? Это авторитет Сары-ага. наступит день, когда за него уже нельзя будет прятаться. Это и впрямь так. В ответе, который Мульки дает Черкезу-волопасу, все еще чувствуется самодовольство. Но время идет, и постепенно Шункар, которого Мульки считал самым близким существом, начинает удаляться от него, перестает быть прежним. Он пугается хозяина, так и норовит ударить его копытом.

Вернувшись с ристалища, Мульки жалуется матери:

«– Ты была права, мама... – сказал Мульки, не глядя на Гюльрух-эдже. – Отцовское седло совсем старое... Чуть не упал. Хорошо еще сразу почувствовал, что подпруга порвалась. Надо искать новое седло. – Мульки сел напротив матери, положил седло рядом с собой, облокотился на него, как на подушку. Он был огорчен проигрышем, но старался не выдать своей досады.

– Слава богу, что порвалась, – сказала Гюльрух-эдже.

– Это почему же?!

– Известное дело: иначе бы и не вспомнил о моей просьбе.»

Это правда, зачастую человек, а тем более такие люди, как Мульки, не берется за ум до тех пор, пока не приспичит. Подпруга коня – авторитет отца – уже обветшала, она вот-вот оборвется. Надо обновить

подпругу. Гульрух-эдже говорит сыну, что он не стал бы менять подпругу на новую до тех пор, пока она держится, мол, так всегда в жизни случается. И когда Мульки просит ее починить подпругу (авторитет), мать говорит, что это каждый должен сделать сам. Ах, если бы мать могла, она бы зашила, но она искренне признается: «Ах, да разве же у меня есть силы точить кожу?» Теперь Мульки вынужден обходиться без выручавшего авторитета отца. Ему теперь надо завоевывать свой авторитет, самому тренировать коня. Но ему это не под силу. Ни за что с этим ему не справиться. Жизнь начинает и на его плечи давить. Автор, не ограничиваясь рассказом об этом с помощью событий, опять обращается к подтексту:

«— Мама, что-то дома холодно?

— Утренняя прохлада, сынок.

— Надо было очаг растопить.

— Только что топили, но быстро прогорело»

При жизни Сары-ага в доме всегда было тепло, в печке гудел огонь. Теперь жизнь для Мульки не такая легкая, как прежде, холодная. Что хочет сказать автор? Он говорит: люди, давайте не будем баловать своих детей, подготовим их для будущей серьезной жизни.

Вот смысл, заложенный автором в произведение.

Таково наше мнение о третьем круге «Скачек».

Можно было бы говорить и о четвертом, пятом... и других условных кругах, на которые разделены «Скачки». Но оставив все остальное читателям, поговорим о других сторонах повести.

Повесть состоит из трех разделов. Весна, лето, осень. И эти три времени года связываются с жизнью человека. Первая часть — «Весна» — молодость человека; лето — его зрелость; осень — старость. А где же зима?! В повести и на этот вопрос можно найти ответ. Если твоя весна не похожа на весну, лето на лето, а осень на осень, то для человека это самая настоящая зима. Только эти три времени года раскрывают тебя во всей полноте, дают понять, что ты из себя представляешь.

Мульки «показалось, что после весны вдруг наступила осень. Он и сам не заметил, как пролетело лето...»

Конечно, время тает незаметно для человека, не вкусившего горечи и сладости жизни, для человека, которому безразлично, что творится вокруг него, будь это хоть потоп, человеку, который ничем не утруждает себя и живет только в свое удовольствие. Но время потихоньку откалывает кусочки от большого куска, именуемого жизнью. Вот и Мульки так жил и не ведая жизни, дожил до тридцати лет. И теперь оказалось, что он не способен самостоятельно решать жизненные проблемы.

Вот она, типичная трагедия семейной жизни.

В повести много вспомогательных линий, позволяющих прояснить основную идею. О некоторых из них необходимо поговорить.

Вот внук сейиса Сары. Он делает первые шаги. Падает. Ушибается, но все равно не плачет, даже если ему больно. Он хочет ходить. Других мыслей у него нет, только одно стремление. Проходит какое-то время, ребенок уже умеет ходить. Теперь, когда падает, начинает плакать. Расстраивается. Надо успокоить его, найти для этого нужные слова.

Другой пример. Возле конюшни держат огромного пса с обрубленным хвостом для того, чтобы он не подпускал посторонних. Он охраняет Шункара. Но этот пес мало похож на настоящую собаку. От лени ему не хочется даже мух от себя отгонять и он весь день лежит в тени. Для него главное, чтобы его хорошо кормили. А свой долг он не исполняет. Пес не залайл даже тогда, когда дважды делались попытки угнать Шункара. Бойся лаять. Зато он любит всякие игры, с помощью которых выхватывает хлеб из рук ребятишек. И тут же проглатывает его. Получив достаточно, он уже и играть не хочет, ложится и лениво отворачивается от детей. Алабай напоминает читателю о дармоедстве, трусливости, подхалимаже.

Еще один пример. У Сары-ага, помимо Шункара, есть еще одна лошадь. Это серая Серая, старая кобыла. Лет десять-пятнадцать назад она была красавицей. На многих соревнованиях она завоевывала главные призы. Но однажды на скачках в ауле Дашгуйи проиграла. В ее сердце появилась трещина. После этого, поняв, что от Серой пользы уже не будет, Дурды-бай отдает кобылу Сары. И вот теперь лошадь стоит без дела. Ее мечты далеко отсюда, она мечтает о степном просторе. Однако никто ее не тренирует, но и

тяжести таскать не заставляют. Гульрух-эдже сравнивает лошадь с бесполезным грузом. Не любит ее. Зато Сары-ага на склоне лет подолгу сидит возле Серой. Ему кажется, что лошадь похожа на его жизнь, его бесполезный труд.

Есть в образе Сары-ага моменты, заслуживающие, чтобы их отметили особо. Он покоряет читателя своей мудростью, серьезностью, любовью к своему делу. Он отрывает от своих детей, кормит коней. Его беспокоит упадок ахалтекинских коней. Сары-ага ищет пути их размножения. Он желает, чтобы не сокращалось число знаменитых скакунов, гордости туркменского народа. Образ Сары-ага у автора получился многогранным. Если брать в целом, это положительный герой. Но есть у него и недостатки, как у всякого человека. Уйдя с головой в любимую работу, он забрасывает своих детей, не занимается их воспитанием. Он очень боится исчезновения профессии жокея, передаваемой из поколения в поколение. Тем не менее своим сыновьям это ремесло он не передает. Не доверяет им. Ему кажется, если он доверит своим детям хозяйство, свое ремесло, все пойдет прахом. Он и по хозяйству все дела делает сам. То, что делают другие, ему не нравится. Вот разговор Сары-сейиса с конюхом Черкезом. Черкез говорит:

«— И Мульки... — Черкез-ага не договорил, искоса посмотрел на сейиса. — Он — хороший наездник, когда вижу его, душа радуется, но ... Вот помню, ты... Ты в седле свободно сидел, легко, словно кроме тебя и лошади вокруг никого. А Мульки смущается что ли?.. Все вертится, по сторонам смотрит.

Сары-ага, соглашаясь, покачал головой:

— Молод еще.

— Нет красавицы без изъяна! — поспешил успокоить друга Черкез-ага. — Ты бы учил его, сейис.

— Я же сказал, молод, — твердо повторил Сары-ага. — Сначала надо хорошим наездником стать.

— Брось, брось, сейис... Мульки уже за тридцать. Ты был не старше, когда чужой человек доверил тебе своих коней. А ведь Дурды-бай дорожил ими, как своей жизнью!»

Выявление положительных и отрицательных черт характера Сары-сейиса с помощью конкретных событий делает образ особенно убедительным, живым. Раскрытию характера героя помогают и внутренние монологи, размышления о жизни, семье, смерти, о судном дне.

А каким получился образ жены Сары-ага Гульрух-эдже? В прозе последнего времени было создано немало образов женщин, смиренно принимающих свою участь. К числу таких женщин можно отнести и Гульрух-эдже. Но создавая образ простой женщины, автор стремился наделить ее самобытными чертами. В чем же выражается своеобразие Гульрух-эдже?

Казалось бы, Гульрух-эдже создана для того, чтобы заботиться о муже, жить только его заботами и печься о его благополучии. Она кормит детей, заботиться о детях, внуках и невестках. Сама же постоянно ходит в одном и том же обветшавшем платье из алачи.

Всю жизнь она скрывает от мужа проступки своих детей. Потому что, если она пожалуется на них, муж будет бить их. А мать не желает, чтобы ее дети страдали. Правда, иногда они так доводят ее, что она не выдерживает, жалуется мужу на них. Потом начинает проклинать себя за то, что не совладала со своим гневом. Своим детям она желает добра. Особенно она жалеет младшего сына, потому что он рос болезненным. Для него она тайком печет гутабы, тайком от других членов семьи. Когда Мульки заставляет своего сына Еламана говорить матери, его жене Бахар «мама, мама, ты дура, у тебя голова пустая», она укоряет сына: «Сынок, зачем ты ребенка заставляешь такие слова говорить? Разве ты сам не можешь сказать этого? Сам скажи!» Короче говоря, мать, сама того не ведая и не понимая сбивает сына с прямого пути. Автор очень убедительно выписал образ этой женщины. Но как считать образ Гульрух-эдже: положительным или отрицательным? Нет, читатель всем сердцем принимает ее простоту и наивность, сердечность, жалея лишь о тех ее поступках, которые она совершает, не зная, к чему они приведут.

В повести есть еще несколько женских образов. Они коренным образом отличаются друг-от друга. Образ Мамагуль прочно связан с основной идеей произведения. Мамагуль — образец трудолюбия и отваги. Для павшего духом Нарлы она живой пример.

Мамагуль росла избалованной. Но жизнь закалила ее, особенно после смерти мужа Абды. Когда она овдовела, родственники решили отдать ее за кого-нибудь. Чтобы не дать своих детей в обиду, ей приходится потуже затянуть пояс. У нее есть свои убеждения: женщины только называются женщинами, на деле они ни

в чем не уступают мужчинам. Она не боится тяжелого труда. По ее словам, для нее главное, чтобы ее дети не ходили с протянутой рукой. Она постоянно в работе. Нарлы в зависти смотрит на то, как ловко орудует она кетменем, удивляясь, откуда в этой хрупкой женщине столько силы. Ее работа у каждого вызывает желание трудиться. Жизнь прежде избалованной женщины, несмотря на молодость справившейся со всеми трудностями, многих заставляет задуматься.

А как несет свалившийся на него тяжкий груз старший сын Сары-ага Нарлы? Как он относится к работе своей соседки? Надо сказать, что судьба Мамагуль во многом схожа с судьбой Нарлы. Но вместе с тем в этих судьбах очень много различий, у каждой свои особенности. Нарлы падает духом. Хотя ему очень хочется быть хорошим человеком, нравиться всем, делать добро. Но не получается. Никто и ничто не оправдывает его надежд. Отец ушел, оставив на него большую семью. Он ощущает себя сиротой, хотя мать и объясняет ему, что сорокалетнему мужчине неприлично называть себя сиротой.

Как говорил Сары-ага, он кулаками пытается восполнить то, на что не хватает ему ума. Стоит ему на что-то разозлиться, он уводит в конец участка младшего брата Мульки и там «воспитывает» его с помощью тумачков. Но никакими побоями не может воспитать младшего брата.

Поскольку отец дал ему наказ, он идет на конюшню. Жалобно глядя на Шункара, умоляет его не подвести, всегда брать первые призы на скачках. Предлагает коню сахар. Оставляет сахар на краю загона и уходит. Так он поступает каждый день.

Таким образом, Нарлы предстает перед нами как человек неумелый. Особенно отчетливо его суть проявляется в его размышлениях. Он опасается людей, поскольку слабее многих из них, боится опозориться. Он знает, как любят сельчане подшучивать над людьми, а если увидят, что ты сердишься, и вовсе могут засмеять. Не понимая шуток, он уже несколько раз схватывался с людьми, дело даже до драки доходило.

У него манера говорить высокопарно. Говорит о том, что всем желает добра. Получает от этого удовольствие.

В повести «Скачки» много о чем говорится. Как мне кажется, интересен сон Сары-ага. Что хотел сказать автор?

Люди отличаются друг от друга, они чужие друг другу. Вот главная мысль, которую высказывает автор. Никому нет дела до чужих бед. Вот кого-то избивают, режут, убивают. Но никого это не трогает. И после того, как человек убит, выходит, что никто этого не видел. Никому не хочется утруждать себя свидетельскими показаниями, люди боятся, как бы их самих не обвинили в совершенном преступлении. Не хотят подходить к покойнику и сыновья Сары-ага. А внук Соег говорит: если дед даст десять тенге, он готов сбегать за соседями. И во время похорон покойного люди разговаривают друг с другом о посторонних вещих. Как эта картина связана с сегодняшним днем? Разве сегодня мы не наблюдаем отчуждение людей? И разве сегодня кого-то может удивить такая картинка: во время похорон люди отрешенно разглядывают чужие могилы, о чем-то беседуют в сторонке, совершенно забыв, где находятся, а некоторые даже могут громко рассмеяться? В жизни мы то и дело сталкиваемся с такими фактами. Это уже никого не удивляет.

Кое-что следует сказать и о развязке произведения. Среди произведений последнего времени немало таких, которые заканчиваются каким-то стихийным бедствием, несчастьем. Вот и повесть «Скачки», казалось бы, должна закончиться после падения Мульки с коня. Но нет, этого не случается. Идет дальнейшее углубление мысли. Что означает падение Мульки с коня? Это, как нам кажется, олицетворение его падения в жизни. А вернее, полный крах. Теперь он не может спрятаться за авторитет отца и жить этим. Ему приходится садиться не на отцовского скакуна, а на свою ленивую лошадь. И она сбрасывает его.

В конце повести Мульки куда-то уезжает из дома. Неизвестно куда. И непонятно, вернется он или нет. Как нам кажется, вовсе не обязательно сообщать об этом. Потому что автор сказал то, что хотел сказать. И на этом поставил точку.

Большое впечатление производит и повесть Османа Оде «Волчий закон». В ней описываются события одного дня. Чтобы внедриться в нее поглубже, давайте прочитаем ее начало и конец. «Не только у зимнего дня «сорок лиц». Весной их у него еще больше. Вроде бы ярко светит солнце, но набегит черная туча, хлынет дождь и через полчаса все вокруг будет залито водой, как во время потопа. Вот и в тот день за ночь небо затянуло тучами. Они летели, клубясь и все плотней закрывая небосклон, так что из-за них не было

видно даже утренней зари. Издалека доносились ворчливые раскаты грома, а подбрюшье низко нависших над землей облаков то и дело озаряли зарницы. ».

Конец: «Усилившийся к вечеру ветер быстро гнал тучи на восток, точно не хотел, чтобы Клыч наслаждался «шепотом молодки». Но облака были слишком тяжелы, слишком полны влагой – так что без дождя сегодня наверняка не обойдется. Но он будет идти недолго – хлынет, прошумит, а после него небо очистится во всю свою ширь».

Мы неспроста с этих картинок начали свой разговор о повести «Волчий закон». Они создают настрой повести. События в ней разворачиваются на фоне природы.

Внимательно знакомясь с творчеством О.Оде, я заметил следующее. Автор в своих произведениях параллельно с главной темой развивает еще несколько сюжетных линий. Постепенно они сливаются с главной. Это очень непросто: так переплести несколько линий.

Главным достоинством повести «Волчий закон» является появление в ней абсолютно нового для туркменской литературы образа – это охотник Клыч.

Образ Клыча запоминается читателю не только потому, что у него необычная специальность – он охотится на волков, но и тем, что у этого человека необычный характер. Кто такой Клыч? Если характеризовать его словами старшего брата Мамеда, то он примерно таков: «У тебя на уме лишь работа и охота. А рядом есть люди, что поопасней волков, они на саму жизнь охотятся, чтоб покорить и подчинить ее себе. Кто ты против них? Беспечный простак!.. Столько на белом свете прожил, а нет у тебя ни хитрости, ни ловкости».

Своеобразие личности Клыча особенно отчетливо проявляется в его отношениях с женой Шемшат, а также во время погони за волком.

В повести развитие получают обе линии. И с ними обеими Клыч связан накрепко.

Первая линия. Ночью в селе была совершена кража. По следам Клыч определяет, что вор – Умыт – его племянник.

Умыт – избалованный парнишка. Он единственная надежда Мамеда. И поэтому тот старается защитить сына, оградить его от всех неприятностей.

Клыч и прежде раскрывал кражу Умыта. Это уже его второе воровство. Умыт не признается в содеянном. Клянется молоком матери. Вот в связи с этим мысли Клыча: «Этот мерзавец и в прошлом году клялся молоком матери. И опять так же поступает. знает, что ему поверят, если он поклянется молоком матери. Смотри, в каких случаях материнское молоко становится защитой...»

Воровство, совершаемое от сытой жизни, описывается и во второй линии.

Линия вторая. Волчица. Удачно поохотившись, она начинает с жиру беситься и нападает на отару. Автор говорит, что в прошлый раз волчица задрала овцу из-за голода, поэтому охотник не пристрелил ее. «...пресыщенность лишает рассудка почти так же, как и голод. Однако если голод, ставя перед выбором между жизнью и смертью, вынуждает презреть опасность, то пресыщенность лишь притупляет инстинкт самосохранения. Два года волчица старательно обходила отары и стоило ей только услышать далекое блеяние овец, как она точно наяву видела перед собой огромного и черного, как гора, охотника, и тупая внутренняя боль начинала припекать обрубок хвоста. Сейчас желание насладиться риском было столь сильно, что волчица хоть и вспомнила о черном охотнике, но теперь он представлялся ей таким же неловким и не очень смелым, как и все прочие люди».

Обозленный тем, что Умыт не сознался в содеянном, Клыч возвращается домой, и в это время из песков приходит гонец. Он сообщает, что на отару напал волк, и просит Клыча выследить его. Клыч соглашается. На мотоцикле отправляется в пески. Увидев след волка, удивляется тому, что это след знакомой волчицы. И по следу догадывается, что на сей раз волчица напала на отару, вовсе не будучи гонимой голодом. Он отправляется в волчье логово. А вот и главная мысль произведения: «Носком сапога он не сильно пнул в бок приблизившегося к нему волчонка. Тот завизжал, и волчица тотчас проснулась. Страшный черный человек стоял шагах в десяти от нее с ружьем наизготовку. Первым желанием волчицы было бежать прочь, но силы как-то разом оставили ее. От страха она протяжно завывала. Потом, немного успокоившись, зарычала и стала готовиться к прыжку. Но воля ее была сломлена еще с прошлого раза, и

она, не решившись напасть на своего врага, заметалась, потом села и, моля о пощаде, подняла передние лапы. То, что волчица сидела так, готовая безропотно принять свою судьбу, дало Клычу мгновение передышки.»

Нам кажется, что поведение зверя, признавшего свою вину, заставило Клыча задуматься о проступке племянника. Контрапунктное развитие сюжета сделало это произведение по-настоящему интересным и драматичным.

Автор хотел сказать, что некоторые люди хуже зверей. Какая суровая и жестокая мысль! Но как бы там ни было, правда остается правдой. Читая произведение, невольно сожалеешь о трусости Умыта, вместе с тем любуясь мужеством волчицы.

Волк в данном произведении олицетворяет собой зло. Он всегда ищет слабые стороны человека, чтобы воспользоваться ими. И использует слабости человека с безжалостностью. Есть такие понятия: мужественный враг, трусливый враг. В произведении дан цельный образ волка.

Здесь мне хотелось бы отметить одну особенность творчества писателя. Все его произведения тем или иным образом связаны с жизнью животного мира. Повесть «Гнездо беркута» рассказывает о ловчей птице, в поэме в прозе «Скачки» воспевается скакун. С помощью такой символики он рассказывает о нравственных проблемах человека. В то же время рассказывая о беркуте, коне, волке, автор проявляет завидное знание жизни животных.

Писатель очень интересно рассказывает о повадках волков, о том, как они охотятся, как кормят своих щенков. Представляешь каждое движение волчицы, которая напала на отару. Вместе с волком, забросившим на спину свою жертву, проходишь по Гарагумам много верст.

И еще одна мысль нитью проходит через всю повесть «Волчий закон». Вот она: в последнее время развелось слишком много волков — зла. В чем же причина столь резкого распространения волков — зла?

«Видно, воровство совершается в том случае, если человек убежден, что его не уличат. Если бы он знал, что наказание последует незамедлительно, тогда не было бы и преступлений».

Вся жизнь Клыча проходит в схватке со злом. Большинство знакомых Клыча, повстречав его, торопливо поздоровавшись и сославшись на неотложные дела, предпочитают поскорее уйти. И даже те, кто обычно мелет всякую чепуху, не задумываясь, при Клыче взвешивают каждое слово, стараясь показать себя серьезными. Постоянная жесткость — справедливость, видно, тоже утомляют людей. Им хочется ласки, добра. Человек иногда просто нуждается в красивой, завораживающей лжи. И поэтому, если он на кого-то обидится или услышит от кого-то несправедливые слова, увидит чей-то необдуманный поступок, он предпочитает не вдаваться в подробности, а отстраниться. Именно поэтому Клыч одинок. Он и в пустыне одинок. В жизни он также одинокий человек. За его одиночество его становится жалко. Правда, жена Шемшат поддерживает его искренне. Ей хочется при любых обстоятельствах быть рядом с мужем, быть ему близкой. Но Клыч и жене своей не может стать близким.

Шемшат не побоится никаких трудностей ради того, чтобы ее муж мог радоваться жизни. Она по-настоящему гордится способностями своего мужа, его успехами. Ей хочется, чтобы он, вернувшись с чабанской вахты, хотя бы пять дней провел дома, рядом с ней. Всегда расстраивается, когда Клыч отправляется на охоту на волков, потому что для Шемшат единственная радость на свете — это муж. Других радостей для нее не существует. Ей так хочется быть матерью, иметь «сопливенького» младенца. Однако у них нет детей.

Отношение Шемшат к своему мужу ощущается в каждом эпизоде. Послушайте:

«— Да!.. Утром Аман приходил.

— Какой еще Аман?

— Чабан. Помнишь, который кричал, что ты его опозорил, мол, не крал он шерсти.

Клыч нахмурился.

— Чего ему надо? Чем недоволен?

— Нет, нет, радость у него. Сын родился на рассвете. Счастливый, улыбается. Говорит: «Я из роддома прямо к вам, чтобы доброй вестью поделиться. Хочу сына Клычем назвать. Пусть вырастет таким человеком, как Клыч-ага». Вот как люди...

– Хватит, Шемшат! Что у тебя за характер. Стоит кому доброе слово сказать, так ты его сразу в тысячу слов превратишь.

– Он что, не прав?!

– А если так, что, всему миру объявить надо?

Шемшат обиделась, ушла и уже из кухни крикнула:

– А ты думал, я молчала?!»

И далее:

«Да, не переживай ты так, старый, из-за того, что не дал нам Аллах детей! Видно, так нам на роду написано. Счастье наше в ином. Иной человек умрет и тотчас исчезнет из памяти людской. Даже родные дети его не часто вспоминают. Ты – другое дело. Люди тебя долго добрым словом поминать будут, а заодно и меня вспомнят. Мол, хорошая жена у Клыча была. Мне и этого хватит!»

Эти слова Шемшат как нельзя лучше раскрывают читателю ее образ, ее внутренний мир, щедрый и богатый. С одной стороны, женщину искренне жаль, а с другой – она вызывает чувство гордости. Разве бесконечной грустью и переживаниями можно чего-то добиться в жизни?

Мне кажется, что писатель неспроста журнальный вариант назвал «Следы».

Оставить след в жизни... Человек становится известным благодаря своему труду, своим заслугам, своему нравственному облику, человеческим качествам. Есть мнение, что настоящая жизнь человека начинается после его смерти. Когда чиновник умирает, его забывают, никто о нем не вспоминает. Но если человек при жизни совершил много добрых дел, люди не забывают его, вспоминают каждый раз. Уважительно вспоминают. Это неспроста – оставить после себя добрую память.

И я искренне желаю Осману Оде, чтобы его творческий след в туркменской литературе был ясным и четким.

*Джора АЛЛАКОВ,
профессор.*

ОГЛАВЛЕНИЕ

Повести

Скачки.....	3
Волчий закон.....	156
Любовь по-индийски.....	197
Гнездо беркута.....	233
С кем умом поделиться?!.....	277

Рассказы

Ураган.....	317
Вторая жизнь.....	326
Твой мир.....	342
Шестая палата.....	352
Зов души.....	366
Тринадцатый лад.....	374
Воровской холм.....	388
Поворот.....	405
Мужчины.....	414
Палец в меде.....	422
В каждой голове хан.....	434
Свое – не хорошее.....	448
Капли.....	458
Искусство обхождения.....	462

Дж. Аллаков. Красота истины..... 485

Литературно-художественное издание

Одеев Осман Ходжагельдиевич

СОЧИНЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

(на русском языке)

3

Ровести и рассказы

Сдано в набор 11.01.2008 г.

Формат 60х84 $\frac{1}{16}$

Бумага офсетная.

Печать компьютерная.

Печ. листов 32,5.